БОЛЬШИЕ КНИГИ

Рафаэлло Джованьоли

СПАРТАК

«ИНОСТРАНКА»



Спартак
Рафаэлло Джованьоли

Аннотация
Рафаэлло Джованьоли. Спартак: Историческая повесть из VII века Римской эры
Д. Гарибальди – Джованьоли
Спартак
Глава I. Щедрость Суллы
Глава II. Спартак на арене
Глава III. Таверна Венеры Либитины
Глава IV. Как пользовался Спартак своей свободой
Глава V. Триклиний Катилины и приемная Валерии
Глава VI. Угрозы, интриги и опасности
Глава VII. Как смерть опередила Демофила и Метробия
Глава VIII. Последствия смерти Суллы
Глава IX. Как один пьяница вообразил себя спасителем республики
Глава X. Восстание
Глава XI. От Капуи до Везувия
Глава XII. Спартак доводит число своих воинов с шестисот до десяти тысяч

Глава XIII. От Казилинской до Аквинской битвы
Глава XIV. Самолюбие ликтора Симплициана
Глава XV. Спартак одерживает победу еще над одним претором и преодолевает тяжелые искушения
Глава XVI. Лев у ног девушки. – Посол, понесший наказание
Глава XVII. Арторикс-скоморох
Глава XVIII. Консулы на войне. – Камеринское сражение. – Смерть Эномая
Глава XIX. Битва при Мутине. – Мятежи. – Марк Красс действует
Глава XX. От сражения при Гарганской горе до похорон Крикса
Глава XXI. Спартак в Лукании. – Птицелов, попавший в сеть
Глава XXII. Последние сражения. – Поражение при Браданусе. – Идиллия смерти
Заключение
Вклейка

Аннотация

Рафаэлло Джованьоли (1838–1915) – известный итальянский писатель и революционер, сподвижник Джузеппе Гарибальди, поклонник и прилежный ученик Вальтера Скотта и Александра Дюма, блестящий знаток истории Древнего Рима. В его самом популярном романе «Спартак» рассказывается о легендарном восстании рабов под руководством бесстрашного борца, отдавшего все силы и страсть души борьбе за свободу. Это роман о прекрасной и драматичной любви, о дружбе и предательстве, о радости борьбы и горечи поражения. Обилие деталей, блестяще построенная композиция романа позволяют погрузиться в давно исчезнувший мир, в котором, несмотря на суровые нравы, всегда находилось место самым благородным и возвышенным стремлениям человеческого сердца.

В книге представлен полный текст романа, опубликованный издательством «Academia» в 1936 году, с редкими иллюстрациями замечательного советского художника-графика

Григория Филипповского.

Рафаэлло Джованьоли
Спартак: Историческая повесть из VII века Римской эры

Raffaello Giovagnoli
SPARTACO
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024 Издательство Иностранка®

Д. Гарибальди – Джованьоли

Капрера, 26 июня 1870 г.



Мой дорогой Джованьоли!

Я проглотил Вашего «Спартака», несмотря на то что у меня мало времени для чтения, и он вызвал во мне чувство восторга и восхищения.

Я надеюсь, что Ваши сограждане оценят огром-

ные достоинства Вашего произведения и, прочтя его, проникнутся неодолимой стойкостью в борьбе за святое дело свободы.

Вы, *римлянин,* изобразили не лучшую, но наиболее блестящую эпоху истории величайшей республики — эпоху, когда гордые хозяева мира уже начали опускаться в бездну порока и разложения, но, несмотря на развращенность и пороки, подобно гигантам, возвышались над предыдущими поколениями всех эпох и народов.

«Из всех великих людей — величайшим был Цезарь», — сказал один знаменитый философ, а как раз личность Цезаря наложила отпечаток на эпоху, изображенную вами.

Образ Спартака, этого Христа — искупителя рабов, Вы изваяли резцом Микеланджело, и я, получивший свободу раб, благодарю Вас за это и за те моменты волнения, которые я переживал при чтении Вашей книги: то я воодушевлялся чудесными подвигами рудиария, то слезы орошали мое лицо, а к концу повести я испытал чувство разочарования оттого, что она так коротка.

Да сохранят наши сограждане память об этих героях, которые все спят в родной нам земле, где больше не будет ни гладиаторов, ни господ.

Всегда Ваш

Джузеппе Гарибальди

Спартак



Глава I
Щедрость Суллы

На рассвете четвертого дня перед ноябрьскими идами (10 ноября) 675 года римской эры, в консульство Публия Сервилия Ватия Исаврика и Аппия Клавдия Пульхра, Рим кишел народом, который валил из всех частей города к Большому цирку.

От узких, кривых и многолюднейших улиц Эсквилина и Субурры, населенных преимущественно простым людом, толпа, все нарастая, стремилась и бурлила по главным улицам — Табернольской, Гончарной, Новой и другим, направляясь в одну сторону — к цирку.

Граждане, рабочие, capite censi[1], отпущенники, старые, искалеченные и покрытые рубцами гладиаторы, нищие и изувеченные ветераны гордых легионов — победителей Азии, Африки и кимвров, простолюдинки, шуты и скоморохи, танцовщицы и толпы резвых, прыгающих детей составляли бесконечную вереницу людей.

---

[1] Сноски: 1

Букв.: «считающихся по головам» *(лат.)* — беднейший класс римских граждан. — *Здесь и далее примеч. ред.*

Радостные лица, веселые взгляды, беззаботные речи и легкие шутки на устах несомненно свидетельствовали о том, что народ шел на какое-то излюбленное зрелище.

Все эти многочисленные, стремительные, говорливые толпы наполняли улицы великого города хаотическим, мощным гулом, напоминавшим жужжание тысячи пчелиных роев, и печальный вид неба, сплошь затянутого хмурыми сероватыми тучами, которые предвещали скорее дождь, чем ясную погоду, казалось, не мог смутить квиритов[2] и омрачить веселья, сиявшего на их лицах.

Утренний ветер, веявший с холмов Лациума и Тускулума, был свеж и пронзителен. Очень многие горожане шли, тщательно закутавшись в складки и капюшоны своей пенулы; другие покрыли голову петазом или пилеем, и все старались закутаться поплотнее — мужчины в свои аболлы и тоги, женщины — в столы и паллы[3].

Цирк, построенный в 138 году от основания

---

[2] Сноски: 2

То есть римлян (по имени древнего италийского бога Квирина).

[3] Сноски: 3

Пенула — широкий плащ; *петаз, пилей* — головные уборы; *аболла* — мантия без рукавов с застежкой на плече; *стола, палла* — длинные женские одеяния.

Рима царем Тарквинием Древним после завоевания Апиолы, затем украшенный и расширенный последним царем, Тарквинием Гордым, начал называться Большим с 533 года от основания Рима, когда цензор Квинт Фламиний выстроил другой цирк, названный его именем.

Большой цирк, расположенный в Мурсийской долине, между Палатинским и Авентинским холмами, не достиг еще ко времени событий, описываемых в этой книге, тех необъятных размеров и того великолепия, которые придали ему впоследствии Юлий Цезарь и Октавиан Август; все же это было огромное, величественное здание длиною в две тысячи сто восемьдесят шагов и шириною в девятьсот девяносто восемь, могущее вместить свыше ста двадцати тысяч зрителей.

Имевшее почти овальную форму, оно было срезано с запада по прямой линии, восточная же его сторона замыкалась округлостью. В западной части его находился прямой оппидум — постройка с тринадцатью арками. В средней из этих арок был один из двух главных входов в цирк, называемый Парадными воротами, так как через них на арену входила процессия с изображениями богов, появление которой служило знаком для начала игр. В остальных двенадцати арках были

расположены конюшни, или «темницы», где помещались колесницы и лошади, когда цирк служил для бегов, гладиаторы и хищные звери, когда должны были происходить кровопролитные состязания, доставлявшие римскому народу величайшее удовольствие.

От оппидума сбегали полными кругами многочисленные ряды ступенек, служивших сиденьями для зрителей; в целях более удобного доступа к ним они были пересечены проходами; последние давали начало другим, внутренним проходам, которые вели к многочисленным выходам цирка, называемым вомиториями.

Ряды сидений оканчивались в портике, под арками, где были места для знатных женщин.

Напротив Парадных ворот находились Триумфальные ворота. Они служили для входа победителей. По правую сторону от оппидума и ближе к Парадным воротам находились Ворота смерти. Через эту зловещую дверь особые служители цирка вытаскивали при помощи длинных крючьев изуродованные и окровавленные тела убитых или умирающих гладиаторов.

На площадке оппидума были огорожены барьерами особые сиденья, предназначенные для консулов, магистратов, весталок и сенаторов. Все

остальные сиденья не имели барьеров и ничем не отличались друг от друга.

Разрезая арену, между оппидумом и Триумфальными воротами тянулась почти на пятьсот шагов низкая стена, так называемый хребет. Она служила для определения дистанции во время бегов и имела на обоих концах по группе колонок, называемых метами.

Посредине хребта возвышался обелиск солнца, а по сторонам его — башенки, колонны, жертвенники и статуи; между последними — статуи Цереры и Венеры Мурсийской.

Вокруг арены возвышался парапет, на который опирались сиденья амфитеатра. Парапет был вышиной в восемнадцать шагов и назывался подиумом; вдоль него тянулся ров, наполненный водой, называемый эврипом, а за рвом подымалась железная решетка: все эти преграды служили для охраны зрителей от возможного нападения диких зверей, которые рычали и свирепствовали на арене.

Таков был вид этого грандиозного помещения, предназначенного для зрелищ в Риме, в 675 году от основания города. И в это громадное здание, вполне достойное народа, победоносные орлы которого облетели уже весь мир, стекались

ежечасно, ежеминутно, заполняя цирк, и бесконечные толпы простого народа, и всадники, патриции и матроны, для того чтобы беззаботно насладиться излюбленным и приятным зрелищем.

Итак, что же происходило в этот день? Какой праздник? Какое зрелище привлекало такую массу народа в цирк?

Луций Корнелий Сулла Счастливый, властитель Италии, гроза Рима, быть может, чтобы отвлечься от страданий, которые причиняла ему неизлечимая кожная болезнь, мучившая его уже два года, приказал несколько недель тому назад оповестить, что три дня подряд он будет угощать и развлекать зрелищами римский народ.

И уже накануне зрелищ в цирке вся римская чернь восседала на Марсовом поле и вдоль Тибра за столами, приготовленными по приказанию грозного диктатора. Она шумно пировала вплоть до наступления ночи, предавшись под конец разнузданной оргии. Этот пир, устроенный страшным врагом Гая Мария, отличался царской роскошью и великолепием, неслыханным изобилием пищи и самых тонких вин. Происходил он

в триклинии[4], специально сооруженном для данного празднества в честь римского народа.

Щедрость Суллы Счастливого была такова, что для этих празднеств и игр, устроенных в честь Геркулеса, он пожертвовал десятую часть своих богатств. Ежедневно уничтожались сорокалетние и еще более старые вина и большое количество съестных припасов выбрасывалось в реку.

Таким образом, Сулла левой рукой дарил римлянам часть богатств, которые он награбил хищной правой, и сыны Квирина, в глубине души смертельно ненавидевшие Луция Корнелия Суллу, принимали от него с наружно веселым видом зрелища и угощения.

Наступил день. Яркие солнечные лучи, пронизывая тучи, начали золотить вершины десяти холмов, храмы, базилики и сверкающие белизной драгоценного мрамора дворцы патрициев. Своей живительной теплотой они согревали людей, разместившихся на скамейках Большого цирка.

Свыше ста тысяч граждан ожидали наиболее любимого римским народом зрелища — боев

---

[4] Сноски: 4

Триклиний — пиршественный зал или столовая в доме богатого римлянина.

гладиаторов и диких зверей. Среди этой сотни тысяч людей красовались группами на лучших местах матроны, патриции, всадники, сборщики податей, аргентарии (банкиры) и богатые иностранцы, стекавшиеся со всех концов Италии и всего мира в Вечный город.

Пришедшие много позже простого народа, эти любимцы Фортуны находили себе места подходящие и удобные. Среди разных профессий, не требующих особого труда, которыми занимались многие римляне, зачастую не имевшие хлеба и крова, но никогда не упускавшие случая с гордостью воскликнуть: «Noli me tangere: civis romanus sum»[5], был и промысел локариев[6]: гордые бездельники приходили рано утром в здание, где должно было состояться публичное зрелище, и занимали лучшие места для богатых граждан и патрициев. Последние являлись в цирк, когда им было удобно, и, заплатив два или три сестерция, получали от локариев места.

Трудно себе представить ту великолепную панораму, которую представлял цирк, заполнен-

---

[5] Сноски: 5

«Не тронь меня, я римский гражданин» *(лат.)*.

[6] Сноски: 6

Локарий — человек, занимавший место для другого в театре или цирке.

ный более чем ста тысячами зрителей обоего пола, разного возраста и положения. Латиклавы, ангустиклавы, претексты, столы, туники, паллы и пеплумы[7], меняясь и сливаясь в разнообразнейшие сочетания цветов, являли взору все оттенки радуги. Шум этой массы народа, страшный, как гул вулкана, мелькание голов и рук, напоминающее яростное и грозное волнение моря во время бури, были лишь деталями великолепной, ни с чем не сравнимой картины, которую представлял Большой цирк в этот момент.

В амфитеатре простолюдины ели принесенную с собою пищу. С большим аппетитом они уплетали ветчину, холодную говядину, излюбленную кровяную колбасу и сырные и медовые пирожки или сухари; еда сопровождалась острыми словечками, непристойными шутками, беззаботной болтовней, громким беспрерывным смехом и частыми возлияниями велитернского, массикского или тускуланского вина.

Продавцы жареных бобов и пирожков находили покупателей среди плебеев, которые, желая побаловать своих жен и детей, покупали эти дешевые кушанья. Естественно, что эти благо-

[7] Сноски: 7

Перечисляются одежды, характерные для разных классов римских граждан.

душные плебеи должны были вскоре прибегать к продавцам вина, чтобы заглушить жажду, вызванную жареными бобами, и тянуть из кувшинов жидкость, которую продавцы нагло называли тускуланским вином.

Там и сям собирались в группы, болтали и смеялись изысканно вежливые и важные семьи богачей, всадников и патрициев. Элегантные щеголи покрывали циновками и коврами твердые сиденья и открывали зонтики, чтобы защитить красивых матрон и грациозных девушек от палящих лучей солнца.

Близ Триумфальных ворот, в третьем ряду, сидела между двумя всадниками матрона необыкновенной красоты. Эта женщина своим округлым, стройным и гибким станом и роскошными плечами с первого взгляда производила впечатление подлинной дочери Рима.

Правильные черты лица, большой лоб, красиво изогнутый нос, маленький рот, на губах которого, казалось, живет желание горячих поцелуев, большие черные, выразительные глаза придавали ей чарующую прелесть. Мягкие и тонкие волосы цвета вороного крыла, густые и незавитые, собранные на лбу диадемой из драгоценных каменьев, ниспадали на плечи.

На ней была туника из тончайшей белой шерстяной материи, отороченная внизу изящной золотой полосой, позволявшая видеть всю грацию ее тела; поверх туники ниспадала красивыми складками белая палла с пурпурными полосами.

Этой женщине, так роскошно одетой и такой красивой, не было, вероятно, еще и тридцати лет; то была Валерия, дочь Луция Валерия Мессалы, единоутробная сестра Квинта Гортензия, знаменитого оратора, соперника Цицерона, консула 685 года. Всего несколько месяцев назад Валерия была отвергнута своим мужем под предлогом ее бесплодия. В действительности же причиной развода было ее поведение, о котором шли давно громкие толки по всему Риму: молва считала Валерию развратной женщиной, и тысячи голосов сплетничали о некоторых ее не совсем чистых привязанностях. Как бы то ни было, но она разошлась с мужем таким образом, что ее честь осталась достаточно защищенной от подобных нареканий.

Возле нее сидел Эльвий Медуллий — длинный, бледный, худой, прилизанный, надушенный. Его пальцы были унизаны золотыми кольцами с двойными драгоценными каменьями в оправе;

шею его украшала золотая цепь с медалями и геммами. Палочка из слоновой кости, которой он обычно развлекался на ходу, завершала его изящный наряд.

На неподвижном и невыразительном лице этого человека лежала печать скуки и апатии, которая уже в тридцать пять лет сделала для него жизнь неинтересной. Эльвий Медуллий был из тех благородных римлян, кутил и сибаритов, которые предоставляли право жертвовать собой за отечество и славу сброду туникатов[8]. Олигархи возложили на чернь миссию завоевания царств и покорения народов, за собою же, если только не предпочитали хищнически управлять вверенными им провинциями, оставляли труд проматывать в роскошной праздности родовые имения.

По другую сторону Валерии Мессалы сидел Марк Деций Цедиций, патриций лет пятидесяти, с круглым, открытым лицом, веселый, красивый, невысокого роста, коренастый, толстый, для которого высшее счастье заключалось в возможно более продолжительном пребывании за столом в триклинии. Марк Деций Цедиций тратил по-

[8] Сноски: 8

То есть черни. Туникатами называли бедняков, которые ходили в одной тунике, так как не имели средств купить тогу.

ловину своего дня на смакование изысканных блюд, которые ему приготовлял его повар, один из известнейших специалистов, составлявших гордость Рима. Другую половину дня он посвящал мысленному наслаждению теми приятными ощущениями, которые он будет испытывать вечером в триклинии. Одним словом, Марк Деций Цедиций, переваривая обед, мечтал о часе ужина.

Сюда же позже пришел Квинт Гортензий, наполнявший весь мир славой своего красноречия. Квинту Гортензию еще не исполнилось тридцати шести лет. Он долго изучал манеру двигаться и говорить, научился управлять каждым своим жестом, каждым словом, так что в Сенате, в триклинии или в ином месте каждое его движение обнаруживало поразительное благородство и величие, казавшиеся врожденными. В одежде он признавал лишь темные цвета, но складки его латиклавы были расположены с утонченным изяществом и искусством, что еще более оттеняло красоту и величавость его осанки. Ко времени нашего рассказа он уже прошел службу в легионах, сражавшихся против итальянских союзников в марсийской, или в гражданской, войне, и за два года сделался сперва центурио-

ном[9], а затем трибуном.

Ученый и красноречивый оратор, Гортензий был весьма искусный артист и половиной своих триумфов был обязан мелодичному голосу и всем приемам декламационного искусства, настолько хорошо усвоенным им, что даже Эзоп, известный трагический актер, и знаменитый Росций спешили на Форум[10], когда Гортензий произносил речи, для того чтобы учиться у него декламации.

В то время как Гортензий, Валерия, Эльвий и Цедиций беседовали, а один отпущенник по желанию Валерии пошел за табличками, на которых были начертаны имена сражающихся гладиаторов, процессия жрецов, неся изображения богов, обошла вокруг хребта, на верх которого эти изображения обычно ставились.

Недалеко от места, где сидела Валерия и ее собеседники, находились под присмотром воспитателя два мальчика, принадлежавшие к классу патрициев и одетые в претексты — белые тоги с пурпурными полосами. Эти два мальчика, один

---

[9] Сноски: 9

Центурион — командир центурии, отряд из ста всадников или пехотинцев.

[10] Сноски: 10

Римский форум — площадь в центре Древнего Рима. Первоначально на Форуме размещался рынок, позже там стали проходить политические собрания.

— четырнадцати лет, другой — двенадцати, с широкими костистыми лицами, с резкими и определенными чертами, являли собой чистый тип римской расы. Это были Цепион и Катон, из рода Порциев, внуки Катона Цензора, который жил и прославился во время Второй Пунической войны и во что бы то ни стало добивался уничтожения Карфагена.

Цепион, младший из братьев, казался более разговорчивым и приветливым, и, в то время как он часто обращался к Сарпедону (так звали их воспитателя), юный Марк Порций Катон стоял молчаливый и надутый, с сердитым, брюзгливым видом, который вовсе не подходил к его возрасту. Уже теперь была видна стойкость и твердость его характера и упорная непреклонность убеждений. О нем рассказывали, что, когда ему было восемь лет, один из предводителей в войне итальянских городов против Рима за права гражданства, Марк Помпедий Силон, схватил его в доме дяди его Друза и, поставив на подоконник, строгим и страшным голосом грозил выбросить на мостовую, если он не попросит деда об оказании поддержки италийским городам; но, как Помпедий его ни тряс и ни угрожал, он не мог добиться от мальчика ни слова, ни поступка,

который обнаруживал бы страх и уступчивость. Врожденная закаленность души, изучение греческой, в частности стоической, философии и, наконец, упорное подражание традициям, связанным с именем его сурового деда, сделали из этого четырнадцатилетнего мальчика настоящего гражданина. Впоследствии он лишил себя жизни в Утике и взял с собою в могилу последний клочок знамени латинской свободы, завернувшись в него, как в саван.

Как раз над Триумфальными воротами, на скамье близ одного из выходов, сидел, также с воспитателем, еще один мальчик патрицианского рода; он был поглощен беседой с юношей, которому было немногим более семнадцати лет. Хотя последний был одет в столь желанную тогу — признак совершеннолетия, на лице его едва-едва пробивался первый пушок. Он был невысокого роста, болезненный и слабый. На бледном лице его, обрамленном блестящими черными волосами, сверкали большие черные глаза, в которых вспыхивали искры великого ума.

Этот юноша был Тит Лукреций Кар, из знатной римской семьи, обессмертивший впоследствии свое имя поэмой «О природе вещей». Его собеседник, двенадцатилетний мальчик Гай Лонгин

Кассий, тоже патрицианского рода, сын бывшего консула Кассия, смелый и крепкий, занял впоследствии одно из самых видных мест в истории событий, происходивших до и после падения Римской республики.

Лукреций и Кассий оживленно беседовали друг с другом; будущий великий поэт, посещая уже два-три года дом Кассия, проникся восхищением к живому уму и благородной душе юного Лонгина и сильно привязался к мальчику. Кассий не меньше любил Лукреция, с которым его связывало почти полное тождество чувств и стремлений, одинаковое презрение к жизни и одинаковые взгляды на людей и богов.

Недалеко от Лукреция и Кассия сидел Фауст, сын Суллы, хилый, худой, с бледным, очень помятым лицом, носившим следы недавних ушибов; рыжеволосый, с голубыми глазами, с тщеславным и хитрым видом, — казалось, он гордился тем, что он отмечен перстом судьбы как счастливый сын счастливого диктатора.

В это время ученики-гладиаторы — тироны — фехтовали на арене, сражаясь с похвальным пылом, но без вреда для себя, ненастоящими палицами и деревянными мечами, в ожидании прибытия консулов и их главы, устроившего для

римлян сегодняшнее развлечение.

Пока шло это бескровное сражение, которое никому из зрителей, за исключением старых легионеров и отпущенных на волю гладиаторов — рудиариев, участвовавших в сотнях состязаний, не доставляло никакого удовольствия, по всему амфитеатру раздались шумные и довольно дружные рукоплескания.

— Да здравствует Помпей!.. Да здравствует Гней Помпей!.. Да здравствует Помпей Великий!.. — восклицали тысячи голосов.

Войдя в цирк, Помпей занял место на площадке оппидума, близ весталок, сидевших уже на своих местах в ожидании кровавого зрелища, приятного этим девственницам, посвятившим себя культу непорочной богини. Он приветствовал народ изящным поклоном и, поднося руки к губам, посылал поцелуи в знак благодарности.

Гнею Помпею было около двадцати восьми лет; он был высокого роста, крепкого, геркулесовского телосложения; необыкновенно густые волосы его почти срослись с бровями, из-под которых глядели большие миндалевидные черные глаза, малоподвижные и невыразительные. Суровые и резкие черты лица и могучие формы его тела производили впечатление мужественной, воин-

ственной красоты.

Конечно, тот, кто внимательно всмотрелся бы в неподвижное лицо Помпея, вряд ли открыл бы в нем признаки возвышенных мыслей и подвигов человека, который в течение двадцати лет был первым лицом в Римском государстве. Однако уже в двадцать пять лет этот юноша заслужил триумф за войну в Африке и одновременно получил от самого Суллы, вероятно в минуту необъяснимо хорошего настроения, прозвище Великого.

Во всяком случае, каковы бы ни были мнения о заслугах, делах и судьбе Помпея, несомненно, что в момент, когда он 10 ноября 675 года вошел в Большой цирк, симпатии римского народа были всецело на его стороне; двадцати пяти лет от роду он успел получить триумф и завоевать любовь всех легионов, состоявших из ветеранов, закаленных в трудах и опасностях тридцати сражений и провозгласивших его императором.

Быть может, это расположение народа к Помпею отчасти объяснялось ненавистью к Сулле. Не имея возможности выразить эту ненависть иным способом, народ проявлял ее в рукоплесканиях и похвалах Помпею, хотя он и был другом диктатора, как единственному человеку, способному

совершать подвиги, равные подвигам Суллы.

Вскоре после прибытия Помпея появились консулы — Публий Сервилий Ватия Исаврик и Аппий Клавдий Пульхр, которые должны были оставить свои посты первого января следующего года. Впереди Сервилия, несшего службу в текущем месяце, шли ликторы[11]. Позади Клавдия, исполнявшего обязанности консула в прошлом месяце, также шли ликторы, неся фасции[12].

Когда консулы появились на площадке оппидума, все зрители поднялись как один в знак уважения к высшей власти республики.

Сервилий и Клавдий заняли свои места, и зрители сели в тот момент, когда вместе с консулами уселись консулы-кандидаты, то есть те, которые в сентябрьских комициях[13] текущего года были избраны в консулы на следующий год: Марк Эмилий Лепид и Квинт Лутаций Катул.

Помпей приветствовал Сервилия и Клавдия. Они ответили ему любезно и почти подобостраст-

---

[11] Сноски: 11

Ликтор — должностное лицо, исполнявшее приговоры магистратов.

[12] Сноски: 12

Фасция — символический знак власти, пучок прутьев, перевязанный ремнями, с воткнутыми в них топориками.

[13] Сноски: 13

Комиции — римские народные собрания.

но. Затем Помпей поднялся со своего места и пошел пожать руку Марку Лепиду, обязанному своим избранием той энергии, с которой Гней Помпей использовал свою широкую популярность в его пользу, наперекор желаниям Суллы. Лепид с выражением почтения и любви встретил молодого императора и вступил с ним в беседу. Второго же будущего консула, Лутация Катула, Помпей приветствовал холодно и надменно.

Сулла, несмотря на то что он уже отказался от звания диктатора, при избрании этих консулов все свое влияние употребил против кандидатуры Лепида, которого он не без основания считал своим противником и сторонником Гая Мария. Именно эта оппозиция со стороны Суллы и поддержка Помпея сделали то, что в комициях кандидатура Лепида не только восторжествовала, но даже привлекла больше голосов, чем кандидатура Лутация Катула, поддерживаемая партией Суллы (олигархией). За это Сулла даже упрекнул Помпея, сказав ему, что он скверно поступил, поддерживая избрание в консулы худшего из граждан и противодействуя избранию лучшего.

С прибытием консулов бескровное сражение учеников прекратилось, и толпа гладиаторов, ко-

торым предстояло участвовать в сражениях, была уже готова выйти из темниц и ожидала только сигнала, чтобы по обычаю продефилировать перед властями. Взгляды всех были устремлены на оппидум в ожидании, что консулы дадут знак начинать состязания; но консулы окидывали взглядом ряды амфитеатра, как бы ища кого-то, чтобы испросить у него позволения. Действительно, они ожидали Луция Корнелия Суллу, который хотя и сложил с себя звание диктатора, но оставался верховным повелителем всего и всех в Риме.

Наконец рукоплескания, сперва слабые и редкие, а затем все более шумные и общие, раздались по всему цирку. Все взгляды обратились к Триумфальным воротам, через которые в эту минуту вошел в цирк, в сопровождении многих сенаторов, друзей и клиентов, Луций Корнелий Сулла.

Этому необыкновенному человеку было пятьдесят девять лет. Он был довольно высок ростом, хорошо и крепко сложен; и если в момент появления в цирке шел медленно и вяло, подобно человеку с разбитыми силами, то это было последствием тех непристойных оргий, которым он предавался всегда, а теперь больше, чем когда-либо. Но главной причиной этой вялой походки

надо считать изнурительную неизлечимую болезнь, наложившую на его лицо и на всю фигуру печать тяжелой, преждевременной старости.

Лицо Суллы было действительно ужасно: не то чтобы вполне гармонические и правильные черты его лица были грубы; напротив, его большой лоб, выступающий вперед нос, несколько похожий ноздрями на львиный, довольно большой рот, выдающиеся и властные губы делали его даже красивым; эти правильные черты лица были обрамлены светлой рыжеватой густой шевелюрой и освещены парой серо-голубых глаз, живых, глубоких и проницательных, имевших одновременно и блеск орлиных зениц, и косой, скрытый взгляд гиены. В каждом движении этих глаз, всегда жестоких и властных, можно было прочесть стремление повелевать или жажду крови.

Когда он, воюя в Азии против Митридата[14], был приглашен уладить ссору, возникшую между Ариобарзаном, царем Каппадокии, и царем парфянским, последний отправил к Сулле своего уполномоченного Оробаза. Явившись на собрание, Сулла, хотя был только проконсулом, в

[14] Сноски: 14

Митридат VI Евпатор (132–63 до н. э.) — царь греко-персидского государства Понт; неоднократно воевал с Римом.

сознании могущества римского народа и своего личного, ни на минуту не усомнился, что из трех приготовленных сидений среднее было для него. Он спокойно сел на него, посадив по правую руку от себя Оробаза, представителя самого могущественного и грозного царя Азии, а по левую — Ариобарзана. Парфянский царь почувствовал себя настолько оскорбленным и униженным, что по возвращении Оробаза предал его смертной казни.

Во время этого происшествия в свите посольства Оробаза был один халкедонянин, занимавшийся магией и умевший по наружности людей разгадывать их характер. И вот он, рассматривая физиономию Суллы, был так сильно поражен блеском его звериных глаз, что сказал: «Несомненно такой человек должен стать великим, и я только удивляюсь, как он переносит то, что до сих пор не стал первым среди всех людей!»

Но верный портрет Суллы, изображенный нами, не оправдывал бы эпитета «ужасный», который мы употребили, говоря о его лице: а оно было действительно ужасно, потому что было покрыто какой-то отвратительной грязновато-красной сыпью, с рассеянными там и сям белыми пятнами, что делало его очень похожим

(как выразился о нем с аттическим сарказмом один афинский шут) на лицо мавра, осыпанное мукой.

Если лицо Суллы было так безобразно уже в молодости, то легко представить, насколько увеличилось его безобразие с годами. Неумеренность и развратная жизнь имели своим последствием то, что ядовитая золотушная жидкость, текущая в его жилах, все сильнее отравляла его кровь и не только увеличила количество пятен и струпьев на лице, но и все тело покрыла гнойными прыщами и язвами.

Когда Сулла, медленно ступая, с видом пресыщенного жизнью человека входил в цирк, на нем сверх туники из белоснежной шерсти, вышитой кругом золотыми украшениями и узорами, была надета, вместо национальной паллы или традиционной тоги, изящнейшая хламида[15] из яркого пурпура, отороченная золотом и приколотая на правом плече золотой застежкой, в которую были вправлены драгоценнейшие камни, сверкавшие под лучами солнца. Как человек, с презрением относящийся ко всему человечеству, а к своим согражданам в особенности, Сулла был первым из

[15] Сноски: 15

Хламида — мужская верхняя одежда, как правило из шерстяной ткани.

тех немногих, которые начали носить греческую хламиду. В руках у него была палка с золотым набалдашником в виде яблока, на котором с редким искусством и поразительным терпением был выгравирован эпизод из битвы при Орхомене в Беотии, где Сулла разбил Архелая, наместника Митридата. В этой резьбе было изображено, как Архелай, склонившись на одно колено, сдается Сулле. На мизинце правой руки Сулла носил большой перстень с кроваво-красной яшмой, на которой был выгравирован акт выдачи Бокхом царя Югурты Сулле[16]. Этот перстень Сулла всегда носил на пальце со дня триумфа Гая Мария и очень много, развязно и хвастливо говорил о нем. Это кольцо было отчасти первой искрой, которая зажгла огромный пожар пагубной войны между Суллой и Марием.

При рукоплесканиях толпы сардоническая усмешка искривила губы Суллы и он прошептал: «Хлопайте, хлопайте, глупые бараны!»

Между тем консулы дали сигнал начинать представление, и гладиаторы, числом сто человек, вышли из темниц и стали рядами обходить

---

[16] Сноски: 16

Упоминаются события так называемой Югуртинской войны — конфликта между Римом и нумидийским царем Югуртой. *Бокх I* — царь Мавритании, пытавшийся наладить союзные отношения с Римом.

арену.

В первом ряду выступали ретиарий и мирмиллон, которые должны были первыми сразиться друг с другом, и, хотя момент, когда оба будут стараться убить друг друга, был очень близок, они шли, спокойно беседуя между собою. За этими двумя следовали девять лаквеаторов, вооруженные только трезубцами и сетями, которыми они должны были стараться поймать девять секуторов, вооруженных щитами и мечами; секуторы должны были, избегая сетей, преследовать лаквеаторов.

Вслед за этими девятью парами выступали тридцать пар гладиаторов. Им предстояло сразиться друг с другом по тридцать бойцов с каждой стороны и воспроизвести таким образом в малых размерах настоящее сражение.

Тридцать из них были фракийцы, а другие тридцать — самниты, рослые и крепкие юноши, отличавшиеся красивой и воинственной наружностью.

Фракийцы были вооружены короткими, искривленными на конце мечами и маленькими щитами четырехугольной формы, с выпуклой поверхностью; на голове у них были небольшие шлемы без забрала, — словом, это было вооруже-

ние того народа, имя которого они носили. Кроме того, гордые фракийцы были одеты в короткие туники из ярко-красного пурпура, а поверх их шлемов развевались два черных пера. В свою очередь, тридцать самнитов носили вооружение воинов Самниума[17], то есть короткие прямые мечи, закрытые шлемы с крыльями, небольшие квадратные щиты, железные наручники, которые прикрывали правую руку, не защищенную щитом, и, наконец, поножи, защищавшие левую ногу. Одеты были самниты в голубые туники, а шлемы их были украшены двумя белыми перьями.

Шествие заключали десять пар андабатов, одетые в короткие белые туники и вооруженные только короткими клинками, более похожими на простые ножи, чем на мечи; голова у каждого была покрыта шлемом, на опущенном и закрепленном забрале которого находились неправильные, очень маленькие отверстия для глаз. Эти двадцать несчастных, выгнанные на арену, должны были сражаться друг с другом, точно играя в жмурки, до тех пор пока их, вызвавших достаточно смеха и веселья у зрителей,

[17] Сноски: 17

Самниум — область Италии к юго-востоку от Лациума, населенная самнитами, часто воевавшими с Римом.

лорарии — служители цирка, специально для этого приставленные, — подгоняя раскаленными железными прутьями, не сталкивали вплотную, чтобы они убивали друг друга.

Эти сто гладиаторов обходили вокруг арены под рукоплескания и крики зрителей и, когда подошли к месту, где находился Сулла, подняли голову и, согласно наставлению, данному им ланистой[18] Акцианом, воскликнули хором:

— Привет тебе, диктатор!

— Недурно, недурно! — сказал Сулла, обращаясь к окружающим и осматривая проходивших гладиаторов опытным взглядом победителя, испытанного во многих сражениях. — Эти смелые и сильные юноши обещают красивое зрелище. Горе Акциану, если будет иначе! За эти пятьдесят пар гладиаторов он взял с меня двести двадцать тысяч сестерций, мошенник.

Процессия гладиаторов сделала полный круг вдоль арены и, приветствовав консулов, вернулась в свои темницы. На арене, сверкавшей, как серебро, остались лицом к лицу только два человека — мирмиллон и ретиарий.

Настала глубокая тишина, и все взгляды устре-

---

[18] Сноски: 18

Ланиста — учитель гладиаторов.

мились на этих двух гладиаторов, стоявших на арене и готовых к схватке.

Мирмиллон, по происхождению галл, был красивый юноша, белокурый, высокого роста, ловкий и сильный; на голове у него был шлем с серебряной рыбой наверху, в одной руке он держал небольшой щит, а в другой — короткий широкий меч. Ретиарий, вооруженный только одним трезубцем и сетью, одетый в простую голубую тунику, стоял в двадцати шагах от мирмиллона и, казалось, обдумывал, как лучше поймать его в сеть.

Мирмиллон стоял, вытянув вперед левую ногу и опираясь всем корпусом на несколько согнутые кнаружи колени. Он держал меч почти опущенным к правому бедру и ожидал нападения ретиария.

Внезапно ретиарий сделал огромный прыжок в сторону мирмиллона и на расстоянии нескольких шагов с быстротой молнии бросил на него сеть. Но мирмиллон в тот же миг быстрым скачком вправо, пригнувшись почти до самой земли, избежал сети и кинулся на ретиария. Тот, увидя, что дал промах, пустился стремительно бежать.

Мирмиллон стал его преследовать, но гораздо более ловкий и расторопный ретиарий, сделав

полный круг вдоль арены, добежал до того места, где осталась его сеть, и подобрал ее.

Однако в тот момент, когда он ее схватил, мирмиллон почти настиг его. Ретиарий, внезапно повернувшись, в то время как его противник готов был на него обрушиться, кинул на него сеть. Но мирмиллон, упав ничком на землю, снова успел спастись. Быстрым прыжком он уже поднялся на ноги, и ретиарий, ударив его трезубцем, задел острием лишь щит галла.

Тогда ретиарий снова бросился бежать под ропот негодующей толпы, которая чувствовала себя оскорбленной неопытностью гладиатора, осмелившегося выступить в цирке, не умея как следует владеть сетью.

На этот раз мирмиллон, вместо того чтобы бежать за ретиарием, повернул в ту сторону, откуда его противник хотел приблизиться к нему, и остановился в нескольких шагах от сети. Ретиарий, поняв маневр мирмиллона, повернул обратно, держась все время около хребта арены. Добежав до меты у Триумфальных ворот, он перескочил хребет и очутился в другой половине цирка, совсем близко от сети. Поджидавший его мирмиллон бросился к нему навстречу.

Тысячи голосов яростно кричали:

— Задай ему! Задай!.. Убей ретиария!.. Убей увальня!.. Убей этого труса!.. Режь!.. Зарежь его!.. Пошли его ловить лягушек на берегах Ахерона!..[19]

Ободренный криками толпы, мирмиллон все сильнее наступал на ретиария, который, страшно побледнев, старался держать противника в отдалении, размахивая трезубцем, и в то же время кружил вокруг мирмиллона, напрягая все силы, чтобы схватить свою сеть. Внезапно мирмиллон, отбив щитом трезубец противника, проскользнул под ним, подняв левую руку и заставив трезубец ретиария скользнуть по щиту. Меч его уже готов был поразить грудь врага, как вдруг последний, оставив трезубец на щите мирмиллона, стремительно бросился к сети, но все же не настолько быстро, чтоб избежать меча: ретиарий был ранен в левое плечо, из которого брызнула сильной струей кровь, и все же он быстро убежал со своей сетью. Отбежав шагов на тридцать, он повернулся к противнику и вскричал громким голосом:

— Легкая рана! Пустяки!..

И спустя минуту начал петь:

— Приди, приди, мой красавец-галл, не тебя я

---

[19] Сноски: 19

Ахерон — в греческой и римской мифологии одна из рек подземного мира.

ищу, а твою рыбу, ищу твою рыбу!.. Приди, приди, мой красавец-галл!..

Сильнейший взрыв смеха встретил эту песенку ретиария, которому вполне удалось вернуть симпатии зрителей: гром аплодисментов раздался по адресу этого человека, который, будучи безоружным и раненным, истекающим кровью, инстинктивно цеплялся за жизнь и нашел в себе мужество шутить и смеяться.

Мирмиллон, взбешенный насмешками противника и возбужденный завистью к симпатиям, которые толпа, по-видимому, перенесла с него на ретиария, яростно бросился на него. Но ретиарий, отступая прыжками и ловко избегая его ударов, крикнул:

— Приди, галл! Сегодня вечером я пошлю жареную рыбу доброму Харону![20]

Эта новая шутка произвела громадное впечатление на толпу и вызвала новое нападение со стороны мирмиллона, на которого ретиарий бросил свою сеть, на этот раз так ловко, что противник оказался совершенно запутанным в ней. Толпа шумно рукоплескала.

Мирмиллон делал неимоверные усилия, чтобы

---

[20] Сноски: 20

Харон — перевозчик душ умерших через реки подземного мира.

освободиться из сети, но все более запутывался под шумный смех зрителей. В это время ретиарий бросился к тому месту, где лежал его трезубец. Быстро добежав, он поднял его и, возвращаясь бегом к мирмиллону, кричал на ходу:

— Харон получит рыбу! Харон получит рыбу!

Но когда он вплотную приблизился к своему противнику, тот отчаянным, геркулесовским усилием своих атлетических рук разорвал сеть, и она, соскользнув к его ногам, хотя и не давала ему возможности двинуться с места, но освободила руки, и он мог встретить нападение ретиария.

Снова раздались рукоплескания в толпе, которая напряженно следила за всеми движениями, за всеми приемами противников. Ведь от малейшего случая зависел исход поединка. И действительно, ретиарий, приблизившись к мирмиллону в ту минуту, когда последний разорвал сеть, сжавшись всем корпусом, нанес врагу сильный удар трезубцем. Мирмиллон отразил удар щитом, разлетевшимся от удара вдребезги, но трезубец ранил гладиатора, и из трех ран его обнаженной руки брызнула кровь. Почти в тот же момент мирмиллон быстро схватил трезубец левой рукой и, бросившись всей тяжестью своего тела на противника, вонзил ему до половины

лезвие меча в правое бедро.

Раненый ретиарий, оставив трезубец в руках противника, убежал, обагряя кровью арену, но, сделав шагов сорок, упал на колено, а потом опрокинулся на землю. Тем временем мирмиллон, упавший тоже от тяжести своего тела и силы удара, поднялся, высвободил при помощи рук ноги из сети и быстро бросился на упавшего врага.

Бурные рукоплескания встретили эти последние минуты борьбы и продолжались еще и тогда, когда ретиарий, обернувшись к зрителям и опираясь на локоть левой руки, показал толпе свое лицо, покрытое мертвенной бледностью; затем, приготовившись бесстрашно и достойно встретить смерть, он по обычаю, а не потому, что надеялся спасти свою жизнь, обратился к зрителям с просьбой даровать ему жизнь.

Мирмиллон, поставив ногу на тело противника, приложил меч к его груди, поднял голову и стал обводить глазами ряды зрителей, чтобы узнать их решение.

Свыше девяноста тысяч мужчин, женщин и детей опустили большой палец правой руки книзу — в знак смерти, и менее пятнадцати тысяч милосердных подняли его вверх между указательным и средним пальцами — в знак дарования жизни

побежденному гладиатору.

К девяноста тысячам пальцев, опущенных книзу, немалое число принадлежало непорочным и милосердным весталкам, пожелавшим доставить себе невиданное удовольствие зрелищем смерти несчастного гладиатора.

Мирмиллон приготовился уже проколоть ретиария, как вдруг тот, выхватив меч у противника, с огромной силой сам вонзил его себе в левую сторону груди так, что почти все лезвие исчезло в теле. Мирмиллон быстро вытащил меч, покрытый дымящейся кровью, а ретиарий, приподнявшись в мучительной агонии, воскликнул страшным голосом, в котором не было уже ничего человеческого:

— Будьте прокляты!.. — упал на спину и умер.



Глава II
Спартак на арене

Толпа бешено аплодировала и обсуждала происшедшее, наполняя цирк бурным гулом ста тысяч голосов.

Мирмиллон удалился в темницы, откуда вышли Плутон, Меркурий и лорарий[21], для того чтобы крючьями вытащить с арены через Ворота смерти труп ретиария, прикосновением раскаленного прута к его телу удостоверившись предварительно в том, что он действительно мертв. Место, где умерший гладиатор оставил большую лужу крови, было посыпано блестящим и тончайшим порошком мрамора, принесенным в небольших мешках из соседних тиволийских карьеров, и оно снова засверкало на солнце, как серебро.

Толпа, аплодируя, наполняла цирк продолжительными криками:

— Да здравствует Сулла!

---

[21] Сноски: 21

Лорарий — человек, который убирал труп гладиатора с арены; его сопровождали двое служителей, представляющие соответственно бога царства мертвых Плутона и бога Меркурия, провожающего души в подземный мир.

И Сулла, обратившись к Гнею Корнелию Долабелле, бывшему два года тому назад консулом и сидевшему рядом с ним, сказал:

— Клянусь Аполлоном Дельфийским, моим покровителем, вот подлый народ! Разве он мне аплодирует? Ничуть не бывало! Он аплодирует моим поварам, приготовившим ему вчера изысканные и обильные блюда.

— Почему ты не выбрал себе место на оппидуме? — спросил Суллу Гней Долабелла.

— Думаешь, это место сделало бы меня более знаменитым? — возразил Сулла и через минуту прибавил: — Кажется, недурной товар продал мне ланиста Акциан?

— О, ты щедр, ты велик! — сказал Тит Аквиций, сенатор, сидевший возле Суллы.

— Да поразит молния Юпитера всех подлых льстецов! — воскликнул экс-диктатор, с яростью схватившись правой рукой за плечо и сильно почесывая его, чтобы прекратить зуд, вызываемый отвратительными паразитами, которые изводили его своими укусами.

Спустя минуту он добавил:

— Я отказался от диктатуры, вернулся к частной жизни, а вы по-прежнему хотите видеть во мне господина. Презренные! Вы только и можете

жить в рабстве.

— Не все, о Сулла, рождены для рабства, — смело возразил один патриций из свиты Суллы, сидевший невдалеке от последнего.

Этот смелый человек был Луций Сергий Катилина.

Ему было в это время около двадцати семи лет. Он был высок ростом, обладал могучей, широкой грудью и плечами, мускулистыми руками и плотным телом на широко расставленных ногах. Масса густых черных волос покрывала его большую голову; смуглое, мужественное лицо его с энергичными чертами расширялось к вискам; на его широком лбу большая и всегда набухшая кровью вена спускалась к носу; темно-серые глаза всегда имели жестокое и страшное выражение, а пробегавшие по всем мускулам его властного и резкого лица постоянные нервные судороги обнаруживали перед внимательным наблюдателем малейшие движения его души.

Ко времени, когда начинается наш рассказ, Луций Сергий Катилина приобрел себе славу ужасного человека, пугая всех своей страшной вспыльчивостью. Так, он уже убил патриция Гратидиана, спокойно проходившего по берегу Тибра, за то, что тот отказался дать ему под

заклад его имущества большую сумму денег, в которой он, Катилина, нуждался для уплаты своих огромных долгов; а без уплаты он не мог получить ни одной государственной должности, чего он домогался.

То было время проскрипций, то есть время, когда ненасытная свирепость Суллы затопила Рим кровью. Гратидиан не был в проскрипционных списках, он был даже из партии Суллы; но Гратидиан был страшно богат, а имущество занесенных в проскрипционные списки конфисковалось, и когда Катилина притащил труп Гратидиана к Сулле, заседавшему в курии[22], и бросил его к ногам диктатора со словами, что он убил Гратидиана как врага Суллы и отечества, то диктатор оказался не особенно щепетильным и закрыл глаза на труп, но зато широко раскрыл их на огромные богатства Гратидиана.

Вскоре после этого Катилина поссорился со своим братом: оба обнажили мечи, но Сергий Катилина, кроме необыкновенной силы в руках, владел, как никто в Риме, искусством фехтования. Поэтому брат Сергия был убит, а Сергий наследовал его имущество, чем спас себя от разорения, к

---

[22] Сноски: 22

Курия — здание, в котором происходили заседания Сената.

которому его привели расточительность, кутежи и разврат. Сулла и на этот раз посмотрел сквозь пальцы на братоубийство; не стали придираться к нему поэтому и квесторы[23].

При смелых словах Катилины Луций Корнелий Сулла спокойно повернулся к нему и спросил:

— А сколько ты думаешь, Катилина, есть в Риме граждан смелых, как ты, и обладающих, подобно тебе, величием души как в добродетели, так и в пороках?

— Я не могу, славный Сулла, — ответил Катилина, — рассматривать людей и вещи с высоты твоего могущества, однако признаюсь, что я чувствую себя рожденным для любви к свободе и для ненависти к тирании, хотя бы прикрытой великодушием или лицемерно действующей во имя блага отечества; должен сказать, что это благо было бы более прочным под властью всех, чем при деспотизме одного. И искренно говорю тебе, что, не входя в разбор твоих действий, я открыто порицаю, как и раньше порицал, твою диктатуру. Я верю и хотел бы верить, что в Риме есть еще много граждан, готовых на муки, лишь бы снова не попасть под диктатуру одного человека, а тем

[23] Сноски: 23

Квестор — здесь: служитель, проводивший следствие по уголовным делам.

более, если этот человек не будет называться Луцием Корнелием Суллой и если чело его не будет увенчано, как у тебя, победными лаврами, приобретенными в сотнях сражений; тем более, если его диктатура не найдет себе извинения, какое отчасти имела твоя, в преступлениях, совершенных Марием, Карбоном и Цинной[24].

— Так почему же, — спросил Сулла спокойно, но с насмешливой улыбкой на губах, — вы не вызовете меня на суд перед свободным народом? Я отказался от диктатуры, так почему мне не было предъявлено обвинение и почему вы не явились требовать от меня отчета в моих действиях?

— Чтобы не видеть вновь резни и междоусобия, которые в течение десяти лет терзали Рим… Но не будем говорить об этом, так как у меня нет намерения обвинять тебя; ты совершил много славных подвигов, память о которых днем и ночью волнует мою душу, жаждущую, подобно твоей, Сулла, славы и могущества. Но скажи, не кажется ли тебе, что в жилах нашего народа еще течет кровь великих и свободолюбивых предков? Вспомни о том юном гражданине, который несколько месяцев тому назад, когда ты в курии,

---

[24] Сноски: 24
Речь идет о бунтах.

в присутствии Сената, добровольно отказался от диктаторской власти, отпустив ликторов и стражу, и уходил оттуда со своими друзьями домой, начал тебя порицать за то, что ты отнял у Рима свободу, наполнил город резней и грабежами и сделался его тираном. Согласись, что нужно быть человеком очень твердого закала, чтобы так поступить, так как по одному твоему знаку этот юноша мог бы в один миг поплатиться жизнью. Ты был великодушен — и знай, что я говорю не из лести, так как Катилина не умеет и не хочет льстить никому, даже всемогущему, великому Юпитеру, — ты был великодушен и ничего ему не сделал, но ты должен согласиться со мною, что если встречается такой юноша неизвестного плебейского звания — жаль, что я не знаю его имени, — способный на такой поступок, то можно еще надеяться на спасение отечества и республики.

— Да, это был смелый поступок, и ради смелости, проявленной этим юношей, я, всегда восхищавшийся мужеством и любивший храбрецов, не пожелал отомстить за нанесенные мне оскорбления и перенес все его ругательства и брань. Но знаешь ли ты, Катилина, какое следствие имели поступок и слова этого юноши?

— Какое? — спросил Сергий, устремив любопытный и испытующий взгляд своих полузакрытых в эту минуту глаз на счастливого диктатора.

— Теперь, — ответил Сулла, — тот, кому удастся захватить власть в республике, не захочет более от нее отказаться.

Катилина в раздумье опустил голову, но затем, преодолев себя, поднял ее и с живостью сказал:

— А найдется ли еще кто-нибудь, кто сумеет или захочет захватить высшую власть?

— Ладно, — сказал, иронически улыбаясь, Сулла. — ладно… Вот толпы рабов. — Он указал на ряды амфитеатра, переполненные народом. — Найдутся и господа!

Эта беседа происходила среди гула нескончаемых аплодисментов толпы, всецело занятой кровопролитным сражением, происходившим на арене между лаквеаторами и секуторами и быстро закончившимся смертью семи лаквеаторов и пяти секуторов. Шесть оставшихся в живых, покрытые ранами, в самом плачевном виде вернулись в темницы, а народ с жаром аплодировал. Затем поднялся смех, общий шум, сыпались остроты, шутки и замечания.

В то время как лорарии вытаскивали с арены двенадцать трупов и уничтожали на ней следы

крови, Валерия, посматривавшая на Суллу, который сидел невдалеке от нее, встала, подошла сзади к диктатору и вырвала нитку из его шерстяной хламиды. Удивленный Сулла обернулся, рассматривая ее со страшным блеском своих звериных глаз. Она коснулась его и сказала с очаровательной улыбкой:

— Не истолкуй моего поступка в дурную сторону, диктатор, я взяла эту нитку, чтобы иметь долю в твоем счастье!

Почтительно поклонившись и приложив по обычаю руку к губам, она пошла на свое место. Сулла, приятно польщенный этими любезными словами, повернувшись к ней лицом, проводил ее учтивым поклоном и долгим взглядом, которому постарался придать ласковое выражение.

— Кто это? — спросил Сулла, лишь только повернулся к арене.

— Валерия, — ответил Гней Корнелий Долабелла, — дочь Мессалы.

— А!.. — сказал Сулла. — Сестра Квинта Гортензия?

— Именно.

И Сулла снова повернулся к Валерии, которая влюбленными глазами смотрела на него.

Гортензий ушел со своего места, чтобы пере-

сесть к Марку Крассу, богатейшему патрицию, известному своей скупостью и честолюбием — качествами столь противоположными друг другу, однако сочетавшимися в этом человеке в своеобразную гармонию.

Марк Красс сидел возле одной гречанки редкой красоты. Так как эта красавица должна будет играть довольно значительную роль в нашем рассказе, то задержимся немного на описании ее наружности.

Эвтибида — таково было имя этой девушки, в которой можно было узнать гречанку по покрою ее платья, — обладала высоким, гибким, стройным станом. Талия у нее была изящная и такая тонкая, что, казалось, ее легко можно было обхватить пальцами рук. Лицо девушки было очаровательно: белая, как алебастр, кожа, едва тронутая легким румянцем на щеках, правильный лоб, обрамленный тончайшими вьющимися рыжими волосами, огромные глаза миндалевидной формы, цвета морской воды, блестевшие и сверкавшие так, что сразу вызывали чувство страстного и непреодолимого влечения. Маленький, красиво очерченный, слегка вздернутый нос, казалось, усиливал выражение дерзкой смелости. Красоту этого лица завершали коралловые губы,

пухлые и чувственные, и два ряда жемчужных зубов, как бы освещавших блеском своей белизны грациозную ямочку на изящном округлом подбородке. Белоснежная шея девушки, посаженная на плечи, достойные Юноны, над полной сладострастной грудью, была точно изваяна; плечи и грудь составляли поразительный контраст с тонкой талией и усиливали общее очарование. Нежные, словно выточенные, обнаженные руки и ноги девушки оканчивались маленькими, как у ребенка, кистями и ступнями.

Сверх короткой туники из белой, тончайшей прозрачной ткани, сплошь усыпанной серебряными звездочками, сквозь легкие складки которой угадывались и просвечивали скульптурные формы красавицы, красовался плащ из голубой шерсти, тоже весь усыпанный звездами. Волосы на лбу удерживались небольшой диадемой; в маленьких ушах висели две громадные жемчужины, прикрепленные к двум великолепным звездочкам из сапфира; вокруг шеи обвивалось жемчужное ожерелье, с которого свешивалась на полуобнаженную грудь более крупная, чем другие, звезда из продолговатых сапфиров; на руках красовались четыре серебряных браслета, сплошь отделанные резьбой в виде

листьев и цветов; талия была стянута обручем из драгоценного металла с остроконечными и угловатыми краями. На ее маленьких розовых ступнях были надеты очень низкие котурны, называвшиеся сандалиями; они состояли из одной только подошвы, от которой отходили две ленты темно-синей кожи, сплетаясь и пересекая друг друга вплоть до лодыжки. Наконец, ноги были стянуты сверх лодыжек серебряными обручами изящной работы.

Эта девушка, которой едва исполнилось двадцать четыре года, была чудом красоты и изящества, олицетворением пленительной грации и чувственной прелести; казалось, Венера Пафосская сошла с Олимпа, чтобы опьянить смертных очарованием своей небесной красоты.

Такова была юная Эвтибида, невдалеке от которой занял место восторгавшийся и упивавшийся ею Марк Красс.

Когда Гортензий подошел к нему, он был всецело поглощен созерцанием этого очаровательного создания. Эвтибида в эту минуту, очевидно от скуки, зевала во весь свой маленький ротик и правой рукой играла висевшей на груди сапфировой звездой.

Крассу было тридцать два года; он был выше

среднего роста, крепкого, но склонного к полноте телосложения. На его бычачьей шее сидела довольно большая, но пропорциональная телу голова, однако лицо его бронзово-желтого цвета было очень худощаво. Черты лица были мужественные и строго римские: нос — орлиный, подбородок — резко выдающийся. Желтовато-серые глаза временами необыкновенно ярко сверкали, временами же были неподвижны, бесцветны и казались угасшими.

Благородство происхождения, замечательный ораторский талант, громадные богатства, приветливость и тактичность завоевали ему не только популярность, но славу и влияние: ко времени нашего рассказа он уже много раз доблестно воевал на стороне Суллы в гражданских междоусобиях, занимая при этом разные государственные посты.

— Здравствуй, Марк Красс, — сказал Гортензий, вызвав его из оцепенения. — Итак, ты углубился в созерцание звезд?

— Клянусь Геркулесом, ты угадал, — ответил Красс, — эта…

— Эта… Которая?

— Эта красавица-гречанка… сидящая там, вблизи… двумя рядами выше нас…

— А! Я ее видел… Это Эвтибида.

— Эвтибида?

— Таково ее имя… Действительно, она гречанка… куртизанка… — сказал Гортензий, усаживаясь рядом с Крассом.

— Куртизанка!.. У нее скорее вид богини!.. Настоящая Венера!.. Я не могу — клянусь Геркулесом! — представить себе более совершенное воплощение красоты благословенной дочери Юпитера!

— Ты хорошо сказал, — заметил, улыбаясь, Гортензий. — Разве недоступна супруга Вулкана? Разве не одаряет она щедро своей благосклонностью и сокровищами своей красоты богов, полубогов, а иногда и людей, имеющих счастье ей понравиться?

— А где она живет?

— На Священной улице… недалеко от храма Януса Верхнего.

И, видя, что Красс не обращает больше внимания на него и снова стал любоваться красавицей Эвтибидой, он прибавил:

— Ты потерял голову из-за этой девушки, а ведь, истратив лишь тысячную долю своих богатств, ты мог бы ей предложить в собственность дворец, который ей теперь приходится нанимать!

Глаза Красса засверкали фосфорическим блеском; затем они снова потускнели, и он, повернувшись к Гортензию, спросил:

— Тебе нужно со мной поговорить?

— Да, о тяжбе с банкиром Трабулоном…

— Я слушаю тебя.

В то время как они беседовали об этом деле, а Сулла в свои пятьдесят девять лет, за несколько месяцев перед тем потерявший свою четвертую жену Цецилию Метеллу, рисовал себе идиллическую картину поздней любви с прекрасной Валерией, звук трубы подал сигнал к сражению, которое начиналось в этот момент между тридцатью фракийцами и тридцатью самнитами, уже выстроившимися друг против друга.

Прекратились все разговоры, шум и смех, и все взоры устремились на сражающихся.

Первое столкновение было ужасно: металлические удары щитов и мечей резко прозвучали среди глубокой тишины, царившей на арене; вскоре по арене полетели перья, осколки шлемов и куски разбитых щитов; гладиаторы, возбужденные и тяжело дышавшие, нанося и отражая удары, яростно теснили и поражали друг друга.

Не прошло и пяти минут, как кровь уже текла по арене; на ней лежали три умирающих гла-

диатора, обреченные на мучительную агонию под ногами бойцов, топтавших их тела. Нервное напряжение, с которым зрители следили за кровавыми перипетиями этого сражения, трудно не только описать, но и вообразить; можно получить о нем лишь бледное представление, если принять в соображение то, что по меньшей мере восемьдесят тысяч из числа всех зрителей держали пари, кто на десять сестерций, кто на двадцать и пятьдесят талантов, смотря по состоянию каждого, за пурпурно-красных фракийцев или за голубых самнитов.

По мере того как ряды гладиаторов редели, все чаще раздавались аплодисменты, крики и поощрительные возгласы зрителей.

Через час битва стала приходить к концу. Пятьдесят гладиаторов, мертвые и умирающие, обагряли кровью арену и лежали там и сям, испуская дикие крики, в предсмертных судорогах.

Те из зрителей, которые держали за самнитов, были уже, казалось, уверены в победе. Семеро самнитов окружили и теснили трех оставшихся в живых фракийцев, которые, прислонившись спиной друг к другу, образовали таким образом небольшой треугольник и оказывали отчаянное, упорное сопротивление превосходящим числен-

ностью победителям.

В числе этих трех еще живых фракийцев был Спартак. Его атлетическая фигура, удивительная сила мускулов, поразительная гармония всех форм тела, неукротимая и несокрушимая храбрость настолько выделялись, что, несомненно, они должны были выдвинуть его из ряда обыкновенных людей именно в эту эпоху, когда главными достоинствами, необходимыми для того, чтобы выдвинуться, считались сила рук и энергия.

Спартаку было в то время около тридцати лет, и со всеми исключительными качествами, на которые мы указали, в нем соединялись культурность, ставившая его выше своего положения, необычайная возвышенность мыслей, благородство и величие души.

Спартак был белокур; его длинные волосы и густая борода служили рамкой для прекрасного, мужественного, правильного лица. Большие голубые глаза, полные жизни, чувства и блеска, придавали его лицу, когда он был спокоен, выражение мягкой доброты. Но не таково оно было теперь, когда он, полный гнева, со сверкающими глазами и со страшным видом, сражался в цирке.

Спартак родился в Родопских горах во Фракии. Он сражался против римлян, когда они напали на его родину. Попав в плен, он благодаря своей силе и храбрости был зачислен в легион, где проявил необыкновенную доблесть и затем так отличился в войне против Митридата и его союзников, что был назначен деканом, то есть начальником отряда в десять человек, и получил почетную награду — гражданский венок. Но когда римляне снова начали войну против фракийцев, Спартак дезертировал и стал сражаться против своих вчерашних соратников в рядах своих соотечественников. Раненый и снова взятый в плен римлянами, он, вместо полагавшейся ему смертной казни, был осужден служить гладиатором и поэтому продан одному ланисте, у которого его потом купил Акциан.

Прошло два года с тех пор, как Спартак стал гладиатором; с первым ланистой он объездил почти все города Италии и принимал участие более чем в ста сражениях, не будучи ни разу тяжело ранен. Как ни сильны и мужественны были другие гладиаторы, Спартак настолько превосходил их, что выходил из любой схватки победителем, создав себе громкую славу своими подвигами в амфитеатрах и цирках Италии.

Акциан купил его за очень высокую цену, заплатив за него двенадцать тысяч сестерций, и, хотя владел им уже шесть месяцев, еще ни разу не выпускал его в амфитеатрах Рима: потому ли, что очень ценил его как учителя фехтования, борьбы и гимнастики в своей школе, или же потому, что Спартак ему стоил слишком дорого, чтобы рисковать его жизнью в сражениях, плата за которые не возместила бы ему убытков в случае смерти Спартака.

В этот день Акциан впервые выпустил Спартака в кровопролитном сражении в цирке: щедрость Суллы, который заплатил за сто гладиаторов, назначенных сразиться в этот день, круглую сумму в двести двадцать тысяч сестерций, покрывала расходы за Спартака, даже если бы он был убит.

Но все же Акциан, прислонившийся к одной из дверей темниц, стоял с бледным и тревожным лицом, весь поглощенный последними моментами битвы; и если бы кто внимательно наблюдал за ним, тот, наверно, заметил бы, как он тревожился за Спартака; за каждым ударом, нанесенным или отбитым им, он следил с живейшим участием, так как оставшиеся в живых после сражений гладиаторы возвращались в собственность ланисты, за исключением тех, которым народ дарил

жизнь.

— Смелее, смелее, самниты! — кричали тысячи зрителей, которые держали за самнитов.

— Бейте их, рубите этих трех варваров! — поощряли и другие.

— Задай им, Небулиан, бей их, Крикс, вали их, вали, Порфирий! — кричали зрители, имевшие в руках таблички с написанными на них именами гладиаторов.

Но против этих голосов раздавались не менее громкие возгласы сторонников фракийцев, у которых осталось уже очень мало надежды и которые тем не менее упорно цеплялись за единственную соломинку: Спартак, еще не раненный, с неповрежденным шлемом и щитом, как раз в этот момент проколол насквозь одного из семи окружавших его самнитов. Громы рукоплесканий раздались в цирке, и за ними последовали тысячи громких возгласов:

— Смелее, Спартак! Браво, Спартак! Да здравствует Спартак!

Два фракийца, выдерживавшие еще бой рядом с бывшим римским солдатом, были оба тяжело ранены; они медленно наносили удары и вяло их отражали, так как силы их уже были исчерпаны.

— Защищайте мне спину! — крикнул Спар-

так громовым голосом, размахивая с быстротой молнии своим маленьким мечом, которым он должен был одновременно отражать удары всех мечей самнитов, дружно атаковавших его. — Защищайте мне спину… еще момент… и мы победим.

Голос его прерывался, порывисто подымалась грудь, по бледному лицу катились крупные капли пота, а в сверкающих глазах горела жажда победы, гнева и отчаяния.

Вскоре другой самнит, получив удар в живот, упал недалеко от Спартака, покрывая арену кровью и кишками, испуская в предсмертной агонии дикий крик, страшную ругань и проклятия. В ту же минуту один из двух фракийцев, стоявших за спиною Спартака, упал с разбитым черепом и испустил дух.

Рукоплескания, крики и возгласы поощрения наполнили воздух шумом и гулом; глаза зрителей были прикованы к сражающимся. Луций Сергий Катилина держал пари за фракийца. Он, встав с места близ Суллы, не дышал, не видел ничего, кроме этой кровавой битвы, и не сводил глаз с меча Спартака — как будто к этому мечу была прикреплена нить его существования.

Третий самнит, пораженный Спартаком в

сонную артерию, присоединился к своим товарищам, лежавшим на арене, как раз в тот момент, когда фракиец, последняя и единственная поддержка Спартака, пронзенный несколькими ударами, упал без стона мертвым.

Ропот, скорее даже общий гул, похожий на рев, пробежал по всему цирку; затем настала полнейшая, глубокая тишина, такая, что можно было ясно слышать тяжелое, прерывистое дыхание гладиаторов. Нервное напряжение всех зрителей было так велико, что едва ли оно могло быть сильнее, если бы от этой битвы зависела судьба Рима.

Спартак в этом продолжительном, длившемся более часа сражении получил только три легкие раны, скорее даже царапины, благодаря непостижимой ловкости и искусству фехтования; но теперь он оказался один против четырех сильных противников, хотя и получивших более или менее тяжелые ранения и истекавших кровью, но все же страшных именно тем, что их было четверо.

Как ни силен и храбр был Спартак, однако при виде падения последнего своего товарища он счел себя погибшим.

Но внезапно его глаза засверкали: ему пришла

в голову мысль — применить на деле старинную тактику Горация против Куриациев[25].

И он бросился бежать.

Самниты стали его преследовать.

В толпе раздался продолжительный грозный ропот.

Спартак, не пробежав и пятидесяти шагов, внезапно повернулся, напал на ближайшего к нему самнита и вонзил ему в грудь кривой меч. Самнит закачался, взмахнул руками, как бы ища опоры, и упал; между тем Спартак, настигнув второго врага и отразив щитом удар его меча, уложил его на месте. Его приветствовали восторженные крики зрителей, которые теперь почти все были на стороне фракийца.

В это время приблизился третий, весь израненный самнит. Спартак ударил его щитом по голове, не считая нужным прибегнуть к мечу и не желая, очевидно, убить его. Оглушенный ударом, самнит дважды повернулся на месте и упал. Последний из его товарищей, выбившийся из сил, поспешил к нему на помощь. Спартак энергично напал на него, но, не желая убивать

---

[25] Сноски: 25

Упоминается эпизод из истории Рима. В VII веке до н. э. трое братьев из рода Горациев представляли Рим в битве против братьев Куриациев из Альба-Лонга.

противника, несколькими ударами обезоружил его, выбив у него из рук меч. Затем прижал его к себе и повалил на землю, прошептав на ухо:

— Мужайся, Крикс, я надеюсь тебя спасти.

С этими словами он стал одной ногой на грудь Крикса, а коленом другой — на грудь самнита, оглушенного ударом щита, и в этой позе ожидал решения народа.

Продолжительные рукоплескания, единодушные и оглушительные, как гул подземного грома, раздались в цирке; почти все зрители подняли вверх указательный и средний пальцы, и жизнь обоих самнитов была спасена.

— Какой сильный человек! — сказал Сулле Катилина, по лбу которого текли крупные капли пота. — Он должен был родиться римлянином!

Между тем сотня голосов кричала:

— Свободу храброму Спартаку!

Глаза гладиатора засверкали необыкновенным блеском; его лицо стало еще бледнее, чем было, и он прижал руку к сердцу, как бы для того, чтобы сдержать его бешеное биение, вызванное этими криками и надеждой.

— Свободу, свободу! — повторяли тысячи голосов.

— Свобода, — прошептал придушенным голо-

сом гладиатор, — свобода!.. О боги Олимпа, не допустите, чтобы это было сном! — И он почувствовал, что ресницы его увлажнились слезами.

— Он дезертировал из наших легионов! — раздался громкий голос. — Нельзя давать свободу дезертиру!

И тогда многие граждане, потерявшие благодаря мужеству Спартака свои ставки, закричали злобно:

— Нет, нет, он — дезертир!

Лицо фракийца страшно передернулось, и как бы силой пружины он повернул голову в ту сторону, откуда раздался первый крик обвинения против него. Глазами, сверкавшими ненавистью, он искал того, кто испустил этот крик.

Но тем временем тысячи голосов кричали:

— Свободу, свободу, свободу Спартаку!

Невозможно описать чувство, которое испытывал бедный гладиатор. Для него решался вопрос более серьезный, чем сама жизнь, и страшная тревога отражалась в этот момент на его бледном лице. Движение мускулов и блеск глаз ясно обнаруживали борьбу между страхом и надеждой. И этот человек, сражавшийся полтора часа со смертью, не испытавший ни на миг слабости и не отчаявшийся в своем спасении, оставшись

один против четырех противников, этот человек, убивший двенадцать или пятнадцать своих товарищей по несчастью, не обнаружив ни малейшего признака страха, — этот человек почувствовал, что колени под ним подгибаются, и, чтобы не упасть без чувств среди цирка, он оперся о плечи одного из лорариев, пришедших для очистки арены от трупов.

— Свободу, свободу!.. — продолжала кричать толпа.

— Он ее действительно достоин, — сказал Катилина на ухо Сулле.

— И он будет ее достоин! — воскликнула Валерия, которой Сулла в эту минуту восхищенно любовался.

— Хорошо, — сказал Сулла, вопросительно смотря в глаза Валерии, которые, казалось, с нежностью, любовью и состраданием молили о милости гладиатору, — хорошо… пусть будет так!..

И Сулла движением головы дал знак согласия. Спартак стал свободным под шумные рукоплескания зрителей.

— Ты свободен, — сказал лорарий Спартаку. — Сулла тебе даровал свободу.

Спартак не отвечал и не двигался. Глаза его

были закрыты, и он не хотел их открывать, боясь, как бы не исчезла та сладкая греза, которую он лелеял и в осуществление которой он не решался поверить.

— Своей храбростью ты разорил меня, злодей! — пробормотал чей-то голос над ухом гладиатора.

При этих словах Спартак очнулся, открыл глаза и посмотрел на ланисту Акциана. Действительно, последний пришел с лорариями на арену, чтобы поздравить Спартака, так как еще думал, что Спартак останется его собственностью. Но теперь он уже проклинал храбрость Спартака. По его мнению, глупая жалость народа и неуместное великодушие Суллы украли у него двенадцать тысяч сестерций.

Слова ланисты убедили фракийца в том, что он не грезит: он поднялся во всем величии своего гигантского роста, поклонился сначала Сулле, затем народу и через дверь темницы ушел с арены под новый взрыв аплодисментов толпы.

— Нет, не боги создали все вещи, — говорил в эту минуту Тит Лукреций Кар, возобновляя продолжительную беседу, которую он вел с маленьким Кассием и юным Гаем Меммием Гемеллом, своим лучшим другом, страстным

поклонником литературы, искусства и философии. Ему Лукреций посвятил впоследствии свою поэму «О природе вещей», которую он уже в это время задумал.

— А кто же создал мир? — спросил Кассий.

— Вечное движение материи и сочетание невидимых молекулярных тел. Ты видишь на земле и на небе массу возникающих тел и, не понимая скрытых производящих причин, считаешь, что их создали боги. Ничто не могло и не сможет никогда произойти из ничего.

— А как же Юпитер, Юнона, Сатурн?.. — спросил ошеломленный Кассий, находивший большое удовольствие в беседе с Лукрецием.

— Это создания человеческого невежества и человеческого страха. Я познакомлю тебя, милый мальчик, с учением, единственно верным, учением великого Эпикура, который, не страшась ни гремящего неба, ни землетрясений, наводящих ужас на землю, ни могущества богов и их воображаемых молний, среди препятствий, которые ему ставили закоренелые людские предрассудки, с нечеловеческим мужеством осмелился проникнуть в наиболее сокровенные тайны природы и таким образом открыл происхождение и причину вещей.

В эту минуту воспитатель Кассия, напомнив последнему, что отец приказал ему вернуться домой прежде, чем стемнеет, стал убеждать его уйти из цирка. Мальчик согласился и встал; за ним поднялись Лукреций и Меммий. Они пошли через ряды скамеек, направляясь к находящемуся недалеко от них выходу. Но чтобы дойти до него, Кассий и его друзья должны были пройти мимо места, где сидел сын Суллы Фауст, перед которым стоял, ласково беседуя с ним, Помпей Великий, ушедший с оппидума, чтобы повидаться со знакомыми матронами и друзьями.

Заметив его, Кассий остановился и сказал, обращаясь к Фаусту:

— Я хотел бы, чтобы ты, Фауст, перед столь знаменитым гражданином, как Помпей Великий, повторил безумные слова, произнесенные тобою третьего дня в школе, а именно что твой отец хорошо поступил, отняв свободу у римлян и сделавшись тираном нашего отечества; я хотел бы этого потому, что как я тебе третьего дня расшиб лицо кулаками, следы которых еще теперь ты носишь, так и теперь, в его присутствии, я побил бы тебя еще раз.

Напрасно искали бы мы в наше время, среди худосочных и тщедушных взрослых людей,

которыми так богат наш век, слов и поступков стального закала, свойственных этому двенадцатилетнему мальчику.

Кассий тщетно ожидал ответа от Фауста. Тот склонил голову перед удивительным мужеством мальчика, который из пламенной любви к свободе, согревавшей его крепкую грудь, не побоялся бить и ругать сына властителя Рима.

И Кассий, почтительно поклонившись Помпею, ушел из цирка с Меммием, Лукрецием и воспитателем.

В это же время из ряда, что находился над Воротами смерти, встал со своего места молодой человек лет двадцати шести. Он был одет в более длинную, чем обычно, тогу, чтобы скрыть свои чрезмерно худые ноги. Вместе с тем он выделялся высоким ростом и обладал величественной, внушающей уважение внешностью, несмотря на нежное, болезненное лицо. Молодой человек попрощался с сидевшей рядом с ним матроной, окруженной юными патрициями и изящными щеголями.

— Прощай, Галерия, — сказал он, целуя руку этой очень красивой молодой женщины.

— Прощай, Марк Туллий, — ответила молодая женщина, — и помни, что я тебя жду послезавтра

в театре Аполлона на представление «Электры» Софокла с моим участием.

— Я буду там, будь уверена.

— Будь здоров, прощай, Туллий! — воскликнули сразу много голосов.

— Прощай, Цицерон, — пожимая руку молодого человека, сказал красивый мужчина лет пятидесяти пяти, очень серьезный, с мягкими манерами, нарумяненный и надушенный.

— Да покровительствует тебе Талия, искуснейший Эзоп, — ответил Цицерон, пожимая руку великого актера.

Приблизившись к очень красивому человеку лет сорока, сидевшему на скамейке близ Галерии, Цицерон протянул руку и сказал:

— Пусть реют над тобой девять муз, неподражаемый Квинт Росций, мой любимый друг.

Цицерон тихо и вежливо пробирался среди толпы, усеявшей скамьи, направляясь к месту, где близ Триумфальных ворот сидели два внука Марка Порция Катона Цензора.

В группе зрителей, от которой ушел двадцатишестилетний Марк Туллий Цицерон, были: двадцатитрехлетняя Галерия Эмболария — очень красивая даровитая артистка, исполнявшая только трагические роли; пятидесятипятилет-

ний, всегда разодетый и нарумяненный великий трагик Эзоп и его соперник Квинт Росций — стяжавший себе бессмертную славу артист, от игры которого плакали, смеялись, трепетали все граждане Рима. Ему-то, уходя, и послал свой сердечный привет Цицерон.

Росцию было немногим более сорока лет. Он был в расцвете своих сил и гения и был уже очень богат. Его настолько любили в Риме, что все самые выдающиеся граждане гордились дружбой с ним. Сулла, Гортензий, Цицерон, Помпей, Лукулл, Квинт Цецилий Метелл Пий, Сервилий Ватия Исаврик, Марк Красс, Г. Скрибониан Курион, П. Корнелий Сципион Азиатский наперерыв старались залучить его к себе; они восторгались им, ласкали его и превозносили его не только как искуснейшего артиста, но и как превосходного человека, и этот восторженный энтузиазм был тем более удивителен, что он глубоко захватывал мужей столь великих и превосходящих простой народ душой и умом.

Вокруг трех знаменитых артистов сгруппировались все второстепенные светила артистической плеяды, привлекавшей в эти дни население Рима, которое огромными толпами валило в театры, чтоб наслаждаться трагедиями Эсхила, Софокла,

Еврипида и Пакувия и комедиями Аристофана, Менандра, Филемона и Плавта.

Эмболарию, Эзопа, Росция и их товарищей по искусству окружала толпа назойливых волокит, пошлых тунеядцев, страстно жаждавших, чтобы на них показывали пальцами, побуждаемых глупым тщеславием, модой, праздностью и надеждой испытать какое-нибудь новое сильное ощущение.

Впрочем, до чего доходило в это время в Риме преклонение перед артистами театра, можно легко заключить по тем сказочным гонорарам, которые они получали, и по тем богатствам, которые они накопляли; достаточно указать, что Росций получал тысячу денариев за выход, а в год сто сорок шесть тысяч денариев.

Марк Туллий Цицерон, пройдя ряды, отделявшие его от Катона и Цепиона, подошел к ним и после сердечного приветствия сел между ними и начал беседовать с Катоном, к которому питал весьма глубокую симпатию.

Марку Туллию Цицерону во время нашего рассказа, как мы уже сказали, было двадцать шесть лет; он был красив и высок ростом, несмотря на слабое и болезненное телосложение. На слишком длинной шее возвышалась мужественная голова

с резкими и сильными очертаниями; очень широкий лоб вполне соответствовал его могучему уму; лицо отличалось правильными чертами; брови были очень густые и растрепанные, и из-под них слабо блестели большие зрачки близоруких глаз. На его губах идеальной формы почти всегда блуждала улыбка, часто ироническая, но всегда, даже в самой иронии, полная мягкой доброты.

Одаренный проницательнейшим умом, поразительной памятью и врожденным красноречием, он усидчивым, страстным и упорным трудом достиг к двадцати шести годам огромной славы и как философ, и как оратор, и как известнейший, всегда срывающий аплодисменты поэт.

Поэзию он изучил еще мальчиком у греческого поэта Архия, которого впоследствии защищал в одной из своих знаменитых речей. Архий был известен своим талантом и добродетелями и в это время жил в доме Лукулла, великого Лукулла, одержавшего впоследствии победу над Митридатом и Тиграном[26]. Архий, обучая поэзии сыновей Лукулла, в то же время имел открытую публичную школу в Риме, которую посещали юные патриции, желавшие учиться. Этот Архий

---

[26] Сноски: 26

Тигран II Великий (140–55 до н. э.) — царь Армении.

ко времени, с которого начинается наша повесть, сочинил и опубликовал поэму «О войне с кимврами»; в ней он восхвалял подвиги доблестного Гая Мария, первого и единственного среди римлян времен республики, семь раз подряд избиравшегося в консулы. Славные подвиги Гая Мария, помимо того, что доставили ему триумф над Югуртой, спасли республику от страшного натиска тевтонов и кимвров и дали ему по заслугам прозвание третьего основателя Рима.

Еще посещая школу Архия, Цицерон, будучи пятнадцатилетним мальчиком, издал небольшую поэму «Главк Понтий»; поэма эта приобрела громкую славу, так как поражала непринужденностью, легкостью стиха и красотой слога. В это время не было еще ни Лукреция, ни Катулла, ни Вергилия, ни Овидия, ни Горация, которые впоследствии обогатили латинский язык своими великолепными поэтическими творениями.

Надо сказать, что посещение школы Архия не помешало Цицерону прилежно слушать лекции сначала философа-эпикурейца Федра, затем Диодота — стоика и Филона — академика, бежавших из Афин, когда этим городом завладел Митридат, и, наконец, посещать замечательные лекции по красноречию, которые читал уже в течение

четырех лет в Риме знаменитый Молон из Родоса, прибывший на берега Тибра, чтобы просить у Сената возмещения издержек, понесенных городом Родосом в войне против Митридата: этот город выступал на стороне римлян. Красноречие Молона было настолько изумительно, что ему первому позволено было говорить в Сенате по-гречески без переводчика.

Науку о законах Цицерон с рвением изучал под руководством двух сенаторов, ученейших юристов, старший из которых был августом[27], а младший — верховным жрецом; эти два лица обучили его всем сокровенным тайнам своей профессии и юридическим тонкостям.

В восемнадцать лет Цицерон целый год сражался в марсийской, или гражданской, войне под начальством Помпея Страбона, отца великого Помпея, и с этого времени, по его собственным словам, стал восхищаться смелостью и счастьем Суллы.

За два года до описываемых нами событий Марк Туллий выступил впервые на Форуме с речью в защиту Квинция, которого один кредитор, имевший своим адвокатом знаменитого

---

[27] Сноски: 27

Август — жрец, предсказывающий будущее по полету и поведению птиц.

Гортензия, хотел вынудить уступить ему все имущество. Цицерон вовсе не хотел на первых же шагах своей карьеры мериться силами со страшным Гортензием, но просьбы его лучшего друга, артиста Росция, с которым Квинций был в родстве, заставили его согласиться: он выступил с защитительной речью и настолько убедил и очаровал судей, что вышел победителем.

Процессом, вызвавшим еще более шуму и проведенным Цицероном с мужеством, которое при его довольно слабом и нерешительном характере могло иметь источником лишь честность его души, был тот, в котором он защищал права одной женщины из Ареццо против декрета диктатора Суллы, отнимавшего у города Ареццо права гражданства.

Но вознесла молодого Туллия до вершины славы и сделала популярнейшим человеком его речь в защиту Секста Росция Америна, обвиненного в отцеубийстве отпущенником Суллы Корнелием Хрисогоном. Речь была горячей, резкой, бурной и в высшей степени убедительной; Росций Америн был оправдан, а Цицерон провозглашен достойным соперником Гортензия, который и в этом процессе имел в лице Цицерона противника, и притом счастливого и одержавшего победу.

В эти же дни другая небольшая поэма Цицерона переходила из рук в руки среди граждан всех сословий. Она вызвала всеобщее восхищение. В ней чувствовался крупный талант, которому предстояло поднять латинский язык до вершины совершенства рядом произведений — неизвестно, чем более заслуживавших восхищения: глубокой ли научностью, чистотой ли проповедуемых в них нравственных принципов, возвышенностью ли мыслей, чудным ли слогом или чарующими тонкостями изящной литературной формы в греческом духе.

Небольшая поэма эта носила название «Марий». От нее остался только короткий отрывок, и, несмотря на исповедоваемые в то время автором явно олигархические убеждения, она была написана в честь Гая Мария, которого Цицерон, родившийся, как и Марий, в Арпинуме, безмерно почитал.

Здесь мы просим извинения у наших читателей за частые отступления, к которым нас побуждает и характер трактуемой нами темы, и необходимость хоть бегло дать портреты необыкновенных людей, выдвинувшихся в этот последний век римской свободы мужественной добродетелью, чудовищными и пагубными пороками и пора-

зительными подвигами; тем более, что не худо хоть немного освежить в памяти слабых и выродившихся внуков историческое воспоминание об их предках.

А теперь вернемся к нашему рассказу.

— Неужели это правда, боги всемогущие? — спросил удивленный Цицерон у юного Катона.

— Верно, верно! — ответил ворчливым и суровым тоном мальчик. — Разве я был не прав?

— Нет, ты был прав, храбрый мальчик, — возразил вполголоса Цицерон, целуя Катона в лоб, — но не всегда, к сожалению, можно громко говорить правду, и часто, почти всегда, право должно подчиняться силе.

И оба замолчали на некоторое время.

Затем Туллий спросил у Сарпедона, воспитателя обоих мальчиков:

— Но как случилось, что…

— В связи с ежедневными убийствами, — ответил, прервав Цицерона, Сарпедон, — совершавшимися по приказанию Суллы, я обязан был с этими двумя мальчиками посещать диктатора приблизительно раз в месяц для того, чтобы он относился к ним благосклонно и милостиво и занес их в число своих друзей. И Сулла действительно принимал их всегда благосклонно, ласкал

и отсылал их всякий раз с приветливыми словами. Однажды, выйдя из его дома и проходя через Форум, мы услышали душераздирающие стоны, доносившиеся из-под сводов Мамертинской тюрьмы…[28]

— И я спросил у Сарпедона, — прервал Катон, — кто это кричит. «Граждане, убиваемые по приказу Суллы», — ответил он мне. «А за что их убивают?» — спросил я его. «За преданность свободе», — ответил мне Сарпедон…

— И тогда этот безумец, — подхватил Сарпедон, прерывая в свою очередь Катона, — страшным голосом, который был услышан окружающими, воскликнул: «О, почему ты не дал мне меч, для того чтобы я раньше убил этого злого тирана отечества?..»

Теперь, — заговорил Сарпедон после минуты молчания, — так как этот факт дошел до твоих ушей…

— И очень многие знают о нем, — сказал Цицерон, — и говорят о нем, удивляясь и восхищаясь мужеством этого мальчика.

— А если, к несчастью, слух об этом дойдет до Суллы? — спросил с отчаянием Сарпедон.

---

[28] Сноски: 28

Тюрьма для государственных преступников в северной оконечности Капитолия.

— Ну, так что мне до этого, — сказал с презрением Катон, нахмурив брови. — То, что я сказал, я повторил бы в присутствии этого человека, заставляющего трепетать всех, но не меня, клянусь всеми богами Олимпа!

И спустя минуту, в течение которой Цицерон и Сарпедон в изумлении смотрели друг на друга поверх головы мальчика, последний с силой воскликнул:

— О, если бы я носил мужскую тогу!..

— И что бы ты хотел сделать, безумец? — спросил Цицерон, сейчас же прибавив: — Помолчи-ка лучше!

— Я бы хотел вызвать на суд Луция Корнелия Суллу, обвинить его перед народом…

— Замолчи же, замолчи! — сказал Цицерон. — Разве ты хочешь подвергнуть нас всех опасности? Я необдуманно воспел подвиги Мария, выступил в двух процессах, в которых мои клиенты находились в оппозиции к Сулле, и, наверно, не должен пользоваться симпатиями экс-диктатора. Неужели ты хочешь, чтобы он в твоих безрассудных словах нашел повод присоединить нас к бесчисленным жертвам своей безумной жестокости? И если мы дадим себя убить, освободим ли мы Рим от его гибельного всемогущества?

Страх оледенил древнюю кровь в жилах римлян, и Сулла, к прискорбию, действительно счастлив и всемогущ.

— Вместо того чтобы называться или быть *счастливым,* он бы лучше старался называться и быть *справедливым,* — прошептал Катон, который, повинуясь настоятельным увещаниям Цицерона, постепенно, хотя и ворча, успокоился.

Тем временем андабаты развлекали народ фарсом — фарсом кровавым и ужасным, в котором все двадцать несчастных гладиаторов должны были расстаться с жизнью.

Сулла, которому уже наскучило это зрелище, занятый одной мыслью, завладевшей им несколько часов тому назад, встал и, направившись к месту, где сидела Валерия, подошел к ней, любезно поклонился и, лаская ее долгим взглядом, который старался сделать насколько мог нежным, покорным и приветливым, спросил ее:

— Ты свободна, Валерия?

— Несколько месяцев тому назад я была отвергнута моим мужем, но не за позорный проступок с моей стороны, напротив…

— Я знаю, — возразил Сулла, на которого Валерия смотрела приветливо своими черными глазами, выражающими расположение и

любовь. — А меня, — прибавил экс-диктатор, немного помолчав и понизив голос, — а меня ты полюбила бы?

— От всего сердца, — ответила Валерия с нежной улыбкой на своих чувственных губах и потупив несколько глаза.

— Я тебя тоже люблю, Валерия, и думаю, никогда я так не любил, — сказал Сулла с дрожью в голосе.

Наступило непродолжительное молчание, после чего бывший диктатор Рима, поцеловав с жаром руку красивой матроны, добавил:

— Через месяц ты будешь моей женой.

И в сопровождении своих друзей он ушел из цирка.



Глава III
Таверна Венеры Либитины

На одной из наиболее отдаленных, узких и грязных улиц Эсквилина, расположенной близ старинной стены времен Сервия Туллия[29], как раз между Эсквилинскими и Кверкетуланскими воротами, находилась открытая днем и ночью — и больше именно по ночам — таверна, посвященная Венере Либитине, то есть Венере Погребальной, богине, ведавшей похоронами и могилами. Эта таверна, вероятно, была названа так потому, что за находящимися вблизи от нее Эсквилинскими воротами с одной стороны было кладбище для простонародья, представлявшее собою массу небольших шахт, где трупы погребались как попало, а с другой стороны, вплоть до Сессорийской базилики, расстилалось поле, куда бросали тела умерших слуг, рабов и наиболее презренных людей — постоянную и любимую пищу волков и коршунов. На этом поле гниющего мяса, заражавшем кругом воздух, на человеческих трупах впоследствии, полвека спустя,

---

[29] Сноски: 29
То есть в VI веке до н. э.

богач Меценат развел свои знаменитые сады, которые, вполне понятно, должны были пышно разрастись. Они доставляли к роскошному столу владельца вкусные овощи и превосходные фрукты, приобретшие эти качества благодаря удобрению из плебейских костей.

Над входом в таверну находилось изображение Венеры, более напоминавшее отвратительную мегеру, чем богиню красоты. Изображение это было сделано пьяной кистью какого-то скверного маляра. Фонарь, раскачиваемый ветром, освещал бедную Венеру, которая ничего не выигрывала оттого, что ее можно было лучше рассмотреть. Однако этого скудного освещения было достаточно для того, чтобы обратить внимание прохожих на иссохшую ветку, прикрепленную над входной дверью таверны, и хоть немного разогнать мрак, царивший в этом грязном переулке.

Спустившись через маленькую низкую дверь по нескольким камням, неправильно положенным один на другой и заменявшим ступеньки, входящий попадал в закопченную сырую комнату.

Направо от входа подымался у самой стены камин, где пылал огонь и готовились в расставленных оловянных сосудах разные кушанья, в

том числе неизменная колбаса из свиной крови и неизбежные битки, содержимое которых никто не пожелал бы узнать. Готовила эти яства Лутация Одноглазая, собственница и хозяйка этого грязного заведения.

Близ камина четыре терракотовые статуэтки, помещенные в небольшой нише в стенке, изображали ларов, то есть гениев — покровителей дома; перед ними горел светильник и были положены венки и пучки цветов. Перед камином стоял небольшой, весь измазанный стол, за которым на позолоченной скамейке пурпурного цвета сидела хозяйка таверны, когда ей не приходилось обслуживать своих постоянных посетителей.

Вдоль стен, справа, слева и против камина было расставлено несколько старых обеденных столов, вокруг которых стояли длинные неуклюжие скамьи и хромоногие табуретки.

С потолка спускалась оловянная лампа с четырьмя светильниками, которые вместе с горевшим и трещавшим в камине пламенем наполовину разгоняли мрак, заполнявший комнату.

В стене противоположной входной двери открывалась другая дверь, ведущая во вторую комнату, поменьше первой, но менее грязную.

Все ее стены художник, очевидно не особенно стыдливый, забавы ради сплошь покрыл своими произведениями самого непристойного содержания.

В углу горела масляная лампа с одним рожком и оставляла всю верхнюю часть этой комнаты в полной темноте, слабо освещая только пол и два обеденных ложа, находившиеся в комнате.

Около часу первой зари (приблизительно — час ночи) того же дня, 10 ноября 675 года, таверна Венеры Либитины была полна посетителями, которые, шумно болтая, наполняли гулом и гамом не только самую лачугу, но и улицу.

Лутация Одноглазая вместе со своей рабыней, черной как сажа эфиопкой, суетились изо всех сил, чтобы удовлетворить громкие и единовременные требования жаждущих и алчущих посетителей.

Лутация, высокая, сильная, полная и краснолицая, несмотря на свои сорок пять лет и наполовину поседевшие каштановые волосы, могла бы еще назваться красавицей. Но лицо ее уродовал длинный и широкий шрам. Начинаясь с середины лба, он пересекал вытекший правый глаз, с веками, сходившимися на глазной орбите, и доходил до носа, у которого недоставало куска и

целой ноздри. За это уродство Лутация уже много лет тому назад была прозвана Одноглазой.

История этой раны относится к давно минувшим годам. Лутация была женой Руфина, легионера, храбро сражавшегося несколько лет в Африке против Югурты. Когда Гай Марий одержал победу над этим царем и Руфин вернулся в Рим, Лутация была еще красивой женщиной, и притом такой, которая не во всем сообразовалась с постановлениями о браке, содержавшимися в законах двенадцати таблиц[30]. Случилось, что однажды муж, приревновавший ее к мяснику, убил его ударом меча, затем крепко вбил в голову своей жене необходимость соблюдения упомянутых законов ударом меча, память о котором осталась у ней навеки. Руфин был уверен, что убил ее, и, опасаясь ответственности перед квесторами, ведающими делами об убийствах, не столько за убийство жены, сколько за убийство мясника, предпочел бежать в ту же ночь под команду своего обожаемого вождя Гая Мария, после чего был убит в памятном сражении при Секстийских Водах, где знаменитый крестьянин из Арпинума, совершенно разгромив тевтонские

[30] Сноски: 30

Законы двенадцати таблиц — древнейший римский свод законов (451–450 до н. э.).

полчища, спас Рим от величайшей опасности.

Лутация, оправившись спустя много месяцев от обезобразившей ее раны, на имевшиеся у нее сбережения, а также на собранные подаяния приобрела обстановку для кабачка и, прибегнув к щедрости Квинта Цецилия Метелла Нумидийского, получила в дар эту несчастную трущобу.

Несмотря на свое уродство, говорливая, любезная и веселая Лутация возбуждала не однажды страсть среди своих посетителей: многие из них не раз пускались в рукопашную схватку из-за предмета своей любви.

Нужно прибавить, что посетители кабачка Венеры Либитины вербовались среди самого презренного, низкого люда, грязнившего улицы Рима.

Плотники, гончары, могильщики, атлеты из цирка, комедианты и шуты низшего сорта, гладиаторы, мнимые калеки и нищие, распутные женщины последнего разбора были обычными посетителями таверны Лутации.

Но Лутация Одноглазая была не щепетильна и не обращала внимания на разные тонкости; с другой стороны, в таком месте не могли, конечно, бывать банкиры, всадники и патриции. Кроме того, добрая женщина полагала, что Юпи-

тер поместил солнце на небе для того, чтобы светить как богатым, так и бедным, и что если для богатых существовали винные погреба, съестные лавки, рестораны и гостиницы, то бедняки должны были иметь свои таверны. Лутация убедилась также, что квадранты и сестерции бедняка и шулера ничем не отличались от тех же монет зажиточного горожанина и гордого патриция.

— Клянусь рогами Вакха-Диониса, ты дашь нам или нет эти проклятые битки?! — заревел громовым голосом старый гладиатор, лицо и грудь которого были сплошь покрыты шрамами.

— Закладываю сестерций, что Лувений принес ей с Эсквилинского поля немного мяса, выброшенного в пищу воронам. Не иначе как из него она готовит свои адские битки! — вскричал нищий, сидевший возле старого гладиатора.

Грубый громкий хохот последовал за этой грубой шуткой нищего, симулировавшего болезнь, которой он вовсе не страдал. Лувению — низкого роста, неуклюжему и толстому могильщику, на красном, грубом лице которого, усыпанном волдырями огненного цвета, было написано лишь выражение тупого безразличия, — шутка нищего не понравилась. Он вскричал в ответ хриплым голосом:

— Как честный могильщик клянусь, ты должна была бы, Лутация, в биток, приготовленный для этого негодяя Велления (таково было имя нищего), постараться вложить мясо быка, которое он нитками привязывает к своей груди, чтобы подделывать язвы, когда их у него вовсе нет, и таким образом обкрадывать граждан, у которых слишком чувствительное сердце.

Новый взрыв непристойного смеха раздался при этих гнусных словах.

— Если бы Юпитер не был лентяем и не спал так крепко, ему бы не грех потратить одну из своих молний, чтобы испепелить могильщика Лувения, этот зловонный бездонный мешок.

— Клянусь черным скипетром Плутона, я кулаками устрою на твоей варварской роже такую язву, которая тебе даст право молить людей о сострадании! — вскричал могильщик, в бешенстве подымаясь с места.

— Ну, подойди, подойди, дурак! — громко произнес Веллений, вскочив в свою очередь и сжав кулаки. — Подойди, чтобы я тебя послал к Харону, и клянусь крыльями бога Меркурия, что я от себя прибавлю монету, которую вложу тебе между

твоими грязными волчьими зубами[31].

— Перестаньте вы, старые клячи! — зарычал Гай Тауривий, огромного роста атлет из цирка, страстно желавший поиграть в кости деревянными фишками. — Перестаньте, или, клянусь всеми богами Рима, я вас схвачу да тресну друг о друга так, что раздроблю ваши изъеденные червями кости и сделаю из вас трепаную мочалку!

К счастью, в эту минуту Лутация и Азур, ее черная рабыня, поставили на столы два огромных блюда, наполненные доверху дымящимися битками, на которые набросились с бешеной жадностью две более многочисленные из собравшихся здесь групп.

Среди этих счастливцев наступило скоро молчание, и на некоторое время они занялись пожиранием битков, признанных отличными. Между тем в других группах посетителей во время метания костей и обмена самыми грубыми ругательствами продолжались разговоры на излюбленную тему дня — о гладиаторских играх в цирке. Имевшие счастье присутствовать на этих играх как свободные граждане рассказывали о них чудеса тем, которые, принадлежа к

[31] Сноски: 31

В Древнем Риме было принято вкладывать в рот умершего монету, чтобы душа могла заплатить Харону за перевозку в загробное царство.

сословию рабов, не имели права проникнуть за ограду цирка.

И все восторженно прославляли мужество и силу Спартака.

Тем временем Лутация, быстро войдя, поставила кровяную колбасу остальным посетителям, и на некоторое время в таверне Венеры Либитины все разговоры прекратились.

Первым нарушил молчание старый гладиатор, воскликнув:

— Я, сражавшийся двадцать два года в амфитеатрах и цирках, должен вам сказать, что никогда не видал более красивого гладиатора, более сильного и более ловкого фехтовальщика, чем этот непобедимый Спартак.

— Если бы он родился римлянином, — прибавил покровительственным тоном атлет Гай Тауривий, по происхождению римлянин, — у него были бы все необходимые данные для того, чтобы стать героем…

— Жаль, что он варвар! — воскликнул с выражением презрения Эмилий Варин, красивый юноша двадцати лет, на лице которого виднелись уже морщины, ясно указывающие на развратную жизнь и преждевременную старость.

— А я вам скажу, что он теперь очень счаст-

лив, — сказал старый легионер из Африки, с широким шрамом на лбу и хромавший на одну ногу.

— Хотя он и дезертир, а все же получил в дар свободу!.. Случаются же такие невиданные вещи! Эх!.. Нужно сказать, что Сулла был в эту минуту в своем лучшем настроении, раз он решился на такую щедрость.

— Уж то-то злился ланиста Акциан! — заметил старый гладиатор.

— Еще бы! Уходя, он вопил, что его ограбили, разорили, зарезали…

— Его товар был и без того оплачен очень щедро.

— Товар, надо сказать правду, был хорош и красив!

— Не спорю, но и двести двадцать тысяч сестерций красивы и хороши.

— Клянусь Юпитером Статором, еще как красивы!

— Клянусь Геркулесом и Каком[32], очень и очень хороши! — сказал атлет. — Если бы я их имел… Мне хотелось бы их испробовать во всех видах и всеми способами, какими только наши

---

[32] Сноски: 32

Как — мифический великан, сын бога Вулкана.

чувства могут доставлять себе удовлетворение при помощи денег.

— Ты… А мы… ты думаешь, Тауривий, что мы не сумели бы оценить прелесть этих двухсот двадцати тысяч сестерций?..

— Не все умеют копить деньги, но все умеют их тратить.

— Однако не хотите ли вы мне сказать, что Сулле обошлись дорого его богатства?..

— Первую долю их он получил от одной женщины… из Никополиса.

— Она, уже довольно пожилая, влюбилась в него, тогда еще молодого человека, и, конечно, если и не красивого, то менее безобразного, чем теперь…

— И, умирая, оставила его единственным наследником своих богатств.

— А ведь в юности, — сказал атлет, — он был довольно беден, и я знал гражданина, в доме которого он, больной, несколько лет жил на полном иждивении, платя три тысячи сестерций ежегодно.

— Потом в войне против Митридата и при осаде и взятии Афин он взял себе львиную долю, и его богатства умножились. Затем пришло время проскрипций, и по его приказу было зарезано

семнадцать бывших консулов, семь преторов, шестьдесят эдилов и квесторов, триста сенаторов, тысяча шестьсот всадников и семьдесят тысяч граждан, а все имущество этих лиц было конфисковано. И разве при этом Сулле лично ничего не перепало?

— Я бы хотел иметь ничтожную частицу того, что досталось ему во время проскрипций.

— Однако, — сказал Эмилий Варин, который, несмотря на свою молодость, многое изучил и в этот вечер, казалось, был настроен философствовать, — этот человек, сделавшийся из бедняка страшным богачом, из ничего — триумфатором и диктатором Рима, получивший от народа золотую статую перед Ростpами с надписью «Корнелий Сулла Счастливый — император», — этот всемогущий человек поражен недугом, от которого его не могут избавить ни золото, ни лекарство!

Это замечание произвело глубокое впечатление на всю компанию и вызвало со всех сторон весьма скорбные восклицания:

— Правда!.. Правда!..

— И поделом ему! — вскричал другой хромой легионер, который, как бывший участник африканских войн, был почитателем памяти Гая

Мария. — По заслугам ему эта болезнь, этому дикому зверю, этому чудовищу в образе человеческом! Так отомщена кровь шести тысяч самнитов, которые сдались ему под условием, что им будет сохранена жизнь, а он их всех приказал перебить в цирке стрелами; и в то время, как при раздирающих душу криках этих несчастных все сенаторы, собравшиеся в курии Гостилия, в страхе вскочили с мест, он с жестоким спокойствием сказал: «Не тревожьтесь, отцы сенаторы, это лишь несколько злоумышленников наказаны по моему приказанию; продолжайте ваше заседание».

— А резня в Пренесте, где он приказал убить в одну ночь двенадцать тысяч несчастных обитателей этого города без различия пола и возраста, за исключением того гражданина, у которого он гостил?

— А Сульмона, Сполециум, Терни, Флоренция — все эти великолепные города Италии, которые были сровнены с землей за приверженность к Гаю Марию и разрушены вопреки данному им слову?

— Эй, ребята! — закричала Лутация со своей скамейки, где она занялась приготовлением на оловянной сковороде нескольких кусков зайца,

которые собиралась изжарить, — мне кажется, что вы говорите дурно о диктаторе Сулле Счастливом. Так я вам советую держать язык за зубами — я не желаю, чтобы в моей таверне оскорбляли имя величайшего гражданина Рима.

— Вот тебе на! Эта проклятая кривоглазая принадлежит к партии Суллы! — воскликнул старый гладиатор.

— Эй ты, Меций, — вскричал тотчас же на это могильщик Лувений, — говори с уважением о нашей дорогой Лутации!

— О, клянусь щитом Беллоны[33], видано ли, чтобы какой-то могильщик вздумал учить африканского ветерана!

И кто знает, чем кончилась бы эта новая ссора, если бы не послышался с улицы ужасный хор женских голосов, с претензией, по-видимому, на пение.

— Вот и Эвения, — сказали некоторые из посетителей.

— И Луцилла.

— И Диана.

И все взгляды устремились к входной двери кабачка. В нее входили, горланя и танцуя, пять

---

[33] Сноски: 33

Беллона — римская богиня войны.

девиц в коротких до неприличия платьях, с нарумяненными лицами и голыми плечами и непристойными словами отвечали на громкие и дикие крики, с которыми их встретили.

Не будем останавливаться на сценах, последовавших за приходом этих несчастных; вместо этого укажем на заботу, с которой Лутация и ее рабыня приготовляли на одном из столов ужин, судя по всему — обильный.

— Кого это ты ожидаешь сегодня вечером в свой кабак, чтобы угостить этими кошками, изжаренными вместо зайцев? — спросил нищий Веллений.

— Может быть, ты ожидаешь на ужин Марка Красса?..

— Нет, она ожидает Помпея Великого.

Во время этого хохота и шуток в дверях появился человек колоссального роста, сильного телосложения, еще красивый, несмотря на седину в волосах.

— Требоний…

— Здравствуй, Требоний!..

— Добро пожаловать, Требоний! — воскликнуло одновременно много голосов.

Требоний был ланистой. Он закрыл несколько лет тому назад свою школу и жил теперь на сбе-

режения от этой прибыльной профессии. Однако привычка и симпатии неизменно влекли его в среду гладиаторов, и поэтому он был постоянным посетителем всех дешевых ресторанов и кабачков Эсквилина и Субурры, где эти несчастные всегда собирались в большом числе.

Кроме того, втихомолку рассказывали, что он, пользуясь своим влиянием и своими связями среди гладиаторов, был одним из тех, к чьей помощи прибегали во время гражданских смут патриции, дававшие ему поручение навербовать большое число гладиаторов. Говорили, что в его распоряжении находились целые полчища гладиаторов и в назначенное время он являлся с ними на Форум или в комиции, когда там обсуждалось какое-нибудь важное дело, в котором требовалось напугать судей, вызвать смятение и иногда даже устроить схватку, или же когда происходили выборы магистратов. В общем, утверждали, что Требоний извлекал большую выгоду из своего знакомства с гладиаторами.

Как бы то ни было, верно то, что Требоний был их другом, покровителем, и потому-то в этот день он, по окончании зрелищ в цирке, поспешил к выходу, где дождался Спартака, обнял его, расцеловал и, поздравив, пригласил на ужин в таверну

Венеры Либитины.

Итак, Требоний вошел в таверну Лутации в сопровождении Спартака и восьми или десяти других гладиаторов.

Спартак все еще был в пурпуровой тунике, в которой сражался в цирке. На плечи он набросил плащ, более короткий, чем тога, носившийся обычно солдатами поверх формы, который он только что взял на время у одного центуриона, приятеля Требония.

Шумны были приветствия, которыми обменивались посетители, уже находившиеся в таверне, с только что прибывшими. Присутствовавшие на зрелищах в цирке были счастливы и горды, что могли показать счастливого и мужественного Спартака, героя дня, тем, которые его еще не знали.

— Представляем тебе, — сказал старый гладиатор, — о могучий Спартак, красавицу Эвению, самую красивую из девушек, посещающих этот кабачок.

— Которая будет очень рада возможности обнять тебя, — прибавила Эвения, высокая и стройная брюнетка, не лишенная некоторой привлекательности.

И, не ожидая ответа Спартака, она обвила рука-

ми его шею и поцеловала.

Фракиец пытался скрыть в улыбке чувство отвращения, вызванное в нем этим поступком, и сказал, мягко отняв от своей шеи руки девушки и отстранив ее красивым жестом от себя:

— Благодарю тебя, красавица, но в эту минуту я предпочел бы подкрепить свой желудок… в этом он сильно нуждается.

— Сюда, сюда, красавец-гладиатор, — сказала тогда Лутация, идя впереди Спартака и Требония в другую комнату, — здесь для вас приготовлен ужин. Идите, идите, — прибавила она, — твоя Лутация, Требоний, подумала о тебе и надеется, что ее жаркому из зайца нет равного даже у Марка Красса.

— Сейчас мы оценим, что ты приготовила, плутовка, — ответил Требоний, потрепав по спине хозяйку, — а пока принеси-ка нам кувшин велитернского! Старое ли оно?

— Клянусь милостивыми богами! — воскликнула Лутация, заканчивая приготовления на столе, вокруг которого усаживались приглашенные. — Он спрашивает меня, старо ли велитернское вино, которое я ему приготовила! Подумать только!.. Ему пятнадцать лет… Оно времен консульства Гая Целия Кальда и Луция Домиция

Агенобарба.

В то время как Лутация говорила эти слова, Азур, ее черная рабыня, принесла кувшин, сняла с него печать, которую приглашенные стали рассматривать, передавая друг другу, и перелила в высокий и широкий сосуд, наполненный уже наполовину водой, часть вина, а остальное — в другой, меньший сосуд, назначенный для хранения чистого вина. Затем оба сосуда она поставила на стол, на котором Лутация уже расставила бокалы перед каждым из гостей и чарку с ручкой между сосудами для разливания по бокалам.

Вскоре гладиаторы могли оценить, каково было искусство Лутации в приготовлении жареного зайца, и решить, сколько лет насчитывало велитернское вино, которое, если и не соответствовало возрасту, указанному на печати кувшина, было, однако, признано довольно старым и очень хорошим.

Ужин был не плохой, и среди гладиаторов не было недостатка в веселье. Вино было действительно хорошего качества, и так как его было более чем нужно, то веселые шутки и оживленная беседа вскоре наполнили комнату громким шумом. Один только Спартак, которым все восхищались, которого превозносили и

ласкали, — может быть, от стольких волнений, пережитых в этот день, или от радости приобретенной свободы — не был весел, неохотно ел и не шутил. Облако грусти и меланхолии как будто нависло над его лбом, и ни любезности, ни остроты, ни смех не развлекали его.

— Клянусь Геркулесом!.. Спартак, друг мой, я тебя не понимаю, — сказал наконец Требоний, который намеревался налить велитернского в его бокал, оказавшийся, к его удивлению, еще полным. — Что с тобою?.. Ты не пьешь…

— Почему ты грустен? — спросил в свою очередь один из приглашенных.

— Клянусь Юноной, матерью богов! — воскликнул другой гладиатор, в котором по выговору можно было угадать самнита, — можно подумать, что мы сидим не за дружеской пирушкой, а на погребальных поминках и что ты не свободу свою празднуешь, а оплакиваешь кончину своей матери.

— Моя мать! — произнес с глубоким вздохом Спартак.

И так как, вспомнив о матери, он стал еще грустнее, то бывший ланиста Требоний, поднявшись и взяв бокал, закричал:

— Предлагаю тост за свободу!

— Да здравствует свобода! — закричали со сверкающими от страстного желания глазами несчастные гладиаторы, вставая и поднимая свои бокалы.

— Счастлив ты, Спартак, что мог добиться ее при жизни, — сказал с опечаленным лицом, тоном, полным горечи, молодой гладиатор с белокурыми волосами, — мы же ее получим только со смертью.

При первом возгласе «свобода» лицо Спартака прояснилось; он поднялся с заблиставшими глазами, с ясным челом, с улыбкой на устах; высоко поднял свой бокал и ясным, сильным, звучным голосом тоже воскликнул:

— Да здравствует свобода!

Но при грустных словах гладиатора бокал, казалось, прилип к его губам. Спартак не мог до конца насладиться его содержимым и в порыве скорби и отчаяния поник головой. Он поставил бокал и сел, стиснув губы и погрузившись в глубокие думы.

Наступило молчание, во время которого взоры десяти гладиаторов были обращены со смешанным выражением зависти и радости, удовольствия и печали на счастливого товарища.

Это молчание было нарушено Спартаком.

Словно находясь в одиночестве или в забытьи, он, устремив неподвижный и задумчивый взор на стол, медленно прошептал, отделяя слово от слова, одну строфу из песни, которую в часы упражнений и фехтования обычно напевали гладиаторы в школе Акциана:

Свободным он родился,
Не гнул ни разу спину;
Потом попал в железные
Оковы на чужбину;
И вот не за отечество,
Не за богов родимых
Теперь он биться должен.
Не за своих любимых,
Сражаясь, умирает
Гладиатор…

— Наша песня! — прошептали некоторые гладиаторы с удивлением и радостью.

Глаза Спартака заблестели, однако он постарался снова принять мрачный и равнодушный вид и рассеянно спросил своих товарищей по несчастью:

— К какой школе вы принадлежите?

— К школе ланисты Юлия Рабеция.

Спартак тем временем взял со стола свой бокал, выпил его содержимое и, повернувшись к двери, как бы обращаясь к входившей в этот момент рабыне, сказал равнодушным тоном:

— Света!

Гладиаторы обменялись быстрым взглядом взаимного понимания, и белокурый юноша, бывший в их числе, добавил с рассеянным видом, словно продолжая начатую беседу:

— И свободы… Получил же ты ее по заслугам, мужественный Спартак.

Спартак обменялся быстрым взглядом с сидевшим против него белокурым гладиатором.

В тот момент, когда юный самнит произнес последние слова, раздался громкий голос человека, появившегося в дверях:

— Да, ты заслужил свободу, непобедимый Спартак!

Все повернули голову к дверям. На пороге стоял, закутанный в широкий темный плащ, мужественный Луций Сергий Катилина.

Когда Катилина произнес слово «свобода», глаза Спартака и всех гладиаторов, за исключением Требония, остановились на нем с выражением вопроса.

— Катилина! — воскликнул Требоний, который

сидел спиной к двери и потому не сразу увидал вошедшего Катилину, и поспешно двинулся к нему навстречу. Почтительно поклонившись и поднеся по обычаю руку к губам в знак приветствия, он прибавил: — Здравствуй, здравствуй, славный Катилина… Какой доброй богине, нашей покровительнице, обязаны мы честью видеть тебя в этот час и в этом месте среди нас?

— Я как раз искал тебя, Требоний, — сказал Катилина. — И немного, — прибавил он затем, обернувшись к Спартаку, — тебя.

Услыхав имя Катилины, прославившегося по всему Риму своей жестокостью, буйствами, своей силой и мужеством, гладиаторы переглянулись, пораженные, даже испуганные. Некоторые побледнели. И сам Спартак, в мужественной груди которого сердце никогда не трепетало от страха, сам Спартак вздрогнул, услышав это страшное имя патриция. Нахмурив лоб, Спартак устремил взор в глаза Катилины.

— Меня? — спросил он с изумлением.

— Да, именно тебя, — ответил спокойно Катилина, усаживаясь на предложенную ему скамейку и сделав знак всем садиться. — Я не знал, что встречу тебя здесь, и даже не надеялся на это, но был почти уверен, что найду тебя, Требоний, и

от тебя предполагал узнать, где можно отыскать этого мужественного, доблестного человека.

Спартак, все более изумляясь, смотрел на Катилину испытующим взором.

— Тебе была дарована свобода, и ты ее достоин. Но тебе не дали денег, на которые ты мог бы прожить, пока найдешь способ их зарабатывать. И так как своей храбростью ты подарил мне сегодня добрых десять тысяч сестерций, выигранных в пари против Гнея Корнелия Долабеллы, то я тебя и искал, чтобы отдать тебе часть этого выигрыша, принадлежащего по праву тебе; ведь если я рисковал деньгами, то ты в течение двух часов ставил на карту свою жизнь.

Шепот одобрения и симпатии к этому аристократу, решившемуся войти в сношение с презренными гладиаторами, пробежал среди несчастных.

Спартак чувствовал себя тронутым актом предупредительности, оказанной столь знатным лицом ему, уже давно отвыкшему от доброго к себе отношения, и ответил Катилине:

— Очень тебе благодарен, славный Катилина, за твое благородное предложение, которого, однако, я не могу и не должен принять. Я буду обучать борьбе, гимнастике, фехтованию и в

школе моего прежнего хозяина найду средства жить своим трудом.

Катилина нагнулся к уху Спартака, отвлекши внимание Требония, сидевшего по другую сторону от него, тем, что протянул ему свой бокал, приказав смешать велитернское с водой, и торопливо, еле слышно, прошептал:

— Ведь и я страдаю от ненависти олигархов, и я раб этого презренного и испорченного римского общества, и я — гладиатор среди патрициев, и я желаю свободы и… знаю всё…

И так как Спартак, вздрогнув, откинул голову назад, испытывая Катилину взглядом, тот продолжал:

— Я знаю всё и… я с вами… и буду с вами.

И затем, немного приподнявшись, он сказал более громким голосом, так чтобы все его услышали:

— Ради этого ты не откажешься от двух тысяч сестерций, заключенных в этом небольшом кошельке в таких красивых новых ауреях[34].

И Катилина протянул Спартаку изящный маленький кошелек, прибавив:

— Повторяю тебе: я не дарю их тебе — ты их

---

[34] Сноски: 34

Аурея — римская золотая монета.

заработал, они твои. Это твоя часть нашей сегодняшней добычи.

В то время как все присутствующие разразились почтительными похвалами и возгласами восхищения перед щедростью Катилины, последний взял в свою руку правую руку Спартака и пожал ее таким образом, что гладиатор вздрогнул.

— Теперь ты веришь, что я все знаю? — вполголоса спросил патриций фракийца.

Спартак, ошеломленный и не понимавший, откуда Катилина узнал некоторые тайные знаки и слова, вполне убедившись, однако, что Катилина действительно знал все, ответил ему на пожатие руки и, спрятав на груди — под тунику — данный ему кошелек, сказал:

— Я так взволнован и восхищен твоим благородным поступком, что не в силах достойно отблагодарить тебя, благородный Катилина. Но завтра, если ты согласен, я приду вечером в твой дом выразить всю мою признательность.

Спартак подчеркнул последние слова, сделав на них особое ударение и дав взглядом понять это патрицию, который, кивнув в знак согласия, ответил:

— В моем доме, Спартак, ты будешь всегда же-

ланным гостем. А теперь, — прибавил он тотчас же, обратившись к Требонию и остальным гладиаторам, — разопьем чащу фалернского, если только эта конура может оказать гостеприимство фалернскому вину.

— Если моя бедная таверна, — сказала любезно Лутация Одноглазая, стоявшая сзади Катилины, — удостоилась чести принять в своих стенах такого знаменитого патриция, как ты, Катилина, то, конечно, необходимо, чтобы с помощью провидящих богов бедная Лутация Одноглазая нашла в своем погребе маленькую амфору фалернского, достойного стола Юпитера.

Говоря так, она поклонилась Луцию Сергию и вышла, чтобы принести вина.

— А теперь выслушай меня, Требоний, — обратился Катилина к бывшему ланисте.

— Я слушаю.

И в то время как гладиаторы молча поглядывали на Катилину и время от времени вполголоса обменивались между собою краткими замечаниями о гибкости его членов и необыкновенной силе его рук с выдававшимися узлами мускулов, Катилина тихим голосом заговорил о чем-то с Требонием.

— Понял, понял… Эзефор — банкир, контора

которого находится близ угла, образованного Священной и Новой улицей, по соседству с курией Гостилия… — сказал Требоний.

— Правильно. Ты пойдешь туда, будто по своему почину, и намекнешь ему обиняком об опасности, которой он подвергнется в том случае, если будет настаивать на мысли вызвать меня к претору для немедленной уплаты ему пятисот тысяч сестерций, которые я ему должен.

— Понял, понял.

— Ты ему скажешь, что, вращаясь среди гладиаторов, услыхал разговоры о том, что несколько молодых патрициев, моих лучших друзей, преданных мне за мои подарки и благодеяния, собрали, без моего ведома конечно, отряд гладиаторов, чтобы сыграть с банкиром скверную шутку…

— Я понял… Катилина, и не сомневайся — все будет исполнено как следует.

Тем временем Лутация принесла фалернское вино; разлитое по чашкам, оно было сейчас же испробовано и найдено довольно хорошим, хотя и не настолько старым, как можно было желать.

— Как ты его находишь, славный Катилина? — спросила Лутация.

— Вино недурное.

— Оно времен консульства Луция Марция Филиппа и Секста Юлия Цезаря.

— Ему, значит, только двенадцать лет! — воскликнул Катилина, погрузившись при произнесении имен этих консулов в глубокую задумчивость.

Устремив широко раскрытые глаза на стол и машинально вертя оловянную вилку между пальцами, Катилина долгое время оставался безмолвным и неподвижным среди молчавших сотрапезников.

Судя по кровавому блеску, появлявшемуся в его зрачках, по дрожанию руки, по вздувшейся большой вене, которая пересекала его лоб, в душе Катилины происходила страшная борьба и в мозгу роились грозные замыслы.

Катилина был по натуре человек необыкновенно искренний даже в своей жестокости; поэтому он не мог, даже при желании, скрывать бурю ужасных страстей, бушевавших в его груди, и они, как в зеркале, моментально отражались на его нахмуренном мужественном и мускулистом лице.

— О чем ты думаешь, Катилина? Что тебя так сильно огорчает? — спросил его наконец Требоний.

— Я думал, — ответил Катилина, по-прежнему вперив глаза в стол и судорожно вращая вилкой, — я думал о том, что в году, когда было налито в кувшин это фалернское вино, был предательски убит в портике своего дома трибун Ливий Друз, подобно тому как за немного лет до этого был убит трибун Луций Апулей Сатурнин, как еще ранее были зверски зарезаны Тиберий и Гай Гракхи, две величайших души, которые были украшением нашей родины. И всякий раз за одно и то же дело — за дело неимущих и угнетенных, и всякий раз одной и той же преступной рукой — рукой бесчестных аристократов.

И после минуты раздумья он воскликнул:

— И неужели написано в заветах великих богов, что угнетаемые никогда не получат покоя, что неимущие никогда не получат хлеба, что человечество всегда будет разделено на два лагеря — волков и ягнят, пожирающих и пожираемых?..

— Нет! Клянусь всеми богами Олимпа! — закричал могучим голосом Спартак, ударив кулаком по столу. Лицо его было искажено злобой и гневом.

Но так как Катилина вздрогнул и устремил на него взгляд, он тотчас же прибавил обычным спокойным голосом:

— Нет, высшие боги не должны были устано-

вить в своих заветах столь огромной несправедливости.

И снова наступило молчание.

Первым нарушил его Катилина, сказав голосом, полным сострадания:

— Бедный Друз!.. Я знал его… Молодой, с мужественной и благородной душой, одаренный высшими добродетелями, он стал жертвой предательства и убийства.

— И я его помню, — сказал Требоний, — когда он произносил свою речь в комициях и, снова предлагая аграрные законы, громя патрициев, говорил: «Какое благодеяние теперь можно еще оказать народу при вашей жадности, если вы не хотите дать ему даже эти пустяки?»

— И самым ярым врагом его, — сказал Катилина, — был консул Луций Марций Филипп, против которого народ в один прекрасный день восстал и убил бы его, без сомнения, если бы Друз не спас его, отведя в тюрьму.

— Но недостаточно быстро, и Филипп успел получить такой удар по лицу, что кровь у него брызнула из носа.

— Говорят, — подхватил Катилина, — что Друз, увидев это, воскликнул: «Это не кровь, а соус из дроздов!» — намекая на позорные кутежи, кото-

рым Филипп предавался каждую ночь, не зная никакой меры.

В то время как происходил этот разговор, в передней комнате шум и неприличные крики все усиливались соответственно количеству вина, которое было проглочено находившимися в ней пьяницами.

Вдруг Катилина и его сотрапезники услышали гул голосов, кричавших хором:

— А, Родопея! Родопея![35]

При этом имени Спартак вздрогнул всем телом. Оно напомнило ему его Фракию, его горы, его дом, его семью. Несчастный! Сколько разрушенного счастья! Сколько сладких и печальных воспоминаний!

— Добро пожаловать, добро пожаловать, прекрасная Родопея! — воскликнули разом десятка два этих пьяниц.

— Дадим ей пить, ведь она шла за этим, — сказал могильщик, и все столпились вокруг девушки.

Родопея была красивая девушка двадцати двух лет, высокая и стройная, с чистым лицом, с правильными чертами, с очень длинными бело-

---

[35] Сноски: 35
Имеются в виду Родопские горы — родина Спартака.

курыми волосами, голубыми глазами, живыми и полными души. Она была одета в синюю тунику, украшенную серебряными каемками; на руках ее были серебряные браслеты, а вокруг головы синяя лента из шерсти. По всему ее виду можно было догадаться, что она не римлянка, а рабыня низшего сорта, и отсюда легко можно было понять, какую злосчастную жизнь она принуждена была вести.

Насколько можно было заключить по очень сердечному и достаточно почтительному отношению, с которым обращались к ней дерзкие и бесстыдные завсегдатаи таверны Венеры Либитины, видно было, что эта девушка очень добра, несмотря на тяжелую жизнь, и крайне несчастна, несмотря на ее показную веселость. Только этими качествами она сумела приобрести бескорыстное расположение со стороны грубых и озлобленных людей. Ее милое лицо и скромные манеры, доброта и любезность ее обращения покорили их.

Однажды попав в заведение Лутации, вся окровавленная от побоев, которым ее подверг хозяин, по профессии сводник, она, в слезах и сильно страдая от жажды, попросила глоток вина, чтобы немного подкрепиться. С этого дня, именно за два месяца до начала нашего рассказа, Родопея через

каждые два или три дня при всякой возможности заходила вечером в таверну Лутации. Проводимые здесь четверть часа свободной жизни казались ей блаженным отдыхом, несказанным счастьем по сравнению с тем адом, в котором она мучилась изо дня в день, из часа в час.

Родопея находилась близ скамьи Лутации и потягивала из стакана предложенное ей албанское вино. Крик, вызванный ее приходом, уже прекратился, когда в противоположной стороне комнаты поднялся новый шум.

Это могильщик Лувений, его сотоварищ по имени Арезий и мнимый нищий Веллений, разгоряченные слишком обильными возлияниями, начали беседовать о Катилине. Им уже было известно, что он находится в другой комнате. Трое пьяных начали извергать всякие хулы по адресу патрициев, хотя остальные посетители пытались призывать их к более осторожным выражениям.

— Нет, нет, — кричал могильщик Арезий, человек по своей дородности и богатырскому росту не уступавший атлету Гаю Тауривию, — нет, клянусь Геркулесом и Каком! Этих подлых пиявок, питающихся нашими слезами и кровью, не следует сюда пускать.

— И кто этот богач Катилина, погрязший в

кутежах и преступлениях, наемный убийца Суллы? Зачем приходит он сюда в роскошной своей латиклаве смеяться над нашей нищетой, первой и единственной причиной которой является он сам и все его друзья-патриции?

Так, беснуясь, говорил Лувений и старался вырваться из рук атлета, который не давал ему броситься в другую комнату и вызвать там ссору.

— Замолчи, проклятый пьяница! Зачем оскорблять того, кто тебя не трогает? И разве ты не видишь, что с ним десять или двенадцать гладиаторов, которые разорвут на куски твою старую шкуру?

— Плевать на гладиаторов!.. Плевать на них! — заревел в свою очередь, как безумный, бесстыдный Эмилий Варин. — Вы — свободные граждане и, клянусь всемогущими молниями Юпитера, боитесь этих презренных рабов, обреченных на то, чтобы убивать друг друга для нашего удовольствия?.. Клянусь божественной красотой Венеры-Афродиты, я хочу, чтобы этому негодяю в роскошной тоге, который соединяет в себе пороки патрициев и все пороки самой подлой черни, был дан урок, который навсегда отнял бы у него охоту приходить любоваться вблизи несчастьем бедного плебса.

— Убирайся на Палатин! — кричал Веллений.

— Провались хоть к Стиксу[36], вон отсюда! — прибавил Арезий.

— Пусть они оставят нас в нашей нищете в Целии, Эсквилине и Субурре, эти подлые аристократы, и пускай издыхают на своих скотских кутежах на Форуме, Капитолии и Палатине!

— Долой патрициев! Долой аристократов! Долой Катилину! — закричали разом восемь или десять голосов.

Услыхав этот шум, Катилина грозно нахмурил брови и вскочил с места. Требоний и один гладиатор пытались уверить его, что они сами призовут к порядку этот сброд. Они хотели удержать Катилину, но он бросился вперед и стал в дверях во всем величии своей фигуры. Скрестив на груди руки, с высоко поднятой головой и грозным взором, он закричал во всю силу своего страшного голоса:

— Эй вы, безмозглые лягушки! О чем расквакались? Зачем вы пачкаете своими грязными рабскими устами уважаемое имя Катилины? Чего вы хотите от меня, презренные черви?

Грозный звук этого мощного голоса, казалось,

---

[36] Сноски: 36

Стикс — одна из рек, омывающих подземное царство мертвых.

на мгновение испугал смутьянов, но вскоре раздался чей-то возглас:

— Мы желаем, чтобы ты ушел отсюда!

— На Палатин! На Палатин! — воскликнули другие голоса.

— Или на гемонию![37] Там твое место! — пронзительно завопил хриплым, полуженским голосом Эмилий Варин.

— Так попытайтесь же меня прогнать! Вперед, смелее, подлая чернь! — взревел Катилина, отняв руки от груди и вытянув их так, как это делают, готовясь к борьбе.

Среди плебеев наступил момент колебания.

— О, клянусь богами ада! — закричал наконец могильщик Арезий. — Ты не схватишь меня сзади, как бедного Гратидиана. Не Геркулес же ты!

И он кинулся на Катилину, но получил от него такой страшный удар в середину груди, что зашатался и упал на руки стоявших позади; в то же время могильщик Лувений, бросившийся тоже на Катилину, повалился на спину у ближайшей стены от двух могучих ударов, которые Катилина нанес с быстротой молнии один за другим по его лысому черепу.

---

[37] Сноски: 37

Гемония — крутой спуск у Авентинского холма в Риме, по которому влачили к Тибру тела казненных.

Женщины в страхе, с визгом и громким плачем забились за прилавок Лутации. В большой комнате шла беготня, свалка, суматоха, грохот от разбиваемой посуды и падавших скамеек, крики, ругань и проклятия. Посетители другой комнаты — Требоний, Спартак и остальные гладиаторы — умоляли Катилину отойти от двери и дать им возможность вмешаться в драку.

Катилина тем временем сильным пинком в живот поразил и опрокинул на землю мнимого нищего Велления, бросившегося на него с кинжалом в руке.

При этом падении враги Катилины, тесно столпившиеся у двери второй комнаты таверны, отступили, а Луций Сергий обнажил короткий меч и бросился вперед, нанося страшные удары плашмя по спине пьяниц и восклицая хриплым голосом, скорее похожим на рев дикого зверя:

— Подлая чернь, нахалы! Вы всегда готовы лизать ноги того, кто вас топчет, и оскорблять того, кто нисходит, чтобы протянуть вам руку…

Следом за Катилиной, едва он оставил дверь свободной, в комнату ворвались Требоний, Спартак и их товарищи.

Сброд, который и без того начал отступать под градом ударов Катилины, при натиске гладиато-

ров обратился в стремительное бегство. Таверна очень скоро совершенно опустела. Остались только Веллений и Лувений, лежавшие на полу, оглушенные и стонущие, и еще Гай Тауривий, который не принимал никакого участия в схватке и стоял в углу возле печки бесстрастным зрителем, со скрещенными на груди руками.

— Подлая мразь!.. — тяжело дыша, кричал Катилина, преследуя бегущих до выходной двери.

Затем, повернувшись к женщинам, не переставшим плакать и скулить, Катилина закричал:

— Замолчите вы, наконец, проклятые плакальщицы! На вот тебе! — добавил потом Катилина, бросая пять золотых на прилавок, за которым Лутация оплакивала разбитую посуду и неоплаченные убежавшими бездельниками яства и вино. — На тебе, несносная плакса! Катилина платит за всю эту сволочь!

В эту минуту Родопея, рассматривавшая Катилину и его друзей, с расширенными от страха глазами внезапно побледнела, как полотно, и, бросившись к Спартаку, воскликнула:

— Я не ошибаюсь! Нет, нет, я не ошибаюсь! Это ты, Спартак, мой Спартак!

— Как!.. — страшно закричал гладиатор, быстро повернувшись на этот голос и смотря с невыра-

зимым волнением на девушку, подбежавшую к нему. — Ты? Возможно ли это? Ты? Мирца!.. Мирца!.. Сестренка!..

И при наступившем молчании и изумлении брат с сестрой бросились друг другу в объятия.

После первого взрыва слез и поцелуев Спартак вдруг освободился из объятий, схватил сестру за кисти рук, отодвинул ее от себя, оглянул с головы до ног и с дрожью в голосе и со смертельной бледностью на лице пробормотал:

— Но ты… Ах! — воскликнул он затем, с жестом презрения и отвращения оттолкнув девушку. — Ты стала…

— Я рабыня, — бормотала, рыдая, несчастная девушка. — Рабыня одного негодяя… Розги, пытки раскаленным железом… Понимаешь, Спартак, понимаешь.

— Бедняжка! Несчастная! — сказал голосом, дрожащим от сострадания, бедный гладиатор. — Сюда, сюда, к моему сердцу…

И он привлек к себе Мирцу, крепко прижал ее к груди и поцеловал.

А спустя момент, подняв к потолку глаза, полные слез и сверкающие гневом, с угрозой потряс мощным кулаком и страстно воскликнул:

— И у Юпитера есть молния?.. И Юпитер бог?..

Нет, нет, Юпитер — шут, Юпитер — скоморох, Юпитер — презреннейший негодяй!..

А Мирца, уткнувшись лицом в грудь Спартака, прерывисто рыдала.

— О, будь проклята, — добавил после мгновения тягостного молчания бедный фракиец с криком, который, казалось, вырвался не из человеческой груди, — будь проклята позорная память о первом человеке, жившем на земле, который своим семенем произвел два разных поколения — свободных и рабов!



Глава IV
Как пользовался Спартак своей свободой

Два месяца прошло со времени событий, о которых мы рассказали в предыдущих главах.

Утром накануне январских ид (12 января) следующего, 676 года сильный, порывистый северный ветер метался по улицам Рима и разгонял серые тучи, придававшие небу печальный и однообразный вид. Мелкие хлопья снега медленно падали на мокрую и грязную мостовую.

Граждане спешили на Форум по своим делам, проходили редкими группами и в одиночку. А под портиками Форума, курии Гостилия, Грекостаза (дворца послов), а также под портиками базилики Порция, Фульвия, Эмилия, Семпрония и храмов Весты, Кастора и Поллукса, Сатурна и Согласия, воздвигнутого в 387 году от основания Рима Фурием Камиллом по случаю достигнутого им в последний год его диктатуры мирного соглашения между плебеями и патрициями, толпились тысячи граждан. Отсюда толпа переходила также под портики храма богов — покровителей Рима.

Грандиозны и великолепны были здания, окружавшие величественный огромный римский форум, который простирался от нынешней площади Траяна до площади Монтанара и от арки Константина до арки Пантанов, доходя до храмов между холмами Капитолийским, Палатинским, Эсквилинским и Виминальским. Современный римский форум представляет собою только бледное подобие древнего. Много народу было внутри базилики Эмилия, грандиозного здания, состоявшего из обширнейшего центрального портика, окруженного великолепной колоннадой, от которой вправо и влево шли два боковых портика.

Здесь в беспорядке толпились патриции и плебеи, ораторы и деловые люди, горожане и торговцы; разделившись на небольшие группы, они беседовали о своих делах. И в воздухе стоял гул голосов, жужжание и шум беспрерывной оживленной сутолоки.

В глубине главного портика, как раз против входной двери, находилась широкая и длинная балюстрада, отделявшая часть портика от остальной части базилики и образовавшая, таким образом, как бы особое помещение, удаленное от шума и гама. Обычно здесь судьи разбирали дела и выступали ораторы с защитительными реча-

ми. Наверху колоннады вокруг всего помещения базилики тянулась галерея, с которой можно было удобно наблюдать за тем, что происходило внизу.

В этот день рабочие — каменщики, штукатуры и кузнецы — работали на балюстраде, окружавшей галерею; они украшали ее бронзовыми щитами, на которых с поразительным искусством были изображены подвиги Мария в кимврской войне.

Базилика Эмилия была выстроена предком Марка Эмилия Лепида. Он был в этом году выбран вместе с Квинтом Лутацием Катулом в консулы и вступил в исполнение своих обязанностей как раз с первого января.

Марк Эмилий Лепид, как мы уже упоминали, принадлежал к партии Мария, и потому первым его государственным делом было украсить этими щитами базилику, выстроенную его прадедом в 573 году после основания Рима. Лепид хотел это сделать для народной партии и одновременно причинить неприятность Сулле, который разрушил все арки и памятники, воздвигнутые в честь его доблестного соперника.

На верхней галерее среди многих праздных, глазевших на движение и толкотню толпив-

шегося внизу сборища, стоял, облокотясь на мраморные перила и подперши голову руками, Спартак. Он рассеянным и равнодушным взором смотрел на людей, суетившихся внизу.

На нем была голубая туника, а поверх нее короткий греческий плащ вишневого цвета, прикрепленный к правому плечу изящной серебряной застежкой.

Недалеко от него оживленно беседовали три гражданина.

Двое из них уже знакомы нашим читателям: это были атлет Гай Тауривий и бесстыдный Эмилий Варин. Третий собеседник был одним из очень многих праздношатающихся граждан, которые ничего не делали и жили ежедневными подачками какого-либо патриция, клиентами которого они себя объявляли; они сопровождали его на Форум и в комиции, подавали голос по его приказанию, расхваливали его, льстили ему и надоедали постоянным попрошайничеством.

Это было время, когда победы в Африке и Азии привили Риму восточную роскошь и негу и когда Греция, побежденная римским оружием, сама покоряла своих победителей развращенностью изнеженных нравов; это было время, когда все увеличивающиеся толпы рабов исполняли все

работы, которыми до этого занимались трудолюбивые свободные граждане, и уничтожили самый мощный источник силы, нравственности и счастья — труд. И под видимым величием, богатством и мощью в Риме уже чувствовалось развитие роковых зародышей близкого упадка. Клиентела была одной из тех язв, которые вызывали наибольшую степень разложения в период, относящийся к нашему рассказу, и послужила причиной печальных последствий, сказавшихся уже в выступлениях Гракхов, Сатурнина, Друза и в междоусобных раздорах Суллы и Мария. Еще более печальные последствия сказались немного позже — в ежедневных свалках и в мятежах Катилины, Клодия и Милона, которые должны были впоследствии закончиться триумвиратом Цезаря, Помпея и Красса.

Всякий патриций, всякий гражданин, носивший консульское звание, всякий честолюбец, который имел достаточно денег, чтобы раздавать их, кормил пятьсот — шестьсот клиентов, а были и такие, у которых клиентов было свыше тысячи. Эти способные к труду граждане исполняли обязанности клиентов совершенно так же, как в прошедшие времена иные занимались ремеслами кузнеца, каменщика или сапожника;

нищие, в грязных тогах, разные приверженцы, преступные и продажные, кормились интригами, продажей своих голосов, милостыней и низкопоклонством, хоть и носили гордую тунику римского гражданина.

И субъект, стоявший в галерее базилики Эмилия и болтавший с Гаем Тауривием и Эмилием Варином, был именно одним из этих выродков. Имя его было Апулей Тудертин — его предки пришли в Рим из города Туди, — и был он клиентом Марка Красса.

Эти три человека, болтая всякий вздор о народных делах, стояли неподалеку от Спартака, который не слышал их разговора: он был всецело погружен в глубокие и печальные размышления.

После того как он нашел сестру в таком позорном положении, первой заботой, первой мыслью бедного фракийца было вырвать ее из рук человека, который угнетал ее. И нужно сказать, что Катилина с щедростью, свойственной его характеру и на этот раз не совсем бескорыстной, сейчас же передал в распоряжение бывшего гладиатора остальные восемь тысяч сестерций, выигранных им в тот день у Долабеллы, для того чтобы Спартак мог выкупить Мирцу у ее хозяина.

Спартак с признательностью принял эти деньги, обещав Катилине вернуть их, чего последний вовсе не требовал. Затем он отправился к хозяину сестры, чтобы выкупить ее. Как легко было предвидеть, последний, увидев настойчивость бывшего гладиатора и сообразив, как велико его желание видеть рабыню-сестру свободной, поднял свои требования непомерно. Он сказал, что Мирца ему стоила двадцать пять тысяч сестерций — приврав наполовину, заявил, что она красивая и скромная девушка, и, сделав свои расчеты, заключил, что она представляет капитал не менее чем в пятьдесят тысяч сестерций. Он поклялся Меркурием и Венерой Мурсийской, что не отдаст ее дешевле хоть бы на один сестерций.

Что стало при этом с бедным гладиатором, легче вообразить, чем описать. Он просил, умолял гнусного торговца человеческим телом, но негодяй, уверенный в своих правах и имея на своей стороне закон, чувствовал себя господином положения и оставался непреклонным.

Тогда Спартак в бешенстве схватил негодяя за горло и задушил бы его в несколько секунд, если бы вовремя не удержался. К счастью для мошенника, готового испустить дух в страшных объятиях, Спартак подумал о Мирце, о своей

родине и о тайном предприятии, в котором он участвовал и был первой и самой могучей пружиной, о неизбежной гибели предприятия вместе с ним.

Он успокоился и выпустил хозяина Мирцы, который, с глазами, наполовину вылезшими из орбит, и с совершенно посиневшим лицом и шеей, остался на месте, оглушенный и почти без чувств. Подумав несколько секунд, Спартак повернулся к нему и спросил спокойным голосом, хотя лицо его было еще очень бледно и весь он дрожал от гнева и волнения:

— Итак, ты хочешь… пятьдесят тысяч сестерций?..

— Я… больше ни… чего не хочу… Уходи… уходи… в ад… или я… позову всех моих рабов…

— Извини… Прости меня… Я погорячился… Моя бедность… любовь к сестре… Послушай, мы придем к соглашению.

— К соглашению с человеком, который сразу принимается душить людей? — сказал, несколько успокоившись, хозяин Мирцы, отступив назад и держа руки у шеи. — Уходи вон! Прочь!

Малу-помалу, однако, Спартак успокоил грабителя и пришел с ним к следующему соглашению: он дает ему тут же две тысячи сестерций с усло-

вием, чтобы тот отвел Мирце особое помещение в доме, где будет жить и Спартак. Если по прошествии месяца Спартак не выкупит сестру, то рабовладелец вновь вступает в свои права над нею.

Хозяин согласился: золотые монеты сверкали так заманчиво, условие было так выгодно — он зарабатывал по меньшей мере тысячу сестерций, ничем не рискуя.

Спартак, убедившись в том, что Мирца помещена в удобную маленькую комнатку, расположенную за перистилем[38] дома сводника, ушел и направился в Субурру, где жил Требоний. Он рассказал ему все и попросил помощи и совета.

Требоний постарался успокоить Спартака, уверив его в своем искреннем стремлении помочь ему добиться желанной цели. Он обещал вывести Спартака из затруднения и дать ему возможность видеть сестру если и не вполне свободной, то по крайней мере защищенной от всяких оскорблений.

Несколько успокоенный, Спартак быстро направился в дом Катилины и с благодарностью отдал полученные от него взаймы восемь ты-

---

[38] Сноски: 38

Перистиль — окруженное колоннами пространство.

сяч сестерций, в которых он в данный момент больше не нуждался. Мятежный патриций долго беседовал с гладиатором в своей библиотеке, — вероятно, они говорили о секретных делах очень большого значения, если судить о предосторожностях, принятых Катилиной для того, чтобы ему не мешали во время этой беседы; во всяком случае, с этого дня Спартак часто приходил в дом патриция, и все заставляло думать, что между ними установилась связь, основанная на взаимном уважении и дружбе.

Между прочим, с того дня, как Спартак получил свободу, его бывший ланиста Акциан не переставал ходить за ним и надоедать бесконечными разговорами о ненадежности его положения и необходимости позаботиться о прочном и обеспеченном устройстве его судьбы; все эти разговоры сводились к тому, что Акциан предлагал Спартаку или управлять его школой, или — еще лучше — добровольно продать себя вновь в гладиаторы; за последнее он сулил Спартаку такую огромную сумму, какая никогда не предлагалась свободнорожденному.

Свободнорожденными назывались люди, родившиеся от свободных граждан, или от отпущенников, или от свободного и рабыни, наконец,

от раба и свободной. Здесь надо упомянуть, что, кроме несчастных рабов, взятых на войне, которые поступали в продажу и предназначались в гладиаторы, и кроме тех, которых судьи приговаривали к этому ремеслу, были еще добровольцы. Обычно это были бездельники, кутилы и забияки, погрязшие по уши в долгах, неспособные удовлетворить свою необузданную страсть к удовольствиям и относившиеся с презрением к жизни, или искусные фехтовальщики; они продавали себя ланисте, давая присягу, формула которой дошла до нашего времени, и оканчивали свою жизнь на арене амфитеатра или цирка.

Естественно, Спартак решительно отверг все предложения своего бывшего ланисты, а последний, хотя фракиец дал ему понять, чтобы он не надоедал ему своим присутствием, не переставал ходить за ним по пятам и вертеться возле него наподобие злого гения или зловещей птицы.

Тем временем Требоний, который полюбил Спартака и, быть может, имел большие виды на него в будущем, очень энергично занялся вопросом о Мирце. Так как он был близким другом Квинта Гортензия и горячим поклонником его красноречия, ему удалось предложить сестре последнего, Валерии, купить Мирцу и принять ее

в число рабынь, специально приставленных для ухода за ее особой, ибо Мирца была воспитанная и образованная девушка, прекрасно говорила по-гречески, довольно хорошо знала мази и благовония и умела обращаться с ними.

Валерия не отказалась от приобретения девушки, если она ей подойдет, и пожелала ее видеть; поговорила с ней, и так как Мирца ей понравилась, то она сейчас же купила ее за сорок пять тысяч сестерций и увезла вместе с другими своими рабынями в дом Суллы, женой которого она стала с 15 декабря предыдущего года.

Хотя это разрешение вопроса не отвечало желанию Спартака, хотевшего видеть сестру свободной, тем не менее оно было лучшим из того, что ему представлялось в его положении, так как отдаляло, и, вероятно, навсегда, опасность видеть Мирцу обреченной на позор и бесчестье.

Итак, успокоившись насчет сестры, Спартак продолжал заниматься какими-то таинственными и в то же время очень серьезными делами, если судить по его частым беседам с Катилиной, по усердным ежедневным посещениям всех гладиаторских школ в Риме и по обходу вечерами трактиров и харчевен Субурры и Эсквилина, где он всегда искал общества гладиаторов и рабов.

О чем же он мечтал? За какое дело взялся? Что задумал?

Читатель скоро это узнает.

Несомненно, что теперь в галерее базилики Эмилия Спартак был погружен в очень серьезные размышления; поэтому он ничего не слышал из того, что говорилось вокруг него, и ни разу не повернул головы в ту сторону, где невдалеке от него галдели Гай Тауривий, Эмилий Варин и Апулей Тудертин, грубо крича и насмешливо жестикулируя.

— И хорошо, очень хорошо, — сказал Гай Тауривий, продолжая начатую беседу с товарищами.

— Ах!.. этот добряк Сулла!.. Он считал, что в состоянии уничтожить памятники славы Мария?.. Счастливый диктатор думал, что достаточно будет для этого снести статую, воздвигнутую в честь Мария на Пинцийском холме, и арку в Капитолии, поставленную в память его побед над тевтонами и кимврами!.. Он верил, что достаточно сделать это, чтобы вычеркнуть всякий след, всякую память о бессмертных подвигах арпинского крестьянина. Несчастный слепец!.. Его дикая жестокость, страшное могущество могут, пожалуй, лишить город всех его обитателей и сделать из Италии груду развалин, но не в состоя-

нии сделать того, чтобы Югурта не был побежден и чтобы сражения при Аквах Секстийских и при Верцеллах не произошли.

— Бедный глупец! — воскликнул своим писклявым голосом Эмилий Варин. — А вот консул Лепид приказывает поместить в этой базилике великолепные бронзовые щиты, изображающие победы Мария над кимврами.

— Я бы сказал, что этот Лепид стал бельмом на глазу счастливого диктатора!

— Ну, пусть так!.. Бедняга Лепид! — сказал с выражением высшего презрения тучный, толстобрюхий клиент Красса. — Какое беспокойство, по вашему мнению, может он доставить Сулле? Не больше, чем мошка — слону!

— Но разве ты не знаешь, что помимо того, что он консул, он богат, богаче твоего патрона Марка Красса?

— Что он богат, я знаю, но что он богаче Красса, я не верю.

— А видел ли ты портики его дома, самые красивые и великолепные не только на Палатине, но и во всем Риме?

— Ну! И что, если его дом самый красивый в Риме?..

— Это единственный дом, у которого портик из

нумидийского мрамора.

— И что же? Неужели этим Лепид внушит страх Сулле?

— Это доказывает, что он могуществен и пользуется расположением народа…

— Вот как! Он пользуется симпатиями плебеев, которые его же страшно порицают за безумную и безмерную роскошь?

— Нет, это не плебеи его порицают, а завистливые патриции, которые не могут позволить себе того же.

— Вот увидите, — сказал Варин, — в этом году должно произойти нечто невиданное.

— Почему?

— Потому что в Ариминском округе случилось действительно чудесное происшествие.

— Что же там произошло?

— Один петух в имении Валерия вместо того, чтобы запеть, заговорил человеческим голосом.

— О! если это правда, то это поистине необыкновенное чудо и, очевидно, предвещает страшные события.

— Если это правда?.. Но ведь об этом факте говорит весь Рим, потому что весть о нем разнесли сейчас же по возвращении из Ариминума сам Валерий, его семейные, друзья и рабы.

— Действительно, необыкновенное чудо! — пробормотал Апулей Тудертин, весь начиненный суевериями и очень религиозный.

Он глубоко задумался над тайным смыслом этого происшествия, в которое он твердо уверовал и которое признал знамением богов.

— Коллегия авгуров уже собралась для того, чтобы разгадать тайну, которая может скрываться под таким странным происшествием, — проговорил пронзительным голосом Эмилий Варин и, сделав тотчас же знак глазами атлету, добавил: — Для меня, хотя я и не авгур, дело ясно, как свет солнца.

— О! — воскликнул, выпучив глаза, сильно удивленный Апулей.

— И нечего тебе так удивляться.

— О-о! — воскликнул на этот раз насмешливым тоном клиент Марка Красса. — Ну так разъясни, раз ты знаешь больше авгуров, разъясни сокровенный смысл этого чуда.

— Это предостережение богини Весты, оскорбленной скандальным поведением одной из ее жриц.

— А-а!.. Я понял! Верно… Хорошо сказано… Именно это так, — сказал, смеясь, Гай Тауривий.

— Счастливцы вы оба, что понимаете так быст-

ро, я, признаться, не так проницателен и ничего не понял.

— Ты притворяешься?

— Нет, клянусь двенадцатью богами Рима, вовсе нет.

— Ну хорошо!.. Варин намекает на кощунственную любовную связь весталки Лициний с твоим патроном Марком Крассом.

— Позор и клевета! — воскликнул с негодованием верный клиент. — Негодяи не только те, которые говорят это, но и те, которые так думают!

— И все-таки я это говорю, — возразил саркастическим тоном с улыбкой Варин. — А если тебе не хватает смелости, то иди послушай этих добрых квиритов. Все они в один голос будут настойчиво кричать против этой кощунственной любви, которую твой патрон питает к красивой весталке.

— Повторяю, что это клевета!

— Ну, добрейший Апулей Тудертин, что ты должен так говорить — это в порядке вещей, но, клянусь жезлом Меркурия, вовсе не следует, чтобы и мы заблуждались, подобно тебе. Любовь сложно спрятать, и если бы Красс не любил Лициний, он не лип бы к ней постоянно на всех публичных зрелищах, не осаждал бы ее своими

беспрерывными заботами и нежными взглядами и… Нам все понятно. Ты говоришь «нет», а мы говорим «да». Молись Венере Мурсийской с таким же усердием, с каким ты ловишь щедроты Красса, чтобы в какой-нибудь день цензор не вмешался в это дело.

В эту минуту человек среднего роста, со страшно крепкими плечами и грудью, с сильными кривыми ногами и руками, с энергичными, мужественными и резкими чертами лица, придававшими ему внушительный вид, с черной как смоль бородой, черными глазами и волосами, слегка ударил левой рукой по плечу Спартака, оторвав его от размышлений.

— Ты так погружен в свои планы, что глаза твои смотрят в упор, но ничего не видят?..

— А, Крикс! — воскликнул Спартак, поднеся правую руку ко лбу и потирая его, как бы желая отвлечься от своих мыслей. — Я тебя не видел.

— И однако, ты на меня смотрел, когда я проходил там внизу вместе с нашим ланистой Акцианом.

— Да будет он проклят!.. Ну, как дела?

— Я видел Арторикса после его возвращения из поездки.

— Был он в Капуе?

— Да.

— С кем-нибудь виделся?

— С одним германцем, неким Эномаем, которого считают среди всех остальных его товарищей самым сильным и энергичным.

— Ну-ну? — спросил Спартак со все возрастающей тревогой. — Ну и что же?..

— Этот Эномай питал надежды и мечты, подобные нашим; поэтому он принял всей душой наш план, присягнул Арториксу и обещал распространять нашу святую и справедливейшую идею — прости, если я говорю «нашу», когда я должен сказать «твою»! — среди наиболее смелых гладиаторов из школы Лентула Батиата.

— Что ж, если боги, обитающие на Олимпе, окажут помощь усилиям несчастных и угнетенных, я уверен, что недалеко то счастливое время, когда рабство исчезнет с лица земли.

— Однако Арторикс сообщил мне, — добавил Крикс, — что этот Эномай хотя очень смел, но легковерен, неосторожен и неблагоразумен.

— Клянусь Геркулесом!.. Это скверно… Очень скверно!

— Я подумал то же.

И оба гладиатора замолчали. Первым нарушил молчание Крикс, спросивший Спартака:

— А Катилина?

— Я начинаю убеждаться, — ответил фракиец, — что он никогда не пойдет с нами в нашем предприятии.

— Значит, ложь — та слава, которая идет о нем, и сказка — хваленое величие его души?

— У него великая душа и еще больший ум, но он пропитан всеми предрассудками своего воспитания, чисто римского. Я думаю, что он хотел бы воспользоваться нашими мечами для того, чтобы изменить существующий порядок управления, но не для того, чтобы исправить варварские законы, благодаря которым Рим тиранствует над всем миром. — И, помолчав немного, он добавил: — Сегодня вечером я буду в его доме с его друзьями для того, чтобы постараться прийти к соглашению относительно общего выступления, но я боюсь, что мы ни к чему не придем.

— А наша тайна ему известна?..

— Никакая опасность нам не грозит: если не удастся сговориться, они все же нас не предадут. Римляне так мало боятся нас — рабов, слуг, гладиаторов, что не считают нас способными создать серьезную угрозу их власти.

— Это верно: в их глазах мы вовсе не люди.

— Даже с рабами, которые восстали в Сицилии

восемнадцать лет тому назад под начальством Эвна, сирийского раба, и вели такую ожесточенную борьбу с Римом, они считались больше, чем с нами.

— Верно, эти — уже почти что люди.

— В их глазах мы низшая раса.

В глазах Крикса сверкали искры дикого гнева.

— Ах, Спартак, Спартак, — прошептал он, — более, чем за жизнь, которую ты мне спас в цирке, я буду тебе благодарен за настойчивое, вопреки всем трудностям, проведение дела, которому ты себя посвятил. Постарайся объединить нас, руководи нами, чтобы мы могли пустить в ход наши мечи, добейся, чтобы нам удалось помериться силой в открытом бою с этими знатными разбойниками, и мы им покажем, люди ли мы, как они, или низшая раса.

— До конца жизни я буду вести свое дело и всеми силами души доведу его до славного конца или погибну в борьбе за него!

Спартак произнес эти слова твердым и убежденным тоном, пожимая правую руку Крикса, который, подняв ее и прижав к сердцу, сказал, сильно взволнованный:

— О Спартак, ты рожден для великих дел, из таких людей, как ты, выходят герои!

— Или мученики, — прошептал Спартак с выражением глубокой грусти, опустив голову на грудь.

В этот момент раздался пронзительный голос Эмилия Варина:

— Итак, Гай, Апулей, пойдем в храм Раздора[39] узнать результат совещания Сената.

— А разве сегодня Сенат собрался в храме Согласия? — спросил Тудертин.

— Да, — ответил Варин.

— В старом храме или новом?

— Ах, как ты глуп! Если бы Сенат собрался в храме, посвященном Фурием Камиллом истинному согласию, я бы сказал тебе: «Пойдем в храм Согласия». Но если я сказал: «Пойдем в храм Раздора», то разве ты не понимаешь, что я говорю о храме, кощунственно освященном Луцием Опимием на крови и угнетении народа после позорнейшего убийства Гракхов?

— Варин прав, — сказал на ходу Гай Таурийский, — не именем согласия, а раздора надо было назвать этот храм.

И три сплетника двинулись к наружной лестнице, ведущей в портик базилики, а за ними,

---

[39] Сноски: 39

Эмилий Варин иронизирует над названием храма Согласия.

в небольшом отдалении, последовали оба гладиатора.

Едва только Спартак и Крикс достигли портика базилики, какой-то человек подошел к фракийцу и сказал:

— Итак, Спартак, когда же ты решишь вернуться в мою школу?

Это был ланиста Акциан.

— Да поглотит тебя Стикс живьем! — воскликнул гладиатор, дрожа от гнева и сердито повернувшись к своему прежнему хозяину. — Когда ты оставишь меня наконец в покое и перестанешь надоедать мне своими проклятыми просьбами?

— Но я… — сказал сладким и вкрадчивым голосом Акциан, — я надоедаю тебе только для твоего же блага: заботясь о твоем будущем, я…

— Выслушай меня, Акциан, и заруби себе хорошенько в памяти мои слова. Я не мальчик и не нуждаюсь в опекуне, и если бы даже нуждался в нем, то никогда не желал бы иметь им тебя. Запомни — не попадайся мне на пути, или — клянусь Юпитером Родопским, богом отцов моих! — я хвачу по твоему голому старому черепу кулаком так, что отправлю тебя прямо в ад. — И спустя мгновение он добавил: — Ты ведь знаешь силу моего кулака, ты видел, как я отделал десять

твоих рабов-корсиканцев, которых хотел обучить ремеслу гладиатора и которые, вооруженные деревянными мечами, напали на меня все разом!

И в то время, как ланиста рассыпался в извинениях и предложениях дружбы, Спартак закончил:

— Уходи же, пропади с моих глаз и впредь не попадайся!

И, оставив Акциана сконфуженным и смущенным посреди портика, оба гладиатора пошли через Форум по направлению к Палатину, к портику Катула, где Катилина назначил свидание Спартаку.

Дом Катула, бывшего консулом вместе с Марием в 652 году, то есть за двадцать четыре года до описываемой нами эпохи, был одним из самых роскошных и изящных в Риме. Находившийся впереди дома великолепный портик был украшен военной добычей, отнятой у кимвров, и бронзовым быком, пред которым эти враги Рима приносили присягу. Это было место встречи римлянок, которые обыкновенно здесь гуляли и занимались гимнастическими упражнениями; поэтому сюда же сходились представители элегантной молодежи, патриции и всадники, чтобы поглазеть и полюбоваться прекрасными

дочерьми Квирина.

Когда оба гладиатора пришли к портику Катула, он был окружен сплошной стеной людей, смотревших на женщин, которых собралось в этот день здесь больше, чем обычно, по случаю снега и дождя на улице.

Действительно, чудесное и привлекательное зрелище представляли сотни сверкающих белизной точеных рук, девственных, чуть прикрытых грудей и олимпийских плеч среди блеска золота, жемчугов, яшмы и рубинов и среди бесконечного разнообразия цветов пеплумов, палл, стол и туник из тончайшей шерсти и легких тканей.

Здесь блистали красотой Аврелия Орестилла, любовница Катилины, и хотя юная, все же величественно красивая Семпрония, которая за личные достоинства и редкие качества своего ума должна была впоследствии получить прозвание *знаменитой* и затем умереть, сражаясь как храбрейший воин рядом с Катилиной в битве при Пистории. Здесь были и Аврелия, мать Цезаря, Валерия, жена Суллы, весталка Лициния, Целия, бывшая жена Суллы, уже давно им отвергнутая, и Ливия, мать юного Катона, Постумия Регилия, отпрыск победителя латинян при Регилльском озере. Здесь же можно было увидеть

двух красивейших девушек из знатного рода Фабия Амбуста, и Клавдию Пульхру, жену Юния Норбана, бывшего консулом два года назад, и красавицу Домицию, дочь Домиция Агенобарба, бывшего консула и прадеда Нерона, и Эмилию, прелестную дочь Эмилия Сквара, и Фульвию, очень юную, но бесстыдную, и весталку Виттелию, известную удивительной белизной своего тела, и сотни других матрон и девушек, принадлежавших к наиболее видным фамилиям в Риме.

Внутри великолепного и обширнейшего портика некоторые из этих патрицианских девушек качались на особых качелях; другие неподалеку забавлялись игрой в мяч — самой распространенной и излюбленной игрой римлян обоего пола, всех возрастов и положений. Но большинство женщин, собравшихся здесь, просто гуляли, чтобы хоть немного согреться в этот холодный, совсем зимний день.

Спартак и Крикс, подойдя к портику Катула и остановившись несколько позади толпы патрициев и всадников, как полагалось людям, подобным им, стали искать глазами Луция Сергия Катилину. Они увидели его возле одной колонны вместе с Квинтом Курием, патрицием, известным своими кутежами и пороками, ко-

торый впоследствии был причиной открытия заговора Катилины, и с юным Луцием Кальпурнием Бестия, тем самым, который был народным трибуном в год этого заговора.

Стараясь не толкать собравшихся здесь знатных людей, оба гладиатора мало-помалу приблизились к страшному патрицию, который, саркастически улыбаясь, говорил в эту минуту своим друзьям:

— Я хотел бы как-нибудь познакомиться с весталкой Лицинией, которой этот толстяк Марк Красс дарит такие нежные ласки, и рассказать ей о его любви к Эвтибиде.

— Да, да, — сказал Луций Бестия, — и передай ей, что он подарил Эвтибиде двести тысяч сестерций.

— Марк Красс, дающий двести тысяч сестерций женщине!.. — воскликнул Катилина. — Но ведь это более удивительное чудо, чем в Ариминуме, где, как рассказывают, петух заговорил по-человечьи.

— Это удивительно разве только потому, что он баснословно скуп, — заметил Квинт Курий. — Ведь для Марка Красса двести тысяч сестерций не больше как крупинка в сравнении со всем песком светлого Тибра.

— Он прав, — сказал, широко раскрыв глаза, с выражением жадности Луций Бестия. — У Марка Красса свыше семи тысяч талантов!..

— Это значит — более полутора биллионов сестерций?..

— Сумма ужасная, которая казалась бы невероятной, если бы не было известно, что она действительно существует!

— Вот каким образом в нашей столь благоустроенной республике, — сказал с горечью Катилина, — для человека с маленькой душой и с посредственным умом оказывается открытой широкая дорога к величию и к почестям. Я же, чувствующий в себе силу и способность взять на себя и довести до успешного конца любую войну, никогда не мог добиться назначения командующим, так как я беден и обременен долгами. Если завтра у Красса явится ради тщеславия желание быть назначенным в какую-либо провинцию, где придется совершить какой-нибудь военный поход, он этого добьется немедленно, именно потому, что он настолько богат, что может купить не только простой народ, несчастный и голодный, но даже жадный и богатый Сенат весь целиком.

— И подумать только, — добавил Квинт Ку-

рий, — каким нечистым был источник этих безмерных богатств!

— Конечно, — подхватил юный Бестия, — ведь как он их добился! Он скупал по самой низкой цене имущества, конфискованные Суллой у жертв проскрипций. Он давал деньги взаймы под огромные проценты. Он приобрел в собственность около пятисот рабов — архитекторов и каменщиков, трудами которых выстроил бесчисленное количество домов на пустырях, доставшихся ему почти даром: там же когда-то стояли жилища простонародья, сгоревшие от частых пожаров, которые истребляли целые заселенные кварталы…

— Таким образом, — прервал Катилина, — теперь половина всех домов в Риме принадлежит ему.

— А разве это справедливо? — спросил с пылом Бестия. — Разве это честно?

— Это удобно, — сказал, горько улыбаясь, Катилина.

— И неужели так будет всегда? — воскликнул Квинт Курий.

— Не должно бы, — пробормотал Катилина, — но кто может знать, что написано в непреложных книгах судьбы?

— Желать — значит мочь, — ответил ему Бестия. — Раз у четырехсот тридцати трех тысяч из четырехсот шестидесяти трех тысяч живущих в Риме граждан, согласно последней переписи, нет достаточно денег, чтобы быть сытыми, и достаточно земли, чтобы сложить усталые кости, то найдется смелый человек, который покажет им, что накопленные остальными тридцатью тысячами граждан богатства приобретены несправедливо и что владение ими незаконно; ты увидишь тогда, Катилина, найдут ли эти обездоленные способ показать свою силу и свою численность этому проклятому, отвратительному отродью спрутов, питающихся кровью голодного и несчастного народа.

— Не в бессильных жалобах и не в пустых криках, — сказал серьезным тоном Катилина, — нужно изливать чувства. Мы должны в тиши наших домов обдумать широкий план и в свое время привести его в исполнение бестрепетной твердой рукой. Молчи и жди, Бестия: быть может, недалек день, когда мы сможем одним страшным и решительным ударом сокрушить этот гнилой социальный строй, в подвалах которого мы стонем. Ведь несмотря на свой внешний блеск, он весь сгнил и истрескался.

— Смотри, смотри, как весел оратор Квинт Гортензий! — сказал Курий, словно желая дать другое направление беседе. — Он, по-видимому, радуется отъезду Цицерона, так как остался теперь без соперников на собраниях Форума.

— Ну и трус же этот Цицерон! — воскликнул Катилина. — Едва он заметил, что попал в немилость Суллы за свои юношеские восторги перед Марием, как сел на корабль и удрал в Грецию.

— Уже почти два месяца, как он исчез из Рима.

— Ах, если бы у меня было его красноречие! — прошептал Катилина, сжимая с силой кулак. — В два месяца я стал бы властителем Рима.

— Тебе не хватает его красноречия, а ему — твоей силы.

— Тем не менее, — сказал, став серьезным и задумчивым, Катилина, — если мы не привлечем Цицерона на свою сторону — а это будет трудно при его вялом характере, при кисло-сладких перипатетических взглядах[40], анемичных платонических добродетелях, — то он может стать когда-нибудь в руках наших врагов страшным орудием против нас.

И три патриция погрузились в молчание.

---

[40] Сноски: 40

Перипатетики — ученики и последователи Аристотеля.

В этот момент толпа, окружавшая портик, расступилась и, с несколькими патрициями, среди которых выделялись низенький и толстый Деций Цедиций и худой Эльвий Медуллий, с Квинтом Гортензием и целой свитою других, появилась Валерия, жена Суллы, направляясь к своим носилкам, сплошь украшенным пурпуровой материей, вышитой золотом; их принесли к самому входу в портик четыре сильных каппадокийца-лектикария[41], ожидавшие свою госпожу.

Валерия была закутана в очень широкую тяжелую паллу из темно-синей восточной ткани, в складках которой она скрывала от жадных взоров пылких обожателей прелести, которыми так щедро одарила ее природа и которые, насколько позволяло приличие, она показывала лишь внутри портика.

Лицо ее было очень бледно, а большие черные глаза, несколько расширенные и почти неподвижные, придавали ей скучающий вид, что казалось странным для женщины, вышедшей замуж месяц тому назад.

Легкими движениями головы и очаровательными улыбками она отвечала на поклоны

---

[41] Сноски: 41

Лектикарии — рабы, носившие носилки, в которых разъезжали их знатные господа.

патрициев и с грациозным позевыванием, которому она постаралась придать вид улыбки, пожала руки щеголям Эльвию Медуллию и Децию Цедицию. Оба патриция казались тенями Валерии, до того неотвязно они следовали за нею. Конечно, они не пожелали никому уступить честь помочь ей войти в носилки. Валерия, усевшись, задернула занавески и знаком приказала сопровождающим ее рабам двинуться в путь.

Каппадокийцы подняли носилки и пошли; перед носилками шествовал особый раб, исполняющий обязанности форейтора. Позади них еще шесть других рабов составляли почетный конвой.

Едва Валерия оставила эту толпу поклонников, как испустила глубокий вздох удовлетворения и, накинув на лицо вуаль, стала смотреть скучающим, грустным взором по сторонам, на мокрую мостовую и на дождливое серое небо.

Спартак, который, как мы говорили, находился вместе с Криксом позади толпы, увидев красавицу, вошедшую в носилки, и узнав в ней сейчас же госпожу своей сестры, почувствовал как бы легкое волнение и, толкнув локтем своего товарища, прошептал ему на ухо:

— Смотри!.. Валерия, жена Суллы!

— Клянусь священной рощей Арелаты, она хороша, как сама Венера!

В это время носилки супруги счастливого экс-диктатора шли мимо двух гладиаторов, и глаза Валерии, рассеянно глядевшие сквозь дверцы носилок, остановились на Спартаке.

Словно внезапный толчок вывел матрону из ее рассеянности. Лицо ее покрылось легким румянцем, и, устремив на гладиатора сверкающие черные глаза, она даже немного высунула голову из-за занавесок, чтобы видеть его и после того, как носилки оставили за собою гладиаторов.

— Вот так штука! — воскликнул Крикс, от которого не скрылись эти несомненные знаки расположения знатной дамы к его счастливому сотоварищу. — Дорогой Спартак, богиня Фортуна, эта капризная и подлая баба, какой она всегда была, схватила тебя за вихры, или, вернее, это ты, наш дорогой Спартак, поймал за косу непостоянную богиню! И держи ее крепко, друг, держи так крепко, чтобы она оставила что-либо в твоих руках, если пожелает убежать от тебя.

Последнюю фразу он добавил потому, что, повернувшись к Спартаку, он увидел, что тот стоит весь бледный от волнения.

Однако Спартак, пока его товарищ болтал,

несколько овладел собой и с улыбкой, которой он старался придать возможно больше непринужденности, ответил:

— Замолчи, сумасшедший! Что ты мелешь о фортуне? Клянусь дубиной Геркулеса — ты слеп, как андабат[42].

И чтобы оборвать неприятный для него разговор, бывший гладиатор подошел к Луцию Сергию Катилине и тихо спросил его:

— Приходить мне сегодня вечером в твой дом, Катилина?

Тот повернулся и ответил:

— Да, конечно. Но не говори «сегодня вечером» — уже ночь, а скажи «скоро».

Спартак, поклонившись патрицию, отошел со словами:

— Хорошо… Скоро.

Подойдя к Криксу, он стал что-то говорить вполголоса, но с большим жаром, и Крикс кивнул несколько раз в знак согласия. Потом оба молча пошли через Форум к Священной улице.

— Клянусь Плутоном!.. Я совершенно упустил ту нить, которая до сих пор вела меня в запутанный лабиринт твоей души, — сказал Бестия,

---

[42] Сноски: 42

Андабаты — гладиаторы, сражавшиеся в шлемах с опущенными забралами и потому друг друга не видевшие.

смотревший с изумлением на Катилину, фамильярно беседовавшего с гладиатором.

— А что случилось? — спросил наивно Катилина.

— Римский патриций удостаивает своей дружбой низкую и презренную породу гладиаторов!

— Ах, какой скандал! — сказал, саркастически улыбаясь, патриций. — Ужасно, не правда ли?..

Затем, не дожидаясь ответа, прибавил, переменив интонацию и выражение:

— Я жду вас на заре в своем доме: поужинаем, повеселимся и… поговорим о серьезных делах.

Спартак и Крикс шли уже по Священной улице по направлению к Палатину и вдруг столкнулись с молодой женщиной, великолепно одетой и восхитительной наружности; в сопровождении рабыни средних лет и следовавшего за нею раба она появилась оттуда, куда направлялись оба гладиатора.

Красота этой женщины с рыжими волосами, белоснежным лицом и большими глазами цвета зеленого моря и обаятельность ее были таковы, что Крикс остолбенел. Он остановился и, смотря на нее с изумлением, воскликнул:

— Клянусь Гезом![43] Какое чудо красоты!

Спартак, который, отдавшись грусти и размышлениям, шел с опущенной головой, поднял ее и посмотрел на девушку, а она, нисколько не обратив внимания на восхищение Крикса, пристально посмотрела на фракийца и, пораженная, будто узнав в нем знакомое лицо, остановилась и сказала, обратившись к бывшему гладиатору по-гречески:

— Да благословят тебя боги, Спартак!

— От всей души благодарю тебя, — ответил, несколько смутившись, изумленный Спартак, — благодарю тебя, красавица, и да будет к тебе милостива Венера Книдская.

А девушка, приблизившись к Спартаку, прошептала вполголоса:

— Света и свободы, доблестный Спартак!

Фракиец, в изумлении смотря на свою собеседницу, нахмурил брови и ответил с явным выражением недоверия:

— Не понимаю, что означают твои шутки, красавица.

— Это не шутки, и ты напрасно притворяешься: это пароль угнетенных. Я куртизанка Эвтибида,

---

[43] Сноски: 43

Гез — верховное божество племени галлов.

бывшая рабыня, родом гречанка. И я тоже из сонма угнетенных.

И, схватив огромную руку Спартака, она с милой, очаровательной улыбкой пожала ее своей нежной крошечной рукой.

Посмотрев в немом безмолвии на глядевшую на него с улыбкой и выражением торжества девушку, гладиатор произнес:

— Итак… Да помогут нам боги!

— Я живу на Священной улице, близ храма великого Януса: приходи, я смогу тебе оказать немалую помощь в благородном предприятии, за которое ты взялся.

И так как Спартак стоял в нерешительности, она прибавила нежнейшим голосом с милым жестом, откровенным и молящим:

— Приходи!..

— Приду, — ответил Спартак.

— Прощай, — сказала по-латыни куртизанка, приветствуя рукой обоих гладиаторов.

— Прощай! — ответил Спартак.

— Прощай, о самая божественная из всех богинь красоты! — сказал Крикс, стоявший рядом и не спускавший все время глаз с красивой девушки.

Не двигаясь с места, он продолжал пристально смотреть на удалявшуюся Эвтибиду. И кто знает,

сколько времени он оставался бы в оцепенении, если бы Спартак не тряхнул его, сказав:

— Крикс, не пора ли двинуться отсюда?

Галл очнулся и пошел вместе со Спартаком, не переставая оборачиваться время от времени, пока, пройдя триста шагов, не воскликнул:

— И ты все же не хочешь, чтобы я тебя назвал возлюбленным сыном Фортуны?.. Неблагодарный!.. Тебе следовало бы, однако, воздвигнуть храм этой капризной богине, распростершей свои крылья над тобою.

— Для чего она заговорила со мною, эта несчастная?

— Я не знаю и не хочу знать, кто она, — я знаю только, что Венера, если она существует, не может быть прекраснее этой девушки.

В этот момент один из рабов, сопровождавших недавно Валерию, подошел к гладиаторам и спросил у них:

— Кто из вас Спартак?

— Я, — ответил фракиец.

— Твоя сестра Мирца ожидает тебя сегодня в самый тихий час ночи в доме Валерии: она хочет поговорить с тобой по неотложному делу.

— Хорошо, я приду.

Раб отправился обратно, а два друга, продол-

жая свой путь, скоро исчезли за Палатинским холмом.



Глава V
Триклиний Катилины и приемная Валерии

Дом Катилины, расположенный на южной стороне Палатинского холма, в то время принадлежал к самым большим и самым красивым римским домам, так что полвека спустя он вместе с домом оратора Гортензия вошел в состав дома Августа. Во всяком случае, несомненно, что внутри этот дом был не менее великолепен и удобен, чем жилища первых патрициев того времени, и несомненно также и то, что триклиний, в котором, развалившись на ложах, пировали вечером того же дня Катилина с друзьями, был в то время одним из самых богатых и изящных в Риме.

Эта продолговатая и очень просторная зала была разделена на две части шестью колоннами из тиволийского мрамора, вокруг которых обвивались гирлянды из плюща и роз, распространявших аромат и свежесть в помещении, где, казалось, сошлись на свидание изысканность, обжорство и сладострастие.

Вдоль стен залы, среди гирлянд и колонн, вид-

нелись мраморные статуи в позах, совершенно лишенных целомудрия и стыда, но полных грации, красоты, сделанные с поразительным и несравненным мастерством.

На полу тончайшей мозаикой были изображены с точностью, достойной восхищения, дикие танцы нимф, сатиров и фавнов, сплетающихся в непристойные хороводы и показывающих пышные формы, которыми их наградила фантазия артиста.

В глубине залы, за шестью колоннами, за круглым столом из превосходнейшего мрамора находились три больших высоких обеденных ложа, сделанные из бронзы, с пуховыми подстилками и с покрывалами из тончайшего пурпура. Золотые и серебряные лампы искусной работы свисали с потолка и не только освещали залу, но и распространяли сильный аромат, сладко опьяняющий и погружающий в невыразимую сладострастную неподвижность мысли.

У стен стояли три посудных шкафа из бронзы, сплошь отделанные гирляндами и листьями изысканной, тончайшей работы, а в них помещались серебряные сосуды всевозможной формы и размеров. От одного шкафа до другого тянулись скамейки также из бронзы, покрытые пурпуром,

а на равных расстояниях от них, тоже вдоль стен комнаты, находилось двенадцать бронзовых статуй, представлявшие собой двенадцать эфиопов, роскошно разукрашенных ожерельями и драгоценными камнями; эти статуи поддерживали серебряные канделябры, которые своим светом усиливали общее освещение залы.

Лениво развалившись на обеденных ложах, поддерживая голову руками и опираясь локтями на пурпуровые подушки, возлежали Катилина, Курион, Луций Бестия, пылкий юноша, ставший впоследствии народным трибуном, и Гай Антоний, юный патриций, апатичный и обремененный долгами, ставший товарищем Катилины в заговоре 691 года, а затем — товарищем Цицерона по консульству. Благодаря энергии последнего Гай Антоний в том же году уничтожил своего прежнего соучастника — Катилину. Был здесь и Луций Кальпурний Пизон Цезоний, распутный патриций, тоже потонувший в долгах до самых волос. И хотя Пизон был еще совсем молод, он уже дошел до полной невозможности уплатить свои долги; он не смог спасти Катилину в 691 году, зато был избран судьбой для отмщения за него в 696-м, когда, став консулом, сумел добиться изгнания Цицерона. Этот Пизон был человек грубый, ди-

кий, весьма сластолюбивый и невежественный.

Возле Пизона, на втором ложе, занимавшем средину и считавшемся почетным, возлежал юноша, которому едва минуло двадцать лет, женственной красоты, с нарумяненным лицом, с надушенными завитыми волосами, с запавшими глазами, с увядшими щеками и со всегда пьяным, хриплым голосом. Этот юноша был А. Габиний Нипот, самый близкий друг Катилины, впоследствии, в 696 году, тоже ставший консулом и вместе с Пизоном деятельно способствовавший изгнанию Цицерона.

Габинию предоставлено было почетное место, и он возлежал с того края среднего ложа, который приходился по правую сторону входа в столовую: он был, следовательно, царем этого пира.

Рядом с ним, на другом ложе, возлежал другой юный патриций, не менее остальных распутный и расточительный; это был Корнелий Лентул Сура, человек мужественный и сильный физически; в 691 году, как раз накануне того дня, когда разразилось восстание Катилины, в котором ему предстояло сыграть такую значительную роль, умер в темнице, задушенный по приказу Цицерона. Возле него — Цетег, задорный и смелый юноша, тоже стремившийся изменить обще-

ственный строй Рима и жаждавший новизны и смут. Последним на этом ложе возлежал Гай Веррес, человек честолюбивый, жестокий, весьма алчный на деньги. Он вскоре сделался квестором Карбона, когда тот был проконсулом Галлии. Затем Гай Веррес был претором в Сицилии, где прославил свое имя преступлениями по службе и хищениями.

Как видно из вышесказанного, общество в столовой было в полном составе. Конечно, здесь собрались не самые добродетельные граждане Рима, и сошлись они в доме Катилины, очевидно, не для высоких дел, не для обсуждения благородных замыслов.

Все приглашенные были в обеденных одеждах из тончайшей белоснежной шерсти и в венках из плюща, лавра и роз. Великолепный ужин, которым угощал Катилина своих друзей, подходил уже к концу. Веселье, царившее среди этих девяти патрициев, жесты, шутки, непристойные слова, звон чаш и оживленная болтовня, оглашавшие залу, ясно свидетельствовали о высоких качествах повара, а еще больше — виночерпиев Катилины.

Слуги, приставленные к столам, — триклиниарх, виночерпии, подающие кушанья, разре-

зальщики — были все одеты в голубые туники и зорко следили за знаками гостей, предупреждая их желания.

В углу залы находились флейтисты и мимы обоего пола в очень коротких одеждах, увенчанные цветами. Время от времени они соответствующей музыкой и сладострастными танцами увеличивали шум и веселье пира.

— Подлей мне фалернского! — вскричал охрипшим уже от опьянения голосом сенатор Курион, протянув руку с серебряной чашей к одному из ближайших к нему виночерпиев. — Налей мне фалернского, я хочу восхвалить пышность Катилины, и да лопнет скупость богатейшего и ненавистнейшего Красса!

— Обрати внимание. Теперь этот пьяный кутила Курион будет надоедать нам, коверкая стихи Пиндара, — сказал Луций Бестия сидевшему возле него Катилине.

— Лучше бы он владел своей памятью и не потерял ее час тому назад на дне своей чаши! — ответил Катилина.

— Красс!.. Красс!.. Вот мой кошмар, предмет всех моих мыслей, всех моих снов!.. — сказал со вздохом Гай Веррес.

— Его несметные богатства не дают тебе спать,

бедняга Веррес? — спросил, взглянув на своего соседа саркастическим и испытующим взором, Авл Габиний, поправляя своей белой рукой локоны искусно завитых и надушенных волос.

— Неужели не придет день равенства? — воскликнул со вздохом Веррес.

— О чем думали тогда эти дураки Гракхи и этот идиот Друз, когда они решили поднять город, чтобы поделить поля между плебеями, я поистине не понимаю, — сказал Гай Антоний. — Они вовсе не думали о бедных патрициях!.. Кто, кто беднее нас, присужденных видеть, как доходы с наших имений пожираются ненасытной жадностью банкиров? Под предлогом получения процентов с денег, которые они нам ссудили, они налагают арест на эти доходы еще раньше, чем приходят сроки уплаты долгов.

— Кто беднее нас, осужденных скупостью бесчеловечных отцов и силою всемогущих законов проводить лучшие годы нашей юности в бедности, томясь самыми пылкими неосуществимыми желаниями?.. — добавил Луций Бестия, оскалив зубы и судорожно сжимая чашу, только что им опорожненную.

— Кто беднее нас, в насмешку рожденных патрициями и считающих себя могущественны-

ми, по иронии судьбы лишь благодаря званию своему пользующихся уважением простонародья? — заметил с выражением глубокой грусти Лентул Сура.

— Оборванцы в тогах, вот кто мы!..

— Лишенные ценза, одетые в пурпур!

— Угнетенные и нищие, которым нет места на пиру богатой Римской республики!

— Смерть ростовщикам и банкирам!

— В ад все законы двенадцати таблиц!..

— И преторианский эдикт!..[44]

— К Эребу[45] отцовскую власть!

— Да ударит всемогущая молния Юпитера Громовержца в Сенат и испепелит его!

— Но пусть он сперва предупредит меня об этом, чтобы я в этот день не пришел! — пробормотал с неподвижным взором и одурелым лицом совершенно отупевший Курион.

Взрыв хохота раздался вслед за этим неожиданным и все же мудрым замечанием пьяницы и прекратил нескончаемую цепь проклятий, посылаемых гостями Катилины.

---

[44] Сноски: 44

Эдикты издавались преторами при вступлении в должность и содержали в себе программу их деятельности на время службы.

[45] Сноски: 45

Эреб — в древнегреческой мифологии олицетворение вечного мрака.

В этот момент вошедший в столовую раб приблизился к хозяину дома и прошептал ему несколько слов на ухо.

— А, клянусь богами ада!.. — воскликнул громким голосом, с выражением радости Катилина. — Наконец! Введите его сейчас же и вместе с ним приведенную им с собою тень[46].

Раб поклонился и уже собрался уходить, но Катилина задержал его и прибавил:

— Окажите им полное уважение. Обмойте им ноги, вытрите их мазями и дайте им обеденную одежду и венки.

И раб, снова поклонившись, вышел.

Затем Катилина крикнул триклиниарху:

— Эпафор, сейчас же освободи стол от остатков пиршества и приготовь две скамьи против главного ложа для двух друзей, которых я ожидаю; очисти эту комнату от мимов, музыкантов и рабов и приготовь тем временем в соседней комнате все для веселого, приятного и продолжительного пира.

В то время как триклиниарх Эпафор занялся раздачей полученных приказаний и столовую стали убирать, гости молча распивали пятидеся-

---

[46] Сноски: 46

В Древнем Риме тенями называли гостей, которые пришли в дом вместе с людьми, приглашенными хозяином.

тилетнее фалернское, пенившееся в серебряных чашах, и ожидали с нетерпением и с нескрываемым выражением любопытства возвещенных гостей, которые скоро появились, в сопровождении раба, с венками из роз на голове, одетые в обеденные белые тоги.

Это были Спартак и Крикс.

— Да будет покровительство богов над этим домом и его благородными гостями! — сказал Спартак, входя в комнату.

— Привет всем! — прибавил Крикс.

— Честь и слава тебе, храбрейший Спартак, и твоему другу! — ответил Катилина, поднявшись навстречу рудиарию и гладиатору.

И, взяв Спартака за руку, он привел его к ложу, которое сам раньше занимал, и пригласил его возлечь здесь; усадив Крикса на одну из только что поставленных против почетного ложа скамеек, Катилина уселся на другой рядом с ним.

— Итак, Спартак, ты не пожелал провести этот вечер за моим столом вместе со столь благородными и храбрыми юношами? — и при этом он указал на гостей.

— Не пожелал? Я не мог, Катилина, и я об этом тебя предупредил, если только твой остиарий был аккуратен в исполнении данного ему мною

поручения.

— Да, я был предупрежден…

— Однако ты не знал причины, сообщить которую я не мог, не доверяя скромности остиария… Я должен был отправиться в одну харчевню, очень посещаемую гладиаторами, в которой собирался встретиться — и действительно встретился — с людьми, имеющими большое влияние среди этих несчастных.

— Итак, — спросил вдруг несколько насмешливым тоном Луций Бестия, — итак, мы гладиаторы и думаем о своем освобождении, толкуем о своих правах и готовимся поддерживать эти права с мечом в руках…

Лицо Спартака вспыхнуло, и он, ударив кулаком по столу, порывисто привстал и воскликнул:

— Да, конечно, клянусь всеми молниями Юпитера, пусть…

Внезапно прервав самого себя и переменив тон, жесты и слова, он продолжал спокойно:

— Пусть дадут согласие на это высшие боги и вы, благородные и могущественные патриции, и мы возьмемся за оружие ради свободы угнетенных!

— Этот гладиатор мычит, как бык, — пробормотал Курион, уже начавший дремать и

склонявший лысый череп то на правое, то на левое плечо.

— Такое высокомерие под стать Луцию Корнелию Сулле Счастливому, диктатору, — прибавил Гай Антоний.

Катилина, предвидевший, до чего могут довести эту беседу сарказмы Бестия, вмешался и, приказав рабу налить фалернского новопришедшим и затем выйти, поднялся с места и сказал так:

— Вам, благородные римские патриции, у которых неблагоприятная судьба оспаривает то, что величие ваших душ вполне заслужило в изобилии, я хочу сказать — свободу, власть и богатство. Вам, верные и честные друзья мои, представляю я этого доблестнейшего рудиария, Спартака, который за силу своего тела и за стойкость души был бы вполне достоин родиться не фракийцем, а римским гражданином и патрицием. Он, сражаясь в наших легионах, доказал свое мужество, заслужив гражданский венок и чин декана…

— Что не помешало ему дезертировать из нашего войска при первом же удобном случае, — прервал Луций Бестия.

— Ну и что же! — быстро и все более воодушевленным тоном возразил Катилина. — Поставите

ли вы ему в вину, если он нас, сражавшихся против его родной страны, оставил для того, чтобы защищать свое отечество, своих родных, свои лавры. Кто из вас, если бы попал в плен к Митридату и был зачислен в его войска, при первом же появлении римского орла не счел бы своим долгом, не вменил бы себе за честь оставить ненавистные знамена варвара и вернуться под знамена своих сограждан.

Шепот согласия и одобрения пронесся после этих слов, и Катилина, пользуясь благоприятным настроением слушателей, продолжал:

— Теперь я, вы и весь Рим видели и восхищались, как этот сильнейший человек, мужественно и непобедимо сражаясь в цирке, совершил подвиги не гладиатора, но достойные способнейшего командира. И этот человек, стоящий выше своего положения и своей несчастной судьбы, подобно нам, раб, как и мы, — угнетенный, как и мы, — несчастный, уже несколько лет как задумал одно трудное, опасное, но благороднейшее предприятие: он составил тайный заговор среди гладиаторов. Их, связанных священной клятвой, он замышляет поднять в определенный день против тирании, которая обрекает их на смерть на забаву людям в амфитеатрах, и вернуть сво-

бодными в родные страны.

Катилина немного помолчал и после короткой паузы продолжал:

— Разве не то же самое уже давно задумали вы и я? Чего требуют гладиаторы, кроме свободы? Чего требуем мы? Против чего желаем мы восстать, если не против этой олигархии? Ибо с того времени, как республика подпадает под произвол нескольких, им, и только им платят дань цари, тетрархи[47] и народы; а все остальные храбрые, истинно знатные и простой народ — все мы становимся подонками общества, несчастными, угнетенными, недостойными и презренными.

Ропот пробежал среди молодых патрициев, и глаза их засверкали ненавистью, гневом и жаждой мщения.

Катилина продолжал:

— В наших домах царит нищета, вне домов — долги, настоящее печально, будущее еще хуже. Зачем влачить такую несчастную жизнь? Не пора ли нам проснуться?..

— Проснемся же! — сказал хриплым голосом Курион, который, совсем заснув, услышал последние слова Катилины, но вовсе не уловил смысла

---

[47] Сноски: 47

Тетрарх — правитель четвертой части какой-нибудь области.

их и поэтому стал сильно тереть себе глаза.

Как сильно ни были увлечены речью Сергия заговорщики, ни один из них не мог удержать взрыва веселья при глупой выходке Куриона.

— Пусть тебя уберет Минос[48] и судит по твоим заслугам, проклятое чучело, набитое грязью и вином! — заревел Катилина, сжав кулаки и проклиная незадачливого пьяницу.

— Молчи и спи, проклятый! — закричал Бестия и толкнул Куриона так, что тот растянулся во всю длину на ложе.

Катилина медленно выпил несколько глотков фалернского и немного погодя продолжал:

— И вот теперь, уважаемые граждане, я вас созвал сюда в этот вечер для того, чтобы совместно разобрать, выгодно ли нам привлечь в наше предприятие Спартака и его гладиаторов. Если мы одни поднимем восстание против знати, против Сената, держащих в своих руках высшую власть, государственную казну и наши грозные легионы, то, конечно, ничего не достигнем, и нам придется все равно искать помощи у тех, кого по праву следует считать пригодными для этого дела, кто хочет последовать за нами и мстить за

---

[48] Сноски: 48

Минос — один из судей над душами умерших в Аиде.

угнетение; война тех, кто ничего не имеет, против владеющих всем, война рабов против господ, война угнетенных против угнетателей должна быть и нашим делом. И почему не привлечь нам к делу также и гладиаторов, не взять их под свое руководство и не ввести в римские легионы? Я никак не могу этого понять. Убедите меня в противном, и мы отложим осуществление нашего плана до лучших времен.

Нестройный ропот раздался после слов Катилины, которые, судя по жестам и возгласам, очевидно, большинству не понравились, и Спартак, зорко следивший во время речи хозяина дома за настроением собравшихся здесь юных патрициев, спокойным голосом, хотя лицо его побледнело, начал говорить так:

— Чтобы угодить тебе, Катилина, человеку выдающемуся, которого я очень уважаю и почитаю, я решился прийти сюда, хотя я вовсе не надеялся, что эти благородные патриции могут быть убеждены твоими словами, в которые ты сам веришь вполне чистосердечно, но в реальности которых ты вовсе не убежден. Итак, позволь мне, и пусть разрешат мне твои доблестные друзья, откровенно говорить и открыть перед вами свою душу. Вас, свободных граждан знатного

происхождения, держит в стороне от управления государственными делами и лишает богатства и власти каста олигархов, враждебная народу, смелым людям и новаторам, каста олигархов, власть которой свыше ста лет ввергает Рим в пучину раздоров и мятежей и которая ныне сильнее, чем когда бы то ни было, свирепствует в городе и расправляется с вами, как ей угодно. Поэтому для вас восстание сводится к свержению нынешнего Сената и действующих законов, к замене последних другими, более справедливыми для народа и равномерно распределяющими богатства и права, к замене сенаторов людьми, отобранными среди вас и ваших друзей. Но для вас, как и для нынешних властителей, варварами останутся всегда народы по ту сторону Альп и по ту сторону моря, и вы захотите, чтобы все они были под игом римского господства и платили вам дань, и вы захотите, чтобы ваши дома, дома патрициев, были наполнены рабами и чтобы в амфитеатрах, как и ныне, устраивались зрелища кровавых боев гладиаторов; это будет для вас отдохновением от тяжелых государственных забот, которым завтра вы, победители, должны будете отдаться. Ничего другого вы не можете желать, и все это для вас выражается в одном — стать самим на место

теперешних властителей.

Но для нас, несчастных гладиаторов, дело заключается совсем в другом. Мы, которых презирают и считают самым низшим классом людей, мы, лишенные свободы и отечества, осужденные сражаться и убивать друг друга на потеху другим, мы ищем свободы, но полной и совершенной, мы хотим отвоевать свое отечество и свои дома, и в силу этого мы являемся восставшими не только против теперешних властителей, но также и против тех, которые придут им на смену, будут ли они называться Суллой или Катилиной, Цетегом или Помпеем, Лентулом или Крассом.

С другой стороны, нам, гладиаторам, предоставленным самим себе, поставившим себя одних против страшной и непобедимой мощи Рима, можно ли надеяться на победу?.. Нет, победа невозможна, и невозможным становится и само предприятие. Пока я надеялся, что ты, Катилина, и твои друзья могут стать честно нашими вождями, пока я мог предполагать, что увижу людей консульского звания и патрициев стоящими во главе гладиаторских легионов и дающими свое достоинство и имя войску, я оживлял надежды многих моих товарищей по несчастью пылом моих собственных надежд; но теперь, когда я

вижу — и в долгих беседах с тобой, о Катилина, я уже это предвидел, — что предрассудки вашего воспитания по отношению к нам никогда не позволят вам быть нашими вождями, я убеждаюсь в невозможности нашего предприятия, о котором я мечтал, которое лелеял в тайниках души, которому сладостно отдавался в долгих грезах, от которого с чувством беспредельного сожаления теперь отказываюсь окончательно как от невообразимого безумия. Разве можно было бы иначе назвать наше восстание, даже если бы мы могли поднять пять, десять тысяч человек? Какой авторитет имел бы, например, я или другие из моего класса, может быть даже более храбрые, чем я, какое значение, какой престиж? В пятнадцать дней наши два легиона были бы раздавлены, как это произошло двадцать лет тому назад с теми тысячами гладиаторов, которых один доблестный римский всадник, по имени Минуций, или Веций, собрал возле Капуи и которые были вскоре же разгромлены когортами претора Лукулла, несмотря на то что во главе этих гладиаторов был юноша знатного происхождения, с душой сильной и смелой.

Трудно передать впечатление, произведенное речью Спартака, этого, по мнению гостей,

варвара, и притом наиболее презренного. Одни удивлялись его красноречию, другие — возвышенности его мыслей, третьи — глубине его политических идей, а в общем все остались чрезвычайно удовлетворенными выказанным им уважением к всемогуществу римского имени. И удовлетворенное самолюбие гражданина, которое так ловко пощекотал бывший раб, вылилось в общих похвалах, открыто рассыпаемых мужественному фракийцу, которому все, и первый Луций Бестия, предложили покровительство и дружбу.

Долго еще продолжалось обсуждение вопроса. Было высказано много самых различных мнений. В результате решили, что надо отложить предприятие до лучших времен: в ожидании от времени доброго совета, а от Фортуны — случая более благоприятного для смелого плана.

Спартак предложил свои руки и руки немногих гладиаторов, которые в него верили и его уважали, — он все время напирал мимоходом на слово «немногие» — в распоряжение Катилины и его друзей. После того как он сам и с ним Крикс выпили чашу дружбы, которая пошла кругом и в которую гости бросали обрываемые ими лепестки роз с венков, он попрощался с хозяином

дома и с его друзьями, и, как все ни старались удержать его на оргии, которая подготовлялась в экседре[49], он не пожелал остаться и вместе с Криксом ушел из дома патриция.

Выйдя на улицу, Спартак в сопровождении Крикса направился к дому Суллы.

Не прошли они и четырех шагов, как Крикс, первый нарушив молчание, сказал:

— Объясни мне, надеюсь…

— Молчи, ради Геркулеса! — сказал вполголоса, прерывая его, Спартак. — Позже ты узнаешь все.

Они продолжали идти молча и прошли так больше трехсот шагов. Первый заговорил рудиарий, который, повернувшись к галлу и оглядевшись, сказал вполголоса:

— Там было слишком много людей, не все они на нашей стороне и не все владели своим рассудком. Нельзя было продолжать доверяться этим юношам. Ты слышал — для них наш заговор ликвидирован, должен исчезнуть, как бред больного мозга. Сейчас вернись в школу гладиаторов Акциана и перемени наш пароль приветствия и секретный знак при рукопожатии. Паролем не должен быть больше «свет и свобода», а будет

---

[49] Сноски: 49

Экседра — полукруглая глубокая ниша.

«постоянство и победа», знаком больше не будут три коротких последовательных сжатия руки, а три легких нажима указательным пальцем правой руки одного на ладонь левой руки другого.

И Спартак, взяв правую руку Крикса, три раза надавил указательным пальцем на его ладонь, говоря:

— Вот так. Ты понял?

— Понял, — ответил Крикс.

— А теперь иди, не теряй времени, сделай так, чтобы каждый начальник звена предупредил об этом своих пятерых гладиаторов и дал знать, что наш заговор стоял под угрозой раскрытия и что всякий, кто произнесет прежний пароль и употребит прежние знаки, может уничтожить навсегда всякую надежду и побудит нас окончательно отказаться даже от попытки осуществить наш рискованный замысел. Завтра мы встретимся рано утром в школе Юлия Рабеция.

Спартак пожал руку Крикса, оставил его и быстрым шагом продолжал путь к дому Суллы, до которого очень скоро дошел. Он постучался во входную дверь; его впустили и проводили из передней в маленькую комнату, которую занимала его сестра Мирца в части дома, отведенной для Валерии. Девушка, которая завоевала полное

расположение своей госпожи, занимала уже очень важную должность: заведовала одеждой Валерии.

Она в тревоге ожидала брата и, как только увидела его входящим в свою комнату, бросилась к нему, обвила его шею руками и стала покрывать его лицо ласками и поцелуями.

Когда прошел этот первый взрыв любви к брату, девушка с очень веселым лицом рассказала Спартаку, что он не был бы здесь и она не пригласила бы его в этот час, если бы не приказание Валерии, ее госпожи, которая часто говорила с ней о Спартаке, расспрашивала и долго беседовала о нем, проявляя по отношению к нему больше внимания, чем это, может быть, полагалось такой знатной матроне, когда вопрос идет о рудиарии, о гладиаторе; узнав, что он еще не связал себя никакой службой, она приказала позвать его в этот вечер, намереваясь предложить ему управление гладиаторской школой, которую Сулла недавно организовал на своей даче в Кумах.

Трудно представить, какая радость осветила лицо Спартака при словах Мирцы.

— Если я соглашусь управлять этой небольшой гладиаторской школой, не потребует ли Валерия, чтобы я вновь продал себя, или она оставит меня

свободным? — спросил он сестру.

— Об этом она ничего мне не сказала, — ответила Мирца, — но она очень расположена к тебе и, наверное, согласится оставить тебя свободным.

— Значит, она очень добра, эта Валерия?

— Настолько же добра, насколько прекрасна.

— О, тогда ее доброта не имеет границ!

— Мне кажется, что ты испытываешь к ней сильную любовь.

— Я?.. Огромную, но почтительную, какую и должен человек в моем печальном положении питать к столь знатной матроне.

— В таком случае слушай… поклянись, что ты не проронишь ни одного слова об этом ей, так как она запретила мне строго-настрого говорить тебе об этом. Знай, что чувство нежности и любви, которое ты питаешь к ней, тебе внушили высшие боги как долг благодарности, так как именно Валерия убедила Суллу в цирке дать тебе свободу.

— Как?.. Она?.. Неужели это правда?.. — воскликнул Спартак, сделавшись белым как мел.

— Правда… правда… Но повторяю тебе — не показывай ей, что ты это знаешь.

И спустя мгновение, когда Спартак, склонив голову на грудь, погрузился в раздумье, Мирца прибавила:

— А теперь пусти, я пойду предупредить Валерию о твоем приходе, для того чтобы, получив разрешение, я могла ввести тебя к ней.

И легкая, как мотылек, Мирца исчезла через маленькую дверь.

Спартак даже не заметил этого, всецело погруженный в размышления.

Рудиарий в первый раз увидел Валерию полтора месяца тому назад. Отправившись в дом Суллы, чтобы повидать сестру, он встретил Валерию, выходившую к носилкам. Она тогда вовсе не заметила его присутствия в портике своего дома.

Впечатление, которое произвели на Спартака бледное лицо, черные сверкающие глаза и черные как смоль волосы Валерии было внезапным, молниеносным: он испытывал один из тех необычайных и необъяснимых порывов симпатии, которым невозможно противиться; в нем тут же внезапно зародилась, как видение, как самое смелое и конечное желание, мысль о возможности хотя бы только поцеловать край туники этой женщины, которая ему казалась прекрасной, как Венера.

Соприкосновение каких-то таинственных токов, которые могут казаться необъяснимыми, но существования которых никак нельзя отри-

цать, возникло, очевидно, между Спартаком и Валерией. Последняя, хотя и ее положение, и ее происхождение, и низкое положение Спартака должны были побуждать к большей сдержанности, с первого же момента испытала — как это было заметно — такое же чувство, какое взволновало душу гладиатора с той минуты, когда он впервые увидел Валерию.

Сначала бедный фракиец хотел изгнать из своего сердца это новое чувство, голос рассудка говорил ему, что его любовь не только невозможна, но что она — ни с чем не сравнимое безумие, что его любовь — это любовь сумасшедшего, что страсть его наталкивается на абсолютно непреодолимые препятствия. Но мысль об этой женщине возникала постоянно, упорно и властно среди всех забот и планов Спартака, и, возвращаясь ежеминутно, приводила в еще более ужасное расстройство его дух, и в короткое время, приняв гигантские размеры, овладела им всецело и поглотила все силы его ума.

Иногда, как бы против своей воли, он оказывался привлеченным таинственной силой, за колонной портика дома Суллы — в ожидании выхода Валерии. Не замечаемый ею, он много раз видел ее и каждый раз находил еще более

прекрасной, и с каждым днем чувство, которое он испытывал к ней, — чувство, которое он не только не сумел бы объяснить другому человеку, но даже и самому себе, — становилось все сильнее.

Один только раз Валерия его заметила, и на мгновение бедному рудиарию показалось, что она посмотрела на него благосклонно, почти ласково и — он готов был подумать — с любовью, но он тотчас же отогнал далеко от себя эту мысль, как обман глаз, как чудовищную фантазию своих желаний, как мысль, которая, если бы она в нем задержалась, — он отлично понимал — довела бы его до сумасшествия.

Какое впечатление должны были произвести слова Мирцы на бедного гладиатора при его душевном состоянии, легко себе представить.

Он был здесь, думал, несчастный, — здесь, в доме Суллы, в нескольких шагах от этой женщины — нет, не от женщины, а от богини, ради которой он чувствовал себя готовым отдать свою кровь, славу, жизнь. Он был здесь и сейчас очутится перед ней, может быть, наедине с ней, услышит ее голос и увидит вблизи черты ее лица, глаза, улыбку… улыбку, которой Спартак ни разу не видел, но которая должна была быть улыбкой весеннего неба, чем-то небесным, возвышен-

ным, божественным. Он был здесь, и несколько мгновений отделяли его от несравненного счастья, которого не только желать, но о котором он даже не осмеливался мечтать… Но что же, однако, произошло?.. Быть может, он находился во власти сладкой грезы, среди призраков своей возбужденной страстью фантазии?.. Или, может быть, он начинает сходить с ума?.. Или, может быть, несчастный, он уже сошел с ума?..

При этой мысли Спартак вздрогнул, осмотрелся кругом, ища расширенными, растерянными глазами сестру… Но ее уже не было.

Он поднес руки ко лбу, как бы для того, чтобы сдержать бешеное биение в висках или чтобы рассеять туман, который, казалось, окутал его мозг, и прошептал едва внятным голосом:

— О боги, не дайте мне сойти с ума…

Затем спустя мгновение он повернулся и мало-помалу как бы стал приходить в себя и узнавать место, где он находился.

Это, конечно, была комнатка его сестры: небольшое ложе стояло в одном углу, две маленькие скамейки из позолоченного дерева находились у стен и далее — маленький деревянный шкафик, отделанный бронзой, а над ним — масляная терракотовая лампа зеленого цвета в виде ящерицы,

изо рта которой выходил зажженный фитиль, разгонявший темноту комнатки.

Спартак, еще ошеломленный, едва пришедший в себя и все еще находившийся во власти мысли, что он или грезит, или сходит с ума, сделал несколько неверных шагов к шкафу, коснулся указательным пальцем левой руки пламени лампы. Боль ожога убедила его в том, что он не спит, и он несколько пришел в себя.

Тогда он попытался усилием воли утишить кипение крови и полностью вернуть власть над своими чувствами. Постепенно он этого добился, так что когда через несколько минут вошла Мирца и позвала его, чтобы проводить в приемную Валерии, то, хотя это известие вызвало в нем дрожь и страшное сердцебиение, он все же принял его довольно спокойно и бесстрастно, только лицо его покрылось мертвенной бледностью.

Мирца заметила это и с тревогой спросила:

— Что это с тобой, Спартак?.. Не чувствуешь ли ты себя дурно?..

— Нет-нет… никогда я не чувствовал себя так хорошо, — ответил рудиарий.

В сопровождении сестры он спустился по узенькой лестнице (рабы в римских домах жили в верхнем этаже) и направился к приемной, где его

ожидала Валерия.

Приемной римской патрицианки была комната, в которой она уединялась для чтения, для личных дел, для интимных бесед; в наше время эту комнату назвали бы будуаром. Естественно, она находилась рядом с другими помещениями хозяйки дома.

Приемная Валерии в ее зимнем помещении (в патрицианских домах обычно было столько же отдельных помещений, сколько времен года) представляла собой маленькую изящную комнатку. Несколько труб из листового железа распространяли нежную теплоту, тем более приятную, чем более суровым был холод вне дома. Трубы эти были искусно скрыты в складках роскошной драпировки из восточной материи, покрывавшей все стены. Дорогая шелковая материя голубого цвета свисала около стен с потолка почти до самого пола прихотливыми складками и причудливыми фестонами, а поверх этой материи была прикреплена, подобно белому облаку, тонкая белоснежная кисея, в изобилии усыпанная свежими розами, наполнявшими комнату нежным благоуханием.

С потолка свисала роскошная золотая лампа с тремя рожками, изображавшая розу посреди

листьев, — произведение греческого мастера. Она только наполовину рассеивала мрак в комнате и распространяла в ней голубоватый, почти матовый свет вместе с тонким запахом арабских благовоний, которые были смешаны с маслом, насыщавшим фитили лампы.

В этой комнате, так изящно убранной в восточном вкусе, было ложе из мягких перьев, покрытых белым и голубым шелком; кроме того, было еще несколько скамеек, покрытых точно такой же материей, и низенький драгоценнейший комод из серебра, с четырьмя маленькими ящиками, на которых работой искусного резца были изображены четыре победы Суллы. На комоде стоял графин из ослепительно-белого горного хрусталя с рельефными изображениями цветов живой пурпурной окраски — драгоценное произведение знаменитых аретинских мастерских. Он был наполнен приятным тепловатым напитком из консервированных фруктов. Часть напитка была уже налита в фарфоровую чашку, стоявшую около графина. Эта мурринская чаша — свадебный подарок Суллы — представляла сама по себе целое сокровище и должна была стоить не менее тридцати — сорока миллионов сестерций, настолько в то время такие чашки

были редки, дороги и ценны.

В этом помещении, уединенном, тихом, полном благоухания, возлежала на кушетке в час рассвета прекрасная Валерия, одетая в белоснежную шерстяную тунику, отороченную синими лентами. Ее олимпийские плечи, руки, словно выточенные из слоновой кости, и полуобнаженная белоснежная грудь были отчасти прикрыты черными, густыми, небрежно распущенными волосами. Опершись локтем о подушку, она поддерживала голову маленькой, как у ребенка, белоснежной рукой.

Глаза ее были полузакрыты, лицо неподвижно. Казалось, она спала, — по-видимому, она была охвачена, увлечена водоворотом мыслей, столь сладких и приятных, что ничего не замечала вокруг себя. Об этом можно было судить по абсолютной неподвижности, в которой она осталась и тогда, когда рабыня ввела в приемную Спартака. Она не шевельнулась при легком шуме, произведенном открываемой дверью, и осталась неподвижной, когда дверь закрылась за ушедшей Мирцой.

Спартак, с лицом бледным, как паросский мрамор, с пылающими глазами, устремленными на прекрасную матрону, стоял некоторое время

молча и неподвижно, погруженный в благоговейное созерцание, вызвавшее в его груди такое смятение ощущений и чувств, какого ему не приходилось никогда испытывать.

Так прошло несколько минут. Если бы в это время Валерия пришла в себя, она могла бы ясно расслышать прерывистое и взволнованное дыхание рудиария. Но внезапно жена Суллы вздрогнула, будто кто-то ее позвал, будто ей сообщили, что Спартак здесь. Приподнявшись, она села, обратила к фракийцу свое лицо, тотчас же покрывшееся румянцем, и со вздохом удовлетворения сказала очень нежным голосом:

— Ах! Ты здесь?

Пламенем вспыхнуло лицо Спартака при звуках этого голоса; он сделал шаг к Валерии, сомкнул губы, как бы для того, чтобы говорить, но мог издать только нечленораздельный и невнятный звук.

— Да окажут тебе покровительство боги, мужественный Спартак! — сказала с милой улыбкой Валерия, овладевая собой. — И… и… садись, — прибавила она спустя мгновение, указывая на одну из скамеек.

На этот раз Спартак собрался с духом и ответил, хотя еще слабым и дрожащим голосом:

— Боги мне покровительствуют гораздо больше, чем я заслужил, божественная Валерия. Они оказывают мне в эту минуту величайшую милость, какая только может выпасть на долю смертного: они дают мне твое покровительство.

— Ты не только храбр, — возразила Валерия, в глазах которой сверкнула молния радости, — ты еще и любезен.

Затем она вдруг спросила на греческом языке:

— В твоей стране до того, как ты попал в плен, ты был одним из вождей твоего народа, не правда ли?

— Да, — ответил Спартак на том же языке, на котором он говорил если не с аттической, то во всяком случае с александрийской изысканностью, — я был вождем одного из самых сильных фракийских племен с Родопских гор. У меня был дом, многочисленные стада овец и быков и плодороднейшие пастбища. Я был богат, могуществен, счастлив, и — поверь мне, божественная Валерия! — я был полон любви, справедлив, милостив и добр…

Он на миг остановился, а затем продолжал с глубоким вздохом и дрожащим от сильного волнения голосом:

— И я не был варваром, не был презренным и

несчастным гладиатором!

Валерию охватило чувство жалости, волнение любви, и, подняв на рудиария сверкающие глаза с явной лаской и выражением нежности, она сказала:

— Я долго и часто беседовала с милой твоей Мирцой, я знаю твою необыкновенную храбрость, и теперь, когда я с тобой разговариваю, я вижу ясно и убеждаюсь, что презренным ты не был никогда, а по своему образованию, по воспитанности и по манерам ты похож скорее на грека, чем на варвара.

Какое впечатление произвели эти слова, произнесенные очень нежным голосом, на душу Спартака, нельзя передать: он почувствовал, что слезы увлажнили его глаза, и прерывающимся голосом ответил:

— О, будь благословенна… за эти милосердные слова… милосерднейшая из женщин, и пусть высшие боги… окажут тебе предпочтение перед всеми смертными, так как ты этого вполне заслуживаешь, и сделают тебя счастливейшей из всех людей.

Было вполне очевидно, что Валерия взволнована: это волнение сказывалось в страстном блеске ее выразительных глаз и в тяжелом и частом

дыхании белоснежной груди.

Что касается Спартака — он был вне себя: он считал себя во власти видения, жертвой бреда своего мозга, но, так или иначе, отдался со всей силой души во власть этой прекрасной мечты, этого сладкого очарования, этого призрака счастья. Он смотрел на Валерию глазами восторженными, преданными и полными обожания, он слушал ее мелодичный голос, который казался ему гармонией арфы Аполлона, он упивался ее пылающими и страстными глазами, которые, казалось, обещали неизреченные восторги любви. И если он не мог верить и действительно не верил выражению, которое явно отражалось в этих глазах и которое он считал результатом галлюцинации своего мозга, он все-таки не сводил влюбленного взгляда с божественных глаз Валерии.

За последними словами Спартака наступило долгое молчание, нарушаемое только тяжелым дыханием матроны и фракийца; и ток одинакового трепета, одних и тех же чувств и мыслей установился почти без их ведома между двумя душами и держал их обоих в нерешительности и безмолвии.

Валерия первая попыталась освободиться от

тягости этого опасного молчания. Она обратилась к Спартаку с такими словами:

— Так что, ты, будучи свободен от всех обязательств, решился бы взять на себя руководство над шестьюдесятью рабами, которых Сулла хочет обучить гладиаторскому делу на своей вилле в Кумах?

— Я готов сделать все, что тебе угодно, так как я твой раб и весь до конца в твоем распоряжении, — ответил Спартак едва внятным голосом, устремив на Валерию взор, выражающий чувство нежности и безграничной преданности.

Валерия некоторое время в молчании пристально смотрела на Спартака, а затем встала и, шатаясь и как бы задыхаясь, прошлась по комнате. Потом она остановилась возле рудиария и долго смотрела на него без слов. Наконец сказала чуть слышно:

— Спартак, будь откровенен, скажи мне: что ты делал много дней тому назад, спрятавшись за колонной портика этого дома?

Точно пламя озарило бледное лицо гладиатора. Он наклонил голову без ответа, дважды тщетно пытаясь поднять лицо к Валерии и открыть уста, чтобы заговорить: всякий раз ему мешал стыд — стыд, который овладел им от мысли, что его тайна

уж больше не тайна и что Валерия будет смеяться от души над его безумным пылом, побудившим презренного гладиатора поднять взор на одну из самых прекрасных и знатных патрицианок Рима. Он почувствовал всю тяжесть своего позорного и незаслуженного положения и проклял войну и гнусное могущество Рима, дрожал, ругался и плакал про себя от стыда, от горя и бешенства.

Спустя несколько мгновений Валерия, не понимая молчания Спартака, сделала еще шаг к нему и с еще более нежным и благосклонным оттенком в голосе снова спросила его:

— Итак… скажи мне… что ты делал?

Рудиарий, не подымая головы, упал к ногам Валерии и прошептал:

— Прости!.. Прости!.. Прикажи своему надсмотрщику бить меня розгами!.. Пошли, чтобы меня распяли на Сессорском поле!..[50] Я это заслужил…

— Встань!.. Что с тобой? — сказала Валерия, схватив за руку Спартака и побуждая его встать.

— Но я клянусь тебе, что я тебя обожал, как обожают Венеру, как обожают Юнону…

— А!.. — воскликнула с удовлетворением мат-

[50] Сноски: 50

Место за воротами в Риме, где распинали на крестах рабов, обвиненных в преступлении против господина.

рона. — Ты приходил, чтобы взглянуть на меня…

— Прости меня… Прости меня…

— Встань, Спартак, благородное сердце, — сказала Валерия голосом, дрожащим от волнения, сжимая с силой руку Спартака.

— Нет-нет, здесь, здесь у твоих ног… мое место, божественная Валерия…

С этими словами он схватил край ее туники и стал его целовать в страстном порыве.

— Встань, встань, не для тебя это место, — прошептала, вся дрожа, Валерия.

И Спартак, покрывая жаркими поцелуями руки Валерии, встал, взглянул на нее влюбленными глазами, повторяя, будто в бреду, хриплым и полузадушенным голосом:

— О божественная!.. божественная!.. божественная Валерия!..[51]

---

[51] Сноски: 51

Те, кто счел бы неправдоподобным и преувеличенным описанное в конце этой главы, может найти подобный же и даже еще более разительный исторический факт у Ювенала (Сат. VI, 8,2), где описываются любовные похождения и бегство Гиппии, жены сенатора Вентидиона, с одним красивым гладиатором. — *Примеч. автора.*



Глава VI
Угрозы, интриги и опасности

— Итак, — говорила Эвтибида, прекрасная гречанка-куртизанка, развалившись на груде мягких пурпуровых подушек в экседре своего дома на Священной улице, возле храма Януса Великого, — итак, знаешь ли ты что-нибудь или нет? Есть ли у тебя в руках ключ к этой путанице?..

И, не ожидая ответа от своего собеседника, мужчины лет пятидесяти, с безбородым, женственным лицом, сплошь покрытым морщинами, плохо скрытыми под гримом белил и румян, в котором по виду его одежды сразу можно было угадать актера, она прибавила:

— Желаешь ли ты, чтобы я тебе сказала, какого мнения я о тебе, Метробий? Я всегда тебя очень мало ценила, теперь же и вовсе человеком не считаю.

— О, клянусь маской Мома[52], моего покровителя! — возразил актер скрипучим голосом. — Если бы ты не была, Эвтибида, более прекрасной, чем

---

[52] Сноски: 52

Мом — в древнегреческой мифологии бог насмешки и злословия.

Диана, и более пленительной, чем Киприда, то, даю тебе честное слово Метробия, задушевного друга Корнелия Суллы в течение тридцати лет, я бы рассердился. Я бы просто ушел, пожелав тебе доброго пути к берегам Стикса!

— Но что ты все-таки сделал? Что ты разведал об их планах?

— Вот… я тебе скажу… Я узнал много — и ничего…

— Что означают твои слова?..

— Будь терпелива — я тебе все объясню. Надеюсь, что ты не сомневаешься в том, что я — Метробий, старый актер на мимических ролях, в течение тридцати лет исполняющий женские роли на народных представлениях, умею обольщать людей, особенно когда эти люди — варвары и невежественные рабы или еще более невежественные гладиаторы…

— Я не сомневаюсь в твоей ловкости, поэтому и дала тебе это поручение, но…

— Но… но пойми, прекраснейшая Эвтибида, что заговора гладиаторов открыть нельзя, так как они ничего не замышляют.

— Возможно ли это?

— Это верно и несомненно, прекраснейшая девушка.

— Однако два месяца тому назад гладиаторы были в заговоре, организовали тайный союз, имели свой пароль, условные знаки приветствия и свои гимны и, по-видимому, замышляли восстание, нечто вроде бунта рабов в Сицилии.

— И ты серьезно верила в возможность восстания гладиаторов?

— А почему нет?.. Разве они не умеют сражаться и не умеют умирать?

— В амфитеатрах…

— Именно поэтому они могут сражаться и умирать для завоевания свободы.

— Во всяком случае, если ты об этом узнала, то это должно быть так… они устроили заговор… Но в чем я тебя могу решительно заверить, так это в том, что теперь заговора у них уже больше нет.

— Ах!.. — сказала с легким вздохом красавица-гречанка, задумавшись. — Я не знаю причин этого… и даже боюсь их узнать. Гладиаторы сговорились между собой и выступили бы, если бы римские патриции, враги законов и Сената, взяли на себя командование над ними.

— Видимо, эти римские патриции, как бы подлы они ни были, не решились стать во главе гладиаторов…

— Что ж, нам больше незачем заниматься этим.

Скажи мне, Метробий…

— Сперва удовлетвори мое любопытство, — сказал актер. — Откуда ты получила сведения о заговоре гладиаторов?

— От одного грека… моего соотечественника, тоже гладиатора…

— Ты, Эвтибида, на земле более могущественна, чем Юпитер на небе. Одной ногой ты попираешь Олимп олигархов, другой — грязное болото черни…

— Я делаю все, что возможно, для того чтобы добиться…

— Чтобы добиться чего?..

— Чтобы добиться власти! — воскликнула дрожащим голосом Эвтибида, вскочив на ноги, с лицом, искаженным от гнева, с глазами, горящими зловещим блеском, и с выражением столь глубокой ненависти, смелости и неукротимой воли, которого никак нельзя было ожидать от этой изящной и грациозной девушки. — Да, чтобы добиться власти, стать богатой, могущественной, чтобы мне завидовали… и, — прибавила она вполголоса, но с еще большей силой, — чтобы иметь возможность отомстить.

Метробий, хотя он и привык ко всяким притворствам на сцене, с изумлением и с открытым

ртом смотрел на искаженное лицо Эвтибиды, а она, овладев собой и внезапно разразившись звонким смехом, воскликнула:

— Не правда ли, я исполнила бы роль Медеи если не как Галерия Эмболария, то во всяком случае недурно. Ты окаменел, бедный Метробий, и, хотя ты старый и опытный комедиант, ты навсегда останешься на ролях женщин и мальчиков.

И Эвтибида продолжала искренне смеяться, вызывая вновь изумление Метробия.

— Итак, чтобы добиться чего? — снова начала после некоторой паузы куртизанка. — Чтобы добиться чего, старый и глупый индюк?

И, говоря это, она дала ему щелчок и, не переставая смеяться, продолжала:

— Чтобы стать такой же богатой, как Никополия, любовница Суллы, как Флора, старая куртизанка, которая так сильно влюбилась в Гнея Помпея, что, когда он ее бросил, серьезно заболела, чего со мною, клянусь тебе Венерой Пафосской, никогда не случится. Чтобы стать богатой, очень богатой — понимаешь, старый дурак? — для того, чтобы я могла наслаждаться всеми радостями, всеми удовольствиями жизни, после которой, как учит божественный Эпикур, уже нет ничего. Ты понял, почему я пускаю в ход

все искусство и все средства обольщения, которыми меня одарила природа? Именно для того, чтобы стоять одной ногой на Олимпе, а другой на болоте и…

— Но в грязи можно испачкаться.

— А после можно и вымыться. Разве в Риме мало бань и душей? Разве нет ванны в этом моем доме? Но подумайте, о высшие боги, только подумайте, кто осмеливается читать трактат о морали?.. Человек, который провел всю жизнь в самых грязных мерзостях, самых низких гнусностях!

— Давай перестанем рисовать такими живыми красками мой портрет: ты заставишь людей убежать прочь при виде такой грязной личности. Ведь я это сказал в шутку. Моя мораль у меня в пятках. Что ты хочешь, чтобы я с нею сделал?

С этими словами Метробий приблизился к Эвтибиде и, взяв ее руку, стал целовать, говоря:

— А когда же я получу награду от твоего благодарного сердца?

— Награду?.. Благодарное сердце?.. Но за что оно должно быть благодарным, старый сатир? — сказала Эвтибида, отнимая руку и ударив Метробия по лицу. — Узнал ли ты, что замышляют гладиаторы?..

— Но, прекраснейшая моя Эвтибида, — возразил старик жалобным голосом, униженно следуя за гречанкой, которая не переставая ходила по комнате, — мог ли я открыть то, что не существует?..

— Ну хорошо, — сказала девушка, обернувшись и бросив на комедианта ласковый взгляд, сопровождаемый очаровательной улыбкой, — если ты хочешь заслужить мою благодарность и если ты хочешь, чтобы я доказала мою признательность…

— Приказывай, приказывай, божественная…

— Ты должен продолжать следить за ними, так как я не уверена в том, что гладиаторы совсем оставили мысль о восстании. И прежде всего, если хочешь открыть что-нибудь, ты должен следить за Спартаком.

Когда Эвтибида произнесла это имя, щеки ее покрылись ярким румянцем.

— О, что касается Спартака, то вот уже месяц, как я следую за ним по пятам, не только ради тебя, но также ради себя самого или, лучше сказать, ради Суллы.

— Что?.. Как?.. Что ты сказал?.. — воскликнула, вдруг оживившись и подбегая к Метробию, куртизанка.

Метробий осмотрелся кругом, как бы боясь, что его услышат, и затем, приложив указательный палец правой руки к губам, сказал вполголоса:

— Это мое подозрение… моя тайна, и так как я могу ошибиться и вмешиваюсь в дела Суллы… то я не скажу об этом ни одной живой душе, пока не подтвердятся мои предположения.

На лице Эвтибиды, пока Метробий говорил, отражалось волнение, которое было ему непонятным. Едва она услышала, что Метробий старается скрыть свой секрет, то, кроме других сокровенных причин, которые подстрекали ее узнать, в чем тут дело, — быть может, под влиянием женского любопытства, быть может, из желания увидеть, до чего может дойти сила ее чар над старым распутником, — в ней внезапно загорелось желание узнать все, и она сказала:

— Быть может, Спартак посягает на жизнь Суллы?

— Ничуть не бывало! Что это тебе взбрело в голову?

— Так в чем же дело?..

— Я не могу сказать тебе. Узнаешь после…

— Нет, сейчас. Не правда ли, ты мне сейчас скажешь все, мой славный Метробий? — прибавила она вдруг, взяв одной рукой руку комедианта, а

другой лаская его лицо. — Разве ты можешь во мне сомневаться?.. Разве ты не знаешь на опыте, как я серьезна и не похожа на других женщин?.. Не говорил ли ты много раз, ты сам, что я могла бы стать восьмым мудрецом Греции…[53] Клянусь тебе Аполлоном Дельфийским, моим покровителем, что никто не узнает от меня того, что ты мне скажешь. Ну, говори! Скажи своей Эвтибиде, добрый Метробий, — моя благодарность к тебе будет безгранична.

И так, кокетничая и лаская старика, пуская в ход чарующие взгляды и самые нежные улыбки, она скоро подчинила его своей воле и добилась своего.

— От тебя не отделаешься, видно, — сказал в конце концов Метробий, — пока не исполнишь твоего желания. Знай же, что я подозреваю — и имею на это не одно основание, — что Спартак влюблен в Валерию, а она — в него.

— А! Клянусь факелами эриний-мстительниц! — вскричала, свирепо сжимая кулаки и внезапно побледнев, девушка. — Может ли это быть?

---

[53] Сноски: 53

Греки насчитывали семь великих мудрецов древности: Фалеса Милетского, Солона Афинского, Бианта Приенского, Питтака Митиленского, Клеобула Линдского, Мисона Хенского, Хилона Спартанского.

— Все наводит меня на эту мысль, хотя у меня нет доказательств… Но смотри не пророни никому ни слова об этом…

— Ах!.. — говорила Эвтибида, впав в задумчивость и как бы говоря сама с собой. — Вот почему… Конечно, иначе не могло быть… Только другая женщина… Другая… другая!.. — воскликнула она затем с диким выражением бешенства. — Итак, вот, вот кто тебя побеждает своей красотой… бедную, безумную… вот кто тебя победил!

И, говоря это, она закрыла лицо руками и разразилась безудержными рыданиями.

Как встретил Метробий этот неожиданный взрыв рыданий и эти прерывистые слова, раскрывавшие тайну любви, легко себе представить. Эвтибида, прелестная Эвтибида, по которой вздыхали наиболее знатные и богатые патриции и которая еще не любила никого, сама пылала безумной любовью к храброму гладиатору и сама, привыкшая презирать без разбора своих высокопоставленных обожателей, оказалась отвергнутой низким рудиарием.

К чести Метробия, он почувствовал глубокое сострадание к несчастной и, приблизившись к ней, старался приласкать ее:

— Но может быть… это еще неправда… Я, мо-

жет быть, ошибся… может быть, это плод моей фантазии.

— Нет, ты не ошибся… Нет, это не фантазия… Это правда, правда, я знаю, я чувствую, — возразила девушка, вытирая заплаканные глаза краем пурпурного плаща.

И спустя мгновение она твердо добавила глухим голосом:

— Во всяком случае, хорошо, что я это узнала… хорошо, что ты открыл мне это…

— Но умоляю… не выдай меня…

— Не бойся, Метробий, не бойся, напротив, я тебя отблагодарю сколько могу, и, если ты поможешь мне довести до конца мой план, ты увидишь, какие доказательства признательности может дать Эвтибида.

И после минуты молчания она снова сказала задыхающимся голосом:

— Ступай, отправляйся немедленно в Кумы… сейчас… сегодня же… и следи за каждым их шагом, за каждым движением, за каждым их вздохом… Доставь мне улику, и мы отомстим сразу и за честь Суллы, и за мою женскую гордость.

С этими словами девушка, вся трепетавшая от волнения, выбежала из комнаты, бросив на ходу Метробию, который стоял ошеломленный:

— Обожди меня немного… Я сейчас вернусь.

И через минуту, действительно вернувшись в экседру, она подала Метробию толстую тяжелую кожаную сумку и сказала:

— Возьми эту сумку, в ней находится тысяча аурей, подкупай рабов, соблазняй рабынь, но достань доказательство, понимаешь… И если тебе понадобятся еще деньги…

— Хватит и этих…

— Хорошо! Трать их, не скупясь, я тебе возмещу… Но ступай… отправляйся сегодня же и не останавливайся ни разу в пути… И возвращайся, возвращайся скорее с уликами.

Говоря это, она выталкивала бедного человека из экседры и, продолжая торопить его, провожала по коридору, который тянулся вдоль салона, мимо алтаря, посвященного домашним богам, мимо бассейна для дождевой воды; она проводила его и через атриум[54] в переднюю, проводила вплоть до входных дверей и сказала рабу, который исполнял обязанности привратника:

— Ты видишь, Гермоген, этого человека… В каком бы часу он ни пришел, ты тотчас же про-

---

[54] Сноски: 54

Атриум — центральная часть древнеримского жилища, представлявшая собой внутренний световой двор, откуда имелись выходы во все остальные помещения.

водишь его в мои комнаты.

Попрощавшись с Метробием, она быстро вернулась к себе и, запершись в своем кабинете, сперва долго ходила по комнате то быстро, то медленно; тысячи желаний, тысячи надежд вспыхивали на ее возбужденном лице, взволнованном и зловеще освещенном блеском ее ужасных глаз, не имевших в себе больше ничего человеческого, напоминавших глаза бешеного дикого зверя. Затем, вновь разразившись плачем, она бросилась на диван и что-то шептала, кусая и раздирая зубами свои белоснежные руки:

— О эвмениды!.. Дайте мне отомстить, и я вам воздвигну великолепный алтарь!.. Мести я жажду, мести хочу!.. Мести…

Чтоб объяснить этот яростный пароксизм нежной Эвтибиды, мы вернемся на некоторое время назад и в немногих словах расскажем читателям о том, что произошло за два месяца, протекшие с того дня, когда Валерия, побежденная охватившей ее пылкой страстью к Спартаку, отдалась ему.

Гладиатор, при мужественной и необыкновенной красоте своих форм, обладал — читатели этого не забыли — благородной привлекательностью лица, мягко освещаемого, когда оно не

было возбуждено гневом, кротким выражением доброты, милой улыбкой, необыкновенной силой чувства, которое струилось яркими лучами из его больших синих глаз; поэтому он мог зажечь и зажег в сердце Валерии страсть столь же глубокую и сильную, как та, которая потрясла его душу, и очень скоро знатная дама, которая с каждым часом открывала новую добродетель, новое достоинство в благороднейшей душе молодого человека, была всецело покорена им. Она уже не только любила его без памяти, но уважала, поклонялась и восхищалась им так, как несколько месяцев до этого она думала, что сможет уважать и почитать, если не любить, Луция Корнелия Суллу.

Считал ли себя Спартак счастливым или действительно был счастлив — это легче понять, чем описать; в этом опьянении любовью, в этой полноте счастья, в этом высшем экстазе он, как все счастливые люди, стал эгоистом, совершенно забыл своих товарищей по несчастью, цепи, в которые еще до вчерашнего дня были закованы его ноги, святое дело свободы, которое он так долго обдумывал, дело, которое он клялся себе самому довести до конца каким бы то ни было способом. Да, Спартак все забыл, потому что он был все же

человек: Помпей, Красс или Цицерон поступили бы так же, как он.

И в то время как Спартак находился в таком душевном состоянии и считал себя самым счастливым человеком в мире, он получил несколько приглашений от Эвтибиды. Она настойчиво звала его будто бы по делам заговора, волновавшего гладиаторов в школах. Спартак наконец отправился к куртизанке.

Эта девушка, которой, как мы уже говорили, едва исполнилось двадцать четыре года, была четырнадцати лет уведена в рабство. В 668 году от основания Рима, то есть за восемь лет до описываемых событий, Сулла взял после продолжительной осады Афины, в окрестностях которых родилась Эвтибида. Попав в руки развратного патриция Публия Стация Апрониана, она, по природе завистливая, гордая и склонная к дурному, очень скоро утратила всякое чувство стыда в угаре сладострастных оргий, в которых хозяин принуждал ее принимать участие. В короткое время эта девушка, погрязшая в кутежах, получившая свободу путем нечисто завоеванной любви старого развратника, всецело отдалась позорной жизни и приобрела влияние, силу и богатство. Кроме редкой красоты, природа щедро

одарила эту женщину умом, который она усиленно изощряла придумыванием всевозможных интриг и коварных козней. Когда все тайны зла стали ей уже известны, когда она пресытилась наслаждениями и испытала все страсти, развратная жизнь, которую она вела, стала вызывать в ней отвращение. Как раз в этом душевном состоянии она впервые увидела Спартака; сочетание геркулесовской силы с необыкновенной красотой пробудило в ее сердце чувственный каприз, сотканный из прихоти и пылкого желания; она не сомневалась, что сможет его легко удовлетворить.

Но когда, хитростью заманив Спартака в свой дом, она безуспешно пустила в ход все средства обольщения, которые подсказывали ее порочная душа и утонченное сладострастие, когда она увидела, что рудиарий не поддается ни на какие приманки, словом, когда она убедилась, что перед ней единственный человек в мире, который отверг то, что было предметом ненасытного желания для всех остальных, и что этот именно мужчина, не обращавший на нее внимания, был единственным, к которому она могла бы испытывать некоторое чувство, — тогда грубая прихоть куртизанки постепенно и незаметно для самой

Эвтибиды превратилась в истинную страсть, ставшую ужасной вследствие порочности этой женщины.

А Спартак, сделавшись учителем и ланистой гладиаторов Суллы, вскоре отправился в Кумы, в окрестностях которых находилась очаровательная вилла диктатора. Здесь Сулла поселился со своей семьей и двором.

Эвтибида, столь глубоко оскорбленная в своем чувстве и самолюбии, инстинктивно догадывалась, что только другая любовь, только образ другой женщины мешал Спартаку броситься в ее объятия. Она всячески старалась забыть рудиария и выбросить память о нем из своей головы, но тщетно! Человеческое сердце так устроено — и это было всегда, — что оно желает именно того, что ему не дается, и чем сильнее препятствия, мешающие исполнению его желаний, тем сильнее упорствует оно в стремлении удовлетворить их. Вот почему Эвтибида, такая беззаботная и счастливая до этого дня, оказалась в самом печальном положении, в каком только может оказаться человеческое существо среди богатства и всех внешних признаков счастья.

И читатели видели, с какой радостью Эвтибида ухватилась за возможность, представленную ей

Метробием, отомстить сразу и человеку, которого она в одно и то же время ненавидела и любила, и ненавистной счастливой сопернице.

Но в то время как Эвтибида в своем кабинете давала волю порывам своей порочной души, а Метробий верхом на добром коне скакал в Кумы, столь же важные события происходили в таверне Венеры Либитины, где не меньшие опасности грозили в этот день Спартаку и делу угнетенных, которое он взялся защищать.

В сумерки семнадцатого дня апрельских календ (16 марта) 676 года от основания Рима довольно много гладиаторов собрались у Лутации Одноглазой поесть сосисок и жареной свинины и выпить велитернского и тускуланского вина. У этих двух десятков молодцов, сидевших за столом, не было недостатка ни в аппетите, ни в пристрастии к хорошему вину, ни в веселье.

Во главе стола, в качестве распорядителя этого пиршества, сидел Крикс, гладиатор-галл, о котором уже упоминалось. Благодаря своей силе и мужеству он заслуженно пользовался не только авторитетом среди своих товарищей, но и доверием и уважением Спартака.

Стол, вокруг которого сидели гладиаторы, был приготовлен во второй комнате харчевни. Поэто-

му гладиаторы чувствовали себя здесь свободно и уютно и могли без опаски говорить о своих делах еще и потому, что в первой комнате в этот час было мало посетителей. Да и эти немногие, попавшие сюда, были из тех, которые наспех выпивали чашку тускуланского вина и уходили по своим делам.

Усевшись за столом вместе со своими товарищами, Крикс заметил, что в одном углу комнаты находился маленький столик с остатками закусок, а перед ним скамейка, на которой, очевидно, кто-то недавно сидел.

— Ну-ка, скажи, Лутация Кибела, мать богов, — сказал Крикс, обращаясь к хозяйке, которая, запыхавшись, хлопотала вокруг стола, приготовляя все необходимое и расставляя кушанья…

— Мать подлых и неблагодарных гладиаторов, таких как вы, — прервала его с насмешкой Лутация, — а не богов.

— Эх! Да разве ваши боги не были сами гладиаторами, и притом хорошими!..

— О, пусть великий Юпитер простит меня! Какие богохульства мне приходится слышать! — сказала возмущенная Лутация.

— О, клянусь Гезом, я не лгу и не богохульствую! Я ничего не говорю о Марсе и его деяниях и ука-

зываю только на Вакха и Геркулеса; и если эти двое не были хорошими и храбрыми гладиаторами и не совершили подвигов, вполне достойных амфитеатра и цирка, то я хотел бы, чтобы молния Юпитера поразила в этот самый момент моего доброго ланисту Акциана!

Общий смех раздался после заключительного возгласа Крикса, и послышались многочисленные восклицания:

— Если бы!.. Если бы!.. Если бы небо захотело!..

Когда шум прекратился, Крикс сказал:

— Скажи мне, Лутация, кто обедал за этим столиком?

Лутация обернулась и воскликнула с изумлением:

— Куда же он ушел? Вот штука!..

И спустя мгновение добавила:

— Да поможет мне Юнона Луцина…

— В родах твоей кошки… — пробормотал один из гладиаторов.

— Он меня ограбил, не уплатил по счету.

И с этими словами Лутация побежала к столику, между тем как Крикс снова спросил:

— Да кто же этот неизвестный, которого ты скрываешь?

— Ах! — сказала, облегченно вздохнув, Одногла-

зая. — Я его оклеветала… Я знала, что он честный человек. Он оставил на столе восемь сестерций в уплату по счету… Это даже больше, чем с него следовало, в его пользу остается четыре с половиной асса.

— Чтобы тебя язвы разъели, скажешь ты, наконец!..

— Бедняга, — продолжала Лутация, убирая со столика, — он забыл дощечку со своими записями и свой стилет.

— Пусть Прозерпина[55] сегодня же слопает твой язык, сваренный в сладком уксусе, старая мегера! Назовешь ты, наконец, нам таинственное подлежащее в твоей речи! — закричал Крикс, выведенный из терпения болтовней Лутации.

— Я вам дам его имя… попрошайки, вы любопытнее баб, — ответила, рассердившись, Лутация. — Здесь, за этим столом, ужинал сабинский торговец зерном, прибывший в Рим по своим делам; уже несколько дней, как он приходит сюда в этот именно час.

— А ну-ка покажи мне, — сказал Крикс, отнимая у Лутации маленькую деревянную дощечку, покрытую воском, и костяную палочку, оставлен-

---

[55] Сноски: 55

Прозерпина — супруга Плутона, бога подземного царства.

ную на столе.

И он стал читать то, что записал торговец.

Здесь были действительно отмечены разные партии зерна, с соответствующими ценами сбоку и с именами собственников зерна, которые, по-видимому, получили от торговца задатки и денежные залоги, так как рядом с именами были разные цифры.

— Но я не понимаю, — продолжала Лутация Одноглазая, — когда именно он ушел… Я могла бы поклясться, что в тот момент, когда вы вошли, он был еще здесь… А… понимаю! Должно быть, когда я была занята приготовлением сосисок и свинины для вас, он меня позвал, и так как спешил, то и ушел… оставив деньги, как честный человек.

И Лутация, получив обратно палочку и дощечку с записями, удалилась, приговаривая:

— Завтра… если он придет… а он придет наверняка, я отдам ему все, что ему принадлежит.

Гладиаторы продолжали поглощать кушанья почти в полном молчании, и лишь спустя некоторое время один из них спросил:

— Итак, о солнце нет никаких известий?[56]

— Оно все время за тучами[57], — ответил Крикс.

— Однако это странно, — заметил один.

— И непонятно, — прошептал другой.

— А муравьи?[58] — спросил третий, обращаясь к Криксу.

— Они растут числом и усердно занимаются своим делом, ожидая наступления лета[59].

— О, пусть придет скорее лето, и пусть солнце, сверкая во всемогуществе своих лучей, обрадует трудолюбивых муравьев и сожжет крылья коварным осам![60]

— А скажи мне, Крикс, сколько звезд уже видно?[61]

— Две тысячи двести шестьдесят на вчераш-

---

[56] Сноски: 56

Условный знак, принятый гладиаторами, чтобы иметь возможность говорить без боязни, что их поймут, в гладиаторских школах или в присутствии людей, чуждых их заговору. *Солнце* — это великий учитель, то есть Спартак.

[57] Сноски: 57

Он не прислал приказов и хранит еще молчание.

[58] Сноски: 58

А заговорщики?

[59] Сноски: 59

Сигнал восстания.

[60] Сноски: 60

Римлянам.

[61] Сноски: 61
Каково число сторонников?

ний день.

— А не открываются ли еще новые?

— Все время до тех пор, пока лазурный свод небес не засверкает над миром, весь покрытый мириадами звезд.

— Гляди на весло[62], — сказал один из гладиаторов, увидя входившую Азур, эфиопку-рабыню, которая внесла вино.

После ухода рабыни один гладиатор, по национальности галл, сказал на ломаном латинском языке:

— В конце концов, мы здесь одни и можем говорить свободно, не напрягая ума беседой на условном языке, которому я, недавно только примкнувший к вам, еще не научился; итак, я спрашиваю без всяких фокусов, увеличивается ли число сторонников? Растем ли мы с каждым днем? Когда мы сможем наконец подняться, выступить в бой и показать этим высокомерным, бессердечным нашим господам, что мы так же храбры, как они, и даже храбрее их?..

— Ты слишком спешишь, Брезовир, — возразил Крикс, улыбаясь, — ты слишком спешишь и горячишься. Число сторонников союза растет

---

[62] Сноски: 62

Внимание, кто-то идет. — *Последние семь примечаний принадлежат автору.*

изо дня в день, число защитников святого дела увеличивается с каждым часом, с каждым мгновением… так что, например, сегодня же вечером, в час первого факела, в лесу, посвященном богине Фуррине[63], по ту сторону Сублицийского моста, между Авентинским и Яникульским холмами будут приняты в члены нашего союза с соблюдением предписанного обряда еще одиннадцать верных и испытанных гладиаторов.

— В лесу богини Фуррины, — сказал пылкий Брезовир, — где еще стонет среди листвы дубов неотмщенный дух Гая Гракха, благородной кровью которого ненависть патрициев напитала эту священную заповедную почву; в этом именно лесу нужно собираться и объединяться угнетенным для того, чтобы завоевать себе свободу.

— Что касается меня, то я, — сказал один из гладиаторов, по происхождению самнит, — не дождусь часа, когда вспыхнет восстание, но не потому, что я очень верю в благополучный его исход, а потому, что мне не терпится схватиться с римлянами и отомстить за самнитов и марсийцев, погибших от рук этих разбойников в священной гражданской войне.

---

[63] Сноски: 63

Фуррина — богиня грозы, грома и молнии.

— Ну, если бы я не верил в победу нашего правого дела, я бы, конечно, не вошел бы в союз угнетенных.

— А я вошел в союз потому, что обречен умереть и предпочитаю пасть на поле сражения, чем погибнуть в цирке.

В этот момент один из гладиаторов уронил меч с перевязью, который он снял и положил себе на колени.

Этот гладиатор сидел на скамейке напротив одного из двух обеденных лож, на которых возлежали некоторые из его товарищей. Он нагнулся, чтобы поднять меч и перевязь, и вдруг воскликнул:

— Под ложем кто-то есть!

Он увидел, или ему показалось, что он увидел, под ложем чью-то ногу, покрытую от колена до лодыжки белой повязкой, которую, вопреки национальному обычаю, многие носили в эти дни, а поверх этой повязки виднелся край зеленой тоги.

При восклицании гладиатора все вскочили, и на минуту поднялось волнение, но Крикс тотчас же воскликнул:

— Гляди на весло! Брезовир и Торкват пусть про-

гоняют насекомых[64], а мы изжарим рыбу[65].

Два гладиатора, исполняя приказ, стали у двери, болтая друг с другом с самым беззаботным видом, между тем как остальные, мигом подняв ложе, обнаружили под ним съежившегося молодого человека лет тридцати. Схваченный четырьмя сильными руками, он начал сразу молить о пощаде.

— Ни звука, — приказал ему тихим и грозным голосом Крикс, — и никакого движения, или ты умрешь!

И десять мечей, блеснувшие в десяти сильных руках, предупредили несчастного, что если он только попытается подать голос, то в один миг отправится на тот свет.

— А!.. Это ты, сабинский торговец зерном, который оставляет на столах сестерции без счета? — спросил Крикс, на лице которого и в глазах, налитых кровью, сверкал мрачный и страшный огонь.

— Поверьте мне, доблестные люди, я не… — начал тянуть молодой человек, от ужаса сделавшись похожим на труп.

---

[64] Сноски: 64
Пусть охраняют выход. — *Примеч. автора.*

[65] Сноски: 65
Захватим шпиона. — *Примеч. автора.*

— Молчи, трус! — прервал его один из гладиаторов, нанося ему сильнейший пинок в живот.

— Эвмакл, — сказал с укором в голосе Крикс, — обожди… Надо, чтобы он заговорил и сказал нам, что его привлекло сюда и кем он был послан.

И тотчас же он обратился к мнимому торговцу зерном:

— Итак, не для спекуляций зерном, а для шпионажа и предательства…

— Клянусь высокими богами… мне поручил… — сказал прерывистым и дрожащим голосом несчастный.

— Кто ты?.. Кто тебя послал сюда?..

— Сохраните мне жизнь… и я вам скажу все… но ради милосердия… из жалости сохраните мне жизнь!

— Это мы решим после… а пока говори.

— Мое имя Сильвий Кордений Веррес… я грек… бывший раб… теперь вольноотпущенник Гая Верреса.

— А! Так ты по его приказу пришел сюда?

— Да, по его приказу.

— А что мы сделали Гаю Верресу? И что заставляет его шпионить за нами и доносить на нас?.. Ведь если он хотел знать цель наших тайных сборищ, то, очевидно, собирался затем донести

на нас Сенату.

— Не знаю… этого я не знаю, — сказал, все время дрожа, отпущенник Гая Верреса.

— Не притворяйся… Не строй перед нами дурака, так как если Веррес тебе верит настолько, что мог поручить такое деликатное и опасное дело, это означает, что он тебя счел способным довести его до конца. Итак, говори и скажи нам все, что тебе известно, так как мы не простим тебе отпирательства.

Сильвий Кордений понял, что с этими людьми шутить нельзя, что смерть всего в нескольких шагах от него; как утопающий хватается за соломинку, он решился прибегнуть к откровенности и этим путем, если возможно, спасти свою жизнь.

И он рассказал все, что знал.

Гай Веррес в триклинии Катилины узнал, что существовал союз гладиаторов для организации восстания против законов Рима и установленной власти, и не мог поверить, что эти люди, храбрые и презирающие смерть, так легко отказались от предприятия, в котором они ничего не теряли, а могли выиграть все. Поэтому он не поверил словам Спартака, который в тот вечер в триклинии Катилины сделал вид, что обескуражен, упал духом и высказал решение бросить всякую мысль

о восстании. Напротив, Гай Веррес был убежден, что заговор продолжал втайне усиливаться и расширяться и что в один прекрасный день гладиаторы без помощи римлян и без содействия патрициев поднимут на свой собственный риск знамя восстания.

После продолжительных размышлений, как лучше всего поступить в данном случае, Гай Веррес, очень жадный на деньги и считавший, что все средства хороши и допустимы, лишь бы их достать, решил в конце концов устроить слежку за гладиаторами, осведомиться об их планах, овладеть всеми нитями их заговора и донести обо всем; он надеялся в награду за это получить крупную сумму денег или управление провинцией, где он мог бы честно стать богачом, законно грабя жителей, как это обыкновенно, к сожалению, делала большая часть квесторов, преторов и проконсулов; и не было случая, чтобы жалобы угнетаемых когда-либо дошли и взволновали всегда продажный и всегда готовый к подкупам римский Сенат.

Чтобы добиться своей цели, Веррес с месяц тому назад поручил своему преданному отпущеннику и верному слуге Сильвию Кордению идти по пятам за гладиаторами, следить за их движениями

и разузнавать все секреты их сборищ.

Последний в течение месяца терпеливо посещал все притоны и дома терпимости, кабаки и харчевни в наиболее бедных районах Рима, где чаще всего и в большом количестве собирались гладиаторы; беспрестанным подслушиванием и расследованием он собрал некоторые улики, мысли и подозрения и в конце концов пришел к заключению, что в отсутствие Спартака, наиболее почитаемого и уважаемого среди этих людей, тем, кто должен был справиться со всей задуманной интригой, если таковая действительно существовала, был Крикс. Поэтому он стал следить за Криксом, и так как галл часто посещал харчевню Венеры Либитины, то Сильвий Корденний в течение шести или семи дней приходил туда, а иногда даже два раза в день; и, когда после длительного и точного расследования он узнал, что в этот вечер состоится собрание начальников групп, на котором будет и Крикс, он решился на хитрость — забраться под обеденное ложе именно в тот момент, когда приход гладиаторов отвлек все внимание Лутации Одноглазой, чтобы ни у кого не возникло бы подозрения по поводу его внезапного исчезновения.

Когда Сильвий Корденний закончил свою речь,

состоящую вначале из отрывистых и бессвязных слов, произносимых дрожащим и нерешительным голосом, а затем полным интонаций, чувства и изящества, Крикс, внимательно наблюдавший за ним, некоторое время молчал, а затем сказал медленно и очень спокойно:

— А ведь ты негодяй, каких мало!

— Не считай меня больше того, чего я стою, благородный Крикс, и…

— Нет, нет, ты стоишь больше, чем показываешь, и, хоть у тебя бараний вид и душа кролика, ум у тебя тонкий, и хитер ты на славу.

— Но я ведь не сделал вам ничего худого… я исполнял приказания моего патрона, и мне кажется, что, принимая во внимание мою искренность и то, что я здесь перед вами торжественно клянусь всеми богами Олимпа и ада не передать никому, и даже Верресу, ничего из того, что я узнал и что произошло между нами, мне кажется, что вы можете подарить мне жизнь и дать мне свободно уйти.

— Не торопись, добрый Сильвий, мы об этом еще поговорим, — иронически возразил Крикс.

Подозвав к себе семь или восемь гладиаторов, он им сказал:

— Выйдем на минуту.

Он вышел первый, крикнув тем, кто оставался:

— Стерегите его!.. И не делайте ему ничего дурного.

Гладиаторы вышли из комнаты и через другую, длинную широкую комнату харчевни прошли в переулок.

— Как поступить с этим негодяем? — спросил Крикс у своих товарищей, когда все остановились и окружили его.

— Что за вопрос?.. — ответил Брезовир. — Убить его, как бешеную собаку.

— Дать ему уйти, — сказал другой, — было бы все равно что самим донести на себя.

— Сохранить ему жизнь и держать его пленником где-нибудь было бы опасно, — заметил третий.

— Да и где мы могли бы его спрятать? — спросил четвертый.

— Итак, смерть? — спросил Крикс, обводя всех глазами.

— Теперь ночь…

— Улица пустынная…

— Мы его отведем на самый верх холма на другой конец этой улицы…

— Mors sua, vita nostra[66], — заключил в виде сентенции Брезовир, произнося с варварским акцентом эти четыре латинских слова.

— Да, это необходимо, — сказал Крикс, сделав шаг к дверям кабачка, но тут же остановился и спросил: — Кто же убьет его?

Никто не дал ответа, и только после минуты молчания один сказал:

— Убить безоружного и без сопротивления…

— Если бы у него хотя бы был меч… — сказал другой.

— Если бы он мог или хотел защищаться, я бы взял на себя это поручение, — прибавил Брезовир.

— Но зарезать безоружного… — заметил самнит Торкват.

— Храбрые и благородные люди, — сказал с явным волнением Крикс, — достойные свободы! Однако необходимо, чтобы для блага всех кто-нибудь победил свое отвращение и выполнил над этим человеком приговор, который произнес суд союза угнетенных.

Все замолчали и наклонили голову в знак смирения и повиновения.

---

[66] Сноски: 66

Смерть его — наша жизнь. — *Примеч. автора.*

— С другой стороны, — продолжал Крикс, — разве он пришел сразиться с нами равным оружием и в открытом бою? Разве он не шпион? Если бы мы его не накрыли в его тайнике, не донес ли бы он на нас через два часа?.. И не были бы все мы брошены завтра в Мамертинскую тюрьму, чтобы через два дня быть распятыми на кресте на Сессорийском поле?..

— Правда, правда! — подтвердило несколько голосов.

— Итак, именем суда союза угнетенных я приказываю вам, Брезовир и Торкват, убить этого человека.

Оба названных гладиатора наклонили голову, и все с Криксом во главе вернулись в харчевню.

Сильвий Кордений Веррес, ожидая решения своей судьбы, не переставал дрожать от страха. Минуты ему казались веками. Он устремил взор, полный тревоги и ужаса, на Крикса и его товарищей, вернувшихся в обеденную комнату харчевни. По бледности, которая сразу покрыла его лицо, было видно, что он не прочел на их лицах ничего хорошего.

— Ну что же… — произнес он слезливым голосом, — вы меня пощадите? Оставите мне жизнь?.. Я… здесь, на коленях жизнью ваших отцов, ва-

ших матерей, ваших близких… смиренно вас заклинаю…

— Разве есть у нас теперь отцы и матери?.. — сказал с мрачным и страшным выражением, с потемневшим лицом Брезовир.

— Разве оставили нам что-либо дорогое? — сказал со сверкающими гневом и местью глазами другой гладиатор.

— Вставай, трус! — закричал Торкват.

— Молчать! — воскликнул Крикс и, обращаясь к отпущеннику Гая Верреса, прибавил: — Ты пойдешь с нами. В конце этой маленькой улицы мы посовещаемся и решим твою судьбу.

И Крикс, сделав товарищам знак поддержать и тащить с собой Сильвия Кордения, которому он оставил последний луч надежды, чтобы он не поднял на ноги всю улицу воплями, вышел в сопровождении остальных, потащивших отпущенника, более похожего на мертвеца, чем на живого. Он не сопротивлялся и не произносил ни слова.

Один гладиатор остался, чтобы заплатить за кушанья и вина Лутации. Она среди этих вышедших двадцати гладиаторов и не заметила своего торговца зерном. Между тем остальные, повернув направо от харчевни, стали подыматься по гряз-

ной и извилистой улочке, которая оканчивалась у городской стены, в голом и открытом поле.

Придя сюда, группа остановилась, и Сильвий Кордений снова, опустившись на колени, начал плакать и испускать стоны и крики, взывая к милосердию гладиаторов.

— Хочешь ты, подлый трус, сразиться равным оружием с одним из нас? — спросил Брезовир упавшего духом отпущенника.

— О, пожалейте… пожалейте… ради моих сыновей прошу вас о милосердии…

— У нас нет сыновей! — закричал один из гладиаторов.

— Мы осуждены не иметь их никогда!.. — прорычал другой.

— Итак, ты, — сказал в негодовании Брезовир, — умеешь только прятаться и шпионить?.. Честно сражаться ты не умеешь?..

— О, спасите меня!.. Жизнь… я вас умоляю о жизни!..

— Так иди же в ад, трус! — вскричал Брезовир, вонзив свой короткий меч в грудь отпущенника.

— И пусть погибнут с тобой вместе все подлые бесчестные рабы, — прибавил самнит Торкват, дважды ударяя упавшего.

Гладиаторы, сомкнувшись вокруг умирающе-

го, с мрачными и задумчивыми лицами стояли неподвижно, не произнося ни слова и следя за последними судорогами отпущенника, очень скоро испустившего последнее дыхание.

Брезовир и Торкват несколько раз воткнули свои мечи в землю, чтобы стереть с них кровь раньше, чем она свернется, и затем вложили их обратно в ножны.

А потом все двадцать, серьезные и молчаливые, спустились по пустынному переулку и углубились в более оживленные улицы Рима.

Восемь дней спустя после только что рассказанных событий, вечером, в час первого факела, со стороны Аппиевой дороги въехал через Капуанские ворота в Рим человек на лошади, весь завернувшись в плащ, чтобы хоть как-то укрыться от проливного дождя, который уже несколько часов заливал улицы города.

Капуанские ворота были одни из наиболее оживленных в Риме, так как выходили на «царицу всех дорог» — Аппиеву дорогу. От нее расходились дороги Сетская, Калепанская, Аквилесская, Гнатская и Минуцийская, которые вели в Суэссу, Капую, Кумы, Салернум, Беневентум, Брундизиум и Самниум; поэтому стражи этих ворот, привыкшие видеть входящими и выходящими во всякие

часы толпы людей всех классов и одетых в самые разнообразные одежды, пеших, на лошадях, в носилках, в экипажах, в паланкинах, запряженных двумя мулами, одним спереди и другим сзади, тем не менее не могли не поразиться плачевным состоянием, в котором находились всадник и его породистый конь. И тот и другой вспотели, задыхались от продолжительной езды и были покрыты грязью с головы до ног.

Проехав ворота, всадник пришпорил коня, продолжая свой путь, и в скором времени стражи слышали лишь удаляющееся и утихающее вдали эхо быстрого топота коня по мостовой.

Вскоре лошадь доскакала до Священной улицы и остановилась перед домом, где жила Эвтибида. Всадник соскочил с коня и, схватив бронзовый молоток у двери, несколько раз сильно ударил им. В ответ тотчас же послышался лай сторожевой собаки, непременной принадлежности римского дома.

Через несколько минут всадник, успевший отряхнуть воду с совершенно вымокшего плаща, услышал шаги привратника; тот торопился открыть двери и громко приказывал собаке замолчать.

— Да благословят тебя боги, добрый Гермоген…

Я Метробий, приехал из Кум…

— С благополучным приездом!..

— Я мокр, как рыба… Юпитер, властитель дождей, пожелал позабавиться, показав мне, как хорошо работают его шлюзы… Позови кого-нибудь из слуг и прикажи ему отвести это бедное животное в конюшню соседней харчевни Януса, чтобы ему там дали приют и овса.

Привратник, приставив средний палец правой руки к большому, щелкнул о ладонь — это был знак, которым вызывали рабов, — и, взяв лошадь за уздечку, сказал:

— Входи же, Метробий! Ты знаешь расположение дома: возле галереи ты найдешь Аспазию, горничную госпожи. Она доложит о твоем прибытии. О лошади я позабочусь, и все, что ты приказал, будет исполнено.

Метробий переступил порог входной двери, стараясь не поскользнуться, что было бы самым дурным предзнаменованием, и вошел в переднюю, на мозаичном полу которой при свете бронзовой лампы, висящей на потолке, виднелась обычная надпись: salve[67]; это слово при первых же шагах гостя сейчас же повторял

---

[67] Сноски: 67

Привет. — *Примеч. автора.*

попугай в клетке, висящей на стене (таков был обычай того времени).

Очень скоро Метробий, минуя переднюю и атриум, вошел в коридор галереи, где нашел Аспазию, которой приказал доложить Эвтибиде о своем приходе.

Сперва рабыня, по-видимому, колебалась, не зная, как ей быть, но в конце концов уступила настояниям комедианта, боясь, что госпожа будет бранить и бить ее, если она не доложит о нем. Вместе с тем она боялась, что не сумеет оправдаться, так как Эвтибида приказала не беспокоить ее в приемной.

В это время куртизанка, расположившись в удобной и томной позе на мягкой изящной кушетке, находилась в своей зимней приемной, обогреваемой печами, благоухающей духами, украшенной драгоценной мебелью, и была всецело занята выслушиванием признаний в любви, которые изливал юноша, сидевший у ее ног. Она теребила дерзкой рукой его густые, мягкие черные волосы, а он с пылающим страстью взглядом поэтическими, богатыми фантазией образами изливался в горячих, нежных чувствах.

Юноша был среднего роста, хрупкого телосложения, с черными глазами, сверкавшими

необыкновенной живостью, с бледными правильными чертами приятного и симпатичного лица; вдоль краев его белоснежной тончайшей туники проходила кайма пурпурного цвета. Это означало, что он принадлежал к сословию всадников. То был Тит Лукреций Кар.

С самого детства проникнутый учением Эпикура, он, в то время как своим великим умом создавал основной план своей бессмертной поэмы, применял в жизни наставления своего учителя и не желал серьезной и глубокой любви, когда

> *…Возвращаются вновь и безумье, и ярость все та же,*
>
> *Лишь начинает опять устремляться к предмету желанье.*

И поэтому он искал легкой и кратковременной любви

> *…чтобы стрелами новой любви прежнюю быстро прогнать…*

что ему не помешало кончить жизнь самоубийством в сорок четыре года, и, как все заставляет предполагать, именно от безнадежной и неразделенной любви.

Во всяком случае, так как Лукреций был юноша привлекательный и очень талантливый, в беседах остроумный и приятный, а также обладал большими средствами и не скупился на траты для своих удовольствий, то он часто приходил провести несколько часов в доме Эвтибиды, принимавшей его с большей любезностью, чем та, которую она проявляла к другим, более богатым и щедрым поклонникам.

— Итак, ты меня любишь? — кокетливо говорила куртизанка юноше, продолжая играть его локонами. — Я тебе не надоела?

— Нет, я тебя люблю все сильнее и сильнее… любовь — это единственная вещь, которая не насыщает, но только разжигает желание в груди.

В эту минуту раздался легкий стук пальцем в дверь.

— Кто там? — спросила Эвтибида.

Послышался негромкий голос Аспазии:

— Прибыл Метробий из Кум…

— Ах! — воскликнула с радостью Эвтибида, вскакивая на ноги и вся покраснев. — Он приехал?.. Проводи его в экседру… Я сейчас приду.

И, обращаясь к Лукрецию, тоже вставшему с места с очень недовольным видом, она торопливо заговорила прерывающимся, но очень ласковым

голосом:

— Подожди меня… Ты слышишь, как неистовствует буря на улице… Я сейчас вернусь… и если известия, принесенные этим человеком, будут те, которых я страстно жду уже в течение восьми дней, если я утолю сегодня вечером свою ненависть желанной местью… мне будет весело, и часть этого веселья перепадет тебе.

С этими словами она вышла из приемной почти вне себя, оставив Лукреция одновременно в состоянии изумления, недовольства и любопытства.

Спустя минуту Лукреций, покачав головой, стал в глубоком раздумье ходить взад и вперед по комнате.

Буря бушевала, и частые молнии своим мрачным сиянием наполняли приемную багровым светом, в то время как ужасные раскаты грома заставляли дом дрожать до самого основания; шум града и дождя слышался с необыкновенной силой между раскатами грома, а сильный северный ветер, яростно бушуя кругом, дул с пронзительным свистом в двери, окна, во все щели на его пути.

— Юпитер, бог толпы, развлекается, показывая образцы своего разрушительного всемогущества, — прошептал юноша с легкой иронической

улыбкой.

Походив еще некоторое время по комнате, Лукреций сел на кушетку и после длительного раздумья, как бы отдавшись во власть ощущений, вызванных в нем этой борьбой стихий, схватил внезапно одну из навощенных дощечек, лежащих на маленьком изящном шкафчике, и, взяв серебряную палочку с железным наконечником, стал быстро писать с возбужденным и вдохновенным лицом.

Тем временем Эвтибида прошла в экседру; там уже находился Метробий, который, сняв плащ, печально осматривал его прорехи. Куртизанка крикнула рабыне, собиравшейся выйти:

— Ну-ка, разожги сильнее огонь в камине, приготовь одежду, чтобы наш Метробий мог переодеться, и подай ужин получше в триклиний.

И тотчас же, повернувшись к Метробию, схватив и сжав ему руки, спросила:

— Ну как?.. Хорошие привез ты известия, мой славный Метробий?

— Хорошие из Кум, но самые скверные с дороги.

— Вижу, вижу, бедный мой Метробий. Садись сюда, ближе к огню, — с этими словами она придвинула скамейку к камину, — и скажи мне

поскорее, добыл ты желанные доказательства?

— Золото, прекраснейшая Эвтибида, как ты знаешь, открыло Юпитеру бронзовые ворота башни Данаи…[68]

— Оставь болтовню!.. Неужели ванна, которую ты принял, не научила тебя говорить короче?..

— Я подкупил одну рабыню и через маленькое отверстие, сделанное в двери, видел несколько раз, как Спартак в час крика петухов[69] входил в комнату Валерии.

— О боги ада, помогите мне! — воскликнула Эвтибида с выражением дикой радости.

И, теребя Метробия, с искаженным лицом, с расширенными сверкающими глазами, с трепещущими ноздрями, со сжатыми и дрожащими губами, как тигрица, жаждущая крови, стала спрашивать прерывистым и задыхающимся голосом:

— И… все дни… вот так… они… подлые, бесчестят… честное имя… Суллы?

— Думаю, что в пылу страсти они ни разу не

---

[68] Сноски: 68

Царь Аргоса Акризий, которому было предсказано, что он будет убит рукой сына своей дочери Данаи, заключил ее в бронзовую башню, однако к ней проник бог Зевс, пролившись на нее золотым дождем.

[69] Сноски: 69

То есть между тремя и четырьмя часами утра.

пропустили даже ни одного черного дня[70].

— О, теперь придет для них такой черный день! Я посвящаю, — воскликнула торжественно Эвтибида, — их проклятые головы богам ада!

И она сделала движение, чтобы уйти, но остановилась и, обращаясь к Метробию, добавила:

— Переоденься, потом пойди закуси в триклинии и жди меня там.

«Не хотел бы я впутаться в какое-нибудь скверное дело, — думал старый комедиант, идя в комнату для гостей, чтобы переменить мокрую одежду. — От нее можно ожидать всего... Даже страшно стало, до чего она озлилась».

Но, переодевшись и пройдя в триклиний, где его ожидал роскошный обед, среди паров кушаний и фалернского вина, достойный муж постарался забыть о злополучном путешествии и о предчувствии какого-то тяжелого и очень близкого несчастья.

Не успел он насытиться и наполовину, как Эвтибида с бледным лицом, но спокойная вошла в триклиний, держа в руке сверток папируса, то есть бумаги лучшего качества. Он был завернут в разрисованную снаружи суриком и обвязанную

---

[70] Сноски: 70

В такие дни судьба приносит несчастье тем, кто начинает какое-либо дело.

льняным шнурком пергаментную пленку, края которой были склеены воском, с печатью кольца Эвтибиды, изображающим Венеру, выходящую из морской пены.

Метробий, несколько смущенный этим появлением, спросил:

— Да… прекраснейшая Эвтибида… я желал бы… я хотел бы… Кому адресовано это письмо?

— Ты еще спрашиваешь?.. Луцию Корнелию Сулле.

— Ах, клянусь маской бога Мома — не будем спешить, мое дитя…

— Не будем спешить?.. А при чем здесь ты?..

— Да поможет мне великий всеблагий Юпитер!.. А если Сулле, скажем, не понравится, что вмешиваются в его дела?.. Если вместо того, чтобы обидеться за свою супругу, он обидится на доносчиков?.. И если — что еще хуже, но вероятнее всего — он решит обидеться на всех?..

— А что мне до этого?..

— Но… то есть… вот… потише относительно меня… моя девочка… если для тебя ничего не значит гнев Суллы… он очень важен для меня…

— Да кто о тебе думает?

— Я, я, Эвтибида прекрасная, любезная людям и богам, — сказал с жаром Метробий. — Я очень

крепко люблю себя!

— Но я не упомянула твоего имени… и во всем, что может произойти, ты будешь совершенно в стороне.

— Понимаю… очень хорошо… но видишь, моя девочка, я задушевный друг Суллы уже тридцать лет.

— О, я знаю это… даже более задушевный, чем это нужно для твоей доброй славы…

— Это не важно… я знаю этого зверя… то есть человека… и при всей дружбе, которая меня связывает с ним столько лет, я знаю, что он вполне способен свернуть мне голову… как курице… Я уверен, что он прикажет почтить меня самыми пышными похоронами и битвой пятидесяти гладиаторов вокруг моего костра. Однако, к несчастью для меня, я уже не буду в состоянии наслаждаться всеми этими зрелищами…

— Не бойся, не бойся, — сказала Эвтибида, — с тобой не случится никакого несчастья.

— Все в руках богов, которых я всегда почитал.

— А пока почти Вакха и выпей во славу его этого пятидесятилетнего фалернского, которое я сама для тебя смешаю.

И она налила вино из кувшина в чашу комедианта.

В эту минуту вошел в триклиний раб в дорожном костюме.

— Помни мои наставления, Демофил, и нигде не останавливайся до Кум.

Слуга взял из рук Эвтибиды письмо, положил его между курткой и рубашкой, привязав его веревкой вокруг талии, затем, поклонившись госпоже, завернулся в плащ и вышел.

Эвтибида успокоила Метробия, которому фалернское развязало язык, и поэтому он решил снова заговорить о своих опасениях. Эвтибида, сказав ему, что завтра они увидятся, вышла из триклиния и вернулась в приемную. Там Лукреций, держа в руке дощечку, собирался перечитать то, что написал.

— Извини, что я должна была оставить тебя одного дольше, чем хотела… но я вижу, что ты не терял времени. Прочти мне эти стихи, ведь твое воображение может проявляться только в стихах… и притом в великолепных стихах.

— Ты и буря, которая свирепствует снаружи, внушили мне эти стихи… Поэтому я должен прочесть их тебе… Возвращаясь домой, я их прочту буре.

…Ветер морей неистово волны бичует,

Рушит громады судов и небесные тучи разносит

Или же, мчась по полям, стремительным кружится вихрем,

Мощные валит стволы, неприступные горные выси,

Лес, низвергая, трясет порывисто: так несется

Ветер, беснуясь, ревет и проносится с рокотом грозным.

Стало быть, ветры – тела, но только не зримые нами.

Море и земли они вздымают, небесные тучи

Бурно крушат и влекут – внезапно поднявшимся вихрем.

И не иначе текут они, все пред собой повергая,

Как и вода, по природе своей хоть и мягкая, мчится

Мощной внезапно рекой, которую, вздувшись от ливней,

Полнят, с высоких вершин низвергаясь в нее, водопады,

Леса обломки неся и стволы увлекая деревьев.

Крепкие даже мосты устоять под внезапным напором

Вод не способны: с такой необузданной силой несется

Ливнем взмущенный поток, ударяя в устои и сваи.

Опустошает он все, грохоча: под водою уносит

Камней громады и все преграды сметает волнами.

Так совершенно должны устремляться и ветра порывы,

Словно могучий поток, когда, отклоняясь в любую

Сторону, гонят они все то, что встречают, и рушат,

Вновь налетая и вновь; а то и крутящимся смерчем,

Все захвативши, влекут, и в стремительном вихре уносят.

Эвтибида — мы уже говорили — была гречанкой и очень культурной, так что она не могла не

почувствовать восхищения от силы, изящества и мастерской звукоподражательной гармонии этих стихов, тем более что латинский язык был еще беден и, за исключением Энния, Плавта, Луцилия и Теренция, не имел знаменитых поэтов.

Поэтому она выразила Лукрецию свое восхищение в словах, полных искреннего чувства, на которые поэт, поднявшись и прощаясь с нею, с улыбкой сказал:

— Ты заплатишь за свое восхищение этой дощечкой, которую я забираю с собою…

— Но ты мне лично вернешь ее, как только перепишешь стихи на папирус.

И Лукреций, обещав девушке вернуться, ушел, с душой, переполненной этими стихами, прочувствованные и сильные образы которых были подсказаны ему наблюдениями над природой.

Эвтибида, которой казалось, что она вполне удовлетворена, пошла в сопровождении Аспазии в свою спальню, решив насладиться, пока ее будут укладывать, всей радостью мести. Однако, к ее великому изумлению, удовольствие, которого она так страстно желала и призывала, не оказалось столь приятным, как она думала; ей даже казалось непонятным, почему она испытывала такое слабое удовлетворение.

Эти мысли беспокоили Эвтибиду, пока она укладывалась. Улегшись, она приказала Аспазии выйти и оставить ночную лампу зажженной, но завешенной.

Она продолжала размышлять над тем, что сделала, и над последствиями, которые вызовет ее письмо: может быть, разъяренный Сулла постарается скрыть свой гнев до глубокой ночи, проследит за любовниками, захватив их в объятиях друг друга, и убьет обоих.

Мысль о том, что она вскоре услышит о смерти и позоре Валерии, этой самоуверенной и надменной матроны, которая смотрела на нее сверху вниз — на нее, несчастную и презренную, хотя, будучи матроной и женой, Валерия в тысячу раз преступнее и порочнее Эвтибиды; мысль о том, что она узнает о смерти этой лицемерной и гордой женщины, наполняла ее грудь радостью и смягчала муки ревности и боли, которые она все еще продолжала испытывать.

Но по отношению к Спартаку Эвтибида испытывала совсем другие чувства. Она старалась простить ему его проступок, и после долгого размышления ей казалось, что несчастный фракиец был гораздо меньше виноват, чем Валерия. В конце концов, ведь он был бедный рудиарий: для него

жена Суллы, хотя бы даже совсем некрасивая, должна быть больше чем богиня; эта развратная женщина, наверно, возбуждала его ласками, чаровала и дразнила, так что бедняжка не в силах был сопротивляться… Так именно должно и быть, ибо иначе осмелился ли бы какой-то гладиатор поднять дерзкий взор на жену Суллы? Затем, завоевав однажды любовь такой женщины, бедный Спартак, естественно, настолько был увлечен ею, что уже не мог думать о любви к другой женщине. Поэтому смерть Спартака стала казаться Эвтибиде уже несправедливой и незаслуженной.

И, ворочаясь с боку на бок, вся погруженная в эти мысли, Эвтибида не могла заснуть, вздыхала и дрожала, обуреваемая столь различными и противоречивыми чувствами. Однако время от времени она под влиянием усталости погружалась, по-видимому, в ту дремоту, которая предшествует сну; но дремота внезапно проходила, как от толчка, и Эвтибида снова начинала ворочаться в постели, пока мало-помалу действительно не заснула. И некоторое время в комнате царила глубокая тишина, нарушаемая лишь беспокойным дыханием спящей.

Но вдруг Эвтибида со стоном ужаса вскочила с ложа и прерывистым, плачущим голосом за-

кричала:

— Нет… Спартак, не я тебя убиваю!.. Это она… Ты не умрешь!

Вся охваченная одной только мыслью, Эвтибида во время этого короткого забытья была потрясена каким-то сновидением; ее сознанию, вероятно, предстал образ Спартака, умирающего и молящего о сострадании.

Вскочив с постели, накинув широкий белый плащ и вызвав Аспазию, она с бледным, искаженным лицом приказала тотчас же разбудить Метробия.

Мы не станем описывать, чего ей стоило убедить комедианта в необходимости немедленно выехать, догнать Демофила и помешать тому, чтобы письмо, написанное ею три часа тому назад, попало в руки Суллы.

Метробий был утомлен прежней поездкой, разоспался от выпитого в слишком большом количестве вина, был весь под влиянием сладкого тепла пуховых одеял, и потребовалось все искусство и чары Эвтибиды, чтобы он спустя два часа был в состоянии поехать.

Буря перестала бушевать, небо блистало, все усыпанное звездами, и только холодный ветер мог причинять неприятность нашему путеше-

ственнику.

— Демофил, — сказала девушка комедианту, — теперь впереди тебя на пять часов, ты должен не ехать, а лететь на своем коне…

— Да, если бы он был Пегасом, я бы, пожалуй, заставил его лететь…

— В конце концов, это будет лучше и для тебя…

Несколько минут спустя топот лошади, скакавшей бешеным галопом, разбудил некоторых из сыновей Квирина. Прислушавшись к топоту, они снова закутывались в одеяла, наслаждаясь теплом, и чувствовали себя хорошо при мысли о том, что в этот час было много несчастных, которые находились в поле, в пути, под открытым небом, подвергаясь яростным порывам пронзительно завывавшего ветра.



Глава VII
Как смерть опередила Демофила и Метробия

Кто выезжал из Рима через Капуанские ворота и по Аппиевой дороге — мимо Арриции, Сутриума, Суэсса-Помеции, Террацины и Гаэты — добирался до Капуи, то отсюда налево путь шел к Беневентуму, а направо — к Кумам. Если путешественник избирал последнюю дорогу, то перед ним открывалась изумительная по своей чарующей прелести картина. Его взор обнимал холмы, покрытые цветущими оливковыми и апельсиновыми рощами, фруктовыми садами и виноградниками, плодородные желтеющие нивы и нежно-зеленые луга, где паслись многочисленные стада овец и быков. А за этими благоухающими пажитями тянулось улыбающееся побережье от Литерна до Помпеи.

На этих веселых берегах как бы по волшебству вырастали на небольшом расстоянии друг от друга Литерн, Мизенум, Кумы, Байи, Путеолы, Неаполь, Геркуланум и Помпея, великолепные

храмы и виллы, восхитительные термы[71], чудесные рощи, многочисленные деревни, озера: Ахерузское, Авернское, Ликоли, Патрия и другие, меньших размеров, — бесчисленное множество домов и хижин, образуя как бы один огромный город. А дальше — море, тихое, голубое, нежащееся меж берегов, как бы влюбленно обнимавших его. И наконец, вдали — в море — целый венок прелестных островков, покрытых термами, дворцами и пышной растительностью, — Исхия, Прохита, Незис и Капри. И всю эту чудесную панораму, эту улыбку природы, которую боги и люди решили сделать еще более восхитительной и нежной, освещало сияющее солнце и ласкали дуновения всегда мягкого, теплого ветерка.

И неудивительно, что это чарующее зрелище породило в те дни утверждение, что именно здесь находилась лодка Харона, перевозившая умерших из этого мира в елисейские поля.

Доехав до Кум, путешественник увидел бы богатый, многолюдный город, расположенный частью на крутой обрывистой горе, частью на ее пологом склоне и на равнине у моря.

Кумы сделались одним из наиболее посещае-

---

[71] Сноски: 71

Термы — так в Древнем Риме называли бани или горячие источники.

мых мест, и в сезон купания здесь можно было встретить множество римских патрициев. Кто из них имел на берегу свои виллы, тот охотно проводил здесь и часть осени и весны.

Поэтому город Кумы располагал всеми удобствами и уютом, которые могли позволить себе в то время богачи и знать и в самом Риме. В Кумах были и портики, и базилики, и форумы, и цирки, и грандиозный великолепный амфитеатр (развалины которого сохранились и доныне), а в Акрополе, на горе, — великолепный храм, посвященный богу Аполлону, один из наиболее красивых и роскошных в Италии.

Основание Кум относится к отдаленнейшим временам. Известно, что за пятьдесят лет до основания Рима этот город не только уже существовал, но был настолько могуч и цветущ, что выходцы из него основали в Сицилии колонию Занклею, названную потом Мессаной (ныне Мессина). Позже граждане Кум основали еще одну колонию — Палеополис, вероятно теперешний Неаполь.

Во время Второй Пунической войны Кумы были независимым городом и состояли в дружественных и союзных отношениях с римлянами. В противоположность почти всем кампанским

городам, стоявшим на стороне карфагенян, город Кумы сохранил верность Риму, за что Ганнибал в свое время с большими силами двинулся на него. Но консул Семпроний Гракх поспешил на защиту Кум, разбил Ганнибала и нанес карфагенянам большой урон. С того времени и установилась любовь римских патрициев к Кумам, хотя в период, к которому относятся рассказываемые нами события, стали входить в моду Байи, а Кумы начали приходить в упадок, правда еще малозаметный.

Невдалеке от Кум, на красивом холме, с которого открывался вид на побережье и залив, была расположена величественная роскошная вилла Луция Корнелия Суллы.

Все, что тщеславный ум, оригинальный и богатый фантазией, каким был ум Суллы, мог придумать в смысле удобств и роскоши, было сосредоточено на этой вилле, простиравшейся до самого моря, где Сулла приказал сделать специальный бассейн для прирученных рыб, за которыми тщательно ухаживали.

Самый дом мог бы считаться роскошным даже в Риме.

В нем была ванная комната вся из мрамора, с пятьюдесятью отделениями для горячих, теплых и холодных комфортабельных ванн. На даче

были оранжереи с цветами и птицами и рощи, окруженные изгородью. В них водились олени, козули, лисицы и всякого рода дичь.

И сюда, в это очаровательное место с теплым и мягким климатом, где пребывание было не только очень приятным, но и полезным для здоровья, за два месяца до описываемых событий удалился к уединенной и частной жизни страшный и всемогущий диктатор Рима.

Он приказал своим многочисленным рабам построить дорогу, которая являлась продолжением Аппиевой и, не доходя до Кум, вела непосредственно к его даче.

Здесь он проводил дни, обдумывая и составляя свои «Комментарии», которые намеревался посвятить, и действительно посвятил, Луцию Лицинию Лукуллу, великому и богатейшему Лукуллу, мужественно сражавшемуся в это время с Митридатом. Спустя три года избранный в консулы Лукулл победил Митридата в Армении и Месопотамии, а еще позже стал знаменитым среди римлян, и память о нем дошла до самых отдаленных потомков, хотя Лукулл был прославлен не столько за доблесть и победы, сколько за ту утонченную роскошь, которой он себя окружил, и за его неисчислимые богатства.

А ночи в своей вилле Сулла проводил в шумных и непристойных оргиях, так что солнце заставало его еще лежащим на обеденном ложе, пьяным и сонным, среди толпы мимов, шутов и комедиантов — обычных его товарищей по кутежам, еще более пьяных и более сонных, чем он сам.

По временам Сулла для развлечения отправлялся в самые Кумы; иногда он ездил в Байи и гораздо реже в Путеолы; там горожане оказывали ему знаки уважения и почтения из страха перед его именем, ибо, быть может, величия его подвигов было для этого недостаточно.

Три дня спустя после событий, описанных в конце предыдущей главы, Сулла вернулся в экипаже из Путеол, куда он ездил, чтобы окончательно уладить ссору, возникшую между знатью и плебсом этого города. Для того чтобы установить полный порядок, Сулла, как арбитр, подписал вместе со спорящими сторонами акт соглашения.

Вернувшись с наступлением ночи на дачу, он приказал устроить ужин в триклинии Аполлона Дельфийского, наиболее обширном и великолепном из четырех триклиниев этого огромного мраморного дворца.

И здесь среди блеска сверкающих в каждом

углу факелов, среди благоухания цветов в пирамидальных вазах, расставленных вдоль стен, среди сладострастных улыбок и дразнящей полуобнаженности танцовщиц, среди веселых звуков флейт, лир и цитр ужин очень скоро превратился в самую разнузданную оргию.

Девять обеденных лож были расположены вдоль трех столбов в этой огромной зале, и двадцать пять гостей, а считая Суллу, двадцать шесть пирующих сидели за столом. Одно место оставалось свободным — место отсутствовавшего любимца Суллы, Метробия.

Экс-диктатор в белоснежной застольной одежде, увенчанный розами, занимал место рядом с консульским — на среднем ложе среднего стола, возле своего лучшего друга Квинта Росция, царя этого пира; судя по веселому оживлению, которое вызывал Сулла, по частым его речам и еще более частым возлияниям, можно было бы заключить, что экс-диктатор вполне искренне развлекается и что никакая забота не отравляет его души.

Но при более внимательном наблюдении за ним можно было легко заметить, как он за четыре месяца постарел, исхудал и стал еще уродливее и страшнее. Лицо его стало еще более худым и истощенным, кровоточивые нарывы,

покрывавшие лицо, разрослись; волосы из седых, какими они были год тому назад, стали уже совсем белыми; выражение уныния, слабости и страдания, замечавшееся во всей его внешности, было результатом постоянной бессонницы, на которую он был обречен страшным, мучившим его недугом.

Несмотря на все это, в его проницательных голубовато-серых глазах все еще сверкали, и более чем когда-либо, жизнь, сила и энергия огромной воли, с помощью которой он хотел скрыть от других свои нестерпимые муки. И он добивался того, что иногда, особенно во время оргии, казалось, и сам забывал о своей болезни.

— Ну, расскажи, расскажи, Понциан, — сказал Сулла, обращаясь к одному патрицию из Кум, который возлежал за одним из столов, — расскажи, что сказал Граний.

— Но я не слышал его слов, — возразил вопрошаемый, внезапно побледнев и путаясь в ответе.

— У меня тонкий слух, ты знаешь, Понциан, — сказал Сулла спокойно, но грозно нахмурив брови, — и я слышал, что ты сказал Элию Луперку.

— Да нет, — возразил в смущении Понциан, — поверь мне… счастливый и всемогущий

диктатор.

— Ты произнес следующие слова: «Граний, теперешний эдил в Кумах, когда с него требовали уплаты штрафа, наложенного на него Суллой и который он должен был внести в государственную казну, отказался, говоря…» И здесь ты, подняв глаза на меня и заметив, что я слышал твою речь, прервал ее. Теперь я предлагаю тебе сказать мне точно, одно за другим, слова Грания, как он их произнес.

— Но позволь мне, о Сулла, величайший среди римлян…

— Мне не нужны твои похвалы! — воскликнул Сулла хриплым и грозным голосом, сверкая глазами, поднявшись на ложе и сильно стукнув кулаком по столу. — Подлый льстец! Похвалы себе я сам начертал своими подвигами и триумфами в консульских записях, и мне не нужно, чтобы ты их повторял, болтливая сорока! Слова Гравия — вот что я хочу знать, и их ты должен мне передать, или, клянусь арфой божественного Аполлона, моего покровителя, клянусь Луцием Корнелием Суллой, что ты покинешь это место только трупом, который унавозит мои огороды.

Призывая имя Аполлона, которого Сулла уже много лет назад избрал своим особым покровите-

лем, он коснулся правой рукой золотой статуэтки этого бога, вывезенной им из Дельфийского храма. Он почти всегда носил эту статуэтку на шее — на золотой цепочке драгоценной работы.

При этих словах, при этом движении и клятве все присутствующие, близко знакомые с Суллой, побледнели и замолчали, растерянно поглядывая друг на друга; прекратились музыка и танцы, и гробовое молчание сменило царившие до того шум и говор.

Несчастный Понциан, заикаясь от страха, сейчас же сказал:

— Граний сказал: «Теперь я не уплачу: Сулла умрет, и я буду освобожден от уплаты».

— А!.. — сказал Сулла, возбужденное и красное лицо которого стало сразу бледным от гнева. — А!.. Граний с нетерпением ожидает моей смерти?.. Браво, Граний!.. Он рассчитал, он рассчитал… — Сулла дрожал, скрывая гнев, сверкавший в его глазах. — Он предусмотрителен!.. Он все предвидит!..

И Сулла прервал себя на миг, а затем, щелкнув пальцами, позвал:

— Хрисогон! — И прибавил страшным голосом: — Посмотрим, не промахнется ли он в своих расчетах.

А Хрисогон, его отпущенник и наперсник, подошел уже к экс-диктатору, и тот, становясь постепенно тихим и спокойным, отдал ему приказание, на которое Хрисогон отвечал наклонением головы в знак согласия, а затем удалился через дверь, в которую вошел. Сулла крикнул ему вслед:

— Завтра!

Затем, с веселым лицом повернувшись к гостям, воскликнул, подняв чашу, наполненную фалернским вином:

— Ну!.. Что с вами? Что это вы стали такие немые и сонные?.. Клянусь всеми богами Олимпа, трусливые овцы, не думаете ли вы, что присутствуете на моем поминальном пире?

— Пусть боги избавят тебя от мысли об этом!

— Пусть Юпитер пошлет тебе благополучие и пусть защитит тебя Аполлон!

— Долгие лета могущественному Сулле! — закричали хором многие из гостей, поднимая чаши с пенящимся фалернским.

— Выпьем все за здоровье и славу Луция Корнелия Суллы Счастливого! — воскликнул своим ясным и звучным голосом Квинт Росций, поднимая чашу.

Все присоединились к этому возгласу, все вы-

пили, а Сулла, ставший снова с виду веселым, обнимая, целуя и благодаря Росция, закричал цитристам и мимам:

— Эй, пачкуны, что вы там делаете?.. Вы годитесь только на то, чтобы пить мое фалернское и обкрадывать побежденных мною… Проклятые негодяи, пусть вас сейчас охватит вечный сон смерти!

Сулла еще не кончил своей площадной ругани — он почти всегда был вульгарен и груб в своих речах, — а музыканты уже заиграли и вместе с мимами и танцовщицами, которые пением аккомпанировали инструментам, пустились в пляску, полную комических движений и сладострастных жестов.

Какое удовольствие получили пирующие от этой головокружительной пляски музыкантов и танцовщиц и какое впечатление произвели на пирующих разнузданные объятия сплетающихся полунагих тел, трудно передать: аплодисменты, смех, ободряющие возгласы и рукоплескания сопровождали цитристов и танцовщиц.

По окончании пляски на средний стол, за которым возлежали Сулла и Росций, был поставлен на редкость красивый орел, в оперении, точно живой. В клюве он держал лавровый венок с по-

мещенной внутри пурпуровой лентой, и на ней золотыми буквами были написаны следующие слова: «Sullae Felici, Epafrodito», что означало: «Сулле Счастливому, любимцу Венеры». Прозвище Эпафродит было одним из наиболее приятных для уха Суллы.

Под рукоплескания гостей Росций вынул венок из клюва орла и подал его Аттилии Ювентине, красивой отпущеннице Суллы, сидевшей рядом с ним; она вместе с другими патрицианками из Кум, возлежавшими между мужчинами на обеденных ложах, представляла одну из главных приманок этой пирушки.

Аттилия Ювентина положила поверх венка из роз, уже украшавшего голову Суллы, лавровый венок и нежным голосом произнесла:

— Тебе, любимцу богов, тебе, непобедимому императору, эти лавры присудило восхищение всего мира.

Сулла дважды поцеловал девушку, присутствующие зааплодировали, а Квинт Росций, поднявшись с места, с чудной интонацией, в позе и с жестами, достойными лучшего актера, продекламировал:

…И он над Тибром увидел,

Как тот схватил этот скипетр, который

Некогда крепко держал, а теперь от него отказался;

В землю его он воткнул, и большая зеленая ветка

Выросла быстро из скипетра самой верхушки,

И листва своей тенью покрыла всю землю квиритов.

Эти выражения, остроумно составленные, доказывали, что Росций был не только великим актером, но и талантливым человеком, владеющим поэтическим даром. И новые, еще более шумные аплодисменты отдались эхом в триклинии.

Сулла вскрыл ножом шею орла, а потом и живот в том месте, где кожа выпотрошенной птицы была зашита, и оттуда выпало большое количество яиц, которые были розданы пирующим, и каждый нашел внутри яйца зажаренного бекаса, приправленного желтым поперченным соусом. В то время как все отведывали изысканное кушанье и громко восхваляли щедрость Суллы и искусство его повара, двенадцать хорошеньких

рабынь-гречанок, одетые в короткие темно-синие туники, ходили вокруг столов, наливая пирующим тончайшее фалернское.

Немного спустя было подано новое кушанье: огромный пирог, наружная корка которого из теста и меда удивительно точно изображала круглую колоннаду храма; из пирога, едва он был надрезан, вылетела стайка воробьев по числу пирующих. У каждого воробья на шее была ленточка, а к ней прикреплен подарок с именем того гостя, которому он предназначался.

Аплодисменты и смех, еще более громкие, чем прежде, встретили этот новый сюрприз, приготовленный искуснейшим поваром Суллы; погоня за птичками, тщетно пытавшимися улететь из запертой наглухо залы, шум, крики и гам продолжались долго, первым прервал их Сулла. Оторвавшись на мгновение от ласк Ювентины, он закричал:

— Эй!.. Сегодня вечером я в веселом настроении и хочу угостить себя и вас зрелищем, которое не часто дается на пирушках… Слушайте… мои любимые друзья… Хотите в этой зале увидеть бой гладиаторов?

— Да, да!.. — закричали пятьдесят голосов, так как к этому зрелищу имели огромное при-

страстие не только гости, но также цитристы и танцовщицы. Последние в восторге тоже ответили «да», не подумав, что вопрос к ним не был обращен.

— Да, да, гладиаторов!.. гладиаторов!..

— Да здравствует Сулла! Щедрейший Сулла!

Сейчас же один из рабов получил приказание сбегать в школу гладиаторов, находившуюся внутри дачи, и приказать Спартаку привести немедленно в триклиний пять пар гладиаторов. Множество рабов уже очищали ту сторону залы, где должно было происходить сражение, оттеснив танцовщиц и музыкантов к столам.

Вскоре в зале появились введенные Хрисогоном десять гладиаторов. Пять из них были в одежде фракийцев, а другие пять — в одежде самнитов.

— А Спартак? — спросил Сулла Хрисогона.

— Его не нашли в школе, — вероятно, он у своей сестры.

В этот момент в триклиний вошел запыхавшийся Спартак. Тяжело дыша, он приложил руку ко рту и приветствовал Суллу и его гостей.

— Я хочу оценить, Спартак, — сказал Сулла рудиарию, — твое искусство в обучении фехтованию. Сейчас мы увидим, чему научились и что знают твои ученики.

— Только два месяца, как они упражняются в фехтовании, и ты найдешь опыт их очень слабым. Они еще не многое могли вынести из моего обучения.

— Увидим, увидим! — сказал Сулла.

Затем, обращаясь к гостям, он добавил:

— Я не меняю наши традиции, устраивая для вас бой гладиаторов во время пирушки, я только возобновляю обычай, бывший в силе два века тому назад у жителей Кампании, ваших предков, о сыны Кум, первых обитателей этой провинции.

Между тем Спартак, приступив к распределению бойцов, был расстроен, бледен, все что-то шептал и, казалось, сам не понимал, что он говорил и делал.

Это утонченное варварство, эта обдуманная жестокость, эта безумная жажда крови, обнаруженная столь откровенно и с такой зверски спокойной душой, заставили клокотать от гнева сердце рудиария; он был страшно потрясен тем, что не желание большинства, не животные инстинкты потерявшего разум плебса, а каприз одного только человека, злого и пьяного, и угодливость тридцати свирепых паразитов осудили десять несчастных юношей, рожденных тоже свободными гражданами в свободных странах и

обладающих мужественным сердцем и сильным телом, драться, не питая друг к другу никакой вражды, и позорно погибнуть задолго до срока, определенного им природой.

Кроме этих общих причин негодования, одно частное обстоятельство усиливало в эту минуту гнев рудиария — именно то, что на его глазах подвергался смертельной опасности Арторикс, молодой галл, менее двадцати четырех лет от роду, необыкновенно красивый, благородной наружности, со светлым лицом и белокурыми кудрявыми волосами, Арторикс, которого он очень любил и который был предан Спартаку более всех гладиаторов школы Акциана, откуда он и прибыл: Спартак, как только ему было предложено место в школе гладиаторов Суллы, сейчас же устроил так, чтобы купили Арторикса, говоря, что тот ему необходим как помощник по управлению школой Суллы в Кумах.

Вне себя от волнения, Спартак, устанавливая бойцов, очень тихо спросил молодого галла:

— А почему пришел ты?

— Уже давно, — вполголоса ответил Арторикс, — мы бросили между собой кости на право идти последним навстречу смерти, и я оказался в числе тех, которые проиграли, так что сама

судьба за то, чтобы я был среди первых десяти гладиаторов Суллы, которые должны сражаться друг с другом.

Рудиарий ничего на это не возразил, но немного спустя, убедившись, что все в порядке, обратился к Сулле:

— Позволь мне, о великодушный Сулла, послать в школу за другим гладиатором, чтобы поставить его на место этого, — и он показал на Арторикса, — который…

— А почему этот не может сражаться?.. — спросил экс-диктатор.

— Потому что он значительно сильнее остальных, и сторона фракийцев, на которой он должен сражаться, была бы неизмеримо сильнее другой…

— И поэтому-то ты хотел заставить нас еще ждать?.. Пусть сражается, пусть сражается и этот храбрец: мы не хотим больше ждать, и тем хуже для самнитов!

И среди общего внимания и желания, выразившегося на лицах и в глазах всех присутствующих, Сулла сам подал сигнал к битве.

Сражение, как легко было предвидеть, длилось недолго: спустя двадцать минут один фракиец и два самнита были убиты, а два других несчастных

самнита лежали на полу тяжело раненные, умоляя Суллу о жизни, которая и была им дарована.

Что касается единственного оставшегося на ногах самнита, то он отчаянно защищался против нападений четырех фракийцев, но очень скоро, покрытый ранами, он поскользнулся в крови, растекавшейся по мозаичному полу. Этого самнита Арторикс, его друг, пронзил насквозь мечом из сострадания к нему. Арторикс, с глазами, полными слез, убил своего друга, чтобы избавить его от мучительной агонии.

Триклиний задрожал от дружных шумных аплодисментов.

Их прервал Сулла, воскликнув голосом, уже пьяным и охриплым, обращаясь к Спартаку:

— Ну-ка, Спартак, ты — самый сильный, подними щит одного из этих павших в бою, возьми меч мертвого фракийца и докажи свою силу, сражаясь один против четырех, оставшихся в живых!

Предложение Суллы было встречено шумным одобрением. Бедный же рудиарий был ошеломлен, словно его хватили дубиной по шлему.

Ему казалось, что он оглох; он слышал шум в ушах. Он подумал, что ослышался или потерял рассудок, и остановился, глядя на Суллу, с бледным неподвижным лицом.

Арторикс заметил необыкновенное волнение Спартака и вполголоса прошептал ему:

— Смелее!..

Рудиарий вздрогнул при этом слове, дважды обвел глазами вокруг себя, затем повернулся в сторону Суллы и спустя мгновение, делая над собой усилие, сказал:

— Но… великий и счастливый диктатор… я позволю себе обратить твое внимание на то, что я уже не гладиатор: я рудиарий и свободен, а у тебя исполняю только обязанности ланисты твоих гладиаторов.

— Ха!.. ха!.. ха!.. — разразился пьяным и язвительным смехом Сулла. — И ты тот самый храбрейший Спартак? Ты боишься смерти, боишься!.. Презренное отродье гладиаторов!.. Но клянусь палицей Геркулеса Победителя, ты будешь сражаться, — добавил Сулла после короткой паузы и, ударив кулаком по столу, повелительным тоном, к которому он привык, продолжал: — Кто тебе подарил жизнь и свободу, трусливый варвар?.. Разве не Сулла?.. И Сулла тебе приказывает сражаться… И ты будешь сражаться!.. Клянусь всеми богами Олимпа… ты будешь сражаться!

Чувства и мысли Спартака, нерешительность, тревога были ужасны, когда он слушал эту речь.

Как молнии во время свирепствующей бури, они чередовались, быстролетно сменялись, скрещивались на тысячу ладов, отражаясь в блеске глаз, в цвете лица, то землистом, то красном, в лихорадочном и конвульсивном трепете всех его мускулов.

Несколько раз он чувствовал, что его подмывает схватить меч одного из убитых и броситься с быстротой молнии, с яростью тигра на Суллу и изрубить его в куски, прежде чем окружающие его успели бы двинуться с места. И каждый раз с трудом, каким-то чудом он сдерживал себя. Но при всяком новом оскорблении, извергаемым Суллой, гладиатор, дрожа всем телом, вновь испытывал дикое желание растерзать его в клочья.

Наконец, словно утомленный этой невыносимой борьбой чувств и мыслей, он стряхнул с себя оцепенение и машинально, почти не понимая, что делает, испустил вздох, похожий на звериный рев, поднял щит, схватил меч и очень громко, дрожащим от гнева голосом сказал:

— Я не трус и не варвар, и я буду сражаться, чтобы доставить тебе удовольствие, о Луций Сулла, но клянусь тебе всеми твоими богами, что если, к несчастью, мне придется ранить Арторикса…

Пронзительный женский крик внезапно и

весьма кстати прервал безумную речь гладиатора. Внимание всех присутствующих обратилось к тому месту, откуда этот крик раздался.

В глубине залы, в стене позади обеденных лож, к которой Сулла и многие гости сидели спиной, находилась дверь, закрытая зеленой портьерой, подобной тем, какими были завешены и другие двери, ведущие из триклиния в различные отделения дома. На пороге этой двери, белая как мел, прямо и неподвижно стояла Валерия.

Спартак был у нее, когда раб явился за ним от имени Суллы. Этот вызов и в такой час удивил и сильно смутил рудиария и сильно испугал Валерию. Она решила, что Спартаку угрожает опасность более серьезная, чем та, которой он подвергался. И Валерия, побуждаемая любовью к фракийцу, откинула в сторону все доводы приличия, все правила осторожности и предусмотрительности, приказала рабыням немного приодеть себя и, накинув застольное платье из белоснежной льняной ткани, усеянной розами, пошла длинным коридором, который вел из ее комнат в триклиний, где в этот вечер шел кутеж.

Идя туда, Валерия имела, вероятно, доброе намерение явиться спокойной и расположенной принять участие в веселье, но на ее лице, бледном

и изменившемся, было слишком много следов тревоги и страха, которые ее волновали.

Стоя в дверях за портьерой, матрона с чувством отвращения и негодования присутствовала при диком сражении гладиаторов и при всей последующей сцене, разыгравшейся между Спартаком и Суллой. При каждом слове, при каждом движении обоих она трепетала, дрожала и чувствовала, что силы ее оставляют, но она медлила уйти, надеясь на мирную развязку.

Когда же она увидела, что Сулла стал принуждать Спартака сразиться с Арториксом, которого, как ей было известно, Спартак сильно любил, когда она заметила, что рудиарий, пылая от гнева и отчаяния, готовится к схватке, и услышала начало его возбужденной речи, которая, как она сразу сообразила, не могла окончиться иначе как угрозами и проклятиями по адресу Суллы, ей стало ясно, что без ее немедленного вмешательства Спартак неминуемо погибнет.

И, испустив крик, исходивший из самого сердца, она подняла портьеру и появилась в дверях, привлекши к себе внимание всех гостей и Суллы.

— Валерия!.. — воскликнул в изумлении последний, пытаясь подняться с ложа, к которому,

казалось, пригвоздили его тело пары яств и фалернского вина. — Валерия!.. Ты!.. Здесь… в этот час?..

Все встали или пытались встать, так как не могли сохранить равновесие тела и обрести центр его тяжести, и более или менее почтительно, но молча приветствовали матрону.

Ювентина, отпущенница, сперва покраснев, как пурпуровая ткань, а затем страшно побледнев, не встала, но пыталась сделаться меньше. Съежившись, как-то свернувшись на своем месте, она потихоньку, незаметно опускаясь, через несколько мгновений оказалась под столом, совершенно укрытая скатертью.

— Привет всем, и пусть боги покровительствуют Сулле и его друзьям, — сказала Валерия спустя минуту, в течение которой она обвела быстрым взглядом огромную залу и постаралась успокоиться.

Тем временем она обменялась взглядом взаимного понимания со Спартаком, который, не начиная боя, стоял, устремив на нее взор; ее появление в этот момент казалось ему чем-то небесным, сверхъестественным.

От Валерии не укрылось и то, что Ювентина сидела рядом с Суллой, и то, как она исчезла. Это

зрелище заставило ее покраснеть от негодования. Тем не менее, скрывая свое чувство, она приблизилась к ложу Суллы, который наконец поднялся на ноги, хотя его беспрерывное шатание вызывало опасение, что он не долго продержится в этом положении.

Сулла, по-видимому, удивлялся появлению своей супруги в этот час и в этом месте. Его сонные, полузакрытые глаза с недоумением остановились на матроне, а она, улыбаясь, обратилась к нему:

— Ты столько раз приглашал меня на пирушку, о Сулла, что сегодня вечером я, не будучи в состоянии заснуть на своей постели и слыша доходящие до меня отдаленный шум и крики вашего пира, решила надеть застольное платье, зайти сюда выпить чашу дружбы и уговорить тебя уйти в свои комнаты, куда ради твоего здоровья тебе необходимо удаляться не позже часа первой зари. Но, придя сюда, я увидела сверкание мечей и лежащие на полу трупы. Вам что же, недостаточно бесчисленных жертв в цирках и амфитеатрах и вы с диким наслаждением воскрешаете запрещенные варварские обычаи, вышедшие из употребления? Веселясь, вы хотите упиваться предсмертными муками, повторять

губами, сведенными от вина, судороги губ, сведенных агонией и отчаянием?

Все молчали с опущенными головами, и сам Сулла, который сперва пытался связать несколько слов, издавал лишь односложные звуки и кончил тем, что замолчал, подобно обвиняемому, уличенному своим обвинителем.

Только гладиаторы, и в особенности Спартак и Арторикс, ласкали Валерию взглядами, полными любви и благодарности.

— Ну-ка, вы, — сказала после минутного молчания жена Суллы, обращаясь к рабам, — уберите немедленно отсюда эти трупы и похороните их; вымойте пол и обрызгайте его маслами и благовониями, да налейте в муррийскую чашу Суллы фалернского и передайте ее вкруговую гостям в знак дружбы.

Рабы спешно повиновались Валерии, а гладиаторы удалились.

И в почти гробовой тишине чаша дружбы, в которую лишь очень немногие из гостей кидали лепестки из своих венков из роз, сделала круг среди пирующих; затем, молча и пошатываясь, все постепенно вышли из триклиния; одни разошлись по комнатам, назначенным в этом огромном дворце для гостей, другие отправились

в соседние Кумы.

Сулла успел вновь свалиться на ложе и молча лежал, как будто погруженный в глубокое размышление, а в действительности он находился в пьяном отупении. Валерия, встряхнув его, сказала:

— Итак, уже час первых петухов: решишься ли ты наконец удалиться в спальню?

При этих словах Сулла протер себе глаза, медленно и с усилием поднял лицо и забормотал, с трудом выталкивая слова, клокотавшие в его горле:

— Ты… произвела разгром… в триклинии… и лишила меня моих… развлечений. О, клянусь Юпитером Статором… это ни на что не похоже… умаление всемогущества… Суллы Счастливого… Эпафродита… диктатора… Клянусь всевышними богами… я властвую в Риме… и над всем миром… и не желаю, чтобы надо мной были хозяева… не желаю…

И его остеклевшие зрачки расширились. Усилием воли Сулла старался возвратить себе свободу речи, чувств и сил, побежденных и помраченных опьянением, но голова его снова тяжело упала на грудь.

Валерия смотрела на него с жалостью, смешан-

ной с презрением. Сулла, вновь поднимая голову, продолжал:

— Метробий… Где ты, мой дорогой Метробий?.. Приди ко мне на помощь… я хочу выгнать вон… хочу отказаться от этой… и пусть она заберет с собой ребенка, которым она беременна… которого я не хочу признавать своим…

Искра презрения сверкнула в черных глазах Валерии. Она сделала угрожающий жест и шаг по направлению к обеденному ложу, но затем с выражением тошноты и отвращения закричала:

— Эй, Хрисогон, позови рабов и вели перенести в спальню твоего господина, он пьян и объелся, как грязный могильщик!

И в то время как Хрисогон при помощи двух других рабов скорее тащил, чем вел Суллу, продолжавшего бредить и изрыгать грязную брань, в его покои, Валерия постояла еще некоторое время, глядя на скатерть, под которой все еще пряталась Ювентина, а затем с гримасой пренебрежения и презрения вернулась в свои комнаты через дверь, в которую вошла в триклиний.

Сулла, уложенный в постель, проспал весь остаток ночи и бóльшую часть следующего утра. Валерия не сомкнула глаз.

Сулла проснулся около полудня. В эти дни

он страдал от кожной болезни сильнее, чем обычно. Она вызвала у него нестерпимый зуд и раздражала его. Едва поднявшись с постели, он накинул поверх рубашки широкую тогу и в сопровождении рабов, специально приставленных заботиться о его особе, и опираясь на своего любимца Хрисогона, прошел в баню через обширный атриум, украшенный великолепной колоннадой в дорическом стиле.

Минуя термы и зал ожидания, Сулла вошел в раздевальню — изящный небольшой зал с мраморными стенами и мозаичным полом. Из этого зала три разные двери вели: одна — в помещение с холодным душем, другая — в зал с бассейном теплой воды и третья — в парильню.

Сулла сел на мраморную скамью, покрытую подушками и пурпуровой тканью, разделся при помощи рабов и вошел в парильню.

Она была тоже мраморная; в полу имелось несколько отверстий, через которые по трубам из котла, находившегося под этой комнатой, шел раскаленный воздух, нагревавший ее.

Полукруглый мраморный альков с мраморной же скамьей в центре находился справа, а напротив него — небольшой бассейн с горячей водой.

Сулла, как только вошел в эту комнату, за-

брался в альков и, усевшись, стал подымать две самые маленькие из множества железных гирь разного размера, припасенные для того, чтобы купающийся мог проделывать гимнастические упражнения и тем вызывать пот.

Переходя последовательно от более легких гирь к более тяжелым, Сулла скоро ощутил, как тело его начало разогреваться, что предшествовало выделению пота. Тогда, выйдя из алькова, он опустился в бассейн с горячей водой. Усевшись на мраморную скамейку, он весь отдался приятному ощущению теплоты, приносившей ему, очевидно, большое облегчение, судя по выражению довольства, появившемуся на его лице.

— Ах!.. Я испытываю чувство блаженства, которого я уже давно не знал… Скорее, скорее, Диодор, — сказал он, обращаясь к одному из рабов, исполнявшему обязанности умастителя, — скорее возьми скребницу и потри мне воспаленные места, которые заставляют меня страдать.

И Диодор, взяв скребницу — инструмент вроде бронзового ножа, которым обыкновенно после купанья почесывают тело до натирания его мазями, начал скрести кожу Суллы.

Тем временем Сулла обратился к Хрисогону с вопросом:

— Переплел ли ты в пурпурный пергамент двадцать второй том моих «Комментариев», которые я кончил диктовать третьего дня, а вчера передал тебе?

— Да, мой добрый господин, и не только твой экземпляр, но еще десять копий, сделанные рабами-переписчиками.

— Молодец, мой Хрисогон!.. Ты, значит, позаботился о том, чтобы сделали десять копий? — спросил с явным выражением удовольствия Сулла.

— Да, конечно, и не только с последнего тома, но и со всех предыдущих, для того чтобы один экземпляр положить в библиотеке этой виллы, другой — в библиотеке твоего дома в Риме, еще один — в моей библиотеке, а остальные экземпляры каждого тома, по мере того как ты их диктовал, были подарены Лукуллу и Гортензию. Распределяя столько экземпляров по разным местам, я намеревался этим сохранить твое произведение от пожара или утери до того момента, когда ты решишь опубликовать «Комментарии» или когда твоя смерть — пусть всевышние боги держат вдали от тебя всякие болезни! — даст Лукуллу право приступить к их опубликованию, как это указано в твоем завещании.

— Кстати, по поводу моего завещания: я поду-

мал о всех вас, немногих, которые любили меня все время и были мне преданы во всех превратностях моей жизни…

— О, не говори об этом! — воскликнул с сконфуженным видом Корнелий Хрисогон. — Ты мне дал больше, чем я заслужил… свободу, милости и богатства…

— Довольно об этом, Хрисогон. Посмотри скорее, что там. Мне кажется, я слышу какой-то шум в раздевальной.

Отпущенник тотчас же вышел из ванной комнаты.

Сулла, лицо которого, быть может вследствие кутежа прошлой ночи, казалось более постаревшим и мертвенным, чем в предыдущие дни, стонал от жестоких болей; он, хотя и был в ванне, чувствовал, как они все усиливались; он жаловался на необычную тяжесть в груди, так что Диодор, закончив растирание, которого потребовал Сулла, вышел, чтобы позвать Сирмиона из Родоса — отпущенника и врача Суллы, жившего вместе с Суллой и повсюду сопровождавшего его.

Сулла же, под влиянием охватившей его дремоты, опустил голову на край бассейна и, казалось, заснул; поэтому остальные рабы, приставленные для обслуживания его во время купания, отошли

в угол, к алькову, и стояли там молча, полные страха, смотря на того, кто заставлял их дрожать одним только движением бровей.

Через несколько мгновений вернулся Хрисогон, и Сулла, вздрогнув, поднял голову.

— Что с тобой? — спросил его отпущенник заботливо, с тревогой подбежав к бассейну.

— Ничего… какая-то дремота… Знаешь, я видел сон.

— Что же тебе приснилось?

— Я видел мою любимую жену Цецилию Метеллу, умершую в прошлом году, и она звала меня к себе.

— Не обращай внимания на эти суеверия…

— Суеверие? Зачем так думать о снах, Хрисогон? Я всегда относился с очень большим доверием к снам и поступал всегда так, как мне через них приказывали боги, во всем, что я предпринимал. И мне не приходилось раскаиваться.

— Если ты говоришь о походах, то победами ты обязан своему уму и своей доблести, а не внушением снов.

— Больше, чем мой ум и моя храбрость, Хрисогон, мне всегда помогала благосклонная ко мне судьба, поэтому именно ей я только и доверялся. Поверь мне, наиболее успешными были те мои

походы, которые я проводил стремительно и без размышления.

Воспоминания о деяниях, из которых если многие и были гнусными, то многие были действительно великими и славными, казалось, вернули немного спокойствия душе Суллы и несколько прояснили его чело, и поэтому Хрисогон счел удобным доложить ему о том, что согласно данному им вчера на пирушке повелению Граний прибыл из Кум и ждет его приказаний.

При этом имени лицо экс-диктатора внезапно передернулось от гнева; весь загоревшись и дико сверкнув глазами, он закричал хриплым, яростным голосом:

— Введи его… сейчас же… сюда… ко мне… этого наглеца, который один во всем мире осмелился издеваться над моими решениями… и желает моей смерти!

И худыми, костлявыми руками он судорожно сжимал края бассейна, на которые опирался.

— Но не можешь ли ты подождать, пока выйдешь из ванной?..

— Нет… нет… немедленно… сюда… передо мной… я его хочу!..

Хрисогон вышел и тотчас же вернулся, вводя в ванную эдила Грания.

Это был человек сорока лет, богатырского телосложения; на его лице, обыкновенном и грубом, отражались хитрость и злоба. Но, входя в ванную комнату к Сулле, он был очень бледен и плохо скрывал свой страх. Рассыпаясь в поклонах и целуя руки, он обратился к Сулле дрожащим от волнения голосом:

— Да покровительствуют надолго боги великодушному Сулле Счастливому!

— Ты не так говорил третьего дня, подлый негодяй! Ты смеялся над моим приговором, которым ты справедливо был присужден к уплате штрафа в государственную казну, и кричал, что не хочешь платить, так как через день-другой я умру и штраф с тебя сложат.

— Нет, никогда, никогда, не верь этой клевете… — пробормотал Граний, донельзя испуганный.

— Трус, теперь ты дрожишь? Ты должен был дрожать, когда оскорблял самого могущественного и счастливого из всех людей… Трус!..

И с этими словами Сулла, пылая гневом, с выпученными и налитыми кровью серыми глазами, ударил по лицу несчастного, который упал у бассейна, плача и умоляя о прощении.

— Жалости… прошу тебя о жалости… умоляю о

прощении!.. — кричал бедняк.

— Жалости?!. — кричал Сулла, выходя из себя от гнева. — Жалости к тебе, оскорбившему меня… в то время как я страдаю от ужасных болей?.. Ты должен умереть, трус, здесь и сейчас, перед моими глазами… Я горю желанием упиться твоими последними судорогами, твоим предсмертным хрипением.

Сулла бесновался и корчился как безумный и, яростно растирая обеими руками наболевшие члены своего тела, в бешенстве кричал придушенным голосом рабам:

— Эй, вы… лентяи… чего зеваете?.. Хватайте его, бейте до смерти, здесь, при мне… задушите его… убейте!..

И так как рабы, казалось, не решались, он закричал из последних сил, но страшным голосом:

— Задушите его, или я прикажу всех вас распять, клянусь факелами и змеями эриний!

Рабы бросились на несчастного, повалили на пол, стали бить его и топтать, а Сулла, продолжая метаться и беситься, подобно дикому зверю, который чует кровь, все кричал:

— Вот так! Сильнее!.. Бейте!.. Топчите!.. Душите этого негодяя!.. Душите его, душите!.. Ради всех богов ада, душите его!..

Граний, избитый и замученный четырьмя рабами, которые были сильнее его, руководимый инстинктом самосохранения, свойственным всем животным, пытался защищаться, нанося нападающим сильные удары и отчаянно отбиваясь от их попыток задушить его.

Рабы, которые, сперва пассивно повинуясь, били свою жертву почти без усилия, теперь, когда он стал бить и царапать их, рассвирепели и, подстрекаемые неистовыми криками Суллы, очень скоро стиснули Грания так, что он не мог уже шевельнуться; тогда один из них сдавил ему горло обеими руками и, упершись изо всех сил коленями в его грудь, задушил его в несколько секунд.

А Сулла, с глазами, почти вылезшими из орбит, с пеной на губах, весь отдавшийся зрелищу избиения, упивался им с жестоким сладострастием дикого зверя, восклицая слабевшим голосом:

— Так… так!.. Сильнее… дави… души!..

Но в тот момент, когда Граний испускал дух, Сулла сам, истощенный усилиями, криками и приступом своей бешеной лихорадки, упал навзничь в бассейн и прохрипел голосом таким слабым, какого никогда у него не слыхали:

— На помощь!.. умираю!.. на помощь!..

Хрисогон подбежал к нему, а за ним другие рабы и подняли его, прислонив спиною к стене бассейна.

Лицо бывшего диктатора помертвело, веки закрылись, зрачки расширились, стиснутые зубы скрипели, губы судорожно искривились. Все его тело сотрясалось.

В то время как Хрисогон и остальные рабы хлопотали возле Суллы, стараясь привести его в чувство, внезапная судорога потрясла его тело, на него напал приступ сильнейшего кашля, и немного спустя, извергая сразу огромное количество крови, с придушенными стонами и не открывая больше глаз, он умер.

Так закончил жизнь в шестьдесят лет этот человек, столь же великий, сколь и коварный; его огромный талант и величие души были подавлены его жестокостью и сладострастием. Он совершал великие дела, но навлек на свое отечество еще большие несчастья, и, прославленный как великий вождь, он оставил в истории по себе память как о худшем гражданине; поэтому, изучая все совершенное им в жизни, трудно решить, чего в нем было больше — мужества и энергии или коварства и притворства.

Потому-то консул Гней Папирий Карбон, из

партии Мария, долгое время мужественно и храбро сражавшийся против Суллы, имел обыкновение говорить, что, когда он боролся против льва и лисицы, живших в душе Суллы, лисица доставляла ему больше затруднений.

Он умер, насладившись всем, что только может быть доступно человеку или чего человек может пожелать, и поэтому слыл счастливейшим, если счастьем считать достижение желаемого.

Едва Сулла умер, как в ванную комнату вошел раб Диодор с врачом Сирмионом и еще в дверях закричал:

— Прибыл гонец из Рима… с очень важным письмом от…

Но тут слова замерли в горле раба, ибо, войдя в эту минуту в ванную, он увидел смятение, вызванное смертью Суллы.

Сирмион бросился в комнату, велел сейчас же вынуть тело умершего из бассейна и положить на ложе из подушек, приготовленное тут же на полу; затем стал исследовать его, послушал пульс, выслушал сердце и, грустно качая головой, сказал:

— Кончено… Он умер!

Раб Эвтибиды, привезший ее письмо, вошел вслед за Диодором в ванную; он долго стоял в углу, пораженный и испуганный случившимся,

затем, приблизившись к Хрисогону, который показался ему самой важной особой, передал ему письмо, говоря:

— Прекрасная Эвтибида, моя госпожа, поручила мне передать письмо в руки Суллы, но, так как боги пожелали наказать меня, заставив явиться сюда для того, чтобы увидеть мертвым величайшего из всех людей, я передаю тебе, являющемуся, как я сужу по твоим слезам, одним из наиболее преданных слуг, это письмо, адресованное ему.

Хрисогон, бывший вне себя от горя, машинально взял письмо и, не обратив на него никакого внимания, положил его между туникой и рубашкой, продолжая хлопотать около тела своего господина и благодетеля, которое тем временем было вытерто досуха и покрыто мазями.

В доме уже распространилась весть о смерти Суллы. Поднялся переполох. Рабы отовсюду сбежались в ванную, и в то время, как они испускали здесь стоны и рыдания, подоспел, весь запыхавшись, тяжело дыша, комедиант Метробий. Он только что прибыл из Рима после бешеной скачки.

Он вошел в ванную в растерзанной одежде, смертельно бледный, обливаясь слезами, с криком:

— Но нет… этого не может быть!.. Нет, нет… это неправда!..

Увидев труп Суллы, уже холодный и осунувшийся, Метробий разразился еще более горестными рыданиями и, опустившись на пол близ бездыханного тела, стал покрывать поцелуями лицо Суллы, восклицая:

— Без меня ты умер, несравненный друг… любимейший друг… я не мог выслушать твои последние слова… не мог принять последний твой поцелуй, о Сулла мой любимый, о мой дорогой Сулла!..



Глава VIII
Последствия смерти Суллы

Слух о смерти Суллы распространился по Италии с быстротой молнии, и легче вообразить, чем описать, какое волнение поднялось повсюду, особенно в Риме.

Сперва было общее изумление; при первом известии все оставались безмолвными, затем пошли толки, расспросы и допытывания: всем хотелось знать, почему, как и когда произошла эта неожиданная смерть.

Партия олигархов, патриции и богачи оплакивали смерть великого человека как народное бедствие, как незаменимую утрату; они испускали громкие вопли, проливали безудержные слезы и требовали для героя императорских почестей при похоронах, статуй и храмов, как для спасителя республики и полубога.

К ним присоединились с излияниями печали десять тысяч рабов в Риме, получившие от Суллы свободу, которые в честь его имени, после победы его партии, составили трибу десяти тысяч корнелиев. Сулла роздал им часть имущества,

попавшего в проскрипционные списки.

Эти десять тысяч человек были всем обязаны Сулле и привязаны к нему не только из благодарности, но также и из боязни, что с его смертью у них отнимут все, чем он их так щедро одарил.

В Италии было еще сто двадцать тысяч легионеров, сражавшихся на стороне Суллы в войнах против Митридата и в гражданской войне против Мария. Жили эти легионеры главным образом в городах, жителей которых Сулла в борьбе с Марием или выгонял, или истреблял. Сулла наделял своих легионеров имуществом побежденных, и эти сто двадцать тысяч обожали в его лице великого вождя и своего благодетеля. Поэтому они тоже были готовы отстаивать все, сделанное Суллой.

Но в противовес слезам всей этой вызывавшей ужас партии одновременно начались ликования сотен тысяч высланных, сотен тысяч жертв ярости Суллы, всех многочисленных и сильных остатков партии Мария. Все враги Суллы открыто проклинали убийцу своих родных и друзей, проклинали того, кто лишил их состояния и жизни, желали перемен, дрожали, волновались, надеялись и призывали к мщению.

К этим последним присоединялись плебеи, у

которых Сулла отнял очень многие права и узурпировал много важных привилегий; естественно, что они желали возвращения отнятого.

Ввиду всего этого известие о смерти экс-диктатора вызвало в Риме брожение, волнение, толки и оживленное движение, равного которому не было уже много лет.

На Форуме, в базиликах, под портиками, в храмах, на улицах, в лавках, на рынках — всюду толпились люди всякого возраста и положения, все узнавали и передавали новости, громко оплакивали несчастье, но еще громче благословляли богов, пославших смерть тирану и избавивших наконец республику от рабского состояния; отсюда — ссоры, взаимные угрозы, вспышки затаенных обид, скрытой ненависти, не совсем погасшего гнева, дикое смешение страстей, различные источники желаний, страха и надежд.

И это волнение становилось тем более сильным и угрожающим, что консулы, которые до того времени вели между собой скрытую борьбу, принадлежали к разным враждующим партиям. Страсти разгорелись, противники уже построились в ряды, и обе партии имели вождей, равных по значению и авторитету; гражданская война была совсем близка, несомненна и неизбежна.

Честные и авторитетные граждане, лица сенаторского и консульского звания старались успокоить умы, смирить волнение, обещая реформы, новые законы, а плебеям — возвращение прежних прав; но результат их речей был ничтожен сравнительно с разгаром народных страстей.

Многие сенаторы, граждане и отпущенники из трибы корнелиев отрастили себе бороду в знак траура, оделись в темные тоги и ходили по городу с унылым видом; многие женщины, тоже в трауре, бегали с распущенными волосами из храма в храм, призывая покровительство богов, как будто Рим со смертью Суллы подвергся величайшей опасности.

И они ходили, осыпаемые упреками, насмешками и издевательствами со стороны врагов Суллы, которые дерзко и весело прохаживались по Форуму и по улицам, радуясь его смерти.

В центральных частях города, где на мраморных таблицах или на преторских списках оглашались законы и висели в течение трех базарных дней, спустя три дня после смерти Суллы можно было прочесть на особых табличках следующую эпиграмму:

Хозяином Рима диктатор счастливый,

Сулла, себя называл горделиво;
Но за такое дурное желание
Боги послали ему наказание:
Безумца, который надежду питал
Рим пред собою склонить в унижении
Для мук, каких никто не знавал,
Отдали боги вшам на съедение.

В других местах можно было прочесть: «Долой законы о расходах на пиршества!» Это были законы, в которых особенно проявился ненавистный деспотизм Суллы. А кое-где: «Требуем неприкосновенности трибунов», которая Суллой была произвольно уничтожена, или еще: «Слава Гаю Марию!»

Эти факты и дерзкие выходки неоспоримо свидетельствовали о том, что настроение умов изменилось; так что Марк Эмилий Лепид, который еще при жизни Суллы не скрывал своей неприязни к нему, стал более открыто говорить и действовать, будучи уверенным, что за него партия Мария и народ.

Напротив, Лутаций Катул, другой консул, хотя он и принадлежал к олигархической партии, но как человек выдающегося ума и честности, ненавидевший всякого рода интриги, давал понять,

что он будет твердо стоять на стороне Сената и закона.

В эту смуту, конечно, впутался и Катилина. Хотя он всегда поддерживал хорошие отношения с Суллой, но его чаяния, долги и страсти заставляли его искать нового, так как он из этого нового мог извлечь много выгод, ничего не теряя. Поэтому он и его молодые и пылкие друзья суетились и вели агитацию, раздувая костер среди недовольных, и без того пылавших ненавистью к олигархии.

Курион, Лентул Сура, Цетег, Габиний, Веррес, Луций Бестия, Пизон и Порций Лекка стали подстрекать народ, разжигая гнев, обещая месть, репрессии, восстановление прав и резню.

Только Гней Помпей и Марк Красс использовали свою огромную популярность и авторитет для того, чтобы всеми средствами внести успокоение в умы, внушить уважение к законам и вызвать у всех жалость к отечеству и республике, которым новая гражданская война причинила бы вред.

Сенат собрался в курии Гостилия для обсуждения вопроса, как почтить умершего триумфатора, победителя Митридата.

Курия Гостилия, построенная царем Туллом Гостилием приблизительно за 560 лет до эпохи, в которую произошли события, описываемые в

нашей повести, находилась у подошвы Палатинского холма. Вход ее был обращен к комициям. Она служила обычно местом заседаний Сената и, хотя не была храмом, считалась, однако, священным местом, подобно храмам. В нее проникали через портик, похожий на пронаос, то есть на преддверие в храм, а храм состоял из большого зала квадратной формы; вдоль стен здесь шла колоннада с галереей наверху, на которую в определенных случаях допускались граждане.

Внизу три ряда мраморных ступенек, расположенные полукругом и покрытые подушками, покрывалами и звериными шкурами, служили сиденьями для сенаторов. Против входной двери стояли два роскошных курульных кресла и перед ними мраморный стол — это было место для консулов. Над столом, в центре верхнего ряда ступенек находилось место главы Сената. Против места консулов, в глубине полукруга, стояли скамьи для народных трибунов, обращенные спинками к входной двери. Трибуны только около ста лет тому назад получили места внутри курии, а до этого сидели в портике, перед входом — для ознакомления с декретами Сената.

В день, когда в Сенате должен был обсуждаться вопрос о воздании почестей Сулле, галерея курии

Гостилия была переполнена до отказа; кишели народом и комиции, где четыре-пять тысяч корнелиев с небритыми бородами и в темной одежде толпились, наполняя воздух хвалами Сулле, и где одновременно другие семь-восемь тысяч граждан, в значительной своей части лишенные ценза и носящие тунику, проклинали и поносили его имя.

Если так переполнены были галерея и прилегающие к ней помещения, то не менее переполнены были сенаторские скамьи, на которых замечалось необычное волнение и оживленное беспрерывное движение.

Председателем собрания был Публий Сервилий Ватия Исаврик, бывший консул и человек выдающийся по своей доблести и мудрости; он, открыв заседание, предоставил слово Квинту Лутацию Катулу. Последний, напомнив в скромной и благожелательной речи, ничем не оскорбляя противников Суллы, о славных деяниях, совершенных умершим, — о Югурте, взятом в плен в Африке, об Архелае, разбитом при Херонее, о Митридате, побежденном и прогнанном вглубь Азии, о взятии Афин и о ликвидации гибельного пожара гражданской войны — отметил мужество и храбрость Суллы и обратился с просьбой, чтобы

такому человеку были оказаны погребальные почести, достойные его и римского народа, полководцем и вождем которого он был.

В заключение он предложил, чтобы останки Суллы с торжественной пышностью были перевезены из Кум в Рим и похоронены на Марсовом поле.

Краткая речь Катула вызвала шумное одобрение почти на всех скамьях, занятых сенаторами, и сильный ропот на галерее.

Когда шум утих, встал Лепид и произнес следующее:

— Я сожалею, горько сожалею, о отцы-сенаторы, о том, что должен сегодня разойтись в мнениях с моим знаменитым коллегой Катулом, в котором я первый признаю и ценю доблесть и благородство души; но мне кажется, что лишь под влиянием благородного своего сердца, а не в интересах государства и не ради чести нашего отечества он внес предложение не только неуместное, но вредное и несправедливое. Доброта сердца побудила его изыскивать эти доводы в пользу умершего Луция Корнелия Суллы и побудить высокое собрание оказать телу покойного императорские почести и устроить царские похороны на Марсовом поле. Но если под влиянием чрезмерной своей доброты

мой коллега вспомнил о заслугах и благородных делах покойного, он позабыл или, лучше сказать, ему нужно было забыть о тех бедствиях, которые Сулла причинил нашему отечеству, о трауре и об убийствах, которыми он его омрачил, и — скажем открыто, без боязливого притворства и без стеснения, — о пороках, которыми он запятнал свое имя, из которых даже одного было бы достаточно, чтобы помрачить или совершенно уничтожить память о его подвигах и победах.

На этот раз сильный ропот поднялся среди сенаторов и очень громкие рукоплескания раздались на галерее.

Ватия Исаврик дал знак трубачам, и они звуком труб призвали народ к тишине.

— Да, будем говорить откровенно, — продолжал свою речь Эмилий Лепид, — имя Суллы зловеще звучит для Рима, и из-за преступлений и пороков, запятнавших его, оно стало таким, что при произнесении его живо вспоминаются только попранные законы отечества, затоптанные в грязь достоинство консулов и авторитет трибунов, деспотизм, введенный в принцип управления, беззаконные убийства тысяч и тысяч невинных граждан, позорные проскрипции, грабежи, изнасилования и хищения по его приказу и прочие

деяния, совершенные его именем во вред отечеству и для уничтожения республики. И вот такому человеку, имя которого всякому честному гражданину напоминает только о несчастьях, такому человеку, который все свои капризы и все свои страсти возводил в закон, мы хотим сегодня воздать торжественные почести и устроить царские похороны и общенародный траур.

Как же это?.. Мы похороним Луция Суллу, разрушителя республики, на Марсовом поле, где высится всеми почитаемая могила Публия Валерия Публиколы, одного из основателей этой республики! Допустим ли мы, чтобы именно там, где по специальным постановлениям Сената были погребены смертные останки наиболее знаменитых и добродетельных граждан прошлого времени, лежал труп того, кто отправил в ссылку и убил наиболее благородных и выдающихся граждан нашего времени? Предоставим ли мы пороку то, что наши отцы в прошлом установили как награду за добродетель? И почему, почему мы совершим это дело, столь низкое, столь противное нашему достоинству, нашей совести?

Может быть, из страха перед двадцатью семью легионами, сражавшимися за него, готовыми выступить по первому его сигналу и расквар-

тированными в наиболее красивых местностях Италии, где он больше всего свирепствовал и где сильнее всего проявлялась его жестокость? Или же мы поступим так из боязни перед десятью тысячами самых подлых рабов, которых он по своему произволу и деспотическому капризу, наперекор нашим обычаям и законам, сделал свободными и пожаловал почетным и уважаемым отличием — правами римского гражданина?

Я допускаю, что под влиянием упадка духа и под действием страха, распространяемого им повсюду благодаря его роковому всемогуществу при жизни, никто не осмеливался призвать народ и Сенат к охране законов нашей родины, но ради всех богов, покровителей Рима, я вас спрашиваю, отцы-сенаторы, кто теперь принуждает вас признавать несправедливым того, кто был неправедным, чествовать как человека великой души того, кто был порочным и вредным гражданином, и декретировать воздание почестей, оказываемых только великим и добродетельным мужам, самому худшему, гнусному из сыновей Рима?

О, дайте мне, дайте возможность, отцы-сенаторы, не отчаяться совершенно в судьбах нашего отечества, позвольте мне питать еще надежду,

что мужество, добродетель, чувство собственного достоинства и совесть присущи еще этому высокому собранию; поступите так, чтобы я мог поверить, что не низкий страх, но глубокое чувство собственного величия преобладает еще в римских сенаторах, и чтобы я увидел, что вы отклоните, как факел новых гражданских смут, как недостойный и бесчестный декрет, внесенное предложение о погребении тела Луция Корнелия Суллы на Марсовом поле с почестями, подобающими великому гражданину и знаменитому императору.

Шумными рукоплесканиями приняты были слова Марка Эмилия Лепида. Они исходили не только от народа, собравшегося на галерее, но также от многих сенаторов под впечатлением мужественной и полной глубокого чувства речи консула Лепида.

И действительно, слова Марка Эмилия вызвали в собрании движение и волнение, неожиданные и нежелательные для сторонников Суллы.

Ввиду этого, после прекращения шума, вызванного словами консула, поднялся Гней Помпей Великий, один из наиболее молодых, и, наверно, наиболее любимых и уважаемых, и, во всяком случае, наиболее популярных среди сенаторов и

государственных деятелей в Риме, и он в своей речи, если не гладкой и изящной — так как не был красноречив, — то в прочувствованной, идущей прямо из сердца, воздал посмертную хвалу Луцию Сулле. Он не превозносил его блестящих подвигов и благородных дел и не защищал его достойных порицания действий и позорных фактов, приписывая их не человеку, но ненормальным условиям пришедшей в расстройство республики, властной необходимости, диктуемой страшными моментами, когда Сулла стоял во главе всего государства, обычному нарушению законов, бушеванию личных страстей в общественных делах и порочным нравам народа и патрициев.

Большое впечатление произвела на всех, и в особенности на сенаторов, откровенная, простая и задушевная речь Помпея. После нее напрасно говорили — хотя и очень хорошо — П. Лентул Сура и — очень плохо — Квинт Курион против предложения консула Квинта Лутация Катула.

Это предложение было проголосовано вставанием; в пользу его высказались четыре пятых присутствующих сенаторов, между которыми были: Публий Ватия Исаврик, Гней Помпей, Марк Красс, Г. Скрибониан Курион, Гн. Корнелий Дола-

белла, Марк Аврелий Котта, Г. Аврелий Котта, М. Туллий Декула, Л. Корнелий Сципион Азиатский, Луций Лициний Лукулл, Ап. Клавдий Пульхр, Кассий Вар, Л. Геллий Публикола, Квинт Гортензий и очень много других лиц консульского звания, известных своими деяниями и добродетелью.

Против предложения Катула голосовали, сидя на месте, между прочими М. Эмилий Лепид, Л. Сергий Катилина, П. Лентул Сура, Луций Кассий Лонгин, Г. Цетег, М. Аутроний, Л. Варгунтей, Кв. Ливий Анний, М. Порций Лекка и Квинт Курион, впоследствии все ставшие соучастниками Катилины в его заговоре.

Произведенное по требованию некоторых тайное голосование дало следующие результаты: триста двадцать семь голосов за предложение Катула и девяносто три против.

Когда таким образом победа оказалась на стороне партии Суллы, собрание было закрыто при сильнейшем возбуждении, которое, распространяясь из курии Гостилия в комиции, было причиной бурных манифестаций различного характера; одни встречали аплодисментами Лутация Катула, Ватия Исаврика, Гнея Помпея, Марка Красса — это были явно сторонники Суллы; другие еще более шумно и торжественно

встречали Марка Эмилия Лепида, Сергия Катилину и Лентула Суры, которые, как всем стало известно, вели упорную борьбу против предложения Катула.

В тот момент, когда вышли из курии Помпей и Лепид, горячо обсуждая происходившую на собрании дискуссию, среди густых и волнующих толп народа едва не произошло столкновение, которое могло стать роковым для республики и вызвать немедленно появление мечей со стороны народной партии и затем гражданскую войну с ее непредвиденными последствиями.

Тысячи и тысячи граждан приветствовали консула Лепида, а другие тысячи, преимущественно из трибы корнелиев, в отместку аплодировали Помпею Великому. Это давало толчок к взаимным угрозам, брани и оскорблениям, которые кончились бы, несомненно, кровопролитием, если бы Помпей и Лепид, проходя через толпу под руку, не призывали громким голосом каждый своих сторонников к спокойствию, к порядку, к тишине, предлагая всем разойтись по домам.

Однако если это и удержало от столкновения здесь, то все же не помешало тому, чтобы в харчевнях, в тавернах, на наиболее людных углах и перекрестках города, на Форуме, в базиликах

и под портиками, обычно мало посещаемыми, не происходили ожесточенные ссоры и кровопролитные драки, так что этой ночью пришлось оплакивать многих убитых и еще больше раненых. Наиболее ярые элементы из народной партии совершали даже попытки поджечь дома самых видных приверженцев Суллы.

В то время как в Риме происходили эти события, другие, не менее важные для нашего рассказа, произошли в Кумах.

В самый день смерти Суллы, спустя несколько часов после этого неожиданного события, поставившего вверх дном виллу экс-диктатора, сюда прибыл со стороны Капуи человек, по одежде и виду казавшийся гладиатором, и спросил, едва только вошел, может ли он видеть Спартака, с которым ему, по-видимому, крайне необходимо было встретиться.

Это был человек сорока лет, колоссального роста, геркулесовского сложения. С первого взгляда можно было догадаться, что он должен обладать необыкновенной силой. Лицо его, изрытое оспой, было смуглое, почти темно-землистое, черты лица грубы, вид мрачен и даже безобразен. Лицо его казалось еще более свирепым и диким от звериного выражения его черных глаз, маленьких,

очень живых, полных огня и смелости; это впечатление усиливалось от густой всклокоченной темной гривы волос и от запущенной взъерошенной бороды.

Несмотря на свое безобразие, этот гладиатор с первого взгляда внушал и какую-то симпатию — столько на его лице было ясной искренности, грубой честности, дикой, но благородной гордости, сквозившей в каждом взгляде, в каждом жесте и движении.

Так как школа гладиаторов в вилле Суллы помещалась в специально выстроенном небольшом доме, довольно далеко от главного здания виллы, то, пока один из рабов побежал звать Спартака, этот огромный человек стал прогуливаться взад и вперед по аллее, ведущей от дворца Суллы к гладиаторской школе.

Прохаживаясь, он осматривал великолепие роскошной виллы и богатства, рассыпанные в ней повсюду.

Не прошло и четверти часа, как раб вернулся. За ним спешил Спартак. Он с распростертыми объятиями шел навстречу своему гостю. Тот бежал навстречу к рудиарию. Встретившись, они тотчас же бросились друг другу в объятия.

Оба гладиатора расцеловались, Спартак заго-

ворил первым:

— Ну, что нового, Эномай?..

— Новости все старые, — ответил гладиатор звучным, глубоким и приятным голосом. — Я считаю, что тот отчаянный лентяй, кто ничего не делает. Я считаю, Спартак, что пришло время взять в руки мечи и поднять знамя восстания.

— Замолчи, Эномай! Клянусь богами, ты хочешь провалить наше предприятие!

— Напротив, я хочу, чтобы оно увенчалось самыми блестящими успехами.

— Да, только не криком, как хочешь ты, но благоразумием и осторожностью добьемся мы успеха.

— Добьемся успеха?.. Но когда же?..

— Когда заговор созреет…

— Такие плоды, как наше восстание, знаешь, как они созревают?.. Смелостью, мужеством, дерзостью… Идем, вперед, начнем немедленно и как придется, а раз уже мы будем на улице, то увидишь, что дело пойдет само собой.

— Крепись, нетерпеливый человек. Сколько новых примкнуло к нашему союзу за три месяца в школе Лентула Батиата, к которой ты принадлежишь?

— Сто тридцать.

— Сто тридцать из десяти тысяч… А тебе кажется, что наши труды за год с лишним подвинулись настолько, что позволяют надеяться на что-то хорошее!

— Как только начнется восстание гладиаторов, произойдет то, что бывает с вишнями: одна потянет за собой другую.

— Но как они могут примкнуть к нам, не зная, в чем дело, не зная, кто мы, к какой цели стремимся, какими средствами располагаем для успешного осуществления нашего плана?.. Тем вероятнее наша победа, чем глубже будет доверие, которое мы внушим нашим товарищам.

И спустя мгновение, пока пылкий Эномай, казалось, молча обдумывал слова Спартака, последний продолжал:

— Что ты, Эномай, самый сильный и страшный из десяти тысяч гладиаторов школы Лентула Батиата, сделал до сего дня? Как ты использовал свое влияние, завоеванное среди них твоей силой и мужеством? Сколько людей ты собрал и привлек в наш боевой союз? Сколько таких, которые знают суть задуманного нами дела? А нет ли и таких, которые не очень доверяют тебе и побаиваются твоего неистового и легкомысленного характера?.. И много ли таких, которые знают

меня или по крайней мере Крикса, уважают и ценят?

— Но именно потому, что я не такой образованный, как ты, и не умею говорить красноречиво и убедительно, я и старался изо всех сил, чтобы наш ланиста Батиат пригласил тебя в качестве учителя фехтования в свою школу, и добился своего: вот этим письмом он предлагает тебе выехать в Капую.

И Эномай вынул из-за пояса небольшой лист папируса и отдал его Спартаку.

С загоревшимися глазами Спартак схватил дрожащей рукой папирус, сорвал печати и с волнением прочел письмо, которым Батиат под влиянием — как он писал — слухов об искусстве и доблести Спартака приглашал его, если он пожелает, явиться в его школу в Капую для занятий с учениками и обещал в вознаграждение роскошный стол и значительный оклад.

— Почему же, — заговорил Спартак, спрятав письмо за пазуху, — безумец, не отдал ты мне сразу это письмо, как только пришел, вместо того чтобы рассыпаться в хвастливых словах и пустых разглагольствованиях? Ведь именно этого я ждал. Там, там, среди десяти тысяч товарищей по несчастью, мое место! — воскликнул с просветлевшим

радостным лицом гладиатор. — Там потихоньку, то с одним, то с другим, я поговорю со всеми и внушу всем веру, пылающую у меня в груди, оттуда в определенный день, по условному сигналу выйдет войско в десять тысяч бойцов, десять тысяч рабов, разбивших свои цепи и кидающих кольца этих цепей в лицо угнетателей, десять тысяч рабов, которые из железа своих позорных цепей выкуют лезвия своих непобедимых мечей… О, наконец… наконец… я заберусь в гнездо, где отточу зубы змеенышам, которые изжалят и растерзают крылья гордых римских орлов!

И рудиарий, вне себя от радости, снова стал перечитывать письмо Батиата и снова спрятал его на груди, обняв Эномая, и то уходил от него быстрыми шагами, то возвращался к нему, возбужденный и словно помешанный, произнося бессвязные слова.

Эномай стоял, наблюдая в изумлении и с удовлетворением этот взрыв радости, и, когда Спартак, казалось, несколько успокоился, сказал:

— Я счастлив твоей радостью, и еще больше будут счастливы сто тридцать наших товарищей по союзу; они ждут тебя с нетерпением и рассчитывают, что ты свершишь великие дела…

— Они напрасно надеются на многое…

— Будет очень полезно, чтобы ты явился туда водворить спокойствие среди этих смутьянов…

— Так как это самые близкие твои друзья, то они, вероятно, такие же необузданные, как и ты… Да, понимаю!.. И вот поэтому-то будет полезным для нашего дела мое пребывание в Капуе, я сумею помешать неожиданным и опрометчивым вспышкам, которые, начавшись преждевременно, могут стать гибельными…

— А я заверяю тебя, Спартак, что буду всегда рядом с тобой, буду терпеливо слушать тебя, буду тебе помощником во всем и буду исполнять все, что ты прикажешь.

Оба замолчали.

Эномай смотрел на Спартака с такой нежностью и любовью, на какие только был способен его свирепый взор. Потом вдруг воскликнул:

— А знаешь, Спартак, с того дня, как я тебя увидел более месяца тому назад в первый и единственный раз на собрании в Путеолах, ты стал словно нежнее и красивее… Извини меня, пожалуй, можно даже сказать — женственнее… но только это слово к тебе не подходит…

Тут Эномай замолчал, так как Спартак, приложив внезапно правую ладонь ко лбу и заметно побледнев, прошептал так тихо, что великан

услышал неясный звук, но не разобрал слов:

— Но боги!.. А как же она?..

И несчастный рудиарий, которого любовь к свободе, братская привязанность к угнетенным, стремление к искуплению и надежда на победу сделали почти невменяемым, подавленный тяжестью неожиданного воспоминания, склонил голову на грудь и задумался.

Молчание длилось долго. Спартак не говорил ни слова, погруженный в мучительные мысли, которые должны были вызвать в нем страшную борьбу, как это можно было угадать по его тяжелому дыханию; а Эномай, тоже задумавшись, стоял, скрестив руки на груди, и грустно глядел на страдания бедного рудиария.

Наконец германец, нарушая молчание, сказал голосом, который он всячески старался сделать мягким и сердечным:

— Итак, ты нас покидаешь, Спартак?..

— О, никогда!.. никогда!.. — воскликнул фракиец, поднимая на Эномая ясные голубые глаза. — Я скорее оставлю мою сестру, оставлю скорее…

Он на миг остановился, а затем продолжал:

— Я оставлю все… все… но не дело угнетенных, дело рабов, покинутых всеми… Никогда!.. Никогда!..

И после новой короткой паузы прибавил:

— Эномай, иди за мной. Хотя сегодня день глубочайшего траура для этого дома, мы найдем в кухне Суллы чем подкрепить тебя; но ни слова о нашем союзе…

И с этими словами Спартак повел гладиатора к дворцу, до которого они очень быстро дошли, и оба в нем скрылись.

Двенадцать дней спустя после опубликования сенатского декрета об оказании за счет государства торжественных царских почестей Луцию Корнелию Сулле похоронное шествие, которое должно было сопровождать его останки из Кум в Рим, двинулось из виллы диктатора и по Аппиевой дороге направилось к семихолмому городу.

Со всех концов Италии съехались люди почтить покойного. В момент, когда погребальная колесница двинулась из Кум, впереди нее и за ней следовали, кроме консула Лутация Катула, двухсот сенаторов и такого же числа римских всадников, все патриции из Кум, Капуи, Байи, Геркуланума, Неаполя, Помпеи, Путеол, Литернума и из остальных городов и деревень Кампании, представители всех муниципий и городов Италии, двадцать четыре ликтора, консульские знамена, орлы всех легионов, сражавшихся за

него, и, кроме того, до пятидесяти тысяч легионеров, по своей инициативе прибывших при оружии, чтобы отдать последние почести своему непобедимому вождю, и много тысяч корнелиев, пришедших в траурной одежде из Рима, многочисленные отряды трубачей, флейтистов и цитристов, тысячи матрон, одетых в серые тоги и в самом строгом трауре, и бесчисленные толпы народа, пришедшие в Кумы из разных мест Италии.

За погребальной колесницей, влекомой шестью черными, как эбен, лошадьми, неописуемо пышной и великолепной, на которой лежало надушенное бальзамом, мазями и ароматами тело диктатора, завернутое в золотисто-багряный императорский плащ, следовали в темных тогах Фауст и Фауста, дети Суллы от Цецилии Метеллы, Валерия и Гортензий, Публий и Сервий Сулла, дети Сервия Суллы, брата покойного, и другие родственники, великое множество отпущенников и слуг его с видом безутешной печали по поводу утраты.

Десять дней продолжалось медленное путешествие многолюдного кортежа. В каждом селении, в каждом городе к нему присоединялись новые люди, увеличивая торжественность и пышность

похоронной процессии, равной которой никогда еще не было видано.

Около десяти тысяч римлян вышло из города на Аппиеву дорогу навстречу похоронному шествию, сопровождавшему тело Суллы.

Когда кортеж достиг Капуанских ворот, распорядитель похорон, которому по приказу Сената было поручено заведование обрядом, стал наводить среди массы народа порядок, чтобы еще увеличить великолепие церемонии. И спустя несколько часов, прошедших в различных перемещениях, кортеж вступил в город в следующем порядке.

Впереди всех, в сопровождении двенадцати ликторов в черных одеяниях, шел сам десигнатор, то есть распорядитель похорон. За ним — группа музыкантов, игравших на длинных погребальных флейтах, а за ними следовало более пятисот плакальщиц, одетых в траур. Они, изливаясь в слезах, в стонах и воплях, по расписанию, вырывали себе волосы и во весь голос прославляли подвиги и добродетели покойного.

И так как десигнатор предупредил плакальщиц, что для этих похорон государственная казна будет сверх меры щедра, то слезы, проливаемые ими по Сулле, были безутешны, плач, казалось,

шел из самого сердца, а добродетели экс-диктатора Рима были, по словам плакальщиц, таковы, что все добродетели Камилла и Цинцинната, Фабриция и Фабия Максима, Катона и Сципиона, взятые вместе, качеством и количеством были ниже, чем у одного Суллы.

Новая группа музыкантов шла за плакальщицами и наполняла воздух печальными мелодиями, а за музыкантами шло более двух тысяч легионеров, граждан Рима и корнелиев, несших более двух тысяч спешно изготовленных золотых венков и дары от городов и легионов, сражавшихся за Суллу, и от друзей.

Затем следовал виктимарий, назначение которого — зарезать у костра наиболее любимых животных покойного.

За виктимарием слуги несли изображения, то есть бюсты, предков Луция Корнелия Суллы, между которыми был заметен бюст Руфина Суллы, прадеда экс-диктатора; Руфин дважды был консулом во времена Пиррова похода в Италию, был доблестным и честным человеком, но тем не менее по постановлению цензора был изгнан из Сената за то, что, вопреки действующим тогда законам, оказался владельцем более чем десяти фунтов серебряной посуды.

Вместе с изображениями предков другие слуги Суллы несли трофеи его побед в Греции, Азии и в италийских войнах, его венки, цепи, боевые награды, им заслуженные.

За ними следовала новая группа музыкантов, а за нею — Метробий, который был загримирован так, чтобы возможно больше походить на своего умершего друга, одет в его одежду, украшен его знаками отличия: ему была поручена роль актера, который должен был изображать покойного, каким он был в жизни.

Непосредственно позади Метробия, на которого жадно глазела толпа, рассыпанная вдоль дороги, следовали сплошь покрытые золотом и драгоценными камнями носилки. Их несли на плечах, сменяясь по очереди, наиболее молодые и сильные сенаторы. Внутри носилок покоилось тело Луция Корнелия Суллы, покрытое богатейшими императорскими регалиями; за носилками шли жена, дети, племянники и наиболее близкие родственники и любимые слуги умершего; все они были в трауре и вид имели угнетенный и безутешный.

За родственниками, сопровождая тело победителя Митридата, следовали все коллегии жрецов в следующем порядке: сперва выступала

коллегия авгуров с их отличием — изогнутыми посохами в руке, за ними следовала коллегия фламинов[72]; впереди шел фламин Юпитера, потом — Марса Квирина, то есть жрец Ромула, фламины Флоры и Помоны и так далее, все в своих жреческих одеяниях, в шапках, похожих на митры, к верхушке которых были прикреплены при помощи ритуальной шерстяной ленты миртовые ветви. За фламинами выступали двенадцать салиев[73] — жрецов Марса Градива, в вышитых туниках, стянутых в талии широким военным бронзовым поясом и в накинутых поверх туники роскошных пурпуровых плащах. На левом боку у них висел меч, в левой руке они держали щит, а в правой — железные палочки, которыми они время от времени ударяли в священные щиты, прикрепленные к шестам и несомые их служителями. А позади салиев шли гаруспики, фециалы и арвалы[74], с ножами из

---

[72] Сноски: 72

Фламины — жрецы отдельных божеств.

[73] Сноски: 73

Салии — жреческая коллегия, состоявшая из двенадцати жрецов бога Марса и двенадцати жрецов бога Квирина.

[74] Сноски: 74

Гаруспики — жрецы, гадавшие по внутренностям жертвенных животных. *Фециалы* — жрецы, отправлявшие священные обряды при объявлении войны и заключении мира. *Арвалы* — жрецы, в обязанности которых входили молитвы богам о ниспослании урожая.

слоновой кости — символом того, что они совершали жертвоприношения; затем следовала благородная и почитаемая коллегия непорочных весталок. На них были короткие льняные туники поверх стол, а сверх туник — белые суконные капюшоны, окаймленные пурпуром и спускавшиеся с головы на плечи, а лоб пересекали белые повязки, поддерживающие волосы, собранные на затылке.

За весталками шли семь эпулонов[75]. Они должны были приготовлять еду для двенадцати богов Согласия, для которых как во время общественных празднеств, так и во время общенародных бедствий устраивались роскошные пиры; вкусные яства затем съедались — как нетрудно понять — самими эпулонами, так как, надо думать, статуи двенадцати богов Согласия не могли двигать мраморными челюстями и есть приготовленную для них пищу.

Дальше выступали децемвиры Сибиллиных

[75] Сноски: 75

Эпулоны — жрецы, в чьи обязанности входило проведение священных пиров в честь трех главных капитолийских богов — Юпитера, Юноны и Минервы.

книг[76] и тридцать курионов, служителей культа, избранных тридцатью куриями, по одному на каждую. Шествие жрецов заключали двенадцать pontifex maximus[77] в своих величественных латиклавах.

Позади жрецов следовал Сенат, всадники, наиболее знатные патрицианки и горожанки и бесчисленная толпа граждан, а за ними слуги и рабы покойного. Последние вели его боевого коня, других коней, а также собак и прочих животных, особенно дорогих умершему, которых предстояло принести в жертву во время сожжения трупа.

В конце шествия следовали легионы, сражавшиеся под начальством Суллы и представлявшие внушительное и хорошо дисциплинированное войско, — зрелище приятное и в то же время наводящее страх на огромную массу плебеев, большей частью хмурых и негодующих; плебеи теснились вдоль всей дороги, по которой двигался похоронный кортеж.

Пройдя через Капуанские ворота на длинную и

---

[76] Сноски: 76

То есть десять хранителей книг, в которых были записаны предсказания легендарной пророчицы Сибиллы о грядущих судьбах государства и мира.

[77] Сноски: 77

Букв.: «Великий строитель мостов» *(лат.)* — титул верховного понтифика.

широкую улицу того же имени, шествие свернуло на улицу, которая вела к храму Юпитера Статора, и отсюда на Священную улицу, пересекло Фабиев парк, устроенный в честь Фабия, победителя над аллоброгами[78], и заполнило Форум, где в курии, прямо против ростры, был поставлен саркофаг Суллы.

Здесь горестными кликами разразился сперва Сенат, потом всадники, затем войско и под конец народ, а затем, так как Фауст еще не был облечен в тогу мужа (если бы он был совершеннолетним, то ему по обычаю надлежало держать хвалебную речь), сперва Публий Сервилий Ватия Исаврик, затем консул Лутаций и последним Помпей Великий произнесли по надгробному слову, где было сказано о доблести и подвигах умершего столько похвального, сколько можно было не только сказать, но вообразить; эти речи сопровождались плачем и причитаниями всех, кто при жизни Суллы по разным причинам держал его сторону и принадлежал к партии олигархии, боясь, что после смерти Суллы им придется плохо.

Затем в прежнем же порядке кортеж двинулся дальше, по направлению к Марсову полю, пересек

---

[78] Сноски: 78

Аллоброги — кельтское племя, проживавшее на территории современной южной Франции.

Мамертинское предместье, прошел Ратуменскую улицу, вышел на просторную и очень длинную Широкую улицу, на которой были воздвигнуты арки из мирты и кипариса, и по ней дошел наконец до места, в центре громаднейшего Марсова поля, назначенного для погребения праха Суллы.

Здесь все было уже приготовлено для погребальной церемонии; носилки были опущены рядом с костром, и Валерия, приблизившись к трупу, закрыла ему глаза, как следовало по обычаю, и затем, вложив ему в рот медную монету, которая должна была служить умершему для уплаты Харону за переезд через волны Ахерона, поцеловала труп в губы, произнеся по обычаю слова: «Прощай! И мы все в порядке, природой нам предопределенном, последуем за тобой».

Тогда все музыканты заиграли похоронные мелодии, под звуки которых виктимарии зарезали очень много жертвенных животных. Кровь их, смешанная с молоком, медом и вином, была разбрызгана кругом по земле. Затем ближайшие из этой бесчисленной толпы стали кидать в костер мази, масла, духи и ароматные вещества разного рода, бесчисленное количество венков из цветов и лавра, так что ими был засыпан не только весь костер, но и все пространство кругом.

В это же время гладиаторы школы, принадлежавшей Сулле, за исключением Арторикса, которому по просьбе Спартака Валерия приказала остаться в Кумах, начали сражаться около костра, и через короткое время все были мертвы, так как в этих погребальных боях не полагалось дарить жизнь ни одному из этих несчастных.

Когда эти обряды закончились, Помпей Великий, взяв факел из рук либитинария, который по обычаю должен был поджечь костер, и с целью воздать больше почестей умершему другу, пожелал сам поднести огонь к куче горючего материала, наверху которого покоились останки Суллы, завернутые в несгораемую ткань из горного льна.

Оглушительные рукоплескания раздались по всему огромному полю при этом акте уважения к покойному со стороны молодого триумфатора Африки; в один момент вспыхнуло пламя, быстро разрослось и тысячью извивающихся языков окутало костер среди облаков густого и благоуханного дыма.

И через полчаса от тела того, кто столько лет заставлял дрожать Рим и Италию и своей славой наполнил весь мир, осталось немного костей и пепла, тщательно собранного плакальщица-

ми и с криком и стенаниями помещенного в бронзовую урну с богатейшими чеканными украшениями из серебра и великолепными золотыми инкрустациями.

Урна была поставлена в храме, выстроенном несколько лет до этого по приказу Суллы на том самом месте, где близ Эсквилинских ворот он одержал победу над сторонниками Мария. Храм этот он посвятил Геркулесу Победителю. Из храма урну должны были перенести — как это и было сделано — в роскошную гробницу, построенную за государственный счет, согласно декрету Сената, на том месте Марсова поля, где был костер.

После того как плакальщицы собрали прах Суллы, виктимарии из двухсот двадцати корзин мази, оставшихся от того колоссального количества, которое принесли с собой на Марсово поле в память об экс-диктаторе женщины, слепили тут же на месте две статуи: одну — представляющую Суллу, другую — ликтора.

Спартак в своем положении ланисты, считавшийся на службе у Суллы, должен был тоже надеть тунику и плащ темного цвета, участвовать в шествии и присутствовать, едва сдерживая в груди негодование, при резне несчастных своих учеников, которых он посвятил в тайны не

только фехтовального искусства, но и Союза угнетенных. Поэтому он с глубоким вздохом облегчения дождался окончания похорон. Он был теперь свободен и мог идти куда угодно; работая своими геркулесовскими локтями, он прокладывал себе дорогу и подвигался, правда медленно и с огромным трудом, среди сотен тысяч людей, которые, как волны морские во время прилива, с шумом, криками и ревом вливались в Широкую улицу, а оттуда на дорогу, ведущую в город.

Солнце уже зашло, и сумерки переходили в ночной мрак; только вереница пылающих облаков неслась над вечным городом, подобно отражению огромного пожара, и исчезла у самого горизонта над вершинами холмов, окружающих Рим.

Среди толпы народа, медленно двигавшейся вперед, более плотной, чем сомкнутый в ряды легион, высказывались одновременно тысячи различных противоположных мнений о похоронах и о человеке, в честь которого было устроено это торжество.

Спартак, который продвигался рядом с новыми спутниками, мог слышать все новые суждения по поводу события, занимавшего в этот день все умы.

— Как ты думаешь, много еще времени простоит эта урна в храме Геркулеса Победителя?

— Я надеюсь, что ради чести Рима и ради достоинства народа ярость толпы скоро выбросит ее оттуда и разнесет на куски, а пепел будет развеян по ветру.

— Напротив, будем надеяться, что ради блага Рима таких, как вы, марианское отребье, очень скоро передушат в Туллиануме[79].

И дальше в другом месте:

— Бедный Рим, повторяю тебе, бедные мы! При его жизни, даже когда он был в отсутствии, никто не осмеливался думать о переменах.

— Зато теперь… Да не допустит этого Юпитер… Несчастные законы!..

— Какие законы? Что за законы?.. Послушай-ка, Вентудей, вот этого парнишку. Он называет законами нарушения всех человеческих и божеских прав, совершенные Суллой!

— Законы?.. Кто это говорит о законах?.. Разве вы не знаете, что такое закон?.. Паутина, в которой запутывается мошка и которую разрывает оса.

— Правильно, Вентудей!

---

[79] Сноски: 79

Туллианум — другое название Мамертинской тюрьмы.

— Браво, Вентудей!

И еще дальше впереди:

— Клянусь кузницей Вулкана, я спрашиваю тебя, если тому, кто запятнан всякими гнусностями, оказали царские почести, как бы поступили, если бы завтра — да не допустит этого Юпитер! — умер Помпей Великий?..

— Вот так кузнец! Он рассуждает как перипатетик.

— Он за Мария, этот поклонник Вулкана!

— Ну хорошо, знаешь, что было бы, если бы умер Помпей?.. Его выбросили бы на ступеньки гемонской лестницы.

— И это было бы справедливо!..

— Кто в наше время будет учить граждан честности и добродетели, когда только пороки обеспечивают счастье и могущество при жизни и апофеоз после смерти?

— Ты прав!.. Пусть добродетель идет в лупанар, там ей место!

— Вниз, с Тарпейской скалы[80] справедливость!

— Тряпичнику такую дрянь на лоскуты!..

— Со скалы достоинство и доблесть!

---

[80] Сноски: 80

Скала, с которой сбрасывали преступников.

— Да здравствует Сулла!

— Да здравствует свобода — сестра палача!..

— Да здравствует навеки нерушимость законов двенадцати таблиц, которые теперь стали похожи на плащ Диогена!.. Они так продырявлены ударами патрицианских мечей, что на них нельзя ничего больше прочитать.

— На это только и годны законы. Их толкует прихоть, а это значит гораздо больше, чем толкования юристов!

Непрерывные насмешки и злые остроты сыпались против олигархов, подобно дротикам, по мере того как Спартак приближался к Ратуменским воротам, где столпились провожатые, шедшие в хвосте, когда кортеж спускался к Марсову полю; при возвращении они оказались первыми. Большинство из них были плебеи — ненавистники и ярые враги Суллы, явившиеся на похороны лишь из любопытства.

Спартак, который все время работал локтями, вместе с первыми достиг городской стены. Когда он прошел в ворота и стал подвигаться все глубже внутрь города, ему показалось, что он попал в страну мертвых, настолько Рим казался в этот час, даже на улицах, обычно многолюдных, безмолвным и пустынным.

Поэтому Спартак успел быстро дойти до гладиаторской школы Юлия Рабеция; там у него было назначено свидание с Криксом, с которым он утром на мгновение встретился за Капуанскими воротами.

Беседа между двумя рудиариями была дружеская, длительная и оживленная. Крикс, как и Спартак, был возмущен избиением гладиаторов у костра Суллы. Спартак, который должен был присутствовать при этом против своей воли, все еще не мог прийти в себя от гнева и волнения. Крикс уговаривал его не откладывать больше выполнение их планов и убедил принять немедленно предложение Лентула Батиата и отправиться в Капую в его школу, чтобы в возможно кратчайший срок привлечь побольше приверженцев к их делу.

— Теперь успех нашего предприятия, — сказал в заключение своей грубой, но горячей речи галл, — находится в твоих руках, Спартак, и если в тебе живет другое чувство, более сильное, чем благородная мысль об освобождении рабов, которая все время согревала тебе душу, то всякая надежда увидеть торжество нашего великого предприятия исчезла бы для нас навсегда.

— Какое бы чувство, — сказал с глубоким вздо-

хом Спартак, ставший с первых же слов Крикса бледным и очень грустным, — ни волновало мою душу, ничто, Крикс, ничто — слышишь! — ничто в мире не сможет отвлечь меня от служения нашему святому делу, ничто не может заставить меня свернуть хотя бы на минуту с пути, который я себе начертал, ничто и никто не отклонит меня от моих намерений!

Долго еще продолжалась беседа. Договорившись с Криксом обо всем, Спартак вышел из школы Юлия Рабеция и в давке, среди толпы, которая возвращалась с похорон и с шумом наполняла улицы, быстро пошел к дому наследников Суллы.

Едва он ступил на порог дома, как был предупрежден привратником, что Мирца в тревоге ожидала его в комнате перед приемной, куда вдова Суллы скрылась от людских взоров и от обычных надоедливых соболезнований.

Спартак, с трепетом в сердце и словно предчувствуя какое-то несчастье, побежал в комнаты Валерии, где, как только он вошел, встретил сестру. Мирца, увидя его, воскликнула:

— Наконец!.. Уже целый час ожидает тебя госпожа!

Она сейчас же пошла доложить Валерии о его

приходе и минуту спустя ввела его в приемную.

Валерия, невыразимо бледная, закутанная в темную тогу и серую кисею, казалась более красивой и изящной, чем всегда.

Томность была ей очень к лицу.

— Спартак!.. Мой Спартак!.. — проговорила она, подымаясь с ложа, на котором сидела, и делая в тревоге несколько шагов к нему. — Будешь ли ты любить меня всегда?.. Любишь ли ты еще меня больше всего на свете?..

Спартак, уже несколько дней взволнованный своими мыслями и под влиянием жестокой борьбы страстей, стоял, изумленный и смущенный этим неожиданным вопросом, и после короткой паузы ответил:

— Почему, моя Валерия, ты задаешь мне этот вопрос? Может быть, я чем-нибудь тебя обидел?.. Дал тебе повод сомневаться в моей нежности, в моей преданности, в моем поклонении тебе, заменяющей мне мою бедную мать, которой уже нет на свете, мою несчастную жену, умершую в рабстве под бичом надсмотрщика, тебе, которая для меня все, все на свете?.. В тебе все мои привязанности, тебе посвящены все чувства моего сердца…

— Ах!.. — радостно прервала его Валерия, глаза

которой заблистали ярким светом. — Именно так я хотела — всегда быть любимой. Так ты меня и любишь, Спартак, и будешь любить всегда, не правда ли?

— Да!.. Всегда!.. — сказал дрожащим от волнения голосом рудиарий, преклонив колени перед матроной, схватив ее руки и покрывая их страстными поцелуями. — Всегда я буду чтить тебя, Валерия, как богиню, если даже… когда даже…

— Что с тобой?.. Что случилось?.. Спартак… скажи… что с тобой? — задыхаясь, повторяла Валерия, лаская рудиария, и, взволнованная и растерянная, целовала его в лоб и прижимала к своей груди.

В этот момент раздался легкий стук в дверь.

— Встань! — быстро сказала вполголоса Валерия и затем, по мере сил стараясь придать своему голосу обычный тон, спросила: — Что, Мирца?

— Приехал Гортензий и спрашивает тебя, — ответил голос рабыни по ту сторону двери.

— Уже?! — сказала Валерия. И тут же добавила: — Пусть он подождет немного…

— Хорошо.

Валерия прислушивалась. Когда смолкли шаги Мирцы, она, помолчав несколько мгновений, заговорила быстро:

— Вот… Он уже пришел… Именно для этого я тебя с таким нетерпением и ждала… И потому-то я только что спрашивала тебя, готов ли ты пожертвовать всем для меня… Знай, что Гортензий… знает все…

— Что ты говоришь?.. Каким образом?.. — воскликнул Спартак, охваченный сильнейшим волнением.

— Молчи!.. Я сама не знаю… Он мне об этом коротко говорил… и сказал, что придет сегодня вечером… Теперь ты спрячься… сюда… в эту комнатку, — сказала Валерия, поднимая портьеру на одной из двух дверей, через которую можно было попасть в ее приемную, — невидимый, ты услышишь все… и узнаешь, как может любить Валерия.

Протолкнув рудиария в комнату, она прибавила вполголоса:

— Что бы здесь ни произошло, не говори ни слова, ничего не делай, пока я тебя не позову.

И она опустила портьеру; потом, сжимая грудь обеими руками, чтобы сдержать биение своего сердца, она села на ложе. Вскоре ей удалось взять себя в руки и принять непринужденный и спокойный вид. Тогда она позвала обычным своим голосом:

— Мирца!

Девушка появилась в дверях.

— Ты сказала Гортензию, что я одна в своей приемной?

— Я сказала, как ты приказала.

— Хорошо, теперь приведи его.

Спустя минуту знаменитый оратор, с бородой, не бритой уже пятнадцать дней, в темной тунике, в тоге из темной шерсти, серьезный и недовольный, вошел в приемную сестры.

— Здравствуй, милый Гортензий! — сказала Валерия.

— Здравствуй, сестра, — хмуро ответил тот.

— Садись и не дуйся на меня, брат мой, а говори прямо и откровенно.

— Не одно только несчастье должно было свалиться на меня со смертью нашего возлюбленного Суллы, но и другое, неожиданное, незаслуженное. Я должен был узнать, что дочь моей матери, забыв об уважении к себе самой, ко мне, к крови Мессалы, к брачному ложу Суллы, покрыла себя стыдом и позором, вступив в бесстыдную связь с презренным гладиатором. О Валерия, Валерия!.. Что ты сделала?

Облокотившись на спинку своего стула и приложив руку ко лбу, он замолчал, печальный и

задумчивый.

— Слушай, Гортензий, ты обвиняешь меня в очень тяжелом проступке; прежде, чем защищаться, и для того, чтобы я могла защищаться, я спрашиваю тебя: откуда исходит это обвинение?

Гортензий поднял голову и, проведя рукою по лбу, ответил отрывисто:

— Из многих мест… Шесть или семь дней спустя после смерти Суллы Хрисогон передал мне это письмо.

С этими словами Гортензий подал Валерии измятый папирус, который она сейчас же развернула и на котором прочла следующее:

Луцию Корнелию Сулле

Императору, Диктатору, Счастливому, Эпафродиту,

дружеский привет.

Теперь, вместо обычного «берегись собаки», ты бы мог написать на наружной стене твоего дома: «берегись змеи», даже змей, так как не одна, а две змеи свили себе гнездо под твоей крышей: Валерия и Спартак.

Не дай себе увлечься внезапным гневом: подстереги, и в час первого крика петухов ты увидишь, какое издевательство совершается над именем, над брачным ложем самого страшного и могу-

щественного человека в мире.

Пусть боги надолго тебя сохранят впредь от подобных несчастий.

Лицо Валерии покрылось пламенем при первых же словах этого письма, а когда она кончила читать, стало мертвенно-бледным.

— Откуда Хрисогон получил это письмо? — спросила она глухо, сквозь зубы.

— К сожалению, как ни старался, он никак не мог вспомнить, от кого оно было. Помнит только, что раб, доставивший это письмо, прибыл в Кумы через несколько минут после смерти Суллы; сам он был вне себя в тот момент, принял письмо машинально, и только спустя шесть дней оно попалось ему в руки, и он совсем забыл, как он его получил.

— Не стану же я убеждать тебя, — после минуты молчания спокойным голосом сказала Валерия, — что анонимный донос не такое доказательство, на основании которого ты, Гортензий, брат мой, можешь обвинять меня, Валерию Мессалу, вдову Суллы…

— Но дело в том, что Метробий, в безутешном горе по поводу смерти своего друга, считая своим священным долгом отомстить за поруганную честь его, пришел тоже ко мне спустя десять или

двенадцать дней после смерти Луция и рассказал о твоей связи со Спартаком. Он представил мне ту рабыню, которая ввела его в одну из комнат, соседних с твоей приемной, в кумском дворце, откуда он, Метробий, видел Спартака входящим к тебе ночью.

— Довольно, довольно! — закричала Валерия, меняясь в лице от мысли, что ее поцелуи, ее слова, тайны ее любви стали известны подлой рабыне и такому презренному существу, как Метробий. — Довольно, Гортензий! И так как ты предъявил мне обвинение, то теперь буду говорить я.

Она встала, подняла гневное лицо к брату, скрестила руки на груди и с гордо сверкающими глазами сказала:

— Да, я люблю Спартака. И что же?.. Да, я его люблю, люблю со всем пылом моего сердца! Ну и что же?

— О великие боги, великие боги! — воскликнул, вставая, совсем растерянный Гортензий и закрыл в отчаянии лицо руками.

— Оставь в покое богов! Они тебя не слышат. Слушай лучше меня, когда я тебе говорю.

— Говори…

— Да, я его люблю и буду любить…

— Валерия! — прервал Гортензий, глядя на нее

с негодованием.

— Да, буду его любить, буду любить, буду любить всегда! — повторяла все сильнее и энергичнее Валерия. — И я тебя снова спрашиваю: ну и что же?

— Да спасет тебя Юпитер. Ты меня пугаешь… Ты совсем сумасшедшая женщина…

— Нет, я только женщина, которая решила нарушить все ваши деспотические законы, все ваши глупые предрассудки, все ваши невыносимые золотые цепи, которыми вы, победители мира, связываете ваших женщин по рукам и по ногам! Вот чего я хочу и уверяю тебя, брат, что это вовсе не свидетельствует о сумасшествии, а, наоборот, может быть доказательством разума. А! Значит, Метробий меня обвиняет, Метробий, этот гнусный паяц, настолько порочный, что возбуждает ревность у всех жен, мужья которых с ним водятся. И он меня обвиняет?.. Восхитительно!.. Мне странно, почему ты, Гортензий, который придаешь столько веса его обвинениям, не предложишь Сенату выбрать его цензором… Он был бы цензором, достойным римских нравов!.. Метробий, охраняющий целомудренных весталок!.. Волк, ведущий ягнят на пастбище!.. Это именно то, чего еще недостает этому омерзи-

тельному Риму, где Сулле, наполнившему город убийствами, воздвигаются статуи и храмы и где под сенью двенадцати таблиц ему было дозволено проводить на моих глазах, рядом с моими комнатами, все ночи в грязных оргиях. О законы отечества, как вы щедры, справедливы!.. Они мне тоже разрешали кое-что: право оставаться спокойной свидетельницей всего этого и даже право проливать слезы, но тайно, на подушки вдовьего ложа, и наконец право увидеть себя отвергнутой в любой день по единственной и очень естественной причине, что я не дала наследника своему господину и хозяину!

Лицо Валерии разгорелось от возбуждения, пока она говорила со все возрастающим пылом. Она замолчала ненадолго, затем повернулась к Гортензию, который в крайнем изумлении и без слов смотрел на нее недвижными расширенными глазами, и продолжала:

— Конечно, пред лицом этих законов я нарушила свой долг… я знаю… я признаю это… но я не намерена ни защищаться, ни оправдываться: я нарушила долг тем, что не имела мужества уйти со Спартаком из дома Суллы. Но за то, что я полюбила этого человека, я не только не называю себя преступной, но горжусь этой любовью.

С его благородным и великодушным сердцем, с его умом, достойным великих дел, если бы он одержал победу во Фракии над римскими легионами, он вызывал бы больше восхищения, чем Сулла и Марий, и его боялись бы больше, чем Ганнибала и Митридата!.. Но он был побежден, и вы сделали его гладиатором, так как вы испокон веков подходите к покоренным народам с «Vae victis»[81], которое когда-то галлы применили к вам, и считаете, что все люди созданы богами для вашей забавы!.. И потому, что вы делаете из него гладиатора, потому, что даете ему это название, вы верите, что переменили его характер, и предположили и предполагаете, что достаточно вашего декрета, чтобы влить храбрость в грудь труса или разум в мозг безумного или же сделать из человека с великой душой и сильным умом безмозглого барана?

— Значит, ты восстаешь против законов нашего отечества, против наших обычаев, против всякого чувства приличия?.. — спросил в изумлении и с печалью великий оратор.

— Да, да, да!.. Я восстаю, восстаю… я отказыва-

[81] Сноски: 81

«Горе побежденным» *(лат.)*. Иными словами: «Условия всегда диктуют победители». По римскому преданию, эти слова были сказаны вождем галлов Бренном, покорившем Рим в 390 г. до н. э.

юсь от римского гражданства, от своего имени, от своего рода… я не желаю ничего и ни от кого… я уйду жить в какую-нибудь уединенную виллу, я удалюсь в какую-нибудь отдаленную провинцию или во Фракию, к Родопским горам, вместе со Спартаком, и вы, все мои родные, не услышите больше обо мне ничего, только бы стать свободной, госпожой своих чувств, своих привязанностей, своего сердца.

И Валерия, изнемогая от волнения, вызванного в ней этим взрывом возбужденных чувств и гневных слов, упала на ложе, бледная и обессиленная. Она была во власти великого возбуждения, великой страсти и с полчаса уже находилась в таком сильном нервном возбуждении, что оно не позволяло ей как следует взвешивать свои слова и возможные последствия их.

Быть может, Валерия и не была в такой мере права, как ей казалось. Прошлая жизнь ее не была вполне безупречна, и в самой любви своей к Спартаку — единственной настоящей любви, заставлявшей действительно трепетать ее сердце, она вела себя слишком легкомысленно. Однако в этих сильных и несколько бессвязных словах она, по крайней мере, раскрыла все состояние страдания, угнетения и поругания, на которые

обрекали женщину законы Рима.

Виною этого плачевного положения женщины была в те времена прежде всего порча нравов, все более и более усиливающаяся безудержной жаждой роскоши, бесстыдными кутежами и сладострастными оргиями отцов и мужей, но главным образом свободой, предоставленной бесстыдным куртизанкам, не уступавшим по богатству и роскоши матронам, куртизанкам, которыми нагло и открыто восхищались патриции, всадники и все прочие граждане.

И в этом печальном положении женщины, еще худшем, чем положение сыновей, находившихся в неограниченной власти отцов, в язве все растущего безбрачия и следствия его — быстрой убыли в семействах, в беспрерывно растущих массах рабов, труд которых доставлял праздность и несчастье гражданам, во всех этих обстоятельствах надо было искать единственную и истинную причину падения Рима и разложения колоссальной империи, которую могло в такое короткое время создать всепоглощающее, объединяющее, ассимилирующее могущество грубой, воинственной и доблестной республики.

Всем этим заключениям и всем этим мыслям, конечно, не предавался и не мог в то время пре-

даваться Гортензий, хотя он был и очень умен. Поглядев на сестру с состраданием, он сказал ей ласково, мягким голосом:

— Я вижу, милая Валерия, что ты чувствуешь себя сейчас нехорошо…

— Я? — воскликнула матрона, быстро вставая. — Я чувствую себя великолепно, я…

— Нет, нет, Валерия, поверь мне, тебе нехорошо… ты взволнована… ты во власти чрезмерного возбуждения, которое отнимает у тебя спокойствие и ясность ума, необходимые для беседы на такую серьезную тему…

— Но я…

— Отложим до завтра, до послезавтра — словом, до более подходящего времени обсуждение этого вопроса.

— Но я тебя предупреждаю, что я непреклонна…

— Хорошо… хорошо… мы поговорим об этом… мы увидимся… А пока я прошу, чтобы боги хранили тебя всегда. Я ухожу. Прощай, Валерия, прощай.

— Прощай, Гортензий!..

И оратор вышел из приемной сестры, погрузившейся в глубокие и печальные думы.

Из этих дум вывел Валерию Спартак. Войдя к

ней в комнату и бросившись к ее ногам, Спартак, судорожно обнимая и целуя ее, прерывистыми словами, рыданиями и слезами благодарил за речи, полные любви, за ее глубокое чувство.

— Да, я хочу жить всегда с тобой, всегда с тобой, благороднейший Спартак, я буду твоей женой, и горы твоей гостеприимной Фракии будут приютом нашей любви, — говорила Валерия, прижимая Спартака к сердцу.

И опьяненный этими поцелуями рудиарий, забывая себя и весь мир, прошептал слабым голосом:

— Да… твой… твой… навеки… твой раб… твой слуга… твой…

Вдруг Спартак вырвался из объятий Валерии, повернул побледневшее лицо назад и напряг слух, как бы желая сосредоточить в нем все чувства своей души.

— Что с тобою? — спросила в волнении Валерия.

— Молчи!.. — прошептал едва слышно рудиарий.

И в глубокой тишине оба могли услышать хор молодых голосов, звонких и сильных, хотя до приемной Валерии доходило только слабое отдаленное эхо; и это пение, исполняемое хором на

одной из четырех улиц, окружавших дом Суллы, уединенный, как и все дома патрициев, слагалось в такой стих на полуварварском языке — смеси греческого с фракийским:

Свобода! Свобода! Богиня богинь!

К великому подвигу сердце зажги,

Слабейших из смертных в бою не покинь!

Свобода! Свобода! Богиня богинь!

Над нами раскинешь ты крылья свои

В тот час, когда грозные грянут бои,

Когда нападут легионы врагов, —

В мечи превратишь ты оковы рабов!

И в странах позора, где царствует гнет,

Пусть самый ленивый оружье берет,

Пусть самый трусливый выходит вперед!

Свобода! Свобода! Богиня богинь!

На землю божественным пламенем хлынь.

Пусть искра огня твоего упадет

Туда, где насилье, где слезы и пот,

Где неге тиран предается всегда,
Где льются и кровь, и вино, как вода,
Где братоубийца ликует, – туда,
Богиня богинь, поведи нас на бой!
Ведь каждое сердце пылает тобой!
Свобода, свобода! Пусть груб наш напев,
Удвой наше мужество, силу и гнев!
Дай твердость свою истомленным плечам —
Тебя призывая, мы рвемся к мечам!
К оружью, товарищи, смерть палачам!

Спартак, тяжело дыша и с широко раскрытыми глазами, весь превратился в слух, как будто его жизнь зависела от этой песни, из которой Валерия уловила всего лишь несколько греческих слов.

Она молчала, и на ее белом лице отражалась та же тревога, которая была написана на лице рудиария, хотя она и не понимала ее причины.

Они пробыли несколько минут в молчании, пока не смолкло вдали пение гладиаторов. Тогда Спартак встрепенулся и, схватив руки Валерии и целуя их с лихорадочным пылом, сказал, преры-

вая слова плачем:

— Я не могу… я не могу… Валерия… моя… Валерия… прости меня… я не могу быть всецело твоим… так как я больше не принадлежу себе…

Валерия вскочила на ноги: она подумала, что рудиарий в своих словах сделал намек на какую-то прежнюю любовь, и потому в сильном волнении воскликнула:

— Спартак!.. Что ты говоришь?.. Что ты сказал?.. Какая женщина может оспаривать у меня власть над твоим сердцем?..

— Это не женщина, нет, — возразил, печально качая головой, гладиатор, — не женщина запрещает мне быть счастливым… самым счастливым из всех людей… Нет! Но я… я… не могу сказать, что… Не могу говорить… Священная и ненарушимая клятва делает из меня человека, не принадлежащего больше себе самому… Тебе этого достаточно… ибо, повторяю тебе, я не могу, не должен говорить… И, — прибавил он в заключение дрожащим голосом, — тебе достаточно знать, что вдали от тебя, лишенный твоих божественных поцелуев, я буду очень несчастным… самым несчастным человеком!..

После короткой паузы он добавил голосом, полным отчаяния:

— Самым несчастным среди всех людей!..

— Ты с ума сошел? — сказала испуганно Валерия, схватив маленькими руками голову Спартака, заставляя его смотреть ей в лицо и погружая свои черные блестящие глаза, сверкающие из-под нахмуренных бровей, в его, как бы для того, чтобы убедиться, не сошел ли он с ума. — Ты с ума сошел?.. Что ты сказал?.. Что ты говоришь?.. Что ты бредишь?.. Кто же тебе запрещает быть совсем моим, совсем моим?.. Но говори же! Избавь меня от мук, скажи мне — кто?.. Кто именно тебе запрещает говорить?..

— Выслушай меня, выслушай, любимая, обожаемая Валерия, — сказал задыхающимся и прерывистым голосом Спартак, — выслушай меня… Я не могу говорить… Не в моей власти сказать тебе, какая причина отдаляет меня от тебя… тебе достаточно знать, что это — не другая женщина… и ты должна это понять… Разве могла бы какая-то женщина оторвать меня от твоих чар, которыми ты меня покорила, ты, которая для меня гораздо больше, чем богиня!.. Будь уверена, что никакой другой любви к человеческому существу нет в моем сердце… Я чистосердечно и честно клянусь твоей жизнью, твоим добрым именем, моим именем, моей жизнью, что, вблизи

или вдали, я твой и буду всегда твоим…

— Но что же с тобой? Почему, если ты так меня любишь, не доверишь мне твои страдания? — повторяла с едва сдерживаемыми рыданиями бедная женщина. — Почему не сообщить мне твою тайну? Неужели ты сомневаешься в моей любви, в моей безусловной преданности? Разве я тебе не дала достаточно доказательств этого?.. Ты хочешь еще других!.. Говори… приказывай… Чего ты хочешь от меня?..

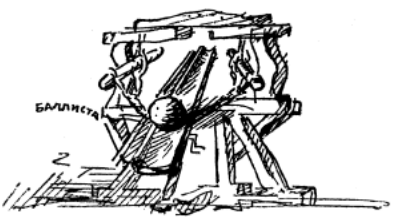
— Виданы ли когда-нибудь, виданы ли муки, подобные этим?.. — вскричал вне себя гладиатор, схватившись за голову, в отчаянии ломая и кусая себе руки. — Обожать самое святое, самое прекрасное из всех человеческих созданий, быть им любимым и быть обязанным бежать от него… без возможности говорить… без возможности сказать что-либо… Потому что я не могу, я не могу! — закричал несчастный вне себя. — Я не имею права говорить!

И так как Валерия, плача, страстно его обнимала, он прибавил, вырываясь от нее:

— Но я вернусь, вернусь после того, как получу разрешение нарушить для тебя мою клятву, я вернусь завтра, послезавтра, скоро, как только я получу возможность освободиться от тайны, чу-

жой, не моей, и ты меня простишь тогда и будешь любить меня еще больше… Прощай… Прощай, моя Валерия!..

Сделав над собой сверхчеловеческое усилие, вырвался несчастный Спартак из рук любимой женщины, которая, вздыхая и плача, молила о жалости, и выбежал из приемной, шатаясь, как пьяный. Валерия, подавленная волнениями и горем, упала без чувств.



Глава IX
Как один пьяница вообразил себя спасителем республики

За пятнадцать дней до мартовских календ (15 февраля) 680 года от основания Рима, почти через четыре года после похорон Луция Корнелия Суллы, квириты справляли праздник — луперкалий, установленный Ромулом и Ремом при закладке города в честь Луперки, их кормилицы, бога Пана, оплодотворителя полей, и в память их чудесного детства.

Луперкалием звалась пещера, находившаяся на склоне Палатинского холма, в лесу, посвященном богу Пану, расположенном в той части горы, которая выходила на Римский форум, точнее — между Новой улицей и священным Палатинским скатом, против Руминальской смоковницы.

Однако происхождение этого пастушеского празднества, как утверждали в то время и теперь еще утверждают многие историки, восходит до аркадийцев, которые по аналогии с играми, происходившими на горе Ликея в Аркадии, посвятили это место богу Пану, когда они переселились

в эту страну под властью Эвандра.

Как бы то ни было, происхождение этих игр остается темным; одно лишь верно, что их всегда праздновали и что они вышли из употребления только в последние годы республики, так что Цезарь, будучи диктатором, восстановил их специальным законом.

Что касается Руминальской смоковницы, стоявшей перед луперкалием, то это было дерево, посвященное божествам — нумам, так как, по преданию, волчица кормила своим молоком Ромула и Рема именно под смоковницей, которая росла в этом месте и была названа Руминальской от слова «ruma» (вымя); поэтому, когда дерево от старости высохло, оно с торжественным обрядом было заменено жрецами новым; и всякий раз, когда с течением времен смоковница старела и грозила свалиться, с тем же обрядом она заменялась новой; ибо среди римлян укоренилось суеверие, что пока Руминальская смоковница будет давать листья, будет счастлив и Рим.

Итак, луперкалии должны были праздноваться 15 февраля 680 года, согласно обычаю, и со всей торжественностью, предписанной священными обрядами.

С самого раннего утра в луперкальский грот

собрались луперки — жрецы, выбранные среди юношей из наиболее знаменитых, и ожидали часа жертвоприношения.

Среди этих луперков находился Луций Домиций Агенобарб, красивый юноша, белокурый, двадцати одного года, который стал потом консулом в 700 году от основания Рима; были здесь и Луций Корнелий Лентул, и Квинт Фурий Кален — оба еще молодые, не более двадцати четырех лет от роду, тоже стали консулами, первый в 705-м, второй в 706 году. Тут же находился Гай Вибий Панса, которому в это время едва исполнилось двадцать пять лет; он, будучи избран в 710 году консулом вместе с Аттилием Ирцием, победил Марка Антония у Модены, но не мог использовать победу, так как вместе со своим товарищем пал мертвым на поле сражения.

Эти и другие юные патриции, принадлежавшие к коллегии жрецов-луперков, находились в пещере в жреческом одеянии, когда к ним присоединилась толпа других благородных юношей. С ними пришли Марк Клавдий Марцелл и Сервий Сульпиций Руф, двадцатилетние молодые люди. Отцы их носили консульское звание, и сами они впоследствии стали консулами. На них были белые тоги и венки из плюща, так как им

предстояло играть важную роль при жертвоприношении.

Как только эта группа пришла, виктимарии вооружились ножами и зарезали двенадцать козлов и столько же щенят. После жертвоприношения один из луперков взял из рук другого меч, обмакнул его в крови жертв и коснулся им лба Клавдия Марцелла и Сульпиция Руфа. Тотчас же другие луперки стали вытирать пятна крови со лба обоих молодых патрициев шерстью, смоченной молоком. Когда следы крови на их лбах были уничтожены, Марцелл и Руф разразились, как это было предписано, звонким хохотом.

По-видимому, в этой церемонии предание желало символизировать обряд очищения пастухов.

После этого было совершено установленное обычаем омовение, а потом в особом месте пещеры луперки с очищенными юношами и их друзьями устроили роскошный пир, на котором пили разные тонкие вина.

Пока луперки сидели за столом, пещера стала наполняться народом; и особенно вдоль леса Пана, где находился луперкальский грот, на дороге к священному Палатинскому склону и на всех прилегающих дорогах толпилось множество лю-

дей, в том числе женщин-патрицианок — девиц и замужних, в сопровождении рабынь, слуг и гладиаторов.

Чего ожидала толпа? Это обнаружилось, когда луперки, едва только встав из-за пира, веселые и возбужденные, надели на туники в виде поясов широкие полосы из шкур убитых животных, взяли в руки кнуты, сделанные из этих же шкур, гурьбой выбежали с громким шумом и криками из пещеры и начали носиться по улицам, рассыпая удары плетей всем попадающимся им навстречу.

И так как девушки верили, что удары плетей, посвященных нумам, облегчают вступление в брак, а замужние — что удары плетей имеют оплодотворяющую силу, то на всех улицах можно было видеть матрон и девиц, бегущих навстречу луперкам и радостно протягивающих руки для того, чтобы получить удар.

Встречаемые повсюду возгласами толпы, луперки бежали по главным улицам города. Одна часть их направилась в цирк и отсюда по улице храма Беллоны вступила в Триумфальную улицу, затем, свернув направо, пробежала предместье Януса и, снова повернув направо, вошла на Флументальскую улицу, направляясь к острову на

Тибре. Другая часть луперков направилась по Новой улице, с нее на дорогу в Табернолу и оттуда через Африканское предместье по направлению к Эсквилинским воротам. Здесь луперков ожидало много дорогих колесниц из позолоченной бронзы, принадлежавших семьям этих молодых жрецов Пана; в каждую колесницу были впряжены четыре лошади. Луперки, вскочив в колесницы, сопровождаемые большим количеством экипажей частных граждан, двинулись в Альбунейский лес, расположенный в нескольких милях от Рима, по дороге в Тибур, туда, где находился — и находится и теперь — источник известных сернистых альбулийских вод.

Луперки ежегодно в дни луперкальских празднеств после жертвоприношения отправлялись в этот лес, где, по религиозному преданию, обитали фавны — потомки Фавна, мифического царя Лациума, и которые, согласно поверью, в густо заросших уединенных тайниках этого леса изрекали священные вещания.

А те луперки, которые в сопровождении толпы направлялись, как было сказано, к острову на Тибре, прошли до половины Флументальской улицы, свернули налево и через предместье Тибра вскоре достигли деревянного моста, распо-

ложенного в том самом месте, где одиннадцать лет спустя, то есть в 691 году, декретом Сената и при смотрителе дорог Л. Фабриции был построен каменный мост, получивший имя последнего.

На острове, в то время очень малонаселенном, находились три памятника важного значения: храм Эскулапа, храм Юпитера и храм Фавна.

Храм Эскулапа, самый большой и великолепный из трех, был построен в 462 году, по случаю страшной моровой язвы, унесшей много тысяч жертв в городе во время консульства Квинта Фабия Гургита и Юния Брута Сцевы. Римляне отправили тогда послов в Эпидавр, город в Греции, посвященный культу Эскулапа, бога врачевания. И в то время как римские послы находились в храме бога-целителя, одна из желто-коричневых змей, безвредных и приученных, обитавших внутри этого храма, направилась к представителям римского народа. Те, увидев в этом добровольном приближении к ним животного, посвященного Эскулапу, божественное знамение, пошли к своим кораблям, куда за ними последовала и змея. Она была взята на судно и перевезена в Остию, где корабль, войдя в Тибр и поднявшись вверх по реке, достиг высоты Тройных ворот; здесь змея внезапно ушла с корабля и устроила

себе гнездо на острове. Авгуры истолковали тогда этот каприз змеи как приказ, данный богом Эскулапом, воздвигнуть ему в этом месте храм, что и было сделано.

В 552 году от основания Рима по обету, данному претором Фурием Пурпуреоном, был выстроен возле этого большого храма Эскулапа меньшего размера, но не менее великолепный храм Юпитеру.

А в 558 году, то есть шесть лет спустя после сооружения храма Юпитера, народные эдилы Гней Домиций Агенобарб и Н. Скрибоний Курион на штрафы, взысканные с трех крупных торговцев скотом, воздвигли по другую сторону храма Эскулапа и, следовательно, почти против упомянутого выше храма Юпитера третий храм — богу Фавну.

Наличие этих трех храмов на таком небольшом пространстве острова на Тибре является несомненным доказательством, что между ним и городом существовало сообщение не только посредством лодок, но также и деревянных мостов, подобных Сублицийскому мосту до сооружения Фабрицием и Цестием каменных мостов.

Итак, перейдя деревянный мост, которым город сообщался с островом, группа луперков, с толпой,

следовавшей за ними, перешла на самый остров с целью принести дары богу Фавну, как близкому родственнику бога Пана, и закончить потом праздник новым пиром, уже подготовленным в харчевне Эскулапа. Это было довольно приличное заведение, в котором подавали прекрасную еду и где можно было выпить велитернского вина высшего сорта. Не менее весело, чем эти луперки, предполагали закончить свой день и другие, отправившиеся через Эсквилинские ворота посетить бога Фавна в его пещерах и лесах близ альбулийских вод Тибура.

Таким образом, в религии древних, как и в современной, все обряды были предлогом для веселых сборищ, более или менее непристойных, более или менее таинственных, устраиваемых большей частью плутами за счет легковерия простаков. Тут луперки по крайней мере сами несли расходы по празднеству, которое давало удовлетворение их тщеславию, ибо немалой честью считалось звание жреца и немалым удовольствием была возможность ласково хлестать плетью красивых девушек и соблазнительных матрон и получать от них в награду нежные слова и милые улыбки.

Опершись на одну из колонн портика храма

Фавна и как бы наблюдая за беготней луперков и движением толпы, но с лицом, выражающим полное равнодушие, стоял молодой человек, лет двадцати пяти, высокого роста, полный сил и идеально сложенный. Над шеей, напоминавшей греческие изваяния, гордо подымалась благородная голова; его черные волосы были надушены, старательно расчесаны и завиты. Блестящие, как черное дерево, они оттеняли высокий и широкий лоб и глаза очень красивого разреза, выразительные, проницательные и властные. Эти глаза вызывали симпатию, привлекали и завоевывали сердца, подчиняли железной воле, которая время от времени, между самым ласковым взглядом и самой нежной улыбкой, проявлялась в блеске зрачков, в нахмуривании лба и густых черных бровей. Нос молодого человека был прям, резко и великолепно очерчен; небольшой рот, с несколько толстыми и немного выдающимися вперед губами, запечатлевал две страсти: властность и чувственность. Белизна кожи с оттенком алебастра делала еще более прекрасным и привлекательным лицо этого рослого, сильного, величественного и в высшей степени изящного человека.

Это был Гай Юлий Цезарь.

Он был одет с чисто греческим изяществом. Поверх туники из тонкой белоснежной льняной материи, отороченной пурпуром и стянутой на талии шнурком из пурпуровой шерсти, на Цезаре была накинута тога из тончайшего, тоже белого сукна, по краям которой тянулась широкая синяя полоса. Туника и тога были расправлены так аккуратно и с такой тщательностью, что усиленно подчеркивали все очертания его красивого тела.

Юлию Цезарю исполнилось в это время двадцать шесть лет, так как он родился 12 июля 654 года. В Риме он уже пользовался безграничной популярностью благодаря своему таланту, образованию, красноречию, приветливости, храбрости, силе духа и изяществу, в котором он не имел равных.

В восемнадцать лет Гай Юлий Цезарь, приходившийся со стороны своей тетки Юлии племянником Гаю Марию и по своим связям и по личным симпатиям принадлежавший к марианцам, женился на Корнелии, дочери Л. Корнелия Цинны, который был четыре раза консулом и считался ярым сторонником победителя тевтонов и кимвров. Как только Сулла, уничтожив своих врагов, сделался диктатором, он приказал убить двоих членов семейства Юлиев, располо-

женных к Марию, а от молодого Гая Юлия Цезаря потребовал, чтобы он разошелся со своей женой Корнелией; Цезарь, обнаруживший уже тогда железную волю и непреклонную твердость, не захотел этому подчиниться, за что был присужден Суллой к казни, и без вмешательства влиятельнейших сторонников Суллы и коллегии весталок стал бы жертвой проскрипций.

Цезарь не чувствовал себя в безопасности в Риме, пока там властвовал Сулла. Недаром ведь в ответ на просьбы многих о даровании жизни Цезарю диктатор сказал: «В этом юном Юлии кроется много Мариев». Цезарь удалился в Сабину, где скрывался, блуждая по горам Лациума и Тибертина до тех пор, пока Сулла не умер.

Вернувшись в Рим, он немедленно отправился воевать под начальством претора М. Минуция Терма и принял с ним участие в осаде Митилен. Так как Цезарь владел оружием лучше кого бы то ни было и обладал мужеством, выходящим за пределы человеческой природы и воображения, то блестяще отличился: он спас жизнь одному солдату, рискуя своей собственной, и был за это награжден гражданским венком. Из Митилен он направился в Вифинию, к царю Никомеду, и в короткое время подружился с ним так, что

в сатирах того времени его прозвали царицей Вифинии.

Узнав потом, что П. Сервилий Ватия получил задание разгромить киликийских пиратов, имевших базу в городе Исавре, Цезарь отправился с ним и в этой войне дал новые доказательства своей храбрости и доблести.

По окончании этого похода Цезарь отправился в Грецию, где предполагал, как уже делал раньше, слушать наиболее известных философов и посещать школы знаменитейших ораторов. Но возле Формакузы, одного из спорадских островов архипелага, неподалеку от Ясского залива, корабль, на котором плыл Цезарь, был захвачен пиратами, и он со своими слугами попал к ним в плен. Тут Цезарь доказал не только необыкновенное мужество, но и врожденную способность повелевать, которая впоследствии дала ему власть над всем миром. Когда он спросил пиратов, сколько они требуют выкупа за него, они потребовали двадцать талантов; юноша высокомерно возразил, что стоит пятидесяти и что эта сумма им будет выплачена, а когда он будет на свободе, то отправится в погоню за пиратами и, захватив их, велит распять на крестах. Это было сказано чисто по-римски и показывало твердость характера и

чувство собственного достоинства, присущее Цезарю. Не сомневаясь, что человеку из рода Юлиев такая сумма будет поверена на слово, он послал несколько слуг в Эфес, Самос и в другие соседние города собрать пятьдесят талантов и вручил их пиратам. Но как только его отпустили на свободу, он, собрав несколько трирем в соседних портах, погнался за пиратами, напал на них, разбил, взял в плен и передал претору, чтобы он приказал их распять, но, узнав, что претор пытался продать пиратов в рабство, самовольно велел их всех распять, заявив, что он готов отвечать за этот свой приказ перед Сенатом и римским народом.

Все это доставило Юлию Цезарю большую популярность, чрезвычайно возросшую, когда он открыто и смело обвинил Гнея Корнелия Долабеллу, консула и сторонника Суллы, в преступном управлении вверенной ему провинцией Македония. Цезарь энергично поддерживал обвинение с таким удивительным и оригинальным красноречием, что даже красноречивейший Цицерон, умело используя огромные богатства и влиятельные дружеские связи Долабеллы, лишь с большим трудом добился оправдания последнего.

Таким образом, Цезарь, самый изящный ще-

голь, ловкий в военных и гимнастических упражнениях, всегда первый на бегах в цирке, храбрый и исключительно энергичный воин и, наконец, великолепный оратор, завоевал себе в Риме блестящую репутацию и, несмотря на свое отсутствие, пользовался общей симпатией.

Поэтому неудивительно, что в начале 680 года, после смерти Л. Аврелия Котты, одного из коллегии понтификов, он получил это высокое и лестное звание.

Таков был человек, стоявший, опершись на одну из колонн портика храма Фавна, и наблюдавший толпу, которая сновала по острову перед храмами бога врачевания и Фавна.

— Привет Гаю Юлию Цезарю, понтифику! — воскликнул, проходя мимо, Тит Лукреций Кар.

— Здравствуй, Кар, — ответил Цезарь, пожимая руку будущему автору поэмы «О природе вещей».

Вместе с Лукрецием было несколько молодых патрициев, пришедших с ним принять участие в развлечениях, и все они дружески приветствовали будущего завоевателя Галлии.

— Честь и слава божественному Юлию! — сказал, рассыпаясь в целованиях руки и приветствиях, мим Метробий, вышедший как раз в ту

минуту с компанией комедиантов и акробатов из храма Эскулапа.

— А, Метробий! — воскликнул с несколько насмешливой улыбкой Юлий Цезарь. — Как видно, ты не зря тратишь свою жизнь? Ты не пропускаешь ни одного праздника и не даешь пройти мимо себя даже самому ничтожному случаю, чтобы не повеселиться.

— Ничего не поделаешь, божественный Юлий!.. Будем наслаждаться жизнью, дарованной нам богами… так как Эпикур предупредил нас, что…

— Знаю, знаю, — сказал Цезарь, прерывая Метробия и избавляя его от труда привести цитату.

И немного спустя, почесав мизинцем левой руки голову, чтобы не попортить себе прически, Цезарь указательным пальцем правой подозвал к себе Метробия, говоря:

— Послушай.

Метробий с величайшей поспешностью отделился от своих товарищей по искусству, один из которых крикнул ему вслед:

— Мы будем ждать тебя в харчевне Эскулапа!

— Ладно! — ответил мим, который, пройдя тем временем к Цезарю, сказал ему вкрадчивым голосом и с медоточивой льстивой улыбкой: — Какой-то бог, очевидно, мне сегодня покрови-

тельствует, если предоставляет случай услужить тебе, божественный Гай, светило рода Юлиев.

Цезарь усмехнулся своей чуть презрительной улыбкой и возразил:

— Услуга, о которой я буду тебя просить, добрейший Метробий, не очень велика. Ты бываешь в доме Гнея Юния Норбана?..

— Еще бы! — радостно и принимая тон близкого человека, сказал Метробий. — Добрый Норбан расположен ко мне… очень расположен… и с давнего времени… Еще когда был жив мой знаменитый друг, бессмертный Луций Корнелий Сулла…

Едва заметная гримаса отвращения пробежала по губам Цезаря, но он ответил с притворным добродушием:

— Ну, хорошо, знаешь… — Он остановился и задумался, а затем прибавил: — Приходи ко мне сегодня вечером к ужину, Метробий, я тебе тогда скажу на досуге, в чем дело.

— О, какое счастье!.. Какая честь!.. Как я тебе благодарен, милостивейший Юлий!..

— Хорошо, хорошо!.. Довольно благодарностей. Иди, тебя ждут твои друзья. Вечером увидимся.

И величественным жестом Цезарь попрощался с Метробием, который, рассыпаясь в бесчислен-

ных приветствиях и поклонах, пошел в харчевню Эскулапа.

По одному этому прощальному жесту, надменному и пренебрежительному, можно было судить, каким властным характером обладал Цезарь.

Если принять во внимание отвратительные качества человека, к которому обращался Цезарь, а также репутацию его самого, как молодого человека, пользовавшегося большим успехом у женщин, очень вероятно, что сведения, которые Цезарь желал узнать от Метробия, касались любовных дел.

Во всяком случае, верно то, что, в то время как толпа теснилась с кликами и возгласами в окрестностях трех храмов, Метробий, ликуя от радости по поводу своей удачи, считая очень большой честью для себя приглашение Цезаря, пошел в харчевню Эскулапа, где с самодовольным видом стал рассказывать о случившемся друзьям, уже сидевшим за столом.

Радость мима была так велика, что она победила в конце концов мысль о предстоящем ему через несколько часов роскошном ужине и побудила его с усердием приняться за еду и еще усерднее за отличное велитернское вино, кото-

рое хозяин таверны берег для своих постоянных посетителей. А их было очень много в харчевне. Все находились в веселом расположении духа, аппетиты были чудовищные, и гул стоял в помещении от оживленных криков, беспрерывного звона тарелок и бокалов.

Среди шуток и раскатов смеха, раздававшихся за столом, за которым сидел Метробий, комедиант совсем не замечал, как проходили минуты и часы, и потерял счет колоссальному количеству опорожненных бокалов; через два часа бедняга от слишком частых возлияний велитернского захмелел так, что ранее обычного оказался не в себе. Но сквозь последние проблески разумения, которые еще время от времени мелькали сквозь мрак, сгустившийся над его разумом, у него мелькнула мысль, что дальше так продолжаться не может, что через час он совершенно потеряет способность двигаться и пойти на ужин к Цезарю. Он принял твердое решение, оперся обеими ладонями о стол и с немалым трудом поднялся на ноги, затем, прощаясь с компанией, несвязными словами объяснил, что ему нужно уйти, так как его ожидают к ужину у Це… Це… Церазя.

Взрыв громкого пьяного хохота последовал за

этим lapsus linguae[82]. Острые словечки и насмешки посыпались ему вслед, когда он нетвердым и неверным шагом выходил из таверны.

— Красив ты будешь у Церазя! — вскричал один.

— У тебя узел на языке, бедный Метробий! — воскликнул другой.

— Не танцуй: ты не на сцене!

— Держись прямо… Ты вытираешь все стены!

— Он вошел в соглашение со штукатурами!

— Идет петлями, как змея!

Между тем Метробий, выйдя на улицу, бормотал:

— Сме… етесь… сме… етесь, оборванцы! Но я… пойду на ужин к Цезарю… он хороший человек… великолепный человек… Цезарь… и он любит ар… ар… артистов! Клянусь Юпитером Капи… Капи… лотийским! Не могу… понять, как здесь идти… Это велитернское… оно подмешано… и фальшиво… как душа Эв… Эв… битиды!

Сделав шагов двадцать по направлению к мосту, от которого шла дорога в город, старый пьяница остановился и, шатаясь, стоял несколько времени в раздумье; в конце концов он, по-види-

---

[82] Сноски: 82
Обмолвка.

мому, напал на мысль, которая для человека в его состоянии была блестяща. С трудом сделав поворот, он пошел, спотыкаясь и переходя то на одну сторону дороги, то на другую, по направлению к другому деревянному мосту, который соединял остров с Яникульским холмом. Добравшись до моста, он прошел его, затем, следуя все время по дороге, ведущей к вершине Яникула, пересек дорогу Катуларских ворот и продолжал двигаться через холм, пока не дошел до перекрестка, где дорога разветвлялась: направо от Метробия она шла до самой вершины, а налево поворачивала и вела к Сублицийскому мосту, а отсюда к Тройным воротам и в центр города.

Как раз у этого перекрестка Метробий остановился в своем зигзагообразном передвижении по задуманному пути, ибо здесь он запутался в выборе направления; стало очевидным, что Метробий решил воспользоваться двумя часами, остававшимися до момента, когда он должен был быть в доме Юлия Цезаря, чтобы переварить на воздухе и в движении выпитое в таком изобилии велитернское. Мысль была великолепна и делала честь здравому смыслу Метробия. Остановившись у перекрестка и шатаясь на нетвердых ногах, он начал бормотать про себя, приставив

указательный палец правой руки ко лбу:

— Куда лучше… мне пойти?.. К вершине… конечно, воздух там… более свежий… а мне жарко… и затем календарь мне скажет… что февраль… бывает зимой… А разве февраль зимний месяц?.. Он будет зимним для того, кто не выпил столько… Однако клянусь рогами Вакха-Диониса!.. Воздух на вершине чист… и я хочу пойти… туда… а что я найду, если пойду по этой дороге?.. Я найду… гробницу этого доброго царя Нумы… хотя… что касается меня… я никогда ни капельки не уважал этого Нуму… за то, что он не любил вина… Не любил… А я не верю, что он не любил вина… и я могу поклясться двенадцатью богами Согласия… что он с нимфой Эгерией… говорил не только о государственных делах… О!.. Там была любвишка… была… и чаша вина… тоже была там! Но подыматься туда… Мне тяжело подыматься… Мне бы хотелось лучше идти по ровному месту… да…

Так ворчал Метробий в справедливом пьяном негодовании против воздержанности Нумы Помпилия. Он сошел с дороги к вершине, которая привела бы его к гробнице этого царя, поставленной как раз на склоне Яникульского холма за сто лет с небольшим до того времени, к которому относится наш рассказ, и отправился по улице,

ведущей к Тройным воротам.

Идя зигзагами, Метробий, хотя он и не чувствовал уже так много винных паров в мозгу, продолжал, однако, свои нескладные нападки на воздержанность, на трезвых и в особенности на бедного царя Нуму и скоро дошел до леса богини Фуррины, богини бурь, находившегося как раз на полпути между Цестиевым и Сублицийским мостами.

При виде леса грудь Метробия расширилась от вздоха удовлетворения, и он, остановившись на время, чтобы насладиться видом, углубился в него в поисках покоя, отдыха и прохлады, в которых он чувствовал такую сильную потребность.

После недолгого блуждания по узким тропинкам этого леса он увидел огромное дерево, стоявшее почти в самом центре леса. Близ дерева находилась круглая поляна. Метробий расположился здесь, опершись спиной о многолетний ствол дерева.

— Действительно, любопытная вещь! — бормотал комедиант. — Подумать, что я найду успокоение от бури, волнующей меня, как раз в лесу, посвященном богине бурь. Однако… сказать по правде, хорошо на лоне природы… и привлекательность пастушеской жизни не является

всецело поэтическим измышлением… Хорошая вещь пастушеская жизнь! Вдали от шума больших городов… среди торжественной тишины полей… в приятной уединенности природы… на мягкой травке… среди прыгающих козлят, блеяния ягнят… журчания ручейка… пения соловья… Ах!.. хороша пастушеская жизнь!..

Однако скоро среди этих размышлений Метробий, почувствовав, что веки его глаз тяжелеют и что он во власти какого-то отупения и сонливости, встрепенулся как бы под влиянием новой мысли и, щелкая большим пальцем правой руки о средний, пробормотал, словно обращаясь к кому-то:

— Хорошая жизнь, да! Лишь бы ручеек вместо чистой и свежей воды пастуху давал хорошее фалернское вино… Ах! С этим я не мог бы никак примириться… никогда… Пить воду… Я бы умер через несколько дней от меланхолии!.. Какая скучная вещь — вода!.. Какая безвкусная!..

Болтая, Метробий закрывал и открывал веки и, путаясь в мыслях, в забытьи, какое бывает у людей с опьяненным мозгом, продолжал шептать:

— Фалернское, да… но хорошее, а не это предательское велитернское… как в харчевне Эскулапа… от которого у меня в голове… голова

идет кругом… и в ушах жужжит… как будто я… попал в осиное гнездо…

И он заснул.

Жуткие и беспорядочные сновидения комедианта были, естественно, сходны с путаными и бессвязными мыслями, с которыми он заснул.

Ему снилось, что он находится на поле, высохшем, бесплодном, голом, на котором сверкало жгучее солнце… Как жгло это солнце! Метробий чувствовал себя совершенно вспотевшим, горло его горело, он испытывал жажду… жажду… уф!.. Какую жажду… и чувствовал стеснение в груди… беспокойство… и тревогу… К счастью, однако, Метробий услыхал журчание ручья… и побежал по направлению к нему… бежал… и не мог бежать так, как он хотел бы… ноги отяжелели… словно каменные… и ступни не могли оторваться от земли… А между тем ручей был еще далеко! Метробий — сам не понимая, каким образом, — увидел, что в ручье течет фалернское… И странное дело — журчание ручья походило на шепот человеческих голосов. Метробий умирал от жажды; он продолжал бежать и наконец подбежал к ручью; когда же он бросился ничком на землю, чтобы напиться этого прекрасного фалернского вина… навстречу ему вдруг вышел

Нума Помпилий и не позволял ему пить. У Нумы Помпилия была белая, очень длинная борода и суровый вид; он смотрел на Метробия грозно и стал осыпать его бранью и упреками! Какой звучный и металлический голос был у этого Нумы Помпилия!.. И в то время как Нума Помпилий говорил, Метробий слышал опять шепот голосов, исходивший, казалось, из ручья, бегущие волны которого внезапно вместо фалернского потекли кровью. И Нума воспользовался этим: он удвоил ругательства, которыми осыпал бедного Метробия, и комедианту казалось, что суровый царь грозно напирал на него и кричал:

— У тебя жажда?.. У тебя жажда крови, тиран?.. Так напейся крови своих братьев, подлый трус!

Сон становился все мрачнее. Метробий чувствовал, что сердце у него сжимается; он боялся этого старика с неумолимым голосом и бросился стремительно бежать, спотыкался в своем беге о сучья и падал…

И он проснулся.

В первый момент он был как оглушенный и не мог понять, где он находится и спит ли еще или проснулся, протер себе глаза, осмотрелся кругом и увидел, что он в лесу, что была ночь и что только лучи месяца разрывали там и сям

мрак между ветвями деревьев. Он постарался собраться с мыслями и привести их немного в порядок, но это ему не удавалось, так как уже после пробуждения он все же слыхал мощный голос Нумы Помпилия, произносивший гневные слова, слышанные во сне; потому-то в первые мгновения он думал, что еще спит и видит сон. Но очень скоро он убедился, что действительно проснулся, смутно вспомнил, как здесь очутился, и понял, что голос, слышанный им во сне, был настоящим живым голосом, который раздавался недалеко от него на небольшой лесной поляне.

— Смерть за смерть. Постараемся по крайней мере умереть ради нашей пользы, а не для развлечения наших повелителей! — говорил с жаром и энергией голос, продолжая уже начатую речь. — Эти бешеные, свирепые, дикие звери в образе человеческом жаждут крови, как тигры Ливийской пустыни, так как они наслаждаются видом крови угнетенных. Хорошо! Пусть они выйдут со своими мечами против наших мечей, пусть посмотрят, как течет их кровь, смешиваясь с нашей, и пусть поймут, что сердце бьется и у рабов, и у гладиаторов, и у угнетенных. Они убедятся — клянусь всеми богами, обитающими на Олимпе!.. — в том, что для всех одинаково долж-

но светить солнце и земля должна давать плоды и что для всех людей равным образом жизнь должна доставлять радость и удовлетворение.

Общий шепот одобрения послышался вслед за этими страстными словами и продолжался несколько мгновений среди ночной тишины.

Метробий сразу понял, что здесь происходило собрание людей, замышлявших, очевидно, что-то против республики, и в его смятении ему казалось, что он узнает этот сильный, только что говоривший голос.

Но чей это был голос? Где раньше слышал его Метробий? Когда? Вот чего он никак не мог сообразить, сколько ни пытался со свойственной ему сообразительностью привести в порядок свои воспоминания.

Во всяком случае, комедиант убедил себя в абсолютной необходимости не издавать никакого звука и не показываться, ибо понимал, что в противном случае он может пережить самую скверную четверть часа в своей жизни. Он тихонько присел на корточки за стволом громадного дерева, о которое опирался. Сдерживая дыхание, Метробий напрягал все свои силы, чтобы лучше слышать, и с трепетом и тревогой в душе стал внимательно прислушиваться.

— Итак, после четырех лет тайной, беспрерывной, упорной работы пришли ли мы наконец к возможности увидеть, что взошла долгожданная и желанная заря искупления? — спросил другой голос, хриплый и глубокий, на скверном латинском языке.

— Сможем ли мы в конце концов начать бой? — спросил еще один голос, еще более хриплый и глубокий, чем первый.

— Сможем! — ответил голос, услышанный Метробием при его пробуждении. — Арторикс отправится завтра…

При этом имени Метробий узнал голос говорившего: это был не кто иной, как Спартак, и Метробий понял сразу, о чем здесь говорили.

— Арторикс завтра отправится в Равенну, — продолжал Спартак, — и предупредит Граника, чтобы он держал наготове своих пять тысяч двести гладиаторов, которые образуют первый легион нашего войска. Вторым будет тот, которым будешь командовать ты, Крикс; он состоит из семи тысяч семисот пятидесяти членов нашего союза, живущих в Риме. Третьим и четвертым будут те, которыми будем командовать я и Эномай; они составятся из десяти тысяч гладиаторов, находящихся в школе Лентула Батиата в Капуе.

— Двадцать тысяч гладиаторов в поле, построенные в легионы! — воскликнул с диким выражением радости громовым голосом германец Эномай. — Двадцать тысяч!.. Здорово!.. Клянусь богами ада!.. Здорово!.. Бьюсь об заклад, что мы увидим, как застегиваются доспехи на спинах гордых легионеров Суллы и Мария.

— Теперь, когда мы договорились, из сострадания к нашим угнетенным родным странам, ради успеха нашего дела, ради святой верности, нас соединяющей, — сказал Спартак, — будьте осторожны и благоразумны. Не будем рисковать внезапным крушением дела. Всякая несвоевременная вспышка смелости в данном случае была бы непростительным преступлением. В течение пяти дней вы услышите о первых наших выступлениях и увидите себя хозяевами Капуи. Хотя Эномай и я соберем наши отряды в деревне, тем не менее, как только представится возможность, мы попытаемся нанести смелый удар по столице Кампании; тогда вы, как в Равенне, так и в Риме, соберите все ваши силы и выступайте на соединение с нами. До того момента, пока Капуя не восстанет, пусть среди вас, как и прежде, царят притворство и спокойствие.

За этими словами последовала оживленная и

беспорядочная беседа, в которой приняли участие все собравшиеся здесь гладиаторы, числом не больше двадцати пяти, представлявшие верховный штаб Союза угнетенных.

После обмена предупреждениями, напоминаниями, словами ободрения и надежды, братскими приветами гладиаторы стали расходиться. Все, оживленно беседуя, пошли в ту сторону, где как раз находился Метробий, но Спартак, окликнув их, сказал:

— Братья, не все в одну сторону! Идите по двое или по трое и на расстоянии пятьсот — шестьсот шагов друг от друга. Возвращайтесь в город одни через Цестиев мост, другие — через Сублициий-ский, третьи — через Эмилиев.

И в то время как гладиаторы, повинуясь полученному приказу, уходили из лесу разными дорогами, Спартак, проходя с Эномаем и Арториксом мимо дерева, у которого лежал, спрятавшись и весь дрожа, Метробий, сказал Криксу, сжимая его правую руку своей правой рукой:

— С тобой мы сговорились: увидимся позже, в полночь, у Лутации Одноглазой. Там ты скажешь мне, можно ли будет рассчитывать на обещанное оружие в течение пяти дней.

— Я как раз иду повидаться с погонщиком му-

лов, который обещал мне переправить его как можно скорее.

— Э! — воскликнул презрительно Эномай. — К чему нам эти доспехи? Наша клятва, наши мечи, наша храбрость — вот наша броня.

Крикс удалился, направляясь быстрым шагом к Цестиеву мосту; Спартак, Эномай и Арторикс повернули к Сублицийскому.

Вот так штука! — думал между тем Метробий, делаясь все храбрее, по мере того как удалялись гладиаторы. — Вот так штука… Какая буря собирается над республикой! Двадцать тысяч вооруженных гладиаторов… Этого вполне достаточно, чтобы вспыхнула вторая война рабов, как это было в Сицилии… И еще хуже… так как этот Спартак силой духа и способностями много выше Эвна, сирийского раба, командовавшего сицилийскими рабами… Да, само провидение привело меня в этот лес… Всемогущие боги, очевидно, выбрали меня своим орудием, чтобы спасти республику от гибели… Именно так… Разве не пригодились когда-то гуси для такого же дела?..[83] Почему же я не гожусь? Тьфу! И придут

[83] Сноски: 83

По римскому преданию, священные гуси своим гоготаньем разбудили уснувшую стражу Капитолия и таким образом спасли крепость от захвата подкравшимися к ней галлами.

же в голову такие сравнения с пьяных глаз!

И Метробий, очень обиженный тем выводом, к которому его прямехонько привело сделанное им сопоставление, поднялся с земли, стал прислушиваться и сделал несколько нерешительных шагов по лесу, чтобы удостовериться, все ли гладиаторы действительно ушли и не остался ли кто-нибудь из них сторожить это место.

Тут же он вспомнил о Цезаре, ожидавшем его к ужину к часу сумерек, давно уже миновавшему; уже приближался час полуночи. Метробий был огорчен, но сейчас же подумал, что, как только ему можно будет безопасно выйти из рощи богини Фуррины, он сейчас же поспешит к Цезарю и расскажет ему эту огромной важности тайну, попавшую в его руки благодаря неожиданному случаю. Раскрытие заговора, подумал комедиант, заставит Цезаря простить ему опоздание.

И Метробий, как только убедился, что все гладиаторы удалились, вышел из рощи и быстрым спокойным шагом направился к Цестиеву мосту, рассуждая про себя, что, не будь он пьян, он, наверное, не попал бы в лес Фуррины в час собрания гладиаторов, что поэтому он должен благословлять и выпивку, и свою привычку напиваться; даже то самое велитернское из таверны Эскулапа,

которое он только что проклинал, казалось ему теперь божественным. Он пришел к заключению, что Вакх заслуживает нового храма, как особый покровитель Рима, и что пути богов неисповедимы, раз с помощью такого обыкновенного факта, как его опьянение, они могли привести события к спасению республики.

Рассуждая таким образом, он пришел к дому Цезаря и, войдя, приказал передать ему, что просит его сейчас же прийти в библиотеку, где он его ждет, чтобы сообщить необыкновенно важный факт, от которого, быть может, зависят судьбы Рима.

Сперва Цезарь не придал никакого значения словам Метробия, которого он считал пьяницей и пустомелей, но, подумав, решил все-таки выслушать его. Извинившись перед гостями, прошел в библиотеку, где Метробий в кратких и возбужденных словах рассказал ему о заговоре гладиаторов.

Это показалось Цезарю настолько странным, что он забросал комедианта вопросами, чтобы удостовериться в том, не было ли рассказанное происшествие галлюцинацией пьяного человека, но, убедившись в противном, нахмурил брови и стоял несколько мгновений, погруженный в

глубокое раздумье. Затем, встрепенувшись как человек, принявший решение, он сказал Метробию с ясным лицом и улыбкой недоверия:

— Не буду спорить, но признайся, что от твоего рассказа за милю несет сказкой, а сказка, мне кажется, сложилась от чрезмерных возлияний велитернского в таверне Эскулапа.

— Не буду отрицать, что мне нравится велитернское, особенно когда оно хорошее, о божественный Юлий, — сказал Метробий тоном человека с оскорбленным самолюбием. — Но что касается слов, слышанных мною в лесу Фуррины, то могу поклясться тебе, что я слышал их точно, одно за другим так, как я их тебе передал, ибо к этому времени хороший сон и свежий воздух Яникульского холма совсем привели меня в себя. Так неужели ты захочешь оставить республику в такой серьезной опасности и не предупредишь консулов и Сенат?

Цезарь стоял с опущенной головой, все еще задумавшись.

— Каждый миг увеличивает серьезность положения.

А Цезарь молчал.

Замолчал и Метробий, хотя по его позе и судорожным движениям было видно, что его волнует

патриотическое нетерпение. Через минуту он спросил:

— Ну так как же?..

Цезарь поднял голову и ответил:

— О том, действительно ли нашему отечеству угрожает серьезная опасность, я хотел бы судить сам, Метробий.

— Я пришел к тебе за советом, и тебе, если ты пожелаешь, я охотно уступаю заслугу открытия этого заговора, так как я знаю и твердо верю, что Гай Юлий Цезарь по величию своей души всегда сумеет доказать свою признательность.

— Благодарю тебя, Метробий, и за чувства, и за предложение. Но не для извлечения выгоды из секрета, который случай дал тебе в руки, я хотел бы проверить положение вещей, а для того, чтобы решить, как лучше поступить в таких важных обстоятельствах.

Метробий кивнул в знак согласия, и Цезарь добавил:

— Иди в триклиний и жди меня там, но не проболтайся никому, повторяю тебе, никому! Понимаешь меня — никому, Метробий, ни о том, что ты слышал в лесу Фуррины, ни о том, о чем мы с тобой здесь говорили. Никто не должен знать, куда я сейчас пойду. Через час я вернусь обратно,

и тогда мы обсудим, что следует совершить для блага нашей родины.

— Я сделаю все, как ты мне приказал, Цезарь…

— И ты будешь доволен, так как я умею быть признательным, а в книге судеб не написано, что Гай Цезарь умрет с челом, увенчанным только простыми лаврами за конские бега.

С этими словами Гай Юлий, оставив Метробия в раздумье над сказанным, прошел в комнату рядом с библиотекой. Немного спустя он вернулся, неся на правой руке большой темный плащ, очевидно принадлежавший одному из его слуг, и золотую перевязь, к которой был привешен его меч. Сняв белую застольную одежду, надев через плечо перевязь, он накинул плащ, капюшоном его покрыл голову, попрощался с Метробием, наказывая ему еще раз идти в триклиний, ожидать его там и никому ничего не говорить о заговоре гладиаторов. Затем, приказав одному из рабов следовать за собой, вышел из дому и быстрыми шагами направился к небольшой улочке, на которую выходил кабачок Венеры Либитины.

Кроме дома, который Цезарь имел на Палатине, у него был еще один, в самом центре Субурры. В данное время он чаще проживал в этом доме, чтобы снискать себе популярность среди бед-

няков и обездоленных, населявших этот район Рима. Часто, надевая вместо латиклавы грубую тунику, Цезарь обходил грязные и темные улицы Субурры и Эсквилина, оказывая беспримерную по щедрости помощь бедноте, помогая несчастным. Он знал как свои пять пальцев все наиболее глухие и грязные закоулки этой отвратительной клоаки, полной несчастья, позора и мерзости. И так как таверна Венеры Либитины находилась не очень далеко от места, где стоял небольшой, но изящный дом Цезаря, то он очень быстро дошел до этой грязной и уединенной улочки, глубокая тишина которой прерывалась по временам непристойными возгласами, доносившимися из таверны Лутации Одноглазой.

Цезарь, войдя в таверну в сопровождении своего раба, прошел через большую комнату, где по обыкновению предавались разнузданному кутежу куртизанки, бедняки, могильщики, мнимые нищие и другие подонки, и, бросив быстрый взгляд на этих людей, проник в обеденную комнату, в которой тотчас же увидел сидевших за столом восемь или девять рудиариев и гладиаторов.

Цезарь приветствовал эту группу обычным salvete и сел вместе с рабом на табуретки в углу

комнаты, приказав эфиопке-рабыне подать две чаши вина и, ничем себя не выделяя, обмениваясь незначащими словами со своим спутником, зорко следил за тем, что происходило в группе гладиаторов. Приняв рассеянный вид, он, однако, очень внимательно прислушивался к их беседе.

Спартак, сидевший между Криксом и Эномаем, был бледен, грустен и задумчив. За четыре года, протекшие со дня смерти Суллы, фракиец стал более серьезным, и на открытом широком лбу его появилась глубокая морщина, которая свидетельствовала о душевных тревогах и тяжелых думах.

Услыша имя Спартака, Цезарь сразу сообразил, что он при входе в комнату угадал, кто из гладиаторов Спартак, которого он знал только по слухам. Им мог быть только этот человек огромного роста, красивый, внушительного вида, с лицом, выдававшим необыкновенную энергию и могучий ум. И чем больше Цезарь всматривался в лицо Спартака, тем более он им восхищался, тем сильнее с каждым мгновением росла в его груди симпатия к Спартаку, с первого же взгляда охватившая его. Наблюдая гладиатора испытующим взором гениального человека, Цезарь в эти несколько минут увидел, что Спартак одарен великим и мужественным сердцем, большим

талантом, рожден для великих дел и высоких подвигов.

Рабыня Азур тем временем принесла две чаши вина, и Цезарь, взяв одну, показывая рабу на другую, сказал ему:

— Пей!

И пока раб пил, он поднес чашу ко рту и сделал вид, что пьет; но вино не коснулось его губ. Цезарь пил только воду.

Просидев еще некоторое время, понаблюдав за гладиаторами, Цезарь встал со своего места и, подойдя к ним, сказал:

— Привет тебе, доблестный Спартак! Пусть судьба тебе улыбается, как ты того заслуживаешь! Не согласишься ли на короткую беседу со мной?

Все повернулись к нему, и несколько голосов сразу воскликнули с изумлением:

— Гай Юлий Цезарь!

— Юлий Цезарь! — вскричал с удивлением, вставая, Спартак, которому Цезарь был известен тоже только по слухам, так как он его ни разу не видел.

— Молчите… молчите, — сказал, дружелюбно улыбаясь, будущий диктатор. — Не нужно, чтобы завтра весь Рим узнал, что один из понтификов таскается ночью по кабакам Субурры и Эскви-

лина.

Между тем Спартак стоял пораженный, смотря на прекрасного юношу, который, не совершив еще ни одного великого деяния, наполнял уже своим именем Рим и Италию. Спартак наблюдал выражение необыкновенной энергии и мужества, удивлялся прекрасным чертам лица, большим глазам, идеальной гармонии всех членов, спокойному, внушительному и величественному виду Цезаря.

Некоторое время рудиарий молча смотрел на потомка рода Юлиев и затем сказал:

— Я буду очень рад, Гай Юлий, если мое содействие сможет принести тебе пользу в каком-либо деле.

— Может быть, ты согласишься оставить ненадолго общество своих храбрецов, выйти со мной и пройтись до ближайшей городской стены.

Гладиаторы в изумлении переглянулись. Спартак с выражением удовлетворения на лице ответил:

— Для бедного и безвестного рудиария лестно совершить прогулку с одним из наиболее благородных и знаменитых сыновей Рима.

— Храбрый никогда не бывает бедным, — сказал Цезарь, направляясь к выходу и дав знак рабу

ждать его здесь.

— Ах, — сказал Спартак, следуя за Цезарем, — зачем сила льву, когда он в цепях?

И, обмениваясь подобными словами, эти два необыкновенных человека прошли главную комнату кабачка, вышли вместе на улицу, повернули направо и в молчании направились к тому месту открытого поля возле стены, где четыре года тому назад гладиаторы убили отпущенника Гая Верреса.

Луна теперь светила полным блеском и бросала свои бледные и грустные лучи не только на окружавшие сады, огороды и виноградники, которые пышно раскинулись по ту сторону стены, но и на безграничное поле, тянувшееся вплоть до склонов тускуланских и латинских холмов, черневших, подобно теням гигантов, на горизонте.

Здесь, на этой пустынной равнине, расположенной между крайними домами города и валом Сервия Туллия, в глубокой тишине ночи Цезарь и Спартак, освещенные луной, белые, похожие издали на привидения, остановились в молчании, не двигаясь, как будто изучали и хотели оценить друг друга. Оба они чувствовали в глубине души, что представляют два противоположных принципа, воплощают в себе два знамени,

олицетворяют два дела: дело деспотизма и дело свободы.

Цезарь первым нарушил молчание, задав Спартаку вопрос:

— Сколько тебе лет?

— Тридцать три, — ответил фракиец, вглядываясь в Цезаря и как бы пытаясь разгадать его мысли.

— Ты фракиец?

— Да.

— Храбрыми людьми узнал я фракийцев как в сражении, так и в опасности. Ты же не только могуч и храбр, но еще украшен благородными манерами и образованием. Не правда ли?

— Откуда это тебе известно?

— От одной женщины. Однако это не важно. Знай, что делу, которому ты себя посвятил, грозит величайшая опасность.

— О каком деле, о какой опасности ты говоришь? — спросил Спартак, еще сильнее побледнев и отступая в изумлении.

— Я знаю все и пришел сюда не для того, чтобы принести тебе вред, Спартак, а наоборот, желая тебя спасти. Некто невольно, сидя за деревом в лесу Фуррины, слышал вашу беседу этой ночью.

— Проклятие богам!.. — страшно закричал

Спартак с отчаянием в голосе, сжав кулаки и посылая угрозы небу.

— Он еще не сообщил консулам о своем открытии, но, как бы я ни старался его задержать, он это сделает непременно в эту ночь или завтра на заре, и твои четыре легиона гладиаторов будут рассеяны, прежде чем соберутся.

Спартак был в страшном волнении; схватившись за голову руками и вырывая целыми клочьями свои густые белокурые волосы, он устремил широко раскрытые неподвижные зрачки, как помешанный, на стоявший поблизости ствол дерева, освещенный луной, и, как бы говоря сам с собой, голосом, прерываемым рыданиями, прошептал:

— Итак, пять лет веры, трудов, надежд, борьбы — все пойдет прахом в один миг!.. Все будет кончено, и никакой надежды больше не останется угнетенным, и рабами, рабами мы будем влачить эту подлую жизнь?..

Цезарь стоял, смотря с участием и состраданием, почти с уважением на это отчаяние, столь благородное, столь мучительное и глубокое. Гигантская и мощная фигура Спартака, так сильно потрясенного своим горем, его благородное лицо, на котором отражались все страдания души, тро-

гали Цезаря. Почти против воли он, в безмерной гордости и величии своего ума не допускавший, что может быть в мире человек, достойный его удивления, восхищался гладиатором. Его поражал человек, который в святой любви к свободе мог почерпнуть силы, чтобы задумать и осуществить предприятие, достойное лишь греческих или римских героев, и который с упорством, коренившимся в вере, с предусмотрительностью, вытекавшей из широты ума, со смелостью, исходившей из мужества, мог создать настоящее войско в двадцать тысяч гладиаторов.

При этой мысли глаза Цезаря загорелись жадностью и страстным желанием, у него закружилась голова, дрожь пробежала по всему телу, и он, в свою очередь устремив широко раскрытые глаза на вершины Албанских холмов, погрузился мысленно в безграничные поля воображения; он подумал, что, если бы ему дали четыре легиона, двадцать тысяч бойцов, он в несколько лет завоевал бы весь мир и стал бы владыкою Рима, но не свирепым и ненавистным, как Сулла, а любимым, грозою патрициев с их жалким властолюбием, обожаемым кумиром простого народа.

Так, погруженные — один в уныние и тревогу, другой в мечты своего честолюбия, — оба они

несколько минут стояли в молчании. Первым нарушил его Спартак, который, вдруг очнувшись и страшно нахмурив брови, с жестом, полным живой энергии, сказал:

— Нет, нет, клянусь молниями Юпитера Карателя, этого не будет!

— А что же ты сделаешь? — спросил Цезарь, также очнувшись при этих словах.

Спартак устремил воспаленные глаза на ставшие уже спокойными глаза Цезаря и, вглядевшись в них, спросил:

— А ты, Цезарь, друг нам или враг?

— Желал бы быть другом и ни в коем случае не буду врагом.

— Тогда ты можешь сделать для нас все: наше спасение в твоих руках.

— Каким образом?

— Выдай нам человека, владеющего нашей тайной.

— Стало быть, я, римлянин, должен допустить, хотя и могу помешать этому, восстание всех рабов Италии на гибель Риму?

— Ты прав, я забыл, что ты римлянин.

— И хочу, чтобы весь мир стал подвластным Риму.

— Ну конечно! Ты — олицетворение тирании

латинян над всеми народами земли. У тебя, значит, зародилась мысль более грандиозная, чем у Александра! После того как римские орлы раскинут свои крылья над всеми народами земли, ты хочешь заковать их в цепи, сжать их в железном кулаке? Рим — властитель народов, ты — властитель Рима.

Цезарь, в глазах которого сверкнула радость, тотчас же принял обычный вид и, улыбаясь, сказал Спартаку:

— О чем я мечтаю, не знает никто и, быть может, я сам. Мне понадобится иная сила, прежде чем я сумею направить свой полет из родного гнезда в погоню за счастьем. Но ты, Спартак, собрал с удивительной энергией и мудростью великого полководца армию рабов, сделал из них стройные легионы и готов вести их в бой. Скажи мне, что ты замышляешь, Спартак? На что надеешься?

— Я надеюсь, — ответил рудиарий, сверкая глазами, — уничтожить этот развращенный римский мир и увидеть, как на его развалинах зарождается независимость народов. Я надеюсь сокрушить позорные законы, заставляющие человека склоняться перед человеком и повелевающие одному из двух людей, рожденных

женщиной и одаренных равной силой и равным умом, изнемогать, работая не для себя, а для другого, пребывающего в лени и безделье. Я надеюсь потопить в крови угнетателей стоны угнетенных, разбить цепи несчастных, прикованных к колеснице римских побед. Я надеюсь перековать эти цепи в мечи, чтобы с помощью их всякий народ мог прогнать вас в пределы Италии — страны, которая дана вам великими богами и границ которой вы никогда не должны были переступать. Я надеюсь предать огню все амфитеатры, где народ-зверь, называющий нас варварами, упивается резней и бойней несчастных, рожденных тоже для духовных наслаждений, для счастья, для любви и обреченных вместо этого убивать друг друга для развлечения тиранов мира. Я надеюсь, во имя всех молний всемогущего Юпитера, увидеть уничтоженным на земле позор рабства под лучами сияющего солнца свободы. Свободы я ищу, свободы жажду, свободу жду и призываю, свободу как для отдельных людей, так и для народов, великих и малых, для сильных и слабых, а вместе со свободой — мир, процветание, справедливость и все то высшее счастье, которым бессмертные боги дали человеку возможность наслаждаться на земле.

Цезарь стоял неподвижно, слушая слова Спартака с улыбкой сострадания на устах, и, когда тот кончил свою речь, он сказал ему, качая головой:

— А потом, благородный мечтатель, что потом?

— А потом — царство права над силой, разума над страстями, — ответил рудиарий, — а потом равноправие среди людей, братство среди народов, победа добра среди человечества.

— Бедный мечтатель! Ты веришь в возможность всех этих прекрасных вещей? — сказал сочувственно, но чуть насмешливо Юлий Цезарь.

Он замолк на минуту, а затем продолжал:

— Выслушай меня, Спартак, и взвесь хорошенько мои слова, продиктованные чувством, которое ты мне внушил. Оно гораздо прочнее и сильнее, чем ты можешь думать, хотя Цезарь и редко дарит свое расположение и еще реже — свое уважение. Дело, задуманное тобой, более чем невозможное, это, безусловно, химера как по цели, которой ты добиваешься, так и по средствам, которыми ты располагаешь.

Спартак сделал знак, что хочет говорить, но Цезарь продолжал, останавливая его жестом:

— Не прерывай меня, а слушай: для тебя же

будет лучше. Для этого я пришел повидаться с тобою. Вряд ли ты веришь в то, что твои двадцать тысяч гладиаторов смогут заставить Рим дрожать. Единственное, на что ты рассчитываешь, — это огромная масса рабов, которых слово «свобода» привлечет под твои знамена. Допустим, что число этих рабов дойдет до ста, до ста пятидесяти тысяч, допустим, чего никогда не будет, что они будут благодаря тебе связаны железной дисциплиной, что будут сражаться наилучшим образом, одушевленные мужеством отчаяния. Допустим. Но что это даст? Думаешь ли ты, что они победят четыреста тысяч легионеров, дома которых рассеяны по всей Италии, легионеров, сражавшихся и победивших царей Азии и Африки и являющихся гражданами и собственниками: ведь они будут с величайшим ожесточением биться с вами — рабами и лишенными всякого имущества, в которых они будут видеть разрушителей, несущих им разорение. Вы будете сражаться, движимые отчаянием, они — инстинктом самосохранения; вы — за права, они — за сохранение собственности. Невозможно сомневаться, за кем останется победа. Превосходя вас численностью, они найдут в каждом городе, в каждой муниципии союзника, вы же — врага.

В их распоряжении будут все богатства государственной казны и, что еще важнее, богатства патрициев, с ними авторитет римского имени, мудрость опытных полководцев, интересы всех городов и всех граждан, бесчисленные корабли республики и вспомогательные войска со всего света. Твоего мужества, твоей твердости, твоего великого ума достаточно будет для того, чтобы внести порядок и дисциплину в толпу варваров, упрямых, диких, уроженцев самых различных стран, не связанных славными традициями, деловыми и кровными узами, почти незнакомых с целями задуманного вами дела. Я это только предположил, но и это невозможно. Ты — я это признаю — с твоей твердой волей, с твоим умом вполне способен командовать войском, но ты добьешься лишь того, что скроешь недостатки твоего войска, как скрывают язвы на теле, чтобы не дать противнику больших надежд на победу. Но со всем этим, проявляя чудеса проницательности и доблести, одержишь ли ты победу?

— Ну так что же! — воскликнул Спартак с беспечностью великого человека. — Я встречу славную смерть за правое дело, и кровь, пролитая нами, оплодотворит поле свободы, выжжет новое позорное клеймо на лбу угнетателей, родит

бесчисленных мстителей, получивших самое лучшее наследство, какое только можно оставить потомкам: пример для подражания!

— Великое самоотвержение, но бесплодная и ненужная жертва! Теперь, когда я тебе показал, что средства, которыми ты можешь располагать, недостаточны для достижения цели, я тебе докажу, что самая цель не более как плод возбужденной фантазии, неуловимый для человечества призрак, который издали кажется близким и живым, но чем более ты его настигаешь, тем дальше уходит он от тебя, и, когда ты думаешь, что его вот-вот поймал, он исчезает у тебя на глазах. С тех пор как человек покинул леса и стал жить в обществе, исчезла свобода и возникло рабство. Поэтому всякий закон, суживающий и ограничивающий права отдельного лица в пользу общества, есть насилие над свободой. Везде и всегда самый сильный и самый ловкий будет господствовать над толпой и находить массы, готовые ему повиноваться. Даже наиболее мудрые и хорошо организованные республики не смогут уйти от этого закона, имеющего свои корни в самой природе человека. Печальный конец Фив, Спарты и Афин свидетельствует об этом. И даже в самой нашей Римской республике,

основанной на власти народа, ты видишь, что вся власть теперь полностью зажата в кулаке небольшой кучки патрициев, владеющих всеми богатствами, а следовательно, и всей силой и сделавших уже наследственной в своей среде власть над республикой. Разве свободны четыре миллиона римских граждан, у которых нет хлеба, нет крова, нет плаща, чтобы укрыться от зимних холодов. Они рабы первого, кто пожелает купить их голос; право голоса — единственное наследство, единственное богатство этих нищих повелителей мира. Поэтому свобода — это слово, лишенное смысла, это струна, которая всегда звучит в душе масс и часто, если уметь заставить ее звучать, помогает, скорее всего, тирану. Я — ты видишь, Спартак, — страдаю от высокомерной спеси этих ненавистных патрициев, я сочувствую горю и несчастьям бедных плебеев. Но я вижу, что только на гибели первых может создаться благополучие последних, и для того, чтобы уничтожить господство касты олигархов, надо подлаживаться к страстям народа, но держать их в узде, руководить ими с железной твердостью и с величайшей властностью. И так как человек человеку волк, так как человеческий род судьбой разделен на волков и ягнят, на коршунов и го-

лубей, на пожирающих и пожираемых, то я уже сделал свой выбор и поставил себе задачу — не знаю, удастся ли мне ее разрешить, — трудную задачу: овладеть властью и переставить судьбы обеих сторон, сделав угнетателей угнетенными, пожирающих пожираемыми.

— Значит, ты, Цезарь, одушевлен отчасти моими же чувствами…

— Да, и я чувствую жалость к рабам, к которым я всегда милостив, и сострадание к гладиаторам. Когда я устраивал народу зрелища, то я никогда не позволял, чтобы гладиаторы варварски убивали друг друга ради удовлетворения диких инстинктов плебса; но чтобы достигнуть поставленной мной цели — если только я сумею достичь ее, — мне необходимо гораздо больше искусства, чем насилия, ловкости — больше, чем силы, смелости и осторожности одновременно, как неразлучных спутников на опасном пути. Я чувствую, что мне суждено достигнуть большой высоты. Я должен и хочу ее достигнуть, и достигну. И так как мне выгодно использовать встречающиеся на пути силы, подобно реке, которая, собирая в свое лоно все попадающиеся на ее пути потоки, впадает в море, бурная и могучая, то я обращаюсь к тебе, Спартак, так как ты

наделен величайшим мужеством и избран для великих дел, и говорю тебе: желаешь ли ты оставить безумную мысль о невозможном восстании и стать вместо этого помощником и спутником судьбы Цезаря? У меня своя звезда — Венера, моя прародительница, которая ведет меня по тропе жизни и предвещает мне высокую судьбу. Раньше или позже я получу управление какой-либо провинцией и начальство над легионами, я буду одерживать победы, получать триумфы, я стану консулом, буду сокрушать троны, покорять народы и подчинять государства…

Цезарь был в чрезвычайном возбуждении и горел, как в огне; его лицо казалось озаренным блеском сверкающих глаз, а взволнованный голос и решительный тон, полный глубокого убеждения, которым он произносил свои слова, придавали ему такой величественный и внушительный вид, что Спартак сам на момент был им как бы очарован и покорен.

Цезарь остановился, и Спартак, очнувшись и освободившись от власти красноречия своего собеседника, спросил строгим, глубоким голосом:

— А потом?

В глазах Цезаря сверкнула молния, и он, побледнев от волнения, как мертвец, дрожащим, но

решительным тоном ответил:

— А потом… власть над всем миром!

Короткое молчание последовало за этими словами, вскрывавшими всю душу будущего диктатора, чья жизнь с самого нежного возраста была одухотворена одной этой мыслью, к которой были направлены каждый его поступок, каждое слово, все способности его необыкновенного ума и его величайшей воли.

— Так брось же это дело, — сказал Цезарь спустя несколько мгновений, совершенно успокоившись. — Оно обречено на гибель при самом зарождении доносом, который вот-вот сделает консулам Метробий. Убеди своих товарищей по несчастью оставить все, с тем чтобы у них сохранилась некоторая надежда завоевать свои права путем законов, а не с оружием в руках. Будь моим другом и последуй за мной в моих походах, совершить которые мне будет предложено, и ты получишь начальство над храбрыми бойцами и тогда сумеешь показать в полном блеске необыкновенные способности, которыми тебя одарила природа…

— Это невозможно! Невозможно!.. — возразил Спартак. — Большое спасибо тебе от всего сердца, Гай Юлий, за оценку, данную мне тобой, и за

твое великодушное предложение; я должен идти путем, указанным мне судьбой, и не могу и не желал бы никогда покинуть своих братьев по рабству. Если боги на Олимпе управляют судьбами людей, если там, наверху, еще существует справедливость — ибо на земле ее больше нет, — то наше дело не погибнет. Если же люди и боги будут сражаться против меня, я, как Аякс, паду, не покорившись, бесстрашно и спокойно.

Цезарь снова испытал чувство восхищения этим великолепным образом мужа. Взяв руку Спартака, он крепко пожал ее и сказал:

— Да будет так. Если таково твое бесстрашие, я тебе предвещаю счастливую судьбу, ибо я знаю, насколько смелость души помогает избегать несчастий, и я желаю тебе счастья, что играет во всех делах большую роль. Сегодня вечером твое дело на грани провала, а если фортуна повернется к тебе лицом, оно легко может оказаться завтра очень близким к успеху и триумфу. А теперь иди и спеши в Капую: я не смогу помешать Метробию, и даже если бы мог, то я не должен препятствовать ему идти к консулам и разоблачать им ваш заговор. Ты же постарайся, если счастье на твоей стороне, попасть в Капую раньше, чем гонцы Сената… Прощай.

— Пусть боги тебе покровительствуют, Гай Юлий… и… прощай.

Понтифик и рудиарий снова пожали друг другу руки и молча, как раньше, но совсем в другом настроении, спустились по пустынной улице, по которой они раньше подымались к городской стене. Быстро дойдя до таверны Венеры Либитины, Цезарь уплатил по счету и пошел домой в сопровождении своего раба. Спартак, созвав своих товарищей с лихорадочной поспешностью, стал давать каждому самые срочные приказания: Криксу поручил уничтожить всякие следы заговора среди гладиаторов Рима; Арториксу — мчаться в Равенну к Гранику; а сам он и Эномай, оседлав двух сильных коней и взяв с собой пять талантов, принадлежащие кассе Союза угнетенных, для того чтобы иметь возможность в пути купить новых лошадей, во весь опор поскакали через Капуанские ворота в Капую.

Что касается Цезаря, то он, дойдя до дому и войдя в триклиний, узнал, что Метробий, загоревшийся пламенной любовью к отечеству вследствие новых возлияний фалернского и встревоженный долгим отсутствием Цезаря, которое он под влиянием тех же винных паров приписывал какому-то несчастью, пошел от него

прямехонько, как он сказал, но зигзагами и извилисто, согласно свидетельству привратника, его проводившего, к консулу спасать республику.

Цезарь долго стоял, погруженный в глубокое раздумье. Потом пошел в спальню, говоря про себя:

— Теперь гладиаторы и гонцы Сената будут скакать вперегонки, и кто знает, кто придет первым?

И после короткого размышления добавил:

— Вот как часто от самых ничтожных обстоятельств зависят самые важные события!.. Здесь же все зависит от лошадей!



Глава X
Восстание

Капуя, богатая, веселая и изнеженная столица Кампании, провинции самой плодородной, самой цветущей и самой красивой во всей Италии, в период, к которому относятся описываемые нами события, значительно утратила свои прежние великолепие, могущество и богатство, которое делало ее до похода Ганнибала в Италию соперницей Карфагена и Рима.

Основанный, вероятно, осками, приблизительно за два века до основания Рима, на живописных берегах Вольтурна, этот город, возможно, был назван по имени реки Вольтурном. Через три столетия он стал столицей дедекархии, то есть союза двенадцати городов, основанных в стране, которая была завоевана у осков, авзониев и аурумов этрусками, народом образованным и культурным. Они взрастили первые всходы италийской цивилизации значительно раньше, чем в стране распространилась греческая цивилизация. Спустя три века, а именно в 332 году от основания Рима, этруски, изнеженные и расслаб-

ленные роскошной природой и климатом этой местности, а также и своими распущенными нравами, подверглись нападению суровых горцев из Самниума, которые заняли всю территорию, сделались хозяевами покоренных ими тирренских городов и, вероятно, переименовали Вольтурн в Капую, по имени одного из наиболее доблестных своих вождей.

Сто лет спустя непрерывные войны между самнитами, хозяевами Кампании, уже, в свою очередь, обессилевшими, и дикими пастухами с соседних Апеннинских гор привлекли в эту местность победоносных римских орлов, завоевавших к этому времени большую часть Италии; призванные в качестве союзников жителями Кампании, римляне прочно осели в этой очаровательной стране, которая, сохраняя бледную тень муниципальных свобод и номинальной независимости, стала тоже римской провинцией, а Капуя, куда стекалось очень много римских горожан и патрицианских семейств наслаждаться дарами здешней мягкой зимы, в короткое время сделалась многолюдным, пышным и богатым городом.

Когда Ганнибал одержал над римлянами победы у Требии и Тразименского озера и нанес им

окончательное поражение при Каннах, Капуя перешла на сторону победителя, сделавшего из этого очаровательного города базу для всех своих последующих военных операций. Но очень скоро Ганнибал был побежден, и вместе с его судьбой закатилась и звезда Капуи, снова попавшей под власть римлян, которые частью перебили жителей, частью изгнали, частью продали в рабство, а город заселили колонистами из окрестностей — горцами и землепашцами. При исключительно тяжелых обстоятельствах, в которых находился Рим в этот период, эти колонисты оставались ему верными и держали его сторону.

С того времени прошло уже сто тридцать восемь лет. Могучие усилия Суллы и колонии легионеров, созданные им вокруг Капуи, вернули этому городу до некоторой степени былое благосостояние. Имея до ста тысяч жителей, опоясанная чрезвычайно крепкими стенами, шести миль в окружности, полная прекраснейших улиц, великолепных храмов, богатых базилик, грандиозных портиков, дворцов, терм и амфитеатров, Капуя своим внешним видом не только соперничала с Римом, но и превосходила его. Ее прелесть увеличивали еще небо, сияющее над нею вечной улыбкой, и чудный мягкий климат. В

этом отношении природа не была так щедра для семи холмов, на которых высился великолепный Вечный город Ромула.

Итак, 20 февраля 680 года от основания Рима, в час, когда солнце, сплошь закутанное массой облаков, розовых, белоснежных, ярко-красных, переливавшихся фосфорическим светом, медленно заходило за вершины холмов, спускавшихся за Литернумом к морю, в Капуе наблюдалось большое движение. Жители собирались кучками, прохожие, идя в разных направлениях, сталкивались друг с другом; наступал вечер, когда рабочие заканчивают свою работу, многие лавки закрываются, одни идут из дому, другие возвращаются домой и когда дневное движение и работа должны смениться ночным покоем и отдыхом.

Граждане всех возрастов и званий, толпившиеся вдоль широкой великолепной Албанской улицы, которая простиралась от Флувиальских до Беневентских ворот и делила город почти пополам, на мгновение останавливались в изумлении, смотря на отряд из десяти всадников с декурионом[84] во главе, мчавшийся во весь опор со стороны Аппиевой дороги; лошади были

[84] Сноски: 84

Декурион — командир кавалерийского подразделения в армии Древнего Рима.

покрыты грязью и пылью, из ноздрей шел пар, удила были сплошь покрыты пеной — все показывало, что они скакали, пожирая пространство, и везли какое-то важное поручение.

— Клянусь скипетром Юпитера Тифатинского! — сказал один гражданин, древний старик, своему спутнику, мальчику-слуге. — такую скачку я видел только много лет назад, когда гонцы доставили известие о победе, одержанной Суллой здесь, в окрестностях храма Дианы Тифатинской, над консулом Л. Норбаном, сторонником Мария.

— А что за новости везут эти всадники? — спросил мальчик.

— По-видимому, они из Рима, — сказал один кузнец, снимая кожаный фартук, какие обыкновенно носили люди его профессии.

— Должно быть, что-то важное?

— Или какая-нибудь опасность?

— Возможно, открыты наши планы? — сказал вполголоса, страшно побледнев, один молодой гладиатор своему товарищу.

Тем временем декурион со своими десятью всадниками, измученными и утомленными от продолжительной езды, проехав значительную часть Албанской улицы, свернул на Сеплазскую, тоже очень красивую улицу, на которой нахо-

дилось очень много лавок торговцев мазями и благовониями; владельцы этих лавок вели обширнейшую торговлю парфюмерным товаром со всей Италией и в особенности с Римом: они снабжали своими товарами тамошних матрон. В средней части этой улицы находился дом префекта Меция Либеона, который управлял городом от имени римлян.

Здесь всадники остановились, и декурион, соскочив с лошади, вошел в портик и потребовал, чтобы его немедленно допустили к префекту, которому, по его словам, он должен передать очень важные письма от римского Сената.

Между тем вокруг всадников собрались любопытные: одни дивились, в какое жалкое состояние привела людей и лошадей бешеная скачка, другие судачили насчет причин прибытия этого вооруженного отряда и обстоятельств, вынудивших их так спешить, третьи, наконец, старались завязать беседу с кем-либо из солдат, которым было совсем не до разговоров, чтобы разузнать что-либо о причинах их приезда.

Но все попытки и догадки праздных капуанцев не привели ни к чему; из скудных и отрывистых слов, которые им удалось вытянуть у солдат, они могли только узнать, что отряд прибыл из

Рима: факт, усиливавший любопытство толпы, но нисколько не разъяснявший загадки. В это время несколько рабов спешно вышли из дома префекта и бегом направились и в ту и в другую сторону по Сеплазской улице.

— Ого! — воскликнул один. — Дело, как видно, серьезное.

— Да в чем же оно?

— Да кто ж его знает?

— Однако слуги префекта бегут, как олени, преследуемые борзыми в рощах на Тифатском холме!..

— Значит, дело серьезное!

— Ясно. Но куда же несутся слуги?

— Чтобы узнать это, — воскликнул продавец мазей, толстый, жирный, с красным лицом, который вышел из своей лавки по соседству и, страстно желая узнать что-либо, пробрался в первые ряды, — я охотно отдал бы десять банок моих лучших румян!

— Ты прав, Кальмиз, — заметил один гражданин, — ты прав: происходит, очевидно, что-то чрезвычайно серьезное. Так досадно, что нам невозможно ничего узнать.

— Думаешь, нам угрожает опасность?

— А как же иначе? Разве Сенат послал бы из-за

пустяков отряд всадников с приказом мчаться во весь опор, загоняя в пути столько бедных лошадей?

— Клянусь крыльями Ириды, вестницы богов! Что я там вижу?

— Где? Где?

— Да вон, на углу Албанской улицы…

— Да помогут нам вышние боги! — воскликнул, бледнея, торговец мазями. — Ведь это военный трибун!

— Да, конечно!.. Это он… Тит Сервилиан…

— Смотрите, как он быстро шагает с рабом префекта позади!

— Что это значит?..

— Да защитит нас Диана!

В то время как военный трибун Тит Сервилиан входил в дом префекта и на Сеплазской улице народа скоплялось все больше, а по всей Капуе быстро распространялась сильная тревога, вдоль акведука, доставлявшего воду с соседних холмов в город, тянувшегося на довольно большом протяжении вдоль городской стены, двигались, тяжело дыша, запыхавшиеся, очень бледные, сплошь покрытые грязью и пылью, два человека огромного роста, крепкого телосложения, в которых по их одежде и оружию можно было узнать

гладиаторов.

Это были Спартак и Эномай, которые, отправившись из Рима во весь карьер ночью с 15-го на 16-е число этого же месяца и меняя лошадей на каждой почтовой станции, быстро доехали до Суэсса-Помеции; но здесь их нагнал декурион, который с десятью солдатами мчался в Капую предупредить префекта о готовящемся восстании. Поэтому оба гладиатора должны были не только отказаться от возможности обмена лошадей, но даже были вынуждены по временам оставлять Аппиеву дорогу и ехать по боковым.

Тем не менее им удалось купить двух свежих лошадей в доме одного колона, и с нечеловеческими усилиями воли и отвагой они поскакали по проселочным дорогам. То блуждая, то наверстывая время скачкой напрямик, через поле, там, где Аппиева дорога образовывала углы и колена, удлинявшие путь римских солдат, они успели попасть на дорогу, ведущую из Ателлы в Капую.

Но когда они думали, что уже достигли цели, когда они надеялись, что перегнали уже на час гонцов Сената, что для них означало победу и решающий успех, внезапно в шести милях от скал, из которых вытекает Кланий, приблизительно в семи милях от Капуи, лошадь, на которой ехал

Спартак, задыхаясь и совершенно обессилев, упала навзничь, увлекая с собою седока; при этом неожиданном падении он попытался поддержать бедное животное, охватив левой рукой его шею, но, падая, лошадь опрокинулась так неудачно, что вывихнула руку рудиария.

Испытывая жестокую боль, Спартак, однако, ничем не обнаружил ее, и только легкое подергивание бледного лица могло бы открыть внимательному наблюдателю, как он страдал. Физическая боль для этого железного человека была ничем в сравнении с его душевными муками. Это непредвиденное несчастье привело его в отчаяние: он надеялся добраться до школы Лентула Батиата почти на полчаса раньше своих врагов, а прибудет после них и, мало того, будет присутствовать при окончательном разрушении того здания, которое он воздвиг из ничего неустанным и усердным пятилетним трудом.

Вскочив на ноги, Спартак, даже не подумав о своей вывихнутой руке, испустил вздох, гораздо больше похожий на рев смертельно раненного льва, и воскликнул мрачным и отчаянным голосом:

— Ах, клянусь Эребом!.. Все кончено!..

Тем временем Эномай соскочил с коня, подо-

шел к Спартаку и, ощупывая его тело с целью убедиться, что ничего серьезного с ним не произошло, сказал:

— Что ты говоришь?.. Как это все может быть кончено, пока у нас руки свободны от цепей и мечи у нас в руках?

Спартак погрузился на некоторое время в молчание, затем, устремив взор на лошадь Эномая, сказал:

— Семь миль… Нам оставалось проехать только семь миль, а мы — да будут прокляты враждебные нам боги! — должны отказаться от всякой надежды прибыть вовремя!.. Если бы твой конь мог нас довезти вперед еще на три или четыре мили, то остальные мы бы прошли пешком; ведь мы выиграли у наших врагов не один только час, если учесть, что им понадобится по меньшей мере еще час после прибытия гонцов, чтобы принять меры для разрушения наших планов.

— Соображение твое правильно, — заметил германец, и, похлопывая свою лошадь, он спросил: — Но сможет ли это бедное животное везти нас двоих, да еще рысью, хотя бы только две мили?..

Осмотр несчастной лошади убедил их в ее совершенной непригодности. Она задыхалась. От

нее шел пар. Бока ее судорожно поднимались и опускались. Было ясно, что и эта лошадь кончила бы тем же, чем и первая, и что пытаться заставить ее везти их дальше значило рисковать сломать не только руку, но ногу и даже голову; поэтому после короткого совещания они решили бросить лошадь и пешком спешить в Капую.

С каким настроением, с какой лихорадочной тревогой, с каким пылом эти два изнуренных, ослабевших, почти ничего не евших несколько дней человека должны были проделать путь, отделявший их от Капуи, рассказать нелегко. Они шли молчаливые, нахмуренные, с бледными лицами, изнуренные, покрытые потом, но с такой скоростью, что меньше чем в полтора часа оказались у ворот города.

Здесь они ненадолго остановились — перевести дыхание и несколько успокоиться, чтобы не привлечь излишнего внимания со стороны стражи при воротах, которая могла — и этого Спартак больше всего боялся — получить уже приказ наблюдать за входившими в город и арестовывать подозрительных по виду и поведению людей.

Они снова пустились в путь. Чтобы их пропустили в Капую, Спартак и Эномай старались, насколько могли, производить впечатление

безобидных людей и своей походкой придать себе вид несчастных, изнуренных оборванцев. Между тем у обоих лихорадочно билось сердце, они дрожали и чувствовали, как со лба катятся капли холодного пота — следствие невыразимой тревоги, приводившей в расстройство их душевные силы.

В момент входа под арку ворот Спартак уже предвидел тот случай, что дальше их не пропустят. Тогда — схватить в один миг меч в руки, напасть на стражу с такой стремительностью и силой, чтобы в несколько минут перебить или рассеять ее, а потом броситься в гладиаторскую школу — вот каков был в крайнем случае план Спартака. В успехе его рудиарий нисколько не сомневался, зная, чего стоят он и Эномай и что двенадцать легионеров, большей частью старики и инвалиды, не смогут оказать сильного сопротивления их стремительным и страшным ударам.

Однако это отчаянное средство было последним, к которому фракиец желал бы прибегнуть, и при приближении к воротам его неукротимое сердце, никогда не трепетавшее — хотя за немногие годы он тридцать раз был на волосок от смерти, — это мужественное сердце, кото-

рое оставалось спокойным пред лицом самых серьезных и страшных опасностей, — это благороднейшее сердце билось теперь с такой силой, что он опасался, как бы оно не разорвалось.

Двое стражей спали, растянувшись на двух деревянных скамьях, трое были заняты игрой в кости: они сидели на корточках на мраморных ступеньках, которые вели к земляной насыпи у городской стены, — и двое остальных, из которых один сидел развалясь на небольшой скамейке, а другой стоял, зевали и болтали друг с другом, очевидно высмеивая прохожих и путников, входивших в город и выходивших оттуда.

Какой-то бедной старухе-крестьянке, которая шла немного впереди гладиаторов, неся несколько небольших головок мягкого сыру, уложенных в маленькие круглые корзинки из ивовых прутьев, один из легионеров сказал иронически:

— Рано ты идешь на рынок, старая колдунья!..

— Пусть боги вас охраняют! — смиренно ответила старушка, продолжая свой путь.

— Посмотри-ка на нее и скажи, — воскликнул насмешливо другой легионер, — разве она не похожа на Атропос, самую старую и самую страшную из трех парок!.. А ее лицо не кажется ли тебе похожим на папирус, скоробившийся от

жара огня?..

— Я не взял бы в рот ее свежего сыра, даже если бы она в придачу дала мне двадцать сестерций!

— К Эребу проклятую зловещую старуху! — воскликнул один из играющих, с бешенством бросая на ступеньку деревянную кружку, из которой кости покатились на землю. — Проклятая!.. Вот уже третий раз я вижу одни и те же цифры!.. Проклятая собака!

В этот момент Спартак и Эномай, с трепетом в сердце, с мертвенными лицами, стараясь казаться ниже ростом, переступили ворота, и один из легионеров сказал:

— А вот и почетный конвой парки!..

— Эх, клянусь Юпитером Статором, эти двое грязных и худых бродяг-гладиаторов как будто вышли из Стикса!

— Чтоб звери вас пожрали, проклятая мертвечина! — воскликнул проигрывавший в кости легионер, встряхивая игральную кружку, чтобы снова попытать счастья.

Спартак и Эномай молча и смиренно продвигались вперед и уже прошли первую арку ворот, внутри выемки которой была подвешена кверху посредством специальных цепей спускная решетка, пересекли проход, где помещалась

лестница, ведущая к земляной насыпи и в помещения, назначенные для кордегардии, и уже готовились войти под вторую арку, в которой, собственно, и находились ворота, как вдруг со стороны города навстречу им появился центурион в сопровождении тридцати легионеров в полном вооружении — в шлемах, в латах, со щитами, копьями, мечами и дротиками. Центурион, шедший впереди и тоже в полном вооружении, словно собрался в бой, держал в руке жезл — знак своего звания. Войдя под арку ворот, он закричал так, как кричат при военной команде:

— К оружию!

При звуках этого голоса сторожевые легионеры поспешно вскочили. Между ними произошли некоторый беспорядок и смятение, но тотчас же все с быстротой, какой от них нельзя было ожидать, выстроились по-военному в боевой фронт.

У Спартака и Эномая, задержанных по знаку центуриона, сжались от отчаяния сердца, они отступили назад на несколько шагов и обменялись быстрым взглядом, благодаря чему рудиарий успел удержать правую руку германца, уже схватившегося за рукоятку меча.

— Разве так несут охрану, негодяи? — строго спросил центурион. Глубокая тишина наступила

в проходе ворот. — Так стерегут, лентяи?

И с этими словами он ударил жезлом одного из спавших на скамьях легионеров, который поднялся медленнее, чем его товарищ, и опоздал занять место в строю.

— А ты, — прибавил он, обращаясь к декану, который в сильном смущении стоял на своем боевом посту на левом фланге ряда, — а ты, Ливий, очень плохо исполняешь свои обязанности и следишь за дисциплиной, я лишаю тебя звания начальника этого поста, подчиняйся теперь Луцию Мединию, декану, командующему новым отрядом, который я сам привел для усиления охраны этих ворот. Гладиаторы, — добавил тут же центурион, — угрожают восстанием, которое, как удостоверяют гонцы Сената, может оказаться очень серьезным. Поэтому надо опустить решетку, запереть ворота, быть настороже, как во время войны, расставить часовых и действовать, как при большой опасности.

В то время как новый начальник поста Луций Мединий распределял в две шеренги своих двадцать четыре человека, центурион повернулся к Спартаку и Эномаю и спросил их, нахмурив брови:

— Вы гладиаторы?

— Гладиаторы, — твердым голосом ответил Спартак, с трудом скрывая тревогу и отчаяние.

— Из школы Лентула, конечно?

— Ты ошибаешься, доблестный Попилий, — возразил Спартак, глаза которого внезапно вспыхнули огнем, ибо его озарил проблеск надежды, — мы на службе у префекта Мецция Либеона.

— Ты меня знаешь? — спросил центурион Спартака.

— Я видал тебя много раз в доме нашего господина.

— В самом деле, — сказал Попилий, вглядываясь в обоих гладиаторов. В наступившей уже темноте он мог разглядеть лишь их гигантские фигуры, но не мог различить их черты. — В самом деле, мне кажется…

— Мы два германца, специально назначенные на службу к благородной матроне Лелии Домиции, супруге Мецция, носилки которой мы всегда сопровождаем.

Спартак за четыре года жизни в школе Лентула Батиата в Капуе, естественно, привлек к себе и зачислил в Союз угнетенных также немногих гладиаторов, принадлежавших патрицианским семьям города, и поэтому очень хорошо знал двух гладиаторов — германцев гигантского роста,

которые были собственностью префекта Меция Либеона. В его доме фракиец без большого труда изучил распорядок и привычки. Поэтому легко было понять, с какой радостью он, пользуясь темнотой, ухватился за эту хитрость, которая открывала ему единственный оставшийся путь к спасению его рушащегося дела.

— Верно! — сказал центурион. — Ты говоришь правду!.. Теперь я вас узнаю…

— Даже… представь себе… я вспоминаю, что я тебя встретил, — заметил Спартак с невинным видом, — в полночь у входа в дом трибуна Тита Сервилиана, куда мы двое провожали Домицию на носилках. Да, эти таинственные ночные поездки нашей госпожи так часты, что…

— Молчи ты, ради твоих варварских богов, грязный кимвр! — воскликнул Попилий, которому пришлось далеко не по вкусу то, что в присутствии легионеров говорили в таком духе о далеко не безупречном и слишком известном поведении жены префекта.

И спустя мгновение, в течение которого оба гладиатора не могли удержаться от вздоха удовлетворения, центурион спросил Спартака:

— А откуда вы идете теперь?

Спартак на миг растерялся, но потом естествен-

ным тоном ответил:

— Из куманской виллы нашего господина, куда мы со вчерашнего дня провожали транспорт драгоценной утвари.

— Хорошо, — заметил Попилий после некоторого раздумья.

Помолчав минуту, центурион спросил гладиаторов:

— А вы ничего не знаете об этом восстании, задуманном в школе Лентула Батиата?

— А что ты хочешь, чтобы мы знали? — ответил Спартак тоном и с жестами простодушного человека, которому неприятно говорить о непонятных для него вещах. — Если бы задорные и буйные ученики Лентула решились на какое-либо сумасбродство, то они, конечно, не пришли бы говорить об этом с нами; ведь они завидуют нашему счастью. Нам очень хорошо у нашего превосходного господина.

Это было верно, и слова Спартака были настолько естественны, что они убедили центуриона. Однако спустя момент он добавил:

— Во всяком случае, если действительно сегодня вечером нам угрожает страшный мятеж — меня лично смешит восстание гладиаторов, — если все-таки это верно, то мой долг принять

все зависящие от меня меры предосторожности. Поэтому я вам приказываю сдать мечи… Хотя добрейший Меций великолепно обращается с вами, много лучше, чем заслуживает такой сброд, как вы, все-таки вы — гладиаторы, подлые люди, способны на все… Подайте сюда ваши мечи!..

При этом приказе вспыльчивый и неосторожный Эномай едва не сделал напрасными все усилия Спартака и чуть не разрушил все безвозвратно.

Рука германца действительно яростно схватилась за обнаженный уже меч, когда Спартак, взявши его меч за лезвие правой рукой и в то же время не без душевной борьбы и сожаления извлекая из ножен свой собственный меч левой рукой, почтительно подал оба меча центуриону; при этом он, чтобы помешать Эномаю разразиться какой-либо бранью, поспешил сказать:

— Ты нехорошо делаешь, Попилий, сомневаясь в нас, и едва ли за твое недоверие префект, наш господин, будет тебе благодарен, если он узнает об этом; во всяком случае, вот тебе наши мечи и позволь нам вернуться в дом Меция.

— В том, что я сделал, презренный гладиатор, я отдам отчет твоему господину, а теперь убирайтесь отсюда!

Спартак сжал правую руку дрожавшего от ярости Эномая и, поклонившись центуриону, вошел в город вместе с германцем, идя торопливыми шагами, но так, чтобы не возбудить подозрения.

По мере того как оба гладиатора, едва дыша от волнения, причиненного им многочисленными опасностями, от которых они чудом избавились, продвигались по Албанской улице, они замечали необычайное движение, шум, беготню и оживление, царившее в городе, и все больше убеждались, что план их уже провалился, что, несмотря на все усилия, они слишком поздно попадут в школу гладиаторов.

Однако, едва отойдя от ворот на выстрел из лука, они повернули влево, на широкую и красивую улицу, на которой было много роскошных дворцов, и, пустившись по ней стремглав, очень скоро достигли ее конца, а затем, повернув направо, попали на более тихую улицу. Отсюда, через запутанную сеть переулков, которые по мере дальнейшего продвижения гладиаторов становились все грязнее, мрачнее и уже, они, все время бегом, достигли наконец места, где была школа Лентула Батиата.

Это заведение находилось в одном из наиболее отдаленных кварталов города, у самой городской

стены, как раз в середине упомянутого лабиринта переулков, дома которых были заселены женщинами легкого поведения, посетительницами многочисленных кабаков и трактиров этого района, обычных мест свидания десяти тысяч гладиаторов Лентула.

Эта гладиаторская школа, вначале имевшая несколько сотен учеников, постепенно расширялась, неожиданно сделав ее собственника очень богатым человеком. Она состояла из многочисленных строений, мало отличавшихся друг от друга внешним видом и планировкой помещений. Все эти группы строений, имея одинаковое назначение, были одинаково разделены на четыре части обширными внутренними дворами, в центре которых гладиаторы упражнялись, когда не было дождя; в дождливую погоду занимались гимнастикой и фехтованием в специально для этого приспособленных залах.

В четырех частях каждого строения, расположенных в виде отдельных флигелей вокруг двора, как в нижнем, так и в верхнем этаже в длиннейшие коридоры выходил бесконечный ряд маленьких комнат, каждая из которых едва могла вмещать одного человека, и внутри этих клетушек на ложах из сухих листьев или соломы

спали гладиаторы.

В каждом строении, кроме зала для фехтования, имелась большая зала, отведенная под склад гладиаторского оружия. В этих залах, запиравшихся железными решетками и прочными массивными дверями из дуба, ключи от которых держал при себе владелец, он же директор школы, хранились щиты, мечи, ножи и трезубцы — словом, всякое оружие, которым ланиста должен был снабжать своих гладиаторов, когда они шли в амфитеатры.

При этих больших залах, каждая из которых обслуживала триста пятьдесят — четыреста гладиаторов, состояло в качестве сторожей, кроме рудиария или ланисты, выбираемого Лентулом вне школы или из среды самих гладиаторов, еще несколько старых солдат, назначаемых на эту должность префектом, а для черной работы — определенное число доверенных рабов Лентула Батиата.

Восемнадцать или двадцать домов школы, построенные без всякой заботы о красоте, соединялись друг с другом узкими дорожками и тропинками, которые когда-то составляли часть города, но после попытки к восстанию, происшедшей за двадцать восемь лет до описываемой нами

эпохи по инициативе одного римского всадника, Веция, или Минуция, как он себя называл, они по приказанию римских властей и Сената были заключены в кольцо стен. Таким образом, эта школа, состоявшая из стольких отдельных строений и заключенная в ограде высотой в одних местах в двадцать восемь, а в других в тридцать футов, могла называться, да и действительно была крепостью внутри большого города; все улочки, которые вели из Капуи к школе, были как бы предместьем города гладиаторов, и мирные граждане обходили и избегали их, словно мест, зараженных чумой.

В этот вечер, 20 февраля, гладиаторы остались — вещь странная и необычная — почти все в помещениях школы: одни — в фехтовальных залах, упражняясь в нападении и защите на деревянных мечах, единственном и безвредном оружии, пользование которым им было дозволено; другие — во дворах, собравшись там и сям в большие отряды, занятые либо гимнастическими упражнениями, либо распевая варварские загадочные песни, слов которых их сторожа не понимали; иные группами прогуливались по тропинкам, соединявшим разные строения школы; иные, наконец, толпились в коридорах или же распола-

гались спать в своих клетушках.

Сколько эти несчастные, привыкшие терпеть и скрывать, ни старались показать себя рассеянными и равнодушными, тем не менее всякому, кто внимательно следил бы за их движениями и лицами, легко было понять, что все они находятся во власти тревоги, надежды и боязни перед каким-то серьезным и чрезвычайным событием.

— Разве сегодня гладиаторы не выйдут на прогулку? — спросил один сторож, старый легионер Суллы, кривой на один глаз и лишенный левой руки, другого легионера, лицо которого было сплошь покрыто рубцами.

— А кто же их знает? По-видимому, против обыкновения сегодня они собираются провести вечер внутри школы.

— Это будет очень скучный вечер для их отвратительных любовниц, которые будут напрасно их ждать в соседних кабаках и трактирах, ежедневном месте их оргий и кутежей; сегодня гостями их будут покой и молчание.

— Клянусь могуществом Корнелия Суллы, это в самом деле странно!

— Настолько странно, что — сказать тебе по секрету — я этим несколько озабочен.

— Как? Ты боишься восстания?

— Но… как сказать… собственно говоря, восстание… если говорить о восстании, я не верю в его возможность… Но какая-нибудь смута… Кто знает?.. Ропот… И сказать тебе по правде, я не только боюсь этого, но и жду.

— Ах, клянусь фуриями ада, у меня руки зудят! И если…

Но здесь легионер остановился и сделал знак своему товарищу замолчать, так как за спиной последнего появился директор и владелец школы Лентул Батиат.

Лентул Батиат был молод — ему только что минуло тридцать лет. Он был высок ростом, худощав, бледен; глаза у него были небольшие, черные, злые и дикие в одно время, и от всего лица веяло чем-то суровым и жестоким. Он был сыном Лентула Батиата, ланисты, основавшего эту школу, который по милости судьбы и обстоятельств за тридцать лет поднял ее от сборища в несколько сот гладиаторов до первой по значению во всей Италии школы гладиаторов, стяжав на торговле человеческим мясом и кровью огромное богатство.

После смерти отца сын остался владельцем школы и, не довольствуясь наследованными богатствами, решил их удвоить, продолжая по-

четное дело, которое так счастливо вел его отец.

При приближении Лентула оба легионера почтительно поклонились ему, и он, приветствовав их, спросил:

— Не знает ли кто-нибудь из вас, по какой причине гладиаторы против обыкновения почти все остались внутри школы в этот час, когда обычно школа пустует?

— Но… не знаю… — пробормотал один из легионеров.

— Мы сами удивлены не менее тебя, — ответил с большей откровенностью другой.

— Что же, однако, происходит? — спросил, нахмурив брови, с мрачным и свирепым выражением на лице Батиат. — Не затевается ли что-нибудь?

Спрошенные ничего не ответили; но ответ торговцу гладиаторами принес один его раб; бледный от ужаса, он шел впереди вольноотпущенника префекта, который тоже со взволнованным лицом явился к Лентулу от своего господина предупредить его об опасности, угрожавшей не только школе, но городу и республике. Префект советовал Лентулу тщательно охранять и защищать до последней возможности от всякого нападения склады оружия, закрыть все ворота

школы и обещал прислать не позже чем через полчаса трибуна Тита Сервилиана с двумя когортами и со значительным отрядом городской милиции.

При этом известии, переданном отпущенником Меция Либеона дрожащим от страха голосом, Лентул Батиат сперва онемел, изумленный и как бы уничтоженный, как человек, пораженный молнией; он не двигался, ничего не говорил, словно впал в беспамятство, и кто знает, как долго он оставался бы в этом состоянии, если бы окружающие не привели его в себя, побуждая принять энергичные меры против грозящей опасности.

Придя в себя, Лентул приказал немедленно вооружиться двумстам пятидесяти легионерам и двумстам пятидесяти рабам, приставленным к обслуживанию школ, причем они должны были стараться не дать гладиаторам догадаться ни о чем; затем все поспешили к Фортунатским воротам, служившим для сообщения школы с городом с той стороны, где находился храм Фортуны Кампанской. Здесь Лентул решил отдать дальнейшие распоряжения.

Тем временем он сам, все еще очень бледный и растерянный, побежал вооружаться и в числе первых достиг Фортунатских ворот. По мере того

как прибывали слуги и легионеры, он разбивал их на отряды по двадцать и тридцать человек, поручая командование над ними одному из наиболее мужественных среди этих ветеранов, и отсылал их на охрану разных складов оружия и ворот, ведущих в школу.

Между тем как Лентул принимал эти меры предосторожности, с смятением в голове и с трепетом в сердце, так как никто лучше его не знал этих десяти тысяч гладиаторов и никто лучше его не мог понять, на что они способны и насколько поэтому велика и страшна опасность, прибыл трибун Тит Сервилиан, молодой человек двадцати восьми лет, крепкого телосложения, относившийся с презрением к опасности, но чересчур самонадеянный и слишком опрометчивый; во главе одной из двух когорт, находившихся в его распоряжении в Капуе для удовлетворения всех нужд префекта, он направился к школе.

— Итак? — спросил, подойдя, Сервилиан.

— Ах! — сказал Лентул с глубоким вздохом удовлетворения. — Да защитит тебя Юпитер и да поможет тебе Марс!.. Добро пожаловать!

— Расскажи, расскажи мне, что там делалось до сих пор!.. Где бунтовщики?

— До настоящего момента не было никакого

движения, никакого признака мятежа.

— Что ты успел сделать? Какие распоряжения дал?

Лентул вкратце сообщил трибуну данные им распоряжения и целиком положился на его мудрость, заявив, что он готов слепо повиноваться его приказам.

Тит Сервилиан, немного подумав над тем, что нужно делать, усилил каждый из отрядов, посланных раньше Лентулом для охраны оружия и ворот, двадцатью своими легионерами и приказал закрыть все ворота, кроме Фортунатских, где остался сам с главными силами, доходившими до двухсот шестидесяти легионеров, готовый оказать помощь там, где в ней будет большая нужда.

Пока исполнялись эти распоряжения и все более темнело, сильное волнение быстро распространилось среди гладиаторов, которые собирались огромными, все растущими толпами во дворах и громко все сразу говорили между собой.

— Запирают склады оружия!..

— Значит, нас предали!..

— Все известно!..

— Мы пропали!..

— Если бы по крайней мере был здесь Спартак!..

— Ни он, ни Эномай не прибыли: их распяли в Риме!..

— Не везет нам!..

— Проклятие неправедным богам!..

— Запирают ворота!..

— А у нас нет оружия!..

— Оружия!.. Оружия!..

— Кто даст нам оружие?..

В короткое время возгласы этих десяти тысяч голосов, ревущих, ругающихся, проклинающих, выросли подобно грому и стали страшными, как гул моря в бурю, и только благодаря совместным усилиям тех, кого Спартак в своем благоразумном разделении десяти тысяч своих товарищей по несчастью на легионы и когорты назначил трибунами и центурионами, то есть начальниками, гладиаторы начали успокаиваться и возвращаться, согласно данным им приказам, каждый в свою когорту. Таким образом, когда мрак окутал землю, на этих двадцати огромных дворах, где только что царили беспорядок, крики и отчаяние, теперь господствовали совершенный покой и глубокая тишина.

На каждом из дворов собралась когорта гла-

диаторов, которые, тесно построившись за недостатком места в колонну на шестнадцать рядов в глубину и на тридцать два ряда в ширину, стояли молча и с трепетом ожидали решения; его должны были вынести трибуны и центурионы, собравшиеся в это время на совещание в одной из фехтовальных зал для спасения святого дела, с которым все были связаны торжественной клятвой.

Все это происходило как раз в тот момент, когда Спартак и Эномай, добравшись после стольких усилий и опасностей до школы Лентула, остановились, увидев невдалеке от себя пики, копья, мечи и шлемы, сверкавшие в темноте при свете смоляного факела, зажженного неопытными легионерами для облегчения обхода этого лабиринта дорожек и переулков.

— Это легионеры! — сказал вполголоса Эномай Спартаку.

— Да, — ответил тот, чувствуя, что сердце у него разрывается при этом зрелище.

— Значит, слишком поздно… Школа окружена… Что нам делать?

— Подожди!

И Спартак, напрягая слух, чтобы уловить, если это было возможно, малейший отдаленный голос

или шум, следил расширенными глазами, с лихорадочной тревогой в душе за движением факела, который все удалялся вглубь улиц с востока на запад и скоро совсем исчез из виду.

Тогда Спартак сказал Эномаю:

— Стой и молчи.

С величайшей осторожностью он двинулся по улице, на которой они находились, к тому месту, где раньше прошли римские легионеры. Сделав шесть или семь шагов, фракиец остановился; прислушавшись, он услышал тихий шепот и поднес правую руку к глазам. Обостряя таким образом зрение и напрягая все свои силы, он спустя мгновение мог различить темную массу, двигавшуюся в конце этой улицы. Тогда он отдышался, осторожно вернулся на прежнее место и, взяв Эномая за руку, спустился по этой улочке. Затем он повернул налево и, сделав десять шагов по этой новой тропинке, остановился, торопливо вполголоса говоря своему товарищу:

— Они только что начали окружать школу; теперь они размещают отряды солдат на каждом перекрестке; мы лучше знаем эти запутанные тропинки и достигнем минут на десять раньше их той стены, которая огораживает школу со стороны города. В этом месте стена старая и не выше

двадцати восьми футов, оттуда мы проберемся в школу.

Таким образом, со спокойствием и мужеством, превосходящими даже величайшую храбрость, этот необыкновенный человек, отчаянно борясь против враждебной судьбы, находил в любую минуту, благодаря своей проницательности и энергии, новые силы для поддержки своего дела, грозящего погибнуть.

Действительно, все произошло так, как он предвидел, и скоро он и Эномай, быстро скользя по темным запутанным дорожкам, достигли стены школы в намеченном месте. Здесь Эномай с ловкостью, превышающей намного ту, которую можно было предполагать при его гигантской фигуре, начал карабкаться на стену, пользуясь выступами и острыми концами камней старой, обвалившейся стены, совершенно лишенной штукатурки. Очень скоро он добрался до верха стены и начал спускаться по другой стороне, что было труднее подъема.

Спартак, как только германец начал скрываться из его глаз, схватился правой рукой за острый конец выступавшего из стены камня и начал подыматься по этой неудобной лестнице. Когда он, забыв о вывихе левой руки, пустил и

ее в дело, сильный крик вырвался из его уст от нестерпимой боли, и несчастный упал навзничь на землю.

— Что случилось, Спартак? — спросил приглушенным голосом с другой стороны стены Эномай, который уже спрыгнул на землю внутрь школы.

— Ничего… — ответил рудиарий, и, поднявшись, он с величайшим усилием воли, не обращая внимания на страдания, причиняемые сильно распухшей рукой, снова начал с ловкостью серны взбираться на стену. — Ничего… Моя рука…

— Ах, клянусь всеми змеями ада! — воскликнул, с трудом заглушая свой голос, Эномай. — Обожди меня, я снова поднимусь на верх стены, чтобы помочь тебе.

И с этими словами он действительно собрался подняться, как услышал голос Спартака, повторявшего:

— Ничего… Ничего… Не двигайся… Я мигом доберусь к тебе… без всякой помощи…

При последних словах его мужественная, геркулесовская фигура действительно показалась на верху стены, а через некоторое время Эномай увидел, как фракиец быстро спускался с камня на камень, с расщелины на расщелину, точно по лестнице, и наконец спрыгнул на землю.

Эномай поспешно направился к Спартаку и хотел осведомиться о состоянии его руки, но остановился, пораженный видом рудиария, посиневшее лицо которого и остекленевшие, широко раскрытые глаза делали его похожим скорее на привидение, чем на человека.

— Спартак!.. Спартак!.. — вполголоса окликнул его германец. И грубое лицо этого дикаря осветилось таким выражением нежности, на которое его никак нельзя было считать способным. — Спартак… ты слишком страдаешь… больше, чем может вынести человек… Спартак… ты упадешь в обморок… Садись сюда.

С этими словами Эномай любовно сжал фракийца в объятиях и затем усадил на большой камень, прислонив спиной к стене.

Спартак действительно был в изнеможении, вызванном, помимо всех других страданий, физических и моральных, терзавших его в течение пяти последних дней, жестокой болью поврежденной руки. Его лицо стало похоже на лицо трупа, на нем выступили капли пота, в то время как лоб оставался холодным, как мрамор; бледные губы судорожно подергивались, и едва слышные стоны вырывались по временам из-за крепко стиснутых и скрипевших зубов. Едва Эно-

май прислонил его к стене, как Спартак склонил голову на плечо и застыл.

Он казался мертвым.

Суровый германец, превратившийся случайно в любящую сестру милосердия, не зная, что предпринять, растерянно смотрел на своего друга, но наконец, по-видимому, решился. С нежностью, которой трудно было ожидать от такого человека, Эномай взял левую руку Спартака за кисть и, тихонько приподняв ее, откинул рукав туники. Он увидел, как сильно вздулась и опухла рука, и подумал, что в данный момент было бы полезно перевязать ее.

Он тотчас же перешел к делу: опустил руку фракийца и начал отрывать край своего плаща орехового цвета.

Но толчок от падения руки на землю причинил Спартаку сильнейшую боль; он застонал, встрепенулся, медленно открыл глаза и мало-помалу пришел в себя.

Боль сперва лишила его чувств, она же теперь вернула их ему.

Едва придя в сознание, он осмотрелся кругом, собрал свои мысли и, поднявшись на ноги, порывисто воскликнул громким и насмешливым голосом:

— Клянусь Юпитером Олимпийским, Спартак превратился в жалкую бабу! Наших братьев убивают, наше дело окончательно гибнет, а я падаю в обморок! Трус!

С трудом Эномай мог его убедить в том, что все кругом спокойно, что они пришли вовремя, чтобы вооружить гладиаторов, что его обморок длился только две минуты и что состояние его руки очень тяжелое.

И, говоря это, германец крепко перевязал руку Спартака, затем, обвязав более длинный конец повязки вокруг шеи, придал руке горизонтальное положение на уровне груди и сказал:

— Теперь ты будешь страдать меньше. Спартаку достаточно одной правой руки, чтобы быть непобедимым.

— Лишь бы нам удалось достать мечи! — ответил фракиец, быстро направляясь к ближайшему дому.

Они быстро добрались до него. Передняя зала оказалась пустой, и, пройдя ее, они вошли во двор.

Там молча стояли, собравшись в когорты, пятьсот гладиаторов, которые сразу узнали подошедших к ним Спартака и Эномая. Неожиданное появление их вызвало крики радости и

надежды.

— Тише! — закричал сильным голосом Спартак.

— Тише! — повторил Эномай.

— Молчите и стойте в боевом порядке, теперь не время для пустых криков, — прибавил рудиарий.

И как только снова настала глубокая тишина, он спросил:

— Где трибуны, центурионы, начальники?

— В соседнем здании Авроры совещаются, что делать дальше, — ответил один из деканов, выходя из рядов, — так как школа окружена римскими когортами и склады оружия охраняются многочисленными отрядами легионеров.

— Я знаю, — ответил Спартак и, обращаясь к Эномаю, добавил: — Идем в школу Авроры.

Затем, обращаясь к пятистам гладиаторам, собравшимся здесь во дворе, громко сказал:

— Ради всех богов неба и ада, я приказываю вам соблюдать порядок и тишину.

Выйдя из Старой школы (так называлось здание, в котором он задержался на эти несколько минут), он направился к другому зданию, носившему название школы Авроры, и, оставляя слева школу Геркулеса, в сопровождении Эномая

быстро дошел до фехтовальной залы указанной школы, где около двухсот главарей гладиаторов — трибунов, центурионов и членов верховного штаба Союза угнетенных — обсуждали при свете немногих факелов план, который следовало принять в этот опасный момент.

— Спартак! — воскликнуло тридцать голосов при появлении посреди залы рудиария, бледного и изуродованного.

— Спартак! — повторили все остальные с изумлением и радостью.

— Мы погибли! — сказал гладиатор, председательствовавший на собрании.

— Нет, — сказал Спартак, — если мы захватим хоть один склад оружия.

— Но как мы сможем это сделать?

— Мы безоружны!

— И скоро римские когорты нападут на нас!

— И устроят бойню!

— Есть у нас факелы? — спросил Спартак.

— У нас имеется их триста пятьдесят или четыреста.

— Вот наше оружие! — воскликнул Спартак, глаза которого вспыхнули радостью.

И спустя момент он добавил:

— Среди всех десяти тысяч гладиаторов, собран-

ных в этой школе, вы, несомненно, самые смелые и мужественные, и то, что ваши товарищи по несчастью при выборе себе начальников не возражали против вас, вы должны сегодня вечером доказать своей отвагой и львиным мужеством. Готовы ли вы на все?

— На все готовы! — ответили решительно, как один человек, двести гладиаторов.

— Готовы ли также сражаться безоружными против вооруженных и быть перерезанными, как овцы?

— Готовы на все! — повторили с величайшим энтузиазмом несчастные.

— Тогда скорее!.. Соберите все факелы… Удвоим… утроим их число, если это возможно, зажжем их и вооружимся ими. Бросившись на стражу ближайшего склада оружия, обратим ее в бегство, затем подожжем дверь склада и получим столько оружия, сколько нам нужно для победы. Нет, клянусь священными богами Олимпа, не все потеряно, пока еще есть вера в дело, не все потеряно, пока еще есть мужество! Напротив, победа обеспечена, если мы будем тверды в решении победить или умереть!

На бледном лице рудиария, казалось, сиял в этот момент луч сверхъестественного света, так свер-

кали его глаза и таким одухотворенным был его красивый облик. И вера, и энтузиазм, пылавшие в нем, обессиленном, изнеможенном и слабом, быстро передались, подобно электрическому току, в сердца двухсот гладиаторов, собравшихся в этой комнате. Мигом все они бросились в одну из комнаток, где по предусмотрительным советам Спартака не только в этой школе Авроры, но и в остальных семи трибуны сложили факелы из пакли, пропитанной смолой и салом, или пучки смолистых дощечек, соединенных в трубки и наполненных воспламеняющимся материалом, или факелы из скрученных веревок, смазанных смолой и воском, зажгли их и, яростно размахивая ими, как мечами, с этим жалким оружием приготовились ради общего спасения встретить все опасности.

В это время центурион Попилий, усилив все сторожевые посты у ворот города, привел к школе гладиаторов триста с лишком легионеров и вместе с ними поступил под команду трибуна Тита Сервилиана. Одновременно подошли к Фортунатским воротам около семисот солдат городской милиции Капуи, приведенные их центурионами под непосредственным начальством префекта Меция Либеона.

Последний был человек пятидесяти лет, высокого роста, очень толстый, со свежим, румяным лицом, на котором с первого взгляда можно было прочесть любовь к миру, к покою, к эпикурейским наслаждениям за чашей и обедом.

Уже много лет руководя префектурой Капуи, он широко пользовался удобствами, доставляемыми этим высоким и завидным постом, а заботы в это спокойное время были очень невелики. Поэтому грозовая туча, внезапно нависшая над городом, захватила его неподготовленным, поразила его как человека, пробужденного от приятного сна, и несчастный чиновник стал в тупик, растерявшись и запутавшись, как цыпленок в куче пакли.

Однако при всей нерешительности и боязни, которыми он был охвачен, серьезность положения, страх перед наказанием, энергичные настояния честолюбивой и решительной Домиции, его жены, и, наконец, советы отважного трибуна Сервилиана взяли верх, и Меций, даже не понимая хорошо, что происходит, не предвидя последствий отдаваемых им приказаний, решился наконец кое-что предпринять, издать несколько приказов и сделать некоторые распоряжения.

Но вполне законным, хотя и непредвиденным последствием этих распоряжений было то, что спешно собравшиеся и вооружившиеся, как могли лучше, около семисот наиболее смелых солдат городской милиции принялись сразу кричать, что они желают, чтобы на бой их повел сам префект, являвшийся самым высшим начальством в городе, и что только ему они доверяют.

Вследствие этого несчастный Меций, бывший уже вне себя от страха и считавший себя в безопасности только у себя дома, оказался вынужденным подвергнуться всем гибельным последствиям, которые могло повлечь за собой его прямое и непосредственное участие в событиях.

Сначала бедняга отказывался удовлетворить просьбу милиции со всей энергией, диктуемой ему страхом: он приводил резоны, извинялся, подыскивал предлоги, говорил, что он — человек тоги, а не меча, отвыкший с самых ранних лет от употребления оружия и других военных предметов, уверял, что его присутствие необходимо в доме префектуры, для того чтобы все предусмотреть, обо всем позаботиться и распорядиться; однако под давлением капуанских сенаторов, криков милиции и упреков жены несчастный должен был покориться и надеть шлем, латы,

пояс с мечом, но не как начальник, который во главе войска идет сразиться с неприятелем, а как жертва, влекомая на заклание, вышел из дому и во главе капуанской милиции двинулся в поход по направлению к гладиаторской школе.

Едва капуанские солдаты пришли к Фортунатским воротам, трибун Сервилиан в сопровождении Попилия, Лентула Батиата и другого центуриона, Гая Элпидия Солония, двинулся навстречу префекту и сказал, что необходимо устроить совещание и обсудить как можно скорее, что делать.

— Да… совещание, совещание… мало сказать — держать совет… нужно затем увидеть, все ли знают… все ли могут… — сказал, сильно запутавшись, Меций, трудность положения которого увеличивалась еще тем, что он желал скрыть от других овладевший им страх. — Потому что… в конце концов… — продолжал он после минуты размышления, желая этим уверить, что он думал о чем-то. — Я знаю все законы республики и при случае умею также владеть мечом… и если для родины понадобится… когда ей понадобилось бы… могу отдать свою жизнь… но руководить милицией… так… неожиданно… не зная даже, против кого… как… где… потому что в общем…

наконец… если бы дело было против известного врага… в открытом поле… я знал бы, что делать… что я умел бы делать… но…

И его путаное красноречие здесь иссякло, и как он ни искал, почесывая сперва ухо, потом нос, других слов, чтобы закончить свою речь, так ничего и не придумал; и вопреки правилу грамматики этим словом «но» бедный префект кончил, поставив точку своей запутанной речи.

Трибун Сервилиан улыбнулся; он хорошо знал характер префекта и понимал его затруднение. Для того чтобы выручить префекта и в то же время сделать все, что он сам наметил, трибун сказал:

— Я думаю, что можно принять только один план для ликвидации заговора этого сброда: стеречь и защищать залы, где хранится оружие, запереть ворота школы и охранять их, чтобы помешать бегству гладиаторов, загородить все улицы и выходы в город. Обо всем этом я уже позаботился.

— И ты отлично сделал, доблестный Сервилиан, позаботившись об этом, — сказал с важным видом префект, очень довольный тем, что трибун своей предусмотрительностью избавил его от хлопот давать распоряжения и от ответственно-

сти за них.

— Теперь, — добавил Сервилиан, — у меня остается около ста пятидесяти легионеров, которых я, соединив их с храбрыми милиционерами города, мог бы решительно повести против бунтовщиков, заставить их разойтись, рассеяться и вернуться в их клетки.

— Очень хорошо, превосходно задумано! Это как раз то, что я хотел предложить! — воскликнул Меций Либеон, которому казалось невероятным, что Сервилиан возьмет на себя руководство военной операцией.

— Что касается тебя, мудрый Либеон, то так как ты в рвении к исполнению твоего долга желаешь принять прямое участие в действиях…

— О… когда ты здесь… храбрый и опытный в сражениях, хочешь, чтобы я претендовал… о нет… никогда не будет, чтобы я…

— Так как ты этого желаешь, — продолжал, прерывая префекта, трибун, — ты можешь остаться с сотней этих капуанских солдат у ворот Геркулеса, отстоящих отсюда на два выстрела из лука, чтобы охранять вместе с поставленными уже там легионерами выход…

— Но… ты понимаешь, что… в конечном счете я человек тоги… но тем не менее… но если ты

думаешь, что…

— А, я понимаю тебя: ты желал бы принять участие в схватке с этой чернью, к которой мы, может быть, будем вынуждены… но все же охрана этих ворот является важным делом, и поэтому я прошу тебя принять на себя это задание.

И вполголоса быстро проговорил почти на ухо Либеону:

— Ты не подвергнешься никакой опасности.

Затем продолжал громко:

— Впрочем, если ты думаешь распорядиться иначе…

— Но нет… нет… А тебе не кажется? — сказал, несколько осмелев, Меций Либеон. — Ну так иди разогнать бунтовщиков, иди, храбрый юноша, я же пойду с сотней воинов к указанному мне посту, и если те попытаются выйти оттуда… если они придут атаковать меня… если… вы увидите… они увидят… им плохо придется… хотя… в конце концов я человек тоги… да… но я еще помню свои военные подвиги… и горе этим несчастным… если…

И так, бормоча и храбрясь, он пожал руку Сервилиану и в сопровождении центуриона и отряда капуанских солдат, поступивших в его распоряжение, направился к доверенному ему посту,

скорбя в глубине души о печальном положении, в которое его поставили безумные бредни этих десяти тысяч мятежников, и страстно тоскуя о блаженном покое прежних дней.

Тем временем гладиаторы, колеблясь между надеждой и отчаянием, все еще оставались во дворах, в ожидании приказаний начальников, которые, вооружившись факелами, готовились к наступлению и овладению во что бы то ни стало складом оружия в школе Геркулеса; вход в эту залу охранялся пятьюдесятью легионерами и рабами, решившимися защищать эту дверь от мятежников ценою жизни.

Но в ту минуту, когда Спартак, Эномай и их товарищи готовы были ворваться в коридор, который вел к зале с оружием, звук труб нарушил тишину ночи и печально пронесся по дворам, где собрались несчастные гладиаторы.

— Тише! — воскликнул Спартак, останавливая движением правой руки, вооруженной смоляным факелом, своих товарищей и приготовившись слушать.

Действительно, вслед за звуками труб раздался голос общественного глашатая, который от имени римского Сената требовал, чтобы бунтовщики разошлись и возвратились в свои камеры, пре-

дупреждая, что в случае неповиновения после второго трубного сигнала они будут разогнаны военной силой республики.

Страшное волнение, сильный и продолжительный рев последовали за объявлением глашатая, которое, как будто умноженное эхом соседних гор, уныло и последовательно повторялось другими глашатаями у входа во все дворы, где находились гладиаторы.

Спартак постоял один миг в нерешительности, собираясь с мыслями, с мрачным и страшным лицом, с глазами, опущенными в землю, как человек, советующийся сам с собой. Наконец он обратился к своим товарищам и сказал достаточно громко, чтобы быть услышанным ими:

— Если атака, которую мы теперь предпримем, чтобы войти в соседнюю залу с оружием, удастся, то хранящихся там мечей хватит для того, чтобы завладеть остальными складами школы, и мы победим. Если же атака не удастся, нам останется один лишь выход для того, чтобы наше дело свободы не погибло окончательно. Старшие центурионы из обоих легионов должны отсюда уйти и вернуться к нашим товарищам, и если через четверть часа они не услышат звуков нашего гимна свободы, пусть предложат всем

молча разойтись и вернуться в камеры: это будет знаком, что мы не смогли захватить оружие. Мы же в этом случае свалим на землю и подожжем калитку, находящуюся на расстоянии половины выстрела из лука от ворот Геркулеса, и, добравшись до трактира Ганимеда, вооружимся там чем можно, преодолеем все препятствия, какие встретятся, и в количестве ста, шестидесяти, тридцати — словом, все, сколько из нас останется в живых, разобьем лагерь на горе Везувий, подняв там знамя свободы. Туда по самым коротким дорогам, безоружные или вооруженные, группами или поодиночке, пусть соберутся все наши братья; оттуда начнется война угнетенных против угнетателей.

И после очень короткой паузы, видя, что два старших центуриона не решались оставить место, где в тот момент была наибольшая опасность, он сказал:

— Армодий, Клувиан, именем верховного штаба приказываю вам идти!

Оба молодых человека наклонили голову и скрепя сердце удалились в разные стороны.

Тогда Спартак, повернувшись к следовавшим за ним, сказал:

— А теперь… вперед!

И вместе с Эномаем, войдя первым в коридор, где находилась зала с оружием, с быстротой молнии бросился на легионеров, начальник которых, однорукий и одноглазый ветеран, стоял в ожидании атаки и кричал:

— Вперед!.. Ну, вперед!.. Гнусные гладиаторы!.. Впер…

Но он не смог кончить, так как Спартак, протянув во всю длину руку, вооруженную пылающим толстым и длинным факелом, ударил его в рот.

Старый ветеран испустил страшный крик и отступил, в то время как солдаты тщетно старались поразить мечами Эномая и Спартака, которые, действуя с яростью отчаяния этим оружием нового вида, ставшим страшным в их руках, напирали на них и оттесняли от дверей, на страже которых они были поставлены.

В это время легионеры под предводительством трибуна Тита Сервилиана и капуанские милиционеры, разделенные на два отряда под начальством обоих центурионов, Попилия и Элпидия Солония, после того как трубы безрезультатно протрубили второй раз, двинулись одновременно на три двора и начали метать дротики на безоружных, столпившихся в кучи гладиаторов.

Это был ужасный момент. Гладиаторы, страшно крича и рыча и наполняя воздух проклятиями и воем, гонимые этим густым дождем копий, которые, падая в середину массы безоружных людей, падали не напрасно, но наносили раны и убивали, отступали к разным выходам из двора, крича в один голос:

— Оружия!.. Оружия!.. Оружия!..

Но дождь дротиков продолжал падать. Скоро отступление гладиаторов стало паническим, превратилось в бегство и в окончательное смятение.

Тогда началась давка у выходов, падение в проходах, толкотня в коридорах; гладиаторы укрывались в камерах, душили, топтали друг друга; послышались ругательства, дикие крики, просьбы и мольбы, стоны раненых и умирающих, и этими скорбными звуками наполнилась вся школа Лентула.

Избиение гладиаторов в первых трех дворах и их бегство имели непосредственным следствием расстройство и упадок духа в когортах, собравшихся на остальных дворах: ряды гладиаторов начали быстро редеть, приходить в расстройство и кончили полным развалом, так как эти люди, которые, будучи вооружены, могли бы сражаться,

умереть до одного или одержать полную победу даже над двумя римскими легионами, а будучи обречены, безоружные, на бойню, избежать которой они не имели никакой возможности, — эти люди не могли и не хотели оставаться вместе даже четверть часа и в панике думали только о личном спасении.

Между тем Спартак и Эномай, подобно голодным тиграм, сражались рядом еще с двумя товарищами — теснота коридора не позволяла сражаться более чем четырем в ряд — и в короткое время успели прогнать от оспариваемой двери легионеров. Энергично преследуя их и сбрасывая друг на друга, они очень скоро оттеснили их в атриум, где набралось постепенно более сотни гладиаторов со своими факелами. Одних из легионеров они опрокидывали на землю, обезоруживали и убивали, а других, с обожженными лицами и ослепленных, обратили в бегство; а в это время гладиаторы, запрудившие коридор, сваливая факелы в кучу перед дверью оружейной залы, старались поджечь ее и таким образом открыть туда доступ.

Легионеры, убегавшие от бешеной атаки Спартака, с громкими воплями и криками от боли метались, потеряв голову, туда и сюда, и одни

из них наталкивались на толпы преследуемых гладиаторов, которые увлекали их с собою, топтали и душили, а другие попадали в середину когорт Сервилиана, Попилия и Солония, которые шли сомкнутым строем, медленно преследуя — таков был полученный ими приказ — бегущих гладиаторов.

Трибун и центурион были, таким образом, предупреждены о новой опасности, угрожавшей им и могущей вырвать из их рук победу, так легко им доставшуюся. Поэтому Попилий поспешил к школе Геркулеса, бросился в коридор, где дверь оружейной залы уже начала пылать, и, увидев бесполезность применения мечей против факелов, которыми гладиаторы встречали легионеров, приказал задним рядам немедленно метать в неприятеля дротики. Это оружие и здесь в короткое время одержало полную победу над мужеством восставших.

И отряд Спартака отступил, но, так как здесь были самые храбрые и сильные гладиаторы, они отступали в полном порядке, кидая в римлян факелы, вынимая дротики из тел раненых и убитых, которых они уносили с собою. Отойдя вглубь коридора к атриуму и действуя этими дротиками как мечами, они яростно оспаривали

у легионеров выход из этого коридора.

Тем временем Спартак, выйдя с Эномаем и с сотней гладиаторов из атриума во двор, увидал беспорядочное бегство гладиаторов и по крикам, возгласам и воплям понял, что внутри дворов все было потеряно и что оставался один лишь путь к спасению — прорваться вон из школы и искать убежища на Везувии.

Поэтому, вернувшись в атриум, он закричал громовым голосом, который был слышен среди рева и шума схватки:

— У кого есть меч, пусть здесь остается и защищает возможно дольше этот выход от легионеров!

Несколько гладиаторов, вооруженных отнятыми у сторожей оружейной залы мечами и копьями, стали живой изгородью у выхода, которым тщетно старался завладеть Попилий. Будучи ранен в лоб и в правую руку, он мужественно сражался в первом ряду.

— Следуйте за мной! — закричал Спартак, размахивая высоко в воздухе факелом и давая этим знак остальным гладиаторам.

Вместе с Эномаем он быстрыми шагами направился к стене, окружающей школу, и именно к тому месту, где узкая и невысокая дверь, запертая

и загороженная уже много лет, должна была послужить для гладиаторов единственным путем к спасению.

Но для того чтобы сжечь ее, понадобилось бы по меньшей мере полчаса. Было очевидно, что победители, продвигаясь по всем дорожкам, не дали бы гладиаторам использовать все это время; с другой стороны, у гладиаторов не было секир и молотков, чтобы выломать дверь. Итак, что было делать? Как открыть себе возможно скорее этот проход?

Но в то время как все дрожали от тревоги и каждый про себя искал средства добиться цели, могучий Эномай взглянул на мраморную колонну, лежавшую недалеко отсюда, и закричал, обращаясь к товарищам:

— Выходите, самые сильные!

Моментально семь или восемь наиболее высоких и сильных гладиаторов вышли вперед и стали перед Эномаем, который, быстро оглядев их глазами опытного человека, обратился к одному плотному и высокому самниту, почти такому же гиганту, как он сам. Нагнувшись над колонной и подложив руки под один ее конец, он сказал:

— Ну а теперь посмотрим, насколько ты силен: бери эту колонну за другой конец.

Все поняли намерение Эномая и стали широким кругом перед дверью, возле которой германец и самнит, без труда подняв и перенеся колонну, остановились и, немного раскачав в одном направлении эту огромную глыбу, кинули ее со всей силы в дверь, затрещавшую под этим страшным ударом.

Дважды должны были оба гладиатора повторить этот прием, и на третий раз дверь упала на землю, раздробленная на мелкие куски. Гладиаторы, погасив и бросив факелы, в молчании вышли через проход и, следуя за Спартаком, направились по узким и грязным улицам города в трактир Ганимеда.

Это была одна из харчевен низшего сорта, ближайшая к школе Лентула и чаще всего посещаемая гладиаторами, так как хозяином ее был рудиарий, большой друг Спартака, принимавший участие в заговоре, которому он оказывал всяческое содействие.

Этот трактир, над входом в который висела ужасная вывеска с изображением уродливого Ганимеда, наливавшего нектар, красный, как свернувшаяся кровь, в чашу не менее отвратительному Юпитеру, отстоял едва на выстрел из самострела от того места, где находились на

посту легионеры и капуанские милиционеры под начальством толстого и мирно настроенного префекта Меция Либеона.

В глубоком молчании, осторожно продвигались Спартак и двести гладиаторов, идя один за другим. По данному вполголоса приказу первому ряду все остановились.

Фракиец, германец и еще семь или восемь гладиаторов вошли в трактир. Рудиарий, владелец его, находившийся в невыразимой тревоге за исход борьбы, о которой он догадывался по крикам и шуму, раздававшимся в течение более часа в школе, поспешно выбежал навстречу им и начал расспрашивать:

— Ну, как?.. Что нового?.. Как идет битва?..

Но Спартак решительно прервал эти расспросы, сказав:

— Вибиний, дай нам все оружие, какое у тебя есть, и дай нам все, что в руках отчаявшихся людей может сойти за оружие.

С этими словами он подбежал к печи и схватил огромный вертел, в то время как Эномай снял топор, висевший на стене. Собрав в охапку вертела, ножи и косы, он вышел из трактира распределять это оружие между товарищами. С него взяли пример и остальные, и, обыскав весь трактир,

очень скоро оказались все вооруженными в том же роде, унося еще с собою три небольшие ручные лестницы, найденные тут же, и несколько веревок.

Как только все вооружились, Спартак первый, а за ним и все остальные двинулись в полном молчании к улице, охраняемой римскими солдатами. Часовые охраны едва успели поднять тревогу, как гладиаторы с яростью диких зверей бросились на римлян, нанося отчаянные удары, валили на землю, ранили и убивали с необыкновенной быстротой и силой.

Это сражение длилось несколько минут, и отчаянный натиск гладиаторов быстро привел к разгрому малочисленных легионеров и капуанской милиции.

Квинт Волузий, молодой центурион милиции, воодушевлял солдат к сражению, сам храбро сражался, поддерживаемый несколькими храбрецами, и кричал:

— Вперед, капуанцы!.. Смелее, во имя Юпитера Тифатинского!.. Меций… доблестный Меций, ободряй солдат!

И Меций Либеон, который при первом неожиданном натиске гладиаторов был охвачен неописуемой паникой и укрылся в хвосте небольшого

отряда, слыша, как назойливо призывают его к выполнению долга, начал кричать, сам не понимая того, что он произносил:

— Верно, что… конечно… Капуанцы, смелее!.. Вперед, мужественные капуанцы!.. Я буду направлять… вы сражайтесь… Не бойтесь… ничего… Бейте… Убивайте!..

И при каждом произносимом слове он делал шаг назад.

Но смелый Квинт Волузий пал, пронзенный Спартаком насквозь бешеным ударом вертела, и гладиаторы, прорвавшись, поражая ударами и опрокидывая легионеров, бросились бегом мимо несчастного префекта, который, нагнувшись и упав на колени, стал кричать дрожащим, прерываемым рыданиями голосом:

— Я человек тоги… Я не сделал… ничего дурного… милости… милости… о доблестные!.. Пощады!..

Он не мог продолжать своей мольбы, так как Эномай, приблизившись в этот момент, нанес ему ногой жестокий удар в грудь, от которого он покатился без чувств кубарем на три или четыре шага.

Когда гладиаторы пробежали триста шагов, Спартак остановился и задыхающимся голосом

сказал Эномаю:

— Половина из нас должна задержаться здесь, чтобы оказывать сопротивление нашим преследователям и дать время другой половине перебраться через городскую стену.

— Остаюсь я! — закричал Эномай.

— Нет, ты поведешь к Везувию, а я останусь здесь…

— Ни в коем случае! Если я умру, ты сможешь продолжать войну, а если погибнешь ты, все будет кончено.

— Беги, беги ты, Спартак, — воскликнули восемь или девять гладиаторов, — мы останемся здесь с Эномаем!

Слезы показались в глазах Спартака при этом благородном состязании в самоотвержении и любви, и, пожав руку германца, он сказал:

— Прощайте… Я жду вас на Везувии…

В сопровождении части гладиаторов, к которым Эномай присоединил тех, что несли лестницы, Спартак исчез, углубившись в сеть тропинок, ведущих к городской стене, между тем как Эномай, введя свою часть гладиаторов в соседние дома, приказал выбрасывать из окон скамейки, кровати и другую мебель, которыми он забаррикадировал улицу, подготовляя таким

образом длительное и упорное сопротивление приближающимся римским когортам.



Глава XI
От Капуи до Везувия

Через два часа после событий, описанных в предыдущей главе, то есть около полуночи, небольшой отряд гладиаторов, бежавших из школы Лентула, остановился после быстрой ходьбы возле виллы Гнея Корнелия Долабеллы, расположенной на живописном холме между Ателланской и Куманской дорогами, приблизительно в восьми милях от Капуи.

Под покровом темноты, пользуясь тремя ручными лестницами, соединенными вместе при помощи веревок, в то самое время, как Эномай, укрепившись за баррикадами, которыми он загородил улицу, сопротивлялся легионерам Рима, Спартак и его товарищи взобрались на вал и не без труда и опасностей, втащив за собой лестницу и приставив ее к наружной стороне стены, спустились; затем, развязав снова лестницу, они перекинули все три, одна на другую, через ров, так как иначе они не могли бы перейти этот глубокий, наполненный водой и илом, а потому непроходимый ров; перейдя его, они бросили

лестницы в ров и быстрым маршем отправились через открытое поле, следуя по прямой линии, между двумя дорогами — Ателланской и Куманской.

Дойдя до железной решетки виллы Долабеллы, Спартак несколько раз ударил по звонку, чем разбудил собак, а затем и привратника, старого фессалийца-раба; последний, совсем сонный, прикрывая левой рукой медный фонарь, который он держал в правой, приблизился к решетке, бормоча на греческом языке:

— Пусть Юпитер накажет этого надоеду!.. Кто этот нахал, возвращающийся после полуночи?.. Завтра же я донесу об этом домоуправителю!

С этими словами старичок подошел к самой решетке, а за ним с яростным лаем бежали два бульдога, оскалив зубы.

— Пусть Юпитер Олимпийский будет к тебе благосклонен и пусть тебе всегда помогает Аполлон Пегасский, — сказал тоже по-гречески Спартак, — мы, гладиаторы, греки, рабы и такие же несчастные, как и ты, и мы бежим из Капуи. Открой нам, не вынуждая применить насилие, иначе тебе будет плохо.

Как себя почувствовал старый фессалиец при этих словах и при виде этого отряда истощенных,

измученных и странно вооруженных людей, легко себе представить.

Без слов, остолбенелый, с поднятым фонарем, с высоко вздернутым носом и разинутым ртом, привратник больше похож был на статую, чем на живого человека.

После минутного молчания, нарушаемого только лаем бульдогов, Спартак вывел старика из его неподвижности, закричав грозным голосом:

— Клянусь вековыми лесами Оссы и Пелиона, решишься ли открыть нам добровольно и заставишь ли замолчать твоих надоедливых псов или хочешь, чтобы мы взялись за топоры?..

Эти слова не допускали больше колебания, и привратник стал отодвигать задвижки и открывать решетку, покрикивая в то же время:

— Замолчи, Пирр!.. Тихо, Алкид!.. Да помогут вам боги… мужественные люди… Сейчас открою… Тише, проклятые!.. Располагайтесь здесь, как вам будет удобно… Сейчас вы увидите управителя домом… тоже грека… Достойный человек… Вы найдете чем подкрепиться здесь.

Едва гладиаторы прошли широкую аллею виллы, Спартак велел закрыть решетку и оставил здесь на страже пятерых своих людей, затем в сопровождении остальных в несколько минут

дошел до большой площади, окруженной деревьями разных размеров и рядами розовых кустов, можжевельника и мирт, распространявших аромат перед летним домом патриция, бывшего консула, Гнея Корнелия Долабеллы.

Здесь, быстро произведя смотр своим товарищам по оружию, он увидел, что число их, включая и его самого, равно семидесяти восьми.

Задумавшись на миг, с опущенной головой, он вздохнул, поднял голову и сказал молодому галлу высокого роста, но нежного телосложения, с белой кожей, рыжими волосами, голубыми глазами, полными отваги и энергии, стоявшему возле почтительно и молча:

— Да, Борторикс!.. Если бы счастье улыбнулось нашей смелости, то эта кучка молодцов сумела бы положить начало большой войне и благородному делу!.. — И тотчас же добавил: — История, к сожалению, судит о благородстве дел по их успешности!.. Однако — кто знает! — не оставлено ли этим семидесяти восьми на страницах истории место рядом с тремястами у Фермопил!.. Кто знает!..

Прервав свои размышления, он немедленно приказал, чтобы у всех входов была поставлена стража, затем, вызвав к себе управителя домом

Долабеллы, родом из Эпира и по имени Феодофил, обещал ему, что они возьмут из виллы только пищу, некоторые необходимые для них вещи и все оружие, которое здесь найдется, и что ни он, ни его товарищи не причинят никакого вреда его хозяину и не предадут расхищению и грабежу ни виллу, ни дом. Затем Спартак убедил управителя добровольно снабдить его товарищей всеми нужными им предметами, если он хочет избежать насилия.

Таким образом, гладиаторы очень быстро получили пищу и вино для подкрепления своих сил и по приказу Спартака запаслись продовольствием на три дня. Что касается мужественного фракийца, который не имел отдыха уже несколько дней и свыше тридцати часов не принимал никакой пищи, то он ел и пил очень мало, но зато нашел в вилле римского патриция лучшее подкрепление, чем он думал. Среди девяноста рабов, собранных в этом месте для различных полевых работ и для службы по дому, был также врач, грек по рождению, Дионисий Эвдней, которому было предписано работать только по его специальности, то есть обслуживать остальных рабов в случае их болезни или владельца виллы, когда тот здесь проживал.

Этот врач очень заботливо принялся лечить руку рудиария. Вправив вывихнутую кость, он обложил руку лубками, осторожно скрепил их вокруг руки особой повязкой и, закончив все это, подвязал ее к шее и посоветовал Спартаку хоть немного подкрепить свои силы сном и отдыхом, предупредив его, что в противном случае он рискует схватить сильнейшую горячку, так как у него уже порядочная лихорадка, вызванная трудами, изнурением и тревогой за эти семь или восемь дней бурной и мятежной жизни.

Ввиду этого Спартак, отдавши очень подробные и точные распоряжения Борториксу, улегся в удобной кровати и, заснув, проспал до следующего утра, так как, хотя он и приказал галлу разбудить себя на заре, последний по совету доктора Дионисия Эвднея позволил Спартаку спать до тех пор, пока он не проснется сам.

Спартак проснулся хорошо отдохнувшим, а потому с новым приливом уверенности и надежды в душе. Солнце уже в течение трех часов заливало светом очаровательную виллу и окружающие холмы и с одной стороны — лесистые и скалистые Апеннины, а с другой — обширную веселую панораму города и вилл, спускающихся вплоть до самого моря.

Спартак, как только встал, собрал всех рабов Долабеллы на площади виллы и сам, в сопровождении домоправителя и тюремщика, направился к тюрьме, являвшейся непременной принадлежностью всех вилл и сельских дворцов римлян; в такую тюрьму запирали тех рабов, которые содержались в цепях и должны были работать с железными кольцами на руках и на лодыжках. Освободив свыше двадцати несчастных, запертых в этой тюрьме, Спартак присоединил их к собранным на площади. И здесь в горячих и понятных словах разъяснил этой толпе рабов, в значительной части греков, халкедонцев и иллирийцев, причины бегства своего и своих товарищей по несчастью и поведал о деле, которое он задумал, успеху которого он отныне посвятит всю свою жизнь, в ярких красках обрисовал чистоту своих намерений, выдвинув как самые высокие цели войны, к которой он готовился, отвоевание прав угнетенным от тирании угнетателей, уничтожение рабства, освобождение всего человечества.

— Кто из вас хочет быть свободным и предпочитает жалкой жизни, на которую осужден, почетную смерть на поле битвы с оружием в руках, кто из вас чувствует себя смелым, сильным

и готовым вынести все затруднения, тяготы и опасности войны, поднятой против покорителей всех народов, кто из вас чувствует весь позор ненавистных цепей — пусть возьмет в руки любое оружие и последует за нами.

Прочувствованная, убедительная речь Спартака произвела необыкновенное впечатление на этих несчастных, еще не совсем обессиленных и отупевших в рабстве, и среди пылких возгласов и слез радости свыше восьмидесяти этих обездоленных захватили топоры, косы и трезубцы и дали клятву, связывавшую договором всех членов союза угнетенных.

Немногими мечами и копьями, найденными на вилле, уже вооружились Спартак, Борторикс и наиболее храбрые из гладиаторов; рядом с каждым из последних фракиец мудро решил поместить одного из рабов Долабеллы для того, чтобы они влили в новичков силу и мужество, и, расположив в строгом порядке свою маленькую когорту, насчитывающую уже свыше ста пятидесяти человек, Спартак за два часа до полудня вышел из виллы Долабеллы через поля и виноградники по глухим тропинкам, направляясь к Неаполю.

После быстрого перехода, не нарушенного

никакими особенными происшествиями, отряд гладиаторов к ночи подошел к Неаполю на расстояние нескольких миль и по приказу Спартака сделал остановку возле виллы одного патриция, где фракиец, строго запретив чинить какие бы то ни было насилия и хищения, отдал приказ запастись продовольствием еще на три дня и унести с собой все оружие, которое они найдут здесь.

Отсюда он ушел через два часа в сопровождении еще пятидесяти рабов и гладиаторов, которые, разбив цепи рабства, покинули тюрьму и свои комнатушки на вилле патриция, для того чтобы вместе со Спартаком вести благородную борьбу за свободу.

В течение ночи Спартак продолжал свой поход с ловкостью и осторожностью искуснейшего полководца, совершая его по извилистым дорогам и не оставляя следов, через живописные и благоухающие поля и холмы, тянувшиеся между Неаполем и Ателлой, и останавливаясь у всех вилл или в уединенных дворцах, встречавшихся на пути, лишь столько времени, сколько было нужно, чтобы запастись оружием и призвать рабов к восстанию. Таким образом, он дошел на рассвете к подошве горы Везева, или Везувия, на дорогу, которая вела по краю этой горы от Помпеи

к дачам и местам развлечения патрициев, откуда поднимался, раскинувшись, веселый склон горы, вплоть до того места, где леса и обрывы делали гору суровой и лесистой.

Приблизительно в двух милях от Помпеи Спартак остановился и, заняв несколько садов, лежавших по бокам дороги, укрыл за рядами акаций, мирт и кустов розмарина, наполнявших ароматом весь воздух, своих товарищей, число которых за двадцать четыре часа перевалило за триста, и приказал им ожидать здесь, соблюдая тишину, восход солнца.

Действительно, вскоре на самой высокой вершине горы, которая среди ночного мрака, казалось, достигала своей верхушкой голубого свода небес и как бы терялась в нем, начали появляться сероватые и беловатые тучки; они, постепенно светлея, напоминали легкие волны дыма, носящиеся над пожаром, внезапно возникшим на склонах соседних Апеннин и на другой стороне самого Везувия.

Тучки из белых стали розовыми, из розовых превратились в пурпурные, и вскоре появилась как бы тончайшая пленка сверкающего золота, и на гору, которая до того представляла собой огромную черную и наводящую ужас массу гра-

нита, внезапно пролились потоки яркого света, открывшие ее величественные контуры и вершины, покрытые темными, очень густыми лесами, мрачные пропасти, зиявшие меж пластов серовато-пепельной лавы, и освещенные солнцем цветущие склоны, которые, сбегая на много миль кругом, казалось, расстилали у подошвы гордого гиганта чудесный разноцветный ковер, сотканный из цветов и зелени.

В это время Везувий имел форму, сильно отличающуюся от теперешней, и не был, как ныне, бушующим, грозным и устрашающим. Вулканические извержения происходили в отдаленнейшие времена, но даже и памяти о них не сохранилось в эпоху, описываемую в нашем рассказе. Это является теперь неоспоримым, и об этом достаточно свидетельствуют на много миль тянущиеся вдоль горы слоистые отложения лавы, на которых находились основанные осками города — Стабия, Геркуланум и Помпея.

С давних времен огонь, клокочущий в его жерле, не возмущал райского блаженства этих чудных мест на склонах Везувия, где под сапфировым небом, в приятной, теплой, чистейшей атмосфере, наполненной благоуханием, под небом, незаметно погружающимся в сладостную

свежесть голубых волн Тирренского моря, жители этих счастливейших мест были прославлены поэтами как обитатели преддверия Элизиума[85]. Действительно, ни в каком другом месте на земле поэты не могли найти большей прелести и в свободном полете своей фантазии не могли вообразить более привлекательных и чарующих картин, достойных преддверия Элизиума.

Единственно, что нарушало счастье жителей Кампании, — это были подземные раскаты и землетрясения, по временам потрясавшие их область; но эти толчки случались так часто и в то же время они были настолько безвредны, что к ним здесь привыкли и о них мало думали. И вследствие этого вся нижняя часть Везувия была сплошь покрыта садами, виноградниками, рощами, виллами, дворцами, оливковыми и фруктовыми деревьями и представляла собой как бы один огромный сад, один огромный город.

Зрелище, которое представляли в это утро под лучами восходящего солнца Везувий и весь Байский, или Неаполитанский, залив, было так грандиозно, великолепно, что возгласы восхищения перед картиной восхода солнца раздались

[85] Сноски: 85

Элизиум (елисейские поля) — в греко-римской мифологии местопребывание душ праведников, место вечного блаженства.

из уст гладиаторов и их вождя; а затем все они умолкли, созерцая в изумлении эту чарующую панораму. Они увидели вблизи точно погруженную в морские волны Помпею, богатую и великолепную Помпею, стены которой, лишенные укреплений, напоминали об участии ее обитателей восемнадцать лет тому назад в гражданской войне против римлян: Сулла из милосердия разрушил только ее стены. Между тем недалеко от Помпеи разрушенная и сожженная Стабия, среди развалин которой только начинали появляться немногие новые дома, показывала, как велика была жестокость, которую тот же Сулла проявил по отношению к жителям этого города.

Однако Спартак очень скоро освободился от чар этой волшебницы-зари, словно непреодолимой силой притягивавшей к себе взоры гладиаторов. Рассматривая вершину горы, он старался определить, как далеко мощенная лавой дорога, на которой он находился со своими товарищами, тянется вверх и доходит ли она до самой верхушки горы. Но страшно густые леса, чем выше, тем все больше скрывавшие вершину, лишали Спартака всякой возможности удостовериться, где оканчивалась эта дорога. Поэтому после краткого размышления он решил отправить

Борторикса с тридцатью наиболее проворными людьми на разведку дороги; сам он с главной частью отряда задумал обойти соседние виллы и дворцы в поисках оружия и для освобождения рабов. Отряд в шестьдесят гладиаторов он счел необходимым спрятать за этой изгородью, чтобы тот мог господствовать над дорогой. Сюда и должны были собраться до полудня Борторикс по возвращении из своей разведки и Спартак — из своих экскурсий.

Как Спартак распорядился, так и было сделано: спустя три часа Борторикс, вернувшись из своего похода, нашел Спартака, который, еще собрав некоторое количество оружия и увеличив свой отряд приблизительно двумястами рабами и гладиаторами из соседних вилл, составил теперь из своих пятисот человек одну когорту в пять манипул. Одну из этих манипул, состоявшую только из восьмидесяти самых молодых и сильных гладиаторов, которых он мог вооружить таким же количеством пик и копий, он назвал, следуя римскому строю, гастатами, то есть копьеносцами, и начальство над ними поручил самому Борториксу; остальные четыре манипулы, каждая числом свыше ста человек, получили следующие названия: носители кос — вооруженные косами,

ретиарии — вооруженные трезубцами и вертелами, а первая и вторая манипулы, вооруженные мечами, ножами и другим коротким оружием, назывались фракийцами. На каждые десять человек он назначил декана, а на каждую манипулу — двух центурионов, старшего и младшего; тех и других он выбрал из семидесяти восьми гладиаторов, бежавших с ним из Капуи, так как он знал их отвагу и энергию и мог на них поэтому вполне положиться.

Из сведений, доставленных Борториксом, Спартак узнал, что дорога, на которой они находились, шла еще приблизительно только на две мили по этому очаровательному склону горы, а потом переходила в обрывистую узенькую тропинку, ведущую через леса к вершине, пока, дойдя до определенной высоты, не пропадала совершенно среди скал и пропастей, благодаря чему доступ туда был весьма затруднителен.

— О, наконец после стольких неудач, — воскликнул Спартак, сияя от радости, — боги начинают помогать нашему делу! Там, наверху, среди этой лесной глуши, где свивает себе гнездо орел и где дикие звери находят убежище от преследований людей, — там мы водрузим наше знамя свободы, там мы будем стоять лагерем, пока у

нас мало бойцов и оружия. Более удобного места судьба не могла нам предоставить. Идем!

И в то время как когорта гладиаторов двинулась в путь по направлению к вершине Везувия, Спартак удержал возле себя, вызвав по имени, девять гладиаторов из школы Лентула и, снабдив большими суммами денег, приказал им быстро отправиться в разные стороны по трое в Рим, в Равенну и в Капую и предупредить своих товарищей по несчастью, находящихся в школах этих трех городов, о том, что Спартак с пятью сотнями гладиаторов стоит лагерем на Везувии и чтобы они — в одиночку, манипулами или легионами, как им удобнее и как можно скорее, — все явились к нему принять участие в борьбе за свободу.

Направляя по трое гонцов в каждый из указанных городов, Спартак рассудил, что в худшем случае, если некоторые из них будут захвачены, из девяти по крайней мере трое дойдут до назначенного места. И, наказав девяти гладиаторам быть внимательными и осторожными, Спартак отпустил их. В то время как те направились обратно, к подошве горы, он догнал передовой отряд колонны, быстрым маршем поднимавшейся на вершину.

Очень скоро когорта гладиаторов оставила дорогу, по бокам которой тянулись сады, домики и виноградники, и добралась до лесистой части горы; чем круче становился подъем, тем уединеннее становились места и глуше тишина, царившая в этих лесах. Постепенно, по мере подъема кустарники и низкорослые деревья сменялись терновником, падубами, вязами, вековыми дубами и высокими тополями.

В начале подъема гладиаторы встречали много земледельцев и крестьян, доставлявших в корзинах и на осликах зелень и фрукты на рынки Помпеи, Неаполя и Геркуланума; они с изумлением и страхом смотрели на этот отряд вооруженных людей. Когда же гладиаторы углубились в леса, им стали встречаться только одинокие пастухи, овцы да козы, которые паслись среди кустарников, на скалах; девственное эхо печально повторяло от времени до времени грустное блеяние этих жалких стад.

После двух часов тяжелого подъема когорта Спартака достигла широкой площадки, расположенной на вулканической скале, на несколько сот шагов ниже главной вершины Везувия, где белел, подобно огромной простыне, хотя и неглубокий, но широкий слой вечного снега.

Здесь Спартак остановил своих солдат и, в то время как они отдыхали, обошел с одного конца до другого эту площадку. С одной стороны ее находилась крутая и скалистая тропинка, по которой гладиаторы пришли сюда, с другой — высокие и неприступные скалы, изрезанные вертикально и отделявшие площадку от верхушки горы, с третьей — противоположный склон горы. За суровыми обрывами и лесистыми пропастями этого склона виднелись внизу веселые поля, виноградники и масличные рощи, составлявшие обширные цветущие пажити Нолы и Нуцерии, простиравшиеся вплоть до подошвы Апеннин, которые высились на горизонте. Спуск и подъем с этой стороны были еще круче, чем со стороны Помпеи, что делало это место почти недоступным для какого-либо нападения.

Наконец с юга, со стороны Салернума, место, выбранное Спартаком для разбивки лагеря, было столь же безопасно и неприступно, как и со стороны вершины горы. Если отсюда оно было защищено высочайшими, вертикально изрезанными скалами, то с южной стороны сама скала, на которой находилась площадка, оканчивалась глубокой, страшной пропастью, окруженной почти со всех сторон огромными обвалами. Эти

обвалы придавали пропасти вид колодца, по внутренним стенам которого не только людям, но даже козам не было возможности вскарабкаться.

В пропасть через расщелины скал проникал скудный свет. Она оканчивалась пещерой, неожиданно дававшей выход на ту роскошную и цветущую часть склона горы, которая тянулась на много миль, вплоть до равнины.

После внимательного обследования площадки Спартак остался очень доволен, и ему казалось, что более подходящего места для того, чтобы продержаться, пока не явится подкрепление из Капуи, Рима и Равенны, он не мог бы придумать. Он приказал одной из фракийских манипул, вооруженной топорами и секирами, пойти в ближайший лес нарубить дров, чтобы зажечь костры: они должны были защитить гладиаторов от резкого холода ночных заморозков, которые на этой высоте в середине февраля должны были быть очень ощутительны. В то же время он поставил небольшую охрану с почти неприступной стороны площадки, выходившей на восточный склон горы, и другой сторожевой отряд, численностью в половину манипулы, — со стороны Помпеи, откуда они пришли к вершине; с тех пор это место получило название лагеря гладиаторов,

сохранившееся надолго.

С наступлением ночи вернулись посланные за дровами и принесли не только достаточное количество топлива для костров, но также ветвей и хвороста, из которых можно было, насколько это позволяла каменистая поверхность горы, соорудить палатки и заграждения. Одновременно с этим гладиаторы под руководством самого Спартака накидали поперек тропинки, по которой они проникли сюда, большие стволы деревьев и тяжелые камни и, вырыв позади них широкий ров, забросали эти стволы и камни землей, так что в несколько часов соорудили земляную насыпь, чем сильно укрепили свой лагерь с единственной стороны, откуда он мог быть атакован. Позади этого заграждения разместилась половина манипулы, назначенная нести охрану, и от нее, на некотором расстоянии друг от друга, поставлены были часовые, так что наиболее отдаленный находился в полумиле от лагеря гладиаторов.

Вскоре гладиаторы, усталые от трудов и забот, перенесенных в эти дни, погрузились в сон. К началу рассвета все было спокойно и тихо на площадке, где извивающиеся огни костров, еще горевших и трещавших, освещали неподвижные фигуры гладиаторов и свинцовые скалы, кото-

рые служили фоном для этой фантастической картины.

Один только Спартак бодрствовал; его атлетическая фигура, прямая и неподвижная, среди этих скал, в этом уединении и тишине, полуосвещенная огнями костров, рельефно выделялась в сумраке. Ее можно было принять за призрак одного из тех гигантов, которые объявили войну Юпитеру и, согласно мифическим сказаниям, именно на Флегрейских полях, расположенных, по словам поэтов, возле Везувия, разбили лагерь, когда они решили взгромоздить горы на горы, чтобы штурмовать небо.

Среди этой торжественной всеобъемлющей тишины Спартак, положив правую руку под левую, висевшую на перевязи, слегка склонив голову к лежавшему внизу морю, смотрел не отрываясь на свет, который сиял на одном из кораблей, находившихся в гавани Помпеи, — казалось, он наблюдал за ним с большим вниманием.

Но между тем как его глаза, по-видимому, были поглощены этим созерцанием, он сам был погружен в размышления, отвлекшие его постепенно очень далеко от места, где он находился, и, переходя от одной мысли к другой, от одного воспоминания к другому, он перенесся в родные

горы своей Фракии, к первым годам своего детства, к этим счастливым временам, к сожалению миновавшим, как дуновение тихого ветерка. И его лицо, ставшее сперва при этих воспоминаниях тихим и ясным, снова затуманилось, так как ему пришли на память нашествие римлян, кровопролитные сражения, поражение фракийцев, уничтожение его стад и домов, рабство его родных и…

Внезапно Спартак, более двух часов погруженный в эти волны воспоминаний и мыслей, вздрогнул и, насторожившись, повернул голову в сторону тропинки, по которой гладиаторы пришли сюда. Все было тихо, и, кроме легких порывов ветра, шевеливших по временам ветви в лесу внизу, не было слышно ничего.

Поэтому Спартак намеревался пойти лечь под навес, устроенный для него товарищами, несмотря на его энергичный протест. Этот навес был сделан из ветвей и покрыт несколькими шкурами коз и овец, собранными там и сям во дворцах и виллах, в которые гладиаторы заходили за последние два дня. Но, сделав несколько шагов, Спартак снова остановился, еще раз прислушался и прошептал:

— На гору поднимаются солдаты…

И, вернувшись назад, к сооруженной в этот вечер земляной насыпи, он прибавил вполголоса, как бы говоря сам с собою:

— Уже?.. Не думал я, что так скоро…

Спартак еще не дошел до поста, у которого бодрствовала на страже половина манипулы гладиаторов, говоривших между собой вполголоса, как в тишине ночи послышался громкий и ясный голос стоявшего первым часового, грозно закричавшего:

— Кто идет?..

И затем возглас, еще более громкий:

— К оружию!

За насыпью был очень короткий момент замешательства: все неспавшие гладиаторы вооружались и выстраивались в боевой порядок позади прикрытия.

В этот момент подошел к сторожевому посту Спартак с мечом в руке и спокойно сказал:

— Идут в атаку на нас… Но с этой стороны никто не взойдет.

— Никто! — в один голос воскликнули гладиаторы.

— Один из вас пусть пойдет в лагерь поднять тревогу и прикажет от моего имени соблюдать порядок и тишину.

Между тем часовой получил в ответ от подходивших боевой пароль гладиаторов — «постоянство и победа», и, пока один из деканов спешил с восемью или десятью гладиаторами узнать, кто приближается, весь лагерь проснулся. В несколько секунд, без шума, без смятения каждый гладиатор вооружился и занял место в своей манипуле, и выстроившаяся когорта, как будто она состояла из старых легионеров Мария или Суллы, была готова мужественно встретить нападение любого врага.

Пока декан с необходимыми предосторожностями приступил к выяснению, что за отряд приближается к лагерю, Спартак с половиной сторожевой манипулы молча стоял за насыпью, повернувшись в сторону тропинки, чтобы слышать, что там происходит. Внезапно послышался радостный крик декана:

— Это Эномай!

И тотчас же находившиеся с ним гладиаторы повторили:

— Это Эномай!

Вслед за тем послышался могучий голос германца:

— Постоянство и победа! Да, друзья, это я, и со мною девяносто три человека наших, поодиноч-

ке бежавших из Капуи.

Какую радость этот приход вызвал в сердце Спартака, легко вообразить. Он бросился через насыпь навстречу Эномаю, и оба гладиатора крепко, по-братски, обнялись, хотя Эномай старался не задеть вывихнутую руку рудиария.

— О мой Эномай! — воскликнул фракиец в порыве сильного чувства. — Я не надеялся так скоро увидеть тебя.

— И я тоже, — ответил германец, теребя своими огромными ручищами светлые волосы Спартака и целуя его в лоб.

После неоднократных изъявлений уважения к Спартаку и радости по поводу встречи Эномай стал рассказывать, как после упорного, длившегося больше часу сопротивления римским когортам последние разделились на две части: одна продолжала сражаться, а другая пошла в обход по улицам Капуи, намереваясь зайти ему в тыл, и как он, разгадав этот план, оставил защиту заграждений, сооруженных поперек дороги, и, уверенный в том, что одного часа было вполне достаточно для товарищей, бежавших со Спартаком, чтобы уйти от римлян, решил отступить, приказав сражавшимся вместе с ним гладиаторам рассыпаться и укрыться на всю ночь как

можно лучше в каком-либо месте, переменить на следующий день одежду, выйти из города поодиночке и соединиться с ним под сводами акведука, где он будет ждать их до вечера, после чего отправится в дорогу. Рассказал затем, что свыше двадцати товарищей по несчастью пали в ночной битве, происшедшей возле школы Лентула, и что из ста двадцати человек, которые вместе с ним оказывали сопротивление римлянам и потом разбежались по его совету, только девяносто три пришли к нему поодиночке под акведук. Выступив прошлой ночью, они обходными путями дошли до Помпеи, встретили здесь одного из гонцов Спартака, направлявшегося в Капую, и получили от него точные сведения о месте, где беглецы из школы Лентула расположились лагерем.

Велика была в лагере гладиаторов радость, вызванная приходом этой шестой манипулы. Подбросили в костры дров, приготовили скромное угощение; пришедшим были предложены хлеб, сухари, сыр, фрукты и орехи. А после еды все в беспорядке смешались; раздавались одновременные восклицания, знакомые разыскивали друг друга, обнимались и засыпали вопросами: «А, и ты здесь?» — «Как поживаешь?» — «Откуда вы при-

шли?» — «Как добрались сюда?» — «Превосходное место для защиты...» — «Да, мы спасены». — «А как дела в Капуе?» — «А наши товарищи?» — «А Тимандр?» — «Бедняга!» — «Он умер?..» — «Храбрецом!» — «А Помпедий?» — «Он с нами... Эй, Помпедий!» — «А школа Лентула?» — «Растает, как снег на солнце». — «Все придут?» — «Все!».

Подобные вопросы, восклицания и ответы слышались во всех направлениях.

Волнение, говор, обеты, надежды, вызванные в сердцах товарищей Спартака приходом подкрепления, отняли немало времени; по этой причине многие гладиаторы заснули очень поздно, и только к часу первых петухов в лагере восставших стало тихо и спокойно.

С восходом солнца десять рабов и гладиаторов взялись за пастушеские рожки, свирели и флейты и по приказу Спартака начали трубить и будить спящих гладиаторов.

Проснувшись, гладиаторы тотчас же выстроились и явились в полном боевом порядке. Спартак и Эномай произвели им смотр, давая новые распоряжения, внося необходимые изменения в прежние, воодушевляя каждого солдата и снабжая, поскольку было возможно, оружием. Затем была произведена смена караула и посланы из

лагеря две манипулы: одна — запастись продовольствием, другая — дровами.

Все прочие гладиаторы, оставшиеся на площадке, следуя примеру Спартака и Эномая, взяли топоры и другие орудия, которых в лагере было очень много, и начали вынимать из окружавших скал камни, чтобы использовать их для метания в неприятеля руками или с помощью немногих пращей, которые им удалось тут же изготовить из имевшихся в их распоряжении веревок. Эти камни, старательно заостренные гладиаторами с одной стороны, были собраны в огромные груды и сложены в стороне лагеря, которая была обращена к Помпее, откуда нападение было не только вероятно, но и неизбежно.

В этой работе гладиаторы провели весь день и всю ночь. На заре следующего дня они были разбужены криками часовых, призывавших к оружию. На этот раз они действительно увидели две когорты римлян, около тысячи человек, под начальством трибуна Тита Сервилиана, которые, взбираясь на гору со стороны Помпеи, готовились напасть на гладиаторов в их убежище.

Сервилиан два дня спустя после бурной ночи, когда ему удалось ликвидировать восстание десяти тысяч гладиаторов школы Лентула, узнал,

что Спартак и Эномай с несколькими сотнями мятежников ушли по направлению к горе Везувий, грабя виллы, мимо которых они проходили (это было ложью — молва по обыкновению преувеличивала и искажала факты), призывая к свободе и к оружию всех рабов и слуг, которые им попадались навстречу. Ввиду этого трибун поспешил в капуанский сенат, собравшийся в страхе и трепете в храме Юпитера Тифатинского, и здесь изложил, как все произошло, как он действовал для спасения Капуи и республики, и попросил разрешения высказать свое мнение о том, что еще можно предпринять для окончательного подавления восстания в самом его зародыше.

Получив это разрешение, смелый молодой человек, который надеялся на этом восстании и на его подавлении заслужить большие почести и повышение, доказал, насколько опасно было бы оставить Спартака и Эномая в живых и позволить им свободно передвигаться по полям хотя бы в течение нескольких дней, так как к ним ежечасно присоединялись рабы и гладиаторы, все время увеличивая опасность; он сказал, что необходимо пойти вслед за бежавшими, настигнуть их, изрубить в куски и вернуться с их головами, насаженными на копья, для того чтобы выставить

их в школе Лентула Батиата для надлежащего устрашения десяти тысяч гладиаторов.

Этот совет понравился капуанским сенаторам, пережившим уже столько тревожных часов в страхе перед восстанием гладиаторов — страхе, который нарушал мирный покой их жизни, полной наслаждений; они приняли предложение Тита Сервилиана и опубликовали декрет, по которому за головы Спартака и Эномая была назначена награда в два таланта. Вместе с товарищами они, как люди подлые уже по своему положению, сделавшиеся еще более подлыми, занимаясь грабежами на большой дороге, приговаривались к распятию на крестах, причем под угрозой самых суровых наказаний воспрещалось свободным и рабам оказывать им какую-либо помощь.

Другим декретом сенат Капуи поручал трибуну Титу Сервилиану командование над одной из двух когорт легионеров, находившихся в Капуе, в то время как другая когорта вместе с городской милицией под начальством центуриона Попилия должна была остаться для наблюдения за школой Лентула и для охраны города. Сервилиану было дано одновременно право снять в соседнем городе, Ателле, еще одну когорту, и с этими силами

его отправили на окончательную ликвидацию безумного мятежа.

Декреты были переданы для утверждения префекту Мецию Либеону, который чувствовал себя очень плохо от пинка Эномая и от страха. Почти без чувств лежал он два дня в постели в сильной лихорадке. Он подписал бы не два, а десять тысяч декретов, лишь бы они избавляли его от риска даже в самом далеком будущем очутиться перед необходимостью пережить такую же ночь, как та, последствия которой еще до сих пор тревожили его душу и тело.

Таким образом, Тит Сервилиан в ту же ночь выступил в Ателлу, взял там вторую когорту и во главе тысячи двухсот человек кратчайшим путем пришел к Везувию, где, по словам жителей окрестных деревень и поселений, укрылись гладиаторы.

Ночь он провел на склоне горы и с первой зарей, после горячей короткой речи к своим солдатам, стал подниматься к вершине. Когда солнце взошло, он был уже возле лагеря гладиаторов.

Как ни осторожно и тихо двигались римские когорты, выставленный впереди неприятельский часовой услышал и заметил их на расстоянии выстрела из самострела. Раньше, чем они дошли

до него, он, подняв крик тревоги, отбежал к соседнему часовому, и, таким, образом постепенно, поднимая одновременно тревогу, все часовые очень быстро отступили за насыпь, где находились гладиаторы сторожевой полуманипулы с камнями в руках и пращах, готовые встретить римских легионеров дождем метательных снарядов.

Когда крик тревоги прозвучал среди пустынных скал и был повторен много раз эхом недоступных пещер, трибун Сервилиан, пока гладиаторы спешно строились в боевой порядок, пустившись бегом, первый испустил яростный крик атаки, повторенный постепенно тысячей двумястами легионерами и слившийся в оглушительное, подобно реву волн в бурю, страшное и наводящее ужас «барра» — крик слона, с которым римские легионы обычно бросались в атаку.

Но едва Сервилиан и передние ряды первой когорты показались перед насыпью неприятеля, как пятьдесят гладиаторов, стоявшие позади нее, пустили в римлян тучу камней.

— Вперед! Вперед во имя Юпитера Статора! Смелее! Не унывайте! — восклицал трибун, выступая отважно вперед. — В один миг мы будем внутри лагеря этих грабителей и изрубим всех.

И, несмотря на ушибы и раны, причиненные градом камней, падавших на них, который по мере приближения к лагерю гладиаторов становился все более густым, сильным и опасным, римляне продолжали бежать к насыпи, достигнув которой они смогли пустить в дело свое оружие, с силой кидая дротики в тех гладиаторов, которые не были защищены насыпью.

Крики усилились, и схватка начала переходить в ожесточенное кровопролитие.

Между тем Спартак с высоты скалы, на которой стояло построенное в боевом порядке его войско, с проницательностью, достойной Ганнибала или Александра Македонского, сразу понял грубую ошибку, допущенную, по безрассудной юношеской отваге, начальником римлян. Сервилиан повел своих солдат сомкнутым строем сражаться на тропинке, где их фронт не мог быть шире чем в десять солдат рядом, из-за чего глубокая и плотная колонна римлян была поставлена под град камней, которыми атакованные гладиаторы могли засыпать ее с уверенностью, что ни один камень не упадет напрасно, — он понял эту ошибку и немедленно использовал ее так, как это ему позволяла занятая им позиция. Он выдвинул своих солдат вперед, расположил их в

два ряда во всю ширину площадки с той стороны, откуда началась атака, и приказал им метать в неприятеля камни изо всех сил и без перерыва.

— Через четверть часа, — воскликнул Спартак, занявший первое место на краю площадки и бросая камни в римлян, — они обратятся в бегство, и мы, следуя по их пятам, мечами искрошим их в куски!

Как он предвидел, так и случилось. Хотя отважный трибун Сервилиан и вместе с ним многие храбрые легионеры достигли насыпи и, поражая копьями гладиаторов, старались проникнуть за ограду, помимо упорного сопротивления, оказанного им здесь, для них, как и для соратников, находившихся позади и не имевших возможности пользоваться копьями и мечами, становился невыносимым град камней, усиливавшийся с каждой минутой. Камни разбивали шлемы и латы, наносили ушибы, вызывали кровоподтеки, попадали в голову, оглушали и валили с ног. Очень скоро колонна нападавших стала колебаться, раздвигаться, подаваться назад и расстраиваться. Хотя Сервилиан уже хриплым голосом требовал от своих солдат невозможного, то есть чтобы они твердо выдерживали этот ураган камней, однако напор рядов, которым

особенно доставалось от камней, становился все сильнее и сильнее и вызвал наконец общий беспорядок. Началась давка, легионеры стали опрокидывать, топтать друг друга и вскоре обратились в бегство.

Тогда гладиаторы, выскочившие за насыпь с копьями и мечами, стали преследовать римлян, и те, увлекаемые вниз крутым склоном горы, очень скоро пришли в полное расстройство. Эта длинная цепь людей, начинавшаяся от насыпи, из-за которой все время выходили, пылая жаждой убийства, гладиаторы, и оканчивавшаяся хвостом колонны римлян, ставшим теперь, после того как она повернула обратно, головной частью колонны, могла показаться наблюдавшему издалека огромной змеей, ползущей и извивающейся по склону горы.

Особенность этого очень короткого сражения, так неожиданно превратившегося для римлян в поражение, состояла в том, что свыше двух тысяч людей, одни — убегавшие, другие — преследующие, не могли ни те ни другие сражаться. Римляне даже при желании не могли остановиться, так как каждого бежавшего впереди теснили сзади, а он в свою очередь теснил передних; по этой же причине не могли остановиться и гладиа-

торы, так как узость тропинки, как бы врезанной в скалы и лес, и крутизна склона давали этому потоку людей невольную быстроту, и, подобно быстро движущейся лавине, он мог остановиться только у подошвы горы.

И действительно, только там, где тропинка переходила в широкую дорогу и где склон горы стал более отлогим, бегущие могли рассыпаться по соседним полям и ближайшим садам, подобно потоку, расширяющемуся у основания горы. Только там и гладиаторы могли развернуть свой фронт, преследуя легионеров, рубя и коля их направо и налево.

Возле прелестного домика остановился Сервилиан, последним напряжением охрипшего голоса призывая к себе своих солдат и оказывая гладиаторам упорное сопротивление, но не много было таких, которые его услышали, и еще меньше таких, которые примкнули к нему и встретили грудью натиск неприятеля. В другом месте центурион Гай Элпидий Солоний собрал отряд в пятьдесят легионеров и задержал яростное наступление преследователей мужеством воинов и их крепкими мечами; и кое-где, там

опцион[86], здесь декан, победители тевтонов и кимвров под начальством Мария, победители греков и Митридата под начальством Суллы, старались собрать поодиночке кучки храбрецов и изменить исход сражения; но это были только героические и бесплодные усилия, так как основная масса легионеров, пришедшая в полное смятение и беспорядок, охваченная паникой, совершенно рассеялась и каждый думал только о собственном спасении.

Спартак с манипулой гладиаторов теснил Сервилиана с сотней храбрецов, дравшихся рядом с ним; завязалась жестокая и кровопролитная схватка. Но Сервилиан пал от руки Спартака. Число гладиаторов все увеличивалось с каждой минутой, римляне быстро были сломлены и перебиты все; а в это время Эномай ударом меча начисто снес голову мужественного центуриона Солония и перебил со своим отрядом немногих римлян, еще сражавшихся возле павшего.

Поражение обеих когорт было окончательное: более четырехсот легионеров было убито, свыше трехсот раненых и нераненых попало в плен, и, обезоруженные, они были, согласно приказу

---

[86] Сноски: 86

Опцион — младший офицер в центурии.

Спартака, отпущены на свободу. У победителей было тридцать убитых и около пятидесяти раненых.

Немного позже полудня гладиаторы, нагруженные добычей, надевшие шлемы и латы, отнятые у неприятеля, с копьями и дротиками в руках и с мечами у пояса, вернулись в свой лагерь на Везувий, унося с собой огромное количество оружия, чтобы снабдить им своих товарищей по несчастью, которые вскоре должны были явиться на помощь в большом числе.



Глава XII
Спартак доводит число своих воинов с шестисот до десяти тысяч

Когда весть о поражении когорт, отправленных для преследования бежавших из Капуи гладиаторов, дошла до соседних городов, по всей Кампании поднялась сильная тревога и паника; всех ошеломили подробности резни, учиненной мятежниками в рядах легионеров.

Нола, Нуцерия, Геркуланум, Байи, Неаполь, Мизенум, Кумы, Капуя и все остальные города этой плодороднейшей провинции приготовились к обороне; горожане вооружились, стояли на страже дни и ночи у ворот и на бастионах. Помпея, стены которой были снесены, не осмеливалась сопротивляться гладиаторам, приходившим туда много раз запасаться провиантом; однако они вели себя там не как враги и не как толпы дикарей, а как самые дисциплинированные войска, к немалому удивлению жителей города.

Тем временем префекты отдельных городов посылали гонцов за гонцами к Мецию Либеону, префекту всей провинции, чтобы побудить его

принять меры против растущей опасности, и несчастный Меций Либеон, сам растерявшийся и впавший в панику, в свою очередь отправлял гонцов к римскому Сенату, умоляя о скорой и серьезной помощи.

В Риме, естественно, не было никого, кто был склонен серьезно считаться с бунтом гладиаторов, кроме Сергия Катилины и Юлия Цезаря; одни они могли оценить важность и серьезность восстания рабов, ибо знали его корни, все нити и размах, а также дарования его вождя; кроме этих двух, никто и не думал о когортах, изрубленных в куски гладиаторами, тем более что спасшиеся от этой резни солдаты рассказывали ее подробности, сваливая всю вину — и это отчасти справедливо — на самонадеянное невежество трибуна Сервилиана, которого в насмешку называли «маленьким Варроном»[87].

К тому же римский народ был втянут в гораздо более серьезные и опасные войны; против его владычества восстала почти вся Испания во главе с храбрым и рассудительным Серторием, об ум и мужество которого разбилась храбрость юного Помпея и тактика старого Метелла; в это же

[87] Сноски: 87

Гай Теренций Варрон, римский политический деятель и военачальник, был известен хвастливым и самонадеянным характером.

время могущественный Митридат снова начал войну против римлян и уже успел разбить Марка Аврелия Котту, бывшего в этом году консулом вместе с Луцием Лицинием Лукуллом.

Консул Лукулл, находившийся еще в Риме и собравший предназначенные ему легионы, чтобы идти против Митридата, чьи победы тревожили в Риме народ и Сенат, с одобрения Сената послал в Кампанию против гладиаторов трибуна Клодия Глабра, храброго и опытного воина, и дал ему для борьбы с мятежниками шесть когорт, то есть около трех тысяч человек.

В то время как это происходило в Риме и пока Клодий Глабр снаряжал доверенные ему когорты, чтобы повести их против гладиаторов, последние великолепно использовали свою победу: за двадцать дней их число с шестисот, каким оно было в день сражения с Титом Сервилианом, выросло до тысячи двухсот, причем почти все они были хорошо вооружены и все были готовы отдать жизнь за дело свободы.

Спартак, превосходно знакомый с боевым строем греческих фаланг, фракийской милиции, войск Митридата и римских легионов, в рядах которых он сражался, был восторженным поклонником римского строя; он убедился, что

не было лучшей и более мудрой тактики, чем у воинственного латинского народа, и бесчисленные победы латинян над мужественными, презирающими жизнь и отлично вооруженными народами он приписывал дисциплине, строевому порядку и структуре римского легиона, а завоевание ими почти всего мира — военной доблести италийцев.

Поэтому Спартак, как это было выше указано, старался ввести в войске гладиаторов в точности боевой строй римского войска, и, как только он получил возможность после победы над Титом Сервилианом войти в Помпею, он заказал значок для первого гладиаторского легиона; на древке этого значка, там, где у римлян был орел, он велел прикрепить красную шапку — головной убор тех рабов, которых хозяева собирались отпустить на волю, а под шапкой — небольшое бронзовое изображение кошки, так как кошку, животное самое свободолюбивое, помещали в качестве символа у ног статуи Свободы. Кроме того, по римскому обычаю, он определил значки и каждой центурии: к древкам были прикреплены две соединенные руки из бронзы, а под ними — тоже маленькая шапка с двумя номерами: когорты и легиона. Спартак нисколько не сомневался, что,

хотя теперь он мог выступить лишь с небольшим отрядом вооруженных, к нему стекутся все гладиаторы Италии и что поэтому много будет легионов и еще больше когорт, которыми ему придется командовать.

Господствуя на Везувии и на прилегающих равнинах, Спартак заставлял свои отряды ежедневно и подолгу упражняться в тактических маневрах римских легионов, раздвигать и смыкать ряды, сходиться в намеченном пункте, делать обходные движения, поворачиваться направо и налево, строиться в колонну и в три боевые линии из третьей, перейдя через вторую, занимать место в первой линии и т. д. Из труб и букцин[88], отнятых у легионеров Сервилиана, Спартак организовал небольшой духовой оркестр и научил его играть утреннюю зорю, сбор и сигнал к атаке.

Таким образом, с прозорливостью искуснейшего полководца используя время, которое противник вынужден был ему дать, Спартак занимался строевым обучением своих солдат и готовился оказать упорное сопротивление врагу, нападения которого ждал в скором времени.

И действительно, Клодий Глабр не замедлил

---

[88] Сноски: 88

Букцина — медный духовой инструмент.

явиться. Едва собрав свои когорты, он большими переходами двинулся против гладиаторов.

Строгой дисциплиной, энергично проводимой среди воинов, Спартак в короткое время сумел завоевать расположение и любовь всех окрестных пастухов и дровосеков; благодаря этому уже за день до прибытия Клодия Спартак знал не только о его приближении, но и с какими силами тот идет его атаковать. И так как он понял, что с тысячей двумястами людьми он не мог выступить в открытом поле против трех тысяч с лишним римских легионеров, то отступил в свой лагерь на Везувий и здесь ждал неприятеля.

И атака, по-видимому, должна была начаться после полудня в двадцатый день пребывания гладиаторов на Везувии. Около этого часа манипула легковооруженных пехотинцев, рассыпавшись цепью по лесу, находившемуся по обеим сторонам тропинки, и медленно взбираясь наверх, приблизилась к лагерю гладиаторов и пустила в него тучу стрел; стрелы не принесли большого вреда по причине расстояния, отделявшего стрелков от лагеря, но все же ранили нескольких гладиаторов, и в том числе Борторикса.

Но в тот момент, когда Спартак приготовился выйти из лагеря против неприятеля, которому

почти не причинил вреда град камней, метаемых гладиаторами, так как римляне укрывались за деревьями леса, стрелки и пращники быстро отступили, совершенно прекратив наступление.

Спартак понял, что поражение Сервилиана послужило новому предводителю римлян хорошим уроком, как относительно местоположения, так и относительно характера неприятеля, с которым ему предстоит сражаться; он понял, что атаки против его лагеря, подобные первой, больше не повторятся и что Клодий прибегнет к другим способам, чтобы выманить гладиаторов с площадки и сразиться с ними в выгодных для римлян условиях.

Легкая пехота римлян действительно была выслана Клодием наверх с целью проверить, находятся ли гладиаторы в своем лагере. Удостоверившись в этом, Клодий, очень хорошо знавший эти места, так как он исходил всю Кампанию, сражаясь под начальством Суллы во время гражданской войны, потер себе руки и с улыбкой удовлетворения, которая так не шла к его толстым, строгим губам и к его брюзгливому загоревшему лицу, воскликнул:

— Мышь в западне! Через пять дней все они будут в нашей власти.

Центурионы и опционы, окружавшие его, с изумлением посмотрели друг на друга, не понимая слов трибуна, но вскоре они его поняли; с собою он привел две тысячи человек, третью тысячу оставил на широкой консульской дороге у подошвы горы под начальством центуриона Марка Валерия Мессалы Нигера, своим четырем когортам приказал следовать дальше вверх, по дороге на Везувий, вплоть до места, где начинались леса и извилистая тропинка, которая могла быть единственным доступом в лагерь гладиаторов. Здесь он остановил свое войско и, выбрав удобное место на красивой мызе, приказал разбить лагерь. Затем он немедленно послал опциона к центуриону Валерию Мессале Нигеру с приказанием точно выполнить заранее условленный маневр.

Этот Марк Валерий Мессала Нигер, ставший потом, через девять лет после описываемых нами событий, консулом, был молодой человек лет тридцати трех, смелый, честолюбивый и жаждавший военных отличий; он сражался во время гражданской войны в войсках Суллы и показал там свою доблесть, а потом, за четыре года до тех событий, о которых мы рассказываем, последовал за Аппием Клавдием Пульхром, посланным

в Македонию против нескольких восставших провинций, в частности против фракийцев. В сражении на Родопских горах Валерий Мессала отличился своим мужеством и был награжден за это гражданским венком и званием центуриона. Но немного времени спустя болезненный Аппий Клавдий Пульхр умер, и война прекратилась; молодой Мессала вернулся в Рим. В тот день, когда новость о восстании гладиаторов пришла в Рим, он готовился следовать за консулом Лукуллом к Понту; но так как тот отправился в эту экспедицию только в середине весны, то Валерий Мессала попросил разрешение и был отпущен с Клодием Глабром в *карательную экспедицию* против гладиаторов, ибо гордый патриций Валерий Мессала принадлежал к числу тех, у кого мысль о *войне* с гладиаторами вызывала улыбку сожаления и презрения.

Впрочем, к жажде славы у Мессалы Нигера в данном случае присоединилась другая, тайная причина — именно страшная ненависть, которую он питал к Спартаку, ибо он был родственником Валерии Мессалы, вдовы Суллы, и, когда весть о ее любовной связи со Спартаком дошла до него, он почувствовал такой стыд и негодование, что не хотел больше видеться и здороваться со своей

кузиной; по отношению к подлому гладиатору, осквернившему своими объятиями имя Мессала, он испытывал глубокую и неугасимую ненависть.

Получив приказ трибуна Клодия Глабра, Мессала двинулся со своими двумя когортами вдоль подножия Везувия, огибая гору до тех пор, пока через несколько часов не достиг склона, обращенного на Нолу и Нуцерию. Он быстро добрался до той дурной дороги из Нолы, которая вела к известному месту, где среди пропастей, скал и обвалов терялись все тропинки. Здесь, остановив когорты, он приказал разбить лагерь.

Мы не станем описывать, как оба римских отряда на обоих склонах горы соорудили в два часа с небольшим лагеря. Как обычно, лагеря имели квадратную форму, были окружены рвом и валом с внутренней стороны, защищенным сверху густым частоколом. Быстрота, с которой римляне строили свои лагеря, их совершенство и безопасность слишком хорошо известны благодаря описаниям и похвалам историков и военных специалистов, так что нам пришлось бы только повторять эти восхваления.

Так Клодий Глабр с одной стороны, а Мессала Нигер — с другой к вечеру расположились ла-

герем, заперев два единственных имевшихся у гладиаторов выхода из их лагеря. Тут римские когорты поняли план своего вождя и возликовали при мысли, что мышь действительно оказалась запертой в мышеловке.

Как воин предусмотрительный и благоразумный, Клодий послал только одну тысячу человек охранять тропинку, которая вела к Ноле, ибо крайняя крутизна горы с этой стороны была единственным препятствием для спуска гладиаторов. Большую часть своих сил он сосредоточил у дороги со стороны Помпеи, где спуск был несравненно удобнее и откуда поэтому с наибольшей вероятностью следовало ожидать атаки.

На заре следующего дня Спартак, обходя, по своему обыкновению, площадку, увидел врагов, расположившихся лагерем под скалами, выходящими на Нолу, и, не заметив еще лагеря Клодия, чему мешали леса, все-таки заподозрил неладное. Чтобы выяснить положение, он во главе двух манипул стал спускаться по тропинке, ведущей к Помпее. Но не успел он пройти двух миль, как его авангард обнаружил римских часовых, с которыми даже обменялся несколькими дротиками и стрелами. Спартак остановил свой отряд, а сам дошел до того места, куда добрался его авангард,

и перед глазами пораженного гладиатора сразу предстал римский лагерь во всей его грозной мощи.

Неподвижно стоял Спартак; он побледнел и не говорил ни слова, устремив глаза на подымавшийся перед ним вал; римский лагерь производил на него такое впечатление, какое на заживо погребенного при пробуждении произвело бы прикосновение руки к холодной, тяжелой крышке его гроба.

Римские часовые при первом появлении авангарда гладиаторов дали сигнал к тревоге, по которому уже целая центурия вышла из лагеря и двинулась, пуская стрелы, на Спартака; а он, погруженный в скорбь, вызванную мыслью, что он заперт и безвозвратно погиб, не двигался с места и не замечал дротиков, которые, свистя, падали вокруг него и любой из которых мог его поразить.

Его вывел из неподвижности бывший во главе авангарда декан, сказав:

— Спартак!.. Что нам делать?.. Нужно идти вперед и сражаться или отступать.

— Ты прав, Альцест, — печально ответил рудиарий. — Отступать.

И в то время как авангард возвращался быст-

рым шагом, Спартак отступал медленно, пока не дошел до двух манипул, поджидавших его, и в глубокой задумчивости повел их обратно в лагерь.

Римская центурия преследовала гладиаторов некоторое время, беспокоя их стрелами, но скоро и она, согласно полученному ею приказу, вернулась в свой лагерь.

Достигнув площадки, Спартак призвал к себе Эномая, Борторикса, хотя слегка раненного, но полного уверенности и рвения, и других наиболее опытных и отважных командиров. Он отвел их в сторонку, по направлению к Ноле, показал на лежавший внизу неприятельский лагерь, изложил, как обстояли дела и в каком критическом положении они очутились, и спросил, что, по их мнению, следовало бы предпринять в таких тяжелых обстоятельствах.

Эномай, вдохновляясь своим неукротимым мужеством, своей нерассуждающей горячностью и диким презрением к смерти, закричал:

— Клянусь эриниями!.. Нам остается лишь броситься с яростью диких зверей на тот или другой римский лагерь. Тысяча погибнет, а двести пробьется.

— Если бы это было возможно! — сказал Спар-

так.

— Почему нет? — пылко спросил германец.

– Ты не учитываешь, что вражеские лагеря расположены как раз там, где крутые и обрывистые тропинки, ведущие к нашей площадке, выходят на свободную, открытую местность. Мы не сможем развернуть наши силы больше чем на десять рядов. Какой толк из того, что нас тысяча двести, если сражаться будут не более чем по двадцать зараз?..

Слова Спартака были настолько справедливы и его соображения настолько верны и очевидны, что Эномай с глубоким вздохом опустил голову на грудь, а остальные гладиаторы стояли молчаливые и подавленные.

— Продовольствия у нас только на пять или шесть дней, — продолжал Спартак после короткой паузы. — Ну… а потом?..

Вопрос, поставленный вождем печальным и мрачным тоном, предстал командирам, собравшимся вокруг Спартака, во всей неоспоримой и угрожающей силе. От последствий этого гнетущего, неумолимого, страшного вопроса никак нельзя было спастись… Семь, восемь, десять дней еще можно было продержаться здесь… А потом?

Выхода не было… Или сдаться… или умереть…

Продолжительно и печально было молчание этих двадцати мужественных людей, для которых мучением и невыносимым горем было видеть погибшими в один миг надежды, поддерживавшие в течение пяти лет их существование, согревавшие им кровь, одухотворявшие их жизнь… Видеть такой жалкий конец их дела в тот момент, когда, казалось, победа была подготовлена и торжество обеспечено!.. Что значила смерть в сравнении со столь страшным несчастьем?..

Спартак первым прервал это печальное молчание, сказав:

— Идите со мной. Обойдем эту площадку и внимательно посмотрим, нет ли еще способа, как бы он ни был труден и опасен, выйти из этой могилы живыми, даже если только сотне из нас удастся избежать смерти.

И в сопровождении своих товарищей по оружию Спартак приступил, безмолвный и задумчивый, к обходу лагеря; он останавливался по временам, напоминая льва, запертого в железной клетке, который с фырканьем и ревом беспокойно ищет способ сломать решетки своей тюрьмы.

Когда гладиаторы подошли к тому месту, где высочайшей стеной подымались отвесные скалы, отделявшие площадку от вершины горы,

Спартак поднял глаза на эту страшную крутизну и прошептал:

— Даже белки и те не поднялись бы!..

И после короткого размышления добавил:

— А если бы мы поднялись?.. Мы только ухудшили бы наше положение.

Наконец начальники гладиаторов дошли до глубоких пропастей, выходивших на Сорренто, и все остановились у края площадки, чтобы на глаз измерить их глубину. И почти все в ужасе отвели взоры перед этой головокружительной бездной.

— Здесь, — заметил один из начальников манипулы, — только камни могут достигнуть дна.

Недалеко от начальников, сидя на земле, пятнадцать-двадцать гладиаторов, по национальности галлов, сплетали с необыкновенной ловкостью щиты из толстых ивовых прутьев, которые они потом покрывали кусками очень твердой кожи. Блуждающий взор Спартака, все еще погруженного в глубокое раздумье, случайно упал на эти щиты и на первобытную примитивную работу своих товарищей по несчастью.

Видя, что Спартак машинально смотрит на эти щиты, один из галлов сказал ему, улыбаясь:

— Кожаных щитов и щитов из металла у нас в лагере не более семисот, и, чтобы снабдить

остальных наших товарищей по оружию щитами, которых у них нет, мы придумали делать их хотя бы так...

— Гез и Тетуан[89] щедро вознаградят вас в будущей жизни! — воскликнул Спартак, тронутый любовной заботой, побуждавшей этих бедных галлов посвящать делу освобождения угнетенных не только свои руки, но даже все свои свободные минуты, все свои силы и способности.

Наступило короткое молчание. Фракиец, забыв о всех заботах, стоял, благосклонно и с любовью смотря на молодых галлов и на их работу.

— А много у вас еще кожи? — спросил он.

— Едва на два десятка щитов!

— Мы достали ее в Помпее в последнюю нашу экскурсию...

— Жалко, что кожа не растет, как ивовые прутья, в лесах!

Глаза Спартака снова устремились на эти толстые, крепкие, очень гибкие прутья, небольшие кучи которых лежали на земле там и сям около этих двадцати импровизированных оружейников.

Последние слова галла в ответ на заданный ему

---

[89] Сноски: 89

Тетуан — божество у галлов.

вопрос поразили фракийца. Он встрепенулся, как будто приготовился к прыжку, и, нагнувшись к земле, набрал горсть этих ивовых прутьев.

— Клянусь Юпитером, всеблагим и величайшим освободителем! — воскликнул он с сияющим от радости лицом. — Мы спасены!..

Эномай, Борторикс и остальные центурионы, опционы и деканы повернулись, как ошеломленные, к Спартаку, и глаза всех устремились на него с выражением вопроса.

— Что ты сказал? — спросил Эномай.

— Как это мы спасены? — задал вопрос Борторикс.

— И кто нас спасет? Каким образом?.. — послышались вопросы.

Спартак, все время очень внимательно рассматривавший прутья, сказал, обращаясь к своим товарищам:

— Видите эти прутья?.. Мы сделаем из них длинную лестницу, один конец ее прикрепим к этой вот скале и спустимся по одному в это глубокое ущелье, оттуда выйдем внезапно в тыл римлян и изрубим их в куски.

Улыбка недоверия показалась на губах почти всех командиров, и Эномай, безнадежно покачав головой, сказал:

— Спартак, ты, право, бредишь!

— Лестницу в восемьсот или девятьсот футов длиной? — недоверчиво спросил Борторикс.

— Для того, кто сильно желает, — твердо возразил Спартак, — нет ничего невозможного. Нас тысяча двести человек, и за три часа мы сплетем эту лестницу.

И, своими энергичными словами вселяя в других ту горячую веру, которая жила в нем самом, он приказал, чтобы четыре манипулы вооруженных топорами гладиаторов немедленно отправились в соседние леса нарубить ивовых прутьев потолще, подходящих для той цели, которой они должны были служить. Одновременно он приказал, чтобы остальные разместились на площадке по манипулам в два ряда, запасшись веревками, лентами, ремнями, пригодными для связывания и скрепления разных частей необыкновенной лестницы, которую они решили соорудить.

Меньше чем через час постепенно начали возвращаться группами по восемь, десять, двадцать человек гладиаторы, ушедшие в лес за ивовыми ветвями, принося с собой огромнейшие связки, и Спартак, первым показывая пример связывания толстых стеблей ивняка, предложил всем принять участие в этой работе: одним подго-

товлять материал, другим связывать, третьим складывать по мере изготовления эту чудесную лестницу, которая должна была принести им спасение.

Работа протекала с пылом, равным степени опасности, угрожавшей гладиаторам; и на площадке, где работала одновременно тысяча человек, господствовали порядок и тишина, прерываемая только взаимными просьбами вполголоса о помощи и советах для лучшего исполнения общей работы.

За два часа до захода солнца лестница длиною почти в девятьсот футов была готова. Тогда Спартак приказал четырем гладиаторам развернуть ее для того, чтобы он мог собственными глазами просмотреть ее и проверить на ощупь ее прочность и правильность связи всех ее частей. И по мере того как Спартак просматривал и ощупывал каждый кусок, другие четыре гладиатора снова свертывали лестницу.

С наступлением сумерек Спартак приказал лагерю тихо сняться и каждой полуманипуле сделать связку из своего оружия, так как предстоящий спуск был таков, что не позволял обременять людей лишней тяжестью. Он велел скрученную по его приказу веревку из полос ткани всякого

сорта и цвета прикрепить к связке оружия первой полуманипулы, чтобы, как только, спускаясь по одному, солдаты, составляющие эту полуманипулу, достигнут дна пропасти, их связка оружия пришла туда же на конце этой веревки.

Затем, приказав прикрепить к одному из концов лестницы два огромных камня, он распорядился потихоньку опустить этот конец вдоль обрывов, образовавших стены пропасти. Этой мерой предосторожности, как Спартак благоразумно рассудил, он добьется двух результатов, одинаково важных для успешного спуска: во-первых, так как вес двух камней был больше, чем вес любого атлета, то, если конец лестницы, к которому они были привязаны, дойдет без затруднений до дна пропасти, это будет верной гарантией, что и люди могут решиться на спуск, не опасаясь, что их вес может вызвать разрыв лестницы; во-вторых, фракиец рассудил, что камни будут прочно держать лестницу на дне бездны, ослабляя опасное колебание, которое, несомненно, должно было получиться, так как вследствие своей гибкости это хрупкое и легкое сооружение под тяжестью людей стало бы качаться.

Когда все было сделано, едва тьма начала сгущаться вокруг горы, Эномай первым приступил

к опасному спуску. Обхватив руками верхушку скалы, к которой был прочно привязан другой конец лестницы, гигант-германец с несколько побледневшим лицом — ибо этот новый и рискованный спуск в бездну, против скал которой ничего не могли сделать ни сила рук, ни неукротимая энергия духа, был таким видом опасности, какому он никогда не подвергался, — гигант-германец, начиная спускаться, шутя проговорил:

— Клянусь всеведением и всемогуществом Вотана[90], я думаю, что даже Геллия, самая легкая из валькирий[91], не чувствовала бы себя удобно при этом необыкновенном спуске.

И пока он произносил эти слова, его гигантская фигура постепенно скрывалась меж скал, окружавших пропасть. Вскоре исчезла и его голова. Спартак, изогнувшись через скалу, следил глазами за спускавшимся товарищем и испытывал страшную дрожь в теле при каждом колебании, при каждом дрожании лестницы. Его лицо было очень бледно, и казалось, что душа его висела на этой невиданной подвижной лестнице.

---

[90] Сноски: 90

Вотан (Один) — верховное божество в германской мифологии.

[91] Сноски: 91

Валькирии — небесные девы-воительницы, дочери Вотана, сопровождающие души героев в небесную обитель Валгаллу.

Гладиаторы, столпившиеся около края площадки, стояли, погруженные душой и глазами в бездну; находившиеся позади поднимались на носки и смотрели на скалу, к которой была привязана лестница; все были неподвижны и безмолвны, и среди ночной тишины слышалось только тяжелое дыхание тысячи двухсот человек, жизнь и судьба которых висели в этот момент на этой хрупкой снасти из прутьев.

Сильное периодическое, размеренное качание лестницы показывало тревожным взорам гладиаторов все увеличивающееся число проходимых Эномаем ступенек.

Волнообразное колебание лестницы продолжалось не более трех минут, но оно показалось бедным гладиаторам тремя олимпиадами, тремя веками; наконец всякое колебание прекратилось.

И тогда тысяча голов на площадке, движимых одним побуждением, одной мыслью, повернулась ухом в сторону пропасти, и неописуемый трепет появился на этой тысяче лиц.

После нескольких мгновений, в течение которых даже дыхание замерло в их стесненных грудях, послышался глухой голос, который сперва казался отдаленным и неясным, но постепенно

усиливался и становился звонким, как будто человек, кому принадлежал этот голос, быстро приближался и кричал:

— Слушай!

Вздох облегчения, подобный реву или рычанию, вырвался из всех грудей… Это был условный сигнал — Эномай беспрепятственно достиг дна пропасти.

Тогда с лихорадочным пылом, каждый стараясь быть как можно более ловким и легким, гладиаторы начали один за другим спускаться по этой удивительной лестнице, которая — теперь это было ясно — вернет всех от смерти к жизни, от полного крушения к славной победе.

Добрых тридцать шесть часов продолжался спуск, и только на заре второго дня все оказались внизу, на равнине, за исключением оставшегося на горе Борторикса, который, спустив вниз оружие последней манипулы и несколько связок топоров, кос и трезубцев, которые Спартак приказал принести и спрятать, так как они могли послужить для вооружения товарищей, приходящих невооруженными, спустился наконец и сам.

Нет нужды описывать, какими выражениями любви и признательности осыпали гладиаторы Спартака, который так чудесно, благодаря своему

уму, спас их.

Но он, призвав гладиаторов к молчанию, приказал каждой манипуле укрыться в окружающих обрывах и скалах и притаиться там до наступления ночи.

Долгими, как вечность, показались эти часы нетерпеливым бойцам; но наконец солнце начало склоняться к западу, и, едва небо стало принимать цвет еще не темный, но в котором светлый тон уже угасал, две когорты гладиаторов вышли из своих убежищ, выстроились и, двигаясь с величайшей осторожностью и в глубочайшем молчании, направились одна под начальством Эномая к морскому берегу, другая под командой Спартака по направлению к Ноле.

И так как обеим надо было совершить одинаковый по расстоянию путь, то почти в одно время, за час до полуночи, та и другая зашли в тыл обоих римских лагерей.

Подойдя совсем близко к лагерю Мессалы Нигера, Спартак приказал своей когорте остановиться и, один, очень осторожно, направился к валу лагеря римлян.

— Кто идет? — закричал часовой, которому послышался шум в соседнем винограднике, откуда пробирался Спартак.

Спартак остановился, не произнося ни слова.

Наступило долгое молчание, в течение которого часовой римского лагеря сконцентрировал все свои чувства в слухе, но кругом все было тихо.

Скоро до Спартака донесся звук мерных шагов патруля под начальством декана, наблюдавшего за часовыми. Услышав оклик часового, вблизи которого спрятался Спартак, он поспешил к нему, чтобы узнать, в чем дело.

Так как ночь была необыкновенно тихая, фракиец мог слышать следующий разговор, хотя и происходивший вполголоса.

— Что случилось? — спросил голос, без сомнения принадлежавший декану.

— Мне показалось, я слышал какой-то шум среди этих кустов винограда.

— Вероятно, это была лисица, идущая по следам курицы.

— Я тоже подумал, что это какое-то животное, блуждающее по полям. О гладиаторах и говорить нечего, они там наверху и оттуда не выберутся.

— Я слышал, как центурион повторял, что они как мышь в мышеловке.

— О, будь уверен, Клодий Глабр — старый кот, для зубов которого такой мышонок, как этот Спартак, — детская игрушка!

После короткого молчания, во время которого Спартак загадочно улыбнулся в скрывавшей его тьме, декан продолжал:

— Стереги же лучше, Септимий, но не принимай лисиц за гладиаторов.

— Было бы слишком много чести для гладиаторов! — сострил в заключение солдат Септимий.

И снова все стало тихо.

Тем временем Спартак, глаза которого привыкли к темноте, начал различать то, что ему было нужно, а именно — форму рва и вала римского лагеря, так как он пришел сюда затем, чтобы узнать, какие из четырех ворот лагеря были ближе всего.

В это время патруль, возвратившись на назначенный ему пост, разжег почти погасший костер, и скоро красные и блестящие языки оживившегося пламени стали бросать свои лучи на частокол и помогать таким образом Спартаку в его намерениях, так как он легко мог разглядеть, где расположены декуманские ворота, то есть те, которые в римских лагерях находились дальше всего от позиций, угрожаемых неприятелем. В лагере Мессалы Нигера эти ворота были обращены в сторону Нолы.

Как только Спартак ознакомился с расположе-

нием вала, он пошел обратно, добрался до своей когорты и, направив ее в обход, с предосторожностями повел к декуманским воротам. Безмолвно и осторожно шагал отряд, пока не подошел так близко к лагерю, что топот шагов не мог не дойти до слуха римского часового.

— Кто идет? — закричал легионер Септимий тоном, по которому Спартак мог угадать, что на этот раз легионер не сделал ошибки, приняв лисиц за гладиаторов.

И, не получая никакого ответа, бдительный Септимий криком дал несколько раз сигнал к тревоге.

Но гладиаторы, бросившись бегом, спустились в ров и, подымаясь по другой его стороне с яростью и неслыханной быстротой, одни на спинах других, в мгновение ока были наверху частокола. Спартак, совершенно излечившийся от вывиха руки, проник сюда первым с необыкновенной ловкостью; он стремительно напал на легионера Септимия, с трудом и слабо защищавшегося от ударов, и закричал ему громовым голосом:

— Лучше бы на тебя напала лисица, которую ты больше уважаешь, чем гладиатора, злой насмешник!

И, не закончив даже этих слов, он пронзил ле-

гионера насквозь.

Между тем гладиаторы по четыре, по восемь, по десять человек врывались в лагерь. Началась резня, какая обычно бывает при неожиданных ночных нападениях.

Действительно, римляне лежали, погруженные в сон, не имея никаких оснований опасаться неприятеля, которого они считали совершенно запертым в его стане; тщетно пытались они оказать сопротивление яростному натиску гладиаторов, которые, усиливаясь с каждой минутой числом и господствуя уже над декуманскими воротами, кидались по палаткам на легионеров, захваченных врасплох, сонных, безоружных, и рубили их. Бойня была ужасающая.

Весь римский лагерь в один миг наполнился страшными криками, проклятиями, мольбами, паникой, бегством, смятением и смертью. Это было не сражение, а кровопролитное избиение, во время которого за полчаса с небольшим свыше четырехсот легионеров простились с жизнью, остальные бежали очертя голову в разные стороны.

Только около сорока, наиболее доблестных, под начальством Валерия Мессалы Нигера, почти все без лат и щитов, но наскоро вооруженные

мечами, пиками и дротиками, отступили к преторским воротам, главным воротам лагеря, расположенным против декуманских, и, храбро сражаясь, старались сдержать врага в надежде, что их сопротивление может дать время беглецам собраться и снова двинуться в бой.

Среди этих храбрецов, естественно, выделялся Мессала Нигер; он упорно сражался, ободрял римлян доблестными призывами и время от времени звал Спартака, крови которого он жаждал, приглашая его помериться с ним в бою:

— Эй!.. Спартак!.. Подлый вождь гнуснейших разбойников!.. Где ты? Подлый раб, подойди скрестить мечи со свободными гражданами!.. Спартак, грабитель, где ты?

Несмотря на крики, стоны, звон оружия и шум разного рода, наполнявшие лагерь, фракиец услышал в конце концов дерзкие слова римлянина и, сильной рукой проложив себе дорогу среди своих бойцов, столпившихся около этой кучки легионеров, искал вызывавшего на бой, в свою очередь восклицая:

— Эй!.. Римский разбойник, ты так благородно снимаешь с себя в такую холодную ночь свою одежду, чтобы напялить ее на чужую спину, грабитель, сын грабителей, оставь для себя эти

прозвища, они твое единственное, подлинное достояние!.. Вот я, римлянин, чего ты хочешь?

И при этих словах он встретился с Мессалой, который с необыкновенной яростью напал на него и закричал прерывистым от тяжелого дыхания голосом:

— Я хочу тебя изрубить… на куски… осквернить честный меч Валерия Мессалы, запачкав его твоей кровью…

Оскорбительные слова центуриона вызвали бешеный гнев фракийца, который, отбив яростную атаку римлянина и перейдя сам в наступление, одним ударом превратил в щепки щит, другим ударом пробил его кольчугу, серьезно ранив его в бок, и потом так сильно ударил по верху шлема как раз в тот момент, когда Мессала произносил последние из приведенных слов, что несчастный был совершенно оглушен, зашатался и упал; и счастье его, что имя Валерии Мессалы, воскресив воспоминания и чувство любви в груди гладиатора, погасило сразу гнев, пылавший в нем, и удержало руку, готовую пронзить центуриона.

И конечно, Мессала не был наглецом, способным только на вызов, он действительно был силен и храбр; но, как он ни был силен и искусен

во владении оружием и каким бы он ни обладал львиным мужеством, он не мог устоять против Спартака, который, бесспорно, обладал наиболее сильной рукой и наиболее метким клинком того времени.

Итак, фракиец задержал свой меч в момент, когда он был на несколько дюймов от груди упавшего центуриона, и, повернувшись против двух опционов, прибежавших на помощь Мессале, стремительным рядом ударов выбив меч из рук одного и ранив в живот другого, крикнул:

— Иди, юноша, и расскажи, что подлый гладиатор подарил тебе жизнь!..

Расправившись с обоими опционами, он повернулся к Мессале, помог ему встать и передал его двум гладиаторам, чтобы они охраняли его от ударов вновь прибывающих товарищей.

Так, вскоре после того, как были убиты почти все те храбрые римляне, которые пытались сопротивляться гладиаторам, римский лагерь оказался в полной власти победителей.

То же самое повторилось и там, где Эномай, напав на лагерь Клодия Глабра, менее чем в час одержал полную победу над войском последнего, обратившимся в стремительное бегство и оставившим лагерь во власти мятежников.

Таким образом, благодаря мужеству и проницательности Спартака тысяча с небольшим гладиаторов одержала блестящую победу над тремя тысячами с лишком римлян, из которых тысяча погибла в этом сражении, а оружие, значки, имущество и лагерь остались во власти противника.

День спустя оба отряда гладиаторов соединились в лагере Клодия Глабра, по отношению к которому победители не скупились на насмешки и шутки, называя его кошкой, убежавшей от мыши, и сочинив на месте песенку приблизительно следующего содержания:

Жил кот когда-то старый,
Мышей противник ярый;
Решил он мышь поймать.
Он спящим притворился,
Над норкой притаился
И начал ждать…
Но враг, проворный, ловкий,
Из этой мышеловки
Коту на спину скок!
Кот думал о победе,
О лакомом обеде —

И вот ему урок.
Веревку мышь достала,
Бубенчик привязала
К хвосту врага скорей.
Ужасный звон раздался,
Кот струсил и умчался
Под дружный смех мышей.

Легко себе представить, какой громкий общий смех раздался в лагере, прежде римском, а теперь гладиаторском, когда сочинители этих куплетов, переложив их на популярный в те дни мотив, распевали их по улицам лагеря.

Между тем гладиаторы из школы Лентула Батиата убегали толпами ежедневно, даже ежечасно, и приходили в лагерь на Везувий сотнями, так что меньше чем за двадцать дней после победы, одержанной Спартаком над Клодием Глабром, пришло их свыше четырех тысяч; вооруженные копьями, щитами и мечами, отнятыми у римлян, они вместе с тысячью двумястами уже сражавшихся под начальством фракийца образовали первый легион армии угнетенных, которая в недалеком будущем должна была стать страшной и опасной.

Хотя в Риме были заняты более серьезными

и трудными военными делами, поражение, понесенное Клодием Глабром, вызвало все-таки некоторый шум, так как и сенату, и римскому народу казалось недостойным имени римлян, что легионеры, победители всего мира, были разбиты и изрублены толпами подлых гладиаторов.

А тем временем *подлые*, свыше пяти тысяч человек, построенные в манипулы, когорты, легионы и руководимые человеком, столь же мужественным, сколько и умным, каким был Спартак, появились в один прекрасный день у Нолы, цветущего, богатого и многолюдного города Кампании, и раньше, чем начать атаку, потребовали от граждан предоставления свободного входа в город, обещая взамен уважать жизнь и имущество жителей.

Устрашенные грозящей им гибелью горожане собрались с большим шумом на Форуме; здесь после бесполезных криков и пустых слов: одни были за сдачу, другие — за оборону — победила партия более смелых: ворота города были заперты, горожане поспешили к стенам, чтобы отражать нападающих, а в то же время были посланы гонцы в Неаполь, Брундизиум и в Рим за скорым и сильным подкреплением.

Но послы все попали в руки Спартака, дер-

жавшего под наблюдением не только широкие дороги, но дорожки и тропинки, и оборона, проводимая плохо вооруженными и мало приученными к военному делу обывателями, свелась к безумной и бессильной попытке, длившейся едва два часа; гладиаторы, имевшие в своем распоряжении много лестниц, быстро и с ничтожными потерями овладели стенами, проникли в город и, раздраженные оказанным сопротивлением, начали избивать и грабить жителей.

Это произошло потому, что, хотя Спартак внушал своим бойцам самую строгую дисциплину и хотя любовь и уважение, питаемые к нему солдатами, были огромны, они не могли — как и все солдаты вообще — избежать опьянения кровью и жажды разрушения, которые охватывают солдат против воли, когда при вступлении в город они бывают вынуждены сражаться, рисковать жизнью и видеть смерть товарищей по оружию.

Спартак, задыхаясь, бросился по улицам города, удерживая гладиаторов от грабежа и убийств. Благодаря его энергии с помощью командиров ему удалось через несколько часов добиться прекращения резни и грабежа.

Скоро букцины и трубы протрубили по улицам сбор, и среди гладиаторов, которые, повинуясь

сигналу, сбегались отовсюду, распространился слух, что по приказу Спартака легион должен в строевом порядке отправиться на грандиозный Форум Нолы, славившийся великолепными старинными храмами, базиликами и портиками.

Меньше чем через час легион гладиаторов, выстроившись в три ряда, в полном порядке стоял на площади, и Спартак, поднявшись на ступеньки храма Цереры, повернул бледное и грозное от гнева лицо к солдатам и, простояв некоторое время с опущенной на грудь головой, погруженный среди глубочайшей тишины в скорбное раздумье, поднял наконец голову. С глазами, сверкающими гневом, он воскликнул своим могучим голосом, прозвучавшим далеко по обширной площади:

— Неужели вы, дикие и преступные люди, добиваетесь — клянусь всеми богами ада! — славы разбойников и убийц?

И он умолк.

И затем, после нескольких минут общего молчания, продолжал:

— Разве это та свобода, которую мы приносим рабам, та дисциплина, при помощи которой мы пытаемся стать людьми, достойными отнятых у нас прав, те благородные поступки, которыми мы расположим к нам итальянцев, те добродетели,

пример которых мы должны показывать?.. Вам недостаточно иметь против себя величие и могущество римского имени, вы желаете возбудить против себя гнев, проклятия и месть всех народов Италии?.. Разве вам мало того вреда, который причиняет нам печальная слава, созданная нам угнетателями, идущая впереди нас и поддерживающая всеобщее мнение о том, что мы — варвары, грабители и самые гнусные люди; вам, кажется, этого мало, и вы, вместо того чтобы доблестными деяниями, строгой дисциплиной, образцовым поведением опровергнуть клевету, жертвой которой мы являемся, хотите еще подкрепить ее и усилить своими гнусными, позорными, подлыми поступками?..

Все в Италии смотрят на нас с боязнью, с подозрением, с недоверием, и кто нам не открытый враг, наверно, и не друг; наше святое дело и знамя, за которое мы сражаемся, — самое высокое из всех, какие когда-либо развевались под солнцем на полях сражения, не пользуются на всем протяжении полуострова никакой симпатией: чтобы завоевать это расположение, у нас есть одно лишь средство — дисциплина.

Эта дисциплина своими железными петлями создала и создает непроницаемую и непобеди-

мую броню римских легионов не потому, что они сильнее и храбрее всех солдат на свете — существуют народы, не уступающие им ни в отваге, ни в силе, — но потому что не было среди всех армий более дисциплинированной, чем римская армия, и вот почему до сего дня римляне побеждают всех своих врагов.

Ничем не помогут вам необыкновенная сила ваших рук и неукротимое ваше мужество, если, подобно тому как вы переняли от римлян строевой порядок, вы не изучите и не будете проводить на деле их дисциплину.

Если вы хотите видеть меня своим вождем, я хочу видеть вас подчиняющимися, мирными, сдержанными и умеренными; ибо в порядке, в повиновении, в сдержанности — сила войска.

Каждый своими богами должен поклясться, все вы должны поклясться мне своей честью, что с этого часа никогда вы не совершите самого незначительного поступка распущенности и неподчинения.

Нужно, если мы желаем победить, чтобы я находил в себе силу, необходимую для приказа — как это сделал консул Манлий Торкват со своим сыном — отрубить голову наиболее дорогому из своих друзей, если он окажется виновным

в малейшем нарушении установленных нами законов; нужно, чтобы вы могли, как это, по рассказам восхищенных историков, случилось однажды с римскими легионами, разбив лагерь возле яблони, найти ее после снятия палаток покрытой плодами в том же количестве, каким оно было в день устройства лагеря.

Лишь при этом условии мы будем достойны свободы, которой мы так страстно добиваемся, лишь при этом условии мы одержим победу над самым сильным и доблестным в мире войском.

В то время как Спартак говорил эту пламенную речь, шепот, гул одобрения слышался в рядах гладиаторов, так сильно очарованных грубым, но прочувствованным и страстным красноречием своего вождя, что при окончании его речи они разразились единодушными бурными криками и сильнейшими рукоплесканиями.

Затем Спартак вывел свою армию из Нолы, вблизи которой на одном из холмов приказал разбить лагерь, оставив две когорты, сменяя их ежедневно, на страже города. Он изъял большое количество оружия, лат и щитов, для которых сделал обширный склад в лагере, с целью снабжать отсюда оружием рабов и гладиаторов, ежедневно прибывавших под знамя восстания.

Так провел Спартак возле Нолы свыше двух месяцев, беспрерывно упражняя и приучая к оружию своих солдат, число которых, все время увеличиваясь, дошло до восьми тысяч, так что он смог составить из них два легиона. Порядок и дисциплина, введенные доблестным фракийцем в войске, изумляли самих кампанцев, собственность и жизнь которых не подвергались никакой опасности и которым гладиаторы не причиняли никакого беспокойства.

Между тем в Риме решили послать против взбунтовавшихся рабов и гладиаторов претора Публия Вариния с легионом солдат, большей частью добровольцев и молодых новобранцев, так как ветераны и легионеры, прошедшие уже школу в военных трудах и сражениях, были посланы против Сертория и Митридата.

Но за несколько дней до того, как Публий Вариний двинулся из Рима со своими шестью тысячами людей, к которым был присоединен отряд всадников, сформированный итальянскими союзниками, численностью в триста копий, чтобы пойти на гладиаторов, из леса, расположенного между Сутриумом и Суэсса-Помецией, невдалеке от Аппиевой дороги, и названного Эпицинийским, вышло вечером свыше двух тысяч человек,

из которых многие были вооружены как попало, всякого рода деревенскими орудиями, такими как лопаты, трезубцы, топоры и серпы, очень многие — только заостренными кольями и очень немногие — копьями и мечами.

Это были две тысячи гладиаторов из школ Акциана, Юлия Рабеция и других ланист Рима, гладиаторов, собравшихся сюда поодиночке согласно приказам, полученным от Крикса, под командой которого, вооруженные таким образом и разделенные на четыре когорты и двадцать манипул, они двигались теперь по направлению к Везувию на соединение с легионами Спартака.

Утром 15 февраля этого года, после того как Метробий отправился донести о заговоре гладиаторов консулам Котте и Лукуллу, Крикс обходил школу за школой с целью сообщить товарищам о том, что случилось, и посоветовать им спокойствие и притворство.

Случилось, что в одной школе галл был арестован и отсюда отправлен в Мамертинскую тюрьму, где, после того как его продержали свыше двух месяцев, он подвергся сечению розгами, и, несмотря на твердость, с какой решительно отрицал перед городским претором какое-либо свое участие в заговоре Спартака, его, вероятно,

присудили бы к распятию, если бы гладиаторы, умоляя и горячо настаивая перед ланистами, а последние, ходатайствуя перед Цетегом, Лентулом, Юлием Цезарем и Катилиной, не добились наконец его освобождения.

Хотя Крикс был на воле, однако он понимал, что за ним, конечно, строго следят, что школы находятся под наблюдением, равно как и все поведение гладиаторов; поэтому он решил притвориться ничего не знающим и безучастным с целью если не уничтожить, то хотя бы уменьшить подозрения со стороны ланист и властей.

Вследствие этого бедный галл, несмотря на все настояния Спартака, был вынужден подавить всю тревогу, желания и гнев, кипевшие в его груди, и не мог ни сам двинуться, ни послать или повести на Везувий хотя бы одну манипулу.

После бесконечных ухищрений, трудов, серьезных опасностей, долгих и бурных тревог, через четыре месяца с лишним после начала восстания и после двух побед, одержанных его товарищами по несчастью над римлянами, Криксу удалось наконец бежать из Рима и укрыться в Эпицинийском лесу, в уверенности, что если не все гладиаторы, которым он назначил здесь свидание, то по крайней мере очень многие из

них явятся сюда.

Так в действительности и произошло. После двух дней тайного пребывания в тенистых, уединенных уголках этого леса галл мог отправиться к Везувию и прибыть туда после четырех суток продолжительных и утомительных переходов во главе своих двадцати манипул.

Радость и торжество по поводу их прибытия в лагерь Нолы не поддаются никакому описанию. Более чем братским был прием, оказанный Спартаком Криксу, которого он любил и ценил больше всех своих товарищей по несчастью.

Две тысячи гладиаторов, прибывших с Криксом, были немедленно полностью вооружены и равномерно распределены по двум легионам, из которых первым командовал Эномай, а второй был поставлен под начальство Крикса. Спартак под единодушные крики был снова провозглашен верховным вождем всей армии.

Через два дня после прибытия Крикса разведчики донесли Спартаку, что по Аппиевой дороге идет против него большими переходами претор Публий Вариний. Ввиду этого вождь гладиаторов приказал войску тихонько сняться с лагеря и ночью быстро двинулся навстречу неприятелю.



Глава XIII
От Казилинской до Аквинской битвы

Публию Варинию было сорок пять лет. Плебей по происхождению, крепкого телосложения, с неукротимым характером, гордой душой, он соединял в себе все лучшие качества, все типичные черты римского солдата. Умеренный в еде и питье, неприхотливый, привычный, как никто, к жаре, к холоду, к походам, к бодрствованию, к военным занятиям, он был угрюм, молчалив и очень храбр. Если бы, кроме всех этих ценнейших качеств, Вариний обладал еще более развитым умом, более широким и глубоким образованием, то у него было бы все необходимое, чтобы стать консулом, полководцем, триумфатором. Публий Вариний не обладал умом, равным благородству его души, и за двадцать восемь лет боевой службы мог добиться только звания претора, да и то из уважения, которое вызывали его непоколебимое спокойствие и мужество при всех испытаниях, превосходное знание дисциплины, распорядка и прочих сторон военного дела. Такое отношение к нему сложилось и у товарищей, и у всех полко-

водцев, под начальством которых он служил и которые тоже восхищались его усердием, доблестью, силою его духа и тела.

В семнадцать лет он впервые принял участие, под начальством Гая Мария, в войне против тевтонов и кимвров, отличился здесь, был награжден гражданским венком и званием декана; затем под начальством Помпея Страбона, отца Помпея Великого, в гражданской войне Публий Вариний был несколько раз ранен и получил второй гражданский венок; снова был ранен в войне против Митридата под начальством Суллы, а при осаде Афин был награжден крепостным венком и званием младшего центуриона. Он сопровождал Суллу во всех перипетиях гражданской войны и за отличия был назначен сперва старшим центурионом, потом трибуном; в этом звании он последовал за Помпеем Великим в Африку, где и сражался под начальством последнего с Домицием и Ярбой; в этой войне он получил звание квестора и удержал его в войне против восставших фракийцев и македонян под начальством Аппия Клавдия. Когда Клавдий умер и военные действия во Фракии прекратились, Вариний вернулся в Рим, чтобы получить у консула Аврелия Котты, собиравшего легионы против Митридата,

звание его заместителя или, по крайней мере, утверждение в звании квестора. Когда Вариний прибыл в Рим, Котта уже выехал в Азию, а другой консул, Луций Лициний Лукулл, уже сформировал свое войско, но, желая все-таки извлечь пользу из опытности Вариния, которого он ценил, добился назначения его претором Сицилии с миссией ликвидировать позорную войну с гладиаторами.

Таков был человек, выступивший из Рима через Капуанские ворота в восемнадцатый день перед июльскими календами (14 июня) 680 года от основания Рима и направившийся по Аппиевой дороге против гладиаторов Спартака во главе шести тысяч легионеров, тысячи велитов[92], шестисот пращников, которые были присоединены к легиону по настоянию претора и самого Лукулла ввиду необходимости в подобной войне легковооруженных частей, и трехсот человек конницы. В общем у него было восемь тысяч воинов, молодых, сильных и отлично вооруженных. Квестором у Публия Вариния был Гней Фурий, человек тридцати пяти лет, мужественный, умный и прекрасно знавший военное дело, но

---

[92] Сноски: 92

Велиты — легковооруженная пехота.

погрязший в кутежах и дебошах.

Между шестью трибунами легиона, данного под начальство Варинию, были очень видные, принадлежавшие к знатным патрицианским семействам: М. Кальпурний Бибул, ставший впоследствии консулом вместе с Гаем Юлием Цезарем в 695 году, и очень молодой Квинт Фабий Максим, который тоже с Цезарем, во время диктатуры последнего, был консулом в 709 году от основания Рима; старшим в чине между трибунами был Лелий Коссиний, человек грубый и необразованный, лет пятидесяти, участвовавший в пятидесяти семи сражениях, в одиннадцати осадах и в ста двадцати стычках, имевший двадцать два ранения и два гражданских венка; но за тридцать два года военной службы он никак не мог добиться чина выше трибуна, каковым он оставался одиннадцать лет вследствие его невежества и тупоумия.

Быстрым маршем Публий Вариний в три дня дошел до Гаэты, где, разбив лагерь, призвал к себе Павла Эрдения Тибуртина, префекта конницы, и приказал ему быстро пробраться за Капую, собрать там точные и подробные сведения о месте расположения восставших, об их числе, вооружении, и если удастся, то и об их планах.

Молодой Тибуртин выполнил данное ему поручение с благоразумием и осмотрительностью и побывал не только в Капуе, но и в Кумах, Байи, Путеолах, Геркуланум и Неаполе и даже в Помпее и Ателле; всюду он собирал сведения о неприятеле как у римских властей, так и у городских жителей и пастухов и через четыре дня вернулся в лагерь Вариния, почти загнав коней, но с важными подробностями относительно продвижения и положения гладиаторов; он донес претору, что число бунтовщиков доходит уже до десяти тысяч, что они вооружены и обучены римскому строю, что лагерь их находится близ Нолы, откуда они делают набеги по окрестностям и откуда, по-видимому, не намерены уходить; по тщательности их лагерных укреплений видно, что они, не двигаясь, будут ожидать наступления римлян.

Получив эти сведения, Вариний долго обдумывал в своей палатке, как ему лучше всего поступить. В конце концов он решил разделить свои силы и, наступая по двум, почти параллельным, дорогам против лагеря гладиаторов, напасть на них одновременно с двух сторон; этим тактическим маневром он рассчитывал добиться окончательной и полной победы.

Он поручил квестору Гнею Фурию начальство

над четырьмя когортами легионеров, тремястами велитами, двумястами пращниками и сотней конницы и приказал ему двинуться по Аппиевой дороге до Синуэссы; здесь он должен был свернуть с Аппиевой дороги на Домициеву, которая вела от этого города через Литернум, Кумы, Байи и Неаполь, вдоль морского берега, к Суррентуму; дойдя до Байи, Фурий должен был задержаться здесь на семь дней, а затем двинуться в Ателлу и ждать там дальнейших распоряжений Вариния. Вариний же решил, что, пока Фурий будет в походе, сам он подымется по реке Лирис до Интерамны, где перейдет на Латинскую дорогу — она вела от Рима через Тускулум, Норбу, Интерамну, Теанум и Алифы в Беневентум; у Алиф он оставит консульскую Латинскую дорогу и, перейдя на преторскую, которая от Алиф, обходя Кавдинские ущелья, вела к Кавдиуму, выйдет в тыл гладиаторам. Здесь он, укрываясь, задержится на день, затем прикажет своему квестору двинуться из Ателлы и атаковать мятежников; последние, увидя, что они числом превосходят отряд Фурия, выйдут ему навстречу всеми своими силами; тогда он нападет на врага с тылу и разобьет его наголову.

Таков был план военных действий, вырабо-

танный претором Публием Варинием, план сам по себе вовсе не плохой. Но успех его был возможен лишь в том случае, если бы гладиаторы, не двигаясь, дожидались римлян у Нолы — обстоятельство, в котором Вариний, считавший Спартака не человеком, а чем-то вроде нечистого животного, нисколько не сомневался.

Фракиец же, наоборот, как только услыхал, что претор выступил против него, и узнал, что тот уже в Гаэте, немедленно двинулся по Домициевой дороге в Литернум, куда и прибыл в два быстрых и очень утомительных перехода.

Со своей стороны, квестор Гней Фурий, продвигаясь вперед по той же Домициевой дороге, дошел до Трифанума и здесь от своих разведчиков узнал, что Спартак со всеми своими силами, придя неожиданно в Литернум, находился от него не много дальше, чем на однодневный переход.

Если бы Гней Фурий был простым солдатом, то вышел бы один на один против всех гладиаторов, и в первую очередь самого Спартака, но как военачальник, получивший определенные приказания, не считал себя вправе вступать в бой с превосходными силами неприятеля, победа над которым была очень маловероятна. Отступление ему казалось трусостью, не оправдываемой даже

соображением осторожности, так как, если бы он бежал по направлению к Лациуму, Спартак мог легко его нагнать и разбить наголову. Поэтому он решил оставить консульскую дорогу, взять влево и подняться до Каленума, откуда в несколько часов мог добраться до Капуи. Там его две тысячи восемьсот солдат, в соединении с уже усиленным гарнизоном этого города, могли оказать мощное сопротивление гладиаторам.

А если бы Спартак двинулся в Лациум, то Гней Фурий успел бы снестись с Варинием, соединиться с ним, ударить в тыл дерзкому мятежнику и уничтожить его.

Если бы Спартак вернулся назад, Фурий, во всяком случае, успел бы исполнить полученные им приказания, либо вернувшись по Домициевой дороге, либо отправившись в условленный день из Капуи по преторской дороге в Ателлу.

Эти мудрые соображения и, как следствие их, еще более мудрое решение свидетельствовали об уме и способностях Фурия; так поступил бы, вероятно, и сам Помпей Великий.

Поэтому Фурий велел сняться с лагеря за два часа до утренней зари и в глубокой тишине, в совершенном порядке двинулся к Каленуму, выслав предварительно по консульской дороге трех

разведчиков, переодетых крестьянами, которые должны были на свой риск и страх дать неприятелю ложные сведения о Гнее Фурии, утверждая, что он отступил к Гаэте, то есть вернулся назад.

Но Спартак, узнав от разведчиков, что в Трифануме расположилась лагерем часть неприятельских сил, сразу понял, какой промах сделал претор Вариний, разделив свои войска с целью захватить его в клещи; он полностью разгадал его план и маневры и с остротой мысли, свойственной только великим умам, тотчас же сообразил, что ему нужно было делать: вклиниться между обеими частями неприятельского войска и разбить последовательно, с молниеносной быстротой обе, сперва бросившись на одну, а потом на другую.

Одним из замечательнейших военных качеств Спартака, которое он обнаружил во время этой столь славной для него войны, была быстрота, с какой он анализировал, рассчитывал, предвидел, отгадывал и с какой, раз решение им было принято, немедленно его осуществлял. Характером своего дарования во многом похожий на Наполеона, Спартак, хорошо изучивший военный порядок и дисциплину римлян, восхищавшийся ими и перенесший их в свое войско, не перенял

от их полководцев педантизма, запрещавшего уклоняться от определенных правил, от определенных норм, от определенных навыков, а приспособляя свои решения, свои движения и диверсии к местности, к условиям и к позиции неприятеля, он развернул и стал применять самую простую и в то же время самую логическую и выгодную тактику — тактику быстроты, введенную Гаем Марием, которая позже должна была дать Юлию Цезарю власть над всем миром. Во всех больших сражениях, оканчивавшихся победой Спартака и дававших ему по праву место рядом с наиболее знаменитыми полководцами древности, он оказывался победителем не только благодаря силе рук своих солдат, но также благодаря быстроте своих передвижений и проворству ног своих товарищей.

Вернемся к рассказу: Спартак как решил, так и сделал. Краткой речью он воодушевил своих бойцов, и, объяснив им необходимость ради успеха их общего дела терпеливо перенести тяжести нового безостановочного похода, приказал сняться с лагеря, и, оставив Домициеву дорогу, по трудным тропинкам, скрываясь между холмами, спускавшимися от Капуи через Казилинум вплоть до моря, направился к Вольтурну, с ревом

катившему свои стремительные волны среди этих холмов.

Результатом этой диверсии было то, что на утренней заре, когда квестор Фурий двигался на Каленум, Спартак подходил к Капуе, в трех милях от которой разрешил своим солдатам отдых на несколько часов. Около полудня он снова тронулся в путь и, смеясь над страхом защитников Капуи, заперших ворота, спустивших подъемные решетки и сбежавшихся, дрожа, на земляной вал в ожидании атаки, прошел мимо. Оставив эту столицу парфюмеров по правую руку, он повернулся к Казилинуму, куда дошел к вечеру, в тот самый час, когда квестор Фурий прибыл в Каленум.

Казилинум был маленький, но веселый и многолюдный город, расположенный на правом берегу Вольтурна; он отстоял на семь миль от Капуи, почти на одиннадцать от Кальви и почти на двадцать две от устья реки. В положении, которое теперь занимали силы противников, Казилинум был наиболее важным пунктом: около него должны были развернуться операции предстоящей битвы. Для Спартака было в высшей степени важно завладеть им, ибо оттуда он господствовал бы над обоими берегами и всей долиной Вольтурна, а расположившись там лаге-

рем со своими легионами, не только разъединял бы оба неприятельских отряда, но не позволил бы им укрыться в Капуе и получал возможность нагнать и разбить их один за другим.

Жители Казилинума, испуганные внезапным появлением гладиаторов, выслали навстречу Спартаку представителей городской власти с изъявлением покорности. Применять силу для овладения городом не пришлось. Расставив стражу у ворот и оставив одну когорту внутри города, фракиец вышел оттуда со своими легионами и разбил лагерь на одной из возвышенностей, близ Римских ворот, выходивших как раз в сторону Каленума.

За время, протекшее между поражением Клодия Глабра и походом Публия Вариния, Спартак, имея возможность свободно кружить почти по всей Кампании, велел наиболее ловким и искусным наездникам своего войска выездить множество жеребцов, набранных с плодородных пастбищ этой провинции, и таким образом сформировал конный отряд в шестьсот человек. Во главе его он поставил префектом храброго и изящного Борторикса, который уступил прибывшему Криксу командование вторым легионом.

Когда лагерь был сооружен, Спартак приказал

утомленным легионам расположиться на отдых, решив дать им здесь передышку на несколько дней, пока квестор Фурий, который, как предполагал Спартак, двигался по Домициевой дороге, не дойдет до Литернума; здесь и намеревался Спартак напасть на него с тыла и уничтожить его когорты.

Однако, всегда крайне предусмотрительный, он призвал к себе Борторикса и приказал ему после шестичасового отдыха, около полуночи, разделить конницу на два отряда и произвести рекогносцировку: одному отряду — по Домициевой дороге, вплоть до Трифанума, собрать сведения о неприятеле, а другому, ввиду предосторожности, — по Аппиевой дороге, до Каленума, ознакомиться с местностью; на заре оба отряда должны были вернуться в лагерь и сообщить результаты своих разведок.

За час до восхода солнца, к немалому удивлению Спартака, первым вернулся отряд, отправившийся в сторону Каленума, с сообщением, что неприятель двигается с этой стороны прямо на Казилинум. Сперва вождь гладиаторов, казалось, не поверил этому донесению, но, расспросив начальника отряда подробнее, поразмыслив над полученными сведениями, Спартак понял все,

что произошло: он сам сошел с Домициевой дороги и повернул вправо от нее, чтобы пропустить Фурия и зайти ему в тыл, в то время как римлянин сошел с этой дороги влево, чтоб избежать гладиатора и укрыться в Капуе; таким образом, оба, желая избежать друг друга, оставили консульскую дорогу и встретились на преторской.

Спартак немедленно велел трубить тревогу и, не снимаясь с лагеря, вывел из него первый легион и выстроил его в две линии в боевом порядке. Впереди поставил две тысячи велитов и пращников, которые должны были в рассыпном строю напасть на неприятеля, едва он покажется; за этой первой линией стояла остальная часть легиона, вооруженная копьями и дротиками.

Второй легион Спартак разделил на две части, послав их через поля и виноградники, одну — направо, другую — налево, с приказом отойти подальше и спрятаться, с тем чтобы, когда завяжется жаркая схватка, обойти и окружить римлян с флангов и с тыла.

Солнце только что встало, золотя окружающие холмы и зеленеющие виноградные листья, желтоватое жнивье и цветущие луга, когда появился авангард римлян; цепь пращников встретила неприятельскую конницу градом камней и свин-

цовых шариков. Всадники сейчас же повернули обратно и поскакали предупредить квестора Фурия о приближении неприятеля. Спартак, проделавший этот поход пешком наравне со своими товарищами, как только началась битва, вскочил на своего великолепного вороного коня, на котором эффектно выделялась его мужественная фигура, и велел трубить сигнал атаки беглым строем, желая напасть на неприятеля возможно быстрее и не дать ему времени выстроиться в боевой порядок.

При неожиданном сообщении о продвижении гладиаторов Гней Фурий немедленно приказал колонне своих легионеров остановиться и со спокойствием, которого никогда не теряют люди, обладающие истинным мужеством, отдал приказ, чтобы велиты и пращники сейчас же растянулись цепью: как можно более удлиняя фронт, он хотел избежать, насколько это зависело от него, окружения его когорт превосходными силами противника. Легионерам он приказал занять позицию на примыкающем к дороге холме, рассчитывая, что, пока велиты и пращники будут сдерживать первый натиск гладиаторов, когорты выстроятся в боевую линию.

И, несмотря на ужас и беспорядок, сопровож-

дающие всегда неожиданное нападение, все распоряжения квестора были исполнены с большой быстротой и в сравнительном порядке.

Но маневры еще далеко не были закончены, как гладиаторы стремительно бросились на фронт пращников, которые, храбро защищаясь, все-таки были вынуждены под натиском подавляющих сил противника отступить до подошвы холма, где Фурий едва-едва имел время, необходимое для размещения своих четырех когорт в боевую линию. Затрубили сигнал к атаке римские букцины, и легионеры под предводительством Фурия с такой силой ударили на вражеских велитов, что те, в свою очередь, должны были отступить. Но Спартак велел дать сигнал к отступлению, и две тысячи легковооруженных гладиаторов, метнув последние дротики в неприятеля, исчезли в интервалы подходивших гладиаторских когорт. С громовым «барра!», которому вторило эхо по всей долине и в окружающих холмах, последние бросились на римлян. Вскоре ничего не было слышно, кроме оглушающего звона щитов, лязга мечей и диких криков бойцов.

Около получаса сражались с одинаковой яростью, с равной доблестью, но римлян было слишком мало по сравнению с гладиаторами,

чтобы они могли долго сопротивляться бешеному натиску последних. Скоро преследуемые, теснимые, одолеваемые со всех сторон легионеры Фурия начали подаваться. Как раз в этот момент вышел из засады Крикс со вторым легионом, и в одно мгновение римляне, обойденные, окруженные, атакованные с флангов и тыла, смешались и обратились в бегство. Спастись удалось очень немногим из них — стиснутые в кольце мечей, почти все они, и в числе первых Фурий, нашли почетную смерть.

Таким образом, менее чем через два часа закончилась великая битва, которая поистине может быть названа скорее не сражением, а бойней при Казилинуме.

На следующий день после этой новой победы, где гладиаторы понесли довольно легкие потери сравнительно с римлянами, которые почти все остались на поле битвы, Спартак, не теряя времени, снялся с лагеря у Казилинума и, пройдя через отроги Апеннин, через Каленум, направился к Сидициуму, куда пришел к вечеру, с легионами, истощенными от продолжительного и тяжелого перехода. Здесь он раскинул лагерь, послав немедленно конницу в Теанум, отстоявший отсюда за несколько миль, чтобы раздобыть сведения

о преторе Публии Варинии, который, по расчетам Спартака, должен был пройти здесь по пути к Алифам два или три дня назад.

Когда разведчики вернулись из рекогносцировки, Спартак увидел по их донесениям, что не ошибся и что Публий Вариний вышел из Теанума, направляясь к Алифам, только накануне. Тогда гладиатор после долгого размышления, тщательно взвесив все возможности, которые давали ему на выбор победа накануне и позиция в Сидициуме, решил в конце концов перерезать дорогу претору Варинию и вступить с ним в бой раньше, чем подкрепления от городов и союзников сделают более трудной победу над его когортами.

Поэтому на следующий день фракиец вышел из Сидициума и, следуя вдоль Вольтурна, прошел по правому его берегу до Кавдинских ущелий, к которым прибыл после восьмичасового марша; здесь, на берегу реки, он расположился лагерем. А на следующее утро, приказав нарубить побольше деревьев и навалить их поперек течения реки, которая в это время обмелела и была неглубока, по этому мосту перешел со своими легионами на левый берег, где недалеко от Кавдинских ущелий занял сильную, господствовавшую над Латинской дорогой позицию; здесь он снова раскинул

лагерь, ожидая противника.

И тот не замедлил явиться: около полудня Публий Вариний со своими когортами показался со стороны Алиф на высотах, замыкавших долину Вольтурна, напротив Кавдинских ущелий. Спартак уже построил свои легионы, и вскоре началось сражение.

Жестока и кровопролитна была схватка; сражались до вечера. Римляне держались мужественно и доблестно, выше всякой похвалы, но при заходе солнца должны были отступить в беспорядке; новый сильный натиск очень скоро превратил отступление в дикое бегство. Сперва их преследовала, пока могла, и избивала гладиаторская пехота, но когда бегущие, которым страх дал крылья, намного опередили своих преследователей, то по приказу Спартака букцины протрубили отбой, и, едва пространство очистилось от гладиаторов, их конница помчалась, отпустив повода, за толпами беглецов и устроила жестокую резню.

Свыше двух тысяч римлян было убито в этом сражении при Кавдинских ущельях, второй раз оказавшихся несчастными и роковыми для римлян, и более тысячи пятисот ранено. В числе раненых были сам Вариний, трибуны Коссиний, Фабий Максим и Бибул. Большая часть раненых

попала в руки победителей, но Спартак, обезоружив их, отпустил на свободу, так как решил, пока не будет иметь на своей стороне много городов, не брать пленных, ибо присутствие их в лагере при известных обстоятельствах может стать опасным.

Немалы были потери гладиаторов в этом сражении: свыше двухсот пятидесяти было убито и почти вдвое больше ранено.

В безутешном отчаянии Публий Вариний укрылся в Алифах, где за ночь собрал сколько мог беглецов.

Там до него дошла печальная новость о полном разгроме квестора. Отсюда, из страха перед новым наступлением победителя, которому он не был бы в состоянии оказать сопротивление, проклиная богов неба и ада, враждебную судьбу и ненавистного гладиатора, он самым быстрым маршем двинулся по неудобным дорогам через ущелья Апеннин и, покинув Кампанию, прошел в Самниум и укрылся в Бовиануме.

Две блестящие победы, одержанные Спартаком в течение лишь трех дней, доставили ему уважение его войска и сделали его имя еще более грозным во всех провинциях Южной Италии.

От Кавдинских ущелий Спартак, не теряя вре-

мени, спустился в Кавдиум, где нашел Брезовира, гладиатора-галла (с ним читатели познакомились уже в кабачке Венеры Либитины в Риме в тот день, когда верховный суд Союза угнетенных присудил к смерти отпущенника Гая Верреса, пришедшего шпионить за заговорщиками). Брезовир с пятьюдесятью товарищами только что бежал из Капуи в лагерь Спартака.

По его совету фракиец решился испробовать маневр, с помощью которого он надеялся добиться свободного выхода из Капуи для пяти тысяч гладиаторов, оставшихся еще в школе Лентула Батиата.

Спустя три дня после сражения при Кавдинских ущельях Спартак во главе десяти тысяч воинов появился под стенами Капуи и послал в город герольда с обращением к префекту и Сенату разрешить выход из города безоружным пяти тысячам гладиаторов, находившихся сейчас в школе Лентула; если власти откажутся выполнить это требование, Спартак грозил штурмовать город, захватить его силой, предать грабежу и огню и беспощадно перерезать всех граждан, без различия возраста и пола.

Известие о победах Спартака уже дошло до Капуи, разукрашенное молвой, и привело в

крайнее изумление всех обитателей. Появление страшного врага у ворот города внесло отчаяние и ужас в трепещущие и без того души горожан; требование и угрозы Спартака завершили дело, и паника охватила всех.

Сенат собрался в храме Дианы, а на Форум, около храма, сошлась огромная толпа. Все лавки были закрыты менее чем в полчаса, женщины, распустив волосы, сбежались в храмы и призывали на помощь богов, на улицах слышались возгласы простого народа, который громко требовал от сенаторов, чтобы они согласились на предложение гладиатора и этим спасли население Капуи от истребления.

Меций Либеон с бледным, искаженным лицом, дрожа и заикаясь от волнения, доложил Сенату требование Спартака. Сенаторы, не менее чем префект бледные, взволнованные и дрожащие, молча, испуганно смотрели друг на друга, и ни один не осмеливался взять слово, дать совет или внести предложение в момент столь тяжелой опасности.

Воспользовавшись этой нерешительностью и молчанием, военный трибун, командовавший четырьмя когортами, присланными уже несколько месяцев тому назад римским Сенатом для

защиты Капуи, храбрый и очень опытный воин, попросил разрешения изложить свое мнение. Сильными доводами, в грубых, правда, но красноречивых словах он, нисколько не поддавшись панике, доказывал, что требования Спартака являются и не могут быть ничем иным, как пустыми угрозами, рассчитанными на трусость граждан, что гладиатор не может пойти на штурм и не пойдет, так как город слишком хорошо защищен своими грозными укреплениями, и войско, не имеющее скорпионов, таранов, катапульт, баллист и стенных кос, не отважится на штурм.

Но страх, обуявший изнеженных капуанских сенаторов, — страх, от которого в первый момент у них слова застыли на устах, теперь встряхнул их, заставил вскочить с мест, как будто их укусил тарантул, и все они хором заголосили, что трибун сошел с ума, что Нола была взята менее многочисленными и хуже вооруженными гладиаторами всего в два часа, что в ней были сожжены дома и вырезаны все жители, что они для удовлетворения каприза честолюбивого трибуна не желают быть изрубленными, что высылка из города этих пяти тысяч гладиаторов является мудрым и благоразумным мероприятием, так как таким образом будет устранена постоянная опасность

восстаний и резни… и тысячи других доводов подобного же рода. Так как к этому присоединились настояния собравшегося на площади народа, который громко требовал, чтобы сенаторы согласились на предложение Спартака и спасли этим город, то Меций Либеон решил поставить на голосование предложение, внесенное многими сенаторами, — удовлетворить требование Спартака. Оно было принято почти единогласно.

Таким образом, пять тысяч гладиаторов, запертые в школе Лентула, были выпущены из города и присоединились к Спартаку, стоявшему лагерем у подошвы соседней горы Тифата. Они были приняты с громкими криками радости, немедленно полностью вооружены и составили третий легион, начальство над которым было дано Борториксу, передавшему Брезовиру обязанности начальника конницы.

Спартак быстро вернулся в Нолу, снова раскинул лагерь и пробыл там около тридцати дней. Он с увлечением обучал свой новый легион, заставляя его ежедневно упражняться в строевых приемах. Тем временем до него дошла весть, что претор Вариний собирает новые силы, чтобы снова пойти против него. Спартак решил опередить Вариния: оставив Крикса с двумя легионами в

Ноле, он взял с собой первый, бывший под командой Эномая, перешел Апеннины, а затем проник в Самниум и явился к стенам Бовианума.

Вариний действительно послал римскому Сенату донесение о несчастном ходе этой войны, ставшей теперь уже серьезным делом и требовавшей для ликвидации не менее двух легионов. Напоминая о своей прежней службе отечеству, честный солдат как милости просил у Сената, чтобы на нем, ветеране стольких битв, не оставили навек позора этих поражений, дали возможность довести войну до конца и искупить обиды злой судьбы.

Сенат удовлетворил справедливую просьбу храброго Вариния, послал ему восемь когорт, составленные из четырех тысяч ветеранов, и дал полномочия собрать среди марсов, самнитов и пиценов еще шестнадцать когорт, так что он мог составить два легиона, необходимые для окончания войны с гладиатором.

Претор, в глазах которого старшинство чина и службы в армии являлось бесспорным преимуществом, из всех трибунов, находившихся в его распоряжении, гораздо более умных и дальновидных, чем Лелий Коссиний, назначил на пост квестора, вакантный после смерти Фурия,

именно этого Лелия Коссиния и, поручив ему командование восемью когортами, только что присланными из Рима, приказал оставаться в Бовиануме, чтобы помешать Спартаку проникнуть в Самниум, а сам с двумя тысячами, оставшимися от разгрома при Кавдинских ущельях, обошел страну марсов и пиценов с целью набрать солдат.

Когда Спартак подошел к Бовиануму, вызывая Коссиния на бой, тот, согласно полученному строжайшему приказу, оставался в городе. Он бесился, что не сможет броситься на гладиатора, но решил терпеливо сносить оскорбления и вызовы.

Тогда Спартаку стал ясен план Вариния, и, решив не дать ему времени собрать войска в Самниуме и Пицене, он оставил Эномая с легионом в устроенном под Бовианумом лагере, а сам во главе одной турмы[93] всадников вернулся в Нолу.

Здесь его ожидали очень приятные новости. Первой, и самой приятной, было прибытие гладиатора Граника, который привел с собой свыше пяти тысяч галлов, германцев и фракийцев из школ Равенны. С этим подкреплением войско гладиаторов, разделенное на четыре легиона,

---

[93] Сноски: 93

Турма — часть кавалерийского эскадрона (тридцать, а впоследствии пятьдесят всадников).

достигало уже двадцати тысяч, и Спартак чувствовал себя непобедимым. Второй новостью, не менее радостной, чем первая, было прибытие в лагерь гладиаторов его сестры Мирцы. Спартак обнял ее со слезами нежности и в сильнейшем порыве чувства покрыл ее лицо поцелуями и ласками. А девушка в это время, задыхаясь, целовала лицо, руки, одежду Спартака и шептала прерывающимся от рыданий голосом:

— О Спартак… Спартак… Любимейший брат мой! Как я дрожала… как трепетала за тебя… Ты подвергался стольким опасностям в этой кровопролитной войне… Я не находила нигде покоя… не могла больше жить… постоянно думала: «А вдруг он ранен?.. Не нуждается ли он во мне?» Потому что никто, Спартак мой, не мог бы за тобой так ухаживать, как я… если когда-либо… Да избавят от этого боги!.. И я все время плакала… по целым дням… и просила великодушнейшую Валерию… мою добрую госпожу… о том, чтобы она отпустила меня к тебе… И она вняла моим просьбам, бедняжка!.. Да поможет ей Юнона за ее доброту!.. Вняла… дала мне свободу, знаешь?.. Я теперь свободна, свободна, и я… и теперь всегда буду с тобой.

Она щебетала, по-детски ласкаясь к брату, из

глаз ее текли слезы, и в каждом ее движении сквозила радость.

Невдалеке от этой группы стоял, молча созерцая братские ласки, с лицом, по которому то пробегало облако грусти, то признаки живого сочувствия, белокурый красавец Арторикс, тоже прибывший два дня тому назад вместе с Граником из Равенны. Наконец он робко приблизился и сказал:

— А меня, дорогой Спартак, непобежденный и непобедимый наш вождь, ты удостоишь объятия и поцелуя?

И при этих словах юноша посмотрел украдкой на девушку, как бы желая просить прощения за то, что похищает у нее один из братских поцелуев.

— О Арторикс!.. — воскликнул Спартак, обнимая юношу и прижимая его к своей груди. — Милый Арторикс!.. Дай я тебя поцелую… Дай я тебя обниму, благороднейший юноша!

Таким образом, к радости последних месяцев по поводу блестящих побед и великолепных результатов, достигнутых с начала этой страшной войны, которой Спартак отдал всего себя, судьба пожелала прибавить ему еще личную радость — вновь обнять сестру и Арторикса, двух людей,

наиболее дорогих ему на свете.

Однако вскоре лицо Спартака, все сиявшее от удовольствия, стало печально и мрачно. Склонив голову на грудь, он глубоко вздохнул и погрузился в скорбные размышления, а затем, попрощавшись с друзьями, ушел вместе с сестрой в свою палатку. Он страстно хотел расспросить Мирцу о Валерии, но благородная стыдливость по отношению к сестре удерживала его от этого.

К счастью для Спартака, неугомонное и веселое щебетание девушки сделало то, что очень скоро, без всяких расспросов и без всякой задней мысли — ибо Мирца никогда даже не подозревала, чтобы между Спартаком и Валерией были иные отношения, чем между госпожой и рудиарием, — беседа коснулась вдовы Суллы.

— О, поверь, поверь, Спартак, — повторяла девушка, приготовляя в то же время скромный пирог на обрубке ствола дерева, заменившем фракийцу стол, — если бы все римские матроны походили на Валерию, то рабство было бы уничтожено законами, так как сыновья, рожденные такими женщинами, не могли бы, не желали бы примириться с каторгой, наказанием розгами, распятием на крестах и резней гладиаторов…

— О да, я знаю!.. — горячо воскликнул Спартак.

И сейчас же, поправляясь, добавил:

— Я верю этому… я верю…

— И правильно, что веришь, так как она, видишь… тебя уважает гораздо больше, чем какая-нибудь другая госпожа на ее месте уважала бы ланисту своих гладиаторов. Очень часто она восхищалась тобой при мне, особенно после того, как ты разбил свой лагерь на Везувии… При каждом известии, которое она имела о тебе… когда услыхала, что ты победил трибуна Сервилиана… когда она узнала, что ты разгромил Клодия Глабра… Часто она говорила: «Да, он рожден великим полководцем!»

— Она сказала это? — воскликнул Спартак, на лице которого отражались все движения души, взволнованной тысячей чувств, тысячей воспоминаний.

— Да, да, именно так и сказала, — ответила Мирца, все время занятая приготовлением пирога. — Мы долго останемся в этом лагере?.. Мне нужно будет обязательно заняться твоей палаткой — она совсем не подходит для доблестного вождя гладиаторов, в ней полный беспорядок, самого нужного нет… Она похожа на палатку жалкого солдата. Да, верно, она так и говорила… И даже однажды затеяла спор с оратором Гор-

тензием, своим братом… Ты его знаешь?.. Она доказывала ему, что война, затеянная тобой, справедлива и что, если боги действительно устраивают дела смертных, ты не можешь не победить окончательно.

— О божественная Валерия!.. — прошептал чуть слышно Спартак, побледнев и дрожа от волнения.

— Она так несчастна, бедняжка, — продолжала девушка, — она так несчастна, знаешь?..

— Несчастна?.. Она несчастна?.. Отчего?.. Почему?.. — поспешно спросил фракиец.

— Что она несчастна, я это знаю… так как я видала… я заставала ее много раз с глазами, полными слез… я очень часто слыхала, как она глубоко, тяжко вздыхала… Но о чем она вздыхает и плачет, я не знаю и даже не могла догадаться… не знаю, о том ли, что она поссорилась с родственниками Мессалы… об умершем ли муже… Хотя это едва ли… Словом, я не знаю… Единственное ее утешение — это дочка Постумия… Ах, какое прелестное и милое созданьице!..

Спартак глубоко вздохнул, стремительно обошел кругом палатку и, чтобы переменить направление разговора, спросил Мирцу:

— А скажи мне, сестрица, знаешь ли ты что-

нибудь о Марке Валерии Мессале Нигере, двоюродном брате Валерии?.. Мы с ним встретились… сражались… я его ранил… но спас ему жизнь… Не знаешь ли, случайно, поправился он?

— Да, да, поправился!.. И до нас дошла весть о твоем великодушии. Валерия тебя благословляла со слезами, когда Гортензий пришел рассказать ей об этом на виллу в Тускулуме, где мы жили… так как со смерти Суллы она почти целый год провела в своей тускуланской вилле.

В этот момент один из гладиаторов-деканов появился на пороге палатки с сообщением вождю, что некий юноша-солдат, только что прибывший из Рима, желает немедленно поговорить с ним.

Спартак вышел из палатки на преторий. Так как лагерь гладиаторов был построен совершенно так же, как у римлян, то палатка Спартака была расположена на наиболее возвышенном месте и перед ней оставлено пространство или площадка для судилища — место, называемое римлянами преторием, а позади палатки Спартака находилась другая палатка, где хранились знамена. Возле этой палатки стояли на страже десять солдат со своим деканом.

Выйдя из палатки, Спартак увидел не юношу, как ему доложили, а совсем мальчика, едва

достигшего четырнадцати лет, в полном вооружении, изящном и очень богатом.

На нем была кольчуга из мелких серебряных колечек, плотно облегавшая плечи и талию, тонкую и гибкую, и спускавшаяся почти до колен. На талии она была стянута кожаным пояском, отделанным серебром и осыпанным золотыми гвоздиками. Ноги были защищены стальными поножами, завязанными позади икр кожаными ремешками; правая рука была покрыта нарукавником, тоже стальным, на левой висел маленький бронзовый щит, круглый и легкий, на выпуклой поверхности которого были вычеканены рельефные фигуры и узоры изумительной работы. С правого плеча спускалась на левый бок, вместо перевязи, длинная и прочная золотая цепь, к которой был привешен небольшой легкий меч. Маленький серебряный шлем, на задней стороне которого вместо нашлемника подымалась золотая змейка, покрывал голову мальчика, а из-под шлема пробивались локоны тончайших рыжих волос, обрамлявшие прелестное лицо, совершенно детское и белоснежное, как алебастр. Большие миндалевидные глаза цвета морской воды ярко блестели и придавали этому наивному и женственному личику выражение смелости и

решительности, мало соответствовавшее нежному телосложению мальчика.

Спартак сперва посмотрел на него с удивлением, потом взглянул на декана, вызвавшего его из палатки, как бы спрашивая его, тот ли это воин, который желал говорить с ним, и, увидев, что декан движением головы дал утвердительный ответ, двинулся к мальчику и спросил с изумлением:

— Так это ты хотел меня видеть?.. Кто ты?.. Что тебе нужно?..

Лицо мальчика внезапно покрылось румянцем, затем почти моментально смертельно побледнело, и после минутного колебания мальчик твердо ответил:

— Да, я, Спартак, я.

Затем, немного помолчав, добавил:

— Ты меня не узнаешь?

Спартак стоял, вглядываясь в эти прелестные и нежные черты, как бы ища в своей памяти какое-нибудь старое воспоминание, какой-нибудь отдаленный намек, затем ответил, смотря все в упор на своего собеседника:

— В самом деле… мне кажется… Я тебя видел… но где?.. Когда?..

За словами гладиатора снова последовало

молчание. Он первым нарушил его, спросив мальчика:

— Ты римлянин?

Мальчик покачал головой и, сжав губы в печальную и загадочную улыбку, более похожую на судорожное сокращение мускулов рта, сказал:

— Твоя память не так сильна, как твоя рука, доблестный Спартак!

При этой улыбке, при этих словах как будто молния осветила память фракийца, и он, широко раскрыв глаза и устремив их с возрастающим изумлением на лицо солдата, как человек, не уверенный еще в том, что он видит, воскликнул:

— А!.. Но как?.. Может ли это быть?.. Клянусь Юпитером Олимпийцем!.. Так это ты?

— Эвтибида? Да, я Эвтибида, — ответил мальчик, вернее, девушка, так как перед Спартаком действительно стояла гречанка-куртизанка.

И пока он, пораженный, смотрел на нее и не мог еще прийти в себя от изумления, она добавила:

— Разве я не была рабыней? Не видела, как дорогих мне людей сделали рабами? Разве я не лишилась отечества? Не была благодаря распутству римлян доведена до положения презренной куртизанки?

Эти слова девушка произнесла со сдержанным

гневом и последние прошептала с большой силой, но едва слышно.

— Я понимаю тебя… понимаю… — печально и задумчиво проговорил Спартак, так как в этот момент он вспомнил, вероятно, о своей сестре.

И на мгновение он замолчал, а потом, подняв голову, с глубоким вздохом прибавил:

— Ты слабая женщина, привыкшая к удобствам, к удовольствиям изнеженной жизни… Что ты умеешь делать?

— Ах! — воскликнула она в гневном порыве, которого нельзя было предвидеть у этой слабой девушки. — Пусть Аполлон Дельфийский просветит его разум!.. Он ничего не понимает!.. Ах!.. Клянусь фуриями-мстительницами!.. Я говорю тебе, что я хочу отомстить за моего отца, за моих братьев, за мою порабощенную родину, за мою юность, загубленную разнузданными страстями наших угнетателей, за мою честь, затоптанную в грязь, за мою жизнь, осужденную на вечный позор, и ты меня спрашиваешь, что я умею делать?

Лицо девушки приняло такое выражение, ее прекрасные глаза, ставшие страшными, пылали таким гневом, что перед этой дикой энергией Спартак почувствовал себя потрясенным и почти растроганным и, протягивая гречанке руку,

сказал:

— Пусть так! Оставайся в лагере, участвуй в наших походах, если можешь, сражайся вместе с нами, если умеешь сражаться…

— Думаю, я смогу… все, чего хочу, — возразила, нахмурив лоб и брови с очень решительным видом, девушка, схватив и судорожно пожав протянутую ей Спартаком руку.

Но это прикосновение как будто в один миг отняло всю энергию и мужскую силу, которые таила в себе Эвтибида; она задрожала всем телом, побледнела как смерть, почувствовала, что у нее подгибаются колени, и едва не упала в обморок. Фракиец левой рукой схватил ее за другую руку и помешал ей упасть.

При этом новом пожатии Спартака Эвтибида вздрогнула, как будто озноб пробежал по ее жилам, и фракиец участливо спросил:

— Что с тобой? Чего ты хочешь?

— Целовать твои руки, твои славные руки, — прошептала она придушенным голосом, мягко склоняясь действительно к рукам гладиатора и покрывая их жаркими поцелуями, — о славнейший Спартак!

Облако затуманило глаза великого вождя, на одно мгновение он был близок к тому, чтобы

сжать в объятиях девушку, но тут же, с силой встряхнувшись, быстро отдернул руки и, отойдя от девушки, строго сказал:

— Благодарю тебя, храбрая девушка, за защиту дела угнетенных, благодарю тебя за выражения восхищения; но мы, желающие искоренить рабство, должны начать с уничтожения рабских поступков.

И спустя момент, когда Эвтибида, не двигаясь и будто сконфузившись, стояла, молча наклонив голову, гладиатор прибавил:

— К какой части нашего войска ты желала бы приписаться?

— С того дня, как ты поднял знамя восстания, я с утра до вечера обучалась фехтованию и верховой езде… У меня с собою три прекрасных скакуна, — сказала куртизанка, которая, постепенно овладев собой и успокоившись, подняла наконец глаза на лицо Спартака. — Хочешь взять меня к себе в качестве контуберналия?[94]

— У меня нет контуберналиев, — ответил вождь гладиаторов.

— Однако если ты устроил войско рабов, восставших за свободу, по римскому образцу, то

---

[94] Сноски: 94

То есть в качестве адъютанта или ординарца, какими обычно бывали юноши из знатных семей, прикомандированные к полководцу.

теперь, когда это войско выросло до четырех легионов и в короткое время подымется до восьми, десяти, будет правильно, если и ты, его вождь, подобно консулу у римлян, окружил бы себя штатом, способствующим поддержанию власти и повышению ее достоинства, С завтрашнего же дня тебе обязательно нужны будут контуберналии, так как на фронте, где сражается двадцатитысячное войско, ты не сможешь в одно время быть на всех пунктах и тебе нужны будут ординарцы для передачи твоих приказов начальникам легионов.

Спартак стоял, с удивлением смотря на девушку, и, когда она кончила говорить, прошептал:

— Ты необыкновенная девушка!..

— Лучше скажи, что у меня пылкая и упорная душа мужчины в слабом женском теле, — гордо возразила гречанка.

И спустя минуту продолжала:

— У меня твердое сердце и наблюдательный ум, я одинаково владею греческим и латинским языком, я могу оказать серьезные услуги нашему делу, которому я принесла в дар все свои богатства — около шестисот талантов — и которому с этой минуты торжественно посвящаю всю мою жизнь.

С этими словами она отошла на несколько шагов от претория, к улице, на которой сновали гладиаторы, и протяжно свистнула. Тотчас же появился раб, погонявший перед собою лошадь, на спине которой висели два небольших мешка с золотом: это был дар Эвтибиды восставшим. Конь остановился перед Спартаком.

А тот, все более дивившийся смелости и пылкости молодой гречанки, долго не знал, что ей ответить. Наконец он сказал, что так как это лагерь рабов, желающих завоевать себе свободу, то он, естественно, открыт для всех рабов, сражающихся за свое дело, что поэтому и ее с радостью примут в лагере гладиаторов, что вечером соберутся старшины Союза, чтобы обсудить вопрос о принятии ее великодушного пожертвования; что же касается ее просьбы быть зачисленной в его контуберналии, он ничего не обещает: если будет решено, что вождю гладиаторов надлежит их иметь, он ее не забудет.

Поблагодарив ее еще раз, он прибавил несколько слов, которые должны были обозначать, согласно греческой грамматике, ласку и благосклонность, но произнес их сурово и печально. Затем он попрощался с ней и вернулся в свою палатку.

Девушка осталась неподвижной, как статуя, на своем месте, провожая глазами Спартака, пока он не исчез внутри палатки, и долго еще глядела ему вслед, затем, придя в себя, глубоко вздохнула и медленно, с поникшей головой пошла в ту часть лагеря, которая у римлян отводилась для союзников; там она приказала своим рабам поставить себе палатку.

— И все-таки я его люблю… — шептала она чуть слышно.

Между тем Спартак велел созвать в свою палатку Крикса, Граника, Борторикса, Арторикса, Брезовира и остальных трибунов, всех выбранных из рядов прежнего штаба Союза, и до глубокой ночи держал с ними совет.

Решения, принятые на этом собрании, были следующие: деньги, принесенные в дар гречанкой-куртизанкой, принять и заказать на них большое количество оружия, щитов и панцирей всем оружейникам соседних кампанских городов, гречанке дать просимое ею почетное звание контуберналия и вместе с другими девятью юношами, которых Спартак выберет из гладиаторских легионов, приписать ее к штату, который будет учрежден при верховном вожде для передачи приказов; двести талантов из ше-

стисот, полученных от Эвтибиды, употребить на покупку уже объезженных коней, чтобы иметь возможность быстрее сформировать кавалерию, численность которой явно была мала по сравнению с многочисленной пехотой — основной силой войска гладиаторов.

Что касается военных действий, то было решено, что Крикс останется с двумя легионами в Ноле и вместе с Граником будет обучать равеннский легион, прибывший в лагерь два дня назад; Спартак с легионом Борторикса соединится с Эномаем у Бовианума и нападет на Коссиния с Варинием раньше, чем они окончательно сформируют новое войско.

Поэтому на заре следующего дня Спартак во главе легиона вышел из лагеря и через Кавдиум направился к Алифам; сколько его ни упрашивали Эвтибида и Мирца, чтобы он их взял с собой, он не согласился. Он объявил им, что предпринимает даже не поход, а только военную прогулку и скоро вернется. Обе женщины должны были оставаться в лагере и ждать его возвращения.

Когда Спартак прибыл к Бовиануму, он нашел, что Эномай, которому надоело сидеть в лагере под городом, уже два дня как снялся с лагеря и, оставив Коссиния в Бовиануме, направился

к Сульмо, где, как ему донесли разведчики и шпионы, находился, набирая войска, Вариний, которого он и надеялся атаковать и победить.

Однако случилось то, чего ограниченный ум германца не мог предвидеть, а именно что Коссиний на следующий день после ухода Эномая тихонько вышел из Бовианума и двинулся по следам гладиаторов с явным намерением ударить им в тыл, едва они встретятся с Варинием.

Спартак понял всю опасность положения, в которое через несколько дней попадет Эномай, и после лишь шестичасового отдыха, данного легиону, бросился по следам Коссиния, опередившего его на два дня.

Но Коссиний, старый незадачливый солдат, боявшийся нарушить существующие обычаи, шел правильными дневными переходами в двадцать миль каждый, а Спартак в два перехода, свыше чем в тридцать миль каждый, нагнал его возле Ауфидены, атаковал, нанес ему тяжелое поражение и преследовал с таким упорством, что Коссиний, вне себя от стыда и отчаяния, бросился в ряды гладиаторов и там оставил свою жизнь. А Спартак, продолжая и на следующий день свое быстрое наступление, прибыл вовремя, чтобы превратить в победу поражение, угрожавшее

Эномаю, который между Маррувиумом и Фуцинским озером завязал бой с Варинием, имевшим под своей командой почти восемь тысяч человек; под натиском римлян гладиаторы уже начали подаваться, когда явился Спартак и изменил судьбу сражения: Вариний был разбит и с немалыми потерями стремительно отступил в Корфиниум.

Дав легионам три дня отдыха, Спартак снова двинулся в поход и, опять перейдя Апеннины возле Ауфидены, явился в Сору, которой и овладел без сопротивления; здесь он не совершил никаких насилий, а только освободил находившихся там рабов и гладиаторов и вооружил их.

Потом он стал кружить по всему Лациуму. Два месяца он потратил на посещение городов Анагнии, Арпинума, Ферентинума, Касинума, Фрегелл и, пройдя Лирис, овладел Норбой, Суэсса-Помецией и Привернумом, к великому ужасу римлян, которые видели приближение разбойника к своим воротам.

Во время этих набегов Спартак собрал столько рабов и гладиаторов, что за два месяца успел сформировать еще два легиона и полностью их вооружить. Однако он был настолько благоразумен, что отгонял всякую мысль о нападении на Рим. Он знал, что двадцати и даже тридцати

тысяч бойцов, которыми он мог бы располагать, вызвав к себе свои легионы из Кампании, было бы для этой цели слишком мало.

Между тем, с одобрения Сената, Публий Вариний набрал среди пиценов много солдат, получил из Рима новые подкрепления и, горя желанием смыть позор понесенных поражений, в конце августа выступил из Аскулума. Во главе восемнадцати тысяч бойцов, большими переходами он двигался против Спартака. Спартак, дошедший в эти дни до Террацины, услыхав о приближении Вариния, двинулся ему навстречу и нашел его стоящим в лагере у Аквинума. Накануне сентябрьских ид (12 сентября) оба войска сошлись и вступили в решительное сражение.

Длительной и кровопролитной была битва, но к вечеру римляне начали сдавать, колебаться… и очень быстро, под бешеным натиском гладиаторов, были вынуждены бежать. Последний натиск был так силен, что легионеры пришли в полное расстройство, и победители учинили среди них жестокую резню.

Вариний отчаянно боролся за поддержание чести римского имени и долго сопротивлялся, но, раненный Спартаком, должен был оставить в его руках своего коня и благодарить богов за то,

что ему чудом удалось спастись. Свыше четырех тысяч римлян погибло в этом кровопролитном сражении. Гладиаторы овладели оружием, обозами, квартирным инвентарем, знаменами неприятельских легионов и даже ликторами, которые обычно шли впереди претора.



Глава XIV
Самолюбие ликтора Симплициана

После поражения при Аквинуме претор Публий Вариний с остатками своих легионов, около десяти тысяч человек, отступил в Норбу и укрепился там, чтобы защищать одновременно и Аппиеву, и Латинскую дорогу в случае, если бы ненавистный гладиатор, который, по мнению Вариния, перевернул все правила тактики и опрокинул традиции всех наиболее опытных полководцев, несмотря на зимние холода, осмелился двинуться против Рима.

Что касается Спартака, то он после блестящей победы при Аквинуме послал об этом сообщение в лагерь под Нолой и поставил свои легионы на отдых в бывших римских квартирах. Затем, призвав в свою палатку Эномая, он передал ему начальство над четырьмя легионами, заставив поклясться честью, что он ни в каком случае не двинется из лагеря, пока Спартак не вернется. Эномай поклялся, и Спартак в два часа после полуночи тайно выступил из лагеря во главе трехсот всадников с определенной целью, извест-

ной только ему одному.

Между тем в лагерь под Нолой в течение двухмесячного похода Спартака в Самниум и Лациум ежедневно со всех сторон стекались рабы и гладиаторы такими толпами, что Крикс мог сформировать еще три легиона по пять тысяч с лишком в каждом и поручил командование ими Арториксу, Брезовиру и одному старому, атлетического телосложения кимвру, взятому в плен Марием в сражении при Верцеллах. Этот кимвр, по имени Вильмир, несмотря на грубость и дикость характера и на пьянство, имел высокую репутацию среди гладиаторов за геркулесовскую силу и за прямоту души.

Легионы, согласно предписанию Спартака, ежедневно выходили упражняться в фехтовании, в тактических приемах, в атаках. Солдаты занимались этим очень охотно и старательно. Надежда добиться свободы и увидеть торжество своего правого дела так воодушевляла этих несчастных, оторванных римским насилием от родины, от семей, от привязанностей, сознание, что они — свободные солдаты святого знамени, так подымало попранное чувство собственного достоинства и облагораживало их в собственных глазах, жажда мести за испытанные оскорбления

так воспламеняла в сердцах этих людей желание помериться оружием с угнетателями, что в ноланском лагере на всех лицах, во всех речах проявлялись смелость, сила, непоколебимое мужество. Энтузиазм этого молодого войска усиливался доверием, которое гладиаторы питали к своему безгранично почитаемому, беспредельно любимому вождю.

Когда пришло известие о победе, одержанной Спартаком над легионами Публия Вариния при Аквинуме, радость была единодушной, шумной и пылкой, всюду раздавались веселые песни, праздничные крики и оживленные разговоры.

Среди этой суматохи, этого оглушительного шума, этого бурного движения, напоминавшего море во время урагана, вероятно, единственным лицом в лагере гладиаторов, которое не знало причины этой радости, была Мирца. Она остановилась у входа в палатку, в которой проводила почти целые дни, и спросила у проходивших солдат, что вызвало это ликование.

— Спартак еще раз победил!

— Он совершенно разбил римлян!

— Он их так разгромил, что они долго будут это помнить!

— Где?.. Как?.. Когда?.. — спросила взволнован-

но девушка.

— При Аквинуме…

— Три дня тому назад…

— Он разбил претора и захватил его коня, ликторов и знамена!

В это время на преторий явился Арторикс. Он шел к Мирце с вполне благовидной целью — сообщить ей подробности об одержанной ее братом победе, но, подойдя к ней и поздоровавшись, густо покраснел и смутился так сильно, что не знал, как начать речь.

— Так вот… здравствуй, Мирца, — пробормотал юноша, блуждая глазами во все стороны и теребя перевязь, спадавшую с левого плеча на правый бок, — ты уже знаешь… это было при Аквинуме… Как твое здоровье? — И после короткого колебания закончил: — Так вот, значит, Спартак победил.

Смущенный Арторикс казался самому себе смешным: язык у него точно прилип к гортани, и он был вынужден вытягивать из себя слова. Он охотно предпочел бы находиться в самом жарком бою и сражаться с сильнейшим врагом.

Дело в том, что Арторикс, эта нежная, чистая душа, обожавший Спартака, с некоторого времени испытывал такие сердечные волнения,

каких он никогда не знал раньше. Вид Мирцы его волновал; ее голос вызывал в нем неизъяснимый трепет, а ее речи, казавшиеся сладчайшими звуками сафической арфы, переносили его, незаметно для него самого, в неведомые, полные неги миры и заставляли забывать обо всем окружающем.

Сперва он отдавался целиком этим сладостным грезам, не стараясь разгадать их характер и источник, давал убаюкивать себя опьянявшей его таинственной гармонии, давал себя увлекать этому лазурному фантастическому потоку сладостных ощущений и не понимал и не старался понимать, что происходило в его душе.

С того дня, как Спартак отправился в Самниум, молодому гладиатору часто случалось находиться в палатке вождя возле Мирцы, причем он не знал, как и для чего он приходил туда; часто случалось, что он как бы в беспамятстве или во сне оказывался посреди поля или виноградника в нескольких милях от лагеря, не имея возможности объяснить себе, как он попал туда и о чем он думал, пока шел.

Но спустя месяц после отъезда Спартака произошло нечто, вынудившее юного галла несколько удержаться на этой опасной наклонной плоско-

сти сладостных галлюцинаций, на которую он вступил, и призвать себе на помощь разум, для того чтобы внести хоть немного порядка в свои расстроенные мысли.

А случилось следующее: Мирца, сперва не замечавшая частых посещений Арторикса, всегда беседовала с ним, нежно отдаваясь искренней дружбе, но с течением времени и она начала то вдруг краснеть, то внезапно бледнеть и обнаруживала волнение, задумчивость и стеснение.

Тогда юноша принялся внимательно исследовать свою душу и понял, что он отчаянно влюблен в сестру Спартака.

И он решил, что причина этого поведения девушки, столь же странного, как и его собственное, — ее презрение к нему; он не подумал, что и Мирца могла пройти через все фазы страсти, через которые прошел он сам, не смел льстить себя надеждой, что девушка питает к нему любовь, равную той, которую он испытывает к ней, и вовсе не предполагал, что ее смущение, когда он находится возле нее, имеет тот же источник, что и его собственное.

Таким образом, оба юных существа обрекли себя на жизнь, полную тайных страданий, постоянной тревоги, трудноскрываемых вздохов,

старались избегать друг друга, желая в то же время быть вместе; желая не видеться часто, встречались, а встречаясь, хотели говорить, но молчали; желали расстаться, но стояли без движения, с потупленными взорами, лишь по временам тайком поглядывая друг на друга, словно считая это преступлением.

Поэтому Арторикс с радостью воспользовался вестью о новой победе Спартака, чтобы пойти к палатке фракийца. Он говорил самому себе, что более законного основания пойти к девушке не может быть, и старался убедить себя в том, что не он создал этот повод и что из-за глупой щепетильности не сообщить Мирце столь радостную весть было бы не только ребячеством, но прямо дурным поступком.

И он побежал к девушке с сердцем, трепетавшим радостью и надеждой, с твердым решением победить то смущение, то волнение, ту странную робость, которые сковывали его, когда он бывал с нею. Он решил поговорить с ней откровенно и смело, как подобает мужчине и воину, открыть ей всю свою душу, так как — думал он, приближаясь к палатке Спартака, — это странное положение вещей должно же когда-нибудь кончиться, и пришло уже время найти какой-либо способ

избавиться от мучивших чувств.

Но когда Арторикс очутился возле Мирцы, все его прекрасные намерения рассеялись как дым, и он стоял перед ней как мальчик, пойманный на месте преступления учителем; поток красноречия, который должен был излиться из его уст, сразу иссяк, и ему удалось лишь произнести восемь или десять бессвязных и отрывистых слов, в которых не было ни капли здравого смысла.

Пламенный румянец выступил на лице девушки, и после небольшого колебания она, стараясь побороть собственное волнение, сказала наконец Арториксу слегка дрожащим голосом, которому силилась придать твердость:

— Послушай, Арторикс, ну разве так рассказывают сестре о геройских подвигах брата?

При этом упреке юноша покраснел и, черпая в нем мужество, недоставшее ему вначале, подробно рассказал девушке обо всем, что сообщили курьеры о сражении при Аквинуме.

— А Спартак не ранен? — спросила Мирца, с тревогой следя за рассказом гладиатора. — Правда не ранен?.. С ним ничего не случилось?..

— Да нет! Как всегда, он вышел невредимым из всех опасностей.

— Ах, именно его мужество, которым он мог

бы помериться с богами, — воскликнула слабым голосом Мирца, — и заставляет меня дрожать за него каждый час, каждую минуту!

— Не бойся, благородная девушка: пока у Спартака в руке меч, нет оружия, которое нашло бы дорогу к его груди!

— О, я верю, — сказала, вздыхая, девушка, — что он непобедим, как Аякс, но знаю, что он не неуязвим, как Ахиллес.

— Высшие боги, покровительствующие нашему справедливому делу, охранят также драгоценную жизнь нашего вождя!

Тут оба замолчали.

Арторикс смотрел влюбленными глазами на белокурую девушку, на тонкие черты ее лица и на ее изящную фигуру.

Мирца же устремила взгляд в землю, так как хотя и не видела, но чувствовала на себе взоры юноши, и этот пылающий влюбленный взгляд одновременно доставлял ей удовольствие, беспокойство и смущение.

Это молчание, столь неприятное для Мирцы, длилось с минуту, но показалось ей целым веком; она в конце концов очнулась и, решительно подняв глаза на Арторикса, сказала:

— Ты сегодня не выведешь свой легион в поле

для обучения?

— О Мирца, тебе так неприятно мое присутствие? — воскликнул юноша, опечаленный этим вопросом.

— Нет, Арторикс, вовсе нет, — возразила с необдуманной пылкостью девушка и, тотчас же остановившись и покраснев, как пурпур, прибавила, заикаясь: — Дело в том… так как ты… обычно так строго относишься к своим обязанностям…

— Чтобы отпраздновать победу Спартака, Крикс дал сегодня полный отдых легионам.

На этом их беседа снова прекратилась.

Наконец Мирца сделала решительное движение, чтобы вернуться в палатку, и сказала, не глядя на гладиатора:

— Прощай, Арторикс!

— О нет, выслушай меня, Мирца, не уходи! Я должен сказать тебе то, что уже давно хочу сказать… непременно должен сказать тебе это сегодня! — воскликнул торопливо Арторикс, осмелевший при движении девушки; он не желал расстаться с ней, не открыв своей души.

— Что ты хочешь мне сказать? О чем ты хочешь со мной говорить? — спросила Мирца, скорее опечаленная, чем удивленная словами юного

галла. Она уже переступила через порог палатки и повернулась всем корпусом; только лицо ее было обращено к Арториксу.

— Вот… выслушай меня… и прости меня… Я хотел сказать… я должен сказать… но нужно, чтобы ты не обиделась на мои слова… так как… я не виноват… и затем… уже два месяца…

Забормотав что-то бессвязное, он остановился. Но потом, сразу прорвавшись в стремительных и отрывистых словах, подобно потоку, вышедшему из своего русла, начал быстро говорить:

— И зачем я должен скрывать это от тебя?.. Зачем я должен принуждать себя скрывать страсть, которую я больше не могу подавлять, которая видна во всех моих поступках, в каждом моем слове, каждом взгляде, каждом вздохе? До сих пор меня удерживала боязнь оскорбить тебя, страх перед твоим отказом, подозрение, что я тебе противен, но теперь я не могу, не могу больше противиться очарованию твоего взгляда и твоего голоса, непреодолимой силе, влекущей меня к тебе; я чувствую, что не могу и не хочу больше жить в этих терзаниях, в этой тревоге… Я люблю тебя, прекрасная Мирца, я люблю тебя, обожаемая Мирца, я люблю тебя, как наше знамя, как Спартака, и гораздо больше, чем самого себя, и

если этой любовью я оскорбил тебя, если я тебя огорчил, прости меня: таинственная сила, более могучая, чем моя воля, овладела моей душой, и я не мог, поверь мне, я не мог освободиться от ее власти!

На этом он закончил свою речь, произнесенную дрожащим от волнения голосом, склонил голову и остановился в покорной позе, ожидая с трепетом в душе ее решения.

По мере того как юноша говорил с возрастающим жаром, который придает словам только глубокое чувство, Мирца слушала его с очевидным и все растущим волнением; глаза ее расширились, затем постепенно налились крупными слезами, с трудом удерживаемыми ею. Когда Арторикс кончил, чувства, волновавшие девушку, должно быть, достигли своего высшего предела, так как грудь ее поднималась и опускалась с необычайной быстротой. Некоторое время девушка стояла совершенно неподвижно; она уже не сдерживала слез, а глаза ее с выражением мольбы ласкали белокурую голову юноши, склонившуюся к ней. После минутного молчания она ответила слабым и надрывающимся от рыдания голосом:

— Ах, Арторикс! Было бы хорошо, если бы ты никогда не думал обо мне, а еще лучше, если бы

ты никогда не говорил мне о своей любви…

— Значит, я тебе безразличен, противен? — грустно спросил галл, подымая сильно побледневшее лицо.

— Ты мне не безразличен и не противен, великодушный и благородный юноша. Самая богатая девушка, самая знатная женщина должна бы гордиться твоей любовью, но эту любовь… надо, чтобы ты вычеркнул ее из своего сердца… мужественно и навсегда…

— Но почему? Почему?.. — спросил с тоской, с мольбой протянув к ней руки, несчастный гладиатор.

— Потому, — продолжала говорить Мирца слабым голосом, — потому, что ты не можешь любить меня… потому, что любовь между нами невозможна…

— Что? Как? Что ты сказала? — прервал ее юноша, делая несколько шагов по направлению к ней, как бы для того, чтобы схватить ее за руки. — Что ты сказала?.. Невозможна?.. Почему же невозможна?.. — воскликнул он в отчаянии.

— Невозможна! — сказала твердым, но печальным голосом девушка. — Я говорю тебе — невозможна!

И она сделала шаг, чтобы вернуться в палатку,

но, так как Арторикс двинулся, как бы желая последовать за ней, она остановилась и, сделав повелительный жест правой рукой с обращенным к нему указательным пальцем, сказала подавленным голосом:

— Именем гостеприимства я прошу тебя никогда больше не входить в эту палатку… Приказываю тебе это именем Спартака!

При имени обожаемого вождя Арторикс склонил голову и, разразившись горькими рыданиями, остановился, разбитый и уничтоженный, под тяжестью неожиданно обрушившегося на него несчастья.

А Мирца, с лицом бледным и помертвелым от горя, едва сдерживая слезы, исчезла внутри палатки.

Галл долгое время стоял пораженный, в беспамятстве, вне себя, шепча только время от времени едва слышно:

— Не… воз… можна!.. Не… воз… мож… на!

Он был выведен из этого состояния громкими звуками музыки, которыми огласили воздух оркестры лагеря по случаю победы Спартака, и воскликнул, яростно сжав кулаки и посылая проклятие небу:

— Ах!.. Пусть меня поразит своими молниями

и испепелит Тарана[95], прежде чем я потеряю рассудок!

Схватившись обеими руками за голову, как бы для того, чтобы заглушить жестокий шум в висках, и шатаясь, как пьяный, он ушел с претория.

В палатках гладиаторов слышались песни, гимны и веселые крики: войско хотело достойным образом отпраздновать победу Спартака при Аквинуме.

А Спартак тем временем во главе своих трехсот кавалеристов во весь опор мчался по дороге в Рим. И хотя велик был ужас, вызванный последней победой гладиаторов среди населения латинских городов, однако Спартак счел рискованным ехать днем по Аппиевой дороге и прилегающим к ней преторским дорогам только с тремя сотнями человек, поэтому он пускался в путь с наступлением ночи, а на заре укрывался в лесу или в какой-нибудь патрицианской вилле, расположенной вдали от дороги, и в таких местах, где можно было защититься от неожиданного нападения. Таким образом, едучи быстрой рысью, он в полночь третьего дня с момента оставления аквинского лагеря достиг Лабика

---

[95] Сноски: 95

Тарана — галльская богиня грома и молнии.

(ныне Вальмонтоне) — города, расположенного на равном расстоянии от Тускулума и Пренесты, между Аппиевой и Латинской дорогами. Здесь, велев своей коннице разбить лагерь в тайном и безопасном месте, вождь гладиаторов призвал к себе самнита, командовавшего этим отрядом, и приказал ему ожидать здесь двадцать четыре часа, по прошествии которых, в случае если он, Спартак, не вернется по какой-либо причине, отправиться обратно в Аквинум, следуя по той же дороге и тем же порядком, как они приехали сюда.

А сам он верхом один отправился по преторской дороге, которая от Пренесте через Лабик вела в Тускулум.

На очень живописных холмах, окружавших этот старинный город, стояли многочисленные виллы римских патрициев, которые съезжались сюда в летние месяцы дышать целебным воздухом Лациума и обыкновенно оставались до середины осени.

В двух милях от города на рассвете Спартак спросил у одного земледельца, вышедшего на полевые работы, как проехать к вилле Валерии Массалы, вдовы Луция Суллы. Получив точные указания, он поблагодарил крестьянина и,

пришпорив своего вороного, направил его по указанной дорожке. Вскоре он доехал до виллы, где, слезши с коня и спустив на лицо забрало, позвонил привратнику.

Последний замешкался, открывая решетку, а когда наконец открыл ее, то ни за что не хотел будить управителя дома и сообщить ему, что солдат из когорт М. Валерия Мессалы Нигера армии консула Лукулла, прибывший из Фракии, где войско этого консула тогда зимовало, просит допустить его к Валерии, чтобы передать ей от ее двоюродного брата чрезвычайно важные известия.

Кое-как Спартаку удалось уломать привратника, но после короткого разговора с домоуправителем он убедился, что трудность немедленно увидеть Валерию возросла еще больше: старый домоуправитель оказался еще упрямее привратника. Он не сдавался ни на какие доводы Спартака и наотрез отказался разбудить так рано свою госпожу.

— Ну хорошо, — сказал наконец Спартак, решившийся прибегнуть к хитрости, чтобы добиться своего, — добрый человек, ты разбираешь написанное по-гречески?

— Я не знаю греческих букв хотя бы уже потому, что довольно плохо разбираю латинские…

— Но может быть, на этой вилле найдется хоть один раб-грек, знающий греческий язык, который мог бы прочесть рекомендательное письмо, с которым трибун Мессала направил меня к своей двоюродной сестре?

Он с некоторой тревогой ожидал ответа домоуправителя и делал вид, что ищет под латами пергамент. Если бы на вилле нашелся раб, умеющий читать по-гречески, он тотчас же сказал бы, что потерял письмо.

Но как Спартак предвидел, домоуправитель испустил глубокий вздох и, покачивая головой, с горькой улыбкой ответил:

— Все рабы сбежали с этой виллы — греки и негреки — в лагерь гладиатора…

И тут, понизив голос, прибавил с глубоким презрением:

— Подлого гладиатора, гнусного и проклятого… да испепелит его всевышний Юпитер!

В первую минуту Спартаком овладел гнев, и, хотя говоривший был старик, он почувствовал желание дать ему тумака в живот, но, поборов это искушение, он спросил домоуправителя виллы Валерии:

— А почему ты понизил голос, ругая гладиатора?

— Почему… почему… — ответил в смущении домоуправитель, — потому, что Спартак принадлежал раньше к семье Валерии и ее мужу, великому Сулле, он был ланистой их гладиаторов… и Валерия, моя превосходнейшая госпожа, — пусть боги покровительствуют и пошлют ей радость на долгие годы! — имеет слабость считать этого Спартака великим человеком… и решительно не хочет, чтобы о нем худо говорили…

— О преступнейшая женщина!.. — сказал Спартак иронически.

— Эй ты, солдат! — воскликнул домоуправитель, отступив на два шага и измеряя своего собеседника с головы до ног хмурым взглядом, — кажется, ты осмеливаешься говорить дерзости о моей высокоуважаемой госпоже!..

— Вот тебе на!.. Я совсем и не хочу ругать ее… но раз она, благородная римская матрона, на стороне гладиатора…

— Это верно… я тебе сказал… Это ее слабость…

— А, понимаю! Но если ты, раб, не желаешь и не можешь считать эту слабость достойной порицания, то надеюсь, что я, свободный, могу находить ее таковой.

— Но ведь виноват во всем Спартак!

— Да, конечно, клянусь скипетром Плутона!..

Я это тоже говорил — во всем вина Спартака! Клянусь Геркулесом!.. Позволить внушить к себе симпатию добродетельной матроны!..

— Он гнуснейший гладиатор!

— Именно — гнуснейший…

И здесь, остановившись на момент и меняя интонацию, Спартак спросил:

— А что тебе худого сделал Спартак? За что ты его так ненавидишь?

— Что он сделал мне худого? Ты спрашиваешь, что он сделал мне худого?

— Я тебя спрашиваю об этом, потому что в конце концов этот мошенник, насколько я слышал, объявляет свободу рабам, а ты ведь тоже раб и, казалось бы, должен по справедливости сочувствовать этому разбойнику.

И, не дав времени домоуправителю ответить, он тут же прибавил:

— Если только ты не притворяешься…

— Я притворяюсь!.. Притворяюсь!.. О, пусть Минос будет милосерд к тебе в день суда!.. И с чего ты взял, что я притворяюсь?.. Своей безумной затеей этот грязный Спартак сделал меня самым несчастным человеком. Хотя и раб добрейшей Валерии, но, имея при себе своих двух сыновей, я был самым счастливым из людей… Двух пре-

краснейших юношей! Если бы ты их видел! Если бы ты их знал! Они были близнецы, красавцы и похожи друг на друга, как Кастор и Поллукс…

— Ну хорошо. Что же случилось с ними?..

— Они ушли в лагерь гладиатора, и уже три месяца у меня нет о них вестей… И кто знает, живы ли они?.. Да, кто знает… О великий Сатурн, покровитель Самниума, не допусти, чтобы они были убиты, мои дорогие, мои ненаглядные, мои любимые сынки!

И старик разразился безудержными рыданиями, поразившими и растрогавшими Спартака.

После минуты молчания фракиец сказал домоуправителю:

— Итак, ты думаешь, что Спартак поступил дурно, желая свободы для рабов? Ты думаешь, что плохо сделали твои сыновья, уйдя к нему?

— Клянусь всеми богами, покровителями Самниума! Конечно, плохое дело — восстать против Рима. И о какой свободе говорит этот глупый гладиатор? Я родился свободным в горах Самниума. Пришла гражданская война… Наши вожди кричали: «Желаем приобрести права гражданства для нас и для всех жителей Италии, какими уже пользуются жители Лациума!» И мы восстали, мы сражались и рисковали жизнью… А потом… А

потом я, свободный пастух Самниума, стал рабом семейства Мессала. И хорошо для меня, что я попал к этому благородному и великодушному семейству. И жена свободного самнита стала тоже рабой и родила сыновей в рабстве и…

Здесь старик остановился на мгновение, затем, продолжая свою речь, прибавил:

— Безумие… мечты… фантазия… Мир был и будет всегда разделен на господ и рабов, на богатых и бедных, на знатных и плебеев… и всегда он будет так разделен, что бы ни было… фантазия… Мечты… глупость… И в погоне за ними бесплодно проливается драгоценная кровь — кровь наших сыновей! И ради чего? Что значит для меня, что рабы сегодня станут свободными, если ради этого будут убиты мои сыновья? На что мне эта свобода? Чтобы проливать слезы? И я буду, значит, богат и счастлив… раз я буду свободен проливать слезы по своему желанию. Допустим, что мои сыновья не умерли… что все идет великолепно и что завтра я и они будем свободны. Ну, хорошо! А дальше? Что мы сделаем с нашей свободой, раз у нас нет ничего? Теперь мы у нашей добрейшей госпожи имеем все необходимое и даже больше — имеем лишнее, завтра мы, свободные, пойдем работать на чужих полях за такую ничтожную

плату, что не на что будет жить… О, как мы будем счастливы, когда мы получим свободу… умирать от голода!.. О, как мы будем счастливы!..

Старый домоуправитель на этом закончил свою речь, грубую и бессвязную вначале, но которая, по мере того как он говорил, становилась такой выразительной, что произвела глубокое впечатление на Спартака. Склонив голову, он долго стоял, погруженный в тяжелые и грустные думы.

Наконец он очнулся и спросил домоуправителя:

— Итак, здесь, на вилле, нет никого, кто понимал бы по-гречески?

— Никого.

— Принеси мне стило и дощечку.

Когда домоуправитель, разыскав то и другое, подал их солдату, тот на воске, покрывавшем дощечку, написал по-гречески два стиха из Гомера:

Я издалека пришел, о женщина, милая сердцу,

С тем чтобы пылко обнять твои, о царица, колени.

Протягивая домоуправителю дощечку, сказал ему:

— Распорядись, чтобы ее сейчас же передали

служанке твоей госпожи, и скажи, чтобы она разбудила госпожу и немедленно передала ей дощечку, иначе вам обоим будет худо.

Домоуправитель посмотрел раз-другой сначала на эти, ему непонятные знаки, затем на Спартака, который медленными шагами, весь погруженный в свои думы, прохаживался по аллее. Наконец старик, по-видимому, решился исполнить полученное приказание и направился в главный дом виллы.

Спартак продолжал ходить по аллее, пока не дошел до площадки, открывавшейся у входа в дом, и здесь, шагая то медленно, то быстро, то останавливаясь, то снова принимаясь ходить, он боролся с бурей, бушевавшей у него в душе. В ушах у него звучали слова старого домоуправителя, которые произвели на него потрясающее впечатление. Он думал:

«Клянусь всеми богами Олимпа!.. Он прав… Если его сыновья умрут, что даст ему свобода в его сиротливой старости? Что ему в свободе, если он увидит ее лишь в костлявом и грязном образе голода?.. Конечно, он прав!.. Но тогда… чего я ищу? Чего домогаюсь?.. Кто я?.. Кого представляю?.. Чего хочу?..»

И здесь он на мгновение остановился, будто

испугавшись своих собственных вопросов, затем возобновил свою прогулку, медленно шагая, со склоненной на грудь головой, с подавленным видом. И продолжал думать:

«Итак, я преследую какую-то околдовавшую меня химеру, представлявшуюся мне истиной. Я гоняюсь за миражем, которого никогда не поймаю, или если поймаю, то он рассеется, как туман, в то время как я буду уверен, что держу его в своих руках. Разве я брежу?.. Или фантазирую?.. И ради своих фантазий проливаю потоки человеческой крови?..»

Подавленный и уничтоженный этой мучительной мыслью, он остановился, словно потеряв сознание, затем сделал два или три шага назад с видом человека, преследуемого невидимым, но страшным врагом — угрызениями совести.

Но спустя мгновение он очнулся, поднял голову и снова продолжал ходить уверенными шагами.

«Ах, клянусь всемогущей молнией Юпитера Олимпийского, — думал он, — ведь нигде не сказано, что свободе должен сопутствовать голод и что человеческое достоинство должно одеваться в грязные лохмотья жалкой нищеты! Кто это сказал? В каком божеском декрете это написано?»

Походка Спартака стала более быстрой и воз-

бужденной, подавленность его проходила.

«Ах, — думал он, — явись теперь передо мною, божественная истина, свободная от покрова софизмов, явись во всем блеске твоей непорочной наготы, влей бодрость в мою душу, сохрани мне чистую совесть и укрепи меня в моих святых намерениях!.. Кто же, кто установил неравенство среди людей?.. Разве не родимся мы равными?.. Разве не одни и те же у всех нас члены, не одни и те же потребности, не одни и те же желания?.. Разве не одинаковые у нас чувства, ощущения, разум и самосознание?.. Разве жизненные блага не одни и те же для всех?.. Не дышим мы все одним и тем же воздухом, не питаемся одним и тем же хлебом, не утоляем жажду из одних и тех же источников?.. Разве природа установила различие между обитателями земли?.. Разве она одних освещает и согревает жаркими лучами солнца, а других осуждает на вечную тьму?.. Разве роса спускается, принося одним благо, а другим гибель?.. Разве не рождаются, одинаково после девятимесячной беременности, сын царя и сын раба?.. Разве боги избавили царицу от родовых мук, испытываемых женой бедняка-крестьянина?.. Разве патриции живут вечно или умирают иначе, чем плебеи?.. Или трупы господ не гниют

так же, как и трупы слуг?.. И разве кости и прах богатых чем-либо отличаются от праха и костей бедных? Итак, кто, кто же установил различие между одним человеком и другим, кто первый сказал: „Это — твое, а это — мое“ — и захватил права своего собственного брата?.. Наверно, это был могучий человек, который, пользуясь своей физической силой и угрожая своим богатырским кулаком более слабому, подчинил его себе. И тогда, если грубая сила была основой первой несправедливости, захвата, рабства, почему мы не можем восстановить равенство, справедливость и свободу? И если мы проливаем свой пот на чужой земле для того, чтобы вырастить и кормить наших детей, то почему нам не пролить нашу кровь, чтобы сделать их свободными и вернуть им все права?»

Здесь Спартак остановился, задерживая бег своих мыслей, и через минуту, испустив глубокий вздох удовлетворения, закончил свои рассуждения:

«Ну, хорошо… Что же говорил тот?.. Ослабевший, упавший духом, огрубевший от рабства, он уже не сознает себя человеком, а, подобно ослу, не замечая, несет на себе тяжесть своих цепей и влачит свое существование, как животное,

утратив уже чувства человеческого достоинства и справедливости!»

В этот момент вернулся домоуправитель и сообщил Спартаку, что Валерия поднялась с постели и ожидает его в своих комнатах.

Спартак поспешил туда с трепетом в сердце и, введенный в кабинет, где на небольшом диване сидела матрона, поднял забрало и упал к ногам Валерии.

Она обвила руками его шею, и уста двух любящих без слов, без звука слились в страстном, долгом и пламенном поцелуе. Во власти ни с чем не сравнимого сладостного опьянения они стояли долгое время, судорожно обвив друг друга, безмолвные и недвижимые.

Наконец, словно по какому-то знаку, они оторвались друг от друга и откинулись назад, чтобы рассмотреть лица. Оба были бледны, взволнованы, потрясены. Валерия, одетая в белоснежную столу, с густыми черными, распущенными по спине волосами, с черными глазами, сияющими от радости, но в которых все-таки дрожали крупные слезы, первая нарушила молчание. Она прошептала придушенным голосом:

— О Спартак… Спартак… Как я счастлива снова видеть тебя!

И, вновь обняв его, порывисто лаская и целуя, говорила задыхающимся голосом:

— Как я дрожала… Сколько вытерпела… сколько плакала… Все думала, каким ты подвергаешься опасностям… за тебя я… дрожала… так как в моем мозгу… видишь ли… Спартак… в моем мозгу… не может возникнуть мысль, предметом которой был бы не ты… Мое сердце… поверь мне… мое сердце бьется… только для тебя… Ты — моя первая любовь, ты будешь моей последней и единственной… настоящей любовью в моей жизни!

И немного спустя, продолжая беспрерывно ласкать его, она засыпала его вопросами:

— Скажи мне, мой Аполлон, скажи мне, как ты пришел сюда? Может быть, ты идешь на Рим со своим войском? Ты не подвергаешься опасности, оставаясь здесь, не правда ли? Ты расскажешь мне подробности последнего сражения? Я слышала, что ты под Аквинумом разбил восемнадцать тысяч легионеров… Когда окончится эта война, заставляющая меня дрожать каждый час? Ты добьешься свободы, не правда ли? И ты сможешь вернуться в свою Фракию, в эту счастливую страну, где некогда жили боги.

Умолкнув на миг, она добавила более слабым и вкрадчивым голосом:

— И туда… я тоже смогу последовать за тобой… и жить, неведомая миру и не ведая его случайностей, рядом с тобой… любя тебя вечно, тебя, смелого, как Марс, прекрасного, как Аполлон, любя тебя, насколько я способна, всеми силами моей души, о дорогой Спартак!

Гладиатор грустно усмехнулся над этими нежными и обманчивыми иллюзиями, которыми его возлюбленная хотела украсить будущее, и, лаская ее черные волосы, целуя ее в лоб и прижимая к своей груди, он прошептал:

— Продолжительна и жестока будет война… и я буду очень счастлив, если мне удастся вывести рабов, ставших свободными, в их родные страны. Но чтобы установить в будущем справедливость и равенство в мире, понадобится война народов, которые восстанут не только против Рима, властителя всего мира, но против прожорливых волков, против ненасытных патрициев, против привилегированной касты в собственной стране каждого!

Последние слова гладиатор произнес удрученным и подавленным тоном, грустно качая головой: было видно, что мало надеялся он увидеть при жизни результат этого великого дела. Валерия стала утешать Спартака своими поцелу-

ями; ласки ее рассеяли облако грусти, покрывшее морщинами лоб гладиатора.

И скоро влюбленные погрузились в пучину нескончаемых ласк, среди которых быстро промелькнули дневные часы. Их счастье увеличивалось присутствием и ласками маленькой Постумии; ее детские проказы, смех и щебетание были бесконечно милы, а личико, на котором блестели два больших черных глаза, составлявшие чудесный контраст с массой белокурых густых волос, очаровательно.

Когда сумерки начали спускаться на землю, печаль стала постепенно заволакивать радость, кратковременно оживившую отшельнический покой Валерии; вместе с дневным светом будто улетала из этого дома также и радость.

Спартак рассказал Валерии, каким образом он попал к ней, и сообщил, что его долг — долг непременный и святой, долг вождя восстания, которому судьба так улыбалась и была столь благосклонной, — обязывал его вернуться этой же ночью в Лабик, где его ожидал отряд конницы. Естественно, что это сообщение глубоко огорчило влюбленную женщину. Удалив маленькую Постумию, она со слезами на глазах бросилась в объятия любовника.

И так провели Спартак и Валерия шесть часов — от часа первого факела до тихого часа ночи — в тесных беспрерывных объятиях и в поцелуях. Она беспрестанно повторяла среди рыданий, что мрачное предчувствие сжимает ей сердце, что если он уйдет, то ей уже не обнимать его никогда, что последний раз она слышит и ласкает человека, так сильно заставившего ее сердце трепетать настоящей, глубокой любовью.

Спартак старался рассеять страх и осушить слезы Валерии. Среди поцелуев шептал он ей самые нежные слова надежды и утешения, ободряя ее, смеясь над ее предчувствиями и опасениями; но было видно, что страх Валерии проник и в сердце Спартака. Его улыбка стала напряженной, почти мрачной, а слова с трудом выходили из уст, лишенные огня и жизни. Он тоже чувствовал, что им овладевают грустные мысли, скорбные предчувствия, необъяснимый упадок духа, и не мог избавиться от этих ощущений, как ни старался.

В этом состоянии они оставались вплоть до момента, когда вода, капавшая в стеклянном шаре клепсидры[96], стоявшей на шкафу у стены, дошла до шестой черты, обозначавшей шестой

---

[96] Сноски: 96
Клепсидра — водяные часы.

час ночи. Тогда Спартак, часто незаметно для Валерии бросавший взгляд на клепсидру, встал с дивана и, вырвавшись из ее объятий, стал надевать латы, шлем и меч.

Валерия вскочила в слезах и, страстно обвив руками шею Спартака, бледная, прижавшись к нему лицом и подняв на него свои сверкающие черные глаза, в которых таилось страдание, голосом, прерывающимся от рыданий, задыхаясь, стала говорить:

— Нет, Спартак, нет… не уходи… не уезжай из сострадания… ради твоих богов… в память о дорогих тебе… я тебя умоляю… я тебя заклинаю… дело гладиаторов идет хорошо… у них храбрые начальники… Крикс… Граник… Эномай… они поведут гладиаторов… а ты… нет… больше нет… нет, нет… Спартак… ты останешься здесь… здесь, где нежность… беспредельная преданность… безграничная любовь… окружат ласками… радостями… новое существование…

— О Валерия, моя Валерия… Неужели ты хочешь, чтобы я стал бесчестным? — говорил Спартак, стараясь освободиться из объятий своей подруги. — Я не могу, не могу… Неужели я изменю тем, кого сам призвал к оружию, тем, которые надеются на меня, которые меня ждут и зовут?.. О

Валерия, моя обожаемая, я не могу… я не должен изменять моим товарищам по несчастью! Иначе я буду недостойным тебя. Не принуждай меня стать презренным в глазах всех людей, в моих собственных глазах!.. Пусть твои чары и твоя власть надо мною не лишают меня мужества, а поднимают его еще больше! Пусти меня… пусти… моя Валерия… моя обожаемая Валерия!

Во время этой отчаянной борьбы, когда Валерия все теснее прижималась к Спартаку, а он легким усилием стремился отстранить ее от себя, в комнате Валерии были слышны лишь тяжелые вздохи, судорожные поцелуи, стоны и взаимные горячие клятвы.

Но Спартак, лицо которого побледнело, а глаза начали застилать слезы, призвав на помощь все свое мужество, сделал отчаянное усилие над собой и, вырвавшись из рук Валерии, уложил ее на диван, где она и осталась лежать без сил, закрыв лицо руками и разразившись безутешными рыданиями.

Когда фракиец, произнося бессвязные слова надежды и утешения, надел латы и шлем, прикрепил к поясу оружие и приготовился поцеловать в последний раз любимую женщину и уйти из этой комнаты, Валерия, вскочив с ложа, в отчаянии

упала перед дверью и совсем слабым от рыданий голосом стала умолять:

— Спартак… О мой Спартак… я это чувствую… я это чувствую здесь, внутри, — и она показала на сердце, — если ты уедешь, я больше тебя не увижу… ты меня больше не увидишь… Я знаю это… чувствую… Не уезжай… нет… не сегодня, не сегодня… из сострадания… ты уедешь завтра… но не сегодня… я тебя заклинаю моей безграничной, беззаветной любовью… не сегодня… не сегодня, заклинаю тебя.

— Я не могу, не могу… Я должен ехать…

— Спартак… Спартак, — сказала едва слышным голосом, с мольбой простирая к нему руки, несчастная женщина, — я тебя умоляю… ради нашей дочери… ради нашей до…

Но она не смогла закончить, так как фракиец, подняв ее с пола и судорожно прижав к груди, прервал ее рыдания и слова, закрыв своими дрожавшими губами ее похолодевшие губы.

Любовники застыли в этом объятии на несколько минут, в течение которых в комнате слышались только их тяжелые вздохи, сливавшиеся в одно дыхание.

Но Спартак, постепенно сдерживая порыв своей нежности, немного откинул назад голову и

нежным страстным голосом сказал Валерии:

— О моя обожаемая жена, неужели ты, которой я воздвиг в своем сердце алтарь как единственной богине, которой я поклоняюсь и которую я обожаю, неужели ты, у кого я черпал мужество и стойкость в минуты самой тяжкой опасности, неужели ты, одна мысль о ком вдохновляет меня на благородные замыслы и великие дела, неужели ты, Валерия, хочешь сделать меня бесчестным, низким, проклинаемым современниками и потомками?

— Нет… Я не хочу тебя видеть бесчестным… Великим, славным я желаю видеть твое имя, — возразила она, обрывая слова и произнося их едва слышным голосом. — Но я… я… бедная женщина… пожалей меня… поезжай завтра… не сегодня… не сейчас… не так быстро…

Она склонила бледное и покрытое слезами лицо на плечо Спартака и с грустной и нежной улыбкой прошептала:

— Мне так хорошо… так здесь удобно…

И она закрыла глаза, как бы для того, чтобы упиться своим наслаждением; и ее лицо, на котором еще блуждала улыбка, казалось более похожим на лицо только что умершей, чем на лицо живой женщины.

Спартак наклонился и смотрел на нее, преисполненный таким состраданием, нежностью и любовью, что вскоре его голубые сверкающие глаза, смотревшие с презрением на опасность и смерть, наполнились крупными слезами, хлынувшими на лицо и на латы.

А Валерия в это время, не открывая глаз, стала шептать слабым, слабым голосом:

— Смотри на меня… смотри на меня, Спартак… своим любовным взором… Я его вижу, знаешь, не раскрывая глаз… я тебя вижу… Какой ясный лоб… какой ясный лоб… Твои глаза так сверкают, и все-таки они нежные! О Спартак, как ты прекрасен!

И так прошло еще несколько минут.

Но едва Спартак сделал легкое движение, чтобы поднять Валерию и уложить ее на диван, как она, все еще не открывая глаз, сказала, порывисто сжимая руками шею гладиатора:

— Нет… нет… не двигайся!..

— Я должен ехать… моя Валерия!.. — прошептал ей на ухо дрожащим от волнения голосом несчастный рудиарий.

— Нет!.. Не уезжай!.. — воскликнула она, глядя на него со страхом.

Спартак ничего не сказал, но, схватив руками голову Валерии, стал покрывать жаркими поце-

луями ее лоб, в то время как она по-детски нежно говорила:

— Не правда ли, ты не уедешь этой ночью?.. Ты поедешь завтра… Ночью… знаешь, в глухой дороге… в темноте… среди печального безмолвия… не хорошо ехать… Подумать только… меня дрожь берет… Я боюсь!

И несчастная женщина в самом деле задрожала всем телом и еще крепче прижалась к своему возлюбленному.

— Завтра… на заре… когда солнце встанет, оживит своими лучами природу… среди благоухания полей… среди веселого щебетания сотен птиц… после того как ты обнимешь меня… после того как ты еще раз покроешь поцелуями лобик Постумии… после того как я тебе повешу на шею под тунику эту цепочку с медальоном…

И она показала золотой медальон, украшенный драгоценными камнями, который на изящной золотой цепочке висел на ее белоснежной шее.

— Ты знаешь, Спартак, что внутри этого медальона скрыт драгоценный талисман, который тебя спасет от всякой опасности?.. Угадай… угадай… что это за талисман?..

И так как гладиатор не отвечал и только любящим и затуманенным слезами взором смотрел

на прекрасную женщину, а на губах его была улыбка, то она воскликнула с оттенком мягкого упрека в голосе:

— Как!.. Неблагодарный… Ты не понимаешь, о чем я говорю?

И тотчас же прибавила, снимая с шеи цепочку и открывая медальон:

— Локон черных волос матери и белокурый локон дочери!

И она показала рудиарию две пряди волос, спрятанные внутри медальона.

Спартак схватил его и поднес к губам.

А Валерия, отняв медальон у Спартака и тоже поцеловав его, закрыла и, накинув цепочку на шею Спартака, сказала:

— Носи его под латами, под туникой, прямо на груди.

Спартак почувствовал, что сердце у него разрывается, и, не умея и не зная, что еще сказать, прижался к груди Валерии. Крупные слезы катились по его лицу.

Внезапно звон оружия и крики раздались на площадке перед домом, и отдаленный шум достиг даже комнаты, в которой находились Спартак и Валерия.

Они дали знак друг другу замолчать и напрягли

слух, задерживая дыхание.

— Мы не откроем дверей таким разбойникам, как вы! — кричал на скверном латинском языке сильный голос.

— Мы вас подожжем! — гремели снаружи сердитые голоса.

— Клянусь Кастором и Поллуксом, — возразил первый голос, — мы закидаем вас стрелами!

— Что?.. Что случилось? — спросила встревоженным голосом Валерия, поднимая полные страха глаза на лицо Спартака.

— Вероятно, мое присутствие открыто, — отвечал фракиец, стараясь вырваться из рук Валерии, которая при первых же угрожающих словах, произнесенных снаружи, еще крепче обняла Спартака.

— Не выходи… не двигайся… из жалости ко мне!.. — воскликнула придушенным голосом женщина, на мертвенно-бледном искаженном лице которой отражались тревога и страх.

— Ты же не хочешь, чтобы я живым попал в руки моих врагов? — сказал тихим, но страшным и грозным голосом вождь гладиаторов. — Ты же не хочешь видеть меня распятым на кресте?..

— Ах нет!.. нет!.. Клянусь всеми богами ада!.. — в страхе закричала Валерия, выпустив Спартака

и отступая назад.

И, энергичным движением своей белой руки вытащив из ножен тяжелый испанский меч Спартака, который она с трудом поднимала, она подала его гладиатору и сказала сдавленным голосом, которому старалась придать твердость и решительность:

— Спасайся, если сможешь, а если должен умереть, то умри лицом к врагу и с мечом в руке.

— Благодарю!.. Благодарю, моя божественная Валерия! — воскликнул Спартак, сверкая глазами, схватил меч и сделал шаг, чтобы уйти.

— Спартак, прощай! — сказала дрожащим голосом бедная женщина, снова обнимая Спартака.

— Прощай, — ответил тот, сжимая ее в объятиях.

Но вдруг губы Валерии, прильнувшие к губам Спартака, стали холодными, и рудиарий почувствовал, что ее тело, подобно безжизненной массе, повисло на его руках: голова Валерии бессильно упала на его плечо.

— Валерия! Валерия!.. — воскликнул прерывающимся голосом, в невыразимой тревоге фракиец, смотря на любимую женщину, и лицо его, до этого покрасневшее от гнева, стало теперь смертельно бледным. — Что с тобой?.. Юнона,

помоги нам!.. Валерия, моя обожаемая Валерия!.. Мужайся!.. Молю тебя…

Бросив на пол меч и подняв сильными руками свою возлюбленную, Спартак положил ее на диван и, став на колени возле нее, стал ее ласкать, звать и согревать своим дыханием и поцелуями.

И так как Валерия лежала без движения, не отзывалась на его ласки и походила более на мертвую, чем на бесчувственную, то страшная мысль пронзила мозг Спартака, он порывисто поднялся и устремил расширенные от страха глаза на распростертую перед ним прекрасную женщину, которая в этой позе и в своей бледности казалась еще более прекрасной. Он стоял, дрожа всем телом, и вглядывался в мертвенные уста, ловя в них признаки дыхания; положив руку под левую грудь Валерии, он ощутил едва заметное, медленное биение сердца. Он вздохнул, подбежал к маленькой двери, которая вела в другие покои Валерии, поднял портьеру, открыл дверь и позвал несколько раз:

— Софрония!.. Софрония!.. На помощь!.. Софрония!..

В эту минуту он услышал стук в дверь, через которую раньше хотел уйти, повернулся к этой двери и прислушался: шум и крики, бушевавшие

недавно снаружи, прекратились, но через мгновение он снова услышал стук и одновременно мужской голос, говоривший:

— Милостивая Валерия!.. госпожа моя!..

С быстротой молнии Спартак поднял меч и, подойдя к двери и приоткрыв ее немного, спросил:

— Чего тебе?..

— Пятьдесят конных солдат… явились… сюда, — сказал, дрожа и заикаясь, старый домоуправитель (это был именно он), смотря выпученными глазами при свете принесенного им факела на Спартака, — и говорят… и кричат… что они желают, чтобы им вернули… их… начальника… и уверяют, что ты… Спартак.

— Ступай и скажи им, что через минуту я выйду.

И Спартак закрыл дверь под носом старика-домоуправителя, оставшегося на месте в изумлении и страхе, в позе человека, превращенного в статую.

В тот момент как Спартак возвратился к дивану, на котором все еще без движения лежала Валерия, через другую дверь вошла ее служанка.

— Иди, — сказал ей Спартак, — возьми эссенции и духи и приходи с какой-нибудь другой рабыней позаботиться о твоей госпоже. Она в обмороке.

— О моя добрая… бедная госпожа! — воскликнула рабыня, складывая руки с жестом жалости.

— Ну, скорее!.. К делу!.. Не болтай!.. — закричал Спартак повелительным тоном.

Софрония вышла и очень скоро вернулась с двумя другими рабынями и с пахучими эссенциями на спирту. Они нежно стали хлопотать около лежавшей без сознания. Через несколько минут бледное лицо Валерии окрасилось легким румянцем и дыхание ее стало более ровным и глубоким.

Увидев это, Спартак, стоявший неподвижно, со скрещенными на груди руками, пристально смотря на свою возлюбленную, испустил вздох удовлетворения, поднял глаза к небу, как бы благодаря богов, затем, оттолкнув в стороны рабынь, преклонил одно колено и поцеловал белоснежную руку Валерии, бессильно свисавшую с края дивана, поднялся, запечатлел долгий поцелуй на ее лбу и быстро вышел из комнаты.

В одно мгновение он дошел до площадки, перед которой стояли пятьдесят спешившихся кавалеристов; лошадей они держали за повода.

— Ну?.. — спросил он строгим голосом. — Зачем вы здесь? Чего вы хотите?

— По приказу Мамилия, — ответил декурион,

командовавший этим отрядом, — мы следовали за тобою издали и боялись…

— Садись! — скомандовал Спартак.

И в один миг пятьдесят кавалеристов, схватившись за гривы, вскочили на спины коней, покрытых простыми темно-синими чепраками.

Несколько рабов, оставшихся на вилле вследствие своей старости, в страхе толпились, с факелами в руках, у входа в главный дом, молча наблюдая эту сцену.

— Коня! — приказал им Спартак.

Трое или четверо из этих стариков поспешно побежали в соседние конюшни, вывели оттуда вороного и подвели Спартаку. Он вскочил на него и, приблизившись к старику-домоуправителю, спросил его:

— Имена твоих сыновей?

— О знаменитый Спартак! — ответил плаксиво старик. — Не поставь в вину им мои необдуманные слова, сказанные вчера утром…

— Низкий раб! — закричал в негодовании фракиец. — Неужели ты меня считаешь таким же подлым трусом, как ты сам? Если я спрашиваю имена твоих доблестных юношей, отцом которых ты недостоин быть, то чтобы заботиться о них — вот зачем я тебя спрашиваю.

— Прости меня… славный Спартак… Аквилий и Ацилий их имена… сыновья Либедия… Возьми их под свое покровительство, великий вождь, и да будут тебе благоприятствовать боги и Юпитер…

— В ад низких льстецов! — закричал Спартак.

И, пришпорив коня, воскликнул, обращаясь к своим кавалеристам:

— Вперед!

Отряд, следуя за Спартаком, пустился галопом по аллее и быстро выехал за ограду виллы.

Старые слуги семейства Мессала стояли некоторое время на площадке, безмолвные и изумленные, и начали приходить в себя от страха, только когда услыхали, что топот лошадей все больше удалялся, ослабевал и наконец совсем затих.

Каково было горе Валерии, когда благодаря стараниям ее рабынь она пришла в себя и узнала, что Спартак уехал, каково было ее беспокойство и как она плакала — невозможно передать.

Что касается Спартака, ушедшего в себя, в свои тревожные мысли, то он, с нахмуренным челом, с искаженным лицом, беспрерывно пришпоривал своего коня, точно конь мог унести его от мучивших его забот и избавить от тревоги.

Быстрота, с которой он, сам не замечая этого, пустил своего скакуна, была так стремительна,

что, хотя кавалеристы гнали своих лошадей во всю мочь, он опередил их на два выстрела из самострела.

Он думал о Валерии, о том, как она очнется, о горе, которое ее охватит, и о ее слезах, и судорожным, невольным движением он вонзал шпоры в живот коня, который, с дымящимися ноздрями, с тяжело дышащей грудью, с гривой, развевающейся по ветру, продолжал пожирать пространство.

Несчастный старался изгнать образ Валерии из своих мыслей. Но тогда мысли обращались на Постумию, на эту очаровательную девочку, резвую, милую, понятливую, белокурую, розовую, счастливую, которая, исключая черные, как у матери, глаза, была точным его портретом. Какая она красавица!.. Как мила!.. Как ласкова!.. Ему даже казалось, что он видит, как она радостно протягивает к нему свои пухлые ручонки, и его терзала мысль, что, вероятно, он больше ее не увидит. Он продолжал бессознательно, невольно терзать шпорами окровавленные бока своего бедного коня.

Так продолжалось бы и дальше, и кто знает, где остановились бы конь и седок, если бы, к счастью для обоих, новые мысли не мелькнули неожиданно в голове Спартака.

А вдруг Валерия не очнулась? А вдруг, узнав о его внезапном отъезде, она снова упала в более тяжелый обморок?.. А вдруг она в этот момент была уже серьезно больна?.. А вдруг — это было невозможно, не могло, не должно было быть! — но если, к величайшему его несчастью, любимая женщина…

При этой мысли, жестоко стиснув коленями бока лошади, он сильно дернул за повод и сразу остановил благородное животное.

Скоро к нему подъехали его товарищи и остановились около него.

— Мне необходимо вернуться на виллу Мессалы, — сказал он мрачным голосом, — а вы поезжайте в Лабик.

— Нет!..

— Никогда! — ответили сразу почти все кавалеристы.

— А почему?.. Кто мне помешает?..

— Мы! — сказало несколько голосов.

— Наша любовь к тебе! — проговорил еще один.

— Твоя честь! — заметил третий.

— Твои клятвы! — закричало четыре-пять голосов.

— Наше дело, которое погибнет без тебя!

— Долг!.. Долг!..

И здесь раздался общий ропот, смешанный шум голосов и почти единодушные просьбы.

— Но вы не понимаете, клянусь всемогуществом Юпитера, что там находится женщина, которую я обожаю и которая, может быть, умирает от горя… Я не могу…

— Если, к несчастью — да избавят от этого боги! — она умерла, ты бы себя погубил, не спасши ее; если же то, чего ты боишься, не произошло, то будет достаточно для успокоения тебя и ее, чтобы ты отправил к ней посланца, — сказал с выражением уважения и любви в голосе декурион.

— Значит, я должен бежать от опасностей и подвергнуть им другого вместо себя?.. Клянусь всеми богами Олимпа, никогда обо мне не посмеют сказать такой гнусности!

— Я без всякого риска вернусь на виллу Мессалы, — сказал громко и решительно один из кавалеристов.

— А как ты это сделаешь?.. Кто ты?..

— Я — твой верный почитатель, человек, готовый отдать за тебя свою жизнь, — ответил спрошенный, направляя своего коня через ряды товарищей, чтобы подъехать к Спартаку. — И ничем не рискую, — продолжал он, приблизившись

к вождю, — так как я латинянин и хорошо знаю местность и язык страны. В первом же крестьянском доме, который мне попадется, я обменяюсь одеждой с одним из крестьян и пойду на виллу Валерии Мессалы. Я вернусь к тебе много раньше, чем ты прибудешь в Нолу, и доставлю точные вести от нее.

— Но ты… если я не ошибаюсь, — сказал Спартак, — ты Рутилий, свободнорожденный.

— Верно, — ответил тот, — я Рутилий и очень рад и горжусь, Спартак, что среди счастливых событий и десяти тысяч гладиаторов ты меня узнаешь. Ты меня не забыл.

Рутилий был храбрый и осторожный юноша и на него можно было положиться, поэтому, уступив в конце концов, хотя и против воли, просьбам своих солдат, Спартак согласился на предложение латинянина. Снова пустившись в путь во главе своего отряда, он очень быстро добрался до одной маленькой дачки, где, в то время как Рутилий менял одежду, написал на дощечке, имевшейся у собственника этой дачи, страстное письмо Валерии на греческом языке и передал его юноше, который, направляясь туда, откуда только недавно уехали гладиаторы, обещал лично передать письмо в руки Валерии.

А Спартак, с душой менее тревожной и с несколько успокоенным умом, в сопровождении отряда гладиаторов рысью направил своего коня по дороге, которая от Тускулума вела в Лабик.

На заре он достиг места, где Мамилий со своими двумястами пятьюдесятью кавалеристами в тревоге ждал его. Начальник этой кавалерийской части доложил вождю, что за эти двадцать четыре часа их набег на Лабик вызвал среди окрестных жителей сильный страх; поэтому будет разумным и осторожным не ожидать здесь до вечера, но немедленно выехать и быстро двинуться по направлению к Аквинуму.

Спартак согласился с благоразумным мнением Мамилия и, не теряя времени, выступил из маленького лагеря при Лабике, направляясь по преторской дороге к Пренесте, которую он оставил по левую руку от себя, и взял направо, чтобы перейти на Латинскую дорогу. Проскакав весь день и следующую ночь, он на рассвете прибыл на совершенно измученных лошадях в Алатри, где приказал своей кавалерии сделать привал, разрешив им отдых на весь этот день. А следующей ночью быстрым маршем направился в Ферентинум, куда прибыл спустя два часа после восхода солнца, и отсюда немедленно двинулся

на Фрегеллы, так как узнал от нескольких дезертиров из римского легиона, которые из Норбы, где стоял лагерем Вариний, ушли к гладиаторам, что несколько жителей Лабика поспешили к Варинию сообщить ему о присутствии отряда конных гладиаторов возле Тускулума, что претор вследствие этого разделил свою кавалерию на две части по пятьсот человек в каждой, одну направил в погоню за врагами, добравшимися до Тускулума, другая каждую минуту может явиться в Ферентинум, куда Вариний двинул ее, чтобы отнять у гладиаторов всякую надежду на возвращение в аквинский лагерь и закрыть всякий путь к спасению.

Поэтому Спартак немедленно покинул Ферентинум и не дал отдыха своим товарищам, пока не достиг Фрегелл; отсюда в полночь он двинулся по направлению к Аквинуму, куда и прибыл на рассвете.

Вечером сюда же прискакал Рутилий, доставив фракийцу успокоительные известия о здоровье Валерии, которая на короткое пылкое письмо Спартака ответила очень страстным письмом, хотя и полным упреков.

Валерия писала своему возлюбленному, что с этого дня через старика-домоуправителя Либедия

она время от времени будет посылать известия о себе в лагерь, и очень просила его, чтобы он тем же способом давал весть о своем житье-бытье. Что касается Либедия, всегда готового исполнить всякое желание своей госпожи, то легко себе представить, с какой великой радостью он согласился по временам ездить в лагерь гладиаторов, при мысли, что он будет иметь возможность повидаться со своими сыновьями и обнять их.

На следующий день, посоветовавшись с Эномаем, Борториксом и остальными легионными командирами, Спартак, согласно принятому решению, приказал снять лагерь при Аквинуме и во главе своих двадцати тысяч гладиаторов направился в Нолу, куда и прибыл после пятидневного похода.

С каким торжеством и с какими бурными изъявлениями радости двадцать пять тысяч гладиаторов, стоявших лагерем в Ноле, приняли своих братьев, вернувшихся из Аквинума и покрытых славою побед, было бы трудно описать.

В течение трех дней продолжались песни, гимны и веселье в лагере при Ноле. Совет верховного штаба Союза угнетенных постановил перевести армию гладиаторов на зимние квартиры, так как все понимали, что ввиду быстрого приближения

сурового периода дождей и снега Вариния можно было не опасаться, даже если бы он располагал более сильным и многочисленным войском, а не таким деморализованным, какое было у него после разгрома при Аквинуме. Но все понимали и то, что было бы безумием думать о нападении на Рим, против которого, как он ни был подавлен после поражения при Каннах, ничего не мог поделать даже Ганнибал, в условиях гораздо более благоприятных для карфагенян, чем те, в которых были гладиаторы. А ведь Ганнибал был величайшим полководцем, какого знали в то время, и Спартак ставил его много выше Кира и Александра Македонского.

Поэтому, оставив прежний лагерь, гладиаторы построили новый, более обширный, сильно укрепленный широким и глубоким рвом и грозным частоколом.

Как только гладиаторы устроились в новом лагере, Спартак, давно уже мечтавший о новой организации своих легионов, задумал составить их по национальностям, к которым принадлежали восставшие, располагая их таким образом, чтобы германцы, галлы, фракийцы, греки и самниты находились вместе. Это новое построение, представлявшее некоторые неудобства в том

смысле, что могло вызвать споры и ревность между отдельными легионами, давало, однако, величайшее преимущество более прочной спайки между бойцами каждого легиона; помимо этого вождь гладиаторов преследовал еще другую, весьма важную цель — разделив войско на несколько корпусов по национальностям, он хотел также подчинить каждый из них начальнику соответствующей национальности, чтобы солдаты питали большее доверие к вождям.

Поэтому в несколько дней, так как ежедневно в лагерь стекались все новые толпы гладиаторов, Спартак из своих пятидесяти тысяч человек — до этой цифры дошло уже число восставших — мог сформировать десять легионов по пять тысяч человек в каждом и разделить все войско таким образом: два первых легиона, состоявшие из германцев, под командой Вильмира и Мероведа, образовали первый корпус под начальством Эномая; третий, четвертый, пятый и шестой легионы, набранные все из галлов, под командой Арторикса, Борторикса, Арвиния и Брезовира, образовали второй корпус с Криксом во главе; седьмой легион, составленный из греков, имел командиром очень храброго эпирота Фессалония; восьмой, в который были зачислены гладиаторы и пас-

тухи из Самниума, был поставлен под команду Рутилия; в девятом и десятом были объединены фракийцы, и Спартак отдал эти два последних легиона под начальство двух уроженцев этой страны, которые соединяли в себе, наряду с силой рук и твердостью духа, греческую культуру и большой ум. Один из них, командир девятого легиона, назывался Мессембрий; это был человек пятидесяти лет, беззаветно преданный Спартаку, точный и ревностный исполнитель своего долга; другой, очень молодой, по имени Артак, настолько презирал опасности, что фракийцы признавали его наиболее отважным среди всех гладиаторов их национальности… после Спартака. Последние четыре легиона составляли третий корпус, командиром которого был Граник, уроженец Иллирии, тридцати пяти лет от роду; красивый, очень высокого роста, ловкий, с черными волосами и глазами, с бронзовой кожей, серьезный, спокойный, молчаливый, он был самым смелым и грозным из десяти тысяч гладиаторов равеннских школ.

Кавалерию, насчитывавшую до трех тысяч человек, Спартак разделил на шесть эскадронов и начальником над ней назначил Мамилия.

Верховным вождем снова был провозглашен

под бурные возгласы пятидесяти трех тысяч бойцов самый храбрый и опытный — Спартак.

Через восемь дней после этого нового построения фракиец пожелал сделать смотр войску, и когда он появился на равнине, где стояли три корпуса, построенные в три линии, одетый в свои скромные доспехи, верхом на своем обычном коне, не имевшем на себе никаких украшений: ни богатой уздечки, ни драгоценного чепрака, — единодушный крик, мощный, как удар грома, вырвался одновременно из грудей пятидесяти трех тысяч гладиаторов:

— Слава Спартаку!..

Когда эти крики, повторенные с неистовой энергией несколько раз, прекратились и когда оркестры перестали играть гимн свободы, ставший боевым гимном гладиаторов, Эномай, верхом на сильном и огромном гнедом коне апулийской породы, остановившись перед первым корпусом, воскликнул своим мощным голосом:

— Гладиаторы, выслушайте меня!

Глубокая тишина сразу воцарилась во всех рядах, и германец после краткой паузы продолжал:

— Если наше войско сформировано по римскому образцу в самой мельчайшей части, то почему только наш верховный вождь не имеет

знаков отличия и почестей, какие римляне дают консулам в своих войсках?..

— Императорские знаки отличия Спартаку! — закричал Крикс.

— Императорские знаки отличия Спартаку! — повторили, как один человек, пятьдесят три тысячи гладиаторов.

Когда спокойствие несколько восстановилось, Спартак, побледневший от сильного волнения, сделал знак, что хочет говорить:

— Благодарю вас от всей души, дорогие мои товарищи по оружию и братья по несчастью, но я решительно не желаю никаких почестей, никаких знаков отличия. Мы обнажаем мечи не для создания верховной власти, не для установления привилегий и отличий, а для завоевания свободы, прав и равенства.

— Ты наш император! — воскликнул Рутилий. — И таковым тебя сделали твоя мудрость, твое мужество, твоя доблесть, добродетели и необыкновенные качества твоей воли и ума; ты наш император, и это звание ты заслужил своими победами, ты наш император, потому что мы единодушно и добровольно тебя таковым провозгласили. Поэтому мы можем требовать и требуем, если не ради почета для тебя, от которого

ты отказываешься, то ради нашего достоинства, чтобы ты надел императорскую мантию, чтобы при тебе состояли контуберналии и впереди тебя шли ликторы.

— Мантию Спартаку! — оглушительно закричали гладиаторы.

— Контуберналиев и ликторов! — воскликнул Эномай и с ним все легионы.

И тотчас же Крикс закричал во всю силу своих легких:

— Пусть римские ликторы, взятые в плен при Аквинуме, шествуют впереди его со своими фасциями!

Оглушительные крики и рукоплескания раздались при этом предложении, настолько мощные и бешеные, что, казалось, земля от них задрожала, и этот гул долгое время повторялся эхом самых отдаленных гор.

И в самом деле, эта простая мысль, зародившаяся в бесхитростной голове Крикса, была именно в своей простоте так остроумна, что с полным основанием вызвала этот необыкновенный энтузиазм. Заставить римских ликторов, шествовавших впереди самых знаменитых консулов, каких Рим имел до этого времени, то есть Гая Мария и Луция Суллы, идти впереди презренного

гладиатора значило не только унизить гордость римлян, но и возвысить человеческое достоинство этих бедных рабов, что было, конечно, самой блестящей из всех побед, которые гладиаторы до сей поры одержали над гордыми легионами надменных завоевателей мира.

И Спартак, всегда скромный и одинаковый как в дни несчастья, так и в дни своих самых блестящих побед и своего величия, тщетно сопротивлялся желанию своих легионов; он должен был подчиниться принятым решениям и надеть тут же дорогой серебряный панцирь, специально заказанный Криксом опытнейшему мастеру в Помпее, шлем, тоже серебряный, тонкой работы, и испанский меч, в золотую рукоятку которого было искусно вправлено множество драгоценных камней, должен был накинуть на плечи пурпуровую мантию из тончайшей шерсти, которая была окаймлена золотой полосой в три пальца шириною.

Когда их вождь появился снова уже в императорских знаках отличия, верхом на своем вороном коне, на котором простая кожаная сбруя была заменена роскошными поводьями, серебряной уздечкой и великолепным голубым чепраком с серебряной каймой, шумные рукоплескания

отдались эхом кругом, и раздался общий крик:

— Да здравствует Спартак-император!

Две женщины присутствовали при этой сцене со слезами на глазах, хотя не одни они плакали, так как Спартак, Арторикс и тысячи гладиаторов чувствовали, что глаза их увлажнены от волнения. Две женщины стояли, устремив взоры с выражением неописуемой любви на вождя этого храбрейшего войска, — Мирца и Эвтибида.

Сестра гладиатора смотрела на него своими голубыми глазами, спокойными и ясными, в которых сияла во всей ее чистоте братская любовь; гречанка ласкала его своими горящими, жадными, страстными глазами, в которых сверкал весь пыл ее чувственной любви.

Вдруг появились шесть ликторов претора Публия Вариния, взятые в плен в сражении при Аквинуме и приведенные деканом из помещения, где они содержались под стражей в особой палатке; их подвели к Спартаку, перед конем которого им было приказано ходить в этот день; а начиная с этого дня всякий раз, как верховный вождь выйдет пешком или верхом, они обязаны все время в знак почета идти перед ним, так же как они раньше ходили перед консулами и преторами.

Это были рослые люди, с длинными волосами, воинственного и внушительного вида; поверх лат на каждом был плащ из грубой темной шерсти, прикрепленный пряжкой у правого плеча и спадавший до колен, в левой руке каждый держал, прислонив к плечу, фасции, в которые вкладывался в военное время топор, а в правой руке — прут.

Страшный крик почти жестокого ликования вырвался из всех грудей при виде их. Крики становились все громче и продолжались до тех пор, пока Спартак не приказал трубить и не призвал легионы к спокойствию и молчанию.

Тогда вождь гладиаторов соскочил с коня и, с ликторами впереди, в сопровождении Крикса, Граника и Эномая, стал обходить фронт двух германских легионов, составлявших первый корпус, а потому и первую линию, осматривая солдат и хваля их за хорошее оружие и боевую выправку.

Ликторы выступали с покорным видом, склонив голову на грудь, с лицом то бледным от сдерживаемого гнева, то красным от стыда.

— Какой позор!.. Какой позор!.. — произнес один из них дрожащим, сдавленным голосом, едва слышным тому из его товарищей, который шел рядом с ним.

— Лучше бы умереть при Аквинуме, — ответил тот, — чем остаться в живых для такого позора!

Первый из этих двух ликторов был сорокапятилетний человек высокого роста, плотного телосложения, с темным, как бронза, лицом, с решительной походкой, и имя его было Оттацилий; другой — сухощавый шестидесятилетний старик с седыми волосами, с лицом исхудалым и строгим, со лбом, рассеченным широким рубцом, с орлиным носом и серыми живыми глазами; его лицо, как это можно было заметить с первого взгляда, ярко отражало мужественную энергию его души; звался он Симплициан.

Принужденные выступать впереди Спартака, они всякий раз, как подымали глаза на гладиаторские легионы, замечали на всех лицах радость, испытываемую врагами при их унижении, на всех устах ироническую улыбку победителей, высмеивающих и попирающих человеческое достоинство побежденного.

— Посрамлено величие римского имени! — прошептал Оттацилий после долгого молчания, украдкой повернув к Симплициану лицо, залитое слезами.

— Боги, покровители Рима, избавят меня от этого мучения, — ответил глухим голосом старый

Симплициан, на угрюмом и строгом лице которого стыд вызывал судороги страдания.

В течение трех часов Спартак обходил фронт всех своих легионов, расточая слова похвалы и одобрения, делал указания относительно соблюдения строжайшей дисциплины — основы всякого войска и главного условия победы.

По окончании смотра вождь гладиаторов вскочил на своего коня и, вынув из ножен меч, дал знак к сигналу «стройся». Затем скомандовал несколько движений, выполненных легионами с безукоризненной точностью; потом три корпуса последовательно ринулись в атаку, сперва выступая шагом, затем бегом, с неудержимым натиском, оглашая воздух страшным «барра!».

Когда закончилась атака третьей линии, легионы выстроились на холме, где предполагалось неприятельское войско, затем в превосходном порядке прошли маршем перед своим вождем, которого снова приветствовали восторженными криками как своего императора, и вернулись один за другим в лагерь.

Спартак удалился туда последним с ликторами впереди, в сопровождении Эномая, Крикса, Граника и всех начальников легионов.

При постройке нового лагеря гладиаторы

воздвигли для Спартака, без его ведома, достойную полководца палатку. И в этой палатке в этот торжественный для восставших день был устроен скромный обед для десяти начальников легионов, трех заместителей Спартака и для начальника кавалерии. Пирушка была приготовлена умеренная и скромная, чтобы не доставить неприятности Спартаку, который не только теперь и не из пустого упрямства был врагом всяких кутежей и дебоша, но с самого детства всю свою жизнь был умерен в пище, крайне воздержан в питье и по своему характеру и привычкам питал отвращение к бражничеству и разгулу, сопровождающим роскошные ужины.

Поэтому и на сей раз угощение было умеренное, вопреки желаниям и аппетитам большинства сотрапезников, так как Эномай, Борторикс, Вильмир, Брезовир, Рутилий и другие были бы не прочь кутнуть как следует.

Тем не менее на пирушке царило самое сердечное веселье и самая живая и искренняя дружба… В конце обеда встал Рутилий с чашей, полной пенящегося вина, и, пригласив товарищей сделать то же самое, высоко поднял чашу и звучным голосом воскликнул:

— За свободу рабов, за победу угнетенных, за

здоровье победоносного и непобедимого Спартака, нашего императора! — и осушил чашу под рукоплескания и одобрительные возгласы всех товарищей, последовавших его примеру.

Только Спартак едва омочил губы в своем кубке.

Когда несколько затих шум рукоплесканий, Спартак в свою очередь поднял чашу и твердым голосом сказал:

— За Юпитера всеблагого, величайшего освободителя! За чистую непорочную богиню Свободы, чтобы она на нас обратила свои божественные взоры, и светила нам, и ходатайствовала за нас перед всеми богами, обитающими на Олимпе!

Все подхватили и выпили, хотя галлы и германцы не верили ни в Юпитера, ни в других богов, греческих и римских. Поэтому Эномай тоже чокнулся, призывая помощь Одина, а Крикс — взывая о благосклонности Геза к войску гладиаторов и к их предприятию. Наконец эпирот Фессалоний, бывший последователем Эпикура и не веривший ни в тех, ни в других богов, взяв в свою очередь слово, сказал:

— Я уважаю вашу веру… и я вам завидую… но не разделяю ее с вами… так как боги — это призраки, созданные страхом народов, о чем я узнал из уче-

ния божественного Эпикура. Всякий раз, как нас постигает большое несчастье, выгодно верить в сверхъестественную силу, выгодно прибегать к этой вере и черпать в ней силу духа и утешение!.. Но когда вы убеждены, что природа творит и разрушает сама по себе и что, творя, она пользуется всеми своими силами, не всегда нам известными, часто таинственными и непостижимыми, но все-таки всегда силами материальными, то как можно верить в так называемых богов?.. Поэтому позвольте мне, друзья, воздать хвалу нашему делу согласно моим мыслям и убеждениям.

И после наступившего на миг молчания он продолжал:

— За единение душ, за смелость сердец, за крепость мечей в лагере гладиаторов!

Все присоединились к тосту эпикурейца, выпили с ним и, снова усевшись, возобновили веселую и оживленную беседу.

Изящно одетая в пеплум из голубой льняной материи с мелкими серебряными полосками Мирца, распоряжавшаяся приготовлением обеда, но не принявшая в нем участия, стояла в стороне, смотря на Спартака, чьи славные подвиги чествовали в этот день, ласковыми и полными любви глазами. Ее бледное и обычно грустное

лицо, на котором в течение многих дней чаще можно было заметить слезы, чем улыбку, в эту минуту светилось радостью, спокойным счастьем, столь тихим, что легко было понять, как кратковременна была эта радость и как плохо это видимое и поверхностное веселье скрывало горечи и тайную боль ее страдающего сердца.

На нее влюбленными глазами смотрел Арторикс и как бы преследовал взглядом, полным нежности; она украдкой и словно против воли поглядывала по временам на мужественного юношу, лицо которого побледнело и исхудало за эти несколько дней от безнадежной любви, не дававшей ему ни минуты покоя и тайно подтачивавшей его цветущее здоровье.

Уже долгое время Арторикс, не обращая никакого внимания и не принимая участия в веселой беседе гостей Спартака, сидел молча и неподвижно, весь поглощенный созерцанием девушки, пристально смотревшей на своего брата. Эта глубокая преданность, это безграничное восхищение, которое Мирца выказывала Спартаку, делали ее еще более дорогой и более привлекательной для Арторикса. Охваченный восторгом, он поднялся с места и, набравшись неожиданно храбрости, воскликнул, высоко поднимая свою

чашу:

— Я предлагаю, друзья, выпить за счастье Мирцы, возлюбленной сестры нашего любимейшего вождя!

Все выпили, и никто в пылу тостов и возлияний не обратил внимания на яркий румянец, покрывший щеки юного галла, кроме Мирцы, которая, вздрогнув при звуке голоса, произнесшего ее имя, быстро повернулась в сторону Арторикса и, почти не сознавая сама, кинула на него взгляд благодарности, смешанной с упреком; затем, когда она сообразила, что перешла границы той сдержанности, которую намеревалась честно и стойко соблюдать в своих отношениях к юноше, ее лицо вспыхнуло, она со стыдливым жестом склонила голову и больше не подымала глаз на гостей, не двигалась и не говорила ни слова.

Еще с полчаса продолжалась пирушка, сопровождаемая беззлобными шутками, вполне пристойным весельем и легкой беседой, как это бывает между людьми, связанными искренней дружбой.

Когда друзья Спартака простились с ним, солнце уже клонилось к закату.

Спартак, склонный к грусти и задумчивости, проводил своих гостей до выхода из палатки и,

когда они удалились, остался на месте посмотреть сперва на огромный лагерь гладиаторов, а потом на заход солнца.

И, переходя от одной мысли к другой, он подумал о могуществе магического слова *свобода,* которое меньше чем в год подняло пятьдесят тысяч несчастных, лишенных всякого крова, всякого будущего, всякой надежды, огрубевших из-за своего положения и потерявших всякое человеческое достоинство; это слово подняло их на высоту первых солдат мира, вливая в их души мужество, самоотверженность и сознание своего человеческого достоинства; и он подумал о таинственном и непреодолимом влиянии этого слова, которое из него, бедного, презренного гладиатора, сделало храброго и страшного вождя могучего войска и влило в его душу способность победить всякую другую страсть, даже благородную и сильнейшую любовь, связывавшую его с Валерией, этой божественной женщиной, которую он любил во сто раз больше, чем себя самого, но не больше, чем святое дело, которому он посвятил свою жизнь.

Валерия!.. Эта благородная матрона, которая, смело бросая вызов всем предрассудкам своей касты и не считаясь с уважением к своему роду и к

себе самой, подвергая себя презрению со стороны своих сограждан и негодованию своих родных, отдала ему в порыве непобедимой страсти свое сердце, доброе имя и всю себя!..

Валерия, сделавшая его отцом очаровательной девочки и ради него навсегда отказавшаяся от всякой надежды в будущем на величие и даже, быть может, на счастье! Ибо Спартак не обманывался и очень хорошо понимал, что даже если бы он продолжал одерживать победы над римскими легионами, даже если бы он остался в живых после всех опасностей, которым ему долго еще придется подвергаться, даже если бы он добился поставленной им цели путем заключения почетного мира, то наиболее счастливым будущим для него была возможность укрыться от ненависти римлян в его родных Родопских горах, где в неизвестности и бедности была бы осуждена жить владычица его мысли и его сердца, благородная дама, рожденная для роскоши, богатства и высокого положения, как все члены знатных патрицианских семейств.

Под влиянием подобных размышлений вождь гладиаторов почувствовал, что его сердце сжимается от тоски. Всегда такой бодрый и стойкий, он ощутил себя во власти необъяснимого уныния

и подумал, что, вероятно, он никогда не увидит больше ни Валерии, ни Постумии. Ему вдруг захотелось плакать… и, поднеся внезапно руку к глазам, он заметил, что они уже орошены слезами, которые он проливал, сам того не замечая. Рассердившись на себя за эту женскую слабость, он пытался овладеть собой и быстро пошел по направлению к ближайшему квесторию[97]. Пройдя через него взволнованным шагом, он направился в ту обширную и пустынную часть лагеря, которая в римских лагерях отделяла преторий, квесторий и форум, место, предназначенное для палаток союзников и неожиданных подкреплений и доходившее до декуманских ворот. В огромнейшем гладиаторском лагере под Нолой на этом пространстве были поставлены палатки для гладиаторов и рабов, являвшихся после побега от своих господ в лагерь восставших; здесь они жили, пока не были зачислены в одну из манипул какой-либо когорты того или иного легиона. Здесь находилась палатка Эвтибиды. Здесь же в другой палатке находились под стражей шесть ликторов, взятые в плен при Аквинуме. Здесь Спартак, наедине с собой и скрытый от всех на-

[97] Сноски: 97

Квесторий — место в лагере, в котором помещалось управление квестора, войскового интенданта и казначея.

ступившей темнотой, принялся быстро ходить взад и вперед, как бы принуждаемый к этому волновавшей его душевной тревогой. Быстро шагая и вздыхая, хотя его вздохи скорее походили на рычание, бедный рудиарий, казалось, искал в этом облегчение своего горя; постепенно ему действительно стало легче, его походка сделалась более ровной и спокойной, и вскоре он погрузился в другие, менее мрачные размышления.

Долго еще ходил Спартак, погруженный в думы, и уже тишина стала охватывать этот огромный лагерь, где до часа первого факела свыше пятидесяти тысяч молодых людей, полных силы, беспечности, жизни, без перерыва толпились, двигались в беспорядке по всем направлениям, ели, пили, болтали, пели гимны и праздновали разнообразными способами свои победы.

Но по мере того как тишина становилась все глубже, все явственнее доносился до ушей Спартака звук непонятных слов, которые он до этого слышал как неясный шепот внутри одной из палаток, предназначенных для рабов и гладиаторов, каждый день прибывавших в лагерь своих товарищей по несчастью, взявшихся за оружие.

Эти слова, все более явственные, мало-помалу привлекли полностью внимание Спартака. Оста-

новившись возле этой палатки, вход в которую находился в противоположной стороне от той, где стоял вождь гладиаторов, и, напрягая слух, он услышал суровый и сильный голос, который с прекрасным и гармоничным произношением говорил на латинском языке:

— Конечно ты прав, Симплициан: позорная и незаслуженная судьба, на которую мы обречены… но разве мы виноваты в этом несчастье?.. Разве не сражались мы храбро, не жалея жизни, чтобы спасти претора Вариния от страшных ударов Спартака?.. Разве не был ты опрокинут на землю?.. Не был я ранен?.. Не попали мы в плен, побежденные превосходными силами неприятеля?.. Что мы могли сделать больше?.. Если вышние боги покинули римлян, если боги до сей поры охраняли славных римских орлов от всякой опасности, чтобы теперь подвергнуть их позору бегства перед подлым гладиатором, то что могли, что можем сделать мы, простые смертные?..

— Говори осторожнее, Оттацилий, — сказал хриплый голос тихим и боязливым тоном, — тебя может услышать часовой, и за твой язык нам придется пережить печальные четверть часа.

— Замолчи! — возразил суровый и строгий голос, но не того человека, который говорил

раньше. — Замолчи, Меммий, и откинь свой постыдный страх.

— Этот часовой, — сказал тот, который, как услыхал Спартак, носил имя Оттацилий, — ни слова не понимает по-латыни… это грубый и дикий галл, по-моему не знающий даже собственного языка…

— И затем, — прервал обладатель сурового и строгого голоса, говоривший последним из трех, — даже если этот подлый гладиатор понимал бы нашу речь, то разве мы должны из-за этого перестать говорить, как подобает римским гражданам?.. И к чему эти трусливые опасения?.. Клянусь Кастором и Поллуксом, покровителями Рима, которые сражались за нас против латинян при Регилльском озере, не встречал ли ты по меньшей мере пятьдесят раз лицом к лицу смерть на полях сражения? Не лучше ли было бы для тебя умереть, чем остаться в живых для позора идти с консульскими фасциями впереди гнусного гладиатора?

Здесь голос умолк, и Спартак подошел ближе к этой палатке, в которой, как он уже догадался, находились в заключении шесть ликторов претора Публия Вариния.

— Клянусь двенадцатью богами Согласия!

Клянусь Юпитером всеблагим, величайшим освободителем! Клянусь Марсом, покровителем народа Квирина! — послышалось спустя несколько секунд восклицание ликтора Симплициана. — Думал ли я когда-нибудь, что я должен буду прожить шестьдесят два года для того, чтобы присутствовать при подобном позоре?.. Я участвовал в войне, имея всего шестнадцать лет от роду, в шестьсот тридцать пятом году от основания Рима, под начальством консула Луция Цецилия Метелла, победителя далматов; потом участвовал в сражениях в Африке против Югурты, сперва под начальством Квинта Цецилия Метелла Нумидийского, а потом храбрейшего Гая Мария; я присутствовал при разгроме тевтонов и кимвров, дважды следовал за триумфальной колесницей непобедимого арпинца, ставшего еще более знаменитым теми цепями, в которые были закованы шедшие за ним два царя — Югурта и Тевтобод; я получил восемь ран и за них два гражданских венка, и был в награду за оказанные отечеству услуги зачислен в ликторы, и в течение двадцати шести лет выступал впереди всех консулов, бывших в Риме, начиная с Гая Мария, пятый раз получившего это звание в шестьсот пятьдесят третьем году, до Луция Лициния Лукул-

ла и Марка Аврелия Котты, которые занимали этот пост в текущем году. Неужели же я должен буду, клянусь Геркулесом, шествовать впереди презренного гладиатора, которого я видел сам своими глазами в позорном зрелище на арене?.. Нет!.. Клянусь всеми богами, это слишком… слишком тяжело, чтобы я мог этому подчиниться, чтобы я мог это вынести.

В голосе ликтора было такое глубокое уныние, что Спартак был почти растроган, так как ему казалось, что в этой скорби простого старого солдата было столько достоинства, такая благородная гордость и такое простое и суровое величие, что он невольно внушал сочувствие и уважение.

— Ну, хорошо!.. А что ты хотел бы или мог бы сделать против воли богов и решений враждебной судьбы? — спросил после момента молчания Симплициана ликтор Оттацилий. — Придется тебе все-таки, как нам, подвергнуться незаслуженному сраму, незаслуженному, поразившему нас несчастью.

— Нет, клянусь всеми богами неба и ада! — возразил гордо Симплициан. — Нет! Я не склоню благородного, гордого чела римлянина перед таким невыносимым позором, нет, я не подчинюсь насилию несправедливой судьбы и, как

римлянин, смертью избавлю себя от поступков, недостойных того, кто по воле богов родился на берегах Тибра…

И в этот момент Спартак услышал внутри палатки крики пяти голосов, крики жалости и ужаса, шум сбегающихся к одному месту людей и голоса, одновременно восклицавшие:

— Ах, что ты сделал?!.

— Несчастный Симплициан!..

— Это подлинный римлянин!..

— Помогите ему!..

— На помощь!.. На помощь!..

— Подними его с этой стороны!..

— Положи его сюда!..

В одно мгновение Спартак обошел кругом палатки и появился у входа в нее, где, привлеченные криками, уже толпились гладиаторы, составлявшие небольшой отряд для охраны пленников и жившие в соседней палатке.

— Пропустите меня! — закричал фракиец.

И гладиаторы, почтительно расступившись, освободили дорогу своему вождю, глазам которого представилось ужасное зрелище: старый Симплициан лежал на куче соломы, поддерживаемый окружившими его остальными ликторами. Его белая туника была разорвана и залита кро-

вью из глубокой раны, которую он нанес себе под левый сосок. Один из ликторов поднял с земли и держал в руке тонкий острый кинжал, который Симплициан твердой рукой вонзил себе в грудь до рукоятки.

Кровь текла беспрерывным потоком из раны, и темное, строгое, спокойное и неустрашимое лицо старого ликтора быстро покрывалось предсмертной бледностью; но ни одно движение, ни одна судорога не обнаруживали страдания или раскаяния.

— Что ты сделал, доблестный старик? — воскликнул взволнованно Спартак, увидя мрачное зрелище, которое невольно вызывало в нем почтительное удивление. — Почему ты не попросил меня избавить тебя от этих обязанностей, если они были так для тебя тяжелы?.. Храбрый понимает храброго, и я бы понял тебя… и я бы…

— Но рабы не могут понимать свободных, — сказал строгим, все более слабеющим голосом умирающий.

Спартак с горькой улыбкой покачал головой на эти слова и сказал полным сострадания голосом:

— О душа, рожденная великой, но измельченная дурным воспитанием, высокомерием и предрассудками… Кто же установил на земле две

различные породы людей, разделив их на рабов и свободных?.. Разве до покорения Фракии я не был таким же свободным, как ты, и разве не стал ты рабом после сражения при Аквинуме?..

— Варвар… ты не понимаешь, что бессмертные боги… дали римлянам власть над всеми людьми… Не омрачай последних моих минут своим присутствием…

И тут Симплициан, обеими руками отталкивая от себя своих товарищей, которые оторванными от своих туник полосами старались перевязать ему рану, сказал голосом, прерываемым предсмертным хрипением:

— Бесполезно… удар… был верный… и если бы он был неудачен… завтра я повторил бы его… Римский ликтор… который шел впереди Мария и Суллы… не загрязнит… своих фасций… предшествуя гладиатору… бесполезно… беспо…

И он упал навзничь и умер.

— Глупый старик… — вполголоса произнес один гладиатор.

— Старик, достойный уважения, — строго возразил Спартак, лицо которого стало бледным, серьезным и задумчивым. — Великий человек! Он доказал нам своей смертью, что народ, состоящий из подобных граждан, действительно имеет

право властвовать над миром!



Глава XV
Спартак одерживает победу еще над одним претором и преодолевает тяжелые искушения

Тем временем в Риме, несмотря на высокомерие победителей Африки и Азии и заботы, вызванные войнами с Серторием и Митридатом, гораздо более серьезными, чем война с гладиаторами, начинали задумываться и страшиться оборота, который приняли дела в Кампании после поражения Публия Вариния под Аквинумом. Пятьдесят тысяч вооруженных гладиаторов под начальством человека, в котором уже все, краснея от стыда, были вынуждены признать отвагу, мужество и даже до известной степени опытность; пятьдесят тысяч вооруженных гладиаторов, полных хозяев кампанской провинции, в которой, за исключением нескольких городов, всякая тень власти Рима, всякий след его авторитета уже были уничтожены; пятьдесят тысяч вооруженных гладиаторов, серьезно угрожавших Самниуму и Лациуму, то есть передовым укреплениям Рима, стали слишком грозной опас-

ностью, чтобы относиться к ней легкомысленно и небрежно.

Поэтому в комициях этого года управление провинцией Сицилия, а вместе с ней и ведение войны с гладиаторами и подавление этого позорного восстания были отняты у Вариния и переданы при почти единодушном голосовании народа и Сената Гаю Анфидию Оресту. Это был патриций лет сорока пяти, очень опытный в военном деле, много лет бывший военным трибуном, в течение трех лет — квестором и один раз, при диктатуре Суллы, — претором. За свое мужество и боевую дальновидность он пользовался большим авторитетом и симпатией как у народа, так и у Сената. На его назначение дали согласие и новые консулы М. Теренций Варрон Лукулл и Гай Кассий Вар.

В первые месяцы 681 года, то есть следующего за годом, в который произошли события, описанные в пяти предыдущих главах, Орест собрал сильное войско из трех легионов: один состоял из римлян, другой — только из италийцев и третий — из союзников, далматов и иллирийцев. Эти три легиона представляли силу приблизительно в двадцать тысяч человек. В соединении с десятью тысячами, спасшимися после разгрома при

Аквинуме, они образовали армию в тридцать тысяч бойцов, которую Орест приводил в порядок и обучал в Лациуме. С ней он обещал наголову разбить Спартака ближайшей весной.

Весна пришла с изливающим тепло лучезарным солнцем, с чистым синим небом, с опьяняющим ароматом чудных цветов, с роскошным ковром зелени, со сладким пением разных пернатых, с таинственной истомой бесчисленных голосов любви, и войска, римское и гладиаторское, двинулись — первое из Лациума, второе из Кампании, — чтобы оросить человеческой кровью зеленеющие поля Италии.

Претор Анфидий Орест вышел из Норбы и по Аппиевой дороге продвинулся до Фунди, где он, узнав, что Спартак выступил из Литернума и двигается ему навстречу по Домициевой дороге, расположился лагерем, заняв позиции, на которых он мог использовать преимущества своей многочисленной кавалерии, доходившей почти до шести тысяч человек.

Через несколько дней Спартак пришел в Формию и раскинул свой лагерь на двух холмах, господствуя над Аппиевой дорогой; затем во главе своей трехтысячной конницы он пробрался до лагеря врагов, с целью ознакомиться с их распо-

ложением и узнать их намерения.

Однако претор Анфидий Орест, значительно превосходивший опытностью тех полководцев, с которыми до сих пор сражался Спартак, тотчас же вышел ему навстречу со своей грозной кавалерией, и после схватки, правда не имевшей решающего значения и очень короткой, в которой гладиаторы потеряли сотню бойцов, Спартак должен был стремительно отступить и вернуться в Формию.

Больше пятнадцати дней Спартак ждал, что неприятель, воодушевленный этим легким успехом, перейдет в наступление, но тщетно! Орест был не из тех, кого легко завлечь в засаду.

Тогда Спартак решил прибегнуть к одной из тех хитростей, которые приходят в голову только великим полководцам. Темной ночью, в полнейшей тишине он вышел с восемью легионами из лагеря, оставив в нем Эномая с его двумя легионами и с кавалерией; всю ночь он шел вдоль морского берега, забирая с собой всех встречных колонов, крестьян и рыбаков всякого возраста и обоего пола, чтобы известие о его движении не дошло до неприятеля. Затем быстрым маршем прошел через лес, находившийся, как и ныне, близ Террацины, пользуясь указаниями местных

дровосеков и угольщиков, и раскинул лагерь на окраине леса, в тылу неприятеля, в нескольких милях от него.

Немало изумился Орест, увидев, что Спартак обошел его, но, осторожный и рассудительный как всегда, он всеми способами постарался сдержать пыл своих легионов, ибо пращники гладиаторов доходили почти до самых частоколов римского лагеря, и солдаты громкими криками требовали, чтобы их вели в бой.

Спартак в течение восьми дней напрасно пытался вызвать врага: Орест оставался на месте, не желая принять бой в неблагоприятных для себя условиях.

Но вождь гладиаторов, искусный на всякие ухищрения, задумал извлечь выгоду из создавшегося положения и из условий местности. В один прекрасный день Анфидий Орест, сильно пораженный и немало обеспокоенный, узнал от своих разведчиков, что, кроме лагеря возле террацинского леса, гладиаторы раскинули еще два лагеря: один — в сильно укрепленном месте между Фунди и Интерамной и другой — между Фунди и Привернумом, господствуя над Аппиевой дорогой.

Действительно, Спартак, как обычно передви-

гаясь с крайней быстротой и в ночное время, большим обходным путем привел четыре легиона, бывшие под начальством Граника, в сторону Интерамны и здесь велел им окопаться на возвышенном месте, укрепив стоянку очень широкими рвами и сильнейшими ограждениями, что потребовало беспрерывной работы двадцати тысяч гладиаторов в течение двух дней и двух ночей; а в это время Крикс со своими двумя легионами зашел и укрепил указанный Спартаком пункт между Фунди и Привернумом.

Таким образом, вождь гладиаторов совершенно окружил Анфидия Ореста в его лагере и поставил его перед необходимостью либо принять бой, либо сдаться через восемь дней от голода.

Положение претора было действительно тяжелое. Теперь он должен был напасть на один из лагерей гладиатора, чтобы выйти из этого кольца, причем он даже не мог питать никакой надежды на победу и на уничтожение этого препятствия раньше, чем остальные три части вражеского войска нападут на него; ибо, как ни кратковременно было бы сопротивление легионов Граника или Крикса, оно во всяком случае продлилось бы не менее трех часов, тем более что их воодушевление и стойкость должны были под-

держиваться уверенностью в близкой помощи со стороны соседа, а за эти три часа либо Крикс пришел бы на помощь Гранику, либо Граник на помощь Криксу, Спартак атаковал бы претора с тыла, и последним пришел бы Эномай, для того чтобы превратить поражение римлян в полный разгром.

Печальный и озабоченный, днем и ночью Орест ломал голову, тщетно ища выхода из этого опасного положения. Его легионы совсем пали духом. Сперва топотом, втихомолку, а потом все громче они называли претора бездарным и трусом: он не хотел вести их в бой, когда была надежда на победу, а теперь они должны будут идти на верное поражение и неминуемую смерть. Они с ужасом вспоминали позор Кавдинских ущелий и во всеуслышание говорили, что невежество Анфидия Ореста превосходило невежество консулов Постумия и Ветурия в аналогичных обстоятельствах, ибо консулы эти невольно попали в западню, устроенную природой, а Анфидий сам, по своей оплошности, позволил врагу на открытом месте создать ему новые Кавдинские ущелья.

В таком положении были дела, когда претор решил прибегнуть к обману при помощи жрецов, к чему, к сожалению, еще часто прибегают слабые

духом или умом, а также хитрые люди, которые, играя на страхе людском и на потребности народа взывать к сверхъестественным силам, стараются подчинить себе сознание большинства людей, используя это подчинение для своих темных и корыстных целей.

По всему римскому лагерю было объявлено о больших жертвоприношениях Юпитеру, Марсу и Квирину, которые через авгуров и их вещания должны были научить, как спасти римское войско от грозящего поражения.

Направо от претория в римском лагере находилось место, назначенное для жертвоприношений. Там стоял круглый каменный жертвенник с углублением наверху, в котором должен был зажигаться огонь, и с отверстием, через которое должно было стекать вино для возлияний; кругом него были вкопаны в землю шесты, украшенные гирляндами из роз и других цветов. Туда сошлись фламины трех богов: Юпитера, Марса и Квирина. Все трое были в длинных плащах из белой шерсти, заколотых у шеи большой булавкой, в остроконечных шапках, тоже из белой шерсти.

Позади них стояли авгуры, одетые в обычные свои жреческие одежды, с изогнутыми жезлами в руках, совершенно похожими на нынешние

пастушеские посохи, отличительными знаками их звания. Далее следовали: служитель, который подводил жертвенных животных к жертвеннику и убивал их, и тот, который должен был выпускать кровь у мелких животных; оба они были в сутанах, отороченных внизу пурпуром и спускавшихся с талии до подъема ноги.

Первый — попа — поддерживал правой рукой топор, лежавший на плече, второй — культарий — сжимал в руке широкий отточенный кинжал с рукояткой из слоновой кости; у обоих, как и у всех фламинов и авгуров, были на голове венки из цветов, а вокруг шеи — ленты с кисточками из белой и красной шерсти, спускавшиеся к ногам. Такие же венки, ленты и кисточки были на голове и вокруг шеи у быка, овцы и борова, предназначенных в жертву. Затем в процессии шли низшие служители культа. Они несли деревянный молоток, которым попа должен был оглушить быка ударом в затылок, священный пирог, серебряную коробочку со священным фимиамом, серебряную чашу, служившую для наполнения кадильницы, амфору с вином и патеру — особую чашу для священных возлияний. Последним шел хранитель священных кур, несший большую клетку с этими священными птицами. Замыкали шествие

флейтисты, которым полагалось играть во время возлияний. За жрецами двигалось, конечно, все римское войско, за исключением солдат, поставленных для охраны ворот лагеря, рвов и частоколов.

Когда войско с Орестом во главе разместилось вокруг жертвенника, жрецы, совершив предписанные омовения, бросили фимиам в чашки, посыпали жертвенных животных мукой и по установленному обряду принесли жертву священным пирогом и возлиянием вина; затем попа с помощью своих прислужников, подняв голову быку (ибо только когда приносили жертву подземным богам, головы жертвенных животных должны были быть опущены к земле), ударил животное сперва молотком в лоб, а затем прикончил его топором; в то же время культарии прикалывали мелких животных, кровью которых вскоре был обагрен весь жертвенник; часть мяса их была тут же положена на огонь, пылавший в углублении посреди жертвенника. Внутренности жертв были аккуратно собраны на особую бронзовую дощечку, несколько вогнутую посередине и укрепленную на четырех подставках из того же металла.

По окончании этих манипуляций внутренно-

стями завладели авгуры, которые с серьезнейшим видом занялись определением по ним будущего.

Хотя знакомство с греческой философией и быстрое распространение учения Эпикура отвлекло в это время большую часть римской молодежи от нелепых верований в богов и еще более нелепых верований в лживые фокусы жрецов, в массе народа, и особенно в простонародье, так сильно вкоренилось и было так глубоко чувство преклонения перед богами, что среди тридцати тысяч человек, собравшихся возле жертвенника на специальной площадке в лагере у Фунди, — а все эти солдаты были храбрыми людьми, привыкшими к опасностям, — ни один звук, ни одно движение не нарушили священного обряда, который продолжался довольно долго; только приблизительно через полтора часа авгуры смогли сообщить, что знамения, открытые по внутренностям жертв, благоприятны для римлян, ибо ни одного зловещего пятнышка нельзя было заметить в этих внутренностях.

После этого пришла очередь кормления священных кур, которых, вероятно, долго мучили голодом, ибо, как только им бросили зерна, они стали есть с величайшей жадностью, под шумные рукоплескания и веселые крики всех солдат,

увидевших в их чрезмерном аппетите явный знак божественного покровительства Юпитера, Марса и Квирина и готовности всей троицы помогать римскому войску.

Этих счастливых предзнаменований было достаточно, чтобы вернуть мужество в сердца суеверных солдат. Тотчас же прекратились жалобы и проклятия, воскресли традиционная дисциплина и вера в начальство. Анфидий Орест тут же использовал это хорошее настроение своих легионов и решил привести в исполнение задуманный им план — избавиться с возможно меньшими потерями от тисков, в которые его захватил Спартак.

На следующий день, после того как внутренности жертвенных животных и кормление петухов предсказали римлянам победу, пять дезертиров из римского лагеря явились в лагерь Спартака. Приведенные к вождю гладиаторов, они все поразному рассказали одну и ту же историю: претор задумал выйти тайком в эту же ночь из своего лагеря, броситься на гладиаторов, стоявших лагерем возле Формии, раздавить их и прорваться на Кальви и затем укрепиться в Капуе. Дезертиры объясняли свое бегство из римского лагеря желанием избавиться от гибели в сражении,

так как, говорили они, план Ореста разобьется о железное кольцо, в которое Спартак замкнул римские легионы.

Спартак выслушал с величайшим вниманием рассказы пяти дезертиров, которым задал множество вопросов, не сводя с их лиц своих больших голубых глаз. Этот взгляд, проникавший подобно острейшему клинку, смущал и стеснял дезертиров; они не раз путались в ответах и говорили не то, что прежде. После продолжительного молчания, в течение которого фракиец, склонив голову на грудь, был погружен в глубокие размышления, он поднял голову и сказал, как будто рассуждая сам с собой:

— Я понял… и… ладно.

Затем, повернувшись к одному из контуберналиев, стоявшему возле него на претории, он сказал:

— Поди, Флавий, проводи их в палатку и прикажи, чтобы их хорошенько стерегли.

Контуберналий вышел вместе с дезертирами.

Спартак еще некоторое время стоял молча, а затем, призвав начальника легиона Артака и отведя его в сторону от других командиров и контуберналиев, сказал:

— Эти дезертиры — соглядатаи…

— Ну? — воскликнул в изумлении молодой фракиец.

— Они подосланы сюда Анфидием Орестом, чтобы ввести меня в обман…

— Возможно!

— Он хочет уверить меня в том, что рассказали дезертиры, а сам поступит как раз наоборот.

— А по-твоему, как именно?

— Наиболее естественное и логически правильное, что в данный момент может предпринять Орест — так сделал бы на его месте всякий, — это постараться прорвать наш фронт со стороны Рима, а не Капуи. Укрывшись в Капуе с войском, расстроенным и ослабленным потерями, которые он обязательно должен понести для того, чтобы прорвать стену наших мечей, он оставит для нас открытым Лациум, и мы сможем легко пройти до ворот Рима. Значит, он должен пробиваться в сторону Рима, чтобы защитить его от наших нападений; Рим — его операционная база, и, имея в тылу Рим, он с войском, даже более слабым, чем у него теперь, всегда будет держать нас под угрозой. Поэтому вполне естественно, что он пойдет на отчаянную попытку именно с этой стороны, а не со стороны Формии, как он хочет меня убедить при помощи своих дезертиров.

— Клянусь Меркурием!.. Ты рассуждаешь правильно.

— Поэтому сегодня же вечером мы оставим этот лагерь, столь безопасный благодаря соседству с лесом, и пройдем по ту сторону Аппиевой дороги, где устроим лагерь на самом защищенном месте, которое нам попадется. Благодаря этому маневру мы будем ближе к Криксу, против которого, если я не ошибаюсь, завтра будут направлены все усилия римских легионов. Эномай же снимется сегодня вечером со своего лагеря близ Формии и расположится гораздо ближе к неприятелю.

— Таким образом, ты еще больше сузишь кольцо, сжимающее врагов, — сказал с выражением искреннего восхищения молодой фракиец, поняв теперь весь план Спартака. — И…

— И, — прервал его Спартак, — каково бы ни оказалось движение претора, я уверен в победе. И даже если он действительно двинется против Эномая, то, так как он ближе подойдет к Фунди, а следовательно, и к нам, мы тоже сможем быстро прийти на помощь германским легионам.

И, призвав к себе трех контуберналиев, Спартак приказал им скакать во весь опор с получасовыми промежутками в лагерь под Формией и передать Эномаю приказ подтянуться на шесть-

семь миль ближе к Фунди; одновременно он послал контуберналиев к Криксу предупредить его о вероятной в ближайшие часы атаке против него.

Вечером к Эномаю явились гонцы Спартака, и спустя два часа после их прибытия части германца, имея в авангарде три тысячи кавалеристов, двинулись с крайней предосторожностью и осмотрительностью по направлению к Фунди. В полночь, соблюдая полную тишину, Эномай приказал своим легионам остановиться возле одного холма, покрытого жестким терновником и лесом, и здесь расположиться лагерем. Хотя уже с вечера несколько часов подряд шел мелкий осенний дождь, пронизывающий до костей, он все же отдал приказ окапывать новый лагерь рвами и устроить частоколы, первый подавая этому пример.

Все произошло, как предвидел Спартак: на рассвете часовые, расставленные впереди лагеря Крикса, причем некоторые из них были выдвинуты до самой Аппиевой дороги, предупредили о наступлении неприятеля.

Крикс вывел из лагеря и расположил в боевом порядке два своих легиона — третий и четвертый, стоявшие с полуночи наготове, приказав

пращникам быстро продвинуться вперед, чтобы встретить неприятеля стрелами и камнями.

Орест наступал в полном боевом порядке. Поэтому, как только против его солдат были выпущены первые стрелы, он немедленно выдвинул через интервалы своего фронта велитов и пращников, которые, растянувшись в цепь, пошли против гладиаторов.

Но римская легкая пехота, едва выпустив несколько стрел, сейчас же отступила к главной линии, освободив место трем тысячам кавалеристов, которые бросились с неудержимым натиском на неприятельских пращников. Крикс приказал немедленно трубить отбой, но его легкая пехота не могла отступить достаточно быстро для того, чтобы уйти из-под удара римской кавалерии и спастись от разгрома. Велики были потери гладиаторов — свыше четырехсот из них были изрублены в мгновение ока; по счастью, широкий ручей задержал наступление римлян, и гладиаторы могли укрыться по другую его сторону.

Тогда Крикс двинулся с первым легионом, построенным в глубокую колонну, к ручью, на берегу которого скопилась римская конница, и туча дротиков, полетевших в нее, заставила ее

сразу отступить в беспорядке.

Орест отозвал назад конницу и двинул быстрым шагом два легиона пехоты против легиона Крикса, так как ему нужно было не только победить, но победить без задержки, ибо каждая четверть часа промедления могла привести на поле сражения подкрепления, которые спасли бы неприятеля и погубили его.

Поэтому натиск, с которым римляне бросились на неприятеля, был ужасен; третий легион гладиаторов дрогнул и едва не был приведен в расстройство. Однако воодушевленные примером и словами мужественного Арторикса и необыкновенной храбростью Крикса, который, сражаясь в первых рядах, каждым ударом своего меча валил по врагу, гладиаторы встретили натиск римлян с таким мужеством, что сражение перешло в жестокую кровопролитную резню.

Небо было мрачно и серо, и дождь продолжал идти, густой и холодный; звон оружия и крики сражавшихся оглашали окрестности.

Но уже двигался еще один римский легион в обход справа, чтобы ударить во фланг гладиаторов. Против него выступил Борторикс во главе четвертого легиона; но едва он схватился с неприятелем, последний легион войска Ореста тоже пришел в

движение, чтобы обойти гладиаторов с другого фланга. И уже не мужество и не бесстрашие решали исход этого сражения, а только численность; и Крикс понял, что не более чем через полчаса он будет совершенно окружен и разбит и его десять тысяч человек будут неминуемо уничтожены.

Успеет ли за эти полчаса Спартак прийти ему на помощь?

Вот этого Крикс не знал; поэтому он приказал Борториксу с боем отступать к лагерю и тот же приказ дал третьему легиону.

Как бы мужественно ни защищались гладиаторы, их отступление не могло совершиться без большого расстройства и тяжелых потерь. Чтобы под напором неприятеля укрыться в лагере, они были вынуждены оставить позади две когорты, которые должны были пожертвовать собой ради общего спасения.

Эта тысяча гладиаторов сражалась с необычайной храбростью, умирая не только без страха, но почти с радостью, и в короткое время свыше четырехсот из них погибли, все раненные в грудь. Чтобы спасти остальных от неизбежной гибели, вернувшиеся в лагерь гладиаторы устремились на вал и оттуда обрушили на римлян такой град камней и дротиков, что те вынуждены были

отступить и прекратить сражение.

Тогда Орест велел немедленно трубить отбой и, поспешно наведя порядок в своих легионах, сильно расстроенных почти двухчасовым жестоким боем, приказал форсированным маршем двигаться к Привернуму; он поздравлял себя с удачно осуществленной хитростью, с помощью которой удержал Спартака вдали от Террацины и направил его к Формии.

Но не успел авангард римского войска пройти и двух миль по Аппиевой дороге, как появились пращники Спартака и бросились в атаку на левый фланг легионов Ореста, шагавших по направлению к Привернуму и к Риму.

Увидев это, Орест пал духом; тем не менее, остановив свои войска, он послал часть кавалерии против пращников Спартака и в то же время выстроил четыре легиона так, что два из них повернулись фронтом против Спартака, а остальные два — тылом к первым, чтобы отразить атаку Крикса, который, как это понимал Орест, должен был немедленно снова броситься на него.

Действительно, как только пятый и шестой легионы гладиаторов завязали бой с римлянами, Крикс выстроил опять свои два легиона, сильно поредевшие от больших потерь, и с яростью об-

рушился на тыл римлян.

Кровопролитна и упорна была битва, и уже с полчаса свирепо сражались без всякого преимущества на одной или другой стороне, когда на хребте холмов, скрывавших Фунди от сражавшихся, появился авангард легионов Эномая. При виде происходившего на равнине сражения германцы с оглушительным «барра!» бегом кинулись на римские легионы. Окруженные с трех сторон, будучи не в состоянии оказать сопротивление все увеличивавшемуся числу гладиаторов, римляне начали подаваться и вскоре, сломав строй, бросились стремительно бежать по Аппиевой дороге по направлению к Привернуму.

Гладиаторы гнались за бегущими, и Спартак громко приказывал своим легионам не останавливаться и преследовать римлян, не отставая от них ни на шаг. Он великолепно понимал, что это единственное средство парализовать действие неприятельской кавалерии, которая не могла атаковать рассыпавшихся в беспорядке гладиаторов, не опрокидывая бегущих римлян.

Последним появился на поле сражения корпус Граника, стоявший дальше других. Его приход довершил победу гладиаторов. Умный, рассудительный и очень опытный в делах войны Граник,

чтобы попасть, согласно уведомлению, полученному от Крикса, на Аппиеву дорогу между Фунди и Привернумом, совершил тяжелый переход по диагонали, приведший его ближе к Привернуму, чем к Фунди. Он не сомневался в том, что к моменту его появления на поле сражения римляне уже будут разгромлены и поэтому он сможет ударить им в правый фланг как раз во время их бегства. Так и случилось.

Побоище было страшное: свыше семи тысяч римлян было убито и около четырех тысяч взято в плен.

Только кавалерия почти без потерь пробилась в Привернум, куда в течение ночи пришли остатки изнуренных, разбитых легионов.

Но и потери гладиаторов были очень велики. Победа стоила им более двух тысяч убитыми и столько же ранеными.

На рассвете, в то время как гладиаторы с почетом хоронили своих павших товарищей, претор Анфидий Орест, выйдя из Привернума, стремительно отступил с остатками своего войска в Норбу.

Так, едва начатый второй поход римлян против Спартака закончился в полтора месяца с небольшим. Имя вождя гладиаторов, ставшее страшным

и грозным, заставляло уже бледнеть жителей Рима и серьезно призадуматься даже Сенат.

Несколько дней спустя после сражения при Фунди Спартак собрал военный совет из начальников гладиаторов, и когда все единодушно признали абсолютно невозможным предпринять что-либо против Рима, где каждый гражданин был солдатом и где поэтому в течение нескольких дней против них могло быть выдвинуто сто десять тысяч бойцов, было решено обойти Самниум, а потом Апулию, чему римляне были уже не в состоянии помешать, и собрать там всех рабов, которые пожелали бы восстать против своих угнетателей.

Выполняя это решение, Спартак во главе своего войска без всяких препятствий проник через Бовианум в Самниум и отсюда небольшими дневными переходами направился в Апулию.

Известие о поражении претора Ореста при Фунди повергло в ужас римских граждан, и Сенат, собравшись на секретное совещание, стал обсуждать вопрос, каким образом положить конец этому восстанию, которое, начавшись смехотворным бунтом, приняло теперь масштабы серьезной войны, запятнавшей позором римские войска.

Что решили сенаторы, осталось тайной, и только одно стало известным, что в ночь того дня, когда состоялось это совещание, консул Марк Теренций Варрон Лукулл в сопровождении немногих преданных слуг, без знаков отличия, без ликторов, под видом частного лица выехал верхом через Эсквилинские ворота по Пренестинской дороге.

Через месяц после сражения при Фунди Спартак со своим войском находился в лагере возле Венузии и занимался обучением двух новых легионов — одного фракийского, другого галльского, так как свыше десяти тысяч рабов этих двух национальностей пришли в течение последних тридцати дней из апулийских городов в гладиаторское войско; около полудня Спартаку доложили, что в лагерь прибыл посол от римского Сената.

— Клянусь молниями Юпитера! — воскликнул Спартак, в глазах которого сверкнул луч невыразимой радости. — Значит, так низко пала гордость латинян, что римский Сенат не стыдится войти в переговоры с презренным гладиатором?!. — И сейчас же добавил: — О, клянусь высшими богами Олимпа! Должно быть, я честный человек и совершил в своей жизни кое-какие немаловаж-

ные, доблестные дела, если они удостоили меня такой чести и дали мне возможность испытать такое удовлетворение!

И, накинув на себя свой обычный плащ темного цвета — так как он только в торжественные дни и для удовольствия своих легионов надевал императорские знаки отличия, — он сел на скамейку, находившуюся у входа в его палатку, перед преторием, и, обратившись к Арториксу, Эвтибиде и другим пяти или шести своим контуберналиям, с которыми он дружески беседовал, когда ему сообщили о прибытии посла от Сената, сказал им, улыбаясь:

— Простите меня, что я ухожу от вашего общества, и знайте, что оно мне доставляет гораздо больше удовольствия, чем общество римского посла, но необходимо, чтобы я его выслушал!

Попрощавшись со своими офицерами дружеским жестом руки и ласковой улыбкой, он сказал декану, доложившему ему о после:

— А теперь проводи сюда этого сенатского посла.

Посол пришел на преторий в сопровождении своих четырех слуг; всех пятерых вели гладиаторы, так как по обычаю глаза у прибывших были завязаны.

— Ты на претории нашего лагеря перед нашим вождем, римлянин, — сказал декан тому, кто назвал себя послом.

— Привет тебе, Спартак! — сказал тотчас же внушительным и твердым голосом римлянин, посылая правой рукой полный достоинства приветственный жест по направлению к тому месту, к которому он стоял лицом и где, по его предположению, находился Спартак.

— Привет и тебе! — ответил фракиец.

— Мне нужно с тобой поговорить с глазу на глаз, — прибавил посол.

— Хорошо, будем говорить наедине, — ответил Спартак.

И, обращаясь к декану и солдатам, приведшим пятерых римлян, сказал:

— Этих отведите в соседнюю палатку, снимите повязки с глаз и приготовьте им чем подкрепиться.

И в то время как декан удалялся с гладиаторами и спутниками посла, Спартак, подойдя к последнему, снял с его глаз повязку и, показывая рукой на деревянную скамейку, стоявшую напротив той, на которой он раньше сидел, сказал:

— Садись. Ты можешь смотреть на лагерь презренных и ничтожных гладиаторов и ознако-

миться с ним.

И он снова сел, не спуская испытующего взгляда с патриция — что это был патриций, видно было по пурпурной полосе, окаймлявшей его тогу, — посланного к нему Римом.

Это был человек лет пятидесяти, высокого роста, плотный и даже тучный, с седыми, коротко остриженными волосами, с благородными и выразительными чертами лица; осанка у него была полна величия и даже надменности. Это впечатление несколько умаляли его любезная улыбка, движения головы и жесты, когда он отвечал на слова Спартака. Получив возможность видеть, он тотчас же стал внимательно всматриваться в вождя гладиаторов.

Некоторое время оба молчали, разглядывая друг друга. Первым начал Спартак:

— Садись же. Эта скамейка, конечно, не курульное кресло, к которому ты привык, но на ней тебе будет все же удобнее, чем на ногах.

— Благодарю тебя, Спартак, за твою любезность, — ответил патриций, садясь напротив гладиатора.

Затем он обратил взор на огромнейший лагерь, видный целиком как на ладони с высоты, на которой находился преторий, и не мог, хотя, ве-

роятно, это было против его желания, удержаться от восклицания изумления и восхищения:

— Клянусь двенадцатью богами Согласия!.. Я никогда не видел подобного лагеря, кроме лагеря Гая Мария под Секстийскими Водами!..

— Что ты! — с горькой иронией возразил Спартак. — Ведь то был римский лагерь, а мы только подлые гладиаторы.

— Я пришел сюда не для того, чтобы спорить с тобой, поносить тебя или выслушивать поношения, — с достоинством сказал римлянин. — Оставь свою иронию, Спартак; я вполне искренне выразил свое восхищение.

Он замолчал и снова долго смотрел на устройство лагеря глазами опытного ветерана.

Затем, опять повернувшись к Спартаку, сказал:

— Клянусь Геркулесом! Спартак, ты рожден не для того, чтобы быть гладиатором!

— Ни я, ни шестьдесят тысяч несчастных, которых ты видишь в этом лагере, ни миллионы людей, равных вам, которых вы поработили грубой силой, не были рождены для того, чтобы быть рабами.

— Рабы были всегда, — возразил посол, качая головой с видом сожаления, — с того дня, как один человек поднял меч на другого. Человек

человеку волк по природе и по характеру; поверь мне, Спартак, твоя мечта — мечта благородной души, но мечта неосуществимая; это закон человеческой природы, чтобы были господа и слуги. Так было, так будет.

— Не всегда существовали эти несправедливые различия, — ответил Спартак, — они появились с того дня, когда плодов земли не стало хватать для всех ее обитателей; с того дня, как человек, рожденный для земледелия, перестал возделывать почву своей родины и этим добывать себе пропитание; с того дня, как справедливость, жившая среди земледельцев, ушла с полей, бывших последним ее убежищем, и скрылась на Олимп, — вот когда возникли неумеренные аппетиты, безудержные желания, роскошь, кутежи, распри, войны и постыдные побоища!..

— Значит, ты желаешь вернуть людей в их первобытное состояние?.. И ты думаешь, что в силах сделать это?

Спартак замолчал, потрясенный и почти в ужасе перед этим столь простым и, однако, столь страшным вопросом, словно раскрывшим неосуществимость его благородных идей, а патриций добавил:

— Если бы на твою сторону стал со всем своим

могуществом римский Сенат, то и это не обеспечило бы тебе торжества задуманного тобою предприятия. Одни только боги могли бы изменить природу человека.

— Но даже если неизбежно, — сказал Спартак после нескольких минут молчания и раздумья, — чтобы на земле были богатые и бедные, то разве необходимо также, чтобы существовали рабы? Разве необходимо, чтобы победители забавлялись, присутствуя и аплодируя резне и взаимному уничтожению несчастных гладиаторов? И разве эта жажда крови и свирепость, свойственные диким зверям, неразрывно связаны с природой человека и составляют необходимое условие его счастья?

Замолчал в свою очередь римлянин перед этими столь неумолимыми вопросами и склонил голову на грудь, погрузившись в глубокое размышление.

Первым нарушил молчание Спартак, спросив своего собеседника:

— Зачем ты пришел сюда?

Патриций очнулся и сказал:

— Я — Гай Руф Ралла, всадник, и пришел к тебе от консула Марка Теренция Варрона Лукулла с двумя поручениями.

На лице Спартака появилась легкая улыбка не то иронии, не то недоверия, и он спросил у римского всадника:

— Первое?

— Отпустить за выкуп — о сумме мы договоримся — римлян, взятых тобою в плен в сражении при Фунди.

— А второе?..

Посол, казалось, смутился, открыл рот, чтобы ответить, в нерешительности остановился и наконец сказал:

— Ответь мне сперва на первое предложение.

— Я вам возвращу четыре тысячи пленных за десять тысяч испанских мечей, десять тысяч щитов, десять тысяч панцирей и сто тысяч дротиков, изготовленных в лучших ваших оружейных мастерских.

— Как? — спросил с негодованием и изумлением Гай Руф Ралла. — Ты требуешь… ты желаешь, чтобы мы сами снабдили тебя оружием, с которым ты будешь с нами воевать?

— Да, и я повторяю, что это оружие должно быть высшего качества, и требую, чтобы в течение двадцати дней оно было доставлено в мой лагерь: без этого я вам не возвращу этих четырех тысяч пленных. — И тут же добавил: — Я мог

бы заказать оружие в соседних городах, но это потребовало бы слишком много времени; мне это не подходит; у меня есть еще два легиона, набранные в эти дни, и мне надо их полностью вооружить…

— И именно поэтому, — возразил с гневом посол, — ты не получишь оружия. Пусть наши солдаты остаются в плену. Мы — римляне, клянусь подвигами Геркулеса Музагета! От Аттилия Регула мы научились никогда не делать того, что может быть вредно для родины и полезно врагу. Мы умеем приносить жертвы.

— Очень хорошо, — спокойно сказал Спартак, — через двадцать дней вы мне пришлете все это оружие.

— О, клянусь Юпитером Феретрийским! — воскликнул с плохо скрытым бешенством Руф Ралла. — Разве ты не понимаешь, что я тебе говорю?.. Ты не получишь оружия, повторяю, не получишь! Оставь у себя пленных…

— Хорошо, хорошо, — прервал его с нетерпением в голосе Спартак, — это мы увидим! Скажи мне, в чем заключается второе предложение консула Варрона Лукулла?

И снова он насмешливо улыбнулся.

Несколько секунд римлянин молчал, затем

начал спокойно, мягким и почти вкрадчивым голосом:

— Консул поручил мне предложить тебе прекратить военные действия.

— О! — не мог не воскликнуть от изумления Спартак. — А на каких условиях?

— Ты любишь и любим одной благородной римлянкой из наиболее знаменитого рода, именно из рода Валериев, ведущего начало от сабинянина Волуза, пришедшего в Рим с Тацием в царствование Ромула, основателя Рима; а Волуз Валерий Публикола был первым консулом Римской республики.

При первых словах Руфа Раллы Спартак вскочил с пылающим лицом и сверкающими гневом глазами, потом постепенно успокоился, весь бледный, снова сел и стал порывисто спрашивать у римского посла:

— Кто это говорит? Что знает об этом консул? И какое значение имеют для вас мои жалкие чувства? И какая связь между ними и войной, которую я веду? И что они имеют общего с миром, который вы мне предлагаете?

Посол был смущен этим градом вопросов и пробормотал неуверенным тоном несколько односложных слов, наконец, как человек, при-

нявший твердое решение, заговорил твердо и быстро:

— Ты любишь и любим Валерией Мессалой, вдовой Суллы, и Сенат, чтобы положить конец тому осуждению, которое она могла бы навлечь на себя этой любовью, готов сам просить Валерию стать твоей женой; и после соединения с любимой женщиной консул Варрон Лукулл предлагает тебе на выбор одно из двух: если ты хочешь отличий на полях сражения, то ты пойдешь под начальством Помпея в Испанию в качестве его квестора; если ты жаждешь покоя и домашнего уюта, то тебя пошлют префектом в один из городов Африки по твоему выбору. При тебе будет и маленькая Постумия, плод твоей преступной любви к супруге Суллы; в противном случае девочка будет передана опекунам Фауста и Фаусты — других детей диктатора, и ты не только потеряешь всякое право на нее, но потеряешь даже всякую надежду когда-либо обнять ее.

Спартак поднялся во весь рост. Вытянув горизонтально левую руку, он правой поглаживал бороду, поглядывая с насмешливой улыбкой и с пылающими от гнева и презрения глазами на римского посла, занятого своей речью; когда тот закончил, гладиатор продолжал смотреть на

него, слегка покачивая головой и по временам тихо постукивая правой ногой о землю; после долгого молчания он спокойным и тихим голосом спросил:

— А мои товарищи?

— Они должны разойтись: рабы должны вернуться в свои казармы, гладиаторы — в свои школы.

— И… — сказал, медленно отчеканивая слова, Спартак, — и… все кончено?..

— Сенат все забудет и простит.

— Великое спасибо!.. — воскликнул с иронической усмешкой вождь гладиаторов. — Как он добр, как милостив, как благороден Сенат!

— А разве нет? — сказал надменно Руф Ралла. — Сенат должен был бы приказать распять всех этих взбунтовавшихся рабов, а он вместо этого их прощает, разве этого не достаточно?

— О!.. Даже слишком!.. Сенат прощает вооруженного врага, и притом победоносного!.. Поистине великодушие беспримерное.

Он на мгновение замолчал, а потом с горечью произнес:

— Итак, я отдал целых восемь лет моей жизни, все силы моего ума и всю страсть моего сердца на справедливое, святое, благородное дело, бес-

страшно я преодолел всевозможные препятствия, призвал к оружию шестьдесят тысяч товарищей по несчастью и привел их к победе только для того, чтобы в одно прекрасное утро сказать им: «То, что вы считали победами, — поражения, свободы завоевать мы не в состоянии, вернитесь к вашим господам и дайте снова заковать свои руки в прежние цепи». Но почему же, почему?

— Значит, ты ни во что не ценишь честь, которая оказывается тебе, варвару, когда из ничтожного рудиария ты превращаешься в римского квестора или префекта и когда тебе разрешают взять в жены благородную римлянку?

— Неужели так велико могущество римского Сената? Он распоряжается не только всей землей, но даже чувствами людей, на ней живущих?

Оба помолчали немного; затем Спартак спокойно спросил Руфа Раллу:

— А если гладиаторы не пожелают разойтись, несмотря на мои внушения и советы?

— Тогда… — медленно и нерешительно сказал римский патриций, опустив глаза и теребя руками край тоги, — тогда… такому опытному полководцу, как ты… ведь ты в конце концов действовал бы только для блага этих несчастных… не может не представиться… всегда представится

способ повести войско… в трудное место…

— Где консул Марк Теренций Варрон Лукулл, — сказал Спартак, побледнев, с глазами, сверкающими гневом и ненавистью, что придавало его лицу грозное и свирепое выражение, несмотря на спокойный тон его речи, — будет ждать его со своими легионами, окружит его, и сдача, уже неизбежная, произойдет без шума. А консул может даже приписать себе честь легкой победы. Не правда ли?

Римлянин еще ниже опустил голову и молчал.

— Не правда ли? — закричал Спартак громовым голосом, который привел в содрогание Руфа Раллу.

Последний поднял глаза на Спартака, но таким гневом пылали глаза и все лицо гладиатора, что римлянин невольно отступил на шаг.

— Ах, клянусь всеми богами Олимпа! — сказал фракиец гордым и грозным тоном. — Благодари богов, твоих покровителей, что презренный и ничтожный гладиатор умеет уважать международное право и что гнев, овладевший мною, не может затемнить мой рассудок до того, чтобы забыть о том, что ты пришел сюда в качестве посла!.. Подлый и коварный, как твой Сенат, как твой народ, ты пришел предложить мне пре-

дательство, самое бесчестное и самое позорное предательство!.. Ты пришел играть на самых нежных струнах моей души!.. Ты старался подкупить любящего человека и отца для того, чтобы обманом добиться победы там, где не можешь одержать ее силой оружия!..

— Эй, варвар! — воскликнул с негодованием Руф Ралла, отступив на два шага и устремив на лицо Спартака пылающий взор. — Кажется, ты забываешь, с кем говоришь!

— Нет, римский консул, Марк Теренций Варрон Лукулл, это ты забыл, где находишься и с кем говоришь! Бессовестный! Презренный! Ты думал, что я тебя не узнаю?.. Ты пришел сюда под ложным именем и украдкой, чтобы попытаться подкупить мое сердце, которое ты мерил на свой образец и считал меня способным на подлость, на какую ты способен! Негодяй!.. Уходи… возвращайся в Рим… Собери новые легионы и приходи помериться со мною в честном бою. Там, если у тебя хватит духу стать со мной лицом к лицу, как ты стоишь сейчас, там я тебе дам ответ, достойный твоих гнусных предложений.

— Так неужели ты надеешься, жалкий безумец, — сказал с выражением высшего презрения консул Варрон Лукулл, — что в состоянии долго

держаться против наших легионов? Неужели ты думаешь одержать окончательную победу над могуществом и счастьем Рима?..

— Я надеюсь увести прочь эту массу несчастных рабов, и там, в наших странах, поднять против вас негодование всех угнетенных вами народов и положить конец вашему гнусному и беззаконному господству.

И повелительным жестом правой руки он приказал консулу удалиться.

Величаво запахнулся в свою тогу Варрон Лукулл и, уходя, сказал:

— Мы увидимся на поле сражения.

— Да позволят это боги… Но я этому не верю.

Лукулл уже уходил с претория. Спартак подозвал его и сказал:

— Послушай, римский консул… Я знаю, что немногие мои солдаты, попавшие к вам в плен, были распяты, и вижу, что по отношению к нам, гладиаторам, вы, римляне, не признаете международного права, поэтому я тебя предупреждаю, что, если в течение двадцати дней я не получу сюда, в мой лагерь, оружие и доспехи, которых я требую, четыре тысячи ваших солдат, взятых мною в плен при Фунди, будут тоже распяты.

— Как?.. Ты осмелишься?.. — воскликнул кон-

сул, побледнев от гнева.

— Все дозволено с такими людьми, как вы, у которых нет ничего святого и которые ничего не уважают… С вами — позор за позор, убийство за убийство, резня за резню… Иди!

И снова он приказал консулу удалиться.

По зову Спартака явились декан и гладиаторы, которые раньше привели сюда римского посла и его слуг, и он приказал им проводить этих людей до ворот лагеря.

Оставшись один, фракиец долго ходил взад и вперед перед своей палаткой, погруженный в мрачные и печальные размышления, то замедляя шаги, то двигаясь быстро и возбужденно.

После долгой ходьбы он приказал позвать Крикса, Граника и Эномая и сообщил о посещении лагеря консулом Теренцием Варроном Лукуллом и о предложениях, сделанных им, за исключением тех, которые касались сокровенных тайн его любви к Валерии.

Три начальника горячо одобрили благородное поведение Спартака и были тронуты его великодушным самопожертвованием; они ушли от него, переполненные еще большей любовью и восхищением к своему доблестному другу и верховному вождю.

Спартак вошел в свою палатку, когда уже настала ночь, и, поговорив с Мирцой, которая, увидя брата задумчивым и нахмуренным, окружила его нежными заботами и этим успокоила, удалился в спальню, устроенную для него в этой большой палатке, сооруженной солдатами; там находилось его ложе из свежего сена, покрытого сверху несколькими бараньими шкурами.

Он снял панцирь и оружие, которое днем носил не снимая, и бросился на свое ложе. Он долго ворочался с боку на бок, стеная и вздыхая, и уснул очень поздно, забыв погасить терракотовую лампу, в которой еще горел фитиль.

Он спал уже около двух часов и во сне сжимал данный ему Валерией медальон, который всегда носил на шее, как вдруг был разбужен долгим и горячим поцелуем в губы. Он проснулся, сел на постели и воскликнул:

— Кто это? Кто здесь?..

У постели слышалось тяжелое дыхание человека. Он повернулся в ту сторону, откуда слышалось дыхание, и увидел стоявшую на коленях, во всей ее красоте, с белоснежной грудью, с рыжими густыми косами, спускавшимися на плечи, Эвтибиду, которая, сложив свои маленькие руки в знак мольбы, шептала:

— Пожалей меня, пожалей… Спартак, я умираю от любви!..

— Эвтибида! — воскликнул в изумлении вождь гладиаторов, сжимая сильнее в руке медальон. — Ты… ты здесь? Каким образом?

— Уже столько ночей, — шептала взволнованным, придушенным голосом девушка, дрожавшая как лист, — уже столько ночей я скрываюсь в этом углу, — и она показала рукой, — где я ожидаю, пока ты уснешь, и становлюсь на колени у твоего ложа, и смотрю на твое прекрасное лицо с обожанием, и плачу безмолвно. Ведь я тебя обожаю, Спартак, как обожают богов, и даже больше; и вот уже пять лет, пять долгих, бесконечных лет, как я тебя люблю, и люблю безнадежно, как безумная, как одержимая. Отвергнутая тобой, я тщетно стараюсь изгнать твой образ из своего сердца… огненными штрихами он в нем запечатлен, и тщетно я искала забвения этой всемогущей страсти в развлечениях, в опьянении, в разнузданных кутежах и оргиях, тщетно я искала душевного покоя, избегая тех мест, где я тебя узнала; в Греции ты был пред моими глазами, как в Риме; и даже вид родной земли, воспоминания моей невинной юности, звук родной речи — ничто, ничто, ничто не могло изгнать тебя из

моего сердца… Я люблю тебя, обожаемый мой Спартак, люблю тебя так, как никакие слова не в состоянии, не могут передать… Сила моей любви бросила к твоим ногам такую женщину, как я, видевшую у своих ног величайших людей Рима!.. Сжалься, сжалься надо мной!.. Не отталкивай меня, Спартак, не прогоняй меня, я буду твоей служанкой, твоей рабой; если ты еще раз отвернешься от меня с презрением, ты можешь сделать меня способной на все, на все… даже на самые дикие и бесчестные поступки!

Так умоляла взволнованным голосом, в лихорадочной тоске влюбленная девушка, схватив руку Спартака и покрывая ее горячими поцелуями. При этом взрыве слов и страстей, чувственных, но дышавших горячей искренностью, не раз жаром пылало лицо Спартака и не раз оно становилось белым как мел; он чувствовал, как дрожь пробегает по нему, и только все крепче сжимал медальон с локонами Валерии и Постумии — только в этом талисмане он мог черпать силы, чтобы устоять против очарования прекрасной гречанки.

Сделав над собой усилие и мягко отняв руку из сжимавших ее рук Эвтибиды, ласковым голосом, который старался сделать спокойным, почти с отеческой добротой он сказал:

— Успокойся… успокойся… глупенькая… Я люблю другую женщину, божественную, она меня сделала отцом, а ты знаешь, что у Спартака одна только вера, и как, отдав всю душу на дело угнетенных, он будет жить и умрет за него, так он не полюбит никогда другую женщину… Поэтому выбрось всякую мысль обо мне из твоей разгоряченной головки… перестань выказывать мне чувство, которого я не разделяю, и говорить о любви невозможной, которой я к тебе не чувствую…

— А!.. Божественные эринии! — воскликнула глухим голосом, скрежеща зубами, Эвтибида, которую Спартак при последних словах мягко отстранил от себя. — Валерия, ненавистная, проклятая Валерия, она, всегда она отрывает тебя от моих ласк, от моих поцелуев!..

— Девушка! — воскликнул в негодовании Спартак, и лицо его стало мрачным и грозным.

И так как Эвтибида молчала, кусая до крови свои белоснежные руки, вождь гладиаторов, сдерживая гнев, прибавил после короткой паузы более спокойным, но не менее суровым голосом:

— Уходи из моей палатки, и пусть больше никогда ноги твоей здесь не будет; завтра ты отправишься с другими контуберналиями, на-

значенными в ставку Эномая. Ты больше не состоишь моим контуберналием.

Куртизанка с опущенной головой, кусая руки и с трудом заглушая рыдания, медленными шагами вышла из палатки. А Спартак, открыв медальон, поднес к губам и поцеловал находившиеся в нем пряди волос.



Глава XVI
Лев у ног девушки. – Посол, понесший наказание

Эвтибида не была заурядной женщиной: разум у нее всегда подчинялся порыву страстей, а эти страсти всегда были чрезмерны; течение ее мыслей нарушалось бурным полетом безудержной фантазии. Одаренная тем более удивительной энергией, что она заключалась в таком грациозном и изящном теле скорее девочки, чем женщины, юная гречанка с нежного возраста — как читатель помнит — была брошена похотливой волей развратного патриция в самые отвратительные, грязные оргии и бесстыдные сатурналии и с самых нежных лет потеряла два наиболее прочных щита, защищающие сердце женщины, — целомудрие и сознание дурного.

Она не знала удержу в желаниях: она добивалась того, чего желала, не считаясь ни с какими последствиями; для нее добром было достижение того, чего она жаждала, хотя бы другие и страдали от этого; и с непоколебимым упорством, с дикой силой воли она всегда добивалась цели.

Пресыщенная наслаждениями, несметно богатая, окруженная поклонением наиболее изящных щеголей и богатых патрициев Рима, она увидела Спартака во всем блеске его красоты, его мужества и силы, победителем в кровавом бою в цирке, в тот самый период, когда жизнь для нее не представляла уже никакой привлекательности, никакого соблазна и не обещала уже никакого счастья; она его увидела, увлеклась им и думала, что ей легко удастся удовлетворить эту любовь или каприз — она сама хорошо не знала, что лежало в основе этого желания, влекущего ее, как бы против ее воли, к могучему гладиатору, — и предвкушала в своем пылком воображении опьянение этой новой любовью, от которой она ожидала много наслаждений и которая пришла как раз кстати, чтобы нарушить монотонность жизни, ставшей для нее невыносимой.

Но когда на этом пути появились неожиданные препятствия, когда она увидела, что Спартак нечувствителен к ее прелестям — цели и предмету желаний стольких сердец, когда она увидала, что другая женщина оспаривала власть над любимым человеком, неудовлетворенное желание и бешеная ревность воспламенили воображение куртизанки; бурно закипела ее кровь, сердце

стало биться и трепетать, как никогда раньше, и бесстыдное желание — как мы уже видели — превратилось в дикую страсть, страсть, которая в такой порочной, энергичной и решительной душе, как у Эвтибиды, очень быстро дошла до крайности.

Она хотела забыть этого человека и отдалась всей разнузданности безумнейших оргий. Ее дом в Риме оглашался непристойными криками и фесценийскими песнями[98]; но ей не удалось вырвать образ Спартака из своего сердца; она отправилась путешествовать, снова увидела Грецию, подняла шум своей бесстыдной красотой в Коринфе и Афинах; но несчастная страсть не уходила, преследовала ее повсюду и отравляла ей существование. Тогда она решила вновь испытать сердце гладиатора, который вырос в грозного гиганта, сражавшегося за угнетенных против господства Рима.

С тех пор прошло уже четыре года; Спартак мог забыть Валерию, вероятно, уже забыл ее, и Эвтибида подумала, что настал момент, чтобы отдать себя всю фракийцу. И поверила, что так и будет. Она продала все свои драгоценности, собрала все

---

[98] Сноски: 98

Фесценийские песни — непристойные народные песни, исполнявшиеся на свадьбах.

свои богатства и явилась в лагерь гладиаторов, решив посвятить себя с безграничной преданностью восточной рабыни человеку, который зажег в ее сердце такую сильную и пылкую страсть.

Если бы Спартак раскрыл ей свои объятия… она была бы счастлива и, вероятно… — кто знает? — вероятно, изменилась бы к лучшему, так как она чувствовала себя способной на любой благородный и мужественный поступок для того, чтобы завоевать любовь этого человека, который в ее глазах принял сияющий облик полубога.

Она ждала, она надеялась, и она обманулась… он ее отверг во второй раз… Она вышла из палатки вождя гладиаторов с лицом искаженным и мокрым от слез и сверкающими от гнева глазами, с краской негодования на лице, с отчаянием в сердце.

Сперва она бродила, потеряв голову, по молчаливому лагерю, то шагая неуверенно, в волнении туда и сюда, спотыкаясь, не замечая этого, о подпорки палаток, натыкаясь на столбы веревочных загородок, окружавших места для лошадей, то приходя, сама не зная как, к валу. В голове у нее был хаос. В ее взбудораженном мозгу не было отчетливого сознания, не было восприятия внешнего мира; в ушах у нее звенело, она понимала

лишь одно — что она страдала, страдала безмерно и что ей необходима месть, месть жестокая, длительная и кровавая.

Утренний ветерок, жгучий и резкий, пронизывавший ее белоснежное тело и леденивший грудь и спину, вывел ее из состояния оцепенелости и вернул к действительности. Эвтибида завернулась в складки пеплума и, осматриваясь кругом, как в бреду или беспамятстве, постаралась собраться с мыслями и понять, где она находилась. Наконец она сообразила и, заметив, что находится среди палаток восьмого легиона, постаралась пробраться наиболее коротким путем на квинтанскую улицу, а с нее, перейдя улицу, отделявшую стоянку шестого легиона от стоянки пятого, вышла на главную улицу и отсюда направилась к своей палатке.

Тут Эвтибида заметила, что руки ее в крови, и вспомнила, как безжалостно она их искусала. Она сразу остановилась и, подняв свои зеленоватые глаза и покрытые пятнами крови руки к небу, мысленно, со всей силой своей глубокой ненависти, поклялась небесным богам отомстить за унижение и муки. И на крови, покрывавшей ее руки, она посвятила голову Спартака фуриям-мстительницам и богам ада.

На следующий день Спартак, постановивший с того времени, как запер претора Анфидия Ореста в лагере при Фунди, чтобы Граник, Крикс и Эномай имели при себе по четыре контуберналия для связи между собой, сообщил Эномаю, что посылает к нему на службу одного из своих контуберналиев.

Это не поразило Эномая, но он был изумлен, когда увидел прибывшую к нему Эвтибиду, очаровательным личиком и прекраснейшими формами тела которой он не раз восхищался, но никогда не сказал ей ни одного слова, так как был уверен, что она любовница Спартака.

— Как?.. Ты?.. — воскликнул удивленный германец. — Ты — тот контуберналий, которого Спартак посылает в мое распоряжение?..

— Я! — ответила девушка, на бледном лице которой заметна была серьезная озабоченность и глубокая печаль. — Почему ты так удивлен?

— Потому… потому… потому что ты Спартаку была дороже…

— Ха! — сказала с улыбкой горькой иронии девушка. — Спартак — человек добродетельный и думает только о торжестве нашего дела.

— Но это не должно было помешать ему заметить, что ты самая прекрасная девушка, которую

мог бы изобразить греческий резец.

Должно быть, красота Эвтибиды сильно поразила Эномая: медведь становился ручным, грубый дикарь превращался в любезного человека.

— Ты не думаешь, надеюсь, предлагать мне свою любовь? Я пришла сюда сражаться против наших угнетателей, и ради этого святого дела я оставила удовольствия, богатства и утехи любви. Учись у Спартака быть трезвым и сдержанным.

Произнеся эти слова надменным тоном, девушка повернулась к германцу спиной и ушла в палатку рядом, служившую жилищем для контуберналиев.

— Клянусь божественной красотой Фреи, матери всех вещей, эта девушка не менее красива и не менее горда, чем самая гордая и прекрасная из валькирий! — воскликнул пораженный красотой и манерами гречанки Эномай, думая с непонятным ему чувством нежности и любви об изящных формах и красивом личике девушки.

Намерение Эвтибиды легко было понять: отчаянно влюбить в себя гордого германца. Но кто бы мог сказать, с какой целью она добивалась этой любви?.. Вероятно, эта любовь не была чужда планам мести, которые она замышляла.

Как бы то ни было, но ясно, что такой женщине,

как Эвтибида, одаренной столь необыкновенной красотой и привлекательностью, обладавшей таким опытом в искусстве обольщения, нетрудно было завлечь окончательно в свои сети грубого и простодушного германца. Она очень скоро добилась полной и безграничной власти над ним.

Между тем в лагере у Венузии Спартак продолжал неутомимо обучать обращению с оружием два новых легиона. Спустя восемнадцать дней после беседы Спартака с консулом Марком Теренцием Лукуллом были доставлены в лагерь гладиаторов десять тысяч панцирей, щиты, мечи и дротики — цена выкупа за четыре тысячи пленных. Пленные без оружия были отпущены в Рим, а оба легиона вооружены.

Как только были вооружены эти два последних легиона, один из которых — по счету одиннадцатый, состоявший из галлов, был присоединен к четырем уже находившимся под начальством Крикса, а другой — весь из фракийцев — отдан под команду Граника, Спартак оставил свой лагерь и небольшими переходами вступил в Апулию. Он дошел сперва до Бариума, а потом до Брундизиума, самого важного и большого римского военного порта на Адриатическом море.

Во время этого похода, продолжавшегося два

месяца, не произошло ни одной серьезной стычки между римлянами и гладиаторами, так как нельзя было считать стычками слабое сопротивление, оказанное некоторыми городами при вступлении Спартака, — сопротивление, которое он легко преодолел.

В конце августа Спартак, отойдя от сильно укрепленного Брундизиума, который он и не пытался взять, расположился лагерем возле Гнатии на надежном месте, которое он, по своему обыкновению, еще более укрепил, окружив его огромными окопами. Он решил перезимовать в этой провинции, где плодородие почвы, прекрасные пастбища и обилие скота обеспечивали его войску продовольствие.

В это же время вождь гладиаторов подолгу обдумывал, что нужно предпринять, чтобы дать войне решительный толчок. По зрелом размышлении он секретно созвал начальников, непосредственно подчиненных ему, на военный совет. Здесь долго обсуждалось, что делать, и было принято, наверно, важное решение, так как никому в лагере гладиаторов не удалось проникнуть в эту тайну.

Ночью после этого совещания, закончившегося только к вечеру, Эвтибида, сняв оружие и

завернувшись наполовину в пеплум, с особым искусством оставив полуобнаженными спину и грудь, удобно расположилась на скамейке внутри своей палатки.

Небольшая медная лампа висела на столбе, поддерживавшем палатку, и слабо освещала ее.

Эвтибида была бледна, и косой взгляд ее темных глаз был устремлен на вход в палатку. Казалось, она внимательно наблюдает за этим входом, но ее мысль была занята совсем другими, более важными предметами.

Вдруг она вскочила, стала прислушиваться, и луч радости сверкнул в ее глазах: звук приближавшихся шагов убедил ее в близком приходе долгожданного и желанного гостя.

Очень скоро у входа в палатку показалась богатырская фигура Эномая, который должен был сильно нагнуть голову, чтобы проникнуть в храм Венеры, как он в шутку прозвал палатку Эвтибиды.

Войдя в палатку, великан опустился на колени перед куртизанкой и, взяв обе ее руки, поднес их к губам со словами:

— О моя божественная Эвтибида!

Стоя так на коленях, Эномай был все еще выше сидевшей на скамейке девушки, выше на целую

голову, и, только встав на корточки, он мог заглянуть своими маленькими черными глазами в лицо прекрасной гречанки.

Эти две головы, находившиеся одна против другой, представляли необычайный контраст; правильные черты и белизна лица Эвтибиды еще больше оттеняли грубые черты и темно-землистый цвет лица Эномая: растрепанные волосы его и взъерошенная борода каштаново-пепельного цвета, казалось, делали еще красивее рыжие косы очаровательной куртизанки.

— Долго вы разговаривали на совещании? — спросила Эвтибида, смотря благосклонным и ласковым взором на огромного германца, простертого у ее ног.

— Долго… к сожалению, — ответил Эномай, — и я тебя уверяю — мне очень надоели все эти совещания: я — человек оружия, и, клянусь молниями Тора, все эти собрания ничего не дают моей душе!

— Спартак — тоже человек действия, и если к мужеству прибавить осторожность, это будет куда лучше для торжества нашего дела.

— Будет… будет… не отрицаю… но я предпочел бы идти прямо на Рим…

— Безумная мысль!.. Лишь когда нас будет не

менее двухсот тысяч, мы можем сделать такую попытку.

Оба замолчали. Эномай смотрел на гречанку с выражением такой преданности и нежности, на какое, глядя на его грубое огромное лицо, никто не считал бы его способным. Эвтибида, со своей стороны, притворялась влюбленной и кокетливыми взглядами, которые ей подсказывало искусство обольщения, ласкала грубого германца.

— И вы, — спросила она рассеянно спустя мгновение, — обсуждали серьезные и важные дела на сегодняшнем совете?

— Да… серьезные и важные… говорили… Спартак, Крикс и Граник…

— Конечно… вы обсуждали план военных действий для весенней кампании?

— Не совсем… Но то, что мы решили, почти прямо относится к этому… Обсуждали… Ах! — вскрикнул он, внезапно остановившись. — Мы ведь связали друг друга священной клятвой не говорить никому о том, что было решено. А я стал выбалтывать тебе все с самого начала…

— Так ты же не врагу сообщаешь о ваших планах…

— О моя обожаемая Венера!.. Неужели ты

можешь думать, что если я не передаю тебе принятых нами решений, так это потому, что не доверяю тебе?

— Только этого не хватало! — воскликнула с негодованием гречанка. — Клянусь Аполлоном Дельфийским! Неужели после того, как я отдала делу угнетенных все мои богатства и все удовольствия роскошной и полной наслаждений жизни, чтобы превратиться мне, слабой девушке, в борца за свободу, ты или кто-либо другой осмелился бы усомниться в моей преданности?!

— Да избавит меня от этого Один!.. Будь уверена, что я безумно, до потери рассудка, влюблен в тебя не только за твою небесную красоту, но и за благородство твоей души… Я тебя уважаю и почитаю так, что, несмотря на данную клятву, для меня не составляет никакого труда сообщить тебе, о чем…

— Ах нет, не нужно! — сказала, представляясь еще более рассерженной, девушка, стараясь избавиться от ласк германца. — Что мне за дело до ваших секретов?.. Я не хочу ничего знать, совсем не хочу…

— Ну вот! Ты, как всегда, сердишься на меня. Чем я тебя обидел, моя обожаемая девочка? — сказал смиренно и почти плача Эномай, расточая

страстные ласки Эвтибиде. — Послушай… прошу тебя… знай, что…

— Молчи, молчи, я не хочу, чтобы ты нарушил свою клятву и рисковал увидеть наше дело преданным, — сказала с иронией куртизанка. — Если бы ты верил мне… если бы ты уважал меня… если бы ты любил, как ты говоришь… ты бы понимал, что эта клятва связывала тебя с этой тайной по отношению ко всем, но не ко мне… которая, по твоим словам, душа и мысль твоей жизни. Но к сожалению, ты меня не любишь чистой, преданной, безграничной любовью… ты любишь во мне только мою несчастную красоту… ты жаждешь только моих поцелуев… и любовь, чистая и глубокая, которую я надеялась найти в тебе, была только обманом… только сном!..

Голос Эвтибиды становился постепенно дрожащим, взволнованным, и под конец речи девушка разразилась притворно-безудержным рыданием.

Этими ласками и уловками Эвтибида добилась желанного эффекта, что не раз удавалось ей в течение двух последних месяцев.

Гигант почти вне себя, произнося бессвязные слова, в невыразимой тревоге стал страстно целовать колени и ноги девушки, взывать о жалости, просить прощения и клясться, что он

никогда не подозревал ее; он уверял пылкими и искренними словами, что он всегда, с момента, как узнал ее, любил ее больше себя самого, как святое, почитаемое существо, обожаемое, как божество. И так как гречанка продолжала делать вид, что она оскорблена и разгневана, и повторяла, что не хочет ничего знать, что ее не касается, германец поклялся всеми богами своей религии и с жаром стал умолять девушку, чтобы она согласилась его выслушать, уверяя ее, что с этого времени при всяком секрете, всякой тайне, которых он клятвенно обязуется не открывать, будет подразумеваться, что он их будет скрывать от всех, кроме нее, являющейся душой и жизнью его жизни.

И затем он вкратце рассказал девушке о том, что обсуждалось начальниками гладиаторов, и сообщил, как после доводов Спартака, который доказал необходимость иметь на стороне гладиаторов часть патрициев и римской молодежи, обремененной долгами, желающей перемен и жадной к мятежам, было решено отправить завтра верного посла к Катилине с просьбой согласиться принять командование над гладиаторским войском, и это поручение добровольно взял на себя Рутилий.

Хотя признания Эномая и были действительной целью всех уловок гречанки, она еще некоторое время продолжала дуться, потом с веселой улыбкой повернулась к Эномаю, который в это время совершенно лег на землю и, поставив ножки Эвтибиды себе на голову, говорил:

— Вот… Эвтибида… смотри, я твой раб… топчи меня… я в пыли и подкладываю свою голову вместо скамейки для твоих ног.

— Встань… встань, мой любимый Эномай, — сказала куртизанка притворно робким и тревожным голосом, но с сияющими от радости лицом и глазами при виде великана, лежавшего у ее ног, — встань, не здесь твое место… встань… и иди ко мне… ближе… к моему сердцу.

С этими словами, схватив за руку гладиатора, она нежно потянула его к себе. Тот бурно вскочил, обняв девушку, поднял ее на воздух и едва не задушил в бешеном пылу своих поцелуев.

Когда Эвтибида получила возможность произнести хоть слово, она сказала:

— Теперь… оставь меня… я пойду, как ежедневно в эти часы, посмотреть на моих лошадей и удостовериться, позаботился ли о них и находится ли сейчас при них Ксенократ… Потом мы опять увидимся… когда в лагере все успокоится… В

тихий час ночи ты, по обыкновению, вернешься сюда лечь со мной… И смотри не проговорись никому о нашей любви. Никому… и в особенности Спартаку.

Германец послушно опустил ее на землю, горячо поцеловал на прощание и вышел, направляясь к своей палатке, расположенной недалеко от палатки Эвтибиды.

Через несколько минут вышла и она. По дороге в палатку, где находились при ее лошадях двое слуг, преданные ей на всю жизнь, она рассуждала про себя:

«О-о!.. Неплохо придумано… Нет: поставить Катилину во главе этих шестидесяти тысяч рабов… это значит тем самым облагородить и войско, и само восстание… С ним пришли бы самые знатные и смелые патриции Рима… с ним, вероятно, восстала бы вся чернь на берегах Тибра… И восстание рабов, неминуемо обреченное на неудачу, превратилось бы в опаснейшую гражданскую войну, которая, вероятно, имела бы своим последствием полное изменение конституции государства… И нечего думать, что при Катилине в качестве верховного вождя Спартак потеряет авторитет, так как Катилина слишком умен, чтобы не понимать, что без Спартака рядом с собою

он не мог бы и единого дня руководить этими дикими толпами гладиаторов… Нет… нет!.. Это не входит в мои планы… и знаменитый и доблестный Спартак на этот раз ничего не добьется!»

Размышляя так, она подошла к палатке двух своих преданных слуг, позвала Ксенократа в уединенное место и тихим голосом по-гречески стала с одушевлением говорить с ним.

На рассвете следующего дня на Гнатской консульской дороге, ведущей от Брундизиума к Беневентуму, можно было увидеть всадника, статного, сильного юношу, в простой тунике из грубого сукна, в широком темном плаще на плечах и в суконной шляпе; юноша сидел верхом на резвом гнедом коне апулийской породы и быстрой рысью двигался от Гнатии по направлению к Бариуму. И если бы кто-нибудь встретил его и обратил внимание на открытое смуглое лицо этого юноши, на его довольный, спокойный и непринужденный вид, тот по одежде и внешности принял бы его за зажиточного землевладельца из окрестных мест, выехавшего по своим делам на рынок в Бариум.

Проехав три часа, путешественник достиг почтовой станции, находившейся почти на полдороге между Гнатией и Бариумом; тут он

остановился, чтобы дать своему коню отдых и подкрепиться самому.

— Здравствуй, друг, — сказал он слуге хозяина станции, явившемуся принять от него лошадь.

И, соскочив на землю, прибавил, обращаясь к огромному, толстому, краснолицему мужчине, появившемуся в эту минуту в дверях дома:

— Пусть боги покровительствуют тебе и твоему семейству!

— Да будет тебе Меркурий охраной в твоем путешествии. Желаешь ли ты отдохнуть и подкрепиться после долгой дороги?.. Видно, что твой благородный и прекрасный апулиец пробежался изрядно.

— Он бежит уже шесть часов, — ответил путешественник. И вдруг прибавил: — Тебе нравится мой апулиец? Не правда ли, он красив?

— Клянусь крыльями божественного Пегаса, я не видел никогда более прекрасного коня!

— Бедняга!.. Кто знает, до какого состояния он дойдет через месяц! — сказал со вздохом путешественник, входя в дом хозяина станции.

— Почему так? — спросил последний.

Он шел следом за своим гостем и тотчас же предложил ему сесть за один из трех небольших столов, стоявших вдоль стен комнаты.

И продолжал:

— Ты будешь что-нибудь есть?.. А почему твой конь бедный?.. Хочешь старого формийского вина? Оно поспорит с нектаром Юпитера… И почему апулиец через месяц окажется в плохом виде?.. А как тебе нравится жареный бараний окорок?.. Барашек нежный и сладкий, как молоко, которым его кормила его мать… Могу предложить тебе отличного масла и свежего сыра, искрящегося слезой, как роса на нежной травке, которой питались коровы; из их молока был сделан этот сыр… О каком бедном коне ты только что говорил?..

Путешественник поднял голову и стал удивленно и вместе с тем насмешливо смотреть на хозяина станции. Тот продолжал хлопотать и суетиться. Беспрерывно болтая, не удосужившись ни разу даже взглянуть гостю в лицо, он метался туда и сюда и готовил к столу.

Болтовня доброго человека была прервана прибытием второго гостя, соскочившего с сильного и горячего скакуна, дымящиеся ноздри которого, пена, покрывавшая уздечку, частое и бурное дыхание ясно показывали, что он быстро пробежал длинный путь.

Новый путник был высокий плотный человек лет сорока, с развитыми и крепкими мускулами,

со смуглым, безбородым и довольно умным лицом. По одежде его можно было принять за слугу или отпущенника, служившего у какой-нибудь благородной и богатой семьи.

— Да сопутствуют тебе боги, — сказал хозяин станции входившему путнику, — и дадут силу твоему крепкому коню. Хотя, по-видимому, он очень силен, но если ты заставишь его дальше бежать, как до сих пор, то долго он не вынесет. Издалека ты приехал?.. Желаешь присесть и подкрепиться?.. Угодно тебе отведать жареный бараний бок? Барашка нежного, как трава, на которой паслась его мать? Ведь ты ехал долго и быстро?.. Должно быть, приехал издалека?.. Я смогу тебе дать старого формийского вина, которое не побоится сравнения с нектаром, подаваемым к столу всевышнего Юпитера… Очень хорошо выпить чашу настоящего крепкого вина, когда сделано столько миль, а ты, наверно, сделал много миль, не правда ли?.. А еще я тебе подам масла и сыру такого качества и запаха, что… ты увидишь… увидишь… Но садись же, ты ведь, наверно, очень устал…

— От твоей болтовни?.. Да, она мне здорово надоела и опротивела, клянусь Сатурном! — сказал нетерпеливо и строго новый путник.

— И было бы гораздо лучше, если бы ты, вместо того чтобы начинять нам желудки назойливыми вопросами и восхвалением яств, которые нам предлагаешь, подал бы нам наконец твоего жареного барашка, твое масло, сыр и формийское вино… — сказал в свою очередь первый путник и, повернувшись ко вновь прибывшему, спросил: — Не правда ли?

— Привет! — сказал отпущенник земледельцу, почтительно кланяясь, приложив руки к губам. — Ты говоришь дело.

С этими словами он тоже присел к столу, в то время как хозяин, закончив приготовления, сказал:

— Я вам мигом подам… А вы сейчас же рассудите, был ли я прав, восхваляя яства моей кухни.

И он ушел.

— Хвала Юпитеру всеблагому, великому освободителю, — сказал апулиец, — за то, что он избавил нас от невыносимой болтовни этой префики[99].

— Вот уж действительно, надоеда! — ответил отпущенник.

На этом разговор между обоими проезжими

---

[99] Сноски: 99

Префика — здесь: сплетница, болтунья.

прекратился.

И в то время как отпущенник, по-видимому, был всецело погружен в свои мысли, апулийский земледелец рассматривал его проницательными глазами, играя ножом, лежавшим на столе.

Тут вернулся хозяин, неся обоим путникам, каждому отдельно, обещанного жареного барашка; оба принялись есть с большим аппетитом, а хозяин перед каждым поставил бокал с прославленным формийским вином, которое они хотя и не нашли достойным стола Юпитера, все же признали приличным, чтобы не опровергать чрезмерных похвал, которыми осыпал это вино красноречивый хозяин.

— Значит, — сказал апулиец, после того как он покончил с барашком, — тебе нравится моя лошадь, правда?

— Клянусь Геркулесом!.. Конечно нравится: это конь настоящей апулийской породы… стройный… резвый… с приподнятыми слегка боками, с тонкими нервными ногами, с изящным изгибом шеи… у него все достоинства этой породы… Согласись, что, состоя свыше двадцати лет хозяином почтовой станции, я должен знать и знаю толк в лошадях, а будучи сам апулийцем, хорошо знаю достоинства и недостатки наших лошадей.

— Ты дал бы мне, — спросил, потеряв терпение земледелец, — взамен моего одного из твоих двадцати?..

— Из сорока, гражданин, из сорока, так как моя станция лучшего, а не последнего разряда, а ты знаешь…

— Так не дашь ли ты одного из твоих сорока, из твоих ста, из твоих тысячи лошадей, имеющихся у тебя в конюшнях? — закричал в порыве раздражения апулиец. — Пусть Эскулап пошлет тебе опухоль на язык!

— Ах!.. Вот… сказать тебе… обменять знакомую мне лошадь… на другую… которая красива, да… которая, по-видимому, молодая… но которую я не знаю… — возразил с плохо скрытым смущением, почесывая за ухом, хозяин почтовой станции, не обратив никакого внимания на проклятие земледельца, — это меня не очень устроило бы… так как ты должен узнать, что однажды, лет пять тому назад, со мной случилось как раз…

— Но я вовсе не желаю отдать тебе моего коня, которого я не променяю на лучшего из твоих, я хочу оставить его в залог… Ты мне дашь одну из твоих лошадей, чтобы доехать до первой же станции, где я оставлю твою и возьму другую, и так буду делать, пока не доеду…

Здесь апулиец остановился, бросив недоверчивый взгляд не на болтливого хозяина, но на молчаливого и почтительного не то отпущенника, не то раба. Затем закончил:

— Пока не приеду, куда мне нужно. На обратном пути, придерживаясь того же порядка езды, я приеду сюда и заберу своего Аякса… Так зовется мой гнедой…

— О, о нем ничуть не беспокойся! Ты найдешь его толстым, лоснящимся, здоровым. Я знаю, как надо содержать лошадей и… не сомневайся. Но кстати, видишь, как я угадал, что ты очень спешишь и должен ехать далеко?.. Вероятно, в Беневентум?..

— Может быть! — сказал, улыбаясь, апулиец.

— Или, может быть, даже в Капую?

— Может быть!

— И кто знает, кто знает, может быть, ты должен доехать до Рима?

— Может быть!

И оба замолчали.

Апулиец, продолжая оказывать честь и маслу, и сыру хозяина станции, смотрел, не переставая улыбаться, на забавную физиономию этого добродушного болтуна. Его мало удовлетворили эти «может быть», а неудовлетворенное любопытство

породило неудовольствие, ясно отражавшееся на его лице.

— Ну?.. Что же ты остановился? — спустя мгновение сказал апулиец хозяину станции. — А может быть, я хочу доехать до Корфиниума, Аскулума, Камеринума, Сена-Галлики, Равенны?.. А отчего мне не съездить до Фалерий, Сполециума, Клузиума, Кортоны, Арециума, Флоренции, до страны бойев или лигурийцев? Разве я не могу?..

— Да сопутствует тебе всевышний Юпитер, ты смеешься надо мной? — спросил несколько обиженный хозяин станции.

— Немного! — ответил, добродушно улыбаясь, земледелец, предлагая доброму человеку свою чашу, наполненную вином, и прибавил: — Выпей из этой чаши дружбы… и не огорчайся тем, что я шучу над тобой и мучаю твое любопытство. У тебя вид вполне порядочного человека… Только ты болтлив и любопытен необыкновенно…

— Но не с дурной целью, — поспешно сказал добряк. — Клянусь всеми богами неба и ада, что я благочестивый и честный человек… Если я не таков, то пусть по воле богов погибнут от чумы моя жена и дети…

— Нечего клясться. Я тебе и так верю. Пей!

— За счастливое твое путешествие и за твое

благополучие, — сказал хозяин станции, выпил два-три глотка формийского вина, содержавшегося в чаше, и затем подал ее апулийцу.

Последний не взял чашу и сказал:

— Теперь предложи ее тому путешественнику, да выпей сначала и за его здоровье. — И, обращаясь к отпущеннику, добавил: — Мне кажется, что ты отпущенник?..

— Верно! — почтительно ответил путешественник могучего телосложения. — Отпущенник семейства Манлия Империоза.

— Знаменитый и древний род! — заметил хозяин станции. — Один из его предков, Манлий Вульсон, был консулом в двести восьмидесятом году от основания Рима, а другой…

— Я еду в Рим рассказать Титу Манлию об убытках, причиненных его вилле возле Брундизиума приходом восставших в этой местности гладиаторов.

— А!.. гладиаторы! — сказал вполголоса хозяин станции с невольной дрожью. — Не говорите о них… ради Юпитера Статора. Я еще не забыл, какого они нагнали на меня страху два месяца тому назад, когда прошли здесь, направляясь в Брундизиум.

— Да будут они прокляты со своим подлым

вождем! — воскликнул пылко апулиец, ударив кулаком по столу. Затем спросил у хозяина: — И они причинили тебе много убытку?..

— По правде говоря, не очень… И если хочешь знать… они отнеслись с уважением ко мне и моей семье… Они взяли у меня сорок лошадей… но заплатили за них прекрасными золотыми монетами… Они, правда, не дали того, сколько стоили лошади… Но ведь могло быть много хуже.

— Так как в конце концов, — сказал отпущенник, прерывая хозяина станции, — они были в полном праве увести с собой лошадей, не заплатив тебе ни полушки.

— Конечно! Но нужно согласиться, что эта война, ставшая такой грозной, позорна для римских граждан, — сказал хозяин станции, говоря все время вполголоса, с осторожностью и страхом. — Надо было видеть, когда они проходили здесь!.. Какое огромное войско!.. Ему конца не было!.. И какие стройные легионы!.. Если бы не было позорно сравнивать наших славных солдат с этими разбойниками, я бы сказал, что их легионы ничем не отличались от наших…

— Скажи уж прямо, — прервал его отпущенник, — ибо пусть это будет даже позорным, но тем не менее верно то, что Спартак — великий пол-

ководец и что он сумел шестьдесят тысяч рабов и гладиаторов превратить в армию из шестидесяти тысяч храбрых и дисциплинированных солдат.

— Ах!.. Клянусь римскими богами Согласия! — сказал с изумлением и негодованием апулийский земледелец, обращаясь с этими словами к отпущеннику. — Как?.. Гнусный гладиатор пришел разграбить виллу твоего господина и благодетеля, а ты, негодяй, осмеливаешься защищать его поступки и восхвалять его доблесть?..

— Во имя всевышнего Юпитера, не думай этого! — сказал смиренно и почтительно отпущенник. — Я вовсе не так сказал!.. А кроме того, знай, что гладиаторские легионы вовсе не грабили виллу моего господина…

— Почему же тогда ты только что сказал, что едешь в Рим сообщить Титу Манлию Империозу о серьезных убытках, причиненных его вилле гладиаторами этой области?

— Но убытки, на которые я намекал, не причинены ни дворцу, ни имению моего господина… Я хотел только передать ему о бегстве пятидесяти четырех из шестидесяти рабов, поставленных на службу при вилле; они все были освобождены гладиаторами, и им было предложено следовать за знаменами гладиаторов. И из шестидесяти

только шесть стариков и инвалидов остались со мной на вилле, остальные все ушли в лагерь Спартака. По-твоему, что же, это малый убыток? Кто теперь будет работать, пахать, сеять, кто будет подрезать виноградники, кто соберет урожай в имении моего господина?..

— К Эребу Спартака и гладиаторов! — сказал свирепым и презрительным тоном земледелец. — Выпьем за их уничтожение и за наше процветание!

И после того как хозяин станции снова выпил за здоровье отпущенника, тот выпил за счастье своих собеседников и протянул чашу апулийцу, который в свою очередь выпил за благополучие хозяина и отпущенника.

Затем апулиец, заплатив по счету, поднялся, чтобы пойти в конюшни при станции выбрать себе лошадь.

— Подожди минутку, дорогой гражданин, — сказал хозяин станции, — пусть никогда не скажут, что хороший человек побывал на станции Азеллиона, не унеся с собой таблички гостеприимства[100].

---

[100] Сноски: 100

Табличка гостеприимства — деревянная дощечка с именем хозяина дома, который отламывал от нее половину и давал гостю для того, чтобы, встретившись где-нибудь впоследствии, узнать друг друга.

И он вышел из комнаты, в которой остались земледелец и отпущенник. Последний сказал:

— Как видно, хороший человек.

— Несомненно! — ответил апулиец.

Он пошел к двери, выходившей на улицу, и стал на пороге, заложив руки за спину. Раздвинув ноги, раскачиваясь то на носках, то на пятках, он напевал песенку в честь бога Пана, очень популярную среди пастухов и землепашцев Самниума, Кампании и Апулии.

Вскоре вернулся Азеллион с деревянной дощечкой, на которой было написано его имя, и, разломав ее посередине, дал апулийцу половинку, на которой от подписи оставалось…*лион,* говоря ему:

— Эта половина дощечки поможет тебе приобрести расположение хозяев других почтовых станций; показывай ее им и будь уверен, что они тебе сразу дадут лучшую из своих лошадей, как они всегда поступали со всеми, получавшими от меня половинку дощечки гостеприимства. Я, кстати, вспоминаю, как однажды проездом лет семь тому назад Корнелий Хрисогон, отпущенник славного Суллы…

— От всей души благодарю тебя, — сказал апулиец, прерывая Азеллиона, — за твою любез-

ность. Знай, что, несмотря на твою несносную болтливость, Порций Мутилий, гражданин Гнатии, будет всегда помнить о твоей доброте и сохранит к тебе искреннюю дружбу.

— Порций Мутилий! — сказал Азеллион. — Очень хорошо… Сейчас я запишу твое имя в папирусную книгу моих воспоминаний, чтобы не забыть его… так как среди стольких людей, проходящих здесь ежедневно, среди стольких различных людей, среди стольких дел… было бы нетрудно…

И он снова удалился, но тотчас же вернулся — проводить Порция Мутилия в конюшни для выбора лошади.

В этот момент прибыл еще один проезжий, который, судя по одежде, очевидно, был слугой; он повел свою лошадь в конюшню, где Порций Мутилий смотрел, как конюх седлает выбранного им коня.

Поздоровавшись обычным *«salvete»* с Порцием и Азеллионом, он поставил свою лошадь в одно из стойл, на которые была разделена конюшня, к мраморной кормушке, приделанной к стене, снял с лошади уздечку и сбрую и положил перед ней мешок с овсом.

Пока слуга занимался этим делом, в конюшню

вошел отпущенник Манлия Империоза — ему нужно было посмотреть свою лошадь, которую он стал нежно ласкать, обменявшись незаметно для Порция Мутилия и Азеллиона быстрым взглядом с только что прибывшим слугой.

Последний, покончив в эту минуту с заботами о своей лошади, направился к выходу и, проходя мимо отпущенника, притворился, что только что его увидел, узнал и воскликнул:

— О!.. Клянусь Кастором!.. Лафрений!..

— Кто там? — сказал тот, быстро повернувшись. — Кребрик!.. Ты здесь?! Откуда приехал?..

— А ты куда едешь?.. Я еду из Рима в Брундизиум.

— А я из Брундизиума в Рим.

При этой встрече знакомых и обмене восклицаниями Порций Мутилий повернулся в их сторону и стал исподтишка наблюдать за слугой и отпущенником.

Те сразу заметили, что он тайком за ними подглядывает и прислушивается к их беседе, которую они после первых восклицаний вели вполголоса, и, быстро пожав друг другу руки, продолжали беседовать шепотом. Однако Порций, который, направившись к выходу и с рассеянным видом приблизившись к ним, будто бы не обращал на

них никакого внимания, мог услышать следующие слова:

— Возле колодца!

Затем слуга вышел из конюшни, а отпущенник продолжал ласкать свою лошадь.

Порций тоже вышел, напевая тихонько сквозь зубы слова песенки гладиаторов:

Но враг, проворный, ловкий…
Из этой мышеловки
Коту на спину – скок! —

в то время как отпущенник, в свою очередь, напевал какую-то греческую песенку.

Выйдя из конюшни, Порций Мутилий сказал Азеллиону:

— Подожди меня здесь минутку… Я сейчас вернусь.

Он обогнул дом, задней стороны которого достиг бегом. Там действительно находился колодец, из которого доставали воду для поливки находившегося вблизи огорода. Порций спрятался за круглой стеной колодца, обращенной к огороду.

Он пробыл там около трех минут и услышал шаги человека, шедшего с правой стороны дома, в то время как другой тут же подошел с левой

стороны.

— Итак? — сказал Лафрений, голос которого Порций сразу узнал.

— Я узнал, что мой брат Марбрик, — ответил торопливо, вполголоса другой, который, как Порций понял, был слугой, — тоже ушел в лагерь к нашим братьям, и я убежал с виллы моего господина и тоже отправлюсь к ним.

— Я, — сказал тихим голосом Лафрений, — под предлогом, что я еду в Рим сообщить Титу Манлию о бегстве с виллы всех его рабов, наоборот, поехал, чтобы забрать моего любимого сына Эгнация, которого не хочу оставлять в руках наших угнетателей, затем я с ним убегу как можно скорее и тоже направлюсь в лагерь нашего доблестного вождя.

— Ну, прощай, не нужно, чтобы нас видели; этот апулиец смотрел на нас подозрительными глазами…

— Я тоже боюсь, что он наблюдал за нами. Прощай. Желаю удачи.

— Постоянство!..

— И победа!

Порций Мутилий услышал, как слуга и отпущенник быстро удалились, каждый в ту сторону, откуда пришел.

Тогда он вышел из засады и оглянулся по сторонам, в удивлении и как бы не веря себе, спрашивая себя, это ли была та важная тайна, которую он надумал открыть, и это ли враги, которых он надеялся поймать. И, поразмыслив немного над этим приключением, качая головой и улыбаясь, он снова стал прощаться с хозяином. Азеллион не переставал осыпать Порция прощальными приветами и пожеланиями счастливой дороги и просил заехать на обратном пути, обещая к тому времени великолепное массикское вино, в сравнении с которым нектар Юпитера — ничто. Затем Порций вскочил на коня и, пришпорив его, помчался по направлению в Бариуму, а Азеллион все бежал за ним и кричал:

— Доброго пути, и пусть боги покровительствуют и сопутствуют тебе!.. Смотри!.. Смотри!.. Как он хорошо скачет! Как он красив на моем Артаксерксе!.. Великолепная лошадь этот Артаксеркс!.. Прощай, Порций Мутилий!.. Ничего не поделаешь… я его уже полюбил… и мне жаль, что он уезжает.

Тут он потерял своего гостя из виду за поворотом дороги и пошел обратно к дому, бормоча:

— Бесполезно… Таков мой характер… У меня слишком большое сердце!..

С этими словами он вытер ладонью слезу, стекавшую по щеке.

Что касается Порция Мутилия, в котором читатели, конечно, уже узнали свободнорожденного начальника легиона Рутилия, направлявшегося в Рим послом от Спартака к Катилине, то он продолжал свой путь все время рысью, размышляя о курьезном случае, происшедшем с ним, и после часа первого факела добрался до Бариума; в город он не заехал, а остановился в одном придорожном трактире; здесь он велел отвести в конюшню Артаксеркса, действительно резвого и сильного коня, и потребовал, чтобы ему дали постель — отдохнуть до рассвета.

На следующий день еще до восхода солнца Рутилий был уже на Гнатской дороге и быстрой рысью поехал по ней по направлению к Бутунтуму, почтовой станции которого он достиг в полдень. Здесь обменял Артаксеркса на вороную кобылу по кличке Аганиппа и, подкрепившись немного, поехал по направлению к Канузиуму.

В начале вечера на полдороге от Бутунтума до Канузиума Рутилий увидел впереди себя облако пыли, поднятое, как легко было понять, ехавшим впереди всадником. Рутилий, соблюдавший в пути осторожность и предусмотрительность,

пришпорил Агаиппу и быстро нагнал ехавшего впереди; это был не кто иной, как отпущенник Лафрений, с которым он накануне встретился возле Бариума на станции Азеллиона.

— Здравствуй, — сказал отпущенник, даже не поворачивая головы, чтобы увидеть, кто это к нему приближался.

— Здравствуй, Лафрений Имперюз! — ответил Рутилий.

— Кто это? — сказал в удивлении отпущенник, быстро повернувшись.

Увидев Рутилия и узнав его, он сказал со вздохом удовлетворения:

— А, это ты, уважаемый гражданин!.. Да сопутствуют тебе боги!

Рутилий, благородный и великодушный, был тронут при виде этого бедного отпущенника, отправлявшегося в Рим похитить своего сына для того, чтобы затем иметь возможность убежать в лагерь гладиаторов, и некоторое время молча смотрел на него; потом ему пришла мысль сыграть шутку с отпущенником, и строгим голосом он сказал:

— Ты едешь в Рим забрать своего сына из дома твоих господ и благодетелей, чтобы затем бежать в лагерь отвратительного и гнуснейшего

Спартака!

— Я?! Что ты сказал?.. — пробормотал Лафрений в смятении, и лицо его стало или показалось Рутилию страшно бледным.

— Я вчера все слышал, стоя позади колодца на станции Азеллиона, я все знаю, коварный и неблагодарнейший слуга… и в первом же городе, куда мы приедем, я прикажу тебя арестовать, и ты должен будешь перед претором под пыткой сознаться в своей измене…

Лафрений остановил лошадь, Рутилий сделал то же.

— Я ни в чем не сознаюсь, — сказал глухим и грозным голосом отпущенник, — так как я не страшусь смерти.

— И даже распятия на кресте?

— Да, и этого… Я знаю, как спастись.

— Ну, как? — спросил будто бы в изумлении Рутилий.

— Убивши такого доносчика, как ты! — вскричал в ярости Лафрений, подняв короткую, но крепкую железную палицу, которая была у него спрятана под чепраком лошади.

Но когда он, пришпорив коня, бросился на Рутилия, тот, разразившись громким смехом, воскликнул:

— Стой!.. Эй, брат!.. Постоянство и…

Лафрений левой рукой остановил коня и, все еще с высоко поднятой правой, сжимавшей палицу, испустил протяжным и хриплым голосом восклицание удивления.

— И?.. — спросил Рутилий, требуя от Лафрения ответной части пароля.

— И… победа! — пробормотал тот, по-видимому еще не пришедший полностью в себя от изумления.

Тогда Рутилий протянул ему руку и троекратным нажимом указательного пальца правой руки на ладонь левой руки отпущенника удостоверил свою личность; сам же он совершенно успокоился насчет своего собеседника и товарища по путешествию, признав в нем без всяких колебаний члена союза угнетенных.

Наступала ночь.

Оба всадника обнялись и поехали рядом, рассказывая друг другу о своих злоключениях.

— Ты мог бы, — сказал Рутилий, — удивляться, и законно, как это я, рожденный свободным, продал себя ланисте в гладиаторы; знай же, что я родился и вырос в роскоши и, как только надел тогу-претексту, предался кутежам и расточительству, в то время как мой отец проиграл в кости,

чего я вовсе не знал, почти все свое состояние. Мне было двадцать два года, когда он умер; долги поглотили целиком все, что он оставил мне, и моя мать и я были доведены до крайней нищеты. Лично меня нужда не испугала, так как я был молод, силен, смел и мужествен, но я боялся за мать. И тогда, собрав двенадцать-пятнадцать тысяч сестерций — последние остатки былого нашего богатства — и прибавив к ним еще десять тысяч, полученные от продажи себя самого, я обеспечил моей старой несчастной родительнице безбедное существование до глубокой старости… и только единственно для этого я продал свою свободу, которую теперь, после восьми лет испытанных страданий и перенесенных опасностей, теперь, после смерти моей бедной матери, я решил завоевать обратно.

Произнося последние слова, Рутилий взволновался, голос его задрожал, и слезы потекли по побледневшим от волнения щекам.

Тем временем мрак сгустился, а оба брата в этот момент проезжали подъем, окаймленный с обеих сторон лесом, отделявшимся от краев дороги широкими рвами.

Оба всадника проехали в молчании еще с четверть часа по этому подъему, как вдруг лошадь

Лафрения, испугавшись, вероятно, тени, отброшенной на дорогу деревом при свете восходящей луны, или по какой-либо другой, неизвестной причине, встала на дыбы и, сделав два-три безумных прыжка, упала в ров, тянувшийся вдоль дороги, с левой стороны, если считать по направлению к Канузиуму.

При крике Лафрения Рутилий сразу остановил свою лошадь, соскочил с нее и, привязав повод к кустарнику, побежал на помощь приятелю, упавшему в ров.

Но он не успел еще разглядеть, в чем дело, как почувствовал сильный удар в спину. Рутилий упал на землю, и, пока пытался разобраться в причине этого удара, второй удар обрушился на его плечо.

Тогда Рутилий понял, что он попал в предательские сети, расставленные ему с такой ловкостью и хитростью, и, выхватив из-под туники кинжал, в то время как Лафрений, не произнося ни слова, нанес ему третий удар, попавший в голову, успел подняться и броситься на своего убийцу с криком:

— А, презренный и гнусный предатель!.. Ты бы не посмел напасть на меня открыто!

И он ударил Лафрения в грудь. Но под туникой

у убийцы был панцирь.

Тогда последовала короткая отчаянная борьба между раненым и почти умирающим Рутилием и Лафрением, который, хотя и был силен и невредим, казалось, дрожал перед мужеством своего противника; слышались только крики, стоны, ругательства и придушенные проклятия.

Спустя минуту послышался глухой стук упавшего безжизненного тела и очень слабый голос Рутилия, произнесшего:

— Подлый предатель!..

И затем настало полное молчание.

Лафрений стал на колени над упавшим и приложил ухо, чтобы убедиться, действительно ли прекратилось дыхание; затем он встал и, вскарабкавшись на дорогу, задыхающимся голосом стал что-то шептать, направляясь к лошади Рутилия.

— Клянусь Геркулесом, — воскликнул он вдруг, чувствуя, что теряет сознание, — что же это такое?..

И зашатался.

— Мне больно здесь… — пробормотал он все слабеющим и хрипнущим голосом и поднял правую руку к шее, но сейчас же отнял ее, покрытую горячей кровью. — О, клянусь богами… Он… ударил… меня… как раз сюда… именно… в

единственное место… где не было панциря.

Он снова зашатался и упал среди потока крови, струившейся из сонной артерии, которую Рутилий перерезал.

И вот, на этой пустынной дороге, среди глубокой тишины ночи, в отчаянных усилиях подняться, в безуспешных попытках призвать себе на помощь, человек, который назвался Лафрением, который был не кем иным, как отвратительным орудием мести Эвтибиды, среди жестоких мук и долгой агонии испустил наконец последнее хрипение, в нескольких шагах от рва, где, покрытый восемью ранами, лежал труп несчастного Рутилия.



Глава XVII
Арторикс-скоморох

Четырнадцатый день до январских календ 682 года от основания Рима (19 декабря 681 года) был днем шумного веселья и празднества у народа Квирина; веселые и ликующие толпы двигались по улицам, заполняя Форум, храмы, базилики, главные улицы, термополии, ойнополии, съестные лавки и трактиры, предаваясь самому безудержному веселью.

В этот день праздновались сатурналии, которые должны были продолжаться три дня, в честь бога Сатурна. В течение этого праздника, согласно очень древнему обычаю, восходившему, по мнению некоторых, к временам Януса, царя аборигенов, задолго до основания Рима, или к пеласгам, потомкам Геркулеса, а по мнению других — к царю Туллу Гостилию, который установил этот праздник после счастливо закончившейся войны с альбанцами и сабинянами, давалось подобие свободы слугам и рабам, которые вместе с гражданами и вперемежку с сенаторами, всадниками, плебеями обоего пола и разного

возраста сидели за общими столами и все три дня по-своему развлекались.

Более достоверным нужно считать, что праздник сатурналий действительно вел начало от незапамятных времен, но что обряды праздника были установлены двумя консулами — А. Семпронием Атратином и М. Минуцием Авгурином, которые воздвигли на улице, проходившей от Форума к Капитолию и к самой подошве этого холма, храм Сатурну в 257 году от основания Рима и в тринадцатом после изгнания царей.

Именно к тому времени, по всей вероятности, относилось установление регулярного празднования сатурналий. Жрецы на этих празднествах совершали жертвоприношение с непокрытой головой, в то время как жертвоприношения в честь остальных богов совершались с головой покрытой.

Эти празднества, посвященные Сатурну, богу земледелия, были, по существу, сельскими и пастушескими; и свобода, даваемая рабам, часто переходившая за три дня оргии в полную распущенность, исходила из того факта, что в счастливые времена Сатурна не существовало рабства и все люди были еще свободны и равны.

Пусть теперь читатель представит себе огром-

ный Рим, стены которого имели в то время свыше восьми миль в окружности и были прорезаны двадцатью тремя воротами, пусть представит себе этот громадный город, полный величественных храмов, грандиозных цирков и амфитеатров, великолепных дворцов, изящнейших портиков, роскошных базилик, пусть представит эту столицу, число граждан которой, согласно последней переписи, произведенной одиннадцать лет до этого, в третье консульство Луция Корнелия Цинны и в первое Гнея Папирия Карбона, доходило до четырехсот шестидесяти трех тысяч, а число рабов было не менее двух миллионов; пусть он представит себе такой город и такое колоссальное население, со всеми жителями окружавших в то время Рим плодородных полей и соседних городов, многими тысячами собиравшимися на празднование сатурналий, пусть вообразит себе все эти три миллиона людей, предающихся бесшабашному веселью, бегающих по улицам и кричащих в один голос, оглушительно и страшно:

— Jo, bona Saturnalia! Jo, bona Saturnalia![101] — и он получит лишь слабое представление о той

[101] Сноски: 101

Да здравствуют веселые сатурналии! Да здравствуют веселые сатурналии!

новой, внушительной и потрясающей картине, какая представилась в этот день, 19 декабря 681 года, молодому скомороху, который в сопровождении собаки, с маленькой ручной лестницей на спине, с несколькими веревками и железными кольцами разной величины, неся на левой руке маленькую обезьяну, входил в Рим через Эсквилинские ворота, открывавшиеся на консульскую Пренестинскую дорогу.

Скоморох был юноша высокого роста, гибкого и изящного телосложения, с бледным и несколько исхудалым, умным лицом, белокурыми волосами и голубыми глазами; в общем — юноша красивый, привлекательный и симпатичный. На голове его была войлочная шляпа с широкими полями, на плечах — плащ из шкур, а под ним — короткая туника из грубого серого сукна.

Этот скоморох был Арторикс.

Когда он вошел в город, улицы, расположенные поближе к воротам, были безмолвны и безлюдны. Но неясный шум, напоминавший жужжание огромного, чудовищного улья, предупредил его о том шумном веселье, которое царило в центре огромного города. По мере того как Арторикс продвигался вперед по кривым улицам Эсквилина, эхо этих отдаленных криков становилось

более ясным и отчетливым, и вскоре, едва он вошел в начальные улочки Субурры, до его ушей стал доноситься возглас, повторяемый тысячами голосов:

— Jo, bona Saturnalia! Jo, bona Saturnalia!

И действительно, войдя на улицу Карин, он сразу увидел пеструю толпу людей, впереди которой шли музыканты и цитристы, бешено пляшущие и распевающие во все горло гимны в честь Сатурна.

Арторикс, знакомый уже с одеждой римлян, сразу увидел, что эта толпа состояла из граждан разных сословий; рядом с ангустиклавой всадника он мог отличить серую тунику лишенного прав и рядом с белой столой матроны — красную куртку бедного раба.

Скоморох посторонился, держась как можно ближе к стене, чтобы пропустить волну народа, которая двигалась безумствуя; он не очень старался привлечь к себе взгляды этих людей, старался скрыть обезьянку, лестницу и кольца, которые могли выдать его профессию, ибо у него не было особенного желания давать представление этим сумасшедшим и прервать свое путешествие, имевшее, очевидно, определенную цель.

Но это ему не удалось, так как очень скоро кое-кто в толпе заметил его. В нем сейчас же признали паяца, стали кричать ушедшим вперед, чтобы они остановились, остановились сами, принудив этим остановиться и следовавших за ними.

— Jo, circulator!.. Jo, circulator![102] — восклицали в толпе, весело хлопая в ладоши.

— Да здравствует, да здравствует скоморох! — кричали все остальные.

— Покажи свои фокусы! — шумел один.

— Почти Сатурна! — кричал другой.

— Посмотрим, что умеет делать твоя обезьяна! — воскликнул третий.

— Заставь прыгать твою собаку!

— Обезьяну!.. Обезьяну!..

— Собаку!.. Собаку!..

— Шире, шире круг!..

— Дайте ему свободное место!..

— Сделаем круг…

— Шире, шире круг!..

Но, требуя расступиться и освободить место, все, еще больше навалившись друг на друга, толпились и теснили друг друга, а Арторикс, который не мог двинуться, чтобы начать требуемое

---

[102] Сноски: 102

Да здравствует фокусник!.. Да здравствует фокусник!

представление, был так притиснут к стене, что не мог уже сделать ни одного шага.

Между тем стоявшие к нему ближе стали его усовещивать дружескими словами и лестными обещаниями, чтобы он согласился дать им представление:

— Не бойся, бедняжка!

— Мы дадим тебе монетки!

— Наполним медяками твою шляпу!..

— И ты выпьешь с нами отличного массикского вина!..

— Какая хорошенькая обезьянка!

— Какой красивый эпирский пес!

Один ласкал собаку, другой — обезьянку, третий трогал лестничку, веревки и железные кольца, относительно назначения которых высказывались самые странные предположения и заключения.

Но среди этого гама никто не двигался, и вся эта давка стала сильно надоедать Арториксу; поэтому он в конце концов сказал:

— Хорошо, хорошо, я дам вам представление, я и мои животные сделаем все, что в наших силах, чтобы почтить Сатурна, и доставим вам удовольствие, добрые квириты, но мне для этого необходимо место.

— Это верно!

— Он прав!

— Он правильно говорит!

— Сделаем для него круг пошире!

— Отойдите назад!

— Раздайтесь!

Все кричали, но никто не двигался.

Наконец кто-то заорал во все горло:

— Поведем его вместе с нами к курии Каринской!..

— Да, да, к курии Каринской! — стали кричать сперва десять голосов, потом двадцать, потом сотня.

— К курии Каринской! К курии Каринской!

Долгое время все кричали, что нужно идти к названной курии, но никто не делал шага, чтобы двинуться. Наконец ближайшие к скомороху взяли его в середину и, пробивая дорогу локтями и раздвигая людей, повернули в ту сторону, откуда эта толпа только что пришла; вскоре все смогли двинуться по направлению к курии Каринской.

В этом новом шествии толпы находившиеся раньше в хвосте ее оказались во главе колонны, а музыканты и певцы, находившиеся прежде впереди, оказались, конечно, сзади; это им не помешало возобновить музыку и пение гимна в

честь Сатурна под аккомпанемент тысячи голосов толпы, которая при окончании строфы гимна издавала оглушительный возглас:

— Jo, bona Saturnalia!

Эта толпа, возросшая за счет всех встречавшихся ей на пути, очень скоро добралась до обширной площади, где возвышалась третья из тридцати курий, на которые был разделен город, называвшаяся Каринской; здесь толпа разлилась, подобно бурному потоку, доставив немало беспокойства людям, уже сидевшим за столами или в наскоро сколоченных триклиниях и занятым пожиранием яств и поглощением вина среди града шуток, неистового крика и смехотворных сцен.

Сперва на площади возник беспорядок, смешанный гул проклятий, громкие и полные негодования угрозы и взаимная ругань, но среди этих пререканий слышались также многие мирные голоса и слова увещевания, пока в этой суматохе не распространилось наконец известие, что здесь, в центре площади, скоморох даст представление. Это вызвало большую радость. Все стали проталкиваться в первый ряд, образовавший в самом центре площади круг, подыматься на носки, становиться на скамейки, на столы, на ступеньки, взбираться на железные

решетки окон в нижних этажах соседних домов. Вскоре толпа замерла в глубокой тишине и в страстном ожидании, с глазами, устремленными на Арторикса, который стал приготовляться к представлению.

Через несколько минут неподвижности и раздумья, разложив на земле разные принадлежности своей профессии, молодой галл подошел к одному из толпы и, подав ему шарик из слоновой кости, сказал:

— Передай его в толпу.

Затем он дал другой шарик подвыпившему рабу, стоявшему с раскрасневшимся лицом и с улыбкой на губах в первом ряду круга, с видом человека уже счастливого и ожидавшего тем не менее еще большего счастья, и сказал ему:

— Пусти его по рукам.

Потом Арторикс вышел на самую середину освобожденного для него пространства и сказал, обращаясь к своему большому эпирскому псу черно-белой масти, который сидел, повернув свою морду и умные глаза к хозяину:

— Эндимион!

Пес вскочил, замахал хвостом и, смотря в упор на паяца, казалось, хотел оказать, что он готов исполнить его приказания.

— Ступай, поищи белый шарик…

И собака немедленно бросилась в ту сторону, где белый шарик переходил из рук в руки зрителей.

— Нет, найди красный шарик! — сказал Арторикс.

И Эндимион, быстро повернувшись в сторону, где стоял раб, получивший красный шарик, уже прошедший через тридцать рук, хотел пробраться между ногами зрителей, чтобы подбежать к тому, который держал в эту минуту шарик, когда Арторикс закричал, как бы отдавая команду манипуле солдат:

— Стой!

И пес моментально остановился.

Затем, обращаясь к толпе, паяц сказал:

— Те, в руках которых в данную минуту находятся шарики, пусть их держат, не передавая дальше: моя собака пойдет их забрать.

Шепот любопытства и недоверия пробежал по толпе и уступил тотчас же место еще более глубокой тишине и более напряженному вниманию, как только Арторикс, скрестив руки на груди, скомандовал собаке:

— Пойди и принеси мне белый шарик.

Эндимион, простояв секунду с поднятым вверх

носом, решительно направился к одному месту, где, ловко пробираясь между ног стоявших людей, дошел до державшего белый шарик и, положив обе лапы ему на грудь, казалось, просил своими выразительными глазами отдать ему шарик.

Тот — по пурпуровой полосе, украшавшей его тунику, видно было, что это патриций, — вынул из-под тоги искомый шарик и подал его собаке, которая, взяв его в рот, побежала к хозяину.

Оживленные возгласы одобрения раздались при этом и перешли вскоре в оглушительные крики и рукоплескания, когда с той же ловкостью собака разыскала владельца красного шарика.

Тогда Арторикс раздвинул свою ручную лестницу, которая состояла из двух частей, соединенных винтом в том месте, где раздвинутая лестница образовывала вершину составленного ею угла, и укрепил ее на земле. Затем он привязал один конец веревки, на которую он надел три больших железных кольца, к верхней оконечности одной из двух наклоненных ветвей лестницы, взял другой конец в руку и, отойдя немного от лестницы, натянул веревку на вышине четырех футов от земли. Поставив свою обезьянку, находившуюся на локте другой его руки, на веревку, он обратился к ней со следующими словами:

— Психея, покажи всем этим славным сынам Квирина твою ловкость и умение.

И в то время как обезьяна, став на задние конечности, очень ловко пошла по веревке, Арторикс, повернувшись к собаке, внимательно на него смотревшей, воскликнул:

— А ты, Эндимион, покажи этим знаменитым жителям города Марса, как ты умеешь влезать на ручную лестницу.

И пока обезьянка шла по веревке, собака с немалым трудом и напряжением стала перепрыгивать с одной ступеньки лестницы на другую под рукоплескания толпы; сперва рукоплескания были редкими, но они стали шумными и общими, когда обезьяна, дойдя до первого железного кольца, спустилась на него, сделала в нем несколько оборотов и затем снова вскочила на веревку, добралась до второго кольца, повторила те же штуки и пошла дальше.

За это время собака добралась до верхушки лестницы. Тогда Арторикс, обращаясь к собаке, сказал:

— Теперь, бедняга Эндимион, как ты поступишь, чтобы слезть отсюда?

Собака глядела на хозяина, оживленно помахивая хвостом.

— Забраться сюда, хотя и не без труда, ты, конечно, забрался, а вот как тебе спуститься, я не знаю! — воскликнул Арторикс в то время, как обезьяна проделала свои сальто-мортале в третьем, последнем кольце.

— Как же ты выйдешь из затруднения? — спросил еще раз Арторикс у Эндимиона.

Собака прыгнула на землю. Смотря с победоносным видом на толпу, она важно уселась на задние лапы.

Продолжительные единодушные рукоплескания встретили этот легкий способ, примененный умным Эндимионом для разрешения тяжелой задачи, поставленной перед ним скоморохом; а как раз в этот момент обезьяна, дойдя до самой верхней ступеньки лестницы, тоже уселась там под шумные возгласы зрителей.

— Дай мне твою шляпу, — сказал Арториксу один всадник, выйдя из толпы, — я соберу денег для твоих замечательных животных.

Арторикс снял шляпу и протянул ее всаднику, который, первым бросив в нее сестерций, пошел по кругу для сбора монет, и очень скоро ассы, полуассы и терунции посыпались в шляпу.

Арторикс тем временем, вынув из-под туники две маленькие игральные косточки из слоновой

кости и деревянную кружку к ним, воскликнул:

— Теперь сыграйте партию в кости, Психея и Эндимион, и покажите этим благородным и великодушным зрителям, кто из вас ловчее и кто счастливее.

И под громкий смех столпившихся зрителей собака и обезьяна, усевшись друг против друга, начали игру.

Эндимион первым бросил кости, сильно ударив лапой по кружке, поднесенной ему хозяином, и опрокинув ее так, что кости покатились очень далеко, почти к ногам некоторых зрителей, которые все, заинтересованные этой партией, наклонились, чтобы увидеть количество очков, выброшенных Эндимионом, и многие сразу закричали, хлопая в ладоши:

— Венера!.. Венера!.. Молодец, Эндимион!

Собака, казалось, понимала, что она сделала удачный удар, и весело помахивала хвостом.

Арторикс собрал кости, вложил их снова в кружечку и подал ее Психее.

Обезьяна взяла маленькую кружку и со множеством гримас и ужимок, вызвавших общее веселье, потрясла, помахала ею и выбросила кости на землю.

— Венера!.. Венера — у нее тоже!.. — закричало

много голосов. — Да здравствует Психея! Молодец, Психея!

Тогда зверек поднялся на задние конечности и передними стал посылать поцелуи публике в знак благодарности при неистовом смехе толпы.

В это время римский всадник, производивший сбор денег в пользу скомороха, вернулся к нему и подал шляпу, почти полную мелких монет, которые Арторикс высыпал в кожаную сумку, висевшую у него на поясе, и поблагодарил собравшего.

Но когда галл хотел заставить своих животных еще раз бросить кости, внимание толпы внезапно было привлечено громкими криками, раздававшимися со стороны длинной улицы, которая начиналась от Капенской улицы возле Большого цирка и, огибая Палатинский холм и проходя между двумя куриями — Салийской и Цериевой, вела на площадь, где возвышалось здание курии Каринской и где находился Арторикс среди своих зрителей.

Крики, отвлекшие внимание толпы от представления, которое собирались продолжать собака и обезьяна Арторикса, исходили от компании мимов и шутов. Причудливо загримированные или в необыкновенных, чудовищных масках,

прыгая и танцуя под звон труб и гитар, они в сопровождении огромной толпы двигались по направлению к курии Каринской.

Вскоре все окружавшие паяца устремились навстречу приближавшимся. Музыканты, которых Арторикс встретил на улице Карин, затрубили в трубы, крики, чествующие Сатурна, стали еще громче, и галл в одно мгновение остался один на площади. Тогда он собрал все свои принадлежности, взял на руку обезьяну и вошел в трактир, находившийся неподалеку от курии. Здесь он с очевидным намерением избавиться от толпы заказал чашу вина.

Как он рассчитал, так и произошло: вскоре площадь снова заполнилась обеими толпами, слившимися в одну, и мимы, поднявшись на ступеньки лестницы курии, начали разыгрывать непристойную и смешную пантомиму или фарс низшего сорта под взрывы самого неистового смеха и громких криков заполнившей площадь толпы.

Арторикс воспользовался удобным моментом и, скользя вдоль стены, потихоньку и незаметно постарался выбраться из давки. Через четверть часа ему не без труда удалось пробиться на улицу, которая вела его к Большому цирку.

Пока он двигается по этой улице, полной праздничной толпы и веселых криков, мы вкратце объясним читателям, как и зачем Арторикс прибыл в Рим в одежде скомороха.

На другой день после убийства бедного Рутилия отряд гладиаторской конницы, проникший в поисках фуража вплоть до Бариума, узнал о таинственном убийстве, происшедшем накануне на Гнатской дороге, где недалеко друг от друга были найдены трупы двух неизвестных людей: один из них был, по-видимому, зажиточный собственник из окрестностей, другой — отпущенник, принадлежавший какой-то богатой патрицианской семье.

Начальник отряда, имевший любовные делишки в Канузиуме с красивой крестьянкой, с которой он познакомился два месяца тому назад, когда войско повстанцев стояло лагерем в Венузии, воспользовался этим случаем; он направился туда под предлогом произвести расследование таинственного преступления, совершенного на консульской дороге, которое могли приписать гладиаторам, хозяевам этой местности, — в то время как гладиаторы соблюдали строжайшую дисциплину и самое щепетильное уважение к собственности и к жителям. В действительности

же начальник отряда отправился туда, чтобы повидать свою красотку.

Но к своему удивлению, гладиаторы узнали в одном из трупов начальника легиона их войска, храброго Рутилия, переодетого — они не могли понять зачем — апулийским земледельцем.

Так Спартак получил печальное известие, и, хотя заподозрил, что какой-то предатель, заинтересованный в том, чтобы противодействовать его планам и разрушать их, скрывается, вероятно, в самом лагере, он, однако, не мог установить, произошла ли смерть Рутилия в расставленной ему ловушке или по непредвиденному случаю в результате возникшей по дороге ссоры между ним и его противником.

Как бы то ни было, после почетных похорон, устроенных погибшему, пришлось подумать о посылке в Рим другого посла к Катилине. И так как совет начальников уже вынес свое решение об отправке посла, то Спартак решил, что из-за выбора человека для выполнения этого поручения нет необходимости советоваться с кем-либо, и после смерти Рутилия назначил без чьего-либо ведома на это трудное и деликатное дело верного и самого дорогого для себя человека — Арторикса.

Последний, чтобы легче преодолеть препятствия, с которыми он мог столкнуться, решил научиться всем штукам, которые обычно проделывают скоморохи и которые он по привычке, оставшейся у него с детства, в бытность свою в гладиаторской школе неоднократно воспроизводил.

Разыскав для этой цели настоящего скомороха и научившись от него под большим секретом в своей палатке разным штукам, образцы которых он потом показал в Риме перед курией Каринской, он купил у него собаку и обезьяну, с которыми с августа до ноября беспрерывно упражнялся, чтобы приобрести необходимую ловкость в фокусах. Затем, выйдя тайком из лагеря гладиаторов, в двух переходах от него он снял оружие, переоделся в платье паяца и небольшими переходами, останавливаясь почти в каждом городе и в каждой деревне, пришел в Рим для выполнения своей миссии к Катилине.

Читатели видели, как ему внезапно пришлось демонстрировать доказательства своей ловкости в фокусах перед добрыми квиритами. Теперь последуем за смелым юношей, который, продвигаясь по улице, огибающей Палатин и ведущей к Большому цирку, вскоре дошел до курии Са-

лиев, где за столами среди оживленных криков, веселых возгласов и непрерывного шума сидели люди разных сословий и положения.

Излюбленной пищей во время сатурналий была свинина, из которой приготовлялись разного рода кушанья.

— Итак, да здравствует Сатурн! — закричал один раб — каппадокиец богатырского роста, сидевший вблизи стола, около которого в эту минуту очутился Арторикс. — Да здравствует Сатурн и превосходные сосиски, приготовленные Курионом, этим трактирщиком, не имеющим себе равных в приготовлении кушаний из свинины!

— О, да избавят боги от того, чтобы я хвастался этим! — возразил Курион, человечек низенького роста, но очень толстый и круглый, подававший в этот момент большое блюдо дымящихся сосисок сидевшим за соседним столом. — но я могу во всеуслышание сказать, что таких свиных сосисок, вымени и потрохов, какие можно получить у меня, не найдется даже за столом у Лукулла и Марка Красса, клянусь черными волосами Юноны, прямой покровительницы моего дома!

— Jo, bona Saturnalia! — проревел уже опьяневший раб, взявший на себя роль объединителя всех собутыльников, вставая с чашей, полной

вина.

— Jo! Jo, bona Saturnalia! — закричали те, вставая в свою очередь.

И все выпили залпом вино из своих стаканов.

— Да соблаговолят вышние боги, — воскликнул по прекращении криков каппадокиец, оставшийся один на ногах, в то время как все снова сели, — чтобы вернулось царство Сатурна и исчез с земли всякий след рабства!

— Но ведь тогда ты не ел бы сосисок Куриона и не пил бы этого отличного цекубского!

— Ну так что? — закричал с негодованием раб. — Разве необходимы для жизни цекубское и фалернское? Воды из источников моих родных гор разве не достаточно, чтобы утолить жажду свободного человека?

— Вода хороша для омовения и купания, — возразил с насмешливой улыбкой другой раб. — Но я предпочитаю цекубское.

— И розги тюремщика! — добавил каппадокиец. — О Гинезий, о выродившийся афинянин, как же тебя принизило долгое рабство!

Арторикс остановился выпить стакан тускуланского и внимательно вслушивался в беседу за столом, где сидели каппадокиец и грек.

— Ого!.. — воскликнул один гражданин, об-

ращаясь к каппадокийцу. — Ого!.. Милейший Эдиок, мне кажется, что, прикрываясь сатурналиями, ты ведешь пропаганду революции среди рабов на пользу Спартаку!

— К Эребу подлого гладиатора! — закричал один патриций, рассердившись от одного того, что услышал это имя.

— Пусть Минос даст ему эриний в аду в качестве неразлучных подруг! — воскликнул гражданин.

— Да будет он проклят! — закричало еще шесть-семь сидевших за столом каппадокийцев.

— Ах, доблестные, ах, храбрейшие люди! — сказал со спокойной иронией каппадокиец. — Не тратьте попусту ваши дротики против находящегося далеко презренного гладиатора!..

— Клянусь богами, покровителями Рима! Этот подлый раб осмеливается оскорблять нас, римских граждан, защищая гнусного варвара!

— Не кипятись! — сказал Эдиок. — Я никого не оскорбляю и меньше всего вас, знаменитые патриции и граждане, один из которых к тому же мой господин. Я не последую, как и не следовал до сих пор, за Спартаком в его начинании, в успешный исход которого я не верю, так как против него — счастье Рима, любимого богами; но, не следуя за ним, я не считаю себя обязанным

ненавидеть и проклинать его, как это делаете вы, за то, что он, надеясь завоевать свободу себе и своим товарищам, прибегнул к оружию и мужественно сражается против римских легионов. А говорю я так, пользуясь той полной свободой действия и речей, которая предоставляется нам, рабам, в эти три дня обрядами сатурналий.

Громкий ропот неодобрения раздался после слов каппадокийца, и гражданин, бывший его господином, воскликнул в крайнем гневе:

— Во имя белых повязок богини Целомудрия, что за речи мне приходится слышать!.. Ты бы меньше меня оскорбил, слуга неразумный, если бы выказал презрение ко мне, к жене моей и к чести моего дома!.. Проси, проси твоих богов, чтобы я не вспомнил этих твоих безумных речей после окончания сатурналий!

— Защищать гладиатора!

— Хвалить его подлые дела!

— Превозносить гнуснейшего разбойника!

— Клянусь Кастором и Поллуксом!

— Клянусь Геркулесом!.. Какая дерзость!..

— Да еще сегодня, именно сегодня, когда мы сильнее чувствуем гибельный вред его восстания! — воскликнул гражданин, хозяин Эдиока. — Сегодня, когда по его вине в Риме нет даже ста,

даже десяти гладиаторов, чтобы зарезать их в цирке в честь бога Сатурна!

— Что ты говоришь? — спросили семь-восемь собутыльников голосом, полным печали и изумления.

— Клянусь Венерой Эриципой, покровительницей семейства Фабиев и моей госпожой! Я говорю, что в этом году сатурналии будут праздноваться без гладиаторских боев!..

«Какое несчастье!» — подумал Арторикс, который маленькими глотками попивал свое тускуланское.

— А между тем существует очень древний обычай, всегда свято соблюдавшийся, — сказал патриций, — чтобы Сатурну приносились в жертву люди, так как Сатурн был по происхождению божеством ада, а не неба и требовал, чтобы его умилостивляли человеческой кровью.

— Пусть по крайней мере Сатурн испепелит этого гнуснейшего Спартака, первого и единственного виновника такого несчастья! — воскликнула одна свободная гражданка, сидевшая возле патриция, лицо которой стало уже багровым от слишком большого количества выпитого вина.

— Но нет, клянусь всеми богами, — закричал

патриций, вставая, — мы не допустим такого позора! Добрый бог Сатурн получит свои человеческие жертвы! Я первый подам пример и передам жрецам одного раба для заклания его на алтаре бога, и найдутся набожные люди в Риме, по праву славящемся своим благочестием, которые последуют моему примеру, и Сатурн получит свои человеческие жертвы, как и в предыдущие годы.

— Да!.. Все идет хорошо! — воскликнул печальным голосом господин Эдиока. — Но кто даст народу любимое зрелище — бой гладиаторов?

— Кто, кто нам это даст? — воскликнуло хором несколько печальных голосов.

И на минуту стало тихо. Арторикс закрыл лицо руками от охватившего его чувства стыда, что он человек.

— Его нам дадут консулы предстоящего года, наши доблестные консулы Геллий Публикола и Гней Корнелий Лентул Клодиан, которые оба двинутся этой весной против гладиатора, — сказал патриций, в глазах которого сверкала жестокая радость, — с двумя армиями приблизительно по тридцать тысяч солдат в каждой… И мы увидим — клянусь Геркулесом Победителем! — мы увидим, сумеет ли этот варвар, грабитель скота, оказать

сопротивление четырем консульским легионам, их вспомогательным частям и союзникам!

— Как будто легионы, разбитые им при Фунди, — иронически прошептал каппадокиец, — не были консульскими легионами!

— О! Между преторским войском и двумя консульскими имеется разница, которой ты, варвар, не можешь понять! Клянусь божественными мечами бога Марса — гладиаторы будут быстро разгромлены, и все те, которые попадут в наши тюрьмы, многими тысячами пойдут в цирк на избиение!

— И… никакой жалости!

— Никакого сострадания к этим подлым разбойникам!

— Мы вознаградим себя за отсутствие гладиаторских боев, которое мы теперь терпим.

— Клянусь Геркулесом Музагетом, еще как вознаградим себя!

— У нас будут бои в течение целого года.

— Как я жажду насладиться муками этих тридцати тысяч издыхающих разбойников!

— Какой будет праздник! Какое ликование!

— Вот это будет потеха! Повеселимся вовсю!

— Это мы еще посмотрим, — проворчал сквозь зубы Арторикс, побледнев еще более, и весь за-

дрожал от гнева.

И пока эти озверевшие существа продолжали упиваться мечтами о будущих побоищах, скоморох, уплатив за вино, вышел со своими животными и принадлежностями своего ремесла и направился к Палатину. Он прошел на Верхнюю Священную улицу, по которой с громкими, неистовыми криками сновала густая многочисленная толпа. Двигаясь крайне медленно и усердно работая локтями, Арторикс с трудом и лишь добрый час спустя выбрался из этой давки. Начиная с Верхней Священной улицы, сутолока заполняла все улицы, окружавшие Палатин, которые скоморох должен был пересечь, чтобы достичь верхней части северной стороны холма, где находился дом Катилины.

Арторикс наконец пробрался сюда, оглушенный этим невообразимым гамом, и дошел до портика дома патриция. Портик был заполнен огромным количеством клиентов, отпущенников и рабов Сергиева дома, которые, усевшись как попало за пирушкой, предавались обжорству и пьянству. Весь дом свирепого сенатора был полон гостями, о чем свидетельствовали доносившиеся оттуда песни и крики.

Появление скомороха было встречено бе-

шеными рукоплесканиями, и он должен был немедленно повторить перед этой толпой пьяниц представление, которым три часа тому назад развлекал толпу, встреченную им на Каринской улице. И как тогда, так и теперь Эндимион и Психея чудесно исполнили свои номера и вызвали самые оживленные возгласы, неистовый смех и восхищение.

Пока один из гостей Катилины обходил присутствующих, собирая плату скомороху, последний, не перестававший во время представления внимательно наблюдать за тем, что происходило близ него, подошел к управителю дома, которого он легко узнал по одежде и по властному обращению с рабами, приставленными к кухне, и попросил доложить о нем своему господину, которому он, скоморох, должен сообщить нечто очень важное.

Сперва управитель смерил его пристальным взглядом с головы до ног, затем небрежно и почти презрительно ответил:

— Моего господина нет дома.

И повернулся к нему спиной, чтобы удалиться.

— А если я пришел с тускуланских холмов и имею для него поручение от Аврелии Орестиллы? — спросил вполголоса Арторикс у

домоправителя.

Тот остановился, повернулся к скомороху и тихо сказал:

— А!.. Ты пришел?.. — И с хитрой усмешкой добавил: — Понимаю… Ремесло скомороха не мешает тебе исполнять также обязанности Меркурия… Ай… ай… понимаю!

— Ты удивительно проницателен, — иронически заметил Арторикс. И тотчас же добродушно добавил: — Что поделаешь?.. Каждый делает, что может.

— Да нет!.. Я ничего не имею против, — сказал управитель. — Если хочешь повидать Катилину, спустись к Форуму, там ты его, наверно, найдешь. — и ушел.

Как только Арториксу удалось избавиться от излияний благодарности своих новых поклонников, он спустился с Палатина и со всей возможной поспешностью, которую только допускали переполненные народом улицы, пошел на Форум, где давка и шум, разумеется, были сильнее, чем в какой-либо другой части города.

Здесь медленно в противоположных направлениях двигались свыше трехсот тысяч человек обоего пола, всех возрастов и состояний; одни шли в храм Сатурна, другие возвращались от-

туда.

Вокруг Форума портики храмов Согласия, Кастора и Поллукса, Весты, курии Гостилия и базилики Порции, Семпронии, Фульвии и Эмилии были тоже переполнены патрициями, всадниками, плебеями и больше всего — женщинами всякого звания, самыми красивыми, какие только были в Риме. Подвергаясь меньшей толкотне и давке, они наслаждались отсюда величественным зрелищем, которое представлял собой необъятный Форум, переполненный веселым и ликующим народом.

Группы, направлявшиеся в храм Сатурна, чтобы поклониться чествуемому богу, встречались с выходившими оттуда. Впереди каждой из групп шли мимы, трубачи, певцы и цитристы, все пели гимны в честь великого отца — Сатурна, и все как одержимые выкрикивали его имя.

Этот неописуемый и оглушительный шум по временам еще усиливался выкриками тысяч продавцов игрушек и кушаний, бесчисленных скоморохов и мелочных торговцев.

Арторикс, попав в этот людской поток, тотчас же был им увлечен и, правда медленно, но безостановочно, стиснутый толпой, волей-неволей двигался к храму чествуемого бога.

Таким образом, то подвигаясь несколько вперед, то вынужденный останавливаться, молодой гладиатор в то же время оглядывался направо и налево, ища глазами Катилину.

Его собака все время бежала рядом с ним, и он по временам слышал, как она взвизгивала от боли; хотя бедное животное двигалось ловко и осторожно, но среди этой страшной давки ей все-таки то и дело наступали либо на одну, либо на другую лапу.

На несколько шагов впереди молодого галла шли двое юношей и старик. В одежде старика, хотя она была роскошная и дорогая, Арторикс сразу узнал платье мима; этот человек действительно был мимом; он был среднего роста, на вид ему было больше пятидесяти лет; на лице его, безбородом, женственном и испещренном глубокими морщинами, плохо скрытыми под гримом и румянами, отражались все самые гнусные и низменные страсти.

Оба юноши, шедшие рядом с мимом, принадлежали к классу патрициев, как это было видно по их туникам, окаймленным пурпуром. Одному из них едва могло быть двадцать два или двадцать три года; он был выше среднего роста, стройный, хорошо сложенный, с выражением тихой

меланхолии на бледном лице; волосы его были черные, густые и пышные, а черные глаза были полны жизни и выразительности. Другому было едва семнадцать лет, он был худощав и скорее мал ростом, но бледное и немного худое лицо его было прекрасно, и черты его, резкие и правильные, обнаруживали открытое сердце, глубокие чувства, твердую и решительную волю.

Старик был Метробий, юноши — Тит Лукреций Кар и Гай Лонгин Кассий.

— Клянусь славой моего бессмертного друга Луция Корнелия Суллы, — говорил комедиант своим двум спутникам, продолжая уже начатую беседу, — что я никогда не видел женщины красивее этой Клодии!

— Если даже ты в своей развратной жизни, — сказал Лукреций, — и встречал такую красивую, как она, то уж, наверно, не знал другой такой распутной, а, старый плут?

— Поэт, поэт, не дразни меня, — возразил комедиант, польщенный словами Лукреция, — так как и о тебе мы знаем недурные вещи, клянусь Геркулесом Музагетом!

— Ах, клянусь Юноной Монетой, я, кажется, совсем теряю голову от Клодии! — сказал Кассий, глядевший на портик храма Весты, рядом с кото-

рым оказалась в эту минуту толпа. Он устремил сверкающий взор на прекрасную Клодию, стоявшую в портике рядом со своим едва достигшим возмужалости братом Клодием. — Как она хороша!.. Как она божественно хороша!..

— Победа над ней нетрудна, о Кассий, — сказал, улыбаясь, Лукреций, — раз уж ты решил завоевать ее поцелуи!

— О, ее не придется долго просить, уверяю тебя! — подтвердил Метробий.

— Ты заметил, как она похожа на своего брата?

— Они похожи, как две половинки одного и того же ореха… И если бы Клодия надела мужское платье, было бы трудно отличить мужчину от женщины.

В этот момент толпа, как это случалось через каждые десять шагов, остановилась, и Арторикс мог увидеть невдалеке, возле одной из колонн портика храма Весты, женщину, на которую Кассий бросал влюбленные взгляды.

Ей было около двадцати лет; она была высока и стройна; ее пышный стан был плотно обтянут короткой туникой из тончайшей белоснежной шерсти, отороченной пурпуром, которая нисколько не скрывала сладострастных изгибов ее изящного тела. Кожа ее была ослепительной

белизны, но лицо казалось еще белее, лишь щеки были едва тронуты легким румянцем; если бы не этот румянец, можно было бы подумать, что лицо, шея, плечи и грудь Клодии принадлежат статуе из самого чистого и прозрачного паросского мрамора, высеченной бессмертным резцом Фидия. Густые, мягкие ярко-рыжие волосы красиво оттеняли ее лицо, белое, как алебастр, оживленное дерзкими и манящими взглядами ее голубых сверкающих глаз.

Очень похожий на молодую красавицу, уже отвергнутую ее первым мужем, стоял рядом с ней едва достигший четырнадцатилетнего возраста Клодий, будущий мятежный народный трибун, по ясному детскому лицу которого никто не мог бы угадать в нем свирепого человека, через несколько лет наполнившего Рим раздорами и убийствами.

— Венера или Диана, как их представляет себе легковерный народ, не могли быть красивее ее! — воскликнул Кассий после минутного безмолвного восхищения.

— Венера, именно Венера, — сказал, улыбаясь, Тит Лукреций Кар. — Оставь Диану в покое, сравнение с ней слишком не подходит для этой

квадрантарии![103]

— И кто это дал это позорное прозвище Клодии? Кто осмеливается ее поносить? — спросил сердито Кассий.

— Зависть матрон, не менее развратных, но гораздо менее наглых и менее красивых, чем она; они не могут ее терпеть и сделали ее мишенью своих острот и своей ненависти.

— Вот! — воскликнул Метробий. — Вот та, которая первая назвала Клодию квадрантарией!

И, говоря это, он указал на женщину в патрицианской одежде, красивую, но с лицом строгим и почти суровым. Она стояла недалеко от колонны, у которой находились Клодия и ее брат. Рядом с ней стоял мужчина лет тридцати с лишним, высокого роста, с величественным видом и манерами, с очень широким лбом, очень густыми взъерошенными бровями, с глазами близорукими и словно угасшими, с орлиным носом, с лицом, в общем, незаурядным и суровым.

— Кто?.. Теренция?.. Жена Цицерона?..

— Именно она… Видишь ее там с ее смиренным мужем!

— Ей очень пристало бичевать пороки и

---

[103] Сноски: 103

Это прозвище, по словам Цицерона, дали Клодии римские матроны за ее распутство: женщина, продающаяся за квадрант (мелкая монета).

разврат, — с иронической улыбкой сказал Лукреций, — ей, сестре весталки Фабии, кощунственная связь которой с Катилиной известна уже всем! Клянусь Геркулесом!.. Если цензор должен будет заняться безнравственной жизнью Клодии, то с большим основанием ему следовало бы обратить внимание на еще более развратное поведение Фабии.

— Эх!.. — скептически произнес Метробий, качая головой. — Мы теперь дошли до того, что если бы сам суровый и неподкупный Катон, самый строгий и непреклонный цензор из всех, которые до сих пор были в Риме, жил в наши дни, то и он, наверно, не знал бы, с чего начать, чтобы исправить распущенные нравы. Если бы он решил изгнать из Рима всех женщин, которые не вправе здесь находиться, то, клянусь Кастором и Поллуксом, Рим превратился бы в город, населенный только мужчинами, как в прекрасные дни Ромула, и для сохранения рода Квирина пришлось бы снова прибегнуть к похищению сабинянок. Кстати, стоят ли нынешние сабинянки того, чтобы их похитили?

— Вот это я понимаю, клянусь божественным Эпикуром! — воскликнул Лукреций. — Метробий, произносящий речь против распущенности

нравов! При первых же выборах я подам за тебя голос и буду вести пропаганду за то, чтобы ты был избран цензором!

В эту минуту толпа двинулась дальше, и Кассий со своими друзьями, очутившись возле ступенек портика храма Весты и недалеко от Клодии, приветствовал ее. Поднеся правую руку к губам, он воскликнул:

— Привет тебе, Клодия, прекраснейшая из всех красавиц Рима!

Молодая женщина ответила на приветствие легким наклоном головы и очень милой улыбкой и окинула Кассия долгим, пламенным взглядом.

— Вот взгляд, обещающий многое! — сказал, улыбаясь, Лукреций Кассию.

— Твой пыл вполне понятен, славный Кассий, — сказал Метробий, — я никогда не видел женщины более красивой, чем она, за исключением одной, которая была так же хороша, как Клодия, а именно гречанки-куртизанки Эвтибиды!..

— Эвтибиды! — воскликнул, вздрогнув при этом имени, Лукреций.

И после короткого молчания прибавил с легким вздохом:

— Красивая девушка Эвтибида!.. Где она те-

перь?..

— Ты не поверишь, а между тем это совершенная правда: она в лагере гладиаторов!

— Наоборот, я нахожу это вполне естественным, — возразил Лукреций. — Ей там самое подходящее место.

— Но знай, что если Эвтибида находится в лагере этих разбойников, то лишь для того, чтобы добиться любви одного из них: она безумно влюблена в Спартака…

— Вот как!.. Клянусь Геркулесом!.. У нее теперь любовник, достойный ее!..

— Ничего подобного, клянусь Юпитером Статором!.. Спартак с презрением отверг ее.

И все трое замолчали на мгновение.

— Но знаешь ли ты, — продолжал Метробий, обращаясь к Лукрецию, — что красавица Эвтибида неоднократно предлагала мне отправиться в лагерь гладиаторов?..

— Но зачем? — спросил Лукреций в изумлении.

— Чтобы там пьянствовать? — заметил Кассий. — Кажется, ты это хорошо делаешь и в Риме…

— Вы вот оба смеетесь… Но я бы отправился туда.

— Куда?

— В лагерь Спартака. И если бы я туда пошел, переменив имя и одежду, я бы вошел к нему в милость, приобрел бы его расположение, а потом разведал бы его планы, намерения, приготовления и тайком сообщил бы обо всем консулам.

Оба патриция разразились звонким смехом.

Метробий обиделся:

— Вы опять смеетесь? Однако разве не я предупредил консула Луция Лициния Лукулла два года тому назад о близком восстании гладиаторов? Разве не я открыл заговор в роще богини Фуррины?

«Хорошо, будем знать!» — подумал Арторикс; глаза его сверкнули огнем, метнув искоса зловещий взгляд на идущего в нескольких шагах впереди Метробия.

В этот момент толпа достигла подошвы Капитолия и храма Сатурна, прочного и величественного здания, в котором за жертвенником бога хранились законы и государственная казна; здесь толкотня и давка были еще больше, толпа двигалась еще медленнее.

— Клянусь богами, покровителями Рима, — сказал Кассий, — здесь можно задохнуться!

— По правде говоря, я не знаю, зачем мы забра-

лись в эту сутолоку, — сказал Лукреций.

И еще более толкаемые, еще более теснимые и почти задавленные, только через четверть часа очень медленного движения смогли наконец Метробий, Лукреций и Кассий, а также и Арторикс проникнуть в храм, где увидели бронзовую статую бога Сатурна, изображенного с садовым ножом в руке, готовым к срезыванию плодов и окруженным земледельческими орудиями, аллегорически изображавшими пастушеские и полевые работы. Статуя была полая и наполнена оливковым маслом в знак изобилия.

— Посмотри, посмотри, — воскликнул Метробий, — на божественного Цезаря, великого жреца, который только что совершил жертвоприношение в честь бога и который теперь, сняв жреческое одеяние, выходит из храма.

— Как он смотрит на Семпронию! На красавицу и умницу Семпронию!

— Можно было бы еще добавить — на необузданную Семпронию!

— Красивая брюнетка, клянусь двенадцатью богами Согласия!.. Настоящий тип красивой римской матроны!..

— Посмотри, какие искры сверкают в ее черных, страстных глазах!.. Как сладко она улыбается

красавцу Юлию!..

— А как другие матроны и девушки преследуют Цезаря нежными взглядами!

— Посмотри на рыжую Фаусту…

— Дочь бессмертного моего друга Луция Корнелия Суллы Счастливого.

— Что ты был другом, и притом бесстыдным другом, этого чудовища, мы знаем, но мы не нуждаемся, чтобы ты повторял это по всякому поводу.

— Откуда этот новый шум?

— И эти громкие крики?

И все повернулись к входу в храм, откуда неслись еще более громкие и оживленные возгласы в честь Сатурна.

Вскоре заполнившая храм толпа была силою оттеснена к колоннадам и стенам новой толпой, врезавшейся в первую; впереди, как при триумфе, полсотни мрачных, исхудалых субъектов несли на руках городского претора; каждый держал в руке железную цепь.

— А!.. А!.. я понял… Это преступники, сидевшие в Мамертинской тюрьме в ожидании приговора. Согласно обычаю, они теперь помилованы, — сказал Лукреций.

— И как установлено обычаем, они пришли

сюда повесить цепи, которыми были скованы их руки, на алтарь божественного Сатурна, — добавил Метробий.

— Посмотри, посмотри, какой страшный Катилина! — сказал Кассий, показывая в сторону жертвенника, где стоял свирепый и распутный патриций, всецело погруженный в созерцание коллегии весталок, устремив взор на одну из молодых жриц. — Этот человек жесток даже в любви. Посмотрите, какими зверски жадными глазами он ласкает сестру Теренции.

В то время как Лукреций и Метробий стали снова болтать с юным Лонгином Кассием по поводу кощунственной любви Катилины, Арторикс увидел патриция, и луч радости сверкнул в его глазах. Он стал изо всех сил пробиваться сквозь толпу, заполнявшую храм, чтобы подойти к Катилине.

Но одно было хотеть, а другое — сделать: только через полчаса, следуя за общим движением толпы к выходу из храма, молодой галл получил возможность стать рядом с Луцием Сергием, все еще целиком погруженным в созерцание весталки. Он прошептал ему на ухо:

— Свет и свобода.

Катилина вздрогнул, стремительно повернулся

и, нахмурив лоб и брови, спросил строго и почти грозно скомороха, на которого и устремил взор своих серых глаз:

— Что это значит?

— От Спартака, — сказал тихим голосом Арторикс. — Я пришел из Апулии, переодетый, к тебе, Катилина, чтобы переговорить об очень серьезных делах.

Еще раз патриций быстро взглянул на молодого галла и сказал:

— Я тебя выслушаю… иди рядом… пока не выйдем из храма… потом следуй за мной издалека… пока не доберемся до удобного укромного места.

И с присущим ему презрением к людям, беспечно и грубо прокладывая дорогу своими мощными локтями и металлическим голосом приказывая окружающим посторониться, Катилина гораздо скорее всякого другого достиг выхода из храма, неотлучно сопровождаемый Арториксом, словно прилепившимся к его одежде.

И таким же способом Катилина пробрался в портик, находившийся впереди храма, а затем и на улицу; меньше чем в полчаса он выбрался из давки, и, направившись на скотный форум, где толпились торговцы быками и где благодаря обширности пространства, назначенного для

этой торговли, казались немногочисленными и редкими люди, он мог свободно приблизиться к круглому храму Геркулеса Триумфального, а за ним все время следовал в некотором отдалении Арторикс.

Пройдя мимо храма Геркулеса к небольшому храму, посвященному богине Целомудрия, Катилина остановился и стал ждать Арторикса, который быстро очутился перед ним.

Он изложил Катилине поручение, возложенное на него Спартаком; с жаром, с убедительностью, страстно описал он мощь гладиаторских легионов; сумел искусно польстить гордости Катилины; доказал, насколько храбрость этих шестидесяти тысяч рабов, уже испытанных в стольких сражениях, возросла бы, если бы их вождем стал Луций Сергий Катилина, как в короткое время удвоилось бы их число, каким образом без всякой иллюзии, а с полным основанием он мог бы рассчитывать, переходя от победы к победе, в течение одного года оказаться с непобедимыми силами у ворот Рима.

Кровавым огнем зажглись глаза Катилины при этих словах; страшно сокращались мускулы его свирепого выразительного лица; по временам он грозно сжимал могучие кулаки и испускал вздо-

хи удовлетворения, очень похожие на рычание дикого зверя.

Когда Арторикс закончил свою речь, Катилина отрывисто и задыхаясь ответил:

— Очень соблазнительно твое предложение… юноша… и я не знаю… так как я от тебя не скрою, что мне, римлянину и патрицию… внушает непобедимое отвращение мысль стать во главе войска рабов… пусть мужественных… но все же рабов и бунтовщиков. Во всяком случае… мысль иметь в своем распоряжении такую могучую армию… мысль о возможности вести ее лично к победе… для меня, чувствующего, что я рожден для великих дел, и не имевшего ни разу возможности получить управление провинцией, где мне представился бы случай совершить высокие подвиги… я чувствую, что эта мысль…

— Не воспламенит твоего мозга, не помрачит твоего разума до того, чтобы забыть, что ты римлянин, что ты родился патрицием, и что если требуется подавить олигархию, властвующую над нами, то следует раздавить ее руками свободных и римским оружием, а не с преступной помощью врагов-рабов.

Так сказал патриций, немногим перешагнувший за тридцать лет, благородной осанки, с

надменным лицом, высокого роста, который, идя по следам Катилины, вышел в этот момент из-за угла храма Целомудрия к беседовавшим Луцию Сергию и Арториксу.

— Лентул Сура! — воскликнул пораженный Катилина. — Ты здесь?..

— Да. Заподозрив личность этого человека, я пошел за тобой в отдалении. Я предсказывал тебе не раз, что судьба предначертала трем Корнелиям властвовать в Риме. Корнелий Цинна и Корнелий Сулла уже правили, ты третий, кого судьба избрала для господства над Римом; и я хочу помешать тебе сегодня сделать ложный шаг, который вместо того, чтобы приблизить тебя к цели, отдалит тебя от нее.

— Значит, ты, Лентул, думаешь, что представится другой, столь же благоприятный случай? Значит, ты думаешь, что позже нам удастся собрать под нашей командой войско, подобное войску гладиаторов, для осуществления наших планов?

— Я думаю, что, пользуясь ими, мы, помимо того что навлечем на себя ненависть нашего народа и отвращение всей Италии, по существу, будем сражаться не за благо римского плебса, не в интересах лишенных наследства, лишенных

прав и должников, но исключительно на пользу варваров, врагов римского имени. Когда благодаря влиянию и поддержке наших друзей эти варвары станут хозяевами Рима, думаешь ли ты, что они будут связаны какими-либо законами, какой-либо уздой?.. Думаешь ли ты, что они оставят нам власть?.. Всякий гражданин в их глазах будет врагом, и они вовлекут нас в резню и убийства, жертвою которых мы с излишним простодушием думали сделать исключительно оптиматов![104]

По мере того как Лентул говорил это твердым энергичным голосом, Катилина каждым своим движением ясно показывал, что угасает пыл, которым он, по-видимому, был охвачен раньше, и, когда Сура довел до конца свою речь, убийца Гратидиана уныло опустил голову на грудь, прошептав с глубоким вздохом:

— Твоя логика режет чисто, как хорошо отточенный испанский клинок.

Арторикс намеревался сказать что-то Лентулу, но последний с повелительным жестом и решительным тоном сказал ему:

— А ты иди, вернись к Спартаку и скажи ему, что мы восхищаемся вашим мужеством, но что мы

[104] Сноски: 104

Оптиматы — аристократы-консерваторы, опиравшиеся на старую римскую знать (от *лат.* optimus — наилучший).

— римляне прежде всего, что все распри утихают на Тибре, когда общей родине угрожает серьезная опасность. Скажи ему, чтобы он воспользовался благоприятно сложившимися обстоятельствами и повел вас по ту сторону Альп, каждого в свою страну: дальнейшая война в Италии будет для вас роковой. Иди, и да сопутствуют тебе боги.

И с этими словами Лентул Сура, взяв под руку Катилину, который стоял мрачный и безмолвный, погруженный в глубокие думы, повел его с собой по направлению к скотному форуму.

Арторикс долго стоял в раздумье, следя глазами за двумя удалявшимися патрициями. Из этого раздумья его вывел Эндимион, который стал прыгать на него и лизать руки. И мнимый паяц, решившись уйти отсюда, медленно двинулся по направлению к курии Гермаленской, по улице, идущей от древних Муганских ворот.

Когда галл добрался до названной курии, тоже заполненной многочисленной праздничной толпой, солнце было близко к закату, наступили сумерки. Арторикс был так погружен в печальные мысли, вызванные в нем словами Суры, что даже не заметил, как за ним уже довольно долго следит Метробий. Последний то шел позади, то забегал вперед и внимательно разглядывал его.

Только выйдя на широкую площадь курии Гермаленской, Арторикс заметил мима, которого сразу узнал, так как, прожив долго на вилле Суллы в Кумах, он хорошо пригляделся к комедианту, постоянному посетителю дома диктатора. Он сильно встревожился, опасаясь, что и Метробий узнал в нем гладиатора Суллы. Поэтому, поразмыслив немного, он решил выйти из затруднения, ускорив шаги, в надежде, что Метробий очутился здесь случайно и не узнал его; в худшем случае он надеялся, быстро идя посреди толпы, ускользнуть из глаз Метробия.

Судьба, казалось, благоприятствовала Аторикссу, так как по соседству, у входной двери одного патрицианского дома, толпилась многочисленная группа клиентов, причем каждый из них держал в руке большую свечу. Это были клиенты сенатора. Они по обычаю принесли свечи в подарок своему патрону по случаю празднества сатурналий.

Присоединиться немедленно к этой группе и, работая локтями, протиснуться в нее было для Арторикса делом одной минуты.

Вмешавшись в толпу клиентов, он вместе с ними вошел в дом патриция. Привратнику, который спросил его о цели прихода в этот дом,

ответил, что явился к хозяину этого жилища с предложением дать представление клиентам за счет хозяина, в благодарность за принесенные ими дары.

Привратник пропустил его вместе с клиентами своего господина из передней в атриум. Арторикс, хорошо знавший, что дома богатых римлян все построены на один образец, немедленно посмотрел через алтарь богов-ларов, находившийся посередине имплувия[105], имеет ли этот дом по ту сторону садика другой выход, и увидел, что выход действительно есть. Убедившись в этом, он тотчас же принял определенное решение: среди суматохи, поднятой слугами по причине сатурналий и еще усилившейся приходом клиентов, он прошел имплувий, затем перистиль, потом экус[106], а отсюда через длинный коридор прошел в садик и, перебежав его, добрался до выхода с задней стороны дома; здесь он сказал другому привратнику, что, дав представление в присутствии его господина, он уходит по своим делам и что, не имея возможности терять время,

---

[105] Сноски: 105

Имплувий — четырехугольный двор без крыши посреди римского дома, в середине которого стоял бассейн для стока дождевой воды.

[106] Сноски: 106

Экус — большой общий зал.

так как его ожидают в другом месте, он просит выпустить его через эту дверь, так как главный вход весь набит людьми. Привратник нашел просьбу паяца уважительной. Открыв дверь и попрощавшись с самой любезной улыбкой, он выпустил его в переулок, откуда паяц скоро вышел на Новую улицу.

Между тем становилось все темнее, и Арторикс понял, что ему необходимо поскорее выйти из города через ближайшие ворота. Поэтому он спустился по тому короткому проезду, через который Новая улица от Большого цирка шла до реки, и очень скоро очутился на прекраснейшей улице, тянувшейся все время вдоль левого берега Тибра, от Флументанских ворот до Тройных. Тут Арторикс повернул налево, направляясь к Тройным воротам, так как они были ближе.

Так как эта улица находилась вдали от центра города, то она была безлюдна, и Арторикс, быстро продвигаясь, встречал только немногих граждан, которые торопливо шли к цирку и Форуму. Тишина, царившая на этой улице, нарушалась только журчанием воды в реке, которая текла, мутная и полноводная в это время от недавних дождей, и отдаленными, неясными отзвуками шума, долетавшими из центра огромного города.

Арторикс прошел уже около трехсот шагов по этой улице, как вдруг ему показалось, что он слышит позади себя быстрые шаги идущего за ним человека. Он остановился на мгновение и прислушался. Так как услышанный им шум шагов все приближался, то он, засунув правую руку под куртку, вытащил кинжал и снова скорым шагом пустился в путь.

Но тот, кто шел за ним, по-видимому, двигался быстрее его, так как шаги все приближались. Тогда, воспользовавшись поворотом, который делала улица, Арторикс остановился возле одного из каменных дубов, обрамлявших улицу, и, затаив дыхание, спрятался за многолетний его ствол, чтобы узнать, Метробий ли это или какой-либо гражданин, спешивший по своим делам. Вскоре он услышал тяжелое дыхание приближавшегося человека и увидел его лицо… Это был Метробий.

Да, это был Метробий, который, не видя больше перед собою Арторикса, остановился и, оглянувшись быстро по сторонам, спросил сам себя вслух:

— Куда это он пропал?

— Я здесь, милейший Метробий, — сказал, выходя из своей засады, Арторикс, который решил убить комедианта, чтобы таким образом ото-

мстить за старое предательство и великий вред, причиненные им делу гладиаторов, и чтобы спасти себя от ловушки, которую тот, несомненно, ему готовил.

Метробий отступил на несколько шагов в сторону, где низкая стена, высотою в половину человеческого роста, отделяла улицу от реки, и сказал ласковым и вкрадчивым голосом:

— А! Так это ты, действительно ты, мой милый гладиатор… Я тебя узнал… Поэтому я последовал за тобой… Мы познакомились с тобой на куманской вилле Суллы… Я хочу, чтобы ты пошел со мной пообедать… Выпьем хорошего фалернского вина…

— На обед в Мамертинскую тюрьму хотел бы ты повести меня, старый предатель, — сказал тихим и грозным голосом Арторикс, приближаясь к комедианту, — чтобы мое тело, распятое на кресте, послужило обедом для воронов Эсквилинского холма…

— Ничуть не бывало! Что это ты выдумал? — ответил дрожащим голосом Метробий, постепенно отступая в ту сторону, откуда только что пришел. — Пусть Юпитер поразит меня своей молнией, если я не желал угостить тебя превосходным фалернским…

— Нет, сегодня вечером ты напьешься мутной воды желтого Тибра, подлый пьяница! — прошептал гладиатор, отшвырнув далеко от себя лестницу, веревки и обезьяну, и бросился на старого комедианта.

— Караул!.. На помощь!.. Друзья!.. Убивают!.. Помогите!.. — кричал комедиант, убегая по направлению к Новой улице.

Но не успел он окончить призыв о помощи, как Арторикс, держа кинжал в зубах, догнал его, схватил своими сильными руками за горло и задушил всякий звук, говоря сквозь сжатые зубы:

— А, ты пригласил еще друзей… трус… к обеду, который ты мне предлагал!.. В самом деле… вот они… идут…

И правой рукой он схватил кинжал, в то время как Метробий снова стал пронзительным голосом звать на помощь толпу рабов и клиентов из дома патриция, откуда недавно убежал Арторикс, посланных по настоянию Метробия вместе с ним по следам гладиатора. При свете факелов, которые были у них в руках, Метробий и Арторикс увидели толпу, бежавшую на пронзительные крики комедианта с Новой улицы на берегу Тибра. Тогда Арторикс нанес несколько ударов в грудь Метробию и сказал глухим ярост-

ным голосом:

— Они не поспеют спасти тебя и схватить меня, подлый негодяй! — поднял обеими руками Метробия, у которого, уже полумертвого, широкой струей лилась кровь из груди и который испускал слабые стоны, и швырнул его в реку, воскликнув: — Это будет первая и последняя вода, которую ты выпьешь, старый пьяница!..

Вслед за этими словами послышался всплеск и отчаянный крик Метробия, который исчез в грязных волнах реки.

— Мы здесь, Метробий!.. Не бойся!..

— Мы пошлем на распятие подлого гладиатора!

— Он от нас не убежит! — кричали бежавшие рабы и граждане, теперь находившиеся от Арторикса на расстоянии не более пятидесяти или шестидесяти шагов.

Тем временем гладиатор скинул с плеч плащ и, схватив Эндимиона, бросил его в реку, затем, вскочив на стену, сам спрыгнул в воду.

— На помощь!.. Умираю… На по… — еще раз раздался крик Метробия, появившегося на бурной поверхности реки, которая стремительно понесла его к Тройным воротам.

Бежавшие на помощь добрались до места, где

произошла кровавая сцена, и, запыхавшись, все метались вдоль стены, криками приглашая помочь комедианту; но никто из них ничего не делал, чтобы спасти его.

Что касается Арторикса, то он плыл наперерез течению, очень ловко, по диагонали направляясь к другому берегу.

И пока собравшиеся посылали проклятия ему с левого берега и оплакивали судьбу Метробия, который больше уже не появлялся из пучин реки, гладиатор благополучно достиг другого берега, быстрым шагом направился к Яникульскому холму и скоро скрылся во мраке, все более сгущавшемся над Вечным городом.



Глава XVIII
Консулы на войне. – Камеринское сражение. – Смерть Эномая

После того как всякая надежда иметь своим вождем Луция Сергия Катилину исчезла, гладиаторы приняли предложение Спартака. Было решено ближайшей весной двинуться к Альпам, после перехода через Альпы войско восставших распустить, каждому вернуться в свою страну и стараться там поднять население против римлян. Спартак, обладавший здравым умом и прозорливостью, делавшими его одним из величайших полководцев своего времени, был уверен, что более продолжительная война с Римом в Италии не может окончиться иначе как победой квиритов. Поэтому в конце февраля 682 года он двинулся из Апулии с двенадцатью легионами по пяти тысяч человек в каждом, с пятью тысячами с лишком велитов и восемью тысячами кавалеристов — в общем, свыше чем с семьюдесятью тысячами солдат, великолепно обученных и прекрасно вооруженных, по направлению к Самниуму, держась ближе к морю.

После десятидневного похода, дойдя до области пелигнов, фракиец узнал, что консул Лентул Клодиан собирает в Умбрии армию, приблизительно в тридцать тысяч человек, чтобы загородить ему дорогу к Падусу, в то время как с тылу против него готов двинуться из Лациума другой консул — Геллий Публикола с тремя легионами и вспомогательными силами, чтобы отрезать ему путь к спасению и возвращению в Апулию. Встревоженный Сенат, принимая во внимание не только позор этого восстания, но также и опасность войны, выставил на поле, как в один из труднейших походов, обоих консулов и предоставил в их распоряжение две огромные армии, дав им поручение раз навсегда покончить с гладиатором.

Оба консула собрали свои войска через несколько дней после вступления в свои обязанности: один построил свою армию в Лациуме, другой — в Умбрии. Очевидно, опыт этой войны — поражения, понесенные претором Варинием, квестором Коссинием и самим Орестом, — ничему не научил ни Лентула, ни Геллия; консулы не подумали о совместном выступлении против Спартака, быть может из взаимного соперничества, из жажды славы или из неправильных тактических соображений. Они решили двинуться против Спартака

двумя разрозненными армиями, с которыми он мог сразиться и которые мог победить каждую порознь, как в предыдущие годы.

Во всяком случае, велико было в Риме ожидание, еще сильнее — желание и больше всего — надежды, возлагавшиеся на этот двойной поход, в результате которого все рассчитывали, что позорная война с рабами будет ликвидирована навсегда.

Спартак, узнав, каковы были намерения его противников, ускорил свое передвижение через Самниум, решив сперва атаковать Геллия, который должен был выйти ему навстречу из Лациума и которого он надеялся встретить на дороге между Корфиниумом и Амитернумом.

Придя сюда, он через рабов, находившихся на службе у патрициев окрестных городов и не решавшихся убежать в лагерь гладиаторов, но оказывавших фракийцу огромное содействие шпионажем, узнал, что Геллий все еще находится в Анагнии, в ожидании своей кавалерии, и что он не двинется оттуда ранее чем через пятнадцать дней.

Тогда вождь гладиаторов решил идти вперед и направиться в Пицене, где надеялся встретить Лентула, двигавшегося из Умбрии, вступить с

ним в бой и разбить его, а потом вернуться немного назад, разгромить Геллия и двинуться затем к Падусу или же направиться прямо к Альпам, не обращая внимания на Геллия.

Дойдя до Аскулума на реке Труентус, он получил известие от своих многочисленных разведчиков, что Лентул выступил из Перузии больше чем с тридцатью тысячами солдат, направляясь к Камеринуму, чтобы напасть на него. Тогда Спартак остановился. Расположившись лагерем на сильной позиции и значительно укрепив ее, он решил здесь подождать четыре-пять дней, потребных консулу, чтобы дойти до Камеринума, где предполагал схватиться с ним.

Утром, в день, следующий за тем, в который гладиаторы раскинули свой лагерь возле Аскулума, Спартак выступил из лагеря во главе тысячи всадников для обследования окрестностей. Он ехал один впереди своего отряда, весь погруженный в глубокие размышления, делавшие его лицо угрюмым и суровым.

О чем он думал?

С того дня, как Эвтибида стала любовницей Эномая, последний, попав в сети куртизанки, постепенно становился угрюмым и молчаливым и несколько раз показал, что не питает уже

прежнего уважения и любви к Спартаку. Затем на военном совете начальников в лагере под Гнатией, после отказа Катилины стать во главе гладиаторов, один только Эномай был против решения уйти за Альпы и каждому вернуться в свою страну. И, высказывая свое мнение, несогласное с предложением Спартака, он употребил грубые и резкие слова по адресу последнего и произнес какие-то загадочные и угрожающие фразы о необъяснимой тирании, о заносчивом злоупотреблении властью, которое дольше невозможно терпеть, о равноправии, ради которого гладиаторы и взялись за оружие и которое теряло смысл при диктатуре некоего лица; пришло-де время перестать подчиняться ему, как мальчики подчиняются учителю.

Сперва Спартак вскочил в страшном гневе на эту дикую вспышку германца, но потом снова сел и ответил в ласковых, дружеских словах, чтобы успокоить этого столь дорогого ему человека. Но Эномай, увидев, что Крикс, Граник и остальные начальники — все присоединяются к предложению Спартака, в бешенстве вышел из палатки, не желая больше присутствовать на совещании своих братьев по оружию.

Поэтому фракийца уже много дней сильно

заботило поведение Эномая, постоянно избегавшего встречи с ним. А когда случайно Эномаю приходилось говорить с ним, то он смущался, отмалчивался и уклонялся от объяснений, которых Спартак старался от него добиться.

Дело в том, что Эномай, ставший дерзким и злым под внушением Эвтибиды, чувствовал, что в душе его угасает всякий гнев, когда он находился лицом к лицу со Спартаком, таким добрым, сердечным и бесконечно простым в своем величии; честная душа германца восставала против наущений гречанки, когда он находился в присутствии великого вождя. Он невольно, как бы себе назло, вынужден был признавать превосходство души и ума Спартака, но чувства преданности и любви, которые испытывал к нему прежде, старался превратить во враждебные.

Что касается Спартака, то, сколько он ни пытался, ему не удавалось открыть причин, вызвавших такую внезапную перемену в Эномае, к которому он питал искреннюю и сильную привязанность. И так как Эвтибида, сделавшая Эномая покорным, подобно ручному ягненку, держала в самой глубокой тайне свою преступную связь с начальником германцев, то Спартак, по своей честности и благородству, даже не мог и подумать о ковар-

ных ухищрениях и черных интригах, в которые куртизанка искусно вовлекла Эномая, а вместе с ним и его самого, и что в странном, непонятном поведении германца могла играть какую-нибудь роль Эвтибида; о ней он почти забыл, потому что она избегала встреч с ним.

Вернувшись из своей поездки по окрестностям Аскулума, Спартак в мрачном раздумье удалился в свою палатку и приказал одному из контуберналиев попросить Эномая зайти к нему.

Контуберналий вышел из претория для исполнения полученного приказания; но едва Спартак, весь ушедший в свои думы, сел на скамейку в ожидании возвращения своего посланца, как последний уже вернулся.

— Я шел за Эномаем, — сказал он, — и как раз встретил его на пути к тебе… Вот он идет.

С этими словами контуберналий, отступив в сторону, дал дорогу Эномаю, который, насупившись, остановился перед Спартаком и сказал:

— Привет, верховный вождь гладиаторов! Мне нужно с тобой поговорить…

— И мне с тобой, — прервал его Спартак, встав с места и сделав знак контуберналию выйти.

Когда тот вышел, он ласково обратился к Эномаю:

— Добро пожаловать, брат мой Эномай, говори, что ты хотел мне сказать?

— Я хотел… — начал угрожающим тоном и с презрительным видом, тем не менее опуская глаза, германец, — мне… надоело, и я устал… служить забавой… для твоих капризов… Рабство так рабство! Я предпочитаю рабство у римлян… Я хочу сражаться и не хочу служить никому.

— Клянусь молниями Юпитера! — воскликнул Спартак, сложив руки с видом глубокой горечи и подняв глаза к небу. — Да ты совсем с ума сошел, Эномай.

— Клянусь шелковыми косами Фреи! — ответил германец, подняв голову и устремив на лицо Спартака горящий взгляд своих маленьких глаз. — Я в полном рассудке!

— Да помогут тебе боги! Про какие мои капризы ты говоришь и когда это я пытался сделать своей игрушкой тебя или кого другого из наших товарищей по несчастью и по оружию?

— Я не говорю этого… и я не знаю, ты ли… — ответил Эномай, снова опустив глаза с явным смущением. — Но в конце концов, и я человек…

— Конечно, человек честный и мужественный! — сказал Спартак, глядя сверкающими глазами в глаза и лоб Эномая, как бы для того,

чтобы извлечь оттуда его самые глубокие и тайные мысли. — Но какая тут связь с тем, что ты мне сказал? Когда это я пробовал поставить под сомнение твой авторитет в нашем лагере?.. Как пришла тебе в голову мысль, что я не то что презирал тебя, но не отдавал тебе должного, того, что заслуживает твоя храбрость и смелость в глазах каждого, кто только тебя знает? Как же ты мог поверить, что заставило тебя заподозрить это? Откуда исходит это необъяснимое, непонятное отношение ко мне?.. Чем я тебя оскорбил?.. В чем я провинился — перед тобой ли лично или перед нашим общим делом, которое я взялся осуществить и которому целиком отдал свою жизнь?

— Оскорблен… обижен… чтобы по правде… чтобы сказать точно… оскорблен… обижен… поистине, нет… ты меня не оскорбил… Ты ни в чем не виноват перед нашим делом… Напротив, способный вождь… самый способный… в конце концов, ты это доказал и… Счастливый… и победоносный… Ты превратил толпы сбежавшихся к тебе гладиаторов в дисциплинированное и грозное войско… и… и… в конце концов… мне не за что жаловаться на тебя…

Так ответил Эномай, речь которого, сперва угрюмая и дерзкая, стала постепенно и незамет-

но мягкой, тихой и покорной и закончилась в нежном и дружелюбном тоне.

— Но почему ты так изменился? Почему дуешься на меня? Ведь я всегда искал только блага и победы гладиаторам. Будучи избран против желания верховным вождем, разве я не держал себя со всеми моими товарищами по несчастью и в особенности с тобой всегда как брат, как искренний друг и как соратник?

Так говорил Спартак, с выражением сожаления и печали на благородном лице, желая только одного: договориться с Эномаем и проникнуть в самые глубокие тайники его сердца.

— Нет, Спартак… не говори так… не смотри так на меня, — ответил хотя ворчливым, но растроганным голосом Эномай, с трудом скрывавший волнение. — Я не говорил… Я не имел намерения сказать…

— Если я отстаивал план возвращения в наши страны, то только потому, что после долгого и зрелого размышления я увидел, что, сражаясь на итальянской почве, мы никогда не сможем окончательно победить Рим. Рим!.. Завоевать Рим!.. Уничтожить его могущество, разгромить власть тиранов!.. Разве ты не понимаешь, что эта мысль приходит мучить меня в сновидени-

ях и нарушает покой моих ночей?.. Быть более великим, чем Бренн, Пирр и Ганнибал! Добиться того, чего не удалось совершить этим славным полководцам! По-твоему, разве это не было бы великой славой?.. Рим, на который нападают в Италии, — это Антей: побежденный и поверженный наземь Геркулесом, он подымается вновь, еще более сильным, чем раньше. После разгрома — тяжелого и кровопролитного — одной его армии Рим в несколько дней выставит тебе другую, потом третью и в конце концов пошлет войско в шестьдесят — семьдесят легионов, с которым он нас раздавит. Чтобы победить Антея, божественный Геркулес уже его не бросал на землю, но задушил его в своих могучих руках; чтобы победить Рим, мы должны поднять против него сразу все угнетенные им народы, двинуться со всех сторон против Италии, все более стягивать наше кольцо вокруг стен Сервия Туллия и, вторгнувшись в количестве шестисот — семисот тысяч, задушить навсегда этот роковой народ и этот роковой город. Вот единственный способ победить Рим, вот единственный путь к уничтожению его власти, и если это не удастся нам, то удастся нашим внукам, правнукам, но именно только так это совершится: всякая другая война,

всякая другая борьба против римского могущества невозможны; Митридат будет разбит, как был разбит Ганнибал; народы Рейна и парфяне — как были разгромлены карфагеняне, греки и иберийцы; ничто, кроме одновременного союза всех угнетенных против единого угнетателя, не сможет дать победу над этим гигантским спрутом, который протягивает медленно, постепенно, но непреодолимо свои чудовищные щупальца по всей земле.

Спартак говорил страстно, сверкая глазами, почти вдохновенно, и, по мере того как он произносил свою речь, воодушевляясь и пылая, Эномай, который был, в сущности, человек честный, очень искренний и преданный Спартаку, чувствовал, что фракиец как бы против его воли притягивает его к себе, подчинялся чарам его красноречия и чувствовал, как угасает в его сердце гнев на Спартака, зажженный усердными стараниями и долгими бесчестными ухищрениями Эвтибиды. Когда вождь гладиаторов закончил свою речь, германец очутился, сам не заметив этого, так близко от него, что мог протянуть руки с умоляющим жестом к прекрасному и величественному лицу освободителя рабов, которое казалось в эту минуту окруженным сверхъесте-

ственным сиянием. Дрожащим от волнения голосом он прошептал:

— Прости… Спартак… прости!.. Ты не человек, а бог!..

— Нет… Я самый счастливый из людей, так как в тебе я нахожу снова брата! — воскликнул растроганный фракиец, открыв объятия Эномаю, в которые тот порывисто кинулся, прошептав:

— О Спартак, Спартак… я тебя почитаю и люблю еще больше, чем прежде!

Оба молча стояли некоторое время, сжимая друг друга в этом братском объятии. Первым оторвался Спартак, спросив германца еще взволнованным тоном:

— Теперь скажи мне, Эномай, зачем ты шел сюда?..

— Я?.. Но… я уже не знаю, — ответил тот очень смущенно, — зачем мне вспоминать об этом…

И на мгновение умолк, а затем с оживлением прибавил:

— Так как я пришел и ты находишь, что я обязательно пришел к тебе с какой-то просьбой, то я прошу у тебя для себя и для моих германцев самого опасного пункта в ближайшем сражении с консулом Лентулом.

Спартак взглянул на него ласковыми глазами

и воскликнул:

— Всегда тот же! Так же храбр, как честен!.. Будет тебе самый опасный пункт.

— Ты мне обещаешь это?

— Да, — ответил Спартак, протягивая правую руку Эномаю, — в моей душе, ты знаешь, нет места ни для лжи, ни для страха.

Побеседовав еще немного, Эномай и Спартак ушли с претория. Спартак хотел отправиться с ним к палаткам германцев, но едва они успели сделать несколько шагов, как их догнал Арторикс. За три дня до этого вождь гладиаторов послал молодого галла во главе тысячи всадников на разведку к Реате, чтобы добыть сведения о войске Геллия. Он только что вернулся и, узнав, что Спартак ушел с Эномаем, пустился за ним следом и догнал его возле палаток германских легионов.

— Привет тебе, Спартак! — сказал он. — К Геллию пришла часть его конницы, и он двинулся уже из Анагнии в Карсиоли, куда прибудет завтра вечером и оттуда через Реате пойдет на нас. Нужно ждать его самое позднее через пять дней.

При этом известии Спартак впал в раздумье и спустя немного сказал:

— Отлично! Завтра вечером мы снимемся с лагеря и пойдем к Камеринуму, куда за десять

часов утомительного перехода придем послезавтра до полудня. Лентул, вероятно, придет туда послезавтра вечером или еще позже — утром на четвертый день. Его войска будут утомлены от перехода, и мы, успев отдохнуть, смело нападем на него и разобьем. Потом сейчас же повернем против Геллия и разгромим его армию. После этого мы беспрепятственно будем продолжать наш путь к Альпам. Как ты находишь это, Эномай?

— Превосходная мысль, достойная великого полководца! — ответил Эномай.

И когда Спартак отпустил Арторикса, он увлек фракийца в свою палатку, где усадил его за стол вместе со своими контуберналиями, из которых только один отсутствовал, а именно — Эвтибида: у нее было слишком много причин уклоняться от встречи со Спартаком и не показываться ему на глаза.

За дружеской беседой за чашей терпкого, но благородного тронтского вина быстро пробежали несколько часов, и уже далеко перевалило за час первого факела, когда Спартак вышел из палатки германца. Эномай, сильно навеселе, так как он по обыкновению пил очень много, хотел проводить Спартака до претория; но тот не согласился и, только уступая настояниям контуберналиев

Эномая, разрешил им проводить себя до своей палатки.

Едва Спартак ушел с контуберналиями и Эномай остался один, как Эвтибида, бледная, с распущенными по плечам рыжими густыми волосами, появилась из особой комнатки, устроенной для нее в палатке начальника германцев, и, скрестив руки на груди, остановилась против Эномая, который, проводив Спартака до выхода и вернувшись обратно, снова сел на скамейку, погруженный в думы о фракийце, полные нежности и любви.

— Значит, — спросила Эвтибида у Эномая, на которого, не замеченная им, смотрела некоторое время своими зелеными, как у дикого зверя, глазами, с выражением негодования и в то же время гнева и презрения, — Спартак снова поведет тебя, куда ему вздумается, как он ведет свою лошадь, и будет впредь пользоваться твоей силой и храбростью, чтобы возвыситься самому?

— О! Опять?.. — сказал глухим и грозным голосом германец, свирепо взглянув на девушку. — Когда же ты прекратишь свои подлые клеветы? Когда ты перестанешь вливать в мою кровь яд

твоих внушений? Ты злее, чем волк Фенрис[107], трижды проклятая женщина!

— Хорошо! Хорошо! Клянусь всеми богами Олимпа… Ты злишься на меня потому, что ты грубый дикарь и к тому же глупое животное. И поделом мне, дуре и негоднице, которая любит тебя, вместо того чтобы презирать и предоставить самому себе! Поделом! Очень хорошо!

— Но зачем же для того, чтобы любить меня, тебе нужно, чтобы я ненавидел Спартака, благородного, честного, умного, который во много раз лучше меня?

— И я, несчастная дурочка, и я была введена в заблуждение его мнимыми добродетелями, поверила, что он не человек, а полубог, и я, хоть и поумнее тебя, долгое время полагала, что его сердце преисполнено самыми благородными чувствами; но я должна была, против воли, убедиться, что Спартак — лгун, что он подлый притворщик в каждом своем поступке, в каждом слове и что один только огонь воспламеняет его грудь — огонь честолюбия. Вот тогда-то я поняла, увидела и убедилась в том, что ты глупее барана…

---

[107] Сноски: 107

Фенрис (Фенрир) — в германской мифологии огромный свирепый волк.

— Эвтибида! — сказал, дрожа от ярости, голосом, похожим на рев полузадушенного льва, Эномай.

— …глупее барана, — смело продолжала девушка, и в глазах ее сверкал гнев. — Ты не видел этого и не видишь и только что за попойкой пел ему гимны и преклонялся перед ним, как самый подлый раб.

— Эвтибида! — воскликнул снова, едва сдерживаясь, германец.

— Я не боюсь твоих угроз! — презрительно сказала гречанка. — Лучше бы я не поверила твоим словам любви — я могла бы тебя ненавидеть так, как теперь презираю.

— Эвтибида! — закричал глухим, могучим голосом, похожим на удар грома, Эномай, в бешенстве поднимаясь с места и с грозно поднятыми кулаками сделав шаг к девушке.

— Ну! Смелее! — сказала она надменным, вызывающим тоном, топнув ногой и еще более гордо подступая к гладиатору. — Ну, силач, вперед, храбрец, бей, ударь, задуши своими чудовищными звериными лапами бедную девушку!.. Это принесет тебе больше славы, чем убийство твоих соперников в цирке… Ну, смелее!.. Скорее!..

При этих словах Эвтибиды Эномай бросился

вперед, решив в первом своем порыве, очевидно, уничтожить ее, но, подойдя к ней, поднял вверх руки, которыми готов был уже схватить девушку, и, тяжело дыша и задыхаясь от гнева, сказал:

— Уходи отсюда… уходи ради твоих богов… пока я не потерял еще оставшуюся во мне каплю рассудка.

— И это все, что ты можешь сказать?.. И это все, что ты можешь ответить женщине, которая любит тебя, единственному человеку на земле, кто тебя любит?.. Этим ты платишь за мою любовь к тебе? Это благодарность мне за ласку и заботы, какими я тебя окружаю? Это награда за то, что уже несколько месяцев я думала только о тебе, о твоей славе, о твоей репутации?.. Хорошо!.. Пусть будет так… Я должна была ожидать этого… Делайте после этого добро! — прибавила девушка более мягким голосом. Но, увидев, что Эномай опустился снова на скамейку, она в раздражении забегала по комнате. — Заботьтесь о счастье другого. Вот что вас ожидает! Дура я несчастная!.. Но должна была я думать о тебе?.. Должна была я болеть душой за твою славу?.. Должна была я идти навстречу твоему дикому гневу и страшным проклятиям, чтобы спасти тебя от гнусных интриг, которые замышляются против тебя?!.

И после очень короткой паузы она добавила голосом, который постепенно становился все более дрожащим и трогательным:

— Я должна была позволить растоптать тебя… дать тебе погибнуть… Ах, если бы я могла!.. По крайней мере, мне не пришлось бы сегодня пережить это горе, гораздо более тяжелое, чем смерть… Терпеть от тебя оскорбления и брань… от человека, которого я так любила… который был для меня гораздо дороже жизни… Ах! Это слишком!.. Это слишком сильное страдание, и каковы бы ни были мои поступки в прошлом, этого горя я не заслужила!

С этими словами она разразилась безутешными рыданиями.

Этого было вполне достаточно, чтобы сбить с толку бедного Эномая, ярость которого мало-помалу испарялась, уступала место сомнению и неуверенности, а потом жалости, нежности, любви, так что, когда Эвтибида, закрыв лицо руками, направилась к выходу, он вскочил и, подбежав к дверям, сказал заискивающим голосом:

— Прости меня… Эвтибида… Я не знаю, что мне сказать… что мне делать… Не покидай меня так, прошу тебя!

— Отойди, ради богов — покровителей Афин! —

сказала куртизанка, гордо поднимая лицо и устремляя на германца глаза, полные негодования, хотя и влажные от слез. — Отойди… Оставь меня в покое и дай мне в другом месте пережить мой позор, мое горе и нежные воспоминания об отвергнутой с презрением и разбитой любви.

— О, никогда… никогда!.. Я не допущу, чтобы ты ушла… Я не позволю тебе так уйти… — сказал германец, схватив девушку за руку и с мягким насилием увлекая ее вглубь палатки. — Выслушай меня… Выслушай мои оправдания… Прости меня… Прости, Эвтибида! Прости, если я тебя обидел… Я не знаю… это не я говорил… это обуявший меня гнев… был… но выслушай меня, прошу тебя.

— Слушать еще ругань, еще оскорбления? Оставь меня, дай мне уйти, Эномай, чтобы я могла избежать самого тяжкого горя — увидеть, как ты снова бросишься на меня, и чтобы мне не пришлось умереть от твоих рук.

— Нет… нет… Эвтибида… не думай, что я на это способен, не презирай меня, хотя я дал тебе право на это своей зверской злостью!.. Не своди меня с ума! Выслушай меня, Эвтибида, или — клянусь

священной змеей Мидгардом![108] — я перережу себе глотку здесь, в твоем присутствии.

И с этими словами он вытащил кинжал, висевший у него на поясе.

— Ах нет!.. Нет!.. Клянусь молниями Юпитера!.. — воскликнула, притворившись испуганной, куртизанка, с мольбой протягивая свои маленькие ручки к гиганту. И еще более слабым и печальным голосом добавила: — Твоя жизнь мне слишком дорога… слишком драгоценна… о мой обожаемый Эномай… о любовь моя!

— Ах, Эвтибида!.. О моя Эвтибида, — сказал нежным и полным любви голосом гладиатор, — прости мне мой глупый гнев… прости… прости…

— О золотое сердце, о благороднейшая душа! — произнесла растроганным голосом девушка; все лицо ее осветилось улыбкой, и она обвила руками шею гиганта, находившегося у ее ног. — Я тоже должна просить прощения за гнев, с которым я только что накинулась на тебя и который довел тебя до бешенства.

Германец бешено прижал ее к своей груди, покрывая ее лицо поцелуями.

Спустя мгновение она прибавила томным го-

---

[108] Сноски: 108

Мидгард — здесь: огромная змея, утопленная Вотаном в море.

лосом:

— Я слишком люблю тебя!.. Я бы не могла жить без тебя!.. Простим друг друга и забудем.

— О добрая моя… о великодушная Эвтибида!..

И оба долгое время молчали, тесно прижавшись друг к другу. Эномай был на коленях перед Эвтибидой, она стояла.

Вдруг девушка выскользнула из рук Эномая и вкрадчиво спросила его:

— Веришь ли ты, что я тебя люблю?

— О, я верю этому, как верю во всемогущую силу Одина и в то, что он позволит мне в тот день, когда душа моя расстанется с телом, пройти по великому трехцветному мосту для того, чтобы попасть в великий город блаженных и отдохнуть там под тенью гигантского ясеня Иггдрасиль[109].

— В таком случае клянусь золотыми стрелами Дианы, неужели ты мог бы хоть один миг думать, что я не желаю тебе добра?

— Но я никогда в этом не сомневался!

— А если ты не сомневаешься, если никогда не сомневался, то почему ты отклоняешь мои советы, почему веришь вероломному другу, который тебе изменяет, а не женщине, которая любит тебя

---

[109] Сноски: 109

Иггдрасиль — мировое дерево в германской мифологии и космологии, ясень, находящийся в центре вселенной.

больше себя самой и желает видеть тебя великим и счастливым?

Эномай вздохнул, ничего не ответил, поднялся и начал кружить по палатке.

Эвтибида украдкой взглянула на него и, усевшись на скамейку, опершись локтем правой руки о соседний стол и положив голову на ладонь этой руки, указательным пальцем левой руки стала играть серебряным браслетом, изображавшим змею, кусавшую себя за хвост, который она сняла с руки и положила на стол.

Так прошли минуты две, и ни он, ни она не произнесли ни слова. Наконец Эвтибида сказала тихо, как бы продолжая начатую мысль:

— Может быть, я предупреждаю его из-за какой-либо личной выгоды? Предостерегая его против слепой доверчивости, свойственной его открытому характеру, показывая ему сети, в которые самое черное предательство намерено запутать его и несчастных гладиаторов, храбро сражающихся за свободу и обреченных влачить судьбу гораздо худшую, чем прежняя, может быть, я руководилась своей выгодой?

— Но кто тебе это хоть раз сказал, кто подумал об этом? — спросил Эномай, останавливаясь перед девушкой.

— Ты! — воскликнула строгим голосом куртизанка. — Ты!

— Я? — спросил изумленно Эномай, приложив обе руки к груди.

— Да, ты! Ведь, в сущности, одно из двух: или ты веришь, что я тебя люблю и желаю тебе добра, — в таком случае ты должен верить, что Спартак вас предает и изменяет вам, или ты веришь, что Спартак — честный и добродетельный человек, и тогда ты должен думать, что я притворщица и изменяю тебе.

— Да нет же, нет! — воскликнул почти плачущим голосом бедный германец, который не был силен в логике и никак не мог уйти от неумолимой убедительности этой дилеммы.

— Зачем я стала бы предавать тебя — ведь вот что непонятно! — продолжала Эвтибида.

— Прости меня, Эвтибида, я не только не понимаю, но даже вовсе не думаю, чтобы ты могла или хотела предать меня. Ты давала мне столько доказательств твоей любви и таких… но… извини меня… но… я не могу тоже видеть… я не мог бы понять, зачем Спартак стал бы изменять.

— Зачем?.. Зачем?.. — сказала Эвтибида.

Она поднялась с места и подошла к Эномаю, который наклонил голову, словно испугавшись

чего-то.

— О!.. — воскликнула немного погодя девушка, сложив маленькие руки и подняв сверкающие глаза к небу. — О, слепой безумец, ты еще спрашиваешь!

И после новой, короткой паузы она добавила:

— Скажи мне, легковерный человек, после сражения при Фунди не сам ли Спартак сказал, что консул Варрон Лукулл явился к нему с предложением высоких постов в испанской армии или префектуры в Африке, если он согласится покинуть вас?

— Да, он сказал это, но ты ведь знаешь, как Спартак ответил консулу…

— А ты, несчастный глупец, знаешь, почему он так ответил?.. Потому что сделанные ему предложения не соответствовали той услуге, которую от него требовали.

Эномай, поникнув головой, снова стал молча ходить по палатке.

— Потому что ему недостаточно было чина квестора и должности префекта…

Эномай молчал и ходил.

— Теперь предложения были возобновлены, удвоены, утроены, и он вам об этом ничего не сказал.

— Откуда ты это знаешь? — спросил Эномай, останавливаясь перед Эвтибидой.

— Да ведь Рутилий, отправившийся под видом апулийского земледельца в Рим предложить Катилине командование гладиаторским войском… Неужели ты веришь, что он поехал только для этого?

— Но если…

— Это вы можете верить хитрому и коварнейшему человеку… но не я, которая отлично поняла, что посланец отправился в Рим, чтобы возобновить переговоры, начатые в Фунди, лично с самим консулом.

Эномай возобновил свое безмолвное хождение.

— И если бы это было не так, то почему посылать Рутилия, именно Рутилия, латинянина и свободнорожденного?

Эномай ничего не ответил.

— И почему после таинственной смерти Рутилия, не сказав ни слова вам, таким же вождям, как он сам, и даже более мужественным и доблестным, почему Спартак послал своего верного Арторикса, переодетого скоморохом? Почему именно Арторикса, любовника своей сестры Мирцы?.. Почему не другого?..

После короткого молчания, во время которого Эномай продолжал ходить по палатке, Эвтибида снова начала:

— И почему, когда Арторикс вернулся из Рима, он пожелал, чтобы вы решили во что бы то ни стало покинуть Италию и вернуться во Фракию, в Галлию, в Иллирию и в Германию?

Эномай остановился и стал смотреть неподвижными детскими глазами на одно из железных колец, державших палатку натянутой и прикрепленной к крюку, вбитому в пол, в то же время машинально кусая ногти на правой руке, а другую держа у левого бока.

— Разве все это было естественно, логично, правильно и честно?.. — сказала после некоторой паузы Эвтибида и тут же прибавила: — Как?.. Рим, исчерпавший все силы, не может более найти легионов для того, чтобы сопротивляться победоносному Серторию в Испании, победоносному Митридату в Азии, а мы в этот страшный для Рима момент, имея семьдесят тысяч хорошо обученных, превосходно вооруженных человек, победителей во многих сражениях, вместо того чтобы идти на неприятельский город, овладеть которым никто нам не мешает, бежим от него?.. Разве это логично?.. Разве естественно?..

Эномай все стоял неподвижно и только время от времени медленно качал головой.

— Лентул, Геллий, две армии… Это выдуманные Спартаком басни для того, чтобы оправдать, объяснить каким-либо образом это позорное и непонятное бегство, чтобы скрыть от глаз обманутых людей страшное и слишком очевидное предательство… Геллий… Лентул… и их армии!.. — продолжала как бы сама с собой рассуждать девушка. — Но почему на разведку о движении предполагаемого войска Лентула он сегодня лично отправился с тысячей всадников и почему для наблюдения за воображаемым войском Геллия у Реате он послал опять Арторикса? Почему всегда этот его Арторикс?.. Почему он не послал кого-либо из вас?..

— Ты права… к сожалению… ты права… — прошептал едва внятно Эномай.

— О, клянусь всеми богами небесных сфер! — вскричала со страшной энергией Эвтибида. — Проснись же наконец от рокового летаргического сна, в который тебя, убаюкивая, погружает предательство! Проснись, ради всех богов, открой глаза и взгляни на край ужасной бездны, в которую тебя готов ввергнуть друг, руководивший тобой до сего дня… И если ты желаешь еще других до-

казательств предательства и других мотивов, которые могли толкнуть на измену этого человека, вспомни, что он безумно любит римскую патрицианку Валерию Мессалу, вдову Суллы, и что ради нее, ради своей любви он предаст вас всех римскому Сенату, который в благодарность даст ему в жены любимую им женщину, а вместе с нею виллы, богатство, почести и величие…

— Правда!.. Это правда!.. — закричал Эномай, пораженный этим последним соображением и теперь окончательно убежденный этим роковым скоплением улик, явно доказывавших в общей совокупности предательство фракийца. — Измена Спартака очевидна… Пусть чудовищный мерзкий пес Манигармор[110] вечно раздирает в безднах Нифльгейма его проклятое тело!

Эвтибида, глаза которой засверкали жестокой радостью при этом проклятии германца, подошла еще ближе к нему и быстро, настойчиво, задыхающимся голосом воскликнула:

— Скорее же! Чего ты еще ждешь?.. Разве ты хочешь, чтобы тебя с твоими верными германцами завлекли в какое-нибудь горное ущелье, где вы поневоле должны будете позорно сложить

---

[110] Сноски: 110

Манигармор — в германской мифологии пес, раздиравший в Нифльгейме (аду) тела осужденных.

оружие, не имея возможности сражаться, и затем чтобы вас распяли или отдали на съедение диким зверям на арене цирка?

— Ну нет!.. Клянусь всеми молниями Тора! — вскричал в ярости громовым голосом германец, схватив сложенные в одном углу палатки гигантские латы и надев их.

Прилаживая шлем, пристегивая к поясу меч и беря щит, он кричал:

— Нет! Я не позволю ему предать меня!.. С моими легионами… сейчас… немедленно… я ухожу из лагеря измены…

— И завтра все остальные последуют за тобой, с тобой пойдут галлы, иллирийцы и самниты, а с ними останутся только фракийцы и греки, и ты станешь верховным вождем, и ты, ты один покроешь себя славой за атаку и взятие Рима… Иди… Иди… устрой, чтобы твои бесшумно поднялись… Устрой, чтобы без шума разбудили и галльские легионы, и отправляйся, мы отправимся сегодня же ночью… И слушайся советов той, которая тебя любит… той, которая тебя обожает… той, которая желала бы видеть тебя величайшим и знаменитейшим из всех людей!

Так говорила Эвтибида, тоже надевая латы и шлем. Увидев, что Эномай уже готов выйти, она

прибавила:

— Ты иди, а я велю оседлать лошадей.

Спустя несколько минут букцины германских легионов затрубили зорю, и меньше чем в час десять тысяч солдат Эномая собрали палатки и выстроились в боевой порядок для выступления из лагеря.

Часть лагеря, занятая этими легионами, была расположена около главных, правых ворот. Эномай сказал пароль декану охраны этих ворот и без шума вывел свои легионы. Однако сигнал среди германцев разбудил и галлов, их соседей: некоторые из них думали, что все войско должно выступить, другие — что неприятель подошел к гладиаторскому лагерю. Все поспешно вскочили, вооружились, вышли из палаток и без приказа от кого-либо велели трубачам взять букцины и протрубить зорю. Вскоре весь лагерь гладиаторов был на ногах, и все легионы схватились за оружие среди суматохи и беспорядка, которые всегда возникают даже в самом дисциплинированном войске при неожиданном появлении неприятеля.

В числе первых вскочил с ложа Спартак и, бросившись к выходу палатки, спросил у солдат, несших охрану на претории, что случилось.

— По-видимому, подходит неприятель, — ответили ему.

— Но как?.. Откуда?.. Какой неприятель?.. — спрашивал он, еще более изумленный этим ответом.

Быстро вернулся он в палатку, и так как считал, что на войне возможны всякие неожиданности, то и предположил, что произошел удивительный случай: по неизвестной ему дороге к Аскулуму подошел форсированным маршем один из консулов. Спешно вооружившись, он вышел и направился к центру лагеря.

Там он узнал, что Эномай со своими легионами уходит из лагеря через главные, правые ворота и что остальные легионы, тоже вооруженные, готовились идти вслед за Эномаем в уверенности, что приказ выступить исходил от Спартака.

— Ах!.. Что же это?.. Неужели он?.. — воскликнул фракиец, ударив себя по лбу левой рукой. — Но нет! Это невозможно!

И при свете пылавших там и сям факелов он направился быстрыми шагами к указанным воротам.

Когда он подошел, уже второй германский легион заканчивал выход из лагеря. Спартак, прокладывая дорогу своими сильными локтя-

ми, успел перегнать последние ряды. Выйдя за ворота и быстро пробежав пространство в четыреста — пятьсот шагов, он достиг того места, где Эномай верхом на лошади, окруженный своими контуберналиями, ожидал, пока закончится прохождение его второго легиона.

Какой-то человек, тоже в полном вооружении, обогнал Спартака; в нем фракиец тотчас же узнал Крикса. Последний подбежал к Эномаю и закричал сильным, прерывающимся от бега голосом:

— Эномай, что ты делаешь?.. Что случилось? Почему ты поднял весь лагерь на ноги?.. Куда ты направляешься?..

— Подальше от лагеря изменника, — невозмутимо ответил германец громовым голосом. — И ты, если не хочешь быть жертвой обмана, если не хочешь вместе с твоим легионом быть подло преданным в руки врагов, иди тоже со мной. Мы вместе двинемся на Рим.

Крикс уже готовился ответить на эти ошеломившие его слова, но в этот момент, тяжело дыша, к ним подошел Спартак и спросил Эномая:

— О каком изменнике говоришь ты, Эномай? На кого ты намекаешь?

— О тебе я говорю и тебя имею в виду. Я воюю против Рима и пойду на Рим, я не желаю идти

к Альпам, чтобы попасться — по несчастной случайности, конечно! — среди горных ущелий в когти неприятелю!

— Клянусь всеблагим, всесильным Юпитером! — воскликнул вне себя от гнева Спартак. — Если ты шутишь, то я должен тебе сказать, что это самая скверная шутка, какую только можно себе представить…

— Я не шучу, клянусь Фреей… я не шучу, я говорю как нельзя более серьезно и в полном рассудке!

— Ты считаешь меня изменником? — сказал Спартак, задыхаясь от негодования.

— Не только считаю тебя таковым, но уверен в этом и объявляю это во всеуслышание.

— Ты лжешь, подлый пьяница!.. — закричал Спартак громовым голосом и, вынув из ножен свой меч, бросился на Эномая, который, обнажив свой меч, погнал лошадь на Спартака.

Но контуберналии Эномая удержали его, а Крикс, стоявший перед ним, схватив за уздцы его лошадь, с силой осадил ее назад и закричал:

— Эномай!.. Если ты не сошел с ума, как это доказывают твои поступки, то я утверждаю, что ты предатель, подкупленный золотом и наущениями римлян, и…

— Что ты говоришь, Крикс?.. — сказал, дрожа от ярости, германец.

— Клянусь могуществом лучей Белена[111], — воскликнул галл в сильном раздражении, — только один из римских консулов, если бы он был на твоем месте, мог бы поступить так, как поступаешь ты!

Между тем Спартака, которого удерживал Граник, окружили Арторикс, Борторикс, Фессалоний и другие двадцать высших начальников; однако порыв гнева, овладевший им, был так силен, что непобедимая сила его мышц удвоилась, он оттолкнул удерживавших его, опрокинув их на тех, которые его окружали, и пробил себе дорогу к Эномаю. Подойдя к нему, Спартак спокойно вложил меч в ножны и, устремив глаза, за момент до этого свирепые и сверкающие, а теперь полные слез, на Эномая, сказал дрожащим голосом:

— Что твоими устами говорит одна из эриний, я не сомневаюсь: ты, Эномай, мой товарищ в опасном переходе из Рима в Капую и во всех страшных тревогах и радостных событиях с самого начала нашего восстания, не мог бы говорить так, как ты говорил сейчас. Я не знаю… не понимаю… но,

---

[111] Сноски: 111

Белен — бог солнца у галлов.

вероятно, ты и я являемся жертвами гнусной, ужасной интриги, идущей из Рима, которая, я не могу понять, каким образом, проникла в наш лагерь. Но дело теперь не в этом: если бы кто-нибудь другой, а не ты, которого я всегда любил как брата, произнес слова, которые ты сказал только что, он был бы теперь мертв… Уходи… Бросай дело своих братьев и свои знамена… Я клянусь здесь перед твоими легионами и твоими братьями прахом моего отца, памятью моей матери, жизнью моей сестры, всеми богами неба и ада, что я не запятнал себя никакими подлостями, о которых ты говоришь и которые ты мне приписываешь. И если я хоть на одно мгновение нарушил самое малое из своих обязательств как брата и вождя, пусть меня поразит молнией и испепелит Юпитер и пусть мое имя перейдет к самым отдаленным потомкам с неизгладимым позорным клеймом предателя и будет навеки более отвратительным и проклятым, чем имя братоубийцы Тиеста, детоубийцы Медеи и гнусного Долона!

Эта клятва, произнесенная Спартаком твердым и торжественным голосом, с очень бледным, но спокойным и ясным лицом, казалось, произвела сильнейшее впечатление на слышавших ее и,

по-видимому, поколебала даже дикое упрямство Эномая, но вдруг звук букцин третьего легиона (первого галльского) послышался вблизи главных, правых ворот и привлек внимание всех присутствующих, пришедших при этих звуках в глубокое изумление.

— Что это такое? — спросил Борторикс у Арторикса.

— Что это должно означать? — спросил тот одновременно.

— Клянусь богами ада! — воскликнул Спартак, бледное лицо которого стало мертвенным. — Значит, уходят и галлы?

И все побежали к воротам вала.

Тогда Эвтибида, которая до сих пор находилась на своей маленькой изящной лошади рядом с Эномаем, с опущенным на глаза забралом и почти скрытая за гигантской фигурой германца, схватила удила его лошади и потянула ее за собою на дорогу, по которой уже отошли на некоторое расстояние оба германских легиона, а за германцем и гречанкой последовали и остальные ординарцы Эномая.

В то время как Крикс и Спартак спешили обратно, к воротам лагеря, тридцать конных германских стрелков из лука, задержавшиеся в

лагере, выехали оттуда и направлялись по дороге, чтобы догнать своих соотечественников. Увидев Спартака и Крикса, идущих навстречу им, они разразились криками:

— Вот Спартак!

— Вот изменник!

— Смерть ему!

Схватив луки, они прицелились в обоих вождей, в то время как их декан закричал:

— В тебя, Спартак, в тебя, Крикс, изменники!

И тридцать стрел со свистом вылетели из луков в Спартака и Крикса.

Оба едва успели прикрыть лица щитами, в которые впилось немало этих стрел. Крикс, который в тот самый момент, когда укрылся щитом, выступил впереди Спартака, чтобы защитить его своим телом, закричал ему:

— Ради любви к нашему делу, прыгай через ров!

Одним прыжком Спартак перескочил через тянувшийся вдоль дороги ров и очутился на прилегающем лугу, за ним последовал Крикс. И они поступили разумно, так как германские стрелки, пришпорив лошадей, бросились на них во весь опор; только таким образом оба избежали нападения со стороны дезертиров, которые, не

обращая больше внимания на Спартака и Крикса, продолжали путь к германским легионам.

— Проклятые дезертиры! — воскликнул Крикс.

— Пусть консул Геллий изрубит вас в щепки! — прибавил Спартак в припадке гнева.

Двинувшись по краю рва, Спартак и Крикс скоро дошли до ворот лагеря, где Арторикс и Борторикс с огромным трудом, умоляя и ругаясь, удерживали солдат третьего легиона, желавших выйти из лагеря и последовать за германскими легионами.

Их удержал Крикс, который на их родном языке принялся громко осыпать их угрозами и бранью, называя их подлым сбродом, сборищем разбойников и толпой предателей. Ему скоро удалось успокоить даже самых упрямых, а когда он закончил свою речь клятвой Гезу, что, как только настанет день, он разыщет и велит предать распятию подкупленных подстрекателей этого позорного бунта, то немедленно тихо и послушно, как ягнята, галлы вернулись в свой лагерь.

Кончая свою речь, Крикс внезапно побледнел и голос его, сначала сильный и звучный, стал слабым и хриплым, и едва первые ряды взбунтовавшегося легиона сделали *кругом марш*, он зашатался, почувствовал, что лишается созна-

ния, и упал на руки стоявшего рядом Спартака, который моментально подхватил его.

— О, клянусь богами! — воскликнул горестно фракиец. — Наверно, тебя ранили, когда ты закрывал меня от стрел.

Действительно, одна стрела попала Криксу в ляшку, а другая, пробив кольца панциря, вонзилась между пятым и шестым ребром.

Его перенесли в палатку и тотчас же заботливо перевязали раны. Хотя он очень ослабел от большой потери крови, однако врач уверил Спартака, который, бледный и дрожащий, стоял у ложа друга, что раны не представляют никакой опасности.

Всю ночь бодрствовал Спартак возле Крикса, погруженный в скорбные мысли, вызванные в нем событиями этого дня, причем он так же сильно негодовал против Эномая за его необъяснимое дезертирство, как горевал об этих десяти тысячах германцев, ушедших навстречу огромным опасностям.

На рассвете следующего дня, согласно намеченному плану, побуждаемый Криксом, Спартак приказал своим легионам сняться с лагеря и направился к Камеринуму, куда он, как и предполагал, прибыл поздней ночью, а консул Лентул

с почти тридцатитысячным войском — на день позже его.

Консулу, который был не особенно опытен в военном деле, патрицию, насквозь пропитанному латинской надменностью, казалось невозможным, чтобы четыре римских легиона, насчитывающие двадцать четыре тысячи человек и подкрепленные двенадцатью тысячами вспомогательных воинов, не разбили меньше чем в двадцать четыре часа сборище из семидесяти тысяч гладиаторов, плохо вооруженных, без чести, без веры и без дисциплины, которые обязаны разгромом войска преторов не доблести своей, а невежеству последних.

Поэтому, заняв выгодную позицию у подножия находившихся там холмов и произнеся своим войскам речь, начиненную гордыми и хвастливыми словами, способными воспламенить сердца легионеров, он на следующий день вступил в сражение со Спартаком, который с мудрой предусмотрительностью сумел извлечь выгоду из численного превосходства своего войска и меньше чем в три часа почти со всех сторон окружил консула. Римские легионы, несмотря на то что сражались очень мужественно, были вынуждены отступить, чтобы не подвергнуться

нападению с тыла.

Спартак искусно использовал это колебание неприятеля и, лично появляясь в разных местах, примером своей необыкновенной храбрости так поднял дух гладиаторов, что последние стремительно бросились на римлян, в несколько часов прорвали их ряды и разгромили, захватив их лагерь и обоз.

Остатки легионов Лентула бежали — одни к сенонам[112], другие, среди которых был сам консул, в Этрурию.

Несмотря на радость, вызванную этой новой, столь блестящей победой, тем более славной, что она была одержана над одним из консулов, Спартака волновала мысль о Геллии, втором консуле, который мог за это время напасть на Эномая и уничтожить его войско.

Ввиду этого на следующий день после битвы при Камеринуме он велел собрать палатки и, повернув назад, направился к Аскулуму, выслав, как обычно, вперед многочисленную конницу под начальством наиболее осторожных командиров для того, чтобы она, двигаясь далеко впереди, доставляла ему все время сведения о неприятеле.

---

[112] Сноски: 112

Сеноны — кельтское племя.

И действительно, после того как Спартак со своим войском, отдохнув под Аскулумом, пошел на следующий день по направлению к Требулануму, вечером к нему явился Мамилий, начальник всей кавалерии, с сообщением, что Эномай расположился лагерем возле Писцельской горы, а Геллий, узнав, что отряд в десять тысяч германцев из-за несогласий со Спартаком ушел от него, спешно выступил, чтобы его уничтожить.

Поэтому, дав отдохнуть своим легионам шесть часов, Спартак ушел от Требуланума и, повернув назад через суровые скалы каменистых Апеннин, направился к Писцельской горе.

За это время консул Геллий Публикола с двадцатью восемью тысячами солдат пришел туда ночью и, едва взошла заря, стремительно атаковал Эномая, который необдуманно принял неравный бой.

Жестока и кровопролитна была схватка и в течение свыше двух часов оставалась безрезультатной, так как обе стороны сражались с равной яростью и с одинаковым мужеством. Но вскоре Геллий, растягивая фронт своего войска, обошел оба германских легиона и, чтобы сильнее сжать их в кольцо, приказал двум своим легионам, сражавшимся с гладиаторами с фронта, несколько

отступить назад. Этот маневр чуть не повлек за собой поражения римлян, так как германцы, полагая, что легионеры консула начали подаваться, воодушевленные примером Эномая, еще более бурным натиском ударили на римлян, расстроивших несколько свои ряды из-за этого маневра. Последние вынуждены были по-настоящему отступить, и в рядах их произошло сильное смятение.

Но так как легкая пехота римлян напала на гладиаторов с флангов, а вслед за нею далматские стрелки атаковали их с тыла, германцы оказались окончательно стиснутыми в кольце смерти. Увидев бесполезность всякой попытки спастись, они решили погибнуть смертью храбрых, и, яростно сражаясь еще свыше двух часов, все пали, причинив огромные потери римлянам.

Одним из последних пал Эномай. Он собственноручно убил одного военного трибуна, одного центуриона и очень много легионеров, с необыкновенной храбростью продолжая сражаться среди нагроможденных вокруг него трупов. Почти сплошь покрытый ранами и пораженный сразу несколькими мечами в спину, он упал, испустив дикий стон, рядом с Эвтибидой, упавшей раньше его.

Так закончилось это сражение, в котором Гелий уничтожил все десять тысяч германцев, из которых не спасся ни один.

Но едва прекратилась эта битва, как хриплый звук букцин, означавший сигнал к атаке, предупредил победителей о приближении нового неприятеля.

Это был Спартак, который только что прибыл к месту сражения. Несмотря на то что его легионы были утомлены тяжелым походом, он расположил их в боевой порядок и, проходя по рядам и воодушевляя пламенными словами к битве, чтобы отомстить за избиение угнетенных братьев, готовился атаковать расстроенные войска консула Геллия.

Последний употребил все возможные усилия, чтобы перестроить свои легионы; они с большой быстротой и довольно стройно сумели переменить фронт, чтобы встретить лицом к лицу нового неприятеля.

И началось сражение, еще более яростное, чем первое.

Между тем умирающий Эномай испускал тяжелые стоны, произнося по временам имя Эвтибиды.

Так как новое сражение отвлекло римлян в

другую сторону, то место побоища германцев осталось пустым, и среди этого огромного поля трупов слышались только слабые стоны и болезненные вопли, непрерывно испускаемые ранеными и умирающими.

Кровь потоками лилась из многочисленных ран, которыми было покрыто огромное тело Эномая, но сердце его еще не перестало биться, и, в то время как он в своем предсмертном хрипении призывал имя любимой девушки, последняя поднялась с места, где она упала, и, оторвав от туники убитого возле нее контуберналия полосу, перевязала ею свою левую руку, довольно сильно пораненную и окровавленную. Ввиду неожиданного нападения Геллия Эвтибида не имела времени дезертировать к римлянам или удалиться с места сражения, она была вынуждена принять участие в битве и при первой же ране решила, что самым безопасным будет упасть между восемью или десятью трупами офицеров и легионеров, лежавшими возле Эномая, и притвориться мертвой.

— О Эвтибида… О моя обожаемая… — прошептал едва слышно германец, побледневшее лицо которого застилалось покровом смерти. — Ты жива?.. Жива?.. О! я умру теперь… с радостью…

Ах, Эвтибида!.. Я хочу пить… я хочу пить… у меня сухо в горле… сухо на губах… Дай мне глоток воды… и последний твой поцелуй…

Между тем Эвтибида с бледным, обезображенным свирепой радостью лицом, казавшимся еще более жестоким при виде этого поля, сплошь, насколько простирался взор, покрытого трупами, на которое зеленые глаза этой женщины смотрели со зверским наслаждением, даже не оглянулась на слова умирающего. Только вдоволь налюбовавшись этим ужасным кровавым зрелищем, она повернула голову в сторону, где лежал Эномай.

Сквозь застилавший его глаза туман Эномай увидел девушку, всю выпачканную в своей крови, а еще больше в крови трупов, среди которых она лежала, и принял ее за умирающую, но злобный блеск ее глаз, в то время как она удалялась, топча и отталкивая ногами трупы, грудами лежавшие на земле, убедили его в том, что она была только ранена, и, вероятно, легко. Страшное подозрение пронзило его мозг. Однако он сейчас же отогнал от себя эту мрачную мысль и слабеющим голосом сказал:

— Ох, Эвтибида… один поцелуй… дай мне… Ох, Эвтибида…

— Я спешу! — ответила гречанка, проходя ми-

мо умирающего и бросая на него равнодушный взгляд.

— А!.. Молния… Тора… пусть испепелит тебя! — закричал, напрягая последние силы, Эномай.

Приподнявшись немного и собрав остатки жизненной энергии, с грозно расширенными глазами, он громко закричал:

— А! Теперь… я все понимаю… подлая куртизанка!.. Спартак ни в чем не виновен… Ты — злое чудовище!.. Будь проклята!.. прокля…

И он упал безжизненной массой, без слов, без движения.

Эвтибида, которая при первых бранных словах Эномая повернулась к нему с грозным, сверкающим от гнева взглядом, как бы для того, чтобы броситься на него, сделала несколько шагов, но, увидев, что он уже умер, остановилась и, протянув свою маленькую белую руку, запачканную кровью, в сторону германца, с жестом проклятия воскликнула:

— В ад!.. И как тебя я увидела умирающим в отчаянии, так пусть вышние боги дадут мне увидеть последнее издыхание гнусного Спартака!..

И она направилась в ту сторону, откуда доносился отдаленный шум новой битвы.



Глава XIX
Битва при Мутине. – Мятежи. – Марк Красс действует

Исход начавшегося между Спартаком и Геллием сражения не мог вызвать никакого сомнения. Эвтибида, пробиравшаяся среди трупов к полю битвы, дошла туда до полудня и уже издали увидела, как слабо сопротивлялись римляне непреодолимому натиску гладиаторских легионов, которые обходили справа и слева фронт консульского войска, чтобы атаковать неприятеля с флангов.

В то время как смелая женщина наблюдала битву, исход которой лишал ее желанной мести, мимо нее промчалась белая лошадь с голубым чепраком и изящной сбруей; она неслась очертя голову, с широко раскрытыми глазами и настороженными ушами, бросалась от страха во все стороны, спотыкаясь о трупы, то отступая, то прыжком перескакивая через убитых и натыкаясь на них.

Эвтибида узнала эту лошадь: она принадлежала Уцилиаку, юному контуберналию Эномая,

который пал на ее глазах одним из первых в кровопролитном утреннем сражении. И так как у нее среди трех ее коней был один тоже белый, то, предусмотрительная как всегда, она сразу увидела, какую пользу для своих коварных планов она может извлечь из этой лошади.

Она побежала в ту сторону, где металась лошадь, и, прищелкивая языком и пальцами, стала звать ее.

Но благородное животное, вместо того чтобы послушаться и подойти к куртизанке, в страхе убегало все дальше. Внезапно споткнувшись о трупы, лошадь упала и не могла подняться раньше, чем Эвтибида подбежала к ней и схватила за уздечку.

Животное, поднявшись на ноги, стало вырываться из рук Эвтибиды, тряся головой, бешено прыгая, становясь на дыбы и лягаясь задними ногами; но девушка крепко держала его, успокаивая жестами и словами, и разгоряченный конь постепенно успокоился, позволил гречанке погладить себя и совершенно покорился ей.

В это время ряды войска консула Геллия, разбитые и стиснутые со всех сторон возраставшими силами гладиаторов, в беспорядке отступили к полю, где они утром громили германцев; их

яростно преследовали солдаты Спартака, которые со страшным «барра!» и дикими криками смыкались все теснее и теснее вокруг римлян, чтобы уничтожить их и отплатить за гибель десяти тысяч товарищей.

Звон мечей и щитов, громкие и яростные крики сражавшихся слышались все ближе, и вид схватки, сперва неясной, неопределенной, становился с каждым моментом все отчетливее. Эвтибида, наблюдавшая некоторое время это зрелище злыми глазами и с мрачным лицом, яростно заскрежетав своими белыми зубами, воскликнула вполголоса, как бы говоря сама с собою:

— Ах!.. Клянусь величием Юпитера Олимпийского!.. Это несправедливо!.. Я столько сделала, чтобы удалить из гладиаторского лагеря германцев, в надежде, что за ними последуют галлы, а галлы остаются; устроив так, чтобы эти десять тысяч были уничтожены Геллием, я надеялась, что Спартак будет захвачен обоими консулами в железное кольцо, но он является со всеми своими силами, чтобы разбить Геллия, а покончив с ним, он бросится на Лентула, чтобы разгромить и его, если только он уже этого не сделал!.. Но неужели он непобедим, о Юпитер Мститель? Неужели он непобедим?..

А преследуемые римляне, продолжая еще сопротивляться, подходили все ближе и ближе к полю утреннего побоища. Эвтибида, с бледным от досады и гнева лицом, подошла, все время ведя за узду белую лошадь Уцилиака, к месту, где лежало уже холодное, безжизненное тело Эномая; здесь она, выбрав небольшое пространство, оставшееся свободным между двумя кучами изрубленных тел, остановилась и, вынув из ножен маленький и острый меч, быстро вонзила его дважды в грудь несчастного коня. Раненое животное отскочило назад с пронзительным отчаянным ржанием и хотело убежать, но, удерживаемое за уздечку, сделало несколько прыжков, упало на передние ноги, а затем простерлось на земле, все залитое кровью, хлынувшей потоками из зияющих ран, и вскоре в страшных судорогах околело.

Тогда гречанка легла на землю возле коня, под шею которого подсунула одну ногу так, что всякий мог подумать, что всадница и лошадь упали здесь, пораженные неприятелем, первая — тяжело раненная, вторая — бездыханная.

Шум сражения между тем усиливался. Он приближался к месту, где лежала Эвтибида, и становился более ясным и отчетливым; по диким проклятиям галлов и жалобным возгласам ла-

тинян она все больше убеждалась, что римляне потерпели окончательное поражение.

Размышляя об этом быстром появлении Спартака и о своих надеждах, разбитых с поражением Геллия, о неудавшейся мести, о затруднениях и опасностях, связанных с новыми интригами, которые она уже надумала для того, чтобы довести Спартака и его дело до окончательной гибели, Эвтибида чувствовала, что ее одолевают различные противоречивые чувства; что-то парализовало силу ее тела и духа, она испытывала какую-то истому, подавленность, уныние, которые не могла себе объяснить, но которые ослабляли ее пыл и смелость.

Внезапно ей показалось, что солнце потемнело и что плотный туман сгустился вокруг нее, и она ощутила острую боль в левой руке. Она коснулась ее правой рукой и ощутила сырость. Поднявшись на локте, она посмотрела на раненую руку и увидела, что бинт весь пропитался кровью. Лицо ее, и без того очень бледное, стало при этом как у трупа, ее зрение затуманилось; она хотела позвать на помощь, но из ее побелевших пылающих уст послышался только стон; попыталась встать, но вместо этого упала головой назад и замерла, безмолвная и неподвижная.

Тем временем римляне обратились в паническое бегство; гладиаторы преследовали их с яростью, усилившейся при виде поля, покрытого трупами германцев. Римляне потерпели полный разгром: они потеряли убитыми свыше четырнадцати тысяч человек; армия Геллия была совершенно уничтожена, и сам он, раненый, спасся лишь благодаря быстроте своего коня. Римляне разбежались и рассеялись во все стороны, потеряв обоз и знамена.

Радость гладиаторских легионов по поводу этой блестящей победы была омрачена печалью о гибели германцев, и Спартак приказал, чтобы не только не праздновалась, как всегда, победа, а наоборот, чтобы войско соблюдало траур в течение всего дня.

На следующее утро после этого двойного сражения гладиаторы приступили к сожжению трупов своих павших братьев: было разложено много костров, на которых сотнями сжигались тела убитых гладиаторов.

Вокруг костра, предназначенного только для трупа Эномая, собрались, молчаливые и грустные, все начальники, и четырехугольником выстроились четыре легиона.

Гигантское тело храброго германца, покрытое

двадцатью семью ранами, обмытое и умащенное мазями и благовониями, присланными по требованию Спартака испуганными жителями соседнего города, завернутое в белый саван из тончайшей шерсти и покрытое массой цветов, было положено на костер. Спартак, поцеловав тело несколько раз, весь бледный, с глубочайшей печалью в душе, произнес о нем речь голосом, прерывающимся от рыданий. Восхваляя его, он напомнил о его храбрости, о его неукротимом мужестве и честнейшем сердце и затем, взяв факел, первый поджег костер, который, разожженный сотнями факелов, вскоре запылал среди облаков ароматного дыма тысячью красноватых огненных языков.

Прах Эномая, собранный в несгораемую ткань, был пересыпан в небольшую бронзовую урну, которую Спартак с того дня всегда хранил у себя как один из самых дорогих для него предметов.

Из десяти тысяч германцев, сражавшихся вместе с Эномаем, только пятьдесят семь было найдено на поле битвы еще живыми, хотя и ранеными, и из них только девять остались в живых, и между ними Эвтибида, которая, храбро сражаясь, упала тяжело раненная в левую руку под тяжестью своей лошади, убитой в то время, когда

девушка, очевидно, скакала, чтобы передать какой-нибудь части войска приказ доблестного Эномая.

Велики были похвалы, раздававшиеся по адресу храброй девушки среди гладиаторских легионов, и велико было всеобщее восхищение ее доблестью. Его разделял и Спартак; великодушный и благородный сам, он ценил великодушные сердца и благородные поступки; поэтому он пожаловал гречанке гражданский венок — почетный знак, получить который все стараются, и сам ей преподнес его в присутствии и под рукоплескания всех легионов через двадцать два дня после сражения под Нурсией, на том самом поле, где произошло сражение.

Девушка приняла этот столь ценный знак отличия с сильнейшим волнением, как она ни старалась его побороть. Лицо ее покрылось мертвенной бледностью, и судорожная дрожь пробежала по всему ее телу. Гладиаторы приписали ее волнение скромности, хотя, вероятно, оно было только результатом угрызений совести.

Получив награду за свою самоотверженность и храбрость, Эвтибида, хотя еще не совсем оправившаяся от своей раны — она еще носила руку на перевязи, — заявила о своем желании остаться

при войске восставших и попросила, как чести, быть зачисленной в контуберналии к Криксу, что и было ей разрешено с общего согласия Спартака и Крикса.

Восстановив силы своего войска, Спартак двадцать пять дней спустя после сражения под Нурсией ушел оттуда через Апеннины, перевалил снова в землю пиценов и потом повернул к провинциям сенонов, с намерением пробраться по Эмилиевой дороге к реке Падус и перейти ее, чтобы попасть в Галлию.

Через четырнадцать дней он дошел до Равенны, где остановился, расположившись лагерем в нескольких милях от города, с целью составить три новых легиона приблизительно из пятнадцати тысяч, рабов и гладиаторов, сбежавшихся к нему за время прохождения через землю сенонов.

Начальниками этих новых легионов были поставлены: свободнорожденный гладиатор Гай Ганник, галл Каст и фракиец Идомей, отличившийся своей необыкновенной храбростью в сражениях под Камеринумом и Нурсией.

С войском в семьдесят пять тысяч Спартак предпринял поход по направлению к Падусу.

Гай Кассий, бывший в предыдущем году

консулом, а в это время претором в Галлии Циспаданской, узнав о поражениях, понесенных консулами Лентулом и Геллием, и о грозном приближении Спартака, поспешно собрал сколько мог римской милиции и вспомогательных войск, сосредоточив под своей командой по десяти тысяч тех и других, и с этими двадцатью тысячами переправился через Падус у Плаценции, чтобы помешать дальнейшему продвижению гладиаторов.

Между тем последние в два перехода дошли до Бононии и вечером, как обычно, раскинули лагерь возле города; нападать на него они не думали. Спартак решил остаться в этом лагере несколько дней, до тех пор пока конные разведчики, разосланные им, не доставят точных сведений о положении неприятельского войска и о намерениях его начальников.

На рассвете следующего дня, пока гладиаторы занимались внутри лагеря обычными упражнениями — ибо каждый из пятнадцати тысяч новых солдат был прикреплен для обучения к одному из гладиаторов из Капуи и Равенны, составлявших лучшее ядро ветеранов войска Спартака, — Эвтибида отправилась в палатку верховного вождя и спросила Мирцу.

Та вышла к ней навстречу, приняла ее радушно и приветливо, ибо, как женщина, она еще больше, чем мужчины, восхищалась мужеством и отвагой Эвтибиды.

И среди сердечных излияний благородного сердца сестры Спартака и притворных выражений любви со стороны вероломной гречанки последняя сказала Мирце, что она всегда питала самую искреннюю симпатию к ней и что, так как во всем войске они одни только женщины, ей кажется естественным, чтобы они были связаны нежной и сердечной дружбой.

С радостью, равной прямоте ее сердца, приняла Мирца слова Эвтибиды, и, торжественными клятвами и пылкими поцелуями заключив союз на жизнь и смерть, свыше двух часов они провели в беседе, поверяя друг другу свои секреты в милой болтовне, сплетенной целиком из мелочей, которая зачастую делает разговоры женщин похожими на милое щебетание птичек.

Уходя с претория, Эвтибида снова обняла Мирцу, обещая ей вернуться сегодня же вечером, если войско не выступит в поход. Простодушная девушка была совершенно очарована манерами своей новой подруги.

Каковы были планы куртизанки и для осу-

ществления каких новых козней она искала дружбы Мирцы, мы увидим в дальнейшем, а теперь последуем за ней к той части лагеря, где стояли палатки галлов.

На улочках, отделявших один ряд палаток от другого, обучались военному строю пять тысяч галлов, из которых недавно был составлен четырнадцатый легион, набранный в сенонской провинции; ибо к десяти легионам организованного в самом начале, в Кампании, гладиаторского войска были прибавлены два в Апулии и три были составлены под Равенной; таким образом, в данный момент под Бононией гладиаторских легионов было тринадцать, так как два первых легиона, составленные целиком из германцев, были уничтожены консулом Геллием.

Против каждого нового солдата стоял ветеран, вооруженный деревянным мечом, и обучал новичка ударам и парированию по всем правилам фехтовального искусства. От возгласов команды, которые одновременно издавали эти пять тысяч учителей, в этой обширной части громадного лагеря стоял беспрерывный гвалт и гул.

— В позицию!

— Выше щит!

— Ниже острие меча!

— Смотри прямо мне в глаза!

— Выше голову!

— Смотри смелее!

— Отбей щитом удар в голову, бей мечом!

— Быстрее, ради Тараны… у тебя в руках не прялка, а меч.

— Шаг вперед!.. Шаг назад!.. Быстро, проворнее, ради Геза!

— В позицию!

— Отбей удар острием по голове!

— Прыжок направо!

— Бей!

— Полкруга мечом налево!

— В позицию!

— Прыжок назад!

— Живо! Вперед!.. Нападай!.. Вперед!..

Пять тысяч смелых и воинственных голосов кричали одновременно с энергичной интонацией, свойственной военным командам. Десять тысяч человек одновременно размахивали двадцатью тысячами рук. Все это придавало лагерю галлов необыкновенно оживленный вид.

Эвтибида вышла на квинтанскую улицу, отделявшую палатки третьего и четвертого галльских легионов от палаток пятого и шестого, и здесь остановилась на некоторое время — посмотреть

на эту необыкновенную картину. Вдруг ее внимание было привлечено несколькими голосами, раздававшимися в соседней палатке, которая, судя по знамени пятого легиона, помещенному тут же, очевидно, принадлежала начальнику этого легиона, галлу Арвинию.

Внутри палатки шел оживленный спор, как Эвтибида могла догадаться по гулу голосов, то кричавших зараз, то уступавших место одному, более сильному, чем другие.

— В конце концов, — закричал хриплый и низкий голос, в котором Эвтибида узнала голос Орцила, начальника одиннадцатого легиона, состоявшего из нумидийцев и африканцев, — мы не бараны, чтобы нас гнали таким образом!..

— А без нас, — воскликнул другой голос, который Эвтибида тоже узнала — он принадлежал свободнорожденному Гаю Ганнику, начальнику тринадцатого легиона, — чем бы он был?

— Простым человеком… даже меньше чем человеком… был бы презренным, жалким гладиатором! — сердито говорил Брезовир.

— Я со своими африканцами в Галлию не пойду, клянусь богом Ваалом!.. Клянусь, не пойду! — прибавил Орцил.

— Прав был Эномай! — закричал Каст, началь-

ник четырнадцатого легиона, тех пяти тысяч галлов, которые в этот момент обучались фехтованию.

— Бедный Эномай!.. Жертва предательства Спартака! — сказал Онаций, самнит, преемник Рутилия по командованию восьмым легионом.

— Ах! Клянусь всемогущей силой матери! — воскликнул в гневе мощным голосом эпирот Фессалоний, командир седьмого легиона. — Спартак предатель?.. Ну это слишком!.. Это слишком!

— Да, он и вместе с ним Крикс и Граник продают нас римскому Сенату…

— Все вы, желающие повести нас по ту сторону Альп и подальше от Рима, изменники!

— На Рим, на Рим мы хотим идти!..

И семь или восемь голосов одновременно с силой воскликнули:

— На Рим!.. На Рим!..

— Я верю Спартаку, самому благородному и честному человеку в мире, я верю Криксу и Гранику, после него самым благородным в нашем лагере, и я с моим легионом, который мне доверяет, пойду за ними, а не за вами.

— И я, — сказал Борторикс.

— Ну и идите с ними, а мы с нашими семью легионами, — сказал с силой Гай Ганник, — завтра

пойдем назад к Равенне и двинемся на Рим.

— Да! Без Спартака вы наделаете великих дел! — сказал с иронией Борторикс.

— Вас изрубит в куски первый претор, который встретится с вами, — добавил Фессалоний.

— И это люди, которые хотят завоевать свободу! — воскликнул Гай Ганник. — Они стали рабами Спартака!

— Если вы под свободой подразумеваете беспорядок, смуту, безначалие, то такой свободы мы не хотим! — закричал Фессалоний. — Мы предпочитаем дисциплину и порядок и будем с тем, кто за два года войны показал себя мудрым и доблестным вождем.

В этот момент хриплый звук труб, призывавший к оружию третий легион, прервал спор гладиаторов и заставил Эвтибиду очнуться от восторга по поводу услышанных ею выражений ненависти и возмущения против Спартака.

Она повернула голову в ту сторону лагеря, откуда послышался сигнал тревоги, и направилась туда как раз в тот момент, когда начальники легионов, собравшиеся в палатке Арвиния, стремительно вышли все вместе, услышав неожиданный сигнал, и поспешно разошлись по своим легионам.

Вскоре сигнал тревоги был повторен букцинами четвертого, затем пятого легиона, а вскоре — всеми духовыми оркестрами лагеря гладиаторов.

Все воины бросились к своим палаткам, надели латы и шлемы и взяли в руки оружие, выстраиваясь по отделениям, манипулам и когортам.

Новый сигнал из третьего легиона, повторенный в остальных легионах, протрубил приказ свертывать палатки.

Через два часа лагерь был убран, и все легионы молча, в боевом порядке приготовились к походу. Третий сигнал созвал начальников легионов к верховному вождю за приказами.

Все начальники, пришпорив своих коней, поспешили к преторию, где Спартак сообщил им, что претор Гай Кассий двигается против них, что он придет в Мутину в этот же день вечером, что необходимо немедленно выступить в поход, чтобы напасть на него завтра же, раньше, чем другие отряды присоединятся к нему и преградят им желанную переправу через Падус.

Когда Спартак закончил свою речь, наступило всеобщее молчание.

После небольшого колебания Гай Ганник, опустив глаза в землю, явно смущенный, произнес

вполголоса:

— Мы, конечно, будем сражаться против Кассия, но Падус переходить не будем.

— Как!.. — сказал изумленный Спартак. И, словно не понимая, он строгим голосом спросил, устремив сверкающие из-под нахмуренных бровей глаза на самнита: — Что ты сказал?

— Он сказал, что мы не последуем за тобой по ту сторону Падуса! — ответил нумидиец Орцил, дерзко глядя на Спартака.

— Семь легионов, — сказал Гай Ганник, — не желают возвращаться в свои страны, а хотят идти на Рим.

— О! — гневно воскликнул Спартак. — Опять бунт… Разве вам не достаточно, несчастные, печального примера Эномая?..

Лишь невнятный ропот раздался в ответ на его слова.

— Клянусь всеми богами! — продолжал порывисто Спартак после небольшого молчания. — Вы либо безумцы, либо предатели!

Мятежные начальники по-прежнему молчали, и фракиец сказал после минутного молчания:

— Сейчас перед нами неприятель, и вы все будете мне повиноваться, пока мы не разобьем Кассия; затем мы устроим совещание и решим,

что́ лучше для нашего блага. А теперь ступайте. — И повелительным жестом он отпустил начальников.

В то время как они приводили в порядок своих лошадей, он прибавил внушительным тоном:

— Чтобы не было ни малейшего неповиновения в походе и в сражении, или — клянусь всевышним Юпитером! — первый, кто позволит себе мятежное слово или движение, погибнет от моего меча!

И новым жестом он отослал начальников, которые, покоряясь превосходству Спартака, в молчании отправились по своим постам.

Армия гладиаторов двинулась к Мутине, куда, промаршировав всю ночь, пришла за час до наступления следующего дня.

Кассий занимал два высоких холма и расположился лагерем, обнеся свою стоянку очень крепким частоколом и широкими рвами.

Около полудня Спартак с шестью легионами двинулся в атаку на претора. Позиция, занятая претором на склонах холмов, была очень благоприятна для римлян, но численное превосходство гладиаторов и пыл, с которым они бросились в атаку, очень скоро пересилили мужество двадцати тысяч римлян, большей частью ветеранов

Мария и Суллы, которые хотя и храбро сражались, но меньше чем в два часа были разбиты. Все усиливавшийся напор гладиаторов заставил их обратиться в бегство.

Почти десять тысяч римлян в течение нескольких часов легли в этой битве, а остальные были рассеяны и разогнаны по окрестности. В числе бежавших находился и сам претор, под которым была убита лошадь. Ему удалось спастись только чудом. Все палатки и военное снаряжение римлян попали в руки победителей, потери которых в этом сражении были очень невелики.

На следующий день после этой битвы, по счету третьей, которую Спартак одержал над римлянами менее чем за один месяц, гладиаторские легионы были выстроены в четыре ряда четырехугольником на равнине вдоль реки Панарус, чтобы решить, идти ли дальше к переправе через Падус и вернуться в свои страны или же повернуть назад и идти на Рим.

Спартак начал говорить, с жаром описывая гладиаторам выгоду и целесообразность первого плана и вредные последствия, неминуемо вытекавшие из второго, напомнил об услугах, оказанных им святому делу угнетенных, которому он самоотверженно посвятил десять лет

своей жизни, и указал на все, что он совершил. Он напомнил об этом не из тщеславия — этим он хотел прочнее убедить своих товарищей по несчастью и войне, по лишениям и победам в том, что его совет покинуть Италию проистекает из уверенности, что эта страна будет могилой для гладиаторов, как она была могилой для галлов Бренна, для греков Пирра, для карфагенян, кимвров, тевтонов, наконец, для всех чужеземцев, которые вторгались в Италию и пытались вести войну в ее пределах.

Он торжественно поклялся, что только благо гладиаторов побуждает его защищать этот план; пусть они решают, он подчинится воле большинства. Как вождь или солдат, он будет всегда сражаться рядом с ними и, если так написано в книге судеб, с радостью умрет с ними.

Сильные рукоплескания раздались после речи Спартака, и, вероятно, если бы сейчас же после нее нужно было перейти к голосованию, выдвинутое им предложение было бы принято огромным большинством. Но многие громкие победы, одержанные гладиаторами за два года главным образом благодаря Спартаку, поднимали дух гладиаторов и делали их самонадеянными, а многие из их начальников, которые, вероятно, в глубине

души стояли за фракийца, с неудовольствием переносили железную дисциплину, введенную им в войске, запрещавшую грабежи и мародерство. Послышался глухой ропот сперва среди отдельных лиц, а затем, распространяясь подобно заразе, он охватил и целые легионы. Эвтибиде стало казаться, что пришел час, когда можно поднять легионы против Спартака и отомстить ему. Мы видели, как она сумела подчинить себе Эномая, в котором все недовольные смутьяны могли видеть вождя, достойного по силе и мужеству быть преемником Спартака. Но благодаря своей энергии Криксу удалось удержать галльские легионы от выступления вместе с германскими, и надежды гречанки тогда рухнули.

Но пример погибших германцев, вместо того чтобы вызвать спасительное раскаяние, зажег во многих сердцах сильнее, чем когда-либо, желание идти на Рим. Одним хотелось отомстить за уничтоженные легионы, другим — предаться грабежу, при котором они рассчитывали на богатую добычу; а многие думали, что, примкнув к плану, за который стоял всеми любимый Эномай и из-за которого он и его германцы погибли, они покажут свою любовь к нему и совершат поступок, приятный его душе и достойный его памяти.

Все эти кипевшие среди легионов страсти и настроения использовал Гай Ганник, который раньше, чем продать себя в гладиаторы, терся на Форуме и умел красно говорить. Взяв слово после Спартака, он начал с похвального слова его доблести и прозорливости, чтобы никто не подумал, что он питает недоброжелательное чувство к Спартаку, ибо это ослабило бы действие его речи. Но потом в живых красках обрисовал печальное положение римлян и невозможность для них в данный момент сопротивляться нападению страшного гладиаторского войска силою в семьдесят тысяч доблестных мечей. Он убеждал легионы не упустить удобного случая, который, может быть, больше никогда не представится, — овладеть Римом. И закончил предложением завтра же двинуться по направлению к Тибру.

— На Рим!.. На Рим!.. — раздался после речи Ганника, подобно удару грома, крик пятидесяти тысяч голосов. — На Рим! На Рим!

Когда перешли к голосованию, то оказалось, что семь легионов единогласно приняли предложение Ганника, остальные шесть отклонили его незначительным большинством и только кавалерия почти единогласно поддержала предложение Спартака; таким образом, в результате

свыше пятидесяти тысяч гладиаторов пожелали идти на Рим, между тем как число желавших следовать совету фракийца не доходило до двадцати тысяч.

Легко понять, как сильно был огорчен Спартак неожиданным результатом этого голосования; оно опрокидывало все его планы и отдаляло гладиаторов от цели их восстания — сокрушить тираническое владычество Рима.

Долго стоял он, мрачный, подавленный и безмолвный, наконец, подняв лицо, бледное и грустное, сказал с горькой, иронической улыбкой Криксу, Гранику и Арториксу, которые, не менее грустные и потрясенные, чем он, молча стояли около него:

— Клянусь богами Олимпа! Не много сторонников набрал я себе среди гладиаторов после стольких трудов, опасностей и потрясений!.. Поистине, если бы чувство долга и голос совести меня не удержали, то можно было бы раскаиваться в том, что не были приняты предложения консула Марка Теренция Варрона Лукулла!.. Ну, пусть... Клянусь Геркулесом!.. Очень хорошо!..

Постояв еще несколько мгновений в раздумье, он внезапно как бы очнулся и, обращаясь к легионам, безмолвно ожидавшим решения, сказал

громким голосом:

— Хорошо, я подчиняюсь вашему решению: вы пойдете на Рим, но под начальством другого начальника, так как я с этого момента отказываюсь от звания вашего верховного вождя, которое вы дважды мне давали и которое теперь прошу передать другому, более достойному, чем я.

— Нет… Ради богов! — закричал Ливий Грандений, самнит, начальник двенадцатого легиона. — Ты всегда будешь нашим верховным вождем, так как нет никого среди нас равного тебе!

— Да будет Спартак снова нашим верховным вождем! — закричал во весь голос Борторикс.

— Спартак — верховный вождь!.. Спартак — верховный вождь!.. — закричали, как один человек, семьдесят тысяч гладиаторов, подымая высоко щиты.

— Нет, никогда!.. Я против похода на Рим и не желаю вести вас. Выберите одного из тех, которые уверены в победе.

— Ты — вождь!.. Ты — вождь!.. Спартак!.. Ты — вождь! — восклицали и повторяли тридцать или сорок тысяч голосов.

Когда шум стал утихать, Крикс подал знак, что хочет говорить, и, когда наступила тишина, сказал:

— Пусть вас будет сто тысяч гладиаторов под оружием… Пусть вас будет только сто, но лишь один может и должен быть нашим полководцем… Только победитель под Аквинумом, под Фунди, Камеринумом, Нурсией и Мутиной может и должен быть вашим вождем!.. Да здравствует Спартак-император!

Страшный, оглушительный рев раздался по всей этой долине Панаруса:

— Да здравствует Спартак-император!

Возмущенный фракиец отказывался принять это звание и делал все, чтобы спастись от настойчивых просьб своих друзей; но, уговариваемый, осаждаемый и вынуждаемый всеми начальниками легионов, прежде всего Арвинием, Орцилом и Гаем Ганником, всеми шестьюдесятью пятью военными трибунами, всеми центурионами и деканами, которых манипулы и взводы толкали ближе к Спартаку, чтобы они, применив дружеское насилие, заставили его сохранить за собой командование гладиаторскими легионами, он сказал, явно растроганный этим блестящим доказательством любви и уважения со стороны своих товарищей, хотя и выказавших непокорность:

— Вы этого хотите?.. Пусть будет так. Я согласен, ибо понимаю, что избрание другого вместо меня

приведет вас к кровавым внутренним столкновениям; я согласен сражаться рядом с вами и умереть впереди ваших рядов.

И в то время как все его благодарили и иные целовали его одежду, руки, превознося его доблесть и заслуги, он прибавил с очень печальной улыбкой:

— Я не сказал, что обещаю вести вас к победе, в этой необдуманной войне я не очень надеюсь на успех. Во всяком случае, мы пойдем на Рим. Завтра выступим в Бононию.

Таким образом, Спартак был насильно вынужден взяться за дело, которое он считал неосуществимым, и на следующий день, снявшись с лагеря, армия двинулась через Бононию к Ариминуму.

Но ослабление дисциплины и неповиновение стали замечаться в рядах гладиаторов, и это войско, столь грозное, одержавшее под руководством такого полководца, как Спартак, столько блестящих побед над войсками первого в мире народа, начало разлагаться и ослабевать под влиянием страсти к грабежу.

Спартак старался помешать этому, но безуспешно. То один легион, то другой, то сразу несколько нападали на города сенонов, через

страну которых шло войско, и грабили их. Это приносило двоякий вред: стройные гладиаторские легионы превращались в распущенные орды разбойников, возбуждали ропот и проклятия у подвергавшегося насилиям населения; кроме того, постоянные остановки замедляли быстроту хода, в которой до сих пор главным образом заключался секрет побед Спартака.

Насколько последний был удручен этим упадком дисциплины, легче представить себе, чем сказать. Сперва он сердился, ругал и осыпал бранью тринадцатый легион, которым командовал Гай Ганник, первым подавший пример грабежа, шумел и проклинал. Он добился лишь уменьшения зла, но полностью ликвидировать его ему не удалось: через два дня пятый и шестой легионы, которые шли в хвосте колонны, пока он двигался на Фавенцию, вошли в Имолу и разграбили ее. Фракиец должен был вместе с Криксом и тремя фракийскими легионами вернуться с дороги для того, чтобы привести грабителей к сознанию своего долга. Пока он занимался этим печальным для него делом, одиннадцатый легион (африканский), выступив из лагеря под Фавенцией, вошел в Бертинорум, небольшой городок сенонов, и разграбил его дочиста. Спартак должен

был поспешить и туда, чтобы положить конец солдатской распущенности.

Между тем в Рим дошли известия о поражении обоих консулов, а затем и претора Галлии Цизальпийской. Поднялись переполох и смятение. Скоро ужас народа и Сената усилился вестью о принятом гладиатором решении идти на Рим.

Комиции для выборов консулов на следующий год еще не собирались, и после поражений, понесенных Лентулом и Геллием, сильно уменьшилось число кандидатов, добивавшихся избрания на эту высокую должность. Тем не менее именно эти поражения и побудили Гая Анфидия Ореста просить консульства. Он говорил, что нельзя вменить ему в вину поражения при Фунди, где он с малыми силами был разбит Спартаком, раз обоих консулов с шестьюдесятью тысячами человек постигла та же участь. Сражения под Камеринумом и Нурсией, по его словам, напротив, являются его оправданием, даже больше — восстановлением его заслуг, до этого отрицаемых; ибо, говорил он, сражение при Фунди было менее сокрушительным для римлян, а для гладиаторов — гораздо более убийственным, чем сражения под Камеринумом и Нурсией.

Рассуждение было немного странное и греши-

ло против здравого смысла, так как тот факт, что он причинил зла меньше, чем другие, не доказывал, что и Анфидий Орест вел дело хорошо. Однако настроение умов в Риме по поводу войны с гладиаторами было столь удрученным и недостаток в кандидатах на консульство, явившихся на собрание комиций, был так велик, что на этот высокий пост на будущий год большинством были избраны указанный Анфидий Орест и Публий Корнелий Лентул Фура, родственник Лентула Клодиана, состоявшего консулом в этом году и разбитого Спартаком под Камеринумом.

Между тем Спартак был поставлен в невозможность продолжать наступление на Рим из-за наглого поведения и неповиновения тех самых легионов, которые так шумно требовали похода на этот город; поэтому он задержался почти на месяц в Ариминуме, где отказался от командования и на много дней заперся в своей палатке, не уступая никаким просьбам до тех пор, пока однажды все войско, собравшись перед преторием, на коленях оплакивая свое гнусное поведение и прося прощения, не заставило его выйти из палатки.

Фракиец появился перед гладиаторским войском, очень бледный, со следами страдания на

благородном открытом лице. Вид у него был изнуренный и разбитый и веки красны от долгих и горьких слез. При этом зрелище поднялись еще более громкие крики, уверения в любви и голоса раскаяния.

Он сделал знак, что желает говорить, и, когда воцарилась глубокая тишина, суровым и проникновенным голосом стал резко порицать поведение легионов; он говорил, что своими гнусными поступками они стали похожи не на людей, добивающихся свободы, а на самых подлых разбойников. Он остается непреклонным в своем решении не идти дальше с ними, если только они не предоставят ему полную и неограниченную власть подвергнуть примерному наказанию подстрекателей к грабежам и мятежам.

И после того как легионы единодушно согласились на его требование, Спартак принял снова командование над армией гладиаторов, и начал самыми суровыми мерами воскрешать в гладиаторах угасшее чувство долга, и снова вводить среди них строжайшую дисциплину.

Он присудил к смертной казни нумидийца Орцила, как самого дикого и упорного среди начальников легионов, который запятнал себя гнусным преступлением в Бертинориме, и

в присутствии всех легионов приказал его же собственным нумидийцам распять его на кресте; приказал побить палками и выгнать из лагеря двух начальников легионов — галла Арвиния и самнита Гая Ганника; кроме того — распять двести двадцать три гладиатора, которые во время грабежей выказали особенное зверство.

Затем он раскассировал все легионы и перестроил их не по национальностям, но, напротив, вливая в каждую манипулу и в каждую когорту соразмерное число солдат, принадлежавших к различным народностям, так что каждая манипула из ста двадцати человек составлялась из сорока галлов, тридцати фракийцев, двадцати самнитов и из десяти иллирийцев, греков и африканцев.

Реорганизованное войско было разделено на четырнадцать легионов, начальниками которых были следующие гладиаторы:

1-й легион — Брезовир, галл.
2-й легион — Фессалоний, эпирот.
3-й легион — Каст, галл.
4-й легион — Онаций, самнит.
5-й легион — Мессембрий, фракиец.
6-й легион — Ливий Грандений, самнит.
7-й легион — Идомей, фракиец.

8-й легион — Борторикс, галл.

9-й легион — Артак, фракиец.

Во главе десятого легиона был поставлен очень храбрый македонянин Эростен; во главе одиннадцатого — серьезный, строгий нумидиец, презирающий опасности и очень сильный Вибсальда; во главе двенадцатого — Элиал, галл, пожилой, бесстрашный гладиатор, насчитывавший пятьдесят лет и имевший на теле рубцы от пятидесяти ран; во главе тринадцатого — молодой иллириец, едва двадцати пяти лет, по имени Теулопик, благородного происхождения, богатый уроженец Либурнии, попавший в рабство и ставший гладиатором, очень преданный Гранику и обладавший почти сверхъестественной отвагой; наконец, во главе четырнадцатого, последнего легиона был поставлен галл, колоссального роста, дикой наружности, со взъерошенной густой бородой, по имени Индутиомар, который обладал необыкновенными силой и мужеством, благодаря чему пользовался большим уважением среди своих соплеменников.

Все эти легионы Спартак распределил на три корпуса: первый, состоявший из первых шести легионов, он поставил под команду Крикса; второй, состоявший из седьмого, восьмого, девятого

и десятого легионов, имел командиром Граника; третий, образованный из четырех остающихся легионов, был поставлен под начальство Арторикса.

Начальником кавалерии, состоявшей из восьми тысяч человек, остался Мамилий.

Но, производя это переустройство войска, Спартак увидел сразу необходимость крепить и сплотить новые легионы, прежде чем идти на Рим, и поэтому, уйдя из Ариминума, он пришел, делая небольшие переходы, через Форум Семпрония и Арециум в Умбрию, с целью дать время солдатам узнать и оценить друг друга и освоиться с новыми начальниками.

Тем временем в Рим пришли вести о совершенных гладиаторами грабежах среди сенонов, преувеличенные и раздутые молвою из-за ненависти к самому имени гладиаторов и из страха. Волнение и ужас еще усилились, и народные трибуны стали во всеуслышание кричать на Форуме, что пришло время позаботиться о спасении находящегося в опасности отечества.

Собрался Сенат; и пока одни сожалели, что отцы-сенаторы из-за неспособности посланных раньше для ликвидации этого дела полководцев вынуждены серьезно обсуждать вопрос о смехо-

творном мятеже гладиаторов, превратившемся в страшную войну и в тягчайшую угрозу для самого Рима, другие кричали, что пришло наконец время подняться — раз они дошли до такого позора — со всеми силами государства против гладиатора.

С другой стороны, Сенат, учтя, что оба тогдашних консула были позорно разбиты Спартаком, а из двух назначенных на будущий год консулов один тоже потерпел поражение от восставших, другой же, вследствие своей неспособности к военному делу, не подавал никаких надежд, решил специальным декретом — «Senatus consultum» — не поручать больше ведение этой войны консулам, а возложить его на особого, опытного полководца; последнему дать сильное войско и самые неограниченные полномочия, чтобы возможно скорее закончить войну с этим дерзким Спартаком, который, не довольствуясь столькими победами, осмеливается даже угрожать стенам Рима.

Поэтому было решено, что поход против Спартака будет доверен претору Сицилии, которого как раз в эти дни предстояло избрать.

При известии об этом решении все кандидаты на должность претора Сицилии исчезли, испу-

гавшись тяжести этой войны; а день комиций приближался, и все находились в растерянности, так как никто не являлся для избрания.

Очень многие граждане сожалели об отсутствии Метелла и Помпея, так как оба — первый при своем большом опыте, а второй при своей молодой доблести — были способны довести до успешного конца эту трудную задачу. Многие предлагали вызвать из Азии Лукулла, признанного опытнейшим и очень проницательным полководцем, чтобы поручить ему ведение этой войны.

Друзья Юлия Цезаря побуждали его предложить себя в качестве полководца в этом походе, обещая исходатайствовать для него у Сената и народа войско из восьми легионов и доказывая ему, что с сорока восемью тысячами легионеров и двадцатью или двадцатью двумя тысячами легковооруженных и кавалерии ему будет несложно одержать победу над гладиаторами.

Но Цезарь, которому постоянно мешали спать триумф и победы Помпея, решительно отказался от ведения этой войны, не менее трудной, чем война с Марианом Домицием и царем Ярбой в Африке, за которую Гней Помпей получил триумф, между тем как война с гладиаторами имела

ту невыгоду, что победителя не наградили бы не только триумфом, но даже овациями, так как нельзя было допустить, чтобы римская гордость оказала презренным гладиаторам честь считать их настоящей воюющей стороной.

— Если я приму на себя ведение войны, то только такой, за счастливое окончание которой я мог бы получить триумф — триумф должен послужить мне ступенью к консульству.

Так Цезарь говорил друзьям. Но возможно, что он имел и другое, более веское соображение и что именно оно побуждало его к отказу: Цезарь, наблюдавший своим орлиным взором за язвами, которыми болела теперь республика, изучавший их причины в прошлом и вероятные следствия в будущем, ясно видел, что и взявшиеся за оружие гладиаторы, и несчастные рабы, приставшие к ним, и жалкие пастухи Самниума, последовавшие за их знаменами, представляли как раз те три класса из неимущих и угнетенных, страсти и силы которых он хотел использовать с целью сломить навсегда надменность и тираническую власть олигархов. Он понимал, что он не привлечет симпатии этих обездоленных классов тем, что предстанет пред ними в качестве карателя, покрытого кровью несчастных гладиаторов.

Итак, в день комиций вместо Цезаря явился на Форум в белоснежной тоге Марк Лициний Красс, выставивший свою кандидатуру на должность претора Сицилии; к этому шагу его побудили наиболее влиятельные сенаторы, бесчисленные его клиенты, а больше всего — его собственное честолюбие: ему было мало, что он был первый по богатству и влиянию, — ему страстно хотелось добиться и военных лавров, которые так быстро возвеличили и прославили Помпея.

Марку Лицинию Крассу в это время было около сорока лет, и, как мы упоминали, он уже сражался в разное время под начальством Суллы, сперва в войне с италийцами, а потом — во время гражданских мятежей, и дал доказательства не только твердости духа и необыкновенной доблести, но также проницательности и способности вести и более значительные военные предприятия.

Поэтому, когда народ увидел, что он появился в одежде кандидата на должность претора, продолжительные и шумные рукоплескания встретили его и показали ему, как велико было доверие к нему в этот момент трепета и страха и как велики также были надежды, возлагаемые на него в будущей войне против гладиаторов.

Когда наступила тишина, народный трибун Л.

Аквилий Лемнон взял слово и призвал народ и Сенат к единодушному голосованию за Красса, лучше которого в это тяжелое время нельзя было желать для похода против Спартака.

— Однако необходимо, — сказал трибун, — наделить Красса такими силами и властью, которые дали бы ему возможность быстро закончить эту позорную, длящуюся уже три года войну.

Все согласились со словами Л. Аквилия, и Красс был единогласно избран претором Сицилии. Ему было предоставлено право набрать шесть легионов с соответствующим количеством вспомогательного войска и разрешено собрать разбитые легионы Лентула и Геллия, из остатков которых новый претор мог составить еще четыре легиона. Таким образом, Красс получал в свое распоряжение шестьдесят тысяч легионеров и двадцать четыре тысячи вспомогательных, а всего восемьдесят четыре тысячи человек — огромнейшее войско, больше которого не видали со времени возвращения Суллы в Италию после войны с Митридатом.

На следующий день после своего избрания Красс опубликовал воззвание, которым призывал к оружию граждан для войны против Спартака. Декрет Сената обещал необычайные награды

тем ветеранам из войск Суллы и Мария, которые согласятся принять участие в этом походе.

Этот декрет и воззвание Красса подняли дух впавших в уныние граждан; новый пыл охватил народ, и поднялось благородное соревнование между молодыми людьми из самых знаменитых семейств — все спешили записаться в легионы Красса.

Последний с лихорадочной энергией занялся формированием войска, выбрал себе квестора и трибунов среди людей, наиболее опытных в военном деле, какие только были в Риме, не обращая внимания ни на их положение, ни на сословие. На должность квестора он назначил Публия Элия Скрофу, земледельца из Тибура, который после деятельного участия в одиннадцати войнах, более чем в ста тридцати сражениях, получив двадцать две раны, награды и венки, вернулся к мирной жизни. Красс не счел ниже своего достоинства пойти и просить его согласия поступить к нему на службу, чтобы раз навсегда покончить с гладиатором. Скрофа, растроганный посещением Красса, охотно согласился быть квестором в войске Красса и, покинув ясный покой своих веселых родных холмов Тибура, последовал за ним в Рим. Через одиннадцать дней после своего

избрания претором Марк Лициний выступил во главе четырех легионов, составленных из старых солдат, набранных в Риме и в соседних областях, и направился в Отрикулум, город, находившийся между территориями экванов и умбров, в котором один из его заместителей — Авл Муммий — набирал и формировал два других легиона и вспомогательное войско.

В момент выступления из Рима Красса радостно приветствовал весь народ, собравшийся по ту сторону Ратуменских ворот, где он раскинул свой лагерь. Претору сопутствовали не только добрые пожелания граждан всех сословий, но еще и покровительство богов, проявивших свою благосклонность к этому походу путем добрых предзнаменований, — так, по крайней мере, заявили жрецы, гадавшие по внутренностям животных.

В первом легионе были две когорты, около тысячи человек, составленные целиком из юношей самых видных семейств, пожелавших следовать за Крассом в качестве простых солдат. Среди этих юношей были Марк Порций Катон, Тит Лукреций Кар, Гай Лонгин Кассий, Фауст, сын Суллы, Анний Милон, Корнелий Лентул Крус, Публий Ватиний, Кассиний Регил, Вибий Панза, Марций Цензорин,

Норбан Флакк, Гней Азиний Поллион и сотни других из консульских фамилий, которые сами, в свою очередь, стали вскоре консулами, а также и сотни из всаднических фамилий.

Все родственники, друзья и клиенты этих юношей провожали легионы Красса до Мильвийского моста, где войско, оставив Фламиниеву дорогу, перешло на Кассиеву, направляясь к Баккане. Через четыре дня Красс дошел до Отрикулума, где раскинул свой лагерь на сильной позиции, решив заняться здесь обучением своего войска. В то же время он рассчитал, что с этого места он одинаково прикрывал Рим от нападения гладиатора — двинется ли тот непосредственно из Умбрии или же пройдет через область пиценов.

Почти целый месяц стояли в полнейшем бездействии Красс в Отрикулуме и Спартак в Арециуме, занятые только подготовкой к военным действиям, придумыванием новых планов и новых ловушек для неприятеля.

Когда, по мнению Спартака, наступило подходящее время, он в одну бурную ночь велел своим легионам, соблюдая полную тишину, выйти из лагеря и, оставив там семь тысяч кавалерии под начальством Мамилия, остальной тысяче двинуться вперед в качестве разведчиков.

Воспользовавшись бушевавшим ураганом, он шел всю ночь, почти весь следующий день и достиг Игувиума, откуда намеревался двинуться, скрываясь от Красса, через Камеринум, Аскулум, Сульмону, Фуцинское озеро и Субиак на Рим.

Тем временем кавалерия, оставшаяся в лагере в Арециуме, продолжала свои набеги и разведки и, как обычно, запасалась в соседних городах продовольствием, с расчетом на семьдесят восемь тысяч гладиаторов, с целью уверить напуганное население, что войско гладиаторов все еще находится под Арециумом, о чем, по соображению Спартака, будет доведено до сведения Красса, который, таким образом, будет введен в заблуждение.

Между тем Спартак, идя вдоль цепи Апеннинских гор, по очень тяжелой дороге, заставляя свое войско делать не менее двадцати пяти — тридцати миль в день, шел через землю пиценов и спешил в Рим, к стенам которого он пришел бы неожиданно, если бы случай не открыл плана Спартака Марку Крассу.

Последний спустя три дня после ухода гладиаторского войска из Арециума, видя, что неприятель не выходит из своих окопов, решил пойти в атаку, пустив в ход все средства, чтобы вызвать

его на генеральное сражение, которым ему удалось бы разом положить конец всей войне.

Он двинулся из Отрикулума и за четыре дня быстрейшего марша — ибо Красс понял, что Спартака можно победить его же тактикой, — достиг окрестностей лагеря под Арециумом, откуда Мамилий, узнав о приближении римского войска, согласно приказу верховного вождя гладиаторов, ночью со своей кавалерией потихоньку ушел; таким образом, на рассвете следующего дня разведчики Красса, проникшие до самого вала лагеря повстанцев, могли убедиться в том, что войско Спартака покинуло лагерь.

Красс был поражен этим известием и долго гадал, какое направление мог выбрать Спартак. Он немедленно послал свою кавалерию объехать все дороги, идущие от Арециума по разным направлениям, с приказом делать разведку не менее чем на тридцать миль в окружности.

Вскоре он узнал, что кавалерия восставших, скрывшаяся из Арециума при его приближении, направилась через Игувиум к Камеринуму, через который, как ему донесли, Спартак со всем своим войском прошел несколько дней тому назад.

Тогда Красс, с сообразительностью опытного полководца, сразу понял, каково было намерение

гладиатора, и придумал очень остроумный план преградить дорогу Спартаку. Последний шел по дороге, идущей вдоль восточного склона Апеннин, Красс же решил быстро двинуться к Риму, держась вдоль западного склона этих гор. Таким образом, двигаясь параллельно Спартаку, Красс проходил почти по прямой, а следовательно, по значительно более короткой линии, чем Спартак, который был принужден идти по кривой, а потому и более длинной линии; благодаря этому один переход Красса равнялся трем переходам фракийца — преимущество, которое Крассу было необходимо иметь, если он хотел отвоевать время и пространство, уже выигранные гладиаторами.

Итак, в пять дней самого тяжелого марша, который римские легионы проделали с похвальным рвением, Красс дошел до Реате и, остановив здесь свои войска, дал им один день отдыха.

Тем временем Спартак прибыл, передвигаясь с необыкновенной скоростью, в Клитернум, возле Фуцинского озера, но неожиданно был задержан рекой Велинус, сделавшейся непроходимой от обильных дождей, которые выпали в эти дни. Он должен был задержаться на два дня, чтобы перебросить через реку плавучий мост, и еще на день — для переправы своего войска.

Красс же в это время, имея кавалерию в десять тысяч человек, которую он посылал на разведки далеко впереди своего расположения, был уведомлен об отходе Спартака к Клитернуму. Он приказал Авлу Муммию с двумя легионами и шестью тысячами вспомогательных частей перейти реку Велинус у Реате, затем скорым маршем вдоль левого берега реки двигаться на Альфабуцеллис, там перейти на правый и идти дальше, вплоть до Клитернума, но в то же время строжайше запретил Муммию принимать бой со Спартаком, а наоборот, отступать все время перед ним, пока он, Красс, не подойдет и не атакует Спартака с тыла.

Муммий точно выполнил полученные им от Красса распоряжения, касавшиеся передвижения, и на рассвете третьего дня пришел в Альфабуцеллис; но он не мог здесь расположиться лагерем и должен был выступить сейчас же, так как стремился догнать Спартака.

Хотя его солдаты были крайне утомлены, Муммий через ущелья Апеннин добрался до Субиака, где занял очень сильную позицию на склонах обрывистой скалистой горы с намерением двинуться отсюда на следующий день.

Но его трибуны стали уговаривать его не отсту-

пать больше перед неприятелем: они убеждали его, что он может использовать благоприятный случай, представляемый ему судьбой, и разбить Спартака без помощи Красса; в этих горных ущельях гладиатор будет лишен возможности использовать свое численное превосходство. Они упрашивали Муммия дождаться Спартака на следующий день на этой неприступной позиции: трибуны обещали ему от имени легионов, что будет одержана блестящая победа.

Муммий был совершенно увлечен надеждой на победу, которая казалась несомненной, и на следующий день при появлении Спартака вступил с ним в бой. Фракиец увидел, что он не может извлечь никакой пользы из занятой им позиции от своих четырнадцати легионов, и поэтому, пока тринадцатый и четырнадцатый легионы сражались с врагом, он, собрав в один корпус всех велитов и стрелков из остальных легионов, приказал им взобраться на вершины окружающих гор и с тыла ударить на римлян, обрушивая на них огромные камни и поражая их стрелами.

С большим рвением легковооруженные отряды повиновались приказу Спартака, и спустя едва три часа после начала битвы, в которой обе стороны сражались с равным мужеством и одина-

ковым упорством, римляне увидели, к великому своему изумлению и ужасу, что все близлежащие вершины покрыты неприятельскими пращниками и стрелками; они обрушивали на них град метательных снарядов всякого вида, а потом начали спускаться вниз, чтобы схватить их с флангов и с тыла. Увидев это, римляне повернули тыл и обратились в стремительное бегство, бросая оружие и щиты, чтобы бежать быстрее.

Однако на бежавших стремительно ринулись два легиона, сражавшиеся с ними до этого, и легкая пехота, спустившаяся со всех утесов и скалистых вершин. римлян постигло жестокое избиение: их пало свыше семи тысяч.



Глава XX
От сражения при Гарганской горе до похорон Крикса

Несмотря на то что сражение у Субиака закончилось так ужасно для римлян и так победоносно для гладиаторов, Спартак не смог извлечь из него никакой выгоды. Но Красс не был в состоянии задержать здесь Спартака, ибо в момент, когда фракиец обратил в бегство римлян, он узнал от Мамилия, оставленного для наблюдения за берегами Велинуса, что главная часть войска Красса перешла реку. Он тотчас же понял, что ему невозможно идти на Рим, оставив в тылу у себя Красса. Поэтому в тот же вечер, выступив из Субиака и перейдя Лирис у его истоков, он двинулся в Кампанию.

Что касается Красса, то он мог идти вперед лишь вечером того дня, когда Спартак выступил из Субиака, и таким образом не догнал его. О поражении Авла Муммия он узнал только на следующий день вечером.

Претор был вне себя от возмущения поступком Муммия и еще больше поведением его легио-

нов. Беглецы успели добраться до Рима, и там известие о новом поражении вызвало страшную панику, которая утихла только тогда, когда пришло донесение Красса. Красс разъяснил, что сражение вовсе не имело того значения, которое было придано ему страхом, и успокоил Сенат. В том же донесении претор просил Сенат немедленно отослать обратно к нему всех беглецов из легионов Муммия.

Через несколько дней беглецы вернулись в лагерь, и легко себе представить, как они были подавлены и пристыжены.

Красс, собрав вокруг претория все свое войско, расположил его в виде квадрата, внутри которого поставил беглецов, обезоруженных, унылых и посрамленных, и произнес речь. Он обладал большим красноречием. Резкими и суровыми словами он укорял их за то малодушие, которым они себя запятнали, убежав, подобно трусливым бабам, и побросав оружие — то оружие, которым их предки, пройдя через несравненно более тяжелые и опасные испытания, завоевали весь мир. Он доказывал необходимость задушить в корне этот глупый страх, позволявший в течение трех лет свободно делать набеги по всей Италии отрядам гнусных гладиаторов, этому сборищу

презренных рабов, которые казались сильными и храбрыми не вследствие своей доблести, но вследствие трусости римских легионов, некогда знаменитых своей непобедимой мощью, ныне же ставших предметом презрения и посмешищем всего мира.

Он сказал, что не потерпит больше позорного бегства, что пришло время доблестных дел и громких побед, что если для этого недостаточно чувства собственного достоинства и чести римского имени, то он добьется их железной дисциплиной и страхом перед самыми жестокими наказаниями.

— Я вновь введу в силу, — сказал в заключение Красс, — децимацию — казнь каждого десятого, к которой в редких случаях прибегали наши отцы и которую впервые применил к своим легионам децемвир Аппий Клавдий в триста четвертом году от основания Рима. Почти два века не приходилось прибегать к этой печальной необходимости, но так как вы бежите и позорно бросаете оружие перед врагом, то — клянусь богами Согласия! — я буду ее применять к вам. Начиная с этого дня ей будут подвергнуты девять тысяч трусов, которые стоят перед вами пристыженные, чувствующие всю тяжесть своего срама, с бледными и низко

опущенными головами, со слезами слишком позднего раскаяния.

И хотя многие самые авторитетные из трибунов и патрициев, находившиеся в его лагере, упрашивали его, он остался непреклонным, не пожелал отказаться от принятого сурового решения и приказал привести его в исполнение до вечера.

Тогда стали бросать жребий, и из каждых десяти солдат один, получавший жребий, предавался ликторам. Ликторы сперва секли его розгами, потом отрубали ему голову.

Это страшное наказание, которое иногда осуждало на смерть как раз тех, кто сражался доблестно и был неповинен в бегстве товарищей, произвело глубокое и очень тяжелое впечатление в лагере римлян. Несколько очень тягостных эпизодов произошло в течение этой печальной экзекуции, стоившей жизни девятистам солдатам. Пятеро или шестеро самых достойных легионеров Муммия, храбрость которых была известна всем сражавшимся под Субиаком, понесли наказание за чужую трусость. Среди этих храбрецов наибольшее сочувствие вызвал один двадцатилетний юноша, по имени Эмилий Глабрион, который до конца храбро сопротивлялся

натиску гладиаторов, получил две раны, не покидал своего поста и был увлечен бегством других. Все это знали, все громко заявляли об этом, но неумолимый жребий пал на него, и он должен был умереть.

Среди общего плача этот доблестнейший юноша, с лицом, покрытым бледностью смерти, но со спокойствием и твердостью, достойными Муция Сцеволы и Юния Брута, стал перед претором и мужественно сказал:

— Децимация, примененная тобой, была не только полезна и необходима для блага республики, но справедлива и заслужена позорным поведением наших двух легионов в последнем сражении. Судьба оказалась против меня, и я должен умереть, но так как ты, Марк Красс, знаешь, как знают все мои товарищи по оружию, что я не был трусом и не бежал, а храбро сражался, как подобает римлянину, хотя и был ранен, как ты видишь, — и он показал перевязанную левую руку и окровавленную повязку, покрывавшую его грудь, — то я прошу у тебя милости: пусть розга ликторов не оскверняет моей спины, пусть они меня ударят, но только топором.

Все со слезами стали умолять претора, и тот, побледнев при словах юноши и, очевидно, рас-

троганный, ответил:

— Я согласен исполнить твою просьбу, мужественный юноша, мне только жаль, что суровость закона наших предков запрещает мне сохранить тебе жизнь, как ты этого заслуживаешь…

— Умереть на поле сражения и от руки врага или же здесь, на претории, под топором ликтора — это одно и то же, так как жизнь моя принадлежит отечеству; мне достаточно уже того, что все узнают — узнает моя мать, узнает народ, узнает Сенат, что я не был трусом… Смерть ничто, раз я спас свою честь.

— Ты не умрешь, юный герой! — закричал один из солдат, выйдя из рядов легионов Муммия.

Подбежав к претору, с глазами, полными слез, громким, но дрожавшим от волнения голосом он воскликнул:

— Славный Красс, я — Валерий Атал, римский гражданин и солдат третьей когорты третьего легиона, одного из тех, которые были разбиты под Субиаком. Я стоял рядом с этим мужественным юношей и видел, как он сражался, будучи раненным, как он сопротивлялся в то время, когда мы все обратились в бегство, в которое вовлекли и его. Так как теперь ликтор должен поразить одного из десяти бежавших, пусть он

поразит меня, который бежал, а не того, во имя богов — покровителей Рима, который вел себя как римлянин древнего рода!

Поступок этого солдата, который в бою поддался панике и бежал, а теперь проявил такое благородство души, усилил общее волнение; началось благородное и трогательное соревнование между Аталом и Глабрионом; каждый требовал топора для себя. Но Красс был непреклонен, и Глабрион был передан ликторам.

Тогда поднялись жалобные восклицания среди двух подвергнутых наказанию легионов, а на глазах многих тысяч солдат этих и других легионов показались слезы. Глабрион, повернувшись к своим соратникам, сказал:

— Если вы верите, что я умираю без вины, если случай со мной вызывает у вас искреннюю жалость, если вы желаете обрадовать мою душу в элизиуме сладкой надеждой и нежным утешением, то поклянитесь богами Согласия, поклянитесь, что вы все умрете, но никогда не повернете тыл перед гнусными гладиаторами!

— Клянемся!.. Клянемся!..

— Именем богов клянемся! — подобно страшному, оглушительному удару грома, закричали одновременно шестьдесят тысяч голосов.

— Вышние боги да защитят Рим!.. Я умираю с радостью! — воскликнул несчастный юноша.

И он подставил обнаженную шею под топор ликтора, который быстрым и метким ударом отрубил его благородную голову, и она, окровавленная, покатилась на землю среди общего крика жалости и ужаса.

Марк Красс отвернулся, чтобы скрыть две слезы, скатившихся по его щекам.

Когда экзекуция закончилась, Марк Красс приказал снова раздать оружие беглецам из субиакских легионов и после краткой речи выразил надежду, что они больше никогда не побегут перед врагом.

Приказав похоронить девятьсот убитых, он на следующий день снялся с лагеря и двинулся по следам Спартака. А тот, увидев невозможность нападения на Рим, пересек с большой быстротой Кампанию и Самниум и снова повел свое войско в Апулию, в твердой надежде завлечь туда Красса. Вдали от Рима, который всегда мог усилить своими подкреплениями войско претора, он надеялся вступить в генеральное сражение с ним, уничтожить его легионы и после этого двинуться к Тибру.

Но если Спартак передвигался быстрым мар-

шем, то не менее быстро шли легионы Красса, после вышеописанного наказания стойко переносившие все трудности и жаждавшие боя.

В пятнадцать дней претор догнал гладиатора на земле даунов, где последний расположился лагерем близ Сипонтума. Так как Красс прибыл сюда с намерением запереть гладиаторов между своим войском и морем, он устроил свою стоянку между Арпинумом и Сипонтумом и ждал удобного случая завязать сражение со Спартаком.

Через три дня после того, как оба войска остановились друг против друга, в тихий час ночи, когда в римском лагере царила глубокая ночная тишина, Красса, спавшего в своей палатке, разбудил один контуберналий и доложил ему о прибытии гладиатора, который, по его словам, должен переговорить с претором об очень важных делах.

Красс был чрезвычайно воздержан и уделял сну очень мало времени. Он встал и приказал контуберналию ввести гладиатора.

Последний был мал ростом и одет в роскошные доспехи. Лицо его скрывалось под опущенным забралом. Подойдя к Крассу, он поднял забрало и показал претору свое бледное, женственное лицо.

Это была Эвтибида, явившаяся к Крассу с целью

предать ему своих братьев по оружию.

— Ты не узнаешь меня, Марк Лициний Красс? — сказала она иронически.

— Да, да… конечно… твое лицо мне как будто знакомо… и даже… — бормотал претор, роясь в памяти. — Ты не мальчик, клянусь всемогущими богами, а женщина! Возможно ли? Клянусь Венерой Эрицинской… ты…

— Скоро же ты забыл поцелуи Эвтибиды, которые ни один мужчина никогда не забывал!

— Эвтибида! — воскликнул удивленный и пораженный Марк Красс. — Клянусь молниями Юпитера! Эвтибида! Каким образом ты здесь? И почему в этот час?.. В этом вооружении?

Внезапно охваченный недоверием, он отступил на один шаг, скрестил руки на груди и, устремив на нее свои изжелта-серые глаза, загоревшиеся искрами яркого света, которые иногда оживляли их тусклый взгляд, произнес твердым и суровым голосом:

— Если ты пришла поймать меня в сети, я тебя предупреждаю, что ты пришла напрасно, потому что я не Клодий, не Вариний, не Анфидий Орест…

— Это не мешает тебе быть туповатым, бедный мой Красс, — ответила с насмешливой улыбкой

и со свойственной ей дерзостью гречанка, бросив на претора взгляд, горящий гневом и злобой. — Да, Красс, — продолжала она после минутного молчания, — ты самый богатый, но отнюдь не самый умный среди римлян.

— Чего ты хочешь?.. К чему ты клонишь?.. Говори кратко.

Эвтибида умолкла на мгновение. Она покачивала головой и с сардонической улыбкой на губах смотрела на римского претора.

— Клянусь славой Юпитера Олимпийского, — добавила она, — я принесла тебе победу и не думала, что ты окажешь мне такой прием! Хороша награда, клянусь богами!..

— Скажешь ли ты наконец, зачем ты пришла? — спросил Красс все еще с недоверием и нетерпением.

Тогда Эвтибида в пламенных речах изложила Крассу причину своей неугасимой ненависти к Спартаку, рассказала об избиении при ее содействии десяти тысяч германцев, открыла претору, как после сражения она, по милости эриний-мстительниц, приобрела славу доблестной и храбрейшей женщины у гладиаторов, которые с того времени питают к ней полное доверие. Она закончила уверением, что, пользуясь этим

доверием, она добилась своего назначения на должность контуберналия Крикса для того, чтобы помочь римлянам захватить войско гладиаторов, разделенное теперь на две части, и доставить им блестящую и решительную победу.

Красс выслушал слова Эвтибиды с большим вниманием, устремив на нее испытующий взор. Когда она кончила свою речь, он медленно и спокойно ответил:

— А если вся эта твоя болтовня — только хитрость, чтобы завлечь меня в ловушку, приготовленную Спартаком?.. А? Что ты скажешь на это, прекраснейшая Эвтибида?.. Кто мне поручится за искренность твоих слов и намерений?..

— Я сама, отдав свою жизнь в твои руки, в залог правдивости моих обещаний.

Красс, казалось, впал в некоторое раздумье, а затем сказал:

— А если и это хитрость?.. А если ты решила пожертвовать жизнью, лишь бы дать торжество делу рабов?

— Клянусь твоими богами, Красс, ты стал уж чересчур недоверчив!

— А не думаешь ли ты, — сказал медленно претор Сицилии, — что лучше быть с людьми излишне недоверчивым, чем слишком довер-

чивым?

Эвтибида, бросив на Красса испытующий и насмешливый взгляд, после краткой паузы сказала:

— Кто знает?.. Может быть, ты и прав. Во всяком случае, выслушай меня, Марк Красс! Я, как я уже тебе сказала, пользуюсь полным доверием Спартака, Крикса и остальных начальников гладиаторов. Например, я знаю, что́ задумал на твою погибель гнусный фракиец.

— Ты не лжешь? — спросил Красс полушутя-полусерьезно. — Ну, что он задумал?.. Посмотрим.

— Завтра, среди дня и с возможно большей оглаской для того, чтобы об этом к тебе пришло поскорее известие, два корпуса, под командой Граника и Арторикса, силой в восемь легионов, с кавалерией, в общем сорок тысяч человек, под руководством Спартака выйдут из Сипонтума, направляясь к Барлетте, будто бы с намерением двинуться в землю пецентан; а в это время Крикс со своим корпусом в тридцать тысяч человек останется у Сипонтума, распуская слух, что он отделился от Спартака вследствие непримиримых разногласий, возникших между ними. Как только ты узнаешь об уходе Спартака, ты бросишься на Крикса, но, когда тот завяжет с тобой сражение,

Спартак, который укроется со своим войском в лесах, окаймляющих дорогу от Сипонтума к Барлетте, быстро вернется обратно, обрушится на тебя с тыла, и твое войско, как бы храбро оно ни было, будет все изрублено!

— Ай-ай! — сказал Красс. — Это и есть их план?

— Да.

— Мы еще посмотрим, попаду ли я в ловушку!

— Без моего предупреждения, уверяю тебя, Красс, попал бы. А хочешь сделать больше? Хочешь не только избежать их козней, а поймать их в те самые сети, которые они раскинули для тебя? Хочешь разбить и совершенно уничтожить тридцать тысяч солдат Крикса и затем обрушиться со своими силами, почти вдвое большими, на Спартака?

— Допустим!.. Что я должен сделать для этого?

— Выступить завтра на рассвете отсюда и направиться к Сипонтуму; ты дойдешь туда, когда Спартак будет в пятнадцати или двадцати милях оттуда. И в то время как он будет ждать меня — так как мне будет доверено это ответственное поручение — с известием о твоих передвижениях, о том, что ты на пути в заготовленную для тебя засаду, я, наоборот, скажу ему, что ты не двинулся из своего лагеря. Потом я вернусь

к Криксу и передам ему, что Спартак приказывает ему отправиться к Гарганской горе и там защищаться из последних сил, в случае если ты нападешь на него. Едва Крикс удалится на значительное расстояние от Спартака и достигнет склонов Гаргануса, ты на него нападешь и будешь иметь время совершенно разбить его, прежде чем Спартак, если даже к нему придет каким-нибудь образом известие об опасном положении Крикса, успеет прийти к нему на помощь.

Красс с удивлением слушал эту гадину, излагавшую ему с такой основательностью и проницательностью целый план сражения, вероятно гораздо лучший, чем он сам мог бы придумать. Он долго молча смотрел на куртизанку, щеки которой сильно раскраснелись от чрезмерного возбуждения своей пламенной речью, и вдруг воскликнул:

— Клянусь Юпитером Освободителем, ты ужасная женщина!

— Такой меня сделали мужчины, клянусь всеми богами! — возразила девушка, которая, запнувшись на миг, добавила с горькой улыбкой: — Не будем говорить об этом. Что ты скажешь по поводу моего плана и моих расчетов?

— На самом дне ада не придумали бы ничего

более ужасного и дьявольски ясного. Только повторяю тебе, что я не верю тебе и…

— Хорошо, послушай. Чем ты рискуешь, выступив завтра за два или три часа до полудня и пустив вперед с большой осторожностью своих разведчиков на Сипонтум? В худшем случае, допуская, что я тебе изменила, ты очутишься лицом к лицу со всем гладиаторским войском. Но разве ты здесь не для этого? Разве ты не жаждешь вступить с ним в решительный бой? Допустим, что я тебе солгала, но что за беда, если ты вместо одного Крикса найдешь там и Спартака? Что в этом будет плохого?

Красс подумал еще немного и сказал:

— Ладно, я тебе верю… или, вернее, предпочитаю верить и обещаю, что, если все произойдет согласно твоим хитрым и глубоким предвидениям, ты получишь огромную награду от меня и еще большую от Сената, который я поставлю в известность о важных услугах, оказанных тобой римскому народу.

— Что мне до ваших наград! Что мне за дело до римского народа! — сказала дрожащим и возбужденным голосом, со свирепым и презрительным жестом гречанка, глаза которой зловеще сверкали гневом и негодованием. — Не ради тебя и

не ради римлян я несу тебе победу, а ради моей мести!.. Можешь ли ты понять это божественное и невыразимое наслаждение, которое доставляет нам несчастье ненавистного врага, которое заставляет нас упиваться его слезами, которое приводит нас в экстаз при виде его крови?.. Лишь бы я могла стать коленом на грудь Спартака, умирающего среди своих перебитых товарищей, лишь бы я могла услышать последнее его хрипение среди безграничного поля трупов! На что мне нужны твои дары! К чему мне награды Сената!

В то время как куртизанка мрачным, тихим голосом, с бледным лицом, сверкающими глазами, дрожащими устами произносила эти жестокие слова, в которых проявлялась вся глубина ее ненависти и ее кровожадных мечтаний, лицо ее исказилось так ужасно, что даже Красс почувствовал отвращение и дрожь, похожую на ту, которая пробегает по телу под влиянием страха.

Они договорились, так как Красс, который серьезно задумывался над исходом этой войны, решил, что можно быть не очень щепетильным в выборе средств, лишь бы они привели его к победе.

Эвтибида, вскочив на коня, тихонько выехала из римского лагеря и, пустив горячее животное

крупной рысью, направилась к лагерю гладиаторов.

На рассвете Красс велел снять палатки. Он пустил вперед пять тысяч всадников с приказом осторожно продвигаться на три мили впереди легионов и осматривать окрестности во избежание какой-либо засады или неожиданности. А вскоре после восхода солнца выступил и сам по направлению к Сипонтуму, двигаясь медленно, с одной стороны, для того, чтобы избежать ловушек, с другой — для того, чтобы не утомить своих солдат, на тот случай, если придется неожиданно вступить в бой с неприятелем.

Тем временем в лагере гладиаторов Спартак, после того как палатки были убраны, выступил с восемью легионами и кавалерией по направлению к Барлетте. Крикс же остался со своими шестью легионами в Сипонтуме. По окрестностям прошел слух, что войско восставших вследствие сильной ссоры, возникшей между Спартаком и Криксом, разделилось на две части, причем одна часть замышляла остановить римские легионы, стоявшие лагерем близ Арпинума, а вторая решила двинуться через Беневентум на Рим. Этот слух был тотчас же сообщен Крассу его разведчиками.

«Пока что, — подумал начальник римлян, — Эвтибида была точна и не обманула нас. Это является хорошим предзнаменованием для остального».

Так действительно и было.

Следующей ночью, пока войско Красса, притаившись, стояло вблизи густейшего леса, в обрывах цепи Гарганских гор, в четырех милях от Сипонтума, Эвтибида во весь опор мчалась по дороге в Барлетту. Она везла донесение Крикса Спартаку, что неприятель вышел из Арпинума и попал в ловушку; пусть Спартак немедленно выступит, чтобы вернуться к Сипонтуму.

Когда гречанка явилась к Спартаку, он, скрывавшийся со всеми своими легионами в северных зарослях обрывов, окаймлявших дорогу от Сипонтума в Барлетту, тревожно спросил ее:

— Ну, как?

— Красс еще не двинулся из Арпинума; хотя он и послал несколько тысяч разведчиков к Сипонтуму, но наши шпионы заверили Крикса, что никакой приказ еще не был дан римским легионам приготовиться к выступлению из лагеря.

— Во имя богов! — воскликнул фракиец. — Этот Красс умнее и хитрее, чем я думал!

После недолгого раздумья он сказал, обращаясь

к Эвтибиде:

— Возвращайся к Криксу и скажи ему, чтобы он не двигался из лагеря что бы ни случилось, а когда Красс подойдет к нему и начнет с ним сражение, пусть пошлет ко мне трех ординарцев с промежутками в четверть часа одного за другим, с тем чтобы предупредить меня: из трех во всяком случае один доберется ко мне. Я не знаю… но мне кажется, что это нежелание Красса использовать благоприятный случай разбить нас, меня и Крикса, порознь, является дурным предзнаменованием для нас.

И фракиец несколько раз провел правой рукой по лбу, как бы желая прогнать грустные мысли; затем спросил Эвтибиду:

— Сколько часов ты ехала из вашего лагеря сюда?

— Меньше двух часов.

— Ты мчалась во весь опор?

— Можешь убедиться по состоянию моего коня.

Спартак подумал и сказал:

— Ну так возвращайся тоже во весь опор.

Эвтибида попрощалась со Спартаком и, повернув лошадь, пустила ее галопом по направлению к Сипонтуму.

Явившись туда, она передала Криксу, что Спартак приказал ему выступить из Сипонтума, направиться к подошве горы Гарганус и постараться занять там неприступную позицию.

Когда Эвтибида прибыла в лагерь легионов Крикса, до рассвета было еще два часа, поэтому галл немедленно приказал своим солдатам потихоньку собрать палатки, и раньше, чем взошло солнце, войско Крикса было уже на пути к Гарганусу.

Через четыре часа оно дошло до подошвы очень высокой горы. С нее открывался обширный вид на прозрачное Адриатическое море, среди волн которого мелькали паруса рыбачьих барок.

В то время как Крикс, находившийся на крайнем отроге Гарганской горной цепи, как раз у самого моря, в удобном и защищенном месте, отдавал приказ разбить лагерь, внезапно среди легионов поднялись тысячи голосов, восклицавших:

— Римляне!.. Римляне!..

Это были легионы Красса, пришедшие по указанию предательницы атаковать тридцать тысяч гладиаторов, в то время как они находились в семи часах хода от войска Спартака.

Крикс не растерялся при этом неожиданном

нападении, а со спокойствием и твердостью доблестного полководца расположил в боевой порядок свои легионы, применяясь к неровностям почвы; четыре легиона он поместил открытым фронтом к неприятелю и для того, чтобы выставить перед римлянами возможно более длинную линию фронта, протянул ее направо до холма, где предполагал разбить лагерь, который бы охранялся пятым и шестым легионами, стоявшими здесь в резерве; левую сторону фронта он протянул к обрывистым и неприступным скалам, у подошвы которых с тихим рокотом разбивались волны моря.

Очень скоро шесть римских легионов сомкнутым строем стремительно бросились на гладиаторов. Дикие крики сражавшихся, оглушительный шум ударов мечей и щитов нарушили вековой покой пустынного лесного места, и эхо повторяло от пещеры к пещере, от скалы к скале эти необычные заунывные звуки.

Крикс объезжал свои ряды, Красс — свои, воодушевляя войска к битве. И она была ужасна, так как ни та ни другая сторона не отступала ни на шаг. Смерть давалась и принималась с диким безумием.

Крайнее левое крыло легионов Крикса, так как

римляне атаковали сплошным строем, не было окружено; благодаря этому свыше трех тысяч человек из четвертого легиона стояли здесь в бездействии, пассивными зрителями этого боя, горя желанием принять в нем участие. Видя это, самнит Онаций, командовавший легионом, сам поспешил стать во главе этих трех тысяч и, скомандовав им «оборот направо», повел их на правое крыло римлян. Гладиаторы обрушились на них так стремительно, внося смерть в их ряды, что римский легион, составлявший крайнее правое крыло, теснимый с фронта и с фланга, сразу пришел в полное расстройство.

Но это оказалось успехом мнимым и кратковременным, так как квестор Скрофа, командовавший этим крылом, помчался, пришпорив коня, к месту, где стояла в резерве римская кавалерия, и приказал Гнею Квинту, ее начальнику, ударить с шестью тысячами коней на левый фланг, который маневр Онация оставил незащищенным. Квинт немедленно помчался, и вскоре третий и четвертый легионы гладиаторов подверглись натиску римской кавалерии с тыла, в результате чего ряды гладиаторов были сломлены, их охватила паника, и началось страшное избиение.

А Красс одновременно послал два легиона и

шесть тысяч стрелков в обход правого фланга Крикса; с необычайным пылом и быстротой вскарабкавшись на вершины, находившиеся позади холма, на котором стояли резервы гладиаторов, они очень скоро взобрались на этот холм, перебежали его и, спускаясь кольцом, напали на пятый и шестой легионы; но те, вытянув свой правый фланг, насколько позволяла местность, образовали новую боевую линию; таким образом, оба гладиаторских фронта представляли две стороны треугольника, основанием которого было море, а вершиной — вышеупомянутый холм.

Завязалось ожесточенное и страшное сражение.

Красс, заметив искусный маневр Мессембрия и Ливия, начальников пятого и шестого легионов, и видя, что ему не удается окружить правый фланг гладиаторов, воспользовался промахом, совершенным Онацием и уже использованным Скрофой, — он бросил в эту же сторону с целью окружения левого фланга не только остаток своей кавалерии, но еще два легиона, приказав обойти гладиаторов с тыла.

Так, несмотря на чудеса храбрости, совершенные в этой схватке тридцатью тысячами человек против восьмидесяти тысяч, меньше чем в три

часа шесть легионов Крикса, окруженные со всех сторон и теснимые почти тройным числом врагов, были безжалостно изрублены и, не пытаясь спастись, сражаясь, подобно диким зверям, пали с честью, дорого продавая жизнь на этом обширнейшем поле смерти.

Крикс, сражавшийся до конца со свойственным ему мужеством и до конца надеявшийся на приход Спартака, увидев, что большая часть его товарищей погибла, остановил своего коня — это был третий за этот день, так как два уже были убиты под ним, — и окинул полным невыразимой нежности взглядом это ужасное побоище, представшее его глазам. Крупные горячие слезы потекли по его щекам. Устремив взор на ту точку горизонта, откуда должен был прийти Спартак, он воскликнул дрожащим и полным любви голосом:

— О Спартак!.. Ты не придешь вовремя ни чтобы спасти нас, ни чтобы отомстить за нас!.. Каково будет у тебя на сердце, когда ты увидишь жалкую гибель тридцати тысяч твоих доблестнейших товарищей!

Подняв левую руку, он решительным движением вытер слезы и, повернувшись к своим контуберналиям — среди них с самого начала

сражения уже не было Эвтибиды, — сказал спокойным и звучным голосом:

— Братья!.. А теперь пора умирать!

И, подняв меч, весь красный от крови убитых им римлян, он пришпорил коня и обрушился на манипулу пеших врагов, окружавших восемь или десять гладиаторов, которые, покрытые ранами, еще сопротивлялись, и, вращая над головой своим страшным мечом, закричал громовым голосом:

— Эй вы, храбрые римляне! Вы смелы, когда вас трое против одного! Держитесь! Я иду умирать!

Крикс и его четверо контуберналиев, врезавшись в неприятельские ряды, начали валить на землю, топтать лошадьми и убивать мечами римлян, которые с трудом, хотя их было восемьдесят или девяносто, могли защищаться от этой бури могучих ударов. Сперва легионеры, пришедшие в некоторое расстройство, отступили, а потом, по мере того как к ним подходили по два, по четыре, по десяти новых товарищей, сомкнулись все вокруг этих пятерых гладиаторов. Они были сбиты с коней, которые пали, пронзенные многими мечами, и, пешие, дрались с неслыханной яростью. Но римляне, нападая на них спереди, с боков и сзади, скоро покончили с ними сотнями

ударов. Пал и Крикс, тело которого представляло собой одну сплошную рану. Падая, он повернулся к римлянину, поразившему его в спину, и пронзил его своим мечом, увлекая его за собой. Но клинок остался вонзенным в грудь легионера, и Крикс, не имея уже сил извлечь его, пораженный стрелой, пущенной в него на расстоянии пяти шагов, прошептал:

— Пусть улыбнется тебе… Спартак… победа… — И сомкнул уста.

Другой легионер, метнув дротик в его покрытую кровью и израненную грудь, закричал:

— А ты пока отправляйся на тот свет!

— Клянусь богами Пателлариями! — воскликнул один ветеран. — Во всех войнах Суллы я не видел человека более живучего!

— Такого сильного и бесстрашного я никогда не видел во время похода Мария в Африку и в войнах против тевтонов и кимвров, — заметил другой ветеран.

— Смотрите, клянусь Марсом, — сказал третий легионер, показывая на трупы римлян, лежавшие вокруг Крикса, — сколько он перерезал наших, пусть Эреб поглотит его душу!..

Так в течение трех часов закончилось сражение у Гарганской горы, в котором погибло десять

тысяч римлян и были изрублены тридцать тысяч гладиаторов.

Только около восьмисот человек из гладиаторов, большей частью раненые, были по приказу Красса взяты в плен и присуждены к распятию вдоль дороги, пройденной римлянами в течение прошлой ночи.

После полудня Красс приказал трубить сбор, сжигать трупы римлян, а после этого заняться разбивкой лагеря и укреплением его широкими рвами. Трибунам и центурионам он велел приготовить легионы и когорты к выступлению до полуночи.

Между тем Спартак в невыразимой тревоге ожидал весь день и всю ночь контуберналиев Крикса, которые должны были прибыть с сообщением о приближении римлян. Увидев, что никто не является, он послал на рассвете двух собственных контуберналиев, каждого с сотней кавалеристов и с промежутком в полчаса одного за другим, к Сипонтуму, чтобы собрать сведения о неприятеле и о Криксе; он сделал это еще потому, что его солдаты, выступив из лагеря, взяли с собой продовольствия только на три дня; с концом этого дня они оставались без пищи.

Когда первый контуберналий Спартака при-

был в лагерь при Сипонтуме, он нашел его, к своему крайнему изумлению, покинутым и, не зная, что делать дальше и как это истолковать, ждал прибытия второго контуберналия, чтобы посоветоваться с ним насчет дальнейшего. Пока они стояли в сомнении и нерешительности, по направлению к лагерю мчались на тяжело дышавших и покрытых пылью лошадях два контубериалия, посланные Криксом к Спартаку при первом появлении римлян — ибо Крикс полагал, согласно донесению Эвтибиды, что Спартак уже в течение нескольких часов на пути в Сипонтум, — для того, чтобы ускорить его продвижение.

Легко себе представить настроение четырех контуберналиев, когда они поняли предательский замысел Эвтибиды и ужасное положение, в котором очутился Крикс. В этих тяжелых обстоятельствах они решили, что им остается сделать одно: во весь опор мчаться уведомить обо всем Спартака.

Они так и сделали; но, когда они прибыли туда, где гладиаторы стояли в засаде, сражение у Гарганской горы уже близилось к концу.

— Клянусь богами ада! — проревел Спартак, побледнев, как мертвец, при злополучном известии о подлой измене, все страшные последствия

которой сразу стали ему ясны. — В поход! Немедленно в поход, к Сипонтуму!

Садясь на коня, он позвал Граника и голосом, в котором слышались слезы, сказал ему:

— Поручаю тебе вести форсированным маршем восемь легионов. Пусть у каждого солдата вырастут крылья на ногах, ради богов!.. Это день несчастий для нас… И пусть у каждого сердце будет тверже алмаза!.. Летите!.. Летите!.. Крикс гибнет!.. Наши братья умирают массами, зверски избиваемые!.. Я иду на помощь вперед с кавалерией… Ради всего для вас святого, спешите, летите!

Сказав это, он во главе восьми тысяч всадников во весь опор помчался по дороге в Сипонтум.

За полтора часа они прибыли туда на дымящихся и обессиленных конях, и первые, кого Спартак увидел, когда оказался близ места, где Крикс стоял лагерем до этого дня, были семь или восемь гладиаторов, окровавленные и задыхавшиеся, которые чудом спаслись от побоища.

— Ради Юпитера Мстителя, скажите, что случилось? — спросил Спартак, задыхаясь.

— Мы разбиты… уничтожены… от наших шести легионов осталось одно название!

— О мои несчастные братья!.. О мой люби-

мый Крикс!.. — воскликнул в отчаянии Спартак, закрыв лицо руками и разразившись безудержными рыданиями.

И начальники кавалерии, и контуберналии Спартака хранили глубокое молчание при виде этой благородной и святой скорби. Растерянность и тревога, появившиеся на всех лицах при этом ужасном известии, еще усилились при виде слез их мужественнейшего вождя.

Долго длилось молчание, пока Мамилий, находившийся рядом со Спартаком, не сказал ему мягким, дрожавшим от волнения голосом:

— Смелее… благороднейший Спартак… Будь мужествен в несчастье…

— О мой Крикс!.. Мой бедный Крикс!.. — воскликнул скорбным голосом фракиец, обнимая правой рукой шею Мамилия, скрывая лицо на его груди и снова разражаясь рыданиями.

Спустя мгновение он поднял мокрое от слез, бледное лицо и ладонью левой руки стал вытирать глаза.

Мамилий говорил:

— Мужайся, Спартак!.. Подумаем о том, как спасти остальные восемь легионов.

— Это верно. Необходимо найти средство против грозящей гибели и сделать менее пагубными

последствия гнусного предательства этой подлой фурии ада.

И, погрузившись в глубокое раздумье, он долго стоял с расширенными глазами, неподвижно устремленными на главные, правые ворота, видневшиеся через частокол соседнего лагеря.

Очнувшись, он сказал:

— Надо отступать. После кровопролитной битвы, которую они должны были выдержать раньше, чем изрубить наших братьев, легионы Красса не будут в состоянии двинуться от Гарганской горы ранее чем через восемьдесят часов; нам необходимо использовать это время, чтобы поправить наше положение. — И, обращаясь к одному из контуберналиев, добавил: — Скачи к Гранику и передай ему, чтобы он остановился и повернул легионы назад.

А когда контуберналий помчался галопом, он снова повернулся к Мамилию и сказал ему:

— Через Минервий и Венузию, делая по тридцать миль в день по горам, мы в пять-шесть дней доберемся до земли луканов, где новые рабы присоединятся к нам; оттуда, если мы будем не в силах сразиться с Крассом, мы сможем всегда кинуться в область бруттиев, и пробраться затем в Сицилию, и там вновь зажечь не совсем погасшее

пламя восстания среди рабов.

Через полчаса отдыха, предоставленного измученным очень быстрой скачкой лошадям, он приказал кавалеристам повернуть обратно и восьми из них посадить позади себя восемь обессиленных гладиаторов, оставшихся в живых после побоища у Гарганской горы, и вернулся к восьми легионам, остановившимся на полпути.

Здесь, отозвав в сторону Граника, он сообщил ему свой план, который иллириец нашел превосходным. Выполнение этого плана фракиец поручил ему, рекомендуя идти в течение следующих двенадцати часов до Гердонеи.

— Сам я, — прибавил Спартак, — с тремястами всадниками решил отправиться к Гарганской горе, чтобы подобрать тело Крикса.

Граник пытался отговорить Спартака от этого намерения, указывая на опасности, которым он подвергал себя, доказывал ему, что он может презирать их как частный человек, но не имеет права идти им навстречу как вождь и душа святого и трудного дела.

— Я не погибну и догоню вас через три дня на Апеннинском хребте; но даже если бы мне пришлось погибнуть, то у тебя, храбрый и доблестный Граник, имеется достаточно опытности,

авторитета и прозорливости, чтобы энергично и стойко продолжать войну против наших угнетателей.

И как Граник ни настаивал, он не хотел отказаться от своего намерения.

Взяв с собой отряд кавалерии, обняв Граника и Арторикса, которому велел повиноваться опытному и доблестному иллирийцу, и ничего не сказав Мирце, которую поручил заботам двух своих друзей, он уехал, молчаливый и грустный, от легионов, которые, покинув преторскую дорогу, двинулись, согласно его распоряжениям, через поля и виноградники по направлению к Гердонее.

К вечеру Спартак добрался до окрестностей Сипонтума и отправил вперед на несколько миль в сторону Гарганской горы часть своих кавалеристов обследовать местность и разведать передвижение неприятеля. Получив от них успокоительные известия, он приказал солдатам сойти с лошадей и вести их под уздцы. Они вступили в лес, окаймлявший дорогу от Сипонтума через Гарганскую гору к морю. Здесь, чтобы пройти с лошадьми, нужно было мечами рубить ветки кустов и молодых деревьев, которыми изобиловал этот девственный лес. Более двух

часов двигались они этим трудным путем, пока не добрались до небольшой поляны, окруженной со всех сторон дубами и елями, на которых находились шалаши нескольких дровосеков, проводивших большую часть года в этих лесах.

Первой заботой Спартака было задержать всех этих дровосеков и оставить их под стражей, для того чтобы они не могли донести римлянам о его присутствии в этих местах. Затем он приказал им потушить костры, которые могли служить указанием для неприятеля, а самим гладиаторам сохранять глубочайшую тишину и прислушиваться.

То, что предвидел Спартак, в точности случилось: Красс, приказав своим легионам немного позже часа первого факела собрать палатки, повел их к Сипонтуму, так что, едва пропели первые петухи, гладиаторы, которые, окоченев от холода, прислушивались из глубины леса в сторону преторской дороги, могли услышать гул шагов пехоты, топот лошадей и тысячи голосов римского войска, двигавшегося без особых предосторожностей по указанной дороге; они чувствовали себя победителями, зная, что враг бежал и находится, наверное, далеко.

К счастью для гладиаторов, радость от одер-

жанной победы побуждала римлян двигаться с шумом и гамом, так как иначе они, по всей вероятности, открыли бы присутствие гладиаторов в этом лесу: лошади их, почуяв римских коней, залились громким ржанием.

Через два часа после восхода солнца римская армия проследовала дальше. Спартак, бледный, унылый и подавленный, мог выйти из леса со своими тремя сотнями кавалеристов и быстрейшим галопом за два часа добрался до обширнейшего поля битвы, тянувшегося от подошвы Гаргануса до моря.

Сжалось сердце и потемнело в глазах у Спартака при виде этого страшного побоища, при виде этих тридцати тысяч трупов, покрывавших все пространство, какое мог охватить глаз; а гигантские костры, из пепла которых поднимался еще дым и ощущался острый запах горелого мяса, доказывали, что еще недавно здесь лежали и многие тысячи римских трупов. Перед этим печальным и безмолвным полем, где раньше кипела шумная жизнь и где теперь царила немая и неумолимая смерть, Спартак был охвачен страшным сомнением: мог ли он действительно оторвать столько людей от жизни, пусть очень скверной и презренной, но все же жизни, и вести

их в объятия смерти? Имел ли он право это делать? Правильно ли поступал он, делая это?

И в то время как все его спутники предавались самым печальным, тяжелым думам, он чувствовал, как от этих тревожных размышлений и сомнений невыносимая боль сжимала его сердце, и ему казалось, что он задыхается под ее гнетом.

Очнувшись от этой мучительной борьбы мыслей, он пришпорил коня и поскакал по полю сражения, пока груды трупов не помешали ему ехать дальше; тогда он соскочил с коня, передав его одному из кавалеристов и приказав половине отряда следовать за собой, в то время как другая осталась вне поля битвы, с лошадьми, и стал обходить с отчаянием в душе это зловещее поле. На каждом шагу он встречал знакомые лица, покрытые мертвенной бледностью, обезображенные лица друзей, и глаза его наполнялись слезами.

В одном месте он увидел бедного Фессалония, жизнерадостного и благородного эпикурейца; он лежал на боку, тело его было покрыто сотней ран, и в руке он еще сжимал меч.

Затем он с трудом узнал Брезовира, грудь которого была пронзена восемью или десятью мечами, а череп совершенно раздроблен копытами лошадей. В другом месте он наткнулся на труп

храброго и смелого Ливия Грандения, самнита, начальника шестого легиона, почти погребенного под трупами убитых им врагов; далее он увидел труп Онация, а еще дальше попался ему еще живой, хотя и покрытый ранами, Каст, галл, начальник третьего легиона, который слабым голосом звал на помощь. После того как его подняли и перевязали, как могли лучше, раны, он на руках нескольких гладиаторов был отнесен туда, где стояли полтораста человек, сторожившие лошадей, и был окружен самыми сердечными заботами.

Проблуждав еще более двух часов с безутешным отчаянием в душе по этому полю, сплошь покрытому мертвецами, Спартак наконец нашел окровавленный и почти изрубленный в куски труп Крикса, у которого только лицо было не тронуто и, хотя безжизненное, казалось, хранило еще печать благородной гордости и отваги, отличавшей его при жизни.

При этом зрелище Спартак почувствовал, как сердце у него сжимается под влиянием нового прилива жалости, и, упав на землю, покрывая поцелуями лицо друга, он воскликнул, рыдая:

— Ты пал жертвой самого черного предательства, родной мой Крикс! Погиб без меня! И я не мог

прийти к тебе на помощь! И ты пал неотомщенный! О благородный, любимый мой Крикс!..

Он умолк, прижимая к груди доблестную руку убитого гладиатора.

Затем, разразившись проклятиями, с лицом, пылавшим страшным гневом, произнес мощным голосом:

— Но здесь, клянусь всеми божествами неба и ада, фуриями-мстительницами, зловещей Гекатой, я клянусь здесь, над твоим бездыханным трупом, брат мой, что за твою смерть кровавое возмездие постигнет гнусную предательницу, даже если она скроется в глубоких пучинах океана или в неизведанных безднах Тартара!.. Здесь я клянусь и призываю в свидетели моей клятвы всех богов, что для того, чтобы умилостивить твою душу, я принесу в жертву у твоего костра триста римлян, самых знаменитых и славных!..

Поднявшись с земли, с глазами, налитыми кровью и сверкавшими гневом, он поднял руки и лицо к небу, затем, взяв на руки тело Крикса, в сопровождении солдат отнес его на берег моря, где, сняв с тела с помощью спутников изрубленные и продырявленные доспехи и окровавленную одежду, погрузил его в волны и тщательно обмыл, затем, скинув с себя темную тогу, покрывавшую

его латы, завернул в нее труп умершего гладиатора и приказал его отнести туда, где стояли в ожидании остальные кавалеристы и лошади.

А Каста, которого в его очень тяжелом состоянии нельзя было везти на лошади по крутым и обрывистым дорогам, он поручил заботам управителя одной патрицианской виллы, расположенной близ Сипонтума; управитель этот во время пребывания здесь гладиаторов тайно и с большой осторожностью признался Спартаку, что сочувствует восставшим. Затем, после того как труп Крикса, тщательно обернутый, был положен на лошадь, которую вел за собой сам фракиец, отряд кавалерии пустился в путь к Арпинуму и Гердонее.

Прибыв в Арпинум, Спартак узнал, что Красс со своим войском направился в Канны, поэтому он немедленно выступил из Арпинума и направился галопом в Гердонею. Но едва он отъехал на милю от Арпинума, страшное, кровавое зрелище представилось его глазам: он увидел висящие на деревьях, росших вдоль дороги, трупы гладиаторов, взятых в плен Крассом в сражении у Гарганской горы; и, следуя дальше по этой дороге, с бледным, искаженным лицом и пылающими глазами, при виде этого нового избиения и нового

позора, он убедился, что на каждом дереве висел труп; всех их было восемьсот.

Среди этих повешенных Спартак увидел окровавленное и сплошь покрытое ранами тело мужественного своего соотечественника, фракийца Мессембрия. При виде этого Спартак закрыл глаза рукой, заскрежетал зубами и, испустив стон, подобный рыканью льва, погнал лошадь, чтобы возможно скорее уйти от этого страшного зрелища.

— А, Марк Красс, — вскричал он, — ты вешаешь пленных! Хорошо же, Марк Красс! Ты не хочешь обременять себя обузой в походах! Ах, клянусь богами, у вас, римлян, наиболее славных в военном деле, всему надо учиться. И всему я научился… Мне оставалось научиться еще и этому. Хорошо! К крестам я прибью взятых в плен твоих солдат, мудрый Марк Красс!

И добавил громовым голосом:

— Значит, за нами, гладиаторами, римляне не признают человеческих прав!.. А!.. Значит, мы — дикие звери, мерзкие пресмыкающиеся, убойный скот?.. Значит, с нами нечего церемониться? Клянусь пожирающим пламенем Тартара, пусть будет так! Но и мы, гладиаторы, поставим римлян вне закона, и мы будем обращаться с ними как с

грязными животными! Слезы за слезы, кровь за кровь, резня за резню!

Спартак, не жалея лошадей, всю следующую ночь скакал по суровым тропинкам и, миновав Гердонею, где он узнал, что гладиаторские легионы прошли здесь не останавливаясь, направился к Аскулуму Апулийскому, или Сатрианскому, куда и прибыл в полдень следующего дня на измученных лошадях.

Войско гладиаторов стояло лагерем возле Аскулума Сатрианского и встретило своего верховного вождя радостными приветствиями.

В полночь сорок тысяч гладиаторов собрали свои палатки и направились к Минервию, где они задержались только на четыре часа, а затем снова пустились в путь на Венузию, куда и пришли к часу первого факела, усталые и выбившиеся из сил от этого продолжительного и тяжелого пути.

На следующий день Спартак велел своим солдатам сняться с лагеря, накануне вечером устроенного на хорошо защищенном холме возле города, и повел их на вершины окружных гор. Там, говорил он, придется располагаться лагерем в неудобных местах, терпеть холод и лишения, чтобы не быть застигнутыми и разбитыми Крассом.

Полководец римлян тем временем быстрыми переходами пришел из Арпинума через Канны и Канузиум к Руби, где устроил свою главную квартиру, послав четыре легиона, десять тысяч вспомогательных солдат и пять тысяч конницы в Андрию, под начальством квестора Скрофы, который должен был затем, согласно плану Красса, двинуться на Венузию по одной дороге, в то время как он сам пойдет по другой; кроме того, он послал в Бариум, Брундизиум и в соседние города набрать солдат, чтобы составить по крайней мере еще легион, который в известной мере возместил бы ему десять тысяч человек, погибших в сражении при Гарганской горе.

В то же время он послал письма в Сенат с сообщением об одержанной победе, преувеличивая ее значение и извещая, что гладиаторы, упавшие духом, отступают в землю луканов и что он готовится раздавить их между двумя корпусами своего войска.

Спартак после двух дней отдыха послал свою конницу собрать сведения о неприятеле и спустя еще два дня, получив точные данные, вышел ночью из Венузии. Передвигаясь весь день и всю ночь, он неожиданно явился в Руби. Там он сделал привал, тщательно скрываясь, и дал своим

солдатам только шесть часов отдыха. А в полдень пошел на Красса, который полагал, что Спартак в Венузии, яростно напал на него, в трехчасовом бою разбил его легионы и заставил его в сильном расстройстве укрыться в Андрии. Шесть тысяч римлян было убито в этом бою и три тысячи взято в плен.

Спустя восемь часов он выступил по направлению к Гравине, направляясь в Метапонтум, и приказал повесить вдоль дороги две тысячи шестьсот римских солдат, взятых в плен в сражении при Руби, оставив в живых под стражей лишь четыреста пленников, принадлежавшие почти сплошь к патрицианским семействам Рима.

Одного из них он отпустил на свободу и послал его к Крассу для того, чтобы он сообщил, как он, Спартак, подражая жестокому примеру римского полководца, поступил с пленниками и будет поступать впредь. Кроме того, он поручил этому молодому патрицию предложить Крассу от имени Спартака в обмен на сто из четырехсот имеющихся у него еще пленников выдать ему гречанку Эвтибиду, которая, как, Спартак был уверен, скрывалась в римском лагере.

За четыре дня Спартак достиг Метапонтума и затем направился в Фурии, взял этот город

приступом и укрепился в нем, решив здесь задержаться для того, чтобы набрать и составить новые легионы из рабов.

Действительно, за восемь дней к нему явилось свыше шестнадцати тысяч рабов, которых он постарался спешно обучить. Затем, отняв по две тысячи человек от каждого из своих восьми легионов, образовал из них новых четыре, доведя таким образом общее число легионов до двенадцати; а шестнадцать тысяч новых бойцов распределил в равных количествах по всем двенадцати легионам, численность которых, таким образом, и теперь доходила до четырех тысяч шестисот в каждом; общее число солдат под его знаменем снова поднялось до пятидесяти шести тысяч человек пехоты и восьми тысяч кавалерии.

Перестроив таким образом свое войско, он вывел его из Фурий, расположил кольцом на обширной равнине и приказал воздвигнуть в центре ее очень высокий костер, на который велел положить тело Крикса, все умащенное мазями и ароматными эссенциями.

Затем, приказав привести триста пленных римлян, одна половина которых была одета фракийцами, а другая — самнитами, он велел

выстроить их перед собою. Сам он, бледный, с горящими глазами, с дрожавшими от гнева губами, в императорском одеянии, занимал возвышенное место по соседству с костром, на котором лежало тело Крикса.

Лица молодых римлян были бледны от негодования. Они от стыда опустили голову на грудь, а многие из них молча проливали слезы горя и бешенства.

— Благородные юноши, — сказал Спартак громким голосом, но с большой горечью, — вы происходите из самых знатных семейств Рима; предки ваши прославили свое имя как знаменитые разбойники благородным предательством, великодушными грабежами, великими обманами, великолепными подлостями, высокими гнусностями, покоряя народы, сжигая города, разоряя население. На слезах, на крови и на избиении всех народов они возвеличивали бессмертный Рим. Благородные юноши, вы покинули азиатскую негу вашего сладострастного города, взялись своими нежными руками за слишком тяжелое оружие, чтобы сражаться против гнусных и презренных гладиаторов, которых вы считаете животными. Благородные юноши, вы, которые так весело забавлялись в амфите-

атрах и цирках вашей прекраснейшей родины кровавыми боями гладиаторов — бедных диких зверей в образе человеческом, вы, которые смеялись с таким наслаждением над смешной бойней слепых андабатов, вы, которые, опустив большой палец, требовали громкими, неистовыми криками смерти ретиария, упавшего под мечом мирмиллона; вы, которые опьянялись видом отчаянных судорог, мучительными стонами сотни фракийцев и сотни самнитов, резавших друг друга с дикой свирепостью на залитой кровью арене, чтобы доставить вам удовольствие, — теперь вы дайте нам доказательство вашего прославленного мужества, теперь вы позабавьте хоть раз тех, которые забавляли вас столько лет. Смелее! Сразитесь друг с другом, убивайте и умрите достойно у костра этого несчастного и презреннейшего гладиатора, гнусная и отвратительная душа которого желает быть умилостивлена благороднейшей и чистейшей римской кровью.

Пока Спартак со все возрастающей силой и энергией произносил эту речь, вокруг его лица, страшного от гнева и возбужденного страстным желанием мести, блистал как бы ореол сверхъестественного света; пламя, казалось, исходило из его горящих глаз, он предстал во всем блеске

своей мужественной и гордой красоты перед взорами шестидесяти четырех тысяч гладиаторов и многих тысяч граждан города Фурии, приглашенных Спартаком на похороны.

По окончании его речи неистовый, мощный, неописуемый рев вырвался из глоток всех гладиаторов, глаза которых засверкали от радости, если и жестокой, то все же справедливой, так как в этот день, в этом зрелище боя они могли найти отмщение за перенесенные унижения, за презрение, на которое они были осуждены, за бойни, которые для увеселения римского народа беспрерывно устраивались в цирке над их братьями.

Мысль Спартака была грандиозна: подняться из грязи, в которую они были незаслуженно ввергнуты, из угнетенных восстать сильными и храбрыми против угнетателей, отомстить за свое попранное человеческое достоинство, низвергнув своих палачей до состояния диких зверей, любоваться в течение часа в качестве зрителей взаимной резней тех, которые до этого времени упивались их резней, поменяться на миг ролями — из рабов стать господами и видеть, как гордые и надменные господа оказались в роли рабов, погрузиться в высшее наслаждение и созерцать, как режут друг друга те, которые изобрели это

избиение, смотреть со ступеней этого амфитеатра на арену, где находились те, которые всегда смотрели на них в цирке, присутствовать при их побоище, упиться их слезами, видеть, как течет их кровь, слушать их хрипение, их стоны, крики, страдальческие и отчаянные… Ах! Все это было для несчастливых гладиаторов великим… едва постижимым… божественным! И это была месть! Ах! Это была месть, достойная только всесильных богов!

Невозможно описать дикие и оглушительные крики, которыми разразились гладиаторы, радостные возгласы и рукоплескания, приветствовавшие Спартака. Это было какое-то исступление обезумевших людей — в этот день они праздновали над римлянами самую блестящую из всех побед, одержанных ими за три года.

Триста римлян, из которых более тридцати принадлежали к сословию сенаторов, а более ста — к сословию всадников, стояли с устремленными в землю глазами, безмолвно и неподвижно, в середине образовавшегося вокруг них пространства.

— Ну, смелее, славное потомство! Смелее, благородные отпрыски Флавиев, Фузиев, Юлиев, Генуциев, Фавниев, Ливиев, Муциев, Процилиев! — закричал Спартак громовым голосом. —

Вперед! Мечи в руки и начинайте бой! Я зажигаю костер… Бейтесь! Так как — клянусь богами! — мы желаем развлечься.

С этими словами Спартак, взяв зажженный факел из рук контуберналия, поджег кучу дров, и тотчас же все начальники, трибуны и центурионы последовали его примеру.

В то время как сухие смолистые дрова, из которых был сложен костер, быстро запылали, римляне оставались на месте, не думая сражаться и не желая добровольно подчиниться этому позору.

— А! — воскликнул Спартак. — Вам нравится только смотреть на бои гладиаторов, а быть на месте гладиаторов вам не по вкусу? Хорошо! — добавил он, обращаясь к легионам. — Лорариев сюда! Они заставят сражаться этих людей.

По приказу Спартака девятьсот гладиаторов, вооруженные длинными пиками и железными раскаленными копьями, вышли из рядов легионов и, став позади трехсот римлян, принялись колоть их и жечь этими копьями, подталкивая друг на друга.

Хотя римляне отказывались от этого братоубийственного и позорного сражения, однако, все более и более подгоняемые этим кольцом

раскаленного железа, должны были броситься друг на друга и начать жестокую и кровопролитную схватку.

Гул криков, смеха, рукоплесканий, раздавшийся при этом, подобно громовому раскату, в рядах гладиаторов, невозможно передать. Слышался дикий рев, жестокий смех, бешеные рукоплескания, свидетельствовавшие о неописуемой радости от удовлетворенной мести.

— Так его!.. Так его!..

— Бей!.. Бей!..

— Режь!.. Коли!.. Руби!..

— Вот так резня!.. Вот избиение!.. Бойня!..

— Резня!.. Всем конец!..

Шестьдесят четыре тысячи ревущих голосов, шестьдесят четыре тысячи проклятий сливались в один ужасный вой, в один ужасный звук, в одно сплошное проклятие!

Через полчаса костер превратился в пепел, а триста знатных римских юношей лежали, изрубленные и умирающие, в луже крови около пепла от костра.

— Ах, как справедлива и как невыразимо сладка месть! — воскликнул Спартак, не пропустивший ни одного движения в этой кровопролитной схватке.



Глава XXI
Спартак в Лукании. – Птицелов, попавший в сеть

— Ты должна наконец высказаться, Мирца, должна открыть мне печальную тайну, которую ты так упорно скрываешь от меня два года, должна поделиться со мной тайным горем, которое терзает тебя! О Мирца! Если в тебе есть хоть капля жалости ко мне, если ты так же благородна и великодушна, как красива, ты откроешь мне сегодня эту тайну, которая отнимает тебя у моей страсти, крадет тебя у моей любви, похищает тебя у моих пламенных поцелуев. Пойми же, что я тебя люблю, Мирца, со всем пылом, со всем порывом, всеми силами души!

Так говорил Арторикс спустя двадцать дней после похорон Крикса, стоя у входа в палатку Спартака, спиной к преторию, а лицом к палатке, выход из которой он таким образом закрывал для Мирцы.

Лагерь гладиаторов из Фурий был перенесен в Грументум в Лукании, и вследствие нового наплыва рабов число солдат в каждом легионе

возросло до шести тысяч, а общее количество гладиаторской пехоты достигло семидесяти двух тысяч.

Спартак вышел из лагеря во главе двух тысяч конных, чтобы пробраться до Ястребиной горы, откуда, по слухам, приближался Красс с семьюдесятью восемью тысячами римлян.

Арторикс, который в течение двух лет боролся против все возраставшей любви, который двадцать раз тщетно осаждал Мирцу, не менее его печальную, одинокую и грустную, чтобы вырвать у нее тайну, по-видимому, решил в это утро добиться во что бы то ни стало объяснения девушки, поведение которой огорчало его и ставило в тупик.

С того дня, как Мирца подружилась с Эвтибидой, она тоже обучилась искусству владеть оружием; верховой езде с первых же дней восстания обучил ее сам Спартак, чтобы бедная девушка не была вынуждена пешком следовать за войском, которому часто приходилось совершать в течение нескольких дней подряд очень тяжелые переходы.

И в дни, когда восставшие стояли лагерем близ Равенны, Мирца получила от брата вооружение, специально заказанное искусному мастеру в этом

городе и во всех мелочах похожее на вооружение Эвтибиды; с этим вооружением она, раз надев его, уже не расставалась; девушка понимала, что теперь опасности, угрожавшие ее брату, стали во много раз больше, и решила всегда быть рядом с ним, даже в дни сражений, чтобы помочь ему, где было возможно, и в худшем случае разделить его судьбу.

Когда Арторикс преградил девушке выход из палатки Спартака, Мирца была в плотно облегавшей и доходившей почти до колен стальной кольчуге, сверкавшей, как серебро, на ногах ее были железные поножи, правая рука была в железном же наручнике, а в левой она держала небольшой, круглый, легкий бронзовый щит; у изящного пояска висел маленький легкий меч, а на голове был серебряный шлем с коротеньким нашлемником.

В этом одеянии рельефно выделялись стройные формы девушки. Ее бледное лицо, обрамленное белокурыми волосами, выбивавшимися из-под шлема, было грустно. В своем вооружении Мирца была прекрасна, и ее фигурка имела вид более энергичный, чем в женской одежде.

— Что это значит? Арторикс! — сказала она с упреком в ответ на излияния юноши.

— Как что? Разве я не сказал тебе? — возразил нежным голосом галл, с обожанием смотря на девушку. — Ты не можешь утверждать, что я тебе неприятен или что я тебе внушаю отвращение, ты не только опровергала это своими устами, а взглядами сказала мне противное. И сама же ты говорила, что Спартак, который любит меня, как брата, был бы очень доволен моим браком с тобой. Ты не любишь никого другого — в этом ты мне клялась тысячу раз. Почему же, почему ты так упорно отказываешься отвечать на мою пламенную, могучую, непобедимую любовь?

— А ты, — возразила взволнованным голосом девушка, в ясных синих глазах которой против ее воли сквозила ее любовь к юноше, — а ты зачем приходишь искушать меня? Зачем подвергаешь меня этому мучению? Зачем подвергаешь меня такой пытке? Разве я тебе не говорила это тысячу раз? Я не могу, не могу быть твоей и никогда не буду…

— Так скажи мне тогда причину! — воскликнул Арторикс, побледнев еще сильнее; голубые глаза его наполнились слезами, которые он с большим трудом сдерживал. — Именно о причине этой невозможности я у тебя спрашиваю, об этом я тебя умоляю! Ведь имеет же право человек,

который мог бы быть самым счастливым и который безжалостно обречен на самую несчастную жизнь, знать по крайней мере, почему вместо того, чтобы быть на вершине счастья, он обречен на падение в бездну отчаяния.

Слова Арторикса исходили из сердца; в них было столько чувства и такая сила, что Мирца почувствовала себя побежденной, сломленной, очарованной. Ее глаза засияли любовью… она смотрела на юношу с таким искренним и могучим выражением любви, что Арторикс весь был охвачен его теплотою; ему казалось, что чувство, которое он читал в глазах девушки, проникало в его кровь и воспламеняло ее.

Оба дрожали всем телом, и оба, устремив друг на друга взоры, казалось, находились под влиянием одинакового очарования. Они стояли безмолвно и недвижимо в течение нескольких минут. Арторикс первым нарушил молчание. Дрожащим, еле слышным, нежным голосом сказал он, не стараясь уже сдерживать слезы, которые текли по его бледным щекам:

— Вот… видишь… Мирца… Я не трус… Ты знаешь это… В бою я всегда в первых рядах и отступаю в числе последних. Душа моя не доступна никакому низкому чувству… В опасностях я не

дорожу жизнью… и не боюсь смерти, так как еще мать научила меня считать настоящей жизнью жизнь наших душ… Все это ты знаешь, и, однако, ты видишь, я плачу теперь, как мальчик…

Мирца сделала движение к Арториксу, как бы желая сказать что-то.

— Нет, не прерывай меня, моя божественная Мирца, лучше выслушай меня. Да, я плачу, но это сладостные слезы, нежное излияние моей страсти к тебе… И я тебя уверяю, что эти слезы приносят мне радость… Я так счастлив… здесь, перед тобой, глядя на твои грустные синие глаза, верное зеркало благородной души, — глаза, с такой любовью и лаской устремленные на меня.

Мирца почувствовала, будто пламенем вспыхнули ее щеки, ставшие сразу пурпуровыми, и опустила глаза.

— Умоляю тебя, Мирца, — продолжал Арторикс мягким и взволнованным голосом, с мольбой протягивая руки к девушке, — если у тебя есть чувство жалости, не отнимай у меня божественного света твоих глаз! Смотри, смотри на меня так, как ты только что смотрела! Твой нежный и любящий взгляд покоряет меня, влечет к тебе, чарует, отнимает у меня всякое другое ощущение мира… и ввергает меня в чистое, непостижимое

наслаждение. Я не умею… я не могу передать, но это наполняет душу такой нежной сладостью, что я прошу, призываю смерть в этот момент, так как чувствую, что умереть в этот миг было бы божественным наслаждением…

Он умолк и с восторгом смотрел на девушку, которая, будто охваченная нервной дрожью, вскричала:

— Но что… ты говоришь… о смерти?.. Ты должен жить… мой герой… жить… и стараться быть счастливым… и…

— Но как я могу быть счастливым? — закричал с отчаянием, прерывая ее, гладиатор. — Как?.. Как буду жить, если мне недостает твоей любви?..

И после недолгого молчания, в течение которого сестра Спартака, снова опустив глаза, стояла в безмолвном смущении, юноша, схватив порывисто руку девушки и притягивая ее к груди, заговорил, волнуясь и захлебываясь:

— О моя обожаемая, моя возлюбленная! Не лишай меня этой сладкой иллюзии… Скажи мне, что ты меня любишь… Приласкай меня своим божественным взглядом… Позволь, чтобы перед моими глазами всегда сверкал этот луч счастья, чтобы я мог думать, чтобы мне было возможно мечтать о таком блаженстве…

И, говоря так задыхающимся голосом, Арторикс поднес руку Мирцы к губам и стал покрывать ее жаркими поцелуями, а она, дрожа, как былинка, всем своим телом, шептала прерывисто:

— Ах, оставь… оставь… Арторикс… оставь меня… уходи… Если бы ты знал, какое горе… причиняют мне твои слова… если бы знал, какое мучение…

— Но если это иллюзия с моей стороны… если были обманчивы твои нежные взгляды… если это неправда… так скажи мне это… будь честной… будь смелой… скажи мне: «Тщетны, Арторикс, твои надежды, я люблю другого…»

— Нет… я не люблю, я никогда не любила, — сказала порывисто девушка, — и никогда не полюблю никого, кроме тебя!

— Ах!.. — воскликнул в невыразимой радости Арторикс. — Любим тобой!.. Любим тобой!.. О моя обожаемая!.. Могут ли боги испытывать такую радость, как я!

— Ах боги! — сказала она, освобождаясь из объятий юноши. — Боги не только испытывают, но и опьяняются радостями… в то время как мы осуждены любить друг друга втайне, не смея никогда излить в поцелуях пыл нашей любви, не смея…

— Но кто… но кто нам запрещает это? — спро-

сил Арторикс, глаза которого сверкали радостью.

— Не ищи того, кто нам запрещает это, — возразила печальным голосом девушка, — не старайся узнать его… Судьба не хочет, чтобы мы были соединены… Это тяжкая… это жестокая… но непреодолимая судьба… Оставь меня… уходи… и не добивайся большего.

И после короткой паузы она, разразившись горькими рыданиями, добавила:

— Ты видишь, как я страдаю?.. Знаешь ли ты, как я страдаю?.. Знаешь ли ты, как бы я гордилась твоей любовью?.. Я считала бы себя самой счастливой среди людей… И вот… я не могу… я не могу быть счастливой… Мне запрещено это навсегда… Поэтому уходи и не усиливай моих мук своими вопросами… Иди, оставь меня одну с моим горем.

И, бросив щит в угол, она закрыла лицо руками, разразившись безудержным плачем.

Арторикс, растерявшись, подбежал к ней. Он старался ее утешить, хотел целовать ее руки. Она, снова оттолкнув его, нежно и в то же время решительно сказала:

— Беги от меня, Арторикс, если ты честный и благородный человек, беги от меня, уходи дальше, далеко!

Подняв глаза, она увидела Цетул, нумидийскую рабыню, проходившую в этот момент перед преторием. Эта девушка прибежала в лагерь гладиаторов из Тарентума двадцать дней назад, в день, когда ее госпожа, япигская матрона, за нескромную болтовню приказала отрезать ей язык. Увидев ее, Мирца позвала:

— Цетул! Цетул!

И сказала юноше:

— Вот она идет сюда… Надеюсь, Арторикс, что хоть теперь ты уйдешь.

Галл взял ее руку и прижал к губам:

— И все-таки ты должна будешь открыть мне эту тайну.

— Никогда!

В эту минуту Цетул подошла к палатке Спартака, и Арторикс, веселый и грустный, со сладостными чувствами на сердце и с печальными мыслями в голове, медленными шагами удалился с претория.

— Хочешь, пойдем принесем в жертву Марсу Луканскому эту овечку? — сказала Мирца нумидийке, стараясь скрыть от нее волновавшие ее чувства и показывая на белую овечку, привязанную за веревку к столбу палатки.

Несчастная рабыня, лишенная языка своей бес-

человечной госпожой, кивнула в знак согласия на предложение Мирцы.

— Я нарочно надела оружие, чтобы идти в храм бога войны, и собиралась позвать тебя, — прибавила девушка, поднимая и надевая на руку щит, который незадолго до этого бросила на землю, — когда Арторикс пришел сюда искать Спартака.

Чтобы скрыть от нумидийки румянец, покрывший ее лицо при этой лжи, она пошла в угол, где находилась овечка, и, отвязав веревку от столба, дала конец ее Цетул. Рабыня повела животное, а Мирца пошла рядом. Они очень скоро вышли из лагеря через декуманские ворота, выходившие на реку Акри, — преторские ворота выходили на Агроментум. На расстоянии мили от лагеря Мирца и Цетул поднялись на небольшой холм, на котором находился храм, посвященный Марсу Луканскому.

Здесь, согласно греческому, а не латинскому обряду, Мирца принесла овечку в жертву богу войны, призывая его милость на гладиаторское войско и на его верховного вождя.

Тем временем Спартак во весь опор примчался со своими кавалеристами из разведки, в которую он выехал утром; он наткнулся на неприятельский патруль и обратил его в бегство, захватив в

плен семерых; от них он узнал, что Красс со всей армией движется на Агроментум.

Спартак подготовил все для генерального сражения с Крассом, и тот спустя два дня явился в полдень со своим войском, которое и выстроил в боевом порядке перед гладиаторами.

С обеих сторон прогремели сигналы. Войска сошлись, и началась страшная общая схватка. Свыше четырех часов длился бой; с обеих сторон сражались с одинаковой храбростью и одинаковым пылом, но к заходу солнца левое крыло восставших, руководимое Арториксом, начало подаваться, так как многие новички-солдаты, находившиеся в гладиаторских легионах, не имели достаточно энергии и опыта, чтобы оказать сопротивление натиску римлян, которые после децимации сражались героями. Расстройство и суматоха, увеличивавшиеся с минуты на минуту, распространились очень скоро к центру сражения. Несмотря на чудеса храбрости, проявленные Арториксом, который сражался пешим и, будучи ранен в грудь и в голову — шлем его был проломлен и кровь заливала ему лицо, — бился, как лев, легионы продолжали отступать все в большем беспорядке.

Взбешенный, примчался сюда Спартак и громо-

вым голосом закричал:

— Неужели поражения, которые вы наносили римлянам, превратили их в отважных львов, а вас в трусливых кроликов? Остановитесь, во имя Марса Гиперборейского! За мной! Сражайтесь рядом со мной! Покажите себя героями, и мы на этот раз так же обратим их в бегство, как всегда!

С этими словами, швырнув щит в наступавших врагов и взяв в левую руку меч одного убитого гладиатора, он бросился на римлян с двумя мечами, как это делалось в гладиаторских школах. Он так быстро описывал ими круги, наносил удары с такой силой и быстротой, что очень скоро тела легионеров усыпали землю; римляне были приведены в расстройство и стали отступать, так как против могучей силы этих ударов не помогали ни щиты, ни латы. Все сокрушали эти удары, все дробили, раны и смерть отмечали путь Спартака.

Видя это, воспрянули духом гладиаторы и с новым пылом бросились в бой, в то время как Спартак, перейдя к рядам соседнего легиона, совершал те же чудеса и там, решая судьбы боя.

Но в это время центр гладиаторского войска, против которого были направлены все усилия Красса, лично возглавлявшего свой любимый шестой легион, составленный исключительно из

ветеранов Мария и Суллы, — центр гладиаторского войска, не будучи в силах сопротивляться страшному натиску ветеранов, пришел в расстройство, заколебался и начал отступать.

Спартак с левого крыла увидел печальное зрелище бегства своего центра. Он бросился к кавалерии, стоявшей в резерве как раз позади центра, вскочил на своего коня, которого под уздцы держал один нумидиец рядом с Мамилием, велел трубить сигнал кавалерии выстроиться в двенадцать рядов и таким образом образовал вторую боевую линию; в промежутки могли уйти в лагерь приведенные в расстройство легионы.

Но все эти распоряжения не могли помешать отступлению в большом беспорядке и с огромными потерями легионов центра и левого фланга. Только правый фланг, твердо руководимый Граником, отходил с боем.

Чтобы все же задержать натиск победителей и воспрепятствовать полному разгрому, кавалерия, руководимая самим Спартаком, с такой яростью обрушилась на римские когорты, которые в пылу преследования тоже расстроили свои ряды, что они должны были остановиться и построиться в круги, каре и треугольники, чтобы не быть изрубленными вконец гладиаторской конницей;

и все-таки потери римлян вследствие этой конной атаки были огромны.

Красс хотел ввести в дело свою кавалерию, но ему помешала наступившая ночь. Обе стороны протрубили отбой, обе армии отступили на свои стоянки.

Сражение окончилось. Римляне потеряли пять тысяч, а гладиаторы восемь тысяч человек и пленными тысячу двести.

Спартак, вернувшись в свой лагерь, с помощью всех остальных начальников, трибунов и центурионов принялся за восстановление своих легионов и, поручив лечить Арторикса, раны которого были признаны врачом неопасными, приказал зажечь в лагере, как обычно, костры и затем, незадолго до полуночи, потихоньку выступил из Грументума и двинулся в Нерулум. Придя туда в полдень, он дал войску только четырехчасовой отдых и до рассвета следующего дня вышел по направлению к Пандузии, откуда решил перебросится на землю бруттов и пробраться к Консенцию.

В Пандузии его нагнал гонец Красса, который, раньше отказавшись от обмена ста пленных-римлян на Эвтибиду, находившуюся в его лагере, теперь предлагал обменять тысячу двести глади-

аторов, взятых им в плен при Грументуме, на эту сотню патрициев.

Спартак, посоветовавшись с Граником и с начальниками легионов, согласился на обмен, и было договорено с послом, что взаимная передача состоится через три дня в Росцианум.

Когда гонец Красса уехал, Спартак подумал, и не без основания, что римский полководец сделал это предложение в надежде задержать передвижение гладиаторов и выиграть таким образом упущенное время, поэтому он решил послать в Росцианум тысячу двести гладиаторов верхом с двумя тысячами четырьмястами коней, с сотней пленных-римлян и со следующим строжайшим приказом Мамилию, который должен был руководить этим делом: сдать сотню римлян, лишь получив тысячу двести гладиаторов; получив их, сейчас же сажать на запасных лошадей и скакать в Темезу, куда он, Спартак, придет с войском через четыре дня; при малейшем признаке измены или обмана со стороны римлян изрубить эту сотню патрицианских отпрысков и возвращаться к армии, предоставив пленных-гладиаторов их участи.

В походе из Пандузии в Темезу Спартак наткнулся на вооруженный отряд, который его

разведчиками сперва был принят за римлян, но то были пять тысяч рабов, собранные и кое-как обученные Гаем Ганником. Ганник раскаялся в зле, которое он причинил когда-то Спартаку, и теперь привел подкрепление восставшим для того, чтобы таким почетным образом загладить прошлое. Он клялся, что будет теперь так же крепко соблюдать дисциплину, как раньше он был непокорен.

Спартак принял с братскими объятиями самнита и его солдат, которым велел немедленно дать лучшее вооружение и распределил отдельными группами по двенадцати легионам; начальником одного из легионов снова был назначен Ганник.

Через пять дней после этого вернулся Мамилий с тысячью двумястами пленниками, к которым Спартак в присутствии всего войска обратился с краткой, но строгой речью, полной упреков, сказав, что не всегда найдутся в лагере сто пленных римских патрициев, которые своею жизнью спасли теперь жизнь гладиаторов, давших себя взять неприятелю живыми, что без этой счастливой случайности все они в этот момент висели бы на деревьях вдоль дорог и кормили воронов и коршунов апеннинских лесов, что лучше пасть, сражаясь в бою, чем отдаться пленниками в

руки неприятеля и быть затем позорно повешенными.

Красс опоздал с прибытием в Темезу больше чем на двадцать дней. Он разослал письма во все муниципии Лукании и Апулии, Мессапии и Япигии с требованием солдат. Первым двум провинциям он напоминал о вреде, причиненном им гладиаторами Спартака, и доказывал, как выгодно будет для них полное истребление этих разбойников; последним же двум провинциям он, преувеличивая истинное положение вещей, давал понять, что без его поддержки они почувствуют тяжесть рук гладиаторов. Этим способом он получал подкрепления со всех сторон и за пятнадцать дней составил еще четыре легиона, так что, когда он выступил в поход против Спартака, у него была армия почти в сто тысяч человек.

Между тем фракиец вступил в переговоры с киликийскими пиратами, которые крейсировали в это время у берегов Тирренского моря: он запросил их, не перевезут ли они его войско в Сицилию, обещая им за эту услугу тридцать талантов; это была вся казна гладиаторов, хотя им и приписывались великие грабежи.

Но пираты, согласившись на предложение Спартака и даже получив от Граника, который

вел эти переговоры, десять талантов в задаток, в ночь накануне посадки гладиаторов, вероятно устрашенные мыслью о мести со стороны римлян за помощь, оказанную их врагам, тайком ушли из Темезы, обманув, таким образом, Спартака.

В то время как начальники гладиаторов смотрели из своего лагеря на паруса пиратских кораблей, удалявшихся от берега и исчезавших на краю горизонта, манипула разведчиков примчалась в лагерь с сообщением о приближении Марка Красса.

Гладиаторы поспешили к оружию и, выстроившись в боевую линию, ожидали приближавшегося неприятеля, но, прежде чем легионы последнего построились для сражения, первая линия войска Спартака, составленная из шести первых легионов, с яростью напала на римлян, внеся в их ряды сильнейшее расстройство.

Во второй линии фракиец расположил четыре легиона, а по краям правого и левого крыла поместил по четыре тысячи кавалеристов.

Два легиона оставались в Темезе, куда Спартак, в случае поражения, решил укрыться со всем своим войском и выждать там благоприятного момента для реванша. Вероятно, он уже обдумывал способ, при помощи которого он мог выйти

из затруднительного положения.

Прежде чем повести войско в бой, Спартак предупредил начальников шести легионов, из которых состояла первая линия, что в случае, если они будут вынуждены отступить, пусть они дадут сигнал букцинами, а трибуны, центурионы и деканы на словах прикажут солдатам отступать за вторую линию через промежутки последней.

Несколько часов продолжалась схватка без результата, так как та и другая сторона сражались с одинаковым мужеством и упорством, но в час пополудни Красс ввел свежие силы и растянул свою боевую линию вправо и влево. Тогда Граник, командовавший боем, дал приказ к отступлению, чтобы не быть обойденным с флангов; это отступление благодаря вниманию и энергии командиров произошло очень быстро и с самым ничтожным расстройством рядов: через интервалы во второй линии первая линия прошла в тыл. Поэтому, когда римские легионеры бросились преследовать гладиаторов, которых они сочли бежавшими, им пришлось столкнуться с линией свежих войск, обрушившихся на них с бешеным натиском и принудивших их отступить в большом беспорядке и с очень тяжелыми потерями.

Поэтому Марк Красс был вынужден трубить

отбой, двинуть другие восемь легионов и начать новое и еще более упорное сражение. Введя еще два легиона, один — со своего правого фланга, а другой — с левого, он рассчитывал, что обойдет гладиаторский фронт, но кавалерия Спартака, выступив с того и другого фланга, совершенно разрушила замыслы римского полководца.

Тем временем Граник собрал и вновь выстроил в боевой порядок шесть первых легионов на склоне холмов, окружавших стены Темезы, и, когда Красс приказал двинуться своей кавалерии, Спартак мог отступить в полном порядке за первую линию, руководимую Граником, которая снова оказалась готовой к сражению с римскими легионами.

Таким образом, сражаясь и отступая двумя линиями попеременно, гладиаторы отошли к вечеру под стены Темезы, так что Марк Красс не мог извлечь никакого преимущества из своего численного превосходства. Ему не осталось ничего другого, как трубить отбой. Остановившись у подошвы холмов, окружающих Темезу, он сказал своему квестору Скрофе:

— Презренный гладиатор, подлый гладиатор, называй его как хочешь… Но надо признать, что у этого распроклятого Спартака все качества

великого полководца.

— Скажи прямо, — ответил с болью в душе Скрофа, понизив голос, — что Спартак — доблестный, проницательный, безусловно превосходный полководец.

Таким образом закончилось это сражение, длившееся свыше семи часов. Гладиаторы потеряли шесть тысяч убитыми, а римляне — семь.

Это не помешало Крассу, ввиду того что Спартак отступил и укрылся в Темезе, объявить себя победителем и написать Сенату, что он надеется закончить войну в двадцать — тридцать дней, так как он запер гладиатора так, что тому уже не удастся спастись.

Спартак, уже раньше окопавший стены города широкими рвами, был настороже и принимал все необходимые меры обороны. Но втайне он обдумывал план, с помощью которого собирался вырваться из тисков.

Он строго-настрого запретил жителям выходить под каким-либо предлогом из города, ворота и стены которого постоянно охранялись гладиаторами.

Это распоряжение очень испугало жителей Темезы; они уже предвидели все опасности и невзгоды длительной осады и в особенности

блокады, которой Красс должен был подвергнуть Темезу; им уже рисовались все ужасы голода.

Спартак воспользовался их страхом и городским властям, явившимся к нему с просьбой удалиться из города и заявившим о своей готовности снабдить его оружием, провиантом и большой суммой денег, ответил, что у них есть только один способ избавиться от ужасов осады и голода — собрать, сколько у них имеется, кораблей, рыбачьих барок, лодок, шлюпок и прочих судов и доставить их ему возможно скорее к берегу, где стояли лагерем кавалерия и три легиона; послать к нему, сколько есть в городе, мастеров, умеющих строить барки и лодки, доставить ему одновременно весь имеющийся в их распоряжении строительный лес для того, чтобы иметь возможность соорудить небольшой флот для перевозки войска в Сицилию: таков, говорил он, способ избавиться от последствий длительной осады и жестокой войны.

Городские власти и патриции Темезы, а также все население согласились на это, и вскоре вдоль берега моря сотни рабочих совместно с тысячами гладиаторов горячо принялись за постройку флота небольших по размеру, но многочисленных судов.

В то время как все это происходило в Темезе, вне ее Красс, заняв наиболее важные позиции для преграждения выхода неприятелю, отправил гонцов в Фурии, Метапонтум, Гераклею, Тарентум и Брундизиум с требованием немедленной присылки осадных орудий в большом количестве, так как он понимал, что без таранов, катапульт и баллист война затянулась бы надолго.

Пока один готовился к форсированному штурму Темезы, а другой — к переправе в Сицилию, чтобы там поднять войну еще более энергичную, Эвтибида, полная нетерпения и гнева, с сердцем, жаждущим мести, одиноко бродила по римскому лагерю и, по врожденной смелости, задумала посетить окрестности города и пробраться, насколько возможно, ближе к вражеским аванпостам, чтобы узнать, нет ли какого-нибудь доступа к стенам и нельзя ли попытаться неожиданно проникнуть в город.

Приказав двум рабыням, купленным ею в Тарентуме и взятым с собою, приготовить мазь каштанового цвета, она натерла ею на несколько дней руки, лицо и шею; это сделало ее совсем неузнаваемой и совершенно похожей на эфиопку. Затем, надев платье рабыни и собрав свои рыжие волосы под широкую темную повязку, она

однажды утром, за несколько часов до рассвета, вышла из лагеря с глиняным кувшином на руке, чтобы походить на рабыню, идущую за водой, и направилась к холму, на вершине которого подымалась стена Темезы, а на склоне, как ее уверяли некоторые окрестные земледельцы, находился источник.

Мнимая эфиопка осторожно пробиралась в темноте, и, очутившись по соседству с указанным ей источником, остановилась, и вскоре услышала тихое шушуканье и шум от ударов нескольких мечей о щиты, и поняла, что на страже у этого источника, очевидно, стояла когорта гладиаторов.

Тогда, потихоньку повернув налево, она пошла вдоль холма, чтобы ознакомиться с местностью.

Пройдя около полумили, Эвтибида очутилась на месте, где холм, который она обходила, образуя небольшую впадину, соединялся с другим холмом, более высоким. Отсюда налево от себя гречанка увидела море. Она остановилась, осмотрела кругом всю местность, и при неверном свете зари ей показалось, что среди темной массы деревьев возвышается какое-то здание. Она всмотрелась и увидела, что это храм.

На миг она остановилась в раздумье, а затем с решительным видом быстро направилась к

этому храму, который, отстоя на значительном расстоянии от городских стен, не мог, по ее мнению, быть занят гладиаторами.

Через несколько минут Эвтибида подошла к зданию; оно было небольшое, но очень изящное, целиком мраморное, дорического стиля. Она поняла, что это храм, посвященный Геркулесу Оливарию, и так как он не охранялся гладиаторами, аванпосты которых в эту сторону не были продвинуты так далеко, то она решила войти в него.

Он был пуст, и Эвтибида, обойдя вокруг него, собиралась уже уйти, как вдруг увидела старика, в котором по одеянию узнала жреца; он был весь погружен в свои мысли и стоял, опершись об одну из колонн храма, возле жертвенника, перед которым возвышалась великолепная мраморная статуя Геркулеса с палицей из оливкового дерева, откуда и прозвание его — Оливарий.

Гречанка подошла к жрецу, сказала ему на латинском, но нарочно испорченном языке, что она хотела набрать в свой кувшин воды из водоема в храме, и сообщила, что она рабыня одного местного земледельца, что ее хозяин при приближении воюющих армий скрылся в развалинах храма Януса, в одной из соседних долин,

где совершенно нет питьевой воды.

Жрец, принадлежавший к потициям[113], проводил Эвтибиду к водоему и завел с ней разговор о печальных последствиях этой войны, особенно печальных вследствие запустения, в которое пришла, как он говорил, религия — единственный источник процветания народов. Эвтибида согласилась с ним и посредством тонких ухищрений, вопросов и восклицаний, грубых и наивных на первый взгляд, заставила потиция разболтаться. Он говорил, что благочестие и поклонение высшим богам всегда были отличительной чертой древних италийцев, к которым поэтому Сатурн, Юпитер, Марс, Юнона, Церера, Геркулес, Янус и прочие боги были всегда щедры, дарили свое расположение и покровительство; что теперь распространяются религиозные сомнения, эпикуреизм, пренебрежение к культам богов и насмешки над жрецами, а за нечестие оскорбленные боги налагают тяжкую и заслуженную кару; ибо, по мнению доброго потиция, все мятежи, войны, погромы и убийства, повергнувшие в горе Италию за последние тридцать — сорок лет, были очевидным проявлением небесного гнева.

---

[113] Сноски: 113

Потиции — древний жреческий род, привилегией которого было совершать церемониальную службу на празднике в честь Геркулеса.

Особенно жаловался старик на печальные последствия осады и запрещения выхода из Темезы: никто не приходил приносить жертвы богу, никто, даже если бы хотел, не мог приносить положенную десятину и дары. Понятно, почему все это огорчало доброго старика: ведь каждое жертвоприношение Геркулесу оканчивалось пирушкой, а жертвы и дары переходили к жрецам.

Словом, тогдашний жрец, как и нынешний священник, как и служитель культа всех эпох, всех религий, всех народов, прислужник лицемерия и предрассудков, судил о религиозном пыле глупых, отупевших и обманутых людей по количеству и качеству приносимых в храм даров, которые под именем богов откармливали ненасытное брюхо служителей культа.

— Вот уже двадцать дней, как никто больше не заглядывает к нам в храм Геркулеса Оливария, столь почитаемый во всей области луканов и бруттиев, — говорил, вздыхая, потиций.

— Хорошо, я скажу своему хозяину, чтобы он, ради неприкосновенности дома и имения, пришел принести жертвы или по крайней мере прислал дары великому Геркулесу Оливарию, — сказала с видом тупого и глубокого убеждения рабыня, коверкая латинскую речь.

— Да защитит тебя Геркулес, добрая девушка, — ответил потиций и тотчас же добавил: — Вот так всегда… Набожность — женского рода и чаще всего живет в сердцах женщин. Я только что сказал тебе, что за двадцать дней никто не приходил приносить жертвы нашему богу. Это не совсем верно, так как два раза сюда приходила для жертвоприношений одна девушка, я думаю — гречанка, из войска гладиаторов, благочестивая и набожная девушка и очень привлекательная.

Глаза Эвтибиды засверкали от радости, дрожь пробежала по всему ее телу, и лицо внезапно вспыхнуло пламенем, — к счастью, черная мазь, покрывавшая лицо Эвтибиды, помешала жрецу заметить этот румянец, который мог открыть ему, что перед ним совсем не та женщина, какой она хотела казаться.

— А! — сказала она, стараясь преодолеть волнение. — Ты сказал, что одна девушка приходила из вражеского лагеря?..

— Да, девушка, которая носит вооружение и на поясе меч и которую оба раза сопровождала негритянка, как ты… но немая, бедняжка, так как ее госпожа приказала отрезать ей язык.

Эвтибида отшатнулась и после недолгого раздумья сказала с наружной простотой и доб-

родушием:

— Вот даже… у врагов… — ибо мой господин говорит, что это наши враги, — у врагов и то есть почтение к всевышним богам… Да, завтра… завтра я снова приду сюда… до рассвета… так как я боюсь гладиаторов… и, если не сумею убедить хозяина прислать дары непобедимому Геркулесу Оливарию, я принесу сюда свою скромную лепту.

Потиций похвалил ее за ее благочестивые чувства, обещал ей покровительство Геркулеса, а на прощание показал тропинку, по которой легче было спускаться и подниматься незаметно.

Нет нужды описывать, с какой радостью возвращалась вероломная гречанка. Сердце ее так и колотилось — она нашла союзника гораздо лучшего, чем могла надеяться. Продажность и жадность жреца были очевидны: его легко можно было подкупить, и с его помощью, вероятно, можно было найти какой-нибудь тайный подступ к стенам. Во всяком случае — и это было именно то, что заставляло сильнее биться ее сердце, — при помощи этого жреца и этого храма, если никаким другим способом не удается поразить Спартака, она причинит ему смертельное горе: убьет его сестру.

Вернувшись в лагерь, она прошла в свою палатку и там скрывалась целый день. Ночью она отправилась на преторий и, немедленно введенная к Крассу, сообщила ему о сделанном ею открытии, так много обещавшем. Она попросила у него денег, и Красс предоставил в ее распоряжение кассу квестора. Эвтибида сказала, что в данный момент ей требуется только пять талантов, которые и были выданы ей Скрофой.

В час пополуночи гречанка снова вышла из лагеря, захватив с собой молодого ягненка, двух молочных поросят и четырех белоснежных голубей; по тропинке, указанной ей потицием, она поднялась к храму Геркулеса, куда пришла приблизительно за два часа до рассвета. Она должна была ждать более часа, пока потиций открыл дверь храма и вместе с двумя товарищами принял дары бедной рабыни.

Беседуя с потицием, имя которого было Аий Стендидий, девушка сказала ему, что завтра придет ее господин с богатым жертвоприношением богу, а если страх помешает прийти ему самому, она попросит, чтобы он поручил это благочестивое дело ей.

На следующий день она действительно пришла и привела за собой рабочего быка, нагруженного

зерном и вином, которого от имени своего господина преподнесла богу.

Продолжая в течение следующих пяти-шести дней свои прогулки к храму Геркулеса, Эвтибида ловко прощупывала душу Аия Стендидия и подготовляла его к тем предложениям, которые она решила ему сделать. Наконец она призналась ему, что она вовсе не рабыня, что она служит у римлян и стоит за римлян, что Красс щедро вознаградит за услуги и его, и остальных жрецов. А требуется от них, чтобы они указали место в стене, где можно было бы произвести неожиданное нападение на город.

Жрец, уже подготовленный к такой беседе, сначала притворился изумленным:

— Так ты не эфиопка-рабыня? Гречанка… преданная интересам римлян? Ловко же ты притворялась!..

— Это была военная хитрость…

— Я и не обвиняю тебя. Всевышние боги защищают дело римлян, справедливо прославленных за их благочестие. И обязанность жрецов Геркулеса, конечно, быть на стороне римлян, преданнейших почитателей нашего бога, в честь которого они в своих городах воздвигли шесть великолепных храмов.

— Значит, ты поможешь планам Красса? — спросила, сверкая глазами от радости, гречанка.

— Постараюсь, сколько могу… чем только могу… — ответил потиций.

Они быстро пришли к соглашению. Жрец сказал, что хотя он подвергнется большим опасностям при попытке войти в город, но тем не менее пойдет туда под каким-либо благовидным предлогом, он надеялся на поддержку со стороны Мирцы: как только та придет в храм, он вместе с ней пойдет в город. Он добавил, что знает тропинку, которая ведет через обрывистые и крутые склоны к одному месту, где стены почти разрушены и откуда, даже если бы это место было сильно укреплено гладиаторами, нетрудно ворваться в город. В заключение он просил Эвтибиду приходить к нему каждую ночь получать сообщения об этой военной хитрости — благочестивый жрец так назвал интригу, задуманную им вместе с Эвтибидой. А тут с часу на час могла явиться в храм сестра Спартака, и у него могли оказаться интересные новости для Эвтибиды. Со своей стороны Эвтибида обещала жрецу десять талантов в счет большого вознаграждения, которое он получит от Красса по выполнении заданий.

В эту ночь, сняв с немалым трудом с лица

бронзовую краску и приняв свой прежний вид, Эвтибида оделась в свой военный костюм, отправилась в храм Геркулеса и передала десять талантов жрецу; но он не мог сообщить ей ничего нового.

На следующую ночь Эвтибида снова пошла, но не нашла Аия Стендидия в храме; от других жрецов она узнала, что Мирца накануне приходила принести жертвы Геркулесу и Аий Стендидий ушел с ней вместе в город.

С сердцем, трепещущим и колеблющимся между надеждой и страхом, ждала Эвтибида целый день, спрятавшись в храме, возвращения потиция, который наконец пришел к вечеру и рассказал, что место, где стена была разрушена, заново восстановлено Спартаком, который, как предусмотрительный полководец, уже давно обследовал все стены и укрепил слабые места.

Эвтибида была очень огорчена сообщением жреца. Она бесилась и проклинала проницательность и предусмотрительность Спартака.

Погрузившись надолго в свои мысли, она наконец спросила жреца:

— А Мирца, сестра гладиатора, когда она придет снова в этот храм?

— Но… я не знаю… — ответил нерешительно

жрец, — вероятно… она придет… послезавтра… в день антимахий — праздника в честь Геркулеса, во время которого в память о бегстве его в женской одежде с острова Кос обычно приносятся нашему богу в жертву женские платья. Сестра фракийца сказала мне, что она намерена прийти послезавтра в храм, чтобы совершить такое жертвоприношение с целью испросить покровительства бога оружия восставших рабов и в особенности своему брату!

— А! Юпитер, ты справедлив! Справедлив и ты, Геркулес! Справедливы все боги Олимпа! — подняв глаза к небу с выражением жестокой радости, воскликнула гречанка, которая с улыбкой эринии и с невыразимым волнением следила за каждым словом потиция. — Я отомщу страшнее, чем мстила ему до сих пор. Это будет настоящая кровавая месть!

— О какой мести говоришь ты? — спросил с удивлением жрец. — Ты знаешь, что боги не одобряют и не покровительствуют мести…

— Да, но если месть вызвана тяжким оскорблением, если такое оскорбление нанесено без всякого основания… О, тогда, наверно, даже боги неба, не только боги ада, одобряют месть и помогают ей, — сказала Эвтибида.

Она сняла с плеч толстую золотую цепь, к которой был привешен ее маленький меч с рукояткой, усыпанной драгоценными камнями, и подала все это Стендидию.

— Не правда ли, Стендидий? — прибавила она в то время, как жрец жадными взорами окидывал полученный дар и мысленно оценивал, — не правда ли, справедливая месть угодна и небесным богам?

— Конечно… наверно… когда она справедлива… когда обида была несправедлива, — ответил тот, — даже боги Олимпа… И затем, разве месть не была названа радостью богов?

— А разве это не правда? — прибавила Эвтибида. Она сняла с головы серебряный шлем, обвитый сверху маленькой золотой змейкой с двумя огромными рубинами вместо глаз, и протянула его потицию. — Разве это не правда?

И пока жрец, жадно сверкая глазами, разглядывал новые драгоценные дары, она продолжала:

— Непобедимому Геркулесу подношу я эти ничтожные вещи, а завтра принесу еще десять талантов… Непобедимому Геркулесу, — и она сильно подчеркнула последние два слова, — для того, чтобы ты, жрец его, помог мне осуществить мою месть.

— Клянусь Кастором и Поллуксом! — воскликнул жрец. — Раз она справедлива… конечно, надо, чтобы я тебе помог! Клянусь скипетром Прозерпины! Было бы очень красиво, если бы жрец всевышних богов не помог в деле, которому, очевидно, они сами покровительствуют!

— Ты должен спрятать здесь завтра ночью двух храбрых и верных воинов.

— Здесь?.. В храме?.. Осквернить священное место божественного Геркулеса?.. Подвергнуться риску быть повешенным гладиаторами как сообщник римлян, если они случайно найдут здесь твоих двух воинов? — сказал, отступив на два шага, жрец.

— Но каким же образом ты поможешь мне в моей мести, как ты только что обещал? — спросила Эвтибида.

— Ну, я… не могу допустить, чтобы та… чтобы Мирца… была убита… когда придет в храм моего бога… Ведь не в этом призвание жреца… Если бы дело шло о том, чтобы захватить ее как пленницу… и отдать ее тебе…

Зеленые сверкающие глаза Эвтибиды вспыхнули мрачным блеском, и загадочная улыбка появилась на ее губах.

— Да, да! — закричала она. — Пленницей… в

моих руках… Так как я… я сама хочу убить ее, если Спартак не придет отдать мне себя взамен сестры!

— Что ты сделаешь с ней… я не должен… я не хочу знать… Я только хочу знать, что моя рука не принимает участия в кровавом преступлении… что я не участвую в убийстве, — сказал лицемерно потиций.

— Это верно, — ответила Эвтибида, — верно. Значит, завтра ночью здесь, в храме… — Затем она сняла с безымянного пальца левой руки золотое кольцо, в которое был вправлен большой топаз, и протянула его жрецу.

— Не здесь, не в храме, — возразил потиций, поспешно схватив предложенное ему кольцо, — я покажу твоим верным воинам место, где они должны будут спрятаться… совсем недалеко отсюда… в роще каменных дубов… у самой дороги… в роще, которая будто нарочно для этого создана!

— Не сможет ли она убежать оттуда?

— Но раз я тебе говорю, что роща будто нарочно посажена, чтобы поймать дроздов в ловушку…

— Ну хорошо… пусть будет так, как ты хочешь… И пусть успокоится твоя щепетильность честного жреца, — сказала с тонкой иронией девушка и тут же добавила: — Кстати, не будет ли риска?..

— В чем? — спросил Аий Стендидий.

— Что сегодня же твоя щепетильность заговорит снова, ущемит твое сердце, пробудит твою честную совесть и, подкрепленная ужасом перед находящимися по соседству гладиаторами и страхом быть повешенным, посоветует тебе, например, уйти со всем своим имуществом в Темезу.

Медленно произнося эти слова, она не сводила глаз с глаз жреца, как бы желая разгадать его душу и намерения.

— Что ты сказала? — произнес Стендидий, бесстрашно выдерживая это испытание и придав голосу тон оскорбленного достоинства. — Что это тебе пришло в голову?

— Прекраснейшая мысль, славный и благочестивый жрец!

— А именно?

— Чтобы ты, не сообщая об этом своим двум товарищам-жрецам, со мною вместе, спрятав в безопасном месте эти малые дары, которые я преподнесла богу, сошел в долину и сел со мной за стол… за роскошный стол… которым я в твоем лице хочу почтить не только уважаемого жреца Геркулеса Оливария, но и честного, порядочного человека и настоящего гражданина.

— Клянусь богами! — воскликнул жрец, притворяясь негодующим. — Ты, значит, не доверяешь мне?

— Нет, я не тебе не доверяю… а угрызениям нечистой совести.

— Но я не знаю, следует ли…

— Нужно ли тебе идти со мной!.. Да ведь необходимо, чтобы ты помог мне принести сюда пятнадцать условленных талантов… Кажется, я раньше сказала десять?

— Пятнадцать, пятнадцать ты сказала! — поспешно подхватил потиций.

— Во всяком случае, если я даже сказала десять… то это была ошибка… так как я ради моей мести приношу богу пятнадцать талантов! Так пойдем вместе, честный Стендидий, ты будешь доволен сегодняшним днем!

Жрец спрятал в укромном месте шлем, меч и кольцо Эвтибиды и пошел с ней в лагерь римлян.

Марк Красс теперь слишком доверял гречанке, чтобы не позволять ей совершенно свободно уходить и приходить в лагерь, одной или с кем-либо по ее желанию.

В лагере Эвтибида устроила потицию роскошный пир, и тот утопил в восьми или десяти чашах

превосходного вина горе, причиненное ему недоверием куртизанки.

Тем временем последняя позвала к себе своего верного Ксенократа и, переговорив с ним коротко и вполголоса, отпустила.

Около полуночи Эвтибида, надев на голову стальной шлем и перекинув через правое плечо ремень, на котором висел острый небольшой меч, вышла из лагеря в сопровождении жреца, который не особенно твердо держался на ногах, так как был сильно пьян.

В нескольких шагах позади Эвтибиды и Аия Стендидия следовали в полном вооружении два огромного роста раба-каппадокийца, принадлежавшие Марку Лицинию Крассу.

Пока они двигаются по направлению к храму Геркулеса Оливария, заглянем на минуту в Темезу, где Спартак уже три дня как заготовил многочисленную флотилию, ожидая темной ночи, чтобы посадить на нее пятнадцать тысяч гладиаторов, так как тысячи собранных всякого рода судов не могли поднять большего числа людей.

Едва зашло бледное солнце, которое весь день было скрыто за серыми и черными тучами, все сгущавшимися на небе, Спартак, предвидя, что

эта ночь будет желанной темной ночью, велел трем легионам, стоявшим лагерем на берегу, тихо собрать палатки и спуститься на скучившиеся в порту суда; затем, усадив туда же Граника, которому дал все необходимые инструкции, он, как только настал час первого факела, приказал распустить паруса на судах, где они были, и взяться за весла, где их не имелось, и отплыть.

Гладиаторская флотилия, взяв курс в открытое море, в глубокой тишине вышла из Темезы.

Однако тот же ветер — сирокко, нагнавший густые тучи на небо, дул сильнейшим образом с берегов Африки и, несмотря на геркулесовские усилия мореплавателей, не позволял им взять курс на Сицилию, а, наоборот, гнал их к берегам земли бруттов.

Бешено работая веслами, гладиаторы, однако, продвинулись на несколько миль вперед, но после часа пения петухов, так как море становилось все более бурным, а ветер так свирепел, что становился опасным для хрупкой флотилии, по совету моряков и рыбаков из Темезы, которые управляли некоторыми судами, а также по совету тех гладиаторов, которые были опытны в морском деле, Граник пристал к берегу и велел пятнадцати тысячам восставших спуститься

на пустынный берег близ Никотеры. Оттуда он немедленно повел их в горы и послал к Спартаку легкое суденышко с центурионом и восемью или десятью солдатами для сообщения о случившемся.

Между тем оба каппадокийца, дойдя к храму Геркулеса Оливария со жрецом и Эвтибидой, с полуночи были оставлены в роще каменных дубов, находившейся у края дороги, по которой спускались из города в храм. На расстоянии полутора выстрелов из лука от этой рощи стояла вилла, в которой помещался аванпост гладиаторов, откуда, несмотря на все предосторожности последних, оба каппадокийца слышали по временам, когда в их сторону неслись порывы бешено дувшего ветра, шум шагов и тихий разговор.

— Значит, Эрцидан, нужно сделать все, — говорил шепотом на родном языке один из рабов другому, — чтобы взять эту молодую амазонку живьем.

— Сделаем, Аскубари, — ответил Эрцидан, — если только сумеем…

— Я это тоже говорил… если сумеем.

— Потому что, сказать откровенно, если я увижу, что она собирается защищаться мечом или кинжалом, я убью ее двумя ударами; тем более

что если мы слышим отсюда тихий шепот гладиаторов, то они, наверно, услышат сверху крик, который поднимет эта плакса.

— Конечно, они услышат, моментально бросятся на нас, и мы погибнем; ведь от гладиаторских аванпостов до нас расстояние едва в два выстрела из самострела, а от нас до нашего лагеря — несколько миль.

— Ты прав, клянусь Юпитером!.. Это предприятие начинает меня беспокоить.

— А я так уже целый час беспокоюсь.

И оба каппадокийца замолчали, погрузившись в тяжелые размышления.

Вдруг среди шелеста листьев, вызванного ветром, они услыхали очень ясно шум шагов между кустарниками, совсем недалеко от них, в глубине рощи, в которой они скрывались.

— Кто там? — спросил приглушенным голосом Аскубари, вынимая из ножон меч.

— Кто там? — повторил Эрцидан, подражая своему товарищу.

— Молчите! — произнес женский голос. — Это я… Эвтибида… Я обхожу окрестности… Не заботьтесь о том, что происходит позади вас, наблюдайте за дорогой.

Все это она сказала вполголоса, приближаясь к

обоим каппадокийцам, затем скрылась в роще, и вскоре оба раба перестали слышать что бы то ни было, кроме шума ветра.

Аскубари и Эрцидан молчали довольно долго, наконец первый сказал очень тихо, обращаясь ко второму:

— Эрцидан!

— Ну!

— Знаешь, что я думаю?

— Наше предприятие будет, пожалуй, потруднее, чем казалось сначала?..

— Об этом я тоже думал, но в данный момент я соображаю, как нам выйти с честью из этого дела, чтобы сохранить в целости свои шкуры.

— Очень хорошо! И ты нашел способ?

— Кажется.

— Ну-ка!

— Когда маленькая амазонка приблизится, ты и я тихонько возьмем наши луки и в двенадцати или пятнадцати шагах пустим в нее две хороших стрелы, одну — в шею, другую — в сердце… Я ручаюсь, что она тогда не будет в состоянии кричать. Что ты скажешь?

— Браво, Аскубари! Это недурно.

— А той, другой, мы скажем, что она попыталась сопротивляться.

— Превосходно!

— Так решено?

— Решено!

— Ты уверен, Эрцидан, что за двенадцать шагов попадешь прямо в сердце?

— Вполне. А ты уверен, что сможешь пострелить ей шею?

— Увидишь сам.

И оба каппадокийца приготовили луки и стояли молча, не двигаясь, насторожив уши в сторону дороги.

Между тем Эвтибида в беспокойстве блуждала вокруг и в страстном нетерпении ожидала наступления рассвета, часа, когда, по ее расчетам, Мирца должна была выйти из города, направляясь в храм. Часы казались ей вечностью. Пять или шесть раз доходила она до конца рощи, чуть не к самому аванпосту гладиаторов, и пять или шесть раз возвращалась обратно. Наконец она заметила, что сирокко, бушевавший всю ночь, понемногу совершенно затих. Поглядев на край горизонта, на вершины Апеннинских гор, она увидела, что сгустившиеся там тучи начали слабо окрашиваться в бледно-оранжевый цвет, и испустила глубокий вздох удовлетворения, поняв, что это были первые признаки рассвета.

Тогда она еще раз прошла на дорогу, ведущую к вилле, и осторожно двинулась к аванпосту. Но едва она сделала двести шагов, как приглушенный, но грозный голос остановил ее словами:

— Кто там?

Это был патруль гладиаторов, который вышел до рассвета из аванпоста осмотреть окрестности.

Эвтибида не ответила ничего, но, повернувшись спиной к патрулю, быстро и стараясь производить возможно меньше шума, побежала в сторону рощи.

Патруль, не получив ответа, быстро двинулся в ту сторону, куда побежала Эвтибида.

Очень скоро бегущая и преследователи приблизились к роще, на краю которой с натянутыми луками стояли, спрятавшись, оба каппадокийца.

— Слышишь шум шагов? — спросил Аскубари у Эрцидана.

— Слышу.

— Так будь готов.

— Я готов.

Первые проблески зари, усиливавшиеся с минуты на минуту, начали рассеивать густой ночной мрак, и поэтому оба раба могли заметить маленького воина, быстро к ним приближавшегося, не различая, однако, его лица.

— Это она… — сказал едва внятным голосом Аскубари своему товарищу.

— Да… на ней панцирная туника… шлем… и она такого маленького роста, что, несомненно, это женщина.

— Это она… это она…

И оба каппадокийца, прицелившись, одновременно спустили тетиву луков, и две стрелы полетели со свистом; одна вонзилась в белую шею, а другая, пробив серебряный панцирь, — в грудь Эвтибиды. Раздался долгий, пронзительный и мучительный крик. Аскубари и Эрцидан тотчас же услышали шум многих шагов, приближавшихся бегом, и громкий голос, воскликнувший:

— К оружию!

Оба каппадокийца стремглав побежали по направлению к римскому лагерю, а декан и четыре гладиатора, составлявшие патруль, остановились у тела Эвтибиды, которая упала на дорогу в лужу крови, струившейся из ее ран и особенно из раны в шею, так как стрела Аскубари пронзила и разорвала сонную артерию.

Эвтибида испускала глухие стоны, отчаянно хрипела, но не могла выговорить ни слова.

Гладиаторы наклонились над нею, и, пока подымали ее с земли, все пятеро одновременно

спрашивали ее, кто она такая и почему ее ранили.

Между тем почти совсем рассвело; гладиаторы, положив Эвтибиду на краю дороги и прислонив ее спиной к стволу дуба, сняли с ее головы шлем. Увидев распустившиеся по плечам умирающей рыжие густые волосы, они воскликнули в один голос:

— Женщина!

Наклонившись, чтобы разглядеть ее лицо, уже все покрытое предсмертной бледностью, они узнали ее сейчас же и воскликнули разом:

— Эвтибида!..

В эту минуту к дубу подошла манипула гладиаторов и окружила раненую.

— Раз она ранена, значит кто-то должен был ее ранить, — сказал центурион, командовавший солдатами. — Пусть пятьдесят человек поймают убийц, которые не могли убежать далеко.

Пятьдесят гладиаторов побежали к храму Геркулеса Оливария. Остальные, окружив умирающую, стояли с мрачными лицами и в глубоком молчании смотрели на агонию этой несчастной, причинившей им столько бед. Ее панцирь весь побагровел от крови, которая продолжала литься ручьем из шеи. С лицом, уже посиневшим, с по-

лузакрытыми глазами, куртизанка беспокойно двигала головой, склоняя ее то на одно плечо, то на другое, испускала бешеные стоны и подымала руки, как бы желая дотянуться ими до шеи, а затем бессильно опускала их вниз и судорожно открывала рот, как бы желая что-то сказать.

— Эвтибида! Проклятая предательница! — воскликнул после некоторого молчания мрачным и суровым голосом центурион. — Что ты здесь делала в этот час?.. Кто тебя ранил? Я ничего не понимаю… но чую какой-то новый злодейский замысел с твоей стороны, жертвой которого тебя сделал, может быть, случай, а может быть, само предательство, повернувшееся против того, кто его задумал.

Из посиневших губ Эвтибиды вырвался еще более мучительный стон, и она сделала руками знак гладиаторам, чтобы они ушли от нее.

— Нет! — закричал центурион, грозя ей правой рукой. — Ты своим предательством погубила тридцать тысяч наших братьев… и, напоминая тебе о твоих преступлениях, усиливая твои предсмертные муки, мы хотим умилостивить их неотмщенные тени.

Эвтибида склонила голову на грудь, и если бы не тяжелые, прерывистые стоны ее, можно было

подумать, что она уже умерла.

В это время пятьдесят гладиаторов, посланные вдогонку за каппадокийцами, вернулись назад, совсем запыхавшись, ведя за собой Эрцидана, который, раненный стрелою в ляшку, упал и был взят в плен, между тем как Аскубари удалось спастись.

Каппадокиец рассказал все, что ему было известно, и тогда гладиаторы поняли все происшедшее.

— Что тут случилось? — спросил в эту минуту женский голос.

Это была Мирца, вооруженная как обычно, в сопровождении Цетул. Она шла к храму Геркулеса.

— Стрелы, которые эта гнусная Эвтибида приготовила для тебя и которые должны были в этот момент тебя поразить, благодаря своевременному вмешательству какого-то бога, может быть божественного Геркулеса, настигли ее самое, — ответил центурион, уступая Мирце дорогу, чтобы она могла войти в круг, образованный гладиаторами.

Услыхав голос Мирцы, Эвтибида подняла голову и, увидев ее, устремила на нее расширенные, сверкающие ненавистью и отчаянием глаза. Искривив губы, как бы желая произнести какие-

то слова, и протягивая руки с растопыренными пальцами, словно намереваясь схватить Мирцу, она с величайшим усилием бросилась всем телом вперед, затем, испустив последний стон, закрыла глаза, ударилась безжизненной головой о ствол дерева и бездыханной упала на землю.

— На этот раз птицелов сам попал в сеть! — воскликнул центурион.

Предложив Мирце и всем остальным следовать за ним, он молча удалился от трупа ненавистной предательницы.



Глава XXII
Последние сражения. – Поражение при Браданусе. – Идиллия смерти

В ту минуту, как Эвтибида искупила свои преступления, умирая на глазах Мирцы, на дороге между Темезой и храмом Геркулеса Оливария, в порт пришло суденышко, с которым Граник послал вести Спартаку.

Последний был сильно озадачен известием о высадке Граника на берегах Бруции и долго размышлял, что ему следует предпринять дальше. Наконец, повернувшись к Арториксу, он сказал:

— Ладно… Раз Граник находится с пятнадцатью тысячами наших у Никотеры… переправим туда морем все войско и там снова, с еще большей энергией, возобновим военные действия.

Он отослал лодку обратно с приказом, чтобы флот вернулся следующей ночью в Темезу. Таким образом, в течение восьми ночей фракиец переправил все войско в Никотеру, и все эти ночи, кроме последней, в которую он сам отчалил с кавалерией, он приказывал четырем легионам делать вылазки со стороны суши, чтобы отвести

глаза римлянам и убедить их, что он и не думает уходить из Темезы.

Как только флот, увозивший с собой Спартака, Мамилия и кавалерию, удалился на несколько миль от берега, темезинцы поспешили уведомить Красса о случившемся.

Римский полководец был взбешен. Он разразился проклятиями по адресу темезинцев за то, что они побоялись послать к нему каким-либо способом гонца, чтобы предупредить о бегстве Спартака; теперь гладиаторы, вырвавшись из тисков, с еще большим упорством поведут войну, которую он готов был считать оконченной и даже писал в этом смысле в Рим.

Наложив большой штраф на жителей города в наказание за их трусость, он на следующий день приказал войску сняться с лагеря и повел его к Никотере.

Но Спартак на рассвете того дня, когда прибыл в Никотеру, пустился в путь со всеми своими легионами и остановился только после двадцатичасового марша, расположившись лагерем у Сциллеума.

На следующий день он передвинулся в Региум, призывая на своем пути к оружию рабов, и там, заняв превосходные позиции, заставил гладиа-

торов в течение трех дней и трех ночей работать над устройством рва и заграждений лагеря, так что прибывший сюда Красс сразу увидел, что этот лагерь неприступен.

Тогда он решил заставить Спартака или принять сражение, или сдаться от голода и задумал колоссальное и чисто римское сооружение, которое, если бы оно не было единогласно засвидетельствовано Плутархом, Аппианом и Флором, могло казаться совершенно невероятным.

Красс увидел, что сама природа местности подсказывала ему способ действия, и принялся строить стену через перешеек, избавляя в одно и то же время от безделья своих солдат и лишая неприятеля удобств в получении продовольствия. Большая и трудная была работа; и все-таки, вопреки ожиданиям, он в короткий промежуток времени выкопал ров от одного до другого моря длиною в триста стадий, шириной и глубиной в пятнадцать футов; на краю рва он воздвиг стену необыкновенной высоты и прочности.

Пока сто тысяч римлян с неописуемым рвением трудились над этим титаническим сооружением, Спартак организовал еще два легиона из одиннадцати тысяч сбежавшихся к нему из Бруции рабов и обучал их военному искусству. В то же

время он уже обдумывал, как уйти из ловушки, сделав тщетными все труды и меры предосторожности, принятые Крассом.

— Скажи, Спартак, — спросил его на двенадцатый день после начала работ римлян любимец его Арторикс, — скажи, Спартак, разве ты не видишь, что они заперли нас в западню?

— Ты думаешь?

— Но я же вижу стену, которую они уже кончают строить, и, мне кажется, можно поверить, что мы попались.

— И на Везувии бедняга Клодий Глабр думал, что поймал меня в мышеловку.

— Но через десять дней закончится все продовольствие.

— У кого?

— У нас.

— Где?

— Здесь.

— А!.. Но кто тебе сказал, мой милый Арторикс, что через десять дней мы будем еще здесь?

Арторикс замолчал и опустил голову, пристыженный, что вздумал давать советы этому предусмотрительнейшему мастеру войны; а тот, смотря с нежностью на юношу и тронутый его смущением, дружески похлопал его по плечу и

сказал:

— Ты хорошо сделал, Арторикс, предупредив меня о положении с нашим продовольствием, но не бойся, я уже придумал, что мы сделаем, чтобы оставить Красса с разинутым ртом и в дураках перед его страшной стеной.

— Однако надо сознаться, что этот Красс опытный полководец!

— Самый опытный из всех, которые сражались за эти три года против нас, — ответил Спартак и после минутного молчания добавил: — Хотя он нас еще не победил.

— И не победит, пока ты жив.

— Ах, Арторикс, ведь и я только человек.

— Нет, ты — мысль, ты — мощь, ты — знамя. В тебе воплощена и живет программа: восстание угнетенных, счастье обездоленным, свобода рабам. Ты так благороден и доблестен, что от тебя исходит свет, покоряющий самых буйных из наших товарищей; попадая на них, он их одушевляет, воспламеняет, наполняет верой в тебя; они знают тебя, удивляются тебе и признают тебя самым проницательным и самым гениальным полководцем. Пока ты жив, они всегда будут исполнять твою волю и совершать невозможное, как до сих пор; пока ты жив, они будут прохо-

дить по тридцать миль в день, выносить всякие лишения, терпеть голод, сражаться, как львы. Погибнешь ты, вместе с тобой погибнет наше знамя, и через двадцать дней война закончится нашим полным уничтожением… Да сохранят тебя боги надолго, чтобы мы достигли окончательной победы!

— Ты надеешься на победу? — спросил Спартак, грустно улыбаясь и печально качая головой.

— А почему бы нам не победить?

— Потому, что из десяти миллионов рабов, которые стонут в цепях в Италии, менее ста тысяч примкнуло к нам, потому, что наша идея не проникла в массы угнетенных и не воспламенила их сердца, потому, что тирания Рима еще недостаточно истощила долготерпение покоренных народов; потому, что Рим еще слишком силен, а мы слишком слабы… Вот почему мы не можем победить и не победим. Если и была надежда на победу, то она была вне Италии: здесь мы должны погибнуть и погибнем.

И он умолк на мгновение, затем с глубоким вздохом прибавил:

— Но наша кровь, пролитая за святое дело, не пропадет даром. Она даст благородный пример нашим внукам!

В этот момент подошел центурион с сообщением, что три тысячи пращников, далматов и иллирийцев, бежавших из римского лагеря, явились к их преторским воротам с просьбой принять их в ряды их братьев.

Спартак немного подумал об этой просьбе трех тысяч дезертиров, затем, потому ли, что он сомневался в их искренности, или потому, что не желал дать своим солдатам печальный пример почитания дезертиров как храбрецов, отправился к воротам лагеря и сказал пришедшим:

— Покидать свои знамена — дело, заслуживающее порицания и недостойное доблестных воинов; покровительствовать дезертирам и принимать в свои ряды беглецов из вражеского лагеря является делом не только недостойным честного полководца, но и опасным вследствие пагубного примера для своих же солдат, которые должны были бы принять в свои ряды людей, изменивших своему делу и знамени.

И он им отказал.

Семь дней спустя после этих происшествий, перед вечером, деканы и центурионы обошли палатки гладиаторов с приказанием Спартака, чтобы вое, не дожидаясь трубных сигналов и соблюдая полнейшую тишину, снялись с лагеря.

А тем временем кавалеристы по распоряжению вождя отправились с топорами в соседние леса, чтобы нарубить деревьев и ночью доставить их в лагерь в огромном количестве.

В час первого факела Спартак велел зажечь внутри лагеря яркие костры, затем под прикрытием дождя и снега, беспрерывно падавших уже два дня в этой теснине и ее окрестностях, в глубокой темноте и под завывание ветра без шума выступил к тому месту Крассова рва, у которого еще не была воздвигнута стена; здесь он приказал бросать в ров все стволы и ветви, заготовленные его кавалеристами, а на эти ветки шесть тысяч его легионеров уложили шесть тысяч мешков с землей, заранее заготовленные. Таким образом, заполнив обширный участок рва, он велел своим легионам пройти втихомолку по этому мосту, а потом безостановочно идти дальше, невзирая ни на дождь, ни на снег, вплоть до Каулонии.

Сам он с кавалерией остался, спрятавшись в лесу близ вражеского лагеря, а в полдень наступившего дня во главе с кавалерией обрушился на два легиона Красса, которые направлялись в окрестности за провиантом, и произвел жестокое избиение, уложив меньше чем за полчаса свыше четырех тысяч.

Затем, пока римляне, ошеломленные тем, что неприятель, которого накануне вечером они оставили перед собой запертым между морем и стеной, появился у них в тылу, спешили на помощь избиваемым легионам, фракиец с кавалерией умчался по направлению к Каулонии.

— О!.. Клянусь всеми богами ада! — зарычал Марк Красс, ударяя себя кулаками по голове. — Что это за человек?.. Я запираю его в железном кольце — он убегает, я разбиваю его — он собирает новые войска и нападает на меня еще более сильным, чем раньше, я сообщаю, что война приходит к концу, — он разжигает ее еще сильнее!.. Клянусь душами умерших! Он, вероятно, злое привидение! Или вампир, который с каждым часом все больше жаждет крови! Или ненасытный волк-оборотень, питающийся только резней и убийством!

— Нет, это просто великий полководец, — возразил молодой Катон, который за строгое соблюдение дисциплины, за выносливость и за доблесть был произведен в контуберналии Красса.

Марк Лициний, не помнивший себя от гнева, взглянул на смелого юношу злыми глазами и, казалось, хотел ответить очень резко, но затем,

постепенно успокоившись, сказал еще дрожавшим от гнева голосом, но уже обычным тоном:

— Пожалуй, ты прав, смелый юноша.

— Если смелость состоит в привычке говорить всегда правду, то ни Персей, ни Язон, ни Диомед[114] и никакой другой человек на свете не был смелее меня, — гордо сказал Катон.

Замолчал Красс, молчали Скрофа, Квинт, Муммий и остальные начальники, и все, растерянные и грустные, были погружены в тяжелые думы. Наконец Красс проговорил, словно вслух продолжая свою мысль:

— Мы можем преследовать его, но не догнать; он передвигается как борзая собака или олень, а не как человек! А если он теперь, имея восемьдесят тысяч солдат, бросится на Рим? Ах, клянусь богами! Какая неожиданность! И какая опасность! Что делать, чтобы помешать ему?.. Что делать?..

Все молчали и, только когда Красс обратился к ним с вопросом, стали высказывать совершенно такие же опасения.

Когда Красс спросил у них совета, все высказались за то, что Красс должен обо всем написать

---

[114] Сноски: 114
Отважные герои греческих мифов.

Сенату, не скрывая, что война стала более упорной и грозной, чем раньше, что для быстрой ликвидации ее необходимо двинуть против гладиатора, кроме армии Красса, также и возвращающиеся в Рим войска Гнея Помпея, победителя в испанской войне, и армию Луция Лициния Лукулла, воевавшего против Митридата и тоже находившегося на обратном пути в Италию. Окруженный тремя армиями в сто тысяч человек каждая, с лучшими полководцами республики во главе, Спартак будет раздавлен в несколько дней; только при этом условии может быть закончена позорная война.

Хотя Крассу было очень неприятно писать такие вещи, однако он отправил в Рим послание, составленное в этом смысле, и, снявшись с лагеря, двинулся со всем своим войском по следам Спартака.

Последний решил идти через горы и из Каулонии быстрейшими дневными переходами прошел через Сцилациум по направлению к горам Никастра и Поликастра.

Но когда через пять дней войска Спартака пришли к Поликастру, Гай Ганник, который не мог или не хотел преодолеть свой упрямый и мятежный характер, поднял бунт в лагере, привлек на

свою сторону пять легионов, громко заявляя, что надо сперва разбить Красса, а потом двигаться на Рим. К нему присоединился и Каст. Угрозы и увещевания Спартака были бессильны. Бунтовщики, покинув гладиаторский лагерь, расположились лагерем отдельно, в восьми или десяти милях от Спартака.

Спартак послал туда для переговоров Граника и Арторикса, но мятежники отвечали, что их позиции великолепны и что они будут ожидать Красса, чтобы напасть на него.

Удрученный бессмысленным упорством этих легионов, Спартак, однако, не имел мужества оставить их на верный и полный разгром и ожидал в своем лагере, что благоразумие возьмет верх и мятежники вернутся; из-за этого он терял время и все то расстояние, на которое он опередил Красса.

Последний двигался очень быстро. Он догнал на четвертый день, считая с того дня, как гладиаторы остановились, легионы Гая Ганника возле возвышенности у Поликастра и тотчас же стремительно атаковал их. Тридцать тысяч Гая Ганника и Каста бились с величайшим мужеством, но без быстрой помощи со стороны Спартака были бы, несомненно, искрошены в куски.

С появлением фракийца сражение стало бурным и ожесточенным, и только ночь развела сражавшихся; ни та ни другая сторона не уступили ни пяди пространства. Гладиаторы потеряли в этом сражении двенадцать тысяч убитыми, римляне — десять тысяч.

Но в ту же ночь Спартак, который численностью был слабее неприятеля, ушел из лагеря и, убедив прочих следовать за ним, направился в Бизиньян, преследуемый Крассом, который, однако, не осмеливался открыто напасть на него.

Спартак укрепился на высокой обрывистой горе. Здесь он старался убедить Гая Ганника и Каста не разъединяться и пока избегать сражения с Крассом; он надеялся разбить его, выждав удобный момент, сперва утомив его маршами и маневрами.

Казалось, что речь Спартака несколько успокоила Каста и Ганника, которые не только не питали к нему враждебных чувств, но, напротив, уважали его и восхищались им; они не могли лишь выносить узду дисциплины и безрассудно, неудержимо жаждали сразиться с врагом.

Три дня Спартак укрывался на горе, где раскинул лагерь близ Бизиньяна, затем в одну ураганную ночь, под ливнем, под раскаты грома

и багровое сверкание молнии, скользя по обрывистым тропинкам, еще раз в полнейшей тишине скрылся от Красса и форсированным маршем направился к Кларомонту.

Спустя восемь дней Красс догнал гладиаторов и занял позиции с таким расчетом, чтобы снова запереть Спартака на горе, где последний устроил лагерь. Здесь Ганник и Каст вновь отделились от фракийца и расположились со своими двумя легионами всего в шести милях от места, где находился Спартак.

Два дня провел Красс, знакомясь с местностью и позициями неприятеля, а затем ночью послал один легион занять холм, весь заросший деревьями и кустарником, с приказом своим солдатам оставаться под прикрытием и только тогда напасть с тылу на Ганника и Каста, когда Скрофа с тремя легионами атакует их с фронта. Красс надеялся уничтожить эти двенадцать тысяч гладиаторов в течение одного часа, прежде чем Спартак придет к ним на помощь, а затем завязать сражение с самим Спартаком. Войско гладиаторов после потерь, понесенных ими в сражении при Поликастре, насчитывало только семьдесят тысяч, а после уничтожения этих двенадцати тысяч убавится до пятидесяти восьми

тысяч. Поэтому Красс был убежден, что окружит его своими девяноста тысячами.

Ливий Мамерк, командовавший посланным в засаду легионом, привел своих солдат на указанный холм с такой осторожностью, что Ганник и Каст ничего не заметили; так как Мамерк предвидел, что блеск оружия на солнце может открыть неприятелю присутствие его солдат, он приказал им покрыть шлемы и латы ветками.

Всю ночь с тревогой ждал Мамерк следующего дня, назначенного для нападения на неприятеля с тыла, но несчастный случай нарушил планы римлян. У подошвы этого холма находился маленький храм Юпитеру, всеблагому и величайшему. Храм был покинут, но о нем узнала Мирца и решила принести в нем жертвы отцу богов.

Мирца, обожавшая своего брата, ежеминутно обуреваемая страхом за него и к тому же очень религиозная, не пропускала случая приносить жертвы богам, призывая на Спартака их благосклонность.

В этот день Мирца в сопровождении своей верной Цетул направилась в храм Юпитера, ведя за собою белого козленка, чтобы принести его в жертву всевышнему богу.

Подойдя близко к храму, Мирца увидела по

другую сторону холма сидевших на корточках и лежавших на траве римских солдат, которые были, таким образом, открыты двумя женщинами из неприятельского стана, приносившими жертвы. Мирца, поздравляя себя с пришедшей ей счастливой мыслью посетить храм и видя в своем открытии явное покровительство богов, без крика и шума повернула обратно и, быстро пройдя ложбину, зашла в лагерь Ганника и Каста, предупредив их о засаде, затем вместе с эфиопкой побежала уведомить Спартака.

Еще за час до полудня Гай Ганник вывел оба свои легиона из палаток и напал на римлян. Мамерк мужественно встретил неожиданное нападение и тотчас же послал контуберналия за помощью к Крассу.

Полководец римлян немедленно двинул два легиона. Столько же отправил Спартак на помощь своим; и так как битва, продолжаясь много часов, превратилась из небольшой схватки в большое сражение, туда явились почти одновременно со всеми своими силами Спартак и Марк Красс. Началось сражение, несравненно более ожесточенное, чем все другие.

Весь день обе стороны бились чрезвычайно мужественно и ожесточенно; лишь ночной мрак,

спустившийся на ряды бойцов, положил конец сражению.

Свыше одиннадцати тысяч было убито у римлян, а у гладиаторов — двенадцать тысяч триста, в том числе храбро сражавшиеся Ганник, Каст и Индутиомар, все трое — начальники легионов.

А через четыре часа после сражения Спартак, собрав своих, продолжал путь к Петелинским горам, неуклонно выбирая крутые тропинки, среди лесов и обрывов.

Красс, оставшись хозяином поля битвы, велел сжечь трупы своих и, к величайшему удивлению, как своему, так и всего своего войска, увидел, что из двенадцати тысяч трехсот гладиаторов, павших в этом сражении, только двое были ранены в спину, все же остальные погибли, сражаясь лицом к врагу, и ранены в грудь.

После этого сражения, когда войско Спартака бежало через горы, Красс раскаялся в том, что написал Сенату, прося помощи Помпея и Лукулла; истощение сил гладиатора было его заслугой, а слава окончания войны будет приписана другим полководцам. Поэтому он решил покончить с мятежниками раньше, чем вернется в Италию Лукулл, и прежде, чем Помпей, уже прибывший в Рим со своим войском, выступит в Луканию.

Ввиду этого, оставив под начальством Скрофы шестьдесят тысяч человек, он приказал ему преследовать Спартака, не давая ему ни отдыха, ни покоя, а сам с остатками своего войска, приблизительно с двадцатью тысячами, и со всем обозом, двигаясь ночью и днем, направился в Фурии, а оттуда в Потенцию, рассылая во все стороны своих адъютантов и трибунов набирать солдат и составлять отряды, обещая богатое вознаграждение тем, кто явится к нему.

Между тем Спартак кружным путем из Кларомонта добрался до Кастрановы, оттуда в Лагонегро, из Лагонегро обратно в Кларомонт. Он надеялся либо утомить войско Красса, ибо думал, что преследует именно его, в то время как это был только Скрофа, либо заманить его в такое место, где Красс не сможет извлечь большой пользы из превосходства в силах, и только при этих условиях вступить с ним в бой.

Скрофа всячески затруднял отступление Спартака, часто завязывал схватки с его арьергардом, добивался частичных успехов и захватывал в плен небольшие группы гладиаторов, которых потом вешал на деревьях вдоль дороги.

Из Кларомонта, огибая холмы, Спартак направился к Гераклее.

Но, достигнув берега Казуентуса, он увидел, что река вздулась от недавних дождей и превратилась в бурный поток. Переправа была невозможна. В это время нагнавшая его римская кавалерия стремительно напала на хвост колонны гладиаторов.

Спартак пришел в ярость. Он повернул фронт, выстроил свои легионы, сказал им, что в этом сражении нужно или победить, или всем погибнуть, так как в тылу у них река, недоступная для переправы, и с необыкновенной стремительностью обрушился на неприятеля.

Ожесточенность и дикое воодушевление гладиаторов были таковы, что за два часа римляне были разгромлены и обращены в бегство, и гладиаторы, свирепо преследуя их, произвели среди них неистовую резню.

Тщетно Квинт старался удержать бегущих, тщетно он пытался соединиться со Скрофой, так как и тот, раненный в бедро и в лицо, был с большим трудом спасен отрядом своей кавалерии.

Поражение римлян было очень тяжелое: свыше десяти тысяч их погибло в этом сражении при Казуентусе, в то время как гладиаторов пало всего около восьмисот. Паника среди римских солдат была столь велика, что, пробежав второпях мимо

Акри, где многие из них остались, измученные и задыхавшиеся, они остановились, только когда очутились внутри стен города Фурии…

Зато у гладиаторов эта победа вызвала бешеный прилив энергии. *У* них закружилась голова от смелости, и они послали своих центурионов и деканов к Спартаку с просьбою вести их опять против врагов и обещая ему, что они их всех уничтожат.

Однако фракиец не нашел возможным напасть на Красса: римский полководец даже после этого поражения был значительно сильнее, чем он, и Спартак уже получил сведения, что войско его усилилось: Красс собрал три новых легиона.

А Красс, узнав о поражении, понесенном Скрофой, поспешил из Потенции в Фурии со своими тридцатью восемью тысячами — ибо до этой цифры, вместе с новыми, спешно собранными легионами, доходило теперь его войско, — и здесь, осыпая упреками солдат Скрофы, он пригрозил им новой децимацией, если они еще раз обратятся в бегство.

Пробыв в Фуриях несколько дней для восстановления легионов, разгромленных при Казуентусе, он пустился по следам Спартака, который, по уверению его разведчиков, расположился лагерем у

берега реки Браданус недалеко от Сильвия.

Десять дней прошло после сражения при Казуентусе, когда перед вечером Спартак, задумчиво и грустно проходя по квинтанской улице своего лагеря, расположенного на возвышенности у Брадануса, узнал, что три гладиатора прискакали верхом, переодетые, из Рима с очень важным письмом к нему.

Он поспешил в свою палатку, где его ждали три гладиатора, которые передали ему письмо от Валерии Мессалы.

Спартак побледнел, дрожащей рукой взял письмо и, приложив правую руку к груди, как бы для того, чтобы сдержать сильное биение сердца, отпустил гладиаторов, приказав, чтобы о них позаботились.

Затем, развернув папирус, он прочел следующее:

Непобедимому и доблестному Спартаку
Валерия Мессала
славы и здоровья.

Так как враждебная судьба и враждебные божества не пожелали защищать твое благородное предприятие, которому ты, возлюбленный мой Спартак, отдал все сокровища твоей благороднейшей души, так как победа, которая благодаря

твоей нечеловеческой доблести и проницательности три года развевала твои знамена свободы, не может преодолеть враждебный рок и римское всемогущество, так как против тебя вызван из Азии Лукулл и в момент, когда я пишу, Помпей Великий, вернувшись после побед из Испании, выступает со всем своим войском из Рима, направляясь в Самниум, уступи, Спартак, уступи и сохрани свою жизнь для моей пламенной, несказанной, неугасаемой любви, сохрани себя для ласк нашей милой малютки Постумии, которая останется сироткой, без отца, если ты будешь упорно продолжать войну, ставшую теперь, безусловно, безнадежной.

Женщина, которую любит Спартак, не может, не должна и не будет советовать ему совершить малодушный поступок. Сложив оружие после того, как ты привел в трепет Рим, после того как ты покрыл свое имя славой и лаврами стольких блестящих побед, уступив, ты сдаешься не из страха перед твоими врагами — ты уступишь року, невидимой, таинственной непреодолимой власти, которой не могла, не может и никогда не будет в состоянии сопротивляться никакая человеческая сила, о которую всегда разбивались усилия самых могучих людей, каких только знала

история, — Кира и Пирра, Ксеркса и Ганнибала.

Прежде чем на арену войны прибудет Помпей, сдайся Крассу. Чтобы не уступить славы победы над тобой своему сопернику, он, наверно, согласится на почетные для тебя условия.

Уйди от этого дела, ставшего теперь неосуществимым, укройся в моей тускуланской вилле, где тебя ожидает любовь самая чистая, самая нежная, самая пылкая, самая преданная; там, среди самых пламенных поцелуев, среди самых сердечных ласк, какими только может одарить женщина мужчину на земле, ты радостно проведешь свою жизнь в беспрерывных восторгах счастья, неведомый людям, не ведая их дел, любимый муж и отец.

О Спартак, мой Спартак, несчастная женщина умоляет тебя, несчастная мать тебя заклинает, твоя дочь, слышишь, Спартак, твоя бедная дочь и я вместе с нею у твоих ног, обнимая твои колена, покрывая поцелуями и слезами твои руки, умоляем тебя в стенаниях, полных муки и страданий: сохрани для нас свою драгоценную жизнь, которая дороже нам всех сокровищ мира.

Рука моя дрожит, покрывая письмо этими строчками, рыдания душат меня, и горячие слезы, текущие из моих глаз на папирус, во многих

местах вытравят написанное мной.

О Спартак, Спартак, пожалей свою дочь, пожалей меня, слабую и несчастную женщину, которая умрет от отчаяния, от печали, если ты умрешь…

О Спартак, пожалей меня, которая тебя так сильно любит, меня, которая тебя боготворит и почитает больше, чем могут быть почитаемы и боготворимы всевышние боги! О Спартак, пожалей меня!..

Валерия

Что стало на сердце бедного гладиатора при чтении этого письма, нельзя передать словами. Он плакал, и слезы, ручьями струившиеся по его лицу, падали на папирус и сливались со слезами, которые пролила Валерия и следы которых виднелись на письме. Кончив читать, он поднес письмо к губам и бешено, неистово, с яростью стал покрывать его бессчетными поцелуями, мучительно рыдая. Затем руки его опустились, и, сжав их, все еще держа папирус, он стоял, опустив в землю глаза, полные слез, погруженный в нежные и грустные думы.

Кто знает, где в этот момент были его мысли?.. Кто знает, какие нежные призраки стояли перед его глазами?.. Кто знает, каким милым видением

в этот момент он упивался?..

Долгое время он находился в этом грустном созерцании, отдавшись потоку сладких и печальных дум. Внезапно придя в себя, он вытер глаза, снова поцеловал папирус и, сложив его, спрятал у себя на груди, затем, надев панцирь и шлем, опоясавшись мечом и взяв щит, позвал контурберналия и приказал приготовить себе коня и отряд кавалерии.

Четверть часа спустя, переговорив предварительно с Граником, он выехал галопом из лагеря во главе трехсот кавалеристов.

Через несколько минут после отъезда Спартака вернулась в его палатку Мирца в сопровождении Арторикса.

Юноша умолял и заклинал девушку открыть ему причину, препятствовавшую ей стать его женой, а Мирца, как обычно в слезах и вздыхая, отбивалась от него.

— Но я не могу, я не могу больше жить так! Поверь мне, Мирца, — сказал галл, — поверь мне, я клянусь тебе в этом жизнью Спартака, которая для меня в тысячу раз дороже и священнее, чем моя собственная, что в этой любви, в этой страсти нет больше ничего человеческого: она стала огромной, стала властительницей всех

моих способностей, всех моих чувств, госпожой моей души. Если я узнаю, кто оспаривает тебя у меня, кто запрещает тебе быть со мной, может быть — кто знает?.. — может быть, придется мне убедиться в этой непреодолимой необходимости, может быть, я соглашусь и тоже признаю эту невозможность… может случиться, что я покорюсь неумолимости моей судьбы. Но чтобы я, не зная, какая причина мешает мне быть самым счастливым из людей, зная, что я любим тобою, мог добровольно отказаться от блаженства всей моей жизни, покориться и молчать — этого не будет, не надейся на это никогда.

Тон Арторикса был искренний, сердечный; его голос дрожал, лицо было бледно от волнения; видно было, что человек говорит то, что чувствует.

Бедная Мирца, потрясенная его словами, была охвачена чувством невыразимой печали.

— Арторикс, — сказала она голосом, сдавленным рыданиями, — Арторикс, я умоляю тебя именем твоих богов, я тебя заклинаю твоей любовью к Спартаку, не настаивай больше, не требуй от меня ничего! Если бы ты понимал муки, которые ты мне причиняешь, если бы ты мог видеть страдание, которое ты во мне вызываешь, поверь, Арторикс, ты бы не спрашивал больше.

— Ну так выслушай меня, Мирца, — сказал галл в порыве страсти, совершенно выходя из себя, — выслушай меня. В моем состоянии, в этой безнадежности я не могу, клянусь тебе, я не могу больше жить! Видеть ежедневно твое божественное лицо, видеть, как свет, излучаемый твоими небесными глазами, изливается на меня, ежеминутно созерцать твою милую опьяняющую улыбку, знать, что я могу обладать этим бесценным сокровищем доброты и красоты, и быть вынужденным отказаться от этого, не зная почему, — это свыше моих сил. И если ты мне не откроешь этой тайны, я готов лучше умереть, так как я не могу, не могу, не в силах терпеть такой страшной пытки! И пусть поразит в этот момент Спартака своими молниями всемогущая Тарана, если я не убью себя здесь, на твоих глазах, если ты будешь упорствовать в своем необъяснимом молчании.

Говоря так, Арторикс с лицом, искаженным от бурной страсти, перевернувшей всю его душу, выхватил из-за пояса кинжал и поднял клинок, готовясь поразить себя в сердце.

— Ах нет!.. Ради всевышних богов! — воскликнула Мирца, с мольбой протягивая руки к Арториксу. — Нет!.. Не убивай себя!..

И судорожно прерывающимся голосом она тут же добавила:

— Пусть лучше я опозорю себя… перед тобой… пусть лучше я… потеряю твое уважение, чем увижу тебя мертвым… Обожди… выслушай меня… Арторикс… я не могу быть твоей, потому что я недостойна тебя… я умру от стыда… но ты узнаешь все, о мой любимый, о мой дорогой, о мой обожаемый Арторикс!

И она разразилась слезами и, закрывая лицо руками, продолжала, прерывая слова рыданиями:

— Рабыня… под кнутом хозяина… сводника… под пыткой раскаленными розгами я была продажной женщиной.

Она остановилась на мгновение, потом едва слышным голосом прибавила:

— Я была… куртизанкой!

И снова разразилась горьким плачем, наклонив голову и закрыв руками лицо.

Лицо Арторикса, по мере того как девушка говорила, становилось мрачным, глаза сверкали неудержимым гневом, и, поднимая к небу руку, вооруженную кинжалом, он крикнул громовым голосом:

— О, да будут прокляты эти бесчестные торговцы человеческим телом! Да будет проклято

рабство! Да будет проклята людская жестокость!

Потом, вложив кинжал в ножны и бросившись к ногам Мирцы, схватив ее руки и покрывая их поцелуями, с искренним выражением любви воскликнул:

— О, не плачь… моя любимая… не плачь! Что же? Разве ты менее чиста из-за этого? Менее прекрасна в моих глазах, невинная жертва варварства римлян? Они могли совершить насилие над твоим телом, но не могли осквернить чистоты твоей души!

— О, дай, дай мне спрятаться от себя самой! — сказала девушка, отнимая руки и снова закрывая ими лицо. — Дай мне уйти от твоего взора, который я не могу более выносить… — И, быстро отойдя вглубь палатки, она бессильно упала на руки Цетул.

Арторикс стоял некоторое время, устремив взгляд обожания туда, куда скрылась девушка, потом вышел из палатки, испустив вздох удовлетворения: препятствие, которое Мирце казалось непреодолимым, совсем не было таким в его глазах.

На другой день рано утром Марку Крассу, который расположился лагерем в Оппидиуме, на расстоянии однодневного перехода от лагеря гла-

диаторов, была подана дощечка, доставленная вражеским всадником, прибывшим в качестве посла от Спартака. Дощечка была написана по-гречески, и Красс прочел на ней следующие слова:

Марку Лицинию Крассу — императору.

От Спартака

привет.

Мне необходимо переговорить с тобой: в десяти милях от твоего лагеря и в десяти от моего, на большой дороге из Оппидиума в Сильвий есть маленькая вилла, собственность Тита Оссилия, патриция из Венузии. Я нахожусь там с тремястами моих всадников. Желаешь ли ты прийти туда же с таким же количеством твоих людей? Я пришел с честным намерением и во всем доверяюсь твоей чести.

Спартак

Красс тотчас же принял предложение гладиатора и, приказав позвать всадника, который доставил послание, сказал ему, чтобы он вернулся к Спартаку и передал ему, что через четыре часа он, Красс, будет с тремястами всадниками на свидании в назначенном месте и как Спартак вверяет себя чести Марка, так и Марк полагается на честь Спартака.

Через три с половиной часа, ровно за два часа до полудня этого же дня, Красс прибыл на виллу Тита Оссилия во главе отряда кавалерии.

У ворот виллы его встретили начальник кавалерии гладиаторов Мамилий, который сопровождал Спартака, центурион и десять декурионов отряда.

Его провели со всеми знаками почтения в переднюю маленького дворца, отсюда в атриум и затем по коридору, который вел в маленькую картинную галерею. У ее входа на шум шагов пришедших показался Спартак, который, сделав своим знак удалиться, сказал Крассу, поднеся к губам правую руку в знак привета:

— Привет тебе, славный Марк Красс!

И отступил вглубь галереи, чтобы дать войти вождю римлян, который, вежливо отвечая на приветствие, сказал, входя в залу:

— Привет и тебе, доблестный Спартак!

Оба начальника остановились один против другого в молчании, созерцая друг друга.

Гладиатор был выше патриция; при сравнении со стройными и в то же время мужественными формами его атлетической фигуры сразу бросались в глаза рост немного более среднего и очень заметная уже тучность Красса.

В то время как Спартак наблюдал его со вниманием и рассматривал резкие и строгие линии костистого, смуглого, чисто римского лица и короткую шею, широкие плечи и кривые ноги, возле колен слегка выгнутые наружу, Красс любовался величавостью, гибкостью и безукоризненной красотой геркулесовских форм Спартака, благородством его высокого лба, блеском глаз и честностью, которая сквозила во всех чертах его прекрасного лица.

И самое странное было то, что Красс — и он сильно досадовал на самого себя за это — не мог отделаться от чувства глубокого восхищения, которым он был охвачен, против своей воли, при виде этого человека.

Первым прервал молчание Спартак, спросив тихим голосом Красса:

— Скажи, Красс, не кажется ли тебе, что эта война затянулась слишком долго?

Римлянин минуту поколебался, потом сказал:

— Затянулась, и очень.

— Тебе не кажется, что мы могли бы положить ей конец? — спросил снова гладиатор.

Желтовато-серые глаза Красса, наполовину прикрытые веками, оживились, метнув луч света, и он сейчас же ответил:

— Но каким образом?

— Заключив мир.

— Мир?.. — с изумлением воскликнул Красс.

— А почему нет?

— Но… потому что… Каким образом можно было бы заключить этот мир?

— Клянусь Геркулесом!.. Как заключается всегда мир между двумя воюющими сторонами.

— Ах! — воскликнул Красс с иронической улыбкой. — Как заключают мир с Ганнибалом, с Антиохом, с Митридатом…

— А почему нет? — повторил с тонкой иронией в голосе Спартак.

— Потому что… потому что… — отвечал с презрением и в то же время со смущением предводитель римлян, — потому что… разве вы воюющая сторона?

— Мы — союз многих народов, воюющих против римской тирании.

— Клянусь Марсом Мстителем! — иронически воскликнул Красс, заложив левую руку за золотую перевязь. — А я-то думал, что вы наглая толпа презреннейших рабов, взбунтовавшихся против своего законного господина.

— Да, но с одной только поправкой, — ответил спокойно Спартак, — мы не презренные, нет! Мы

— рабы вашего несправедливого и незаконного самоуправства, если хочешь, но не презренные. Относительно законности вашего права над нами лучше мы не будем говорить.

— Словом, — сказал Красс, — ты хотел бы заключить мир с Римом, как если бы ты был Ганнибал или Митридат? Какие провинции ты хочешь? Сколько требуешь за военные издержки?

Искра негодования блеснула в глазах Спартака, он открыл рот, и кто знает, что ответил бы он Крассу, если бы не спохватился вовремя. Приложив левую руку к губам, как бы заткнув себе рот, он провел правой рукой несколько раз по лбу и ответил:

— Я пришел не спорить с тобой, не оскорблять тебя и не выслушивать твои оскорбления.

— А не кажется тебе оскорбительным для величия римского народа предложение заключить мир с восставшими рабами и гладиаторами? Только человек, рожденный не на берегах Тибра, не поймет всего оскорбления, которое заключается в подобном предложении… Ты, к твоему несчастью, рожден не римлянином, хотя ты этого заслуживал бы, Спартак, — клянусь тебе! — и не можешь оценить в достаточной степени всю тяжесть обиды, которую ты мне нанес.

— А тебе чрезмерная гордость, присущая от рождения латинской расе, не позволяет понять оскорбление, которое ты наносишь если не мне и моим товарищам по оружию, то природе и высшим богам, когда ты рассматриваешь все народы на земле как презренные расы, подобные скорее животным, чем людям.

Снова воцарилось молчание.

После нескольких минут размышления Красс поднял голову и сказал, глядя на Спартака:

— Ты уже обессилен, стал не способен к дальнейшему сопротивлению и просишь мира. Хорошо, каковы твои условия?

— У меня шестьдесят тысяч людей, и ты знаешь, и Рим знает, как они сильны и мужественны… В Италии миллионы и миллионы рабов стонут в ваших цепях и пополняют постоянно, будут пополнять и впредь солдатами мои легионы. Война продолжается уже три года и будет продолжаться еще десять и сможет стать пламенем, которое спалит Рим. Я устал, но я не обессилен.

— Ты забываешь, что Помпей идет к Самниуму с легионами, которые победили Сертория, и что Лукулл высадится на днях в Брундизиуме во главе легионов, сражавшихся против Митридата.

— Ах, и Лукулл также! — воскликнул Спартак,

побледнев при этих словах. — Боги! Какую честь оказывает Рим гладиаторам! И вы, вынужденные послать против них все силы государства, гнушаетесь говорить с ними о мире?

И, помолчав минуту, прибавил:

— Если я забыл Лукулла, то ты забыл, что, когда Красс, Помпей и Лукулл с тремястами тысячами людей победят меня, слава — если есть слава в победе над гладиатором — от этого прекрасного предприятия будет разделена между Лукуллом, Помпеем и Крассом.

Римлянин закусил губы, потому что фракиец попал в больное место, и, пересилив самого себя, ответил:

— Итак, условия, которые ты предлагаешь! Послушаем условия.

— Войско наше будет распущено; римский Сенат обещает торжественно сохранить жизнь всем моим товарищам по оружию. Все те, которые были раньше гладиаторами, и те, которые не были ими, поступят гладиаторами в школы и цирки Италии. Я, и те немногие среди моих товарищей, которые прежде были рудиариями, и все начальники, кончая центурионами, будут считаться рудиариями.

— Лучше разделить честь победы с Лукуллом и

Помпеем, чем принять эти условия.

— Но каковы твои условия, если ты соглашаешься на какой-либо мир?

— Ты и сто человек твоих, по твоему выбору, уйдете свободными, остальные сдадут оружие и сдадутся безусловно; Сенат решит их судьбу.

— А те… — начал Спартак, но Красс перебил его, продолжая:

— Или же если ты устал, то уйди от них, ты получишь свободу, гражданство, чин квестора в наших войсках. Без твоего мудрого руководства они придут в расстройство и в восемь дней будут совершенно разгромлены.

Пламенем вспыхнуло лицо Спартака. Нахмурив брови, с угрожающим видом он сделал шаг по направлению к Крассу, но, сдержавшись, ответил дрожащим от гнева голосом:

— Бегство?.. Измена?.. Этим условиям я предпочитаю умереть со всеми моими товарищами на поле битвы. — И, двинувшись к выходу, сказал: — Прощай, Марк Красс. — Но, дойдя до порога, остановился и, обернувшись к римскому вождю, спросил: — Я увижу тебя в первой схватке?

— Увидишь.

— Будешь биться со мной?

— Буду.

— Прощай, Красс.

— Прощай.

Спартак вышел во двор виллы, вскочил на коня, приказав провожатым следовать за ним, и галопом помчался к лагерю.

Едва достигнув его, он велел собрать палатки и, перейдя вброд Браданус, двинулся к Петелии; прибыв туда к ночи, он расположился лагерем.

Но на заре его разведчики привели ему римского декуриона, взятого ими в плен, который во главе отряда кавалерии скакал к Крассу. Он выехал из Брундизиума вестником от Лукулла, войска которого высадились в этом порту, к претору Сицилии, чтобы известить его о предстоящем выступлении его из Брундизиума против гладиаторов.

Для Спартака исчезла всякая надежда на спасение. Единственным выходом был отчаянный бой, если возможно — победа над Крассом; от этого зависела теперь его судьба.

Поэтому он вышел из Петелии обратно к Браданусу, куда прибыл вечером, и расположился лагерем на расстоянии одной мили от левого берега, в восьми милях от лагеря, где он находился днем раньше на правом берегу. В этом лагере расположилось теперь войско Красса, прибывшее

туда несколькими часами раньше Спартака.

В течение ночи Красс переправил свое войско на левый берег реки и приказал стать лагерем всего в двух милях от лагеря гладиаторов.

Занималась заря, и четыре римские когорты были заняты углублением рва для своего лагеря, когда три когорты гладиаторов, шедшие в лес за дровами, увидев римлян, занятых работой, бросив хворост и дрова, которые они тащили на себе, смело напали на них.

На неожиданную атаку и на крики своих собратьев по оружию выскочили из-за вала все римские воины, принадлежавшие к легиону, расположенному поблизости, и кинулись на врагов.

Гладиаторы, находившиеся в лагере и услышавшие звон оружия, поднялись на частокол и, увидев бой, завязанный их товарищами, толпами вышли наружу. В одно мгновение завязалась схватка.

Спартак в этот момент свертывал папирус, на котором он написал письмо Валерии, заклеив его воском и припечатав медальоном; он вручил его одному из трех гладиаторов, присланных ею, которые стояли все трое в палатке фракийца в ожидании его приказаний. Он сказал ему:

— Тебе вверяю, вам вверяю это письмо для ва-

шей госпожи, которую вы так любите…

— Мы любим также и тебя, — сказал, прерывая его, гладиатор, получивший письмо.

— Благодарю вас за это, добрые братья, — ответил Спартак и прибавил: — Уединенными дорожками, непроходимыми тропинками, со всею осторожностью идите днем и ночью и доставьте его ей, и если, к несчастью, с одним из вас что-нибудь случится, пусть возьмет письмо другой. Сделайте все, чтобы письмо к ней попало. А теперь идите, и пусть боги вам сопутствуют!

Три гладиатора вышли из палатки Спартака, и он, провожая их до выхода, прибавил:

— Выходите через декуманские ворота…

В этот момент он услышал шум начавшейся битвы и побежал взглянуть, что случилось.

То же сделал Красс, решив вступить в решительный бой с врагом. Оба полководца выстроили свои войска к сражению. Спартак, обходя по фронту свои легионы, говорил солдатам:

— Братья, от этого сражения зависит исход всей войны! С тылу идет на нас Лукулл, высадившийся в Брундизиуме, с правого фланга нам угрожает Помпей, который находится уже на пути в Самниум, перед нами Красс. Сегодня нужно или победить, или умереть. Необходимо или уни-

чтожить войско Красса, чтобы броситься потом на Помпея, или погибнуть всем, как подобает людям храбрым и одержавшим столько побед над римлянами. Наше дело свято и справедливо и не умрет с нами. Путь к победе ведет по крови: только благодаря самоотвержению и жертвам торжествуют великие идеи. Мужественная и почетная смерть лучше постыдной и гнусной жизни. Погибнув, мы оставим нашим потомкам окрашенное нашей кровью наследство мести и победы, знамя свободы и равенства. Братья, не отступать ни на шаг! Победа — или смерть!

Так он сказал, и, когда подвели ему его прекрасного нумидийского коня, черного, как эбеновое дерево, служившего ему больше года, очень им любимого, он обнажил меч и вонзил его в грудь коня, воскликнув:

— Сегодня мне не нужно коня: если я буду победителем, я возьму любого коня у врагов, если буду разбит — мне не нужен будет конь сегодня и никогда вообще.

Слова и поступок Спартака показали гладиаторам, что этот бой будет последним; громко приветствуя его, они требовали, чтобы он скомандовал атаку.

И Спартак дал знак. Громко протрубили трубы

и букцины. Гладиаторы кинулись на врага.

Как поток, вздувшийся от дождя и снега, бешено низвергается с гор и наводняет окрестности, все опрокидывая и разрушая в своем водовороте, обрушились гладиаторы на римлян.

Под этим страшным ударом легионы Красса заколебались и начали отступать.

Едва Спартак, который бился в первой линии в центре сражения, совершая мечом чудеса силы и мужества, увидел колебание и отступление неприятельских легионов, он приказал трубить условленный сигнал Мамилию — броситься на правый или левый фланг врага.

Услышав сигнал, Мамилий, который со своими восемью тысячами коней находился сзади пехоты, пустил их в галоп к левому крылу гладиаторов, объехал его больше чем на две стадии вперед, затем развернул свои части и, поворотив их направо, во весь опор помчался на фланг римлян.

Но Красс, который внимательно следил за линией сражения и ободрял колеблющиеся легионы, приказал Квинту идти навстречу вражеской коннице; с изумительной быстротой развернулись десять из пятнадцати тысяч римских кавалеристов, и Мамилий, предполагавший об-

рушиться на правый фланг Красса и застать его врасплох, вместо этого встретил превосходные силы неприятельской конницы, с которой должен был завязать жесточайший бой.

В то же время Муммий с четырьмя легионами стремительно бросился в обход правого фланга гладиаторов. Граник тотчас же вывел два последних легиона из резерва и в свою очередь напал на Муммия.

Но численное превосходство в этой отчаянной борьбе девяноста тысяч против пятидесяти семи было слишком заметно. Римские легионы, которые сражались с гладиаторами в центре, все более теснимые отчаянным натиском последних, продолжали отступать и уже пустились было бежать, но Красс с тремя последними легионами своего резерва подошел туда и приказал расстроенным войскам очистить место. Они в четверть часа, отступив направо и налево, дали место новым когортам, которые под предводительством самого Красса и трибуна Мамерка яростно бросились на Спартака и на гладиаторов, при преследовании врага несколько расстроивших свои ряды.

И бой, еще более страшный и упорный, вновь загорелся в центре; в это время остальные пять

тысяч римских всадников, растянувшись направо от десяти тысяч, сражавшихся против восьми тысяч конницы Мамилия, обошли их с левого фланга и напали с тыла.

Конница была опрокинута и смята. Несмотря на искусство и энергию Граника и нечеловеческие усилия доблестных гладиаторов, на крайнем правом фланге Муммию удалось обойти их.

Теперь уже не надежда на спасение и победу воодушевляла гладиаторов, но жажда дорого продать жизнь, желание мести, решимость отчаявшихся людей.

Сражение превращалось в кровавую, зверскую резню.

И все-таки оно продолжалось целых три часа, после того как гладиаторы были почти совершенно окружены.

Правый и левый фланги их, преследуемые и окруженные, далеко отступили, только центр, где храбро сражался Спартак и недалеко от него Арторикс, сопротивлялся неприятелям.

Граник, увидев, что его легионы разбиты, бросился в самую гущу схватки, и, убив собственноручно трибуна, двух деканов и восемь или десять солдат, весь израненный, истекающий кровью, обессилевший, был пронзен двадцатью

мечами, и умер так же доблестно, как и жил.

Македонянин Эростен, начальник десятого легиона, покрытый ранами, мужественно пал рядом с ним.

В центре погиб молодой и изящный Теулопик, храбро сражаясь во главе легиона.

Конница, смятая и совершенно разгромленная, видела, как упал, пораженный десятью стрелами, их доблестный начальник Мамилий.

Вечером еще сражались, потому что гладиаторы, обессиленные, раненые, истекающие кровью, не переставали драться уже не как храбрейшие люди, а как дикие звери.

Спартак не отступил ни на шаг. Наоборот, во главе тысячи своих он врезался, наподобие клина, в ряды шестого римского легиона, который, хотя и состоял из ветеранов, не мог противостоять его натиску; все время он звал Красса, который сражался недалеко от того места, где был фракиец.

Трибун Мамерк, который с толпою храбрецов Мария и Суллы бросился на Спартака, был тотчас им убит. От быстрых, неотразимых ударов его в несколько мгновений пали два центуриона и восемь или десять деканов, которые хотели показать солдатам, как нужно отражать эти удары, — они могли научить их лишь встречать

смерть.

Рядом со Спартаком чудеса храбрости совершал нумидиец Вибсальда, начальник одиннадцатого легиона. Вокруг этих богатырей лежали грудами изуродованные сотни и сотни трупов.

Сумерки уже сгущались над полем сражения, а римляне, уже окончательно победившие, вынуждены были все еще драться. Вскоре взошла луна, чтобы осветить своими бледными лучами эту ужасную сцену резни и крови.

Свыше тридцати тысяч гладиаторов и восемнадцати тысяч римлян лежали на обширной равнине. Битва была уже закончена, и пятнадцать или шестнадцать тысяч гладиаторов, отрядами и группами спасшиеся от гибели, усталые и обессиленные восьмичасовой битвой, бежали, рассыпавшись в беспорядке, по направлению к ближайшим холмам и горам.

Только в одном месте продолжалась яростная, кровопролитная схватка.

Это было в центре, где тысяча, следуя примеру Спартака и окружив его, сражалась с неослабевающей силой.

— Красс!.. Где ты?.. — кричал Спартак время от времени голосом хриплым и прерывающимся. — Ты обещал биться со мной… Красс, где ты?..

Уже два часа назад Спартак приказал увести подальше от сражения Мирцу; ее увлекли, всю в слезах, чуть не силой.

Спартак знал, что должен умереть, и не хотел ни быть свидетелем смерти сестры, ни того, чтобы она была свидетельницей его гибели.

Прошел еще час. Спартак, щит которого был изрешечен дротиками, видел, как упали последние его два товарища, которые еще оставались на ногах недалеко от него, — Вибсальда и Арторикс; последний, израненный, все еще сражался, но, пронзенный стрелой в грудь, повалился на землю, крикнув с нежностью своему другу:

— Спартак!.. в элизиуме… увижу тебя среди…

Один против семисот или восьмисот врагов, сомкнувшихся вокруг него, весь покрытый ранами, среди сотни трупов, нагроможденных вокруг, Спартак, с пылающими глазами, с грозным криком, вращая с молниеносной быстротой свой страшный меч, поражал и валил всех, кто пытался нападать на него. Наконец дротик, брошенный на расстоянии двенадцати шагов, тяжело ранил его в левое бедро; он упал на колено, подставив врагам щит, мечом совершая чудеса нечеловеческой доблести, рыча, как лев, подобный Геркулесу, окруженному центаврами.

Пронзенный наконец семью или восемью дротиками, пущенными ему в спину на расстоянии десяти шагов, он упал навзничь и прошептал одно только слово:

— Ва… ле… рия…

В безмолвном удивлении окружили его труп римляне, видевшие, как геройски сражался он с начала битвы до последней минуты и как он погиб.

Так кончил свои дни этот необыкновенный человек, соединивший в себе высокие душевные качества, недюжинный ум, неукротимое мужество, редкую доблесть, глубокую мудрость — словом, все необходимые дарования, дающие право поставить его рядом со знаменитейшими полководцами, память о подвигах которых сохранила для нас история.

Два часа спустя римляне ушли в свои палатки, и мрачное молчание поля битвы, освещаемого печальными лучами луны, нарушалось только стонами раненых и умирающих, которые лежали здесь и там среди ужасающей массы трупов.

Но какая-то тень бродила по этой равнине, с трудом подвигаясь среди бездыханных тел.

Медленно приближалась она к месту, где битва была особенно продолжительной и жестокой.

Тень эта была воином: шлем и оружие его блестели, когда попадал на них свет луны.

Это был, конечно, гладиатор или римлянин, которого какое-нибудь великодушное побуждение привлекло в этот час на мрачную равнину.

Воин шагал долго, пока не достиг места, где больше всего было трупов, грудами лежавших один на другом, и где упал Спартак. Здесь воин остановился. Он был мал ростом и строен. Нагнув голову над бездыханными телами, он рассматривал их одно за другим, пока наконец не заметил труп вождя гладиаторов. Он встал перед ним на колени, не без труда приподнял его белокурую голову и прислонил ее к трупу одного из римских центурионов, убитого Спартаком.

Луч луны упал на бледное лицо гладиатора, прекрасное даже в своей мертвенной бледности. Маленький солдат, горько рыдая, прижал губы к этому бездыханному лицу и стал целовать его с трогательной нежностью…

Этим воином, как догадались, конечно, наши читатели, была Мирца. Когда гладиаторы были окончательно разбиты и каждый, кто считал уже бесполезной смерть, стал думать о собственном спасении, Мирца ускользнула от тех, кому Спартак ее доверил, и вернулась на поле битвы. Она

уже не надеялась найти Спартака и Арторикса живыми и шла с одной только надеждой — поцеловать в последний раз дорогие лица.

— О Спартак!.. Брат мой!.. — воскликнула слабым голосом девушка, безумно рыдая и покрывая поцелуями лицо Спартака. — Каким я нахожу тебя!.. Живого места нет на тебе… Что сделали они из твоего прекрасного тела! Сколько ран!.. Сколько крови!..

Девушка остановилась. Стон более отчетливый и более близкий, чем те, которые время от времени доносились среди этого мрачного молчания, коснулся ее слуха.

— Я не увижу никогда любящего взгляда твоих ясных очей, которые так ласково смотрели на меня!.. Не увижу более, любимый мой брат, твоей нежной улыбки, которая освещала добротой и мягкостью все твое прекрасное лицо! Не услышу более твоего звучного голоса!.. О брат… о брат мой… ты больше не видишь, больше не слышишь, больше не чувствуешь… О Спартак, любимейший брат мой!

И новый взрыв безумных рыданий прервал слова Мирцы, которая снова обняла холодный труп брата.

В этот момент стон, может быть более слабый,

но более продолжительный, чем прежде, достиг снова ее слуха.

Девушка не двинулась и продолжала целовать безжизненное лицо Спартака.

Опять послышался стон, и на этот раз в нем можно было разобрать какое-то слово.

Она немного пришла в себя, напрягла слух и услышала, как голос умирающего медленно произносил ее имя.

Девушка вскочила на ноги. Дрожь ужаса пробежала по ее телу. Она почувствовала, как капли холодного пота выступили у нее на лбу, и, со зрачками, расширенными от ужаса, спросила громким голосом, не сознавая даже, что делает, что говорит, как будто ее мог слышать кто-нибудь:

— Во имя богов!.. Кто это?.. Кто меня зовет?

Никто не ответил.

Мирца замерла на месте, с широко открытыми глазами, точно окаменела.

— Мирца!.. О моя Мирца!.. — воскликнул на этот раз очень ясно умирающий.

— А!.. Что это?.. — закричала с внезапной радостью девушка. — Неужели правда?.. Арторикс?..

И, прыгая через трупы, добежала до места, где лежал, в своей крови, с холодным и бледным

лицом, Арторикс. Время от времени он медленно открывал веки, на которые смерть уже наложила свою тяжелую руку.

Мирца бросилась на землю рядом с ним и, покрывая его лицо поцелуями, прерывисто и поспешно восклицала:

— Ах!.. Ты жив… мой любимый, мой обожаемый Арторикс! Может быть, я смогу спасти тебя… согрею тебя моим дыханием… перевяжу твои раны… унесу тебя в безопасное место…

Эти горячие губы, пламя этих пылких поцелуев вывели умирающего из оцепенения. Открыв угасающие глаза, он произнес слабым голосом:

— Уже вместе?.. Так скоро?.. Значит, мы уже в элизиуме… О моя Мирца?.. Но почему… так холодно в элизиуме?

— Нет! — воскликнула девушка в порыве страсти, удваивая свои ласки. — Нет! Мы не в элизиуме, это я, я сама, твоя Мирца!.. Ты жив… будешь жить… потому что я хочу, чтобы ты жил… потому что мне нужно, чтобы ты был жив!.. Не правда ли, ты будешь жить, мой любимый Арторикс?..

Галл закрыл глаза, будто для того, чтобы не дать ускользнуть прекрасному видению, но теплота этих поцелуев привела его в себя, и, открыв

глаза, которые на мгновение снова оживились, и медленно обвивая ослабевшими руками шею девушки, он прошептал:

— Но значит, это правда?.. Я еще жив… и мне действительно… дано счастье перед смертью… поцеловать тебя?..

— Да, тебе дано… да, мой Арторикс… но ты не должен умереть… я твоя… твоя всей душой…

— О, я умираю счастливый! Гез услышал… мои молитвы…

Голос Арторикса ослабевал; усилия, которые он делал, волнение и радость, испытанные им, окончательно исчерпали последние проблески тлевшей в нем жизни.

— О Мирца! — воскликнул он, целуя девушку. — Я чувствую… я умираю…

Девушка почувствовала дрожание его губ возле своих, по прерывистому и затрудненному дыханию его догадалась, что любимый юноша умирает, и прошептала:

— Не умирай один… подожди меня… умрем вместе и вместе пойдем в элизиум.

Выхватив в одно мгновение кинжал, который висел на поясе Арторикса, она твердой рукой вонзила его себе в шею, откуда струей полилась кровь. И, крепко обняв любимого юношу, вос-

кликнула:

— С тобой умру, с тобой приду в обитель добрых душ!

— Что… ты… сделала? — прошептал чуть слышно умирающий.

— Разделяю твою судьбу… возлюбленный мой…

Она также начинала говорить с трудом, ибо нанесенный удар почти совершенно перерезал сонную артерию; она еще крепче обняла юношу, прижалась губами к его губам, и оба застыли, соединенные в этом последнем поцелуе.

В этот момент два гладиатора, шагая очень осторожно через поле, пришли к месту, где упал Спартак. Они подняли труп, завернули его в большое и темное шерстяное одеяло и понесли.

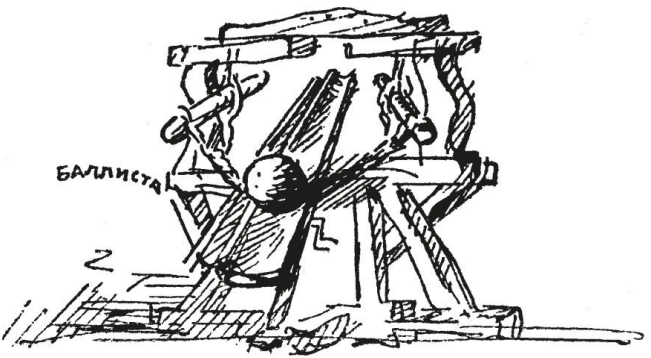
В двух милях у дороги их ждала деревенская телега, запряженная двумя быками, под присмотром старого крестьянина.

Положив в нее тело Спартака, они навалили на него мешки с зерном, которые лежали на земле возле телеги, так что труп гладиатора оказался совершенно скрытым.

Телега двинулась, и следом за нею пошли оба воина.

Эти два воина были близнецы Ацилий и Акви-

лий, сыновья Либедия, управителя тускуланской виллы Валерии. Они везли останки своего погибшего вождя в виллу любимой им женщины, чтобы спасти его от позора, которому его, наверно, подвергла бы наглая дерзость победителей.



Заключение

Пятнадцать дней спустя после битвы при Браданусе война с гладиаторами была окончена. Те несколько тысяч, которые уцелели от этой резни, рассеянные в горах, без начальников, без всякой связи между собой, преследуемые по пятам с одной стороны Крассом, с другой — Помпеем, тоже подошедшим к месту военных действий, были в несколько дней изрублены; только шесть тысяч взяты были живыми и повешены вдоль Аппиевой дороги от Капуи до Рима.

При погребении римских солдат, убитых при Браданусе, напрасно искали тело Спартака. Найти его так и не удалось. По этому поводу высказывались самые разнообразные предположения, очень далекие от истины.

Так окончилась эта война, которая длилась почти четыре года и в которой гладиаторы доказали своим мужеством, что они были людьми, достойными свободы и способными к великим делам, а Спартак — одним из наиболее талантливых и славных полководцев в мире.

Дело, которое защищали гладиаторы, самое святое и справедливое из всех, какие когда-либо

воодушевляли людей, стоившее потоков крови впоследствии, имело в наши дни минутный скоротечный успех, но полностью еще никогда не восторжествовало.

Пала римская тирания. Ее заменили тысячи тираний варваров и сумерки Средних веков; за ними последовали феодализм и католицизм, которые путем обмана заковали в кандалы угнетенные народы, и только с постепенным, медленным, но неуклонным движением вперед человеческого ума, с постепенным прогрессом науки, непрерывным, как морской прилив, после веков кровопролитнейших битв пришла французская революция 1793 года, которая наконец установила, по крайней мере юридически, права человека и гражданина и признала, по крайней мере как принцип, отвлеченный, может быть, но неоспоримый и более неоспариваемый, равенство всех людей на земле.

Законы, регулирующие отношения между государством и гражданином, устанавливающие сумму прав и обязанностей каждого относительно других и самого себя, едва ли являются совершенными. Это видно из того, что ужасные судороги потрясают в последнее время общество, и отдаленный, неопределенный шум и сме-

шанный гул смущают по временам кажущееся спокойствие мира, как зловещие предвестники будущих, еще более сильных ураганов.

А теперь закончим эту историю, приведя наших читателей туда, где они вновь найдут двух действующих лиц этого рассказа, к которым, льстим себя надеждой, они питают немного привязанности и сведения о которых будут им небезынтересны.

Двадцать два дня спустя после Браданской битвы, когда Красс и Помпей, горя взаимной ненавистью и завистью, приближались с армиями к Риму, наперерыв друг перед другом приписывая себе честь погашения этого пожара и требуя консульства, в конклаве своей тускуланской виллы сидела на скамейке прекрасная Валерия, укутанная в серую столу, в глубоком трауре.

Дочь Мессалы была очень бледна, и на ее лице лежала печать недавнего тяжелого горя. Веки ее опухли и были красны от долгих слез. Мягкие и густые, цвета воронова крыла волосы прядями падали на ее дивные плечи, и в томных глазах ее, во всем лице проглядывала тихая печаль, неизгладимая скорбь, глубокое отчаяние, терзающее ее сердце. Она сидела, подперши голову

рукой, перед изящным мраморным столиком, на котором стояла бронзовая позолоченная урна изящной работы греческого мастера.

В другой руке она сжимала папирус. Черные глаза ее были устремлены на урну. В ее немом и глубоком горе прекрасную женщину можно было сравнить с Ниобеей[115] из мифа, ибо, казалось, она говорила: «Смотрите, есть ли страдание, равное моему!»

Возле того же столика, на скамеечке, тоже в трауре, стояла белокурая миловидная Постумия, которая соединяла природную красоту с грацией, свойственной детскому возрасту.

Девочка водила своими белыми ручками по фигурам, листьям и рельефам, которые украшали погребальную урну, стоявшую на столике, и время от времени смотрела на мать своими умными глазками, как бы сердясь на нее за это долгое молчание.

Та, вдруг очнувшись и переведя глаза на письмо, которое держала в правой руке, принялась снова его читать.

Вот что гласило это письмо:

---

[115] Сноски: 115

Ниобея — в греческой мифологии счастливая мать шести сыновей и шести дочерей. Вызвав гнев богов, она потеряла всех своих детей, после чего от горя превратилась в скалу.

Божественной Валерии Мессале
от Спартака.
Привет и будь счастлива.

Ради любви к тебе, моя божественная Валерия, я встретился с Марком Крассом и сказал ему, что сложу оружие. На все это я согласился ради тебя и нашей любимой Постумии, но претор Сицилии предложил мне жизнь и свободу ценой предательства.

Я предпочел быть неблагодарным по отношению к тебе, быть бесчеловечным к моей дочери, чем предать своих братьев и покрыть свое имя вечным позором.

Когда ты получишь это письмо, вероятно, меня уже не будет: мы накануне большой и решительной битвы, где я погибну со славой.

Такова воля враждебной судьбы.

На грани смерти я чувствую необходимость, о моя обожаемая Валерия, просить у тебя прощения за все страдания, которые я причинил тебе. Прости меня и живи, радуясь тому, что я, умирая, благословляю твое великодушное сердце и благородную и чуткую душу.

Будь мужественной и живи, живи ради любви ко мне, живи ради нашей невинной девочки. Таков мой совет. Такова просьба умирающего.

Слезы сжимают мне горло, я задыхаюсь, и меня утешает лишь одна мысль: что я смогу обнять тебя, твой бессмертный дух в лучшем мире. К тебе с последним поцелуем летит последняя мысль, последнее биение сердца

твоего Спартака.

Кончив читать, она поднесла письмо к губам и разразилась рыданиями.

— Мама, почему ты так плачешь? — печально спросила девочка.

— Бедная моя девочка! — воскликнула Валерия голосом, прерываемым рыданиями, и, лаская белокурую кудрявую головку Постумии, сказала, глядя на нее с невыразимой любовью: — Ничего… Ничего… Не горюй, моя родная!

И, прижав к себе головку девочки, покрыла ее поцелуями, обливая ее слезами.

— С тобой ничего не случилось, а ты плачешь! — сказала Постумия с упреком. — Когда я плачу, ты говоришь, что я гадкая. Сейчас ты гадкая, мама!..

— О, не говори так!.. Не говори этого!.. — воскликнула бедная женщина, лаская и целуя девочку еще горячее. — О, если бы ты знала, как мне больно от твоих слов!

— А когда ты плачешь, ты тоже делаешь мне больно.

— О, как ты мила и вместе с тем жестока, единственная теперь любовь моя!

И, говоря так, несчастная, снова целуя письмо и пряча его на груди, протянула руки к Постумии. Она посадила ее себе на колени и, стараясь удержать слезы, то целуя, то гладя ей волосы и лаская, прибавила:

— Ты права, бедная малютка, я была гадкой… но больше не буду. Я буду всегда хорошей, буду думать только о тебе и буду любить тебя так сильно, моя девочка, одну тебя… А ты будешь любить бедную маму?

— О, всегда-всегда, крепко-крепко!

Говоря так, она подняла головку и, обвив шею матери, стала целовать ее.

И тут же, освободившись от объятий матери, девочка принялась гладить урну руками.

В конклаве наступило долгое молчание.

Вдруг Постумия спросила у матери:

— Скажи мне, мама, что там внутри?

Глаза Валерии наполнились слезами; скорбно подняв их к небу, она воскликнула:

— О бедная малютка!..

И через мгновение, с трудом удержав рыдания, сказала дрожащим голосом:

— В этой урне, бедняжка, лежит прах твоего

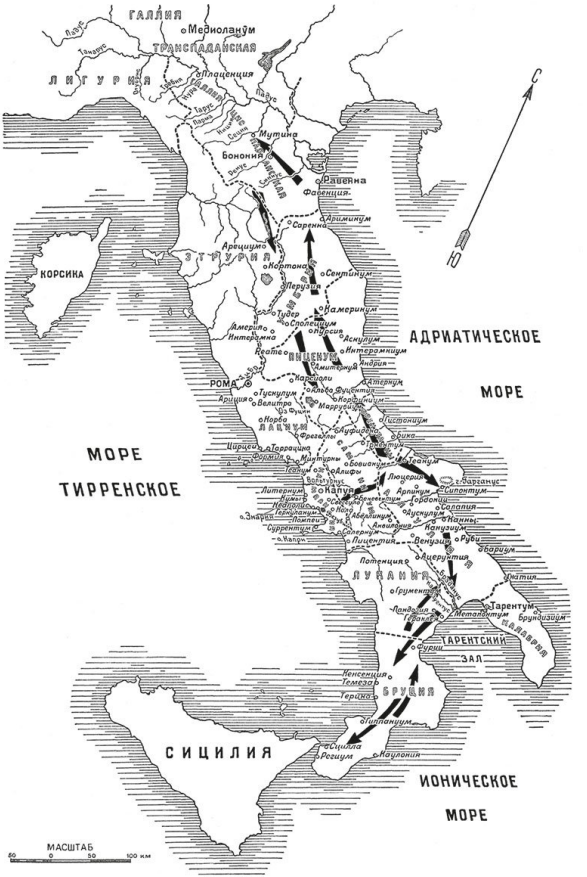
отца.

И снова зарыдала.



Конец

Вклейка


ГАЛЛИЯ
Медиоланум
ТРАНСПАДАНСКАЯ
ЛИГУРИЯ
Плацентия
Мутина
Бонония
Равенна
Фавентия
Аримин
Сарсина
Арреций
ЭТРУРИЯ
Перузия
КОРСИКА
Сентинум
Тудер
Сполеций
Асизий
Интерамний
Ареатий
ПИЦЕНУМ
Адрия
АДРИАТИЧЕСКОЕ
МОРЕ
РОМА
Тускулум
Велитры
Норба
ЛАЦИЙ
Кастр
Ариция
Фрегеллы
Ферентин
Ацерры
Нола
Капуя
Ацерронийская
Ацерронийская
Ацерронийская

